Борис Романов

ДАНИИЛ АНДРЕЕВ

Повествование в двенадцати частях

Москва
ПРОГРЕСС-ПЛЕЯДА
2013

УДК 821.161.1(093.3)(092)Андреев Д.Л.
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8Андреев Д.Л.
Р69

На фронтисписе –
Д. Л. Андреев. 1935. *Фото Е. И. Белоусова.*

На переплете –
Даниил Андреев. *Рисунок А. А. Андреевой*

Оформление –
Валерий Сергутин

Романов, Борис Николаевич.
Р69 **Даниил Андреев** : Повествование в двенадцати частях / Б. Н. Романов . – М. : Прогресс-Плеяда. 2013. – 608 с.
ISBN 978-5-904995-27-0

Книга – документальное повествование о жизни и творческой судьбе Даниила Леонидовича Андреева (1906–1959) – поэта и мыслителя, чьи сочинения, увидев свет лишь через десятилетия после его смерти, заняли видное место в нашей культуре. Сын выдающегося русского писателя Леонида Андреева, крестник Горького, Даниил Андреев пережил все трагические события отечественной истории первой половины XX века. Обвиненный в подготовке покушения на Сталина, основанием чему послужил роман «Странники ночи», он отбыл десятилетний срок во Владимирской тюрьме, где задумал и написал поэтический ансамбль «Русские боги», «Железную мистерию», мистический трактат «Роза Мира».

В книге рассказывается об истоках мироощущения поэта, о характере его мистических озарений, об их духовных и жизненных истоках. Повествование основано на документах эпохи – архиве поэта и его вдовы, на воспоминаниях современников, переписке, протоколах допросов и т. д.

Издание второе, исправленное и дополненное.

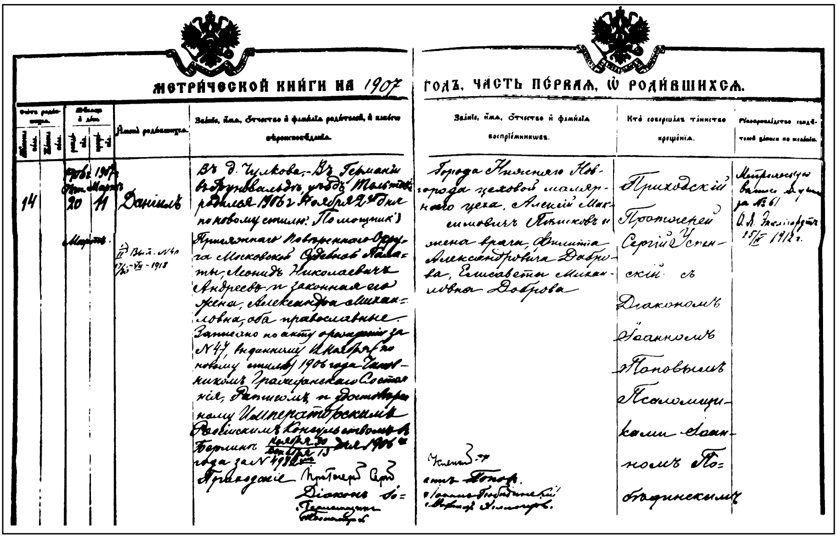
УДК 821.161.1(093.3)(092)Андреев Д.Л.
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8Андреев Д.Л.

ISBN 978-5-904995-27-0

© Б.Н. Романов, 2013
© В.Н. Сергутин, оформ., 2013
© Прогресс-Плеяда, 2013

ДАНИИЛ АНДРЕЕВ

Повествование
в двенадцати
частях



МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ НА 1907 ГОДЪ, ЧАСТЬ ПЕРВАЯ, О РОДИВШИХСЯ.

Счетъ родившихся: мужеск. пола	Счетъ родившихся: женск. пола	Мѣсяцъ и день: рожденія	Мѣсяцъ и день: крещенія	Имена родившихся	Званіе, имя, отчество и фамилія родителей, и какого вѣроисповѣданія	Званіе, имя, отчество и фамилія воспріемниковъ	Кто совершалъ таинство крещенія	Рукоприкладство свидѣтелей записи по желанію
14		1906 г. Ноября 20	1907 г. Марта 11	Даніилъ. II Вып. № 40 17/30 - VII - 1918	Въ д. Чулкова.- Въ Германіи въ Грунвальдѣ, уѣздъ Тельтовъ родился 1906 г. Ноября 24 дня по новому стилю: Помощникъ Присяжнаго Повѣреннаго Округа Московской Судебной Палаты, Леонидъ Николаевичъ Андреевъ и законная его жена, Александра Михайловна, оба православные. Записано по акту о рожденіи за № 47, выданному 11 Ноября по новому стилю 1906 года Чиновникомъ Гражданскаго Состоянія, Рапшеомъ, и засвидѣтельствованному Императорскимъ Россійскимъ Консульствомъ въ Берлинѣ Ноября 30 Декабря 13 дня 1906 года за № 4982. Приходскіе: Протоіерей Сергій, Діаконъ Іоаннъ, Псаломщики: ...	Города Нижняго Новгорода цеховой малярнаго цеха, Алексій Максимовичъ Пѣшковъ и жена врача, Дмитрія Александровича Доброва, Елисавета Михайловна Доброва. Исключено: ...	Приходскій Протоіерей Сергій Успенскій съ Діакономъ Іоанномъ Поповымъ Псаломщиками Іоанномъ Побѣдинскимъ	Метрическую выпись для ... № 61 ... 25/IV 1912 г.

Часть первая

ВОСХОД
1906–1923

1. Родословная

Даниил Андреев так ощущал бессмертие и вечность, или распахнутость времени во все концы, что свою земную жизнь представлял лишь краткой частью пути. Когда и где этот путь начался? Сам он вспоминал себя в других мирах, под двумя солнцами, одно из которых, «Как ласка матери, сияло голубое», а другое, «ярко-оранжевое – ранило и жгло». Он вспоминал о матери и деде у шалаша под пальмами, о купанье в водах Меконга, о Непале, о дороге от Гималая на Индостан, тосковал о любви в утраченной отчизне. Но об этих жизнях-снах, о которых он романтически намекнул в своих стихах, большего, чем сказано им самим, не узнать. Можно простодушно верить в них или не верить.

Земная жизнь поэта доступней. Но и в ней свои пробелы, тайны, загадки. Не только потому, что пропали, сожжены бумаги, что свидетели умерли, не оставив показаний. Нет, все объяснить, все описать в чьей-то жизни – это значит воскресить ее. Совершить чудо. Но не человеческое это дело покушаться на чудеса.

В происхождении Даниила Андреева не все ясно. «Я плохо знаю моих восходящих родных»[1] – вот с чего начал свою автобиографию его отец. И в одном из своих последних писем давнему другу, Ивану Белоусову, сообщал: «По отцу – я великоросс; по матери и деду – поляк; по бабке и всему ее роду (Кулиш) я – хохол... Далее, по деду с отцовской стороны (орловский предводитель дворянства) – я помещик... по бабке – крепостной беднейший крестьянин...»[2]

Семейное предание, по которому отец Леонида Николаевича Андреева Николай Иванович был сыном орловского помещика Карпова и крепостной красавицы Глафиры Иосифовны, документами не подтверждается, но и не опровергается. Были слухи и о том, что предводитель орловского дворянства сошелся с таборной певицей. Правда это или нет – кто знает? Но встречавшийся с Леонидом Андреевым в октябре 1918-го Рерих увидел в нем «лик индусского мудреца, хранящего тайны»[3]. И во внешности

Даниила и его старшего брата было нечто индусское, заметное даже на некоторых фотографиях. Знавшие Даниила в юности в эти слухи вполне верили, называли его индийским принцем и не удивлялись поэтической любви к Индии.

В незаконченной повести Вадима Андреева «Молодость Леонида Андреева» предание рассказано по-другому. Прабабушку он называет Дарьей. Дарья была дочерью крепостного Карповых – Степана Бушова, за черноту прозванного цыганом. После смерти отца Дарья была взята в помещичий дом. Овдовевший Андрей Карпов в нее влюбился. Когда у них родился ребенок, «он отправил Дашеньку в Красные горы, выдав замуж за своего же дворового, дал приданое – 1000 рублей и отпустил на волю. Сына, крещенного Николаем и по имени отца получившего фамилию – Андреев, – он отобрал у матери и оставил при себе: “Не годится Карпову, и незаконнорожденному, быть простым мужиком. Дам образование, пусть выйдет в люди”».

Известно, что одна из ветвей рода Карповых восходит к Рюриковичам. А орловские Карповы были в родстве с Нилусами, Тургеневыми, Шеншиными[4]. «Род Карповых был не из древних – первый Карпов, о котором можно сказать что-либо с уверенностью, был послом царя Алексея Михайловича при Богдане Хмельницком. Большинство Карповых жили из поколения в поколение в своих поместьях... Карповы усердно занимались хозяйством, скопидомами не были, но собственность свою не разбазаривали – у Андрея Карпова в сороковых годах прошлого века было больше шестисот душ крепостных и тысячи четыре десятин: леса, заливные луга, отличный конский завод...» – сообщает Вадим Андреев.

Бабушка Даниила Андреева по отцу, Анастасия Николаевна, была из орловского рода дворян Пацковских, польского происхождения, но давно обрусевших.

Род матери Даниила Андреева – Велигорских – с Украины. Это одна из ветвей тоже польского дворянского рода, к которому принадлежали и известные графы Вельгорские, или Виельгорские[5]. Первый известный представитель рода Велигорских, поручик Григорий Никитич, во времена Екатерины II жил в Черниговской губернии. О Михаиле Михайловиче Велигорском (или Корде-Виельгорском) известно немного. По семейному преданию (вряд ли достоверному), его отец за участие в Польском восстании 1863 года лишился имений и графского титула, после чего Михаил Михайлович в надежде вернуть семейное состояние перешел в православие. Но надежды, если и были, остались надеждами. Образование он получил совсем не графское, как и другой дед Дани-

ила Андреева, начав карьеру со звания «землемера и таксатора». С 1879 года служил в Киевской удельной конторе. Командированный затем на должность помощника окружного надзирателя, жил в местечке Голованевске Балтского уезда Подольской губернии. В этом местечке 4 февраля 1881 года и родилась его младшая дочь Александра. Всего детей у него было пятеро. Позже, с 1883 по 1894 год, Михаил Михайлович жил в Трубчевске, а жену с детьми устроил в Орле. Чтобы дать им образование, нужны были деньги, которых недоставало, – отец семейства все время находился в «крайне стеснительных обстоятельствах». Из Трубчевска его перевели в Севск, где в 1898 году он вышел в отставку, дослужившись до надворного советника. Умер Михаил Михайлович Велигорский в Киеве, в год рождения внука Даниила[6].

С его сыновьями, братьями Велигорскими, Петром и Павлом, Леонид Андреев учился в орловской гимназии. Кроме них в семье было три сестры – Елизавета, Екатерина и Александра.

Бабушка Даниила Андреева, Бусенька, которую он очень любил, Евфросинья Варфоломеевна, была дочерью Варфоломея Григорьевича Шевченко, троюродного брата, свояка и побратима украинского классика. О Варфоломее Григорьевиче известно, что в 1864 году он побывал под следствием за связи с польскими повстанцами. Позже опубликовал воспоминания о великом брате, которого правнук в «Розе Мира» поместил в Синклит Мира.

Евфросинья Варфоломеевна, как и ее отец, родилась в селе Кириловка Киевской губернии в 1847 году. Училась в киевском пансионе Соар. Тарас Григорьевич в письмах к ее отцу не забывал племянницу, называя то Присей, то Рузей – на польский лад, от Розалии. И она его помнила, до старости берегла в сундуке коралловые бусы и голубую корсетку, им подаренные, хранила «Робинзона Крузо» на французском с дарственной дядюшкиной надписью.

В старости Бусенька производила впечатление женщины очень властной и гордой, даже чопорной, «с манерами старинной помещицы»[7]. «Она гордилась тем, что она родная племянница Тараса Шевченко, гордилась родом Велигорских, никогда никому не позволяя ни малейшей фамильярности»[8], – вспоминал ее внук Вадим Андреев.

2. Родители

В повести «Детство» Вадим Андреев пишет о Евфросинье Варфоломеевне: «В свое время она была против замужества моей матери, считая, что Шурочка должна сделать блестящую, соответствующую ее положению партию, что брак с молодым,

никому не известным писателем без роду и племени – мезальянс, что отец с его бурным и тяжелым характером сделает несчастной мою мать»[9]. По всеобщему мнению, брак Леонида Андреева и Александры Велигорской оказался на редкость счастливым. Но, видимо, материнское сердце предчувствовало трагическую краткость этого счастья.

Познакомились они еще в 1896 году, на даче в Царицыне. Шурочка Велигорская была пятнадцатилетней гимназисткой.

Леонид Андреев писал друзьям: «Летом был на уроке в Царицыно... и жил у Вильегорских, чудеснейших людей, у которых я теперь так же хорошо себя чувствую, как в Орле, у вас. Целыми днями торчу там»[10]. С семейством Велигорских, тоже недавних орловцев, его познакомил, очевидно, Павел Михайлович Велигорский. А может быть, его приятель, доктор Филипп Александрович Добров, муж старшей сестры Велигорской – Елизаветы Михайловны.

Семья Добровых, с младенчества родная семья Даниила, была дорога и его отцу. Еще до женитьбы в одном из писем он признавался: семья Добровых «страшно много сделала для меня в нравственном отношении и до сих пор служит сильной и даже единственной поддержкой во всех горестях жизни. Короче сказать, не будь на свете этих Добровых, я или был бы на Хитровке, или на том свете...»[11]

Ухаживал Андреев за Александрой Михайловной долго, отношения их развивались непросто, а то и мучительно. В первое свое царицынское лето он восхищается Шурочкой и – «неожиданный роман» – увлекается Елизаветой Михайловной. Последняя несчастная любовь еще не изжита, и в горячечном исповедальном дневнике ее переживания перемежаются записями о Е. М. и Шурочке. В следующее лето он признается, что «увлечение Е. М. миновало совершенно и бесследно», но зато «в мыслях и в сердце занимает много места Шурочка»[12].

В 1898 году, летом, Андреев опять в Царицыне, с Добровыми. Счастливое лето кончилось быстро. «Вот уже более года как я... ни с кем почти из своих знакомых не виделся (исключая опять-таки той особы, с которой в то или иное время я спрягаю любовь). С переезда же в Москву из Царицыно (sic!) я перестал спрягать и любовь и два уже с лишним месяца провожу время дома, или в суде, или в трактире. Пишу отчеты и рассказы»[13], – исповедовался он орловским друзьям.

Работа, трактиры, метанья. Лето кончилось разрывом.

В письме в Нижний к ее брату Петру Михайловичу Андреев доверительно делился переживаниями: «Не знаю, что думает и

чувствует Алек<сандра> Михайловна. Я же думаю и чувствую, что, отдавши сердце, не легко взять его обратно. <...> Как-никак, а больно»[14].

В начале следующего года, поддавшись уговорам, он лег в клинику: лечиться от «нейрастении». Александра Михайловна навещала его тайком от матери. Они помирились. В рассказе «Жили-были» Леонид Андреев описал эти посещения: «К нему приходила высокая девушка со скромно опущенными глазами и легкими, уверенными движениями. Стройная и изящная в своем черном платье, она быстро проходила коридор, садилась у изголовья больного... и просиживала от двух ровно до четырех». Она уже знала о нем почти все. О его прежних любовях тоже. Он давал ей прочесть страницы дневника, взвинченно-откровенного, покаянного.

Жених, неустроенный, неуравновешенный, страдал припадками меланхолии, депрессиями, кончавшимися запоями. Недовольство, тревоги Евфросиньи Варфоломеевны понятны. И она немало узнала о будущем зяте за пять лет знакомства. Леонид Андреев делал успехи – в 1901 году у него вышла в горьковском «Знании» первая книжка рассказов, о которой стали писать, говорить, – но это ее не поколебало.

Венчание состоялось в половине шестого 10 февраля 1902 года в церкви Николая Явленного на Арбате.

В заснеженной Москве было неспокойно. «Анархия в самом воздухе... страшное возбуждение»[15]. В ночь на 31 января у Андреева полиция провела обыск: искали письма Горького, на письма Пешкова внимания не обратили, но взяли с обысканного подписку о невыезде. Горькому он писал: «Плохая, друже, свадьба. Вчера пропал без вести мой брат (художник); вероятно, сидит в Бутырках. Маминька моя воет.

...Центр города занят войсками и казаками; улицы оцеплены... Встретил я несколько черных и длинных, как гроба, карет под сильным конвоем казаков – и заплакал. Тошно.

А отложить свадьбу нельзя. Съехались со всех концов родственники, старики и старухи...»[16]

Поручителем при женихе был поручик Воронежского пехотного полка Михаил Александрович Добров. Невысокий, уже полнеющий, как все Добровы. В год рождения Даниила за устройство под Тамбовом тайной лаборатории, изготавливавшей бомбы, он был арестован и сослан в Иркутскую губернию. Может быть, слухи о его революционных занятиях и вызвали воспоминания Андрея Белого: «...дом угловой, двухэтажный, кирпичный: здесь жил доктор Добров; тут сиживал я с Леонидом Андреевым,

с Борисом Зайцевым; даже не знали, что можем на воздух взлететь: бомбы делали – под полом...»[17] Речь идет о доме на углу Арбата и Спасопесковского переулка, позже надстроенном еще двумя этажами. Андрей Белый, как всегда, попал в самую точку. Другой дом, в котором Даниил Андреев прожил большую часть жизни, не уцелел, революционные взрывы разметали его обитателей и посетителей, отправившихся в свой срок в эмиграцию, в тюрьмы, лагеря, ссылки и в преждевременные могилы.

Приехал на свадьбу отец невесты, ставший посаженым отцом. Александра Михайловна была моложе мужа на десять лет, ей исполнился двадцать один год. Все, кто знал ее, говорили и писали о ней если не восторженно, то с явной симпатией, называя юной и милой, веселой и нежной. Все свидетельствовали: «...в семейной жизни Андреев был очень счастлив»[18]. Вересаев, человек и писатель, не склонный к преувеличениям, заметил: «Лучшей писательской жены и подруги я не встречал»[19]. Горький запомнил ее «худенькой, хрупкой барышней с милыми ясными глазами», скромной и молчаливой. Говорил о ней как о редкой женщине с умным сердцем и любил называть «Дамой Шурой». В воспоминаниях он приписал себе авторство прозвища, нравившегося самой Александре Михайловне. На самом деле так прозвал ее едва начавший говорить сын, Вадим. Об этом она написала в дневнике.

В свадебное путешествие, убегая из тревожной Москвы, Андреевы отправились через Одессу в Крым. Там в Олеизе, у Горького, на просторной даче «Нюра» пробыли около месяца. Для Леонида Андреева годы, прожитые с Шурой, были счастьем – незамечаемым, недолгим. Годы, в которые он вкусил не только счастье, но и славу – стал одним из самых знаменитых русских писателей.

3. Рождение Даниила

На Рождество, 25 декабря 1902 года, родился их первенец, Вадим. Родился он в Москве, на Большой Грузинской, а почти всю жизнь прожил за границей. В отличие от младшего брата, появившегося на свет в Берлине, и за рубежом, если не считать гощений у отца на финляндской даче, больше не побывавшего.

Из Москвы, где жизнь, как он признавался, для него становилась невозможной, Леонид Андреев уехал в октябре 1905-го: «...не хочу видеть истерзанных тел и озверевших рож». Революционный год, при всей его вере в «благодатный дождь революции», был тяжек. Арест. Две с лишком недели в Таганской тюрьме. Он

с семейством перекочевывал с квартиры на квартиру. Автору «Красного смеха» угрожали: «Надо убить эту сволочь!»

Из Петербурга Андреев отправляется в Берлин. В мае следующего года селится под Гельсингфорсом. За ним следит полиция. Опасаясь ареста, скрывается две недели в норвежских фиордах и, хотя утверждает, что не любит этого города, опять уезжает в Берлин.

Рождение Даниила – доктора обещали дочь – ожидалось Леонидом Николаевичем с некоторой тревогой, к которой он старался не прислушиваться.

В Берлин они переехали из Финляндии 14 августа. В городе стояла тяжелая, угарная жара.

В сентябре Андреев писал Горькому: «Шуркино здоровье плоховато, а на днях нужно ожидать приращения»[20]. Все, что мог, он сделал – из раскаленного каменного центра перебрались в уютное дачное предместье: роскошная вилла, комфорт, рядом мать и теща, опытная акушерка, берлинские врачи.

А в рассказах и пьесах предощущение роковых событий, трагически неминуемых. Но это в нем было всегда. В письмах же из Берлина старается быть шутливым: «Работать тут удобно... На днях должна родить Шура... Грюневальд, вилла Кляра. – Хороша, брат, вилла: живу прямо в райской местности. Зелень и цветы»[21]. «Живем мы так. Вообрази: Грюневальд, барская квартира, в которой одних фарфоровых собачек и свиней около миллиона да 500 тысяч портретов Вильгельма и Бисмарка; принадлежит вилла бургомистру... И живут в квартире: мы, акушерка, мать Шуры и мать моя, и все ждем, когда Шура разродится»[22].

Он гуляет по лесистому Грюневальду, катается на велосипеде, работает. Это здесь дописывалась «Жизнь Человека». Через год вспоминал: «И последнюю картину, Смерть, я писал на Herbertstr., в доме, где она родила Даниила, мучилась десять дней началом своей смертельной болезни. И по ночам, когда я был в ужасе, светила та же лампа»[23].

Даниил Андреев родился 2 ноября (20 октября по старому стилю) в Грюневальде на Гербертштрассе, 26.

Поначалу счастливому отцу казалось, что все идет благополучно. В письмах тех дней он пишет о здоровом мальчишке, сообщает подробности: «...весом около 9 фунтов, большие, как у франта, ногти, громкий голос. Плачет не жалобно, но сердито, водит глазами и вообще принадлежит к “сознательным” младенцам. Не дурен, красивее Дидишки в ту пору»[24].

Но через несколько дней у матери началась послеродовая горячка.

Вот письмо Леонида Андреева Горькому от 24 ноября 1906 года: «Милый Алексей! Положение очень плохое. После операции на 4-й день явилась было у врачей надежда, но не успели обрадоваться – как снова жестокий озноб и температура 41,2. Три дня держалась только ежечасными вспрыскиваниями кофеина, сердце отказывалось работать, а вчера доктора сказали, что надежды, в сущности, нет и нужно быть готовым. Вообще последние двое суток с часу на час ждали конца. А сегодня утром – неожиданно хороший пульс, и так весь день, и снова надежда, а перед тем чувствовалось так, как будто уже она умерла. И уже священник у нее был, по ее желанию, приобщил. Но к вечеру сегодня температура поднялась и начались сильные боли в боку, от которых она кричит...

Сейчас, ночью, несмотря на морфий, спит очень плохо, стонет, задыхается, разговаривает во сне или в бреду. Иногда говорит смешные вещи.

И мальчишка был очень крепкий, а теперь заброшенный, с голоду превратился в какое-то подобие скелета с очень серьезным взглядом.

<...> Не удивляйся ее желанию приобщиться, она и всегда была в сущности религиозной». <...> 23 дня непрерывных мучений!» [25]

27 ноября Александра Михайловна умерла. Новорожденного забрала бабушка и увезла в Москву, в семью другой своей дочери, Елизаветы Михайловны Добровой. Даниил много болел, его с трудом выходили.

Александру Михайловну похоронили в Москве, на Новодевичьем, 5 декабря, на том месте, которое Леонид Андреев когда-то купил для себя, где год назад похоронил младшую сестру, Зинаиду. Стужа была в этот день, вспоминал Борис Зайцев, присутствовавший на похоронах, жестокая.

Андреев, в полном отчаянье, со старшим сыном и матерью отправился на Капри, к Горькому, ища участия. Вот и после свадьбы он с Шурой поехал к Горькому... На Капри запил. Боялись за его рассудок. «Все его мысли и речи, – вспоминал Горький, у которого душевного сочувствия найти было трудно, – сосредоточенно вращались вокруг воспоминаний о бессмысленной гибели “Дамы Шуры”.

– Понимаешь, – говорил он, странно расширяя зрачки, – лежит она еще живая, а дышит уже трупным запахом. Это очень иронический запах.

Одетый в какую-то бархатную черную куртку, он даже внешне казался измятым, раздавленным. Его мысли и речи были жутко сосредоточены на вопросе о смерти»[26].

Он винил в смерти жены берлинских врачей, и, видимо, небезосновательно, как считал, судя по его рассказу, Вересаев, сам врач.

Все речи его сводились к ней. Он говорил Екатерине Павловне Пешковой: «Знаете, я очень часто вижу Шуру во сне. Вижу так реально, так ясно, что, когда просыпаюсь, ощущаю ее присутствие; боюсь пошевелиться. Мне кажется, что она только что вышла и вот-вот вернется. Да и вообще я часто ее вижу. Это не бред. Вот и сейчас, перед вашим приходом, я видел в окно, как она в чем-то белом медленно прошла между деревьями и... точно растаяла...»[27]

Своего младшего сына он называл несчастным Данилкой и попросил быть его крестным отцом ближайшего тогда друга – Горького. Крестили Даниила 11 марта 1907 года на Арбате, в храме Спаса Преображенья на Песках, который изобразил когда-то Поленов в «Московском дворике». Горький, политический эмигрант, оставался на Капри, на крестинах его заменил дядя Даниила – Павел Михайлович Велигорский, а в духовную консисторию была послана горьковская записка: «Сим заявляю о желании своем быть крестным отцом сына Леонида Николаевича Андреева – Даниила. Алексей Максимович Пешков». В «Метрической книге на 1907 год» сделана следующая запись:

«В д. Чулкова. В Германии в Груновальде, уезд Тельстов родился 1906 г. Ноября 2-го дня по новому стилю. Помощник Присяжного поверенного Округа Московской Судебной Палаты Леонид Николаевич Андреев и законная его жена, Александра Михайловна, оба православные. Записано по акту о рождении за № 47, выданному 12 ноября по новому стилю 1906 года Чиновником Гражданского Состояния Рапшголь и удостоверенному Императорским Российским Консульством в Берлине ноября 30 / декабря 13 1906 года за № 4982-м.

Кто совершал таинство крещения: Приходской Протоиерей Сергий Успенский с Диаконом Иоанном Поповым, Псаломщиками Иоанном Побединским и Михаилом Холмогоровым.

Звание, имя, отчество и фамилия восприемников: Города Нижнего цеховой малярного цеха Алексей Максимович Пешков и жена врача Филиппа Александровича Доброва, Елисавета Михайловна Доброва.

Запись подписали: Приходские Протоиерей Сергий Успенский, Диакон Иоанн Попов, Псаломщик Иоанн Побединский, Пономарь Михаил Холмогоров»[28].

Позже некоторые поговаривали, что Леонид Николаевич Даниила не любил, видел в нем причину смерти Александры

Михайловны. Так ли это? Смерть жены стала для него непереносимым горем. Работа, запои, мучительная тоска. Его брат Павел говорил о боязни, что он лишит себя жизни. Томясь на Капри, – в России его могли арестовать, – он пишет «Иуду Искариота». Его Иуда спрашивает апостолов, как они могут жить, когда Иисус мертв, как они могут спать и есть?

Тяжесть и болезненность переживаний Леонидом Андреевым смерти жены, конечно, сказались на сыне. Он любил его с какой-то тревожностью. А их глубинное душевное родство проявилось в литературном пути сына.

Леонид Андреев называл себя писателем-мистиком. В одном из первых его литературных опытов, в сказке «Оро», шла речь о мрачных демонах в надзвездных пространствах и светлых небожителях, ангелах, о гордыне зла и всепрощении любви. Метафизический, мистериальный пафос не угасал в нем никогда. И здесь он все дальше расходился с Максимом Горьким, называвшим мистицизм «серым киселем». «Долго, очень долго путался я в добре и зле. Был христианином недолго; был буддистом, ницшеанцем (еще до Ницше), язычником...»[29] – признавался Леонид Андреев. Поиски «истинной цели» мучили его до последних дней. Георгий Чулков, вспоминая, писал, что у него «был особый внутренний опыт, скажем “мистический” <...> но религиозно Андреев был *слепой* человек и не знал, что ему делать с этим опытом»[30]. Чулков, пришедший от невнятицы воображенного «мистического анархизма» к православию, мог бы говорить о слепоте многих из своего литературного поколения, не исключая себя.

Мистические озарения Даниила Андреева связаны и с «внутренним» религиозным опытом отцовского поколения, и со слепотой его блужданий.

Сходство с отцом в некоторых чертах характера, привычках, взглядах тоже заметно, оно все больше обнаруживалось с годами.

Сына Леонид Николаевич увидел в мае 1907-го, хотел забрать к себе, но этому воспротивилась бабушка, Бусенька. Даниил остался у Добровых. Несколько дней он провел на даче Добровых в Бутове, гуляя среди знакомых берез и привыкая к Данилке. Побывал на Новодевичьем. В одном из писем довольно сообщал: «Данилочка выглядит хорошо, очень веселый, на меня смотрит и удивляется»[31].

В октябре снова приехал в Москву, – в Художественном театре готовилась постановка «Жизни Человека». Пьеса была последним сочинением, написанным при жизни жены, как он говорил, вместе с ней. Ей, называемой им «тихий свет мой», он читал, будя под утро, написанные ночами сцены. И не мог забыть

этих осенне-черных берлинских ночей. Заново переживаемая в театре, в нелегких разговорах и спорах со Станиславским, пьеса, встреча с Москвой, с Добровыми, с сыном опять погружали в незатихавшее, длившееся и длившееся горе.

Жена Бунина вспоминала о тех днях: «Кто-то спросил Андреева, почему он сегодня не в духе?

– Я только что от Добровых. Видел сына, который все чему-то радуется, улыбается во весь рот.

– Но это прекрасно, значит, мальчик здоров, – сказала я.

– Ничего прекрасного в этом нет. Он не имеет права радоваться. Нечего ему быть жизнерадостным. Вот Вадим у меня другой, он уже понимает трагедию жизни»[32].

Трагедии начавшегося века достало всем, не только обоим братьям. Но горшее выпало Даниилу. Русскую трагедию он пережил, не избежав ни тюрьмы, ни сумы, как трагедию метаисторическую, вселенскую. А в том ноябре ему только исполнился год, он был окружен любовью и доверчиво улыбался. Улыбался и невеселому отцу.

В цикле «Восход души», в котором Даниил Андреев с кем-то спорит, благодарно говоря: «Нет, младенчество было счастливым...», отец присутствует тревожной тенью:

Он мерит вечер и ночь шагами,
И я не вижу его лица.

Так отец и присутствовал в его жизни, чаще незримо, но шагающий рядом, погруженный в свои видения, переживания, писания.

4. Добровы

Доктор Добров был не только родственником, но и давним, близким другом Леонида Андреева. Когда-то в дневнике он написал о Доброве: «...он правдив и, кроме того, умен – раза в $1^1/_2$ больше меня»[33], – и мнение это не изменил и через годы. В одну из последних встреч, даря издание драмы «Мысль» помнившему ее неудачную мхатовскую постановку другу, написал на титульном листе: «Светочу медицины, пирамиде знания, Хеопсу глубокомыслия, ангелу кроткой благодати, дорогому ханже Филиппу Александровичу Доброву с чувством необыкновенной солидарности преподносит любящий Джайпур, в земной жизни более известный под именем Леонида Андреева. Дорогой Филипп! Ты помнишь, как мы с тобою, быв еще холостыми обезьянами, прыгали по веткам в лесах Индии, и ты еще прищемил хвост?»[34] Конечно, Индия, и даже хвост – все это слова из Даниилова дет-

ства в добровском доме. Хвост... да, хвост мечтал отрастить сам маленький Даниил, и дядя, прописавший худенькому племяннику, садившемуся за стол без всякого аппетита, лечебные, но горькие капли, убедил его, что это капли «хвосторастительные». «Однако для того, чтобы отрастить хвост, капель было недостаточно, следовало еще и хорошо себя вести, а вот это-то у живого и шаловливого мальчика никак не получалось. И появлявшийся, по словам дяди, росточек хвостика исчезал из-за очередного озорства»[35].

После окончания медицинского факультета Московского университета Добров всю жизнь – почти пятьдесят лет – проработал в 1-ой Градской больнице, и в Москве его знали, как говорится, все. Гиляровский вспоминал, как Добров поселился в меблированных номерах на Лубянке, где традиционно останавливались тамбовские помещики. И Филипп Александрович приехал из Тамбова. Но его отец был не помещик, а известный тамбовский врач, дослуживший до действительного статского советника. По преданию, отца хоронил весь город. Говорили: «Умер Добрый доктор».

Когда в декабре 1906-го Даниила привезли в семью Филиппа Александровича Доброва, он снимал квартиру в доходном доме купца Чулкова на Арбате, на углу Спасопесковского переулка. Позже, около 1910 года, Добровы переехали в Малый Левшинский, сняв квартиру побольше.

Живой, в семейном кругу добродушный, к сорока годам располневший, Добров жил среди литераторов, художников, музыкантов, артистов, часто бывших не только знакомыми доктора, но и пациентами, хотя многим казалось, что его призвание совсем не медицина. В арбатской округе, в ее переулках издавна селилась московская интеллигенция. И у нее, да и у всей Москвы сложившаяся за многие годы репутация доктора Доброва была непререкаемой: безошибочный диагноз, умелое лечение, внимательность. В приемные дни к доктору выстраивалась большая очередь. Его любили. В послереволюционные голодные годы, и позже, по праздникам, «благодарные пациенты передавали добротные продовольственные подарки. <...> Откуда это... подносилось семье, так и не удалось выяснить. Делалось это молниеносно. Звонок. В открытую дверь просовывались корзины и букеты цветов...»[36]

В просторном кабинете доктора с внушительными книжными шкафами и мягкими диванами, где он принимал больных, стоял бехштейновский рояль. В доме чуть ли не ежевечерне слышалось темпераментное музицирование хозяина. Бывало, появлялся друживший с доктором Игумнов, и они играли в четыре

руки. Не чужд был Добров и литературе. Леонид Николаевич, в свояке души не чаявший, читал ему свои рассказы, прислушивался к его замечаниям. Для участников «Сред», проходивших не только у Телешова, но бывало, что и у Добровых, доктор сделался своим человеком. Непременными членами этих писательских собраний были коллеги-медики Вересаев и Голоушев (Сергей Глаголь). Дружил с Добровыми Борис Зайцев. Жена Бунина вспоминала андреевское чтение пьесы «Царь-Голод» у Добровых.

До смерти Александры Михайловны, живя в Москве, Андреев с Добровыми не расставался. Вместе они жили и на даче – вначале в том же незапамятном Царицыне, потом в Бутове. Позже не раз проводили Добровы лето рядом с Андреевыми в Финляндии. За сына, отданного в руки Лилички, как он называл Елизавету Михайловну, и ее мужа, он был спокоен.

Даниил Андреев считал Филиппа Александровича и Елизавету Михайловну своими приемными родителями. Добровский дом в Малом Левшинском переулке был его родным домом. Домом, помнившим всю его жизнь. Во Владимирской тюрьме он написал стихотворение «Старый дом», посвященное памяти дяди:

Два собачьих гиганта
Тихий двор сторожили,
Где цветы и трава до колен,
А по комнатам жили
Жизнью дум фолианты
Вдоль стен.

Игры в детской овеяв
Ветром ширей и далей
И тревожа загадками сон,
В спорах взрослых звучали
Имена корифеев
Всех времен.

А на двери наружной,
Благодушной и верной,
«ДОКТОР ДОБРОВ» – гласила доска,
И спокойно и мерно
Жизнь текла здесь – радушна,
Широка.

О, отец мой – не кровью,
Доброй волею ставший!
Милый Дядя, – наставник и друг!
У блаженных верховий
Дней начальных – питавший
Детский дух!

Дом был неказистым, двухэтажным, в советские времена темно-коричневого цвета, с деревянным вторым этажом и действительно старым, по смутным преданиям, пережившим наполеоновскую оккупацию. Но на самом деле пожар двенадцатого года пережил стоявший рядом большой усадебный дом, а дом, в котором жили Добровы, был построен в 1832 году. Перед революцией им владел тайный советник и сенатор Рогович. Квартира Добровых до советских уплотнений занимала весь первый этаж, в ней было девять комнат, и еще кухня, размещавшаяся в подвале. В квартиру прямо с переулка вела высокая темная дверь справа, с медной табличкой. В переулке, уютном, старомосковском, с распахнутыми летом окнами, с бузиной и сиренью во дворах и палисадниках веяло неспешной провинцией. Двор был обширным, с могучими деревьями и с еще двумя старинными особняками поодаль, помнящими, как эти деревья вырастали. В соседнем, двухэтажном, когда-то жил старик Аксаков. Память об этом не исчезла:

Еще помнили деды
В этих мирных усадьбах
Хлебосольный аксаковский кров.

Хлебосольством запомнился всем и добровский кров, не только с «коврами, книгами, цветами, хрусталем, мировыми темами, спорами, именами и разговорами», но и с обедами, чаем, завтраками, внеочередными сливками, кефирами, квасами из экзотического гриба... С кухней в подвале, где «беспрерывно что-то варят, жарят, приготавливают, разогревают, прихолаживают льдом...»[37], откуда неслышно подают Настасья, Леночка, Юзефа...

В добровском доме всегда присутствовала молодежь. Она появлялась вместе со старшей дочерью Добровых, Шурой, с нею врывались в дом и все новые веяния, вместе с ее друзьями и подругами.

Шура Доброва училась в драматической школе МХАТа вместе с тихой Аллой Тарасовой, с которой ее познакомила друг добровского дома Вавочка – Варвара Григорьевна Малахиева-Мирович. Тогда же, в 15-м году, подружилась она и с девятнадцатилетней Ольгой Бессарабовой, приехавшей из Воронежа. Красавица Шура, высокая, стройная, с темными косами до колен, несмотря на явное дарование, актрисой не стала – не могла преодолеть болезненного страха сцены. Это выяснилось на выпускном спектакле по пьесе Гиппиус «Зеленое кольцо» и долго ее мучило. Увлечения Шуры были высокими – она затевала «спиритические мистерии», запоем переводила «Цветы зла» Бодлера, бывала на

выступлениях Бальмонта, слушала, как Брюсов читал о микенской культуре и Атлантиде... Как вспоминала о ней тогдашней Ирина Муравьева, «Шура была очень интересной барышней, с претензиями на оригинальность. Например, чтобы ее лоб казался выше, несколько выбривала волосы надо лбом. Шокировала соседей и родителей тем, что танцевала танго: “Знаете, Шура Доброва танцует т-а-н-г-о...” Тогда считали, что это наполовину неприличный танец»[38].

Ее, похожую на египтянку и подчеркивавшую это, любившую экзотические наряды, дома носившую яркие кимоно и манто, писали бывавшие в доме художники – начинающий, еще футуриствующий юнкер из Нижнего Новгорода Федор Богородский и вернувшийся из Парижа Федор Константинов. Шурин портрет зимы 17-го года оставила Бессарабова: «Чудные темные ее косы до колен просто высоко заложены над головой и вокруг головы: их так много, что получается что-то вроде тиары. <...> Кажется выше чем есть, от стройности и манеры держаться. Ослепительной белизны и нежности кожа, без всякой пудры и косметики, кроме ярко накрашенных губ. Черные тонкие крылатые брови над светло-серыми (часто зелеными) глазами»[39].

Даниил появился в добровском доме, когда Шуре было пятнадцать лет, и рос на ее глазах. «Посвящается той, кому я обязан всеми своими стихотворениями (Ш. Д.)», – написал он над четверостишьем, написанным в январе 17-го:

Буду Богу я молиться,
Людям помогать,
А чудесная Жар-Птица
Мне тоску свивать.

Ближе Даниилу был двоюродный брат – Александр Добров, но и в отношениях с ним шестилетняя разница в возрасте сказывалась долго.

5. Младенчество

Счастливое младенчество Даниила оберегала бабушка – Бабусенька, или, как ее звали в доме, Бусенька. Она выходила его, вынянчила. Вся ее трепетно-ревнивая любовь после смерти дочери сосредоточилась на младшем внуке.

В доме Добровых другому ее внуку, Вадиму, уже после смерти Бусеньки, все время казалось, что он видит «ее фигуру – высокую, строгую, властную, медленно проходящую полутемным коридором, в длинном, волочащемся по полу платье. Ее руки по обыкновению заложены за спину, худое лицо строго и сосредото-

ченно. Она проходит, почти не касаясь пола, большими, неслышными шагами... Во всем ее облике, во всех ее движениях – непреклонная воля и величественность»[40].

Этот образ напоминает бабушку из андреевской «Анфисы». В доме Добровых в ней видели явный намек на Бусеньку. Мистическая старуха в пьесе почти ничего не говорит, никого ни в чем не укоряет, она вроде бы глуха и занята только тем, что вяжет свой бесконечный чулок, но знает обо всем происходящем в доме. И ее комната с ширмами, цветными лампадами, киотом, конечно, похожа на комнату Евфросиньи Варфоломеевны. Наверное, с ней, с Бусенькой, неразрывно связана та неколебимая верность православию, которая жила в ее внуке, несмотря на все мистические искания, видения и еретические доктрины. И конечно это ее ревностная любовь к младшему внуку стала главной причиной того, что Даниил рос не в отцовском, а в добровском доме.

Леонид Николаевич твердо хотел взять сына к себе. По крайней мере, зиму 1909–1910 года Даниил жил на Черной речке в его таинственном многооконном, с квадратной бревенчатой башней доме. Дом построили чересчур громоздким и причудливым, он нелегко обживался, но был впору болезненно-тревожному духу хозяина, которого пережил ненадолго.

В памяти Даниила остались и снежная зима, хрустевшая финляндской стужей, кутавшая морозным дымом близкие скалы, и огромный дом со страшными закатными окнами в вишневых шторах.

Его брат Вадим считал, что Даниил не прижился в отцовском доме потому, что в нем не было той заботливости и душевной теплоты, к которым тот привык у Добровых. Но дело было не в изнеженности и хотеньях четырехлетнего мальчика, а в его бабушке, которая и не жаловала знаменитого зятя, и не хотела, чтобы любимый внук рос с мачехой, до неприязни чуждой ей, Анной Ильиничной. Повод забрать внука появился скоро.

«В 1957 году <...> уже безнадежно больной Даня <...> рассказал мне о случае, послужившем причиной его увоза с Черной речки, – вспоминал Вадим Андреев. – Ледяная гора, с которой мы катались на санках, выходила прямо на реку. Трехлетний Даня съезжал с устроенной внизу горы специальной детской площадки вместе со своей няней, правившей санками. Анна Ильинична, придерживавшаяся политики “сурового воспитания”, <...> запретила няне возить его. Даня съехал с горы один и попал прямо в прорубь <...> По счастью, нога в толстом валенке застряла между перекладин санок, и няня, бежавшая сзади, успела выхватить его из проруби.

– Ты помнишь Бусеньку, – сказал Даня, – <...> после этого случая она пришла объясняться с отцом. У нее было такое лицо, что отец, не возражая, уступил, и мы на другой же день вернулись в Москву»[41]. Шестнадцатилетняя перепуганная няня, подхватив мальчика в намокшей шубке, побежала к дому.

Не по себе Евфросинье Варфоломеевне было и от запоев зятя. Как вспоминала двоюродная сестра Леонида Николаевича, особенно сильно он пил после смерти жены. «Как приедет в Москву, побывает на могиле, так и запой»[42].

И все же увезла его бабушка не навсегда. Есть фотография лета 1912 года, на которой Даниил в большой белой панаме сидит рядом с озабоченным отцом и задумчиво расположившимся в дачном кресле Добровым. У него, как у взрослых, выражение лица строго сосредоточенное, взгляд напряжен. Фотография сделана на Черной речке. Но когда Даниил Андреев говорил о счастливом младенчестве, он вспоминал не только дом в Малом Левшинском, а и те летние месяцы рядом с отцом на Финском заливе.

Бывал он у отца и в Петербурге. Позже рассказывал, как, взяв за руку, отец шел с ним по Петербургу, но вдруг остановился и стал беседовать с каким-то высоким человеком. Даниил сначала послушно стоял, поглядывая по сторонам, потом заскучал и стал нетерпеливо дергать отца за руку. Но тот не обращал на него внимания. Наконец взрослые простились, и Леонид Николаевич ответил сыну, спросившему, кто это:

– Это был поэт Александр Блок.

– Как? Разве он не умер? – удивился Даниил, думавший, что все великие поэты давно умерли.

Сохранилась открытка, присланная отцом Даниилу из Италии в январе 1913 года. С узнаваемым андреевским юмором он пишет о римских достопримечательностях, на ней изображенных: «Сыночек Данила. Вот что выросло под носом у твоего папы. Целую тебя. Твой – Леонид-отец».

Умерла Бусенька весной 1913 года, выхаживая любимого внука от дифтерита и заразившись сама. От Даниила, долго выздоравливавшего, ее смерть скрыли. Двоюродная сестра Шура рассказывала ему о том, что Бусенька в больнице, но очень соскучилась по своей дочке, его маме, а чтобы увидеть ее, надо умереть и отправиться в рай. Бусенька просит внучка отпустить ее в рай, к его маме. После всех уговоров, детских слез и расспросов Даня написал письмо, отпускавшее ее. Следующим летом, у отца на Черной речке, стосковавшись по бабушке, он решил броситься с моста, чтобы попасть в рай, к Бусеньке и маме. Может быть, их

лица вдруг померещились ему в темной струящейся и поплясывавшей у черных свай воде. Его успели удержать. Но иной мир, промерцавший в бегущей воде, остался в душе навсегда, став, как становилось все в его жизни, многозначащим мифом. В поэме «Немереча» он рассказал об этом:

Да, с детских лет: с младенческого горя
У берегов балтийских бледных вод
Я понял смерть как дальний зов за море,
Как белый-белый, дальний пароход.
Там, за морями – солнце, херувимы,
И я, отчалив, встречу мать в раю,
И бабушку любимую мою,
И Добрую Волшебницу над ними.

Случилось это в их последнее финское лето, предвоенное. Наверное, тогда запомнила его сестра Вера – худенького беленького мальчика, сидевшего на камне около кухонного крыльца многолюдного отцовского дома.

Впечатления этого лета, его морские дали, мерцающие в плещущей синеве и дымке мечты остались в нем навсегда (через десятилетия он писал о Балтике: «Большую часть детства я провел в Финляндии и хорошо изучил характер этого своенравного и взбалмошного моря»[43]), попали в стихи:

Брызгать, бегать и у заворота
Разыскать заколдованный челн;
Растянуться на камне нагретом
Иль учиться сбивать рикошетом
Гребешки набегающих волн.

А вокруг, точно грани в кристалле –
Преломленные, дробные дали,
Острова, острова, острова,
Лютеранский уют Нодендаля,
Церковь с башенкой и синева.

В этот мир, закипев на просторе,
По проливам вторгался прибой:
Его голосу хвойное море
Глухо вторило над головой.
А когда наш залив покрывала
Тень холодная западных скал,
Я на эти лесистые скалы
Забирался и долго искал;

Я искал, чтобы вольные воды
Различались сквозь зыбкие своды,
И смотрел, как далёко внизу

Многотрубные шли пароходы,
Будоража винтом бирюзу.
Величавей, чем горы и люди,
Был их вид меж обрывов нагих,
Их могучие, белые груди
И дыханье широкое их.

Я мечтал о далеких причалах,
Где опустят они якоря,
О таинственно чудных началах
Их дорог сквозь моря и моря.

А когда из предутренней дали
Голоса их сирен проникали
И звучали, и звали во сне, –
Торжествующий и беззакатный,
Разверзался простор неохватный,
Предназначенный в будущем мне.

В Нодендале, о котором говорится в стихах, их и застало в 1914 году объявление войны. В конце июля туда, к отдыхавшим Добровым, приехал из Гельсингфорса железной дорогой Вадим, а Леонид Николаевич приплыл на своей шхуне «Далекий» позже, две недели прокапитанствовав в шхерах, пройдя Барезундский пролив. В связи с войной он решил отправить к Добровым и Вадима. Из Нодендаля в Москву вместе с Добровыми уехали оба его сына.

6. Динозавры и первое стихотворение

В памяти Вадима Андреева осталось от дома Добровых ощущение монотонности жизни без событий и волнений. Ему казалось, что само время здесь отставало, «точно так же, как отставали на четверть часа большие круглые часы в кабинете Филиппа Александровича». Он тосковал по отцу, по дому на Черной речке, который даже ночами жил его нервными упорными шагами и стрекотом пишущей машинки. Болезненно мятущийся андреевский дух, заражающий всех окружающих, и отличал его странный дом с большими окнами и прямоугольной башней на финском продутом просторе от вросшего в землю дома в тихом московском переулке.

Братьев Андреевых, живших вместе в бывшей комнате Евфросиньи Варфоломеевны, где «весь угол был уставлен старинными образами», у Добровых окружили особенной любовью. Старший брат вспоминал: «На нас переносилась та любовь к нашей покойной матери, которой долгое время жил весь дом: основоположницей этой любви, с годами переросшей в настоящий культ, была

Бусенька. Перед иконами стояли большие, никогда не зажигавшиеся Шурочкины венчальные свечи, в сундуке, обитом железными полосами, хранились Шурочкины платья, отдельно в ларце лежали бусы и ленты ее украинских костюмов, постоянно рассказывались события ее недолгой двадцатишестилетней жизни»[44].

Гимназия Поливанова, где он стал учиться, была совсем рядом – угол Малого Левшинского и Пречистенки. Гулянье, игры с младшим братом, который не хотел сопровождать его в озорных забавах, Вадима занимали мало. Их разделила, как он вспоминал, пожарная лестница: «...я силком тащил его на крышу, а брат, высоколобый и женственный мальчик, упирался изо всех сил: он не любил высоты»[45]. Очень скоро Вадима стала мучить детски болезненная тоска по отцу, он только о нем и говорил. Елизавета Михайловна, мама Лиля, как ее звали братья, в ноябре решила отправить Вадима на неделю к отцу. Провожая и предчувствуя, что он уже не вернется, сказала: «Помни, наш дом – твой дом».

Жизнь добровского дома была вовсе не такой тихой, как показалось двенадцатилетнему Вадиму. А может быть, она лишь вспоминалась ему такой, когда через годы он писал о своем неспокойном сиротском детстве, которое одухотворял мятущийся, вся и всех заслонявший отец. Дом был по-московски гостеприимным, многолюдным. К Филиппу Александровичу и к его жене (некогда окончившей фельдшерско-акушерские курсы) приходили пациенты, друзья и знакомые. За огромным обеденным столом во время вечернего чая становилось тесно и шумно. В доме всегда кто-нибудь гостил, у Добровых находили приют не только родственники, но и знакомые, и знакомые знакомых.

Даниил стал всеобщим баловнем и самым младшим в семье. Дети Добровых были гораздо старше: Шура на четырнадцать лет, Александр на шесть. Даниил дружил с девочками. Его иногда самого принимали за девочку – живого, ласкового мальчика в клетчатом костюмчике и клетчатом пальто, которое прикрывало штанишки. А одно время он даже носил подаренную ему девичью шубку. Все они были арбатские дети. Таня Оловянишникова жила в Савеловском переулке. Познакомились они, когда им было по четыре года. Потом, когда ей и Даниилу исполнилось шесть, с ними стала заниматься близкая подруга Таниной мамы, тетя Шура, Александра Митрофановна Грузинская. Она научила их читать и писать. Вместе с ними занимались и ее собственные дети – Ирина и Алексей. В 18-м, после смерти родителей Тани Оловянишниковой, тетя Шура взяла ее на воспитание.

«Во время перемен, когда мы ссорились, – вспоминала Оловянишникова, – один из нас часто влезал на шкаф (он стоял

рядом с кроватью, и по спинке кровати было удобно влезать на него), другой мрачно слонялся по комнатам; но мы скоро остывали и шли друг к другу со словами “Даня (или Таня), перемена маленькая, поиграем лучше!”. Любили мы также во время перемен носиться по квартире на трехколесном велосипеде: один из нас вертел педали, другой стоял на запятках». Еще Оловянишникова вспоминала о детских спектаклях, которые устраивала для детей ее мама: «Ставили басню Крылова “Зеркало и обезьяна”. Даня изображал мартышку, я медведя...» Даниил верховодил, важно обрывал тихую Таню: «Глупости болтаешь!»[46]

Другими его подружками были сестры Муравьевы, Ирина и Таня, тоже жившие рядом – в Чистом переулке. С их отцом, Николаем Константиновичем Муравьевым, Добров сблизился еще в студенческие времена, когда они втроем снимали одну квартиру. Третьим был Павел Николаевич Малянтович, в свое время пристроивший Леонида Андреева, только что окончившего университет, в помощники присяжного поверенного и в судебные репортеры «Московского вестника». В ту пору Андреев однажды приревновал будущую жену к Муравьеву. (С племянником Малянтовича, Вадимом, Даниил позже учился в одной школе.) Студенческая дружба продолжалась до конца жизни. Муравьев и Малянтович были одногодки, оба известные юристы. Оба заслужили репутацию борцов за справедливость, выступали защитниками на политических процессах, даже и в послереволюционные годы, когда это еще было возможно. Оба входили в Комитет помощи политическим ссыльным и заключенным, пока в 1937-м по приказу Ежова его не прикрыли.

После отъезда брата Даниил не скучал. Занятия в домашней школе тети Шуры в Хлебниковом переулке продолжались, появлялись новые увлечения. Например, «допотопными» животными. Об этом и о том, что иногда ему «умопомрачительно плохо», он пишет в чудом сохранившемся письме к отцу:

«Дорогой папа! Поздравляю тебя с праздником. Как ты живешь? У меня недавно болели грудь и горло. Я ужасно интересуюсь допотопными животными. Наш знакомый господин надиктовал мне разные названия животных. Там были и Атлантозавр, Бронтозавр, Телеозавр и многие другие.

У нас в школе завели собственную азбуку... Мне ужасно хочется чтобы было лето. В Москве ужасные лужи и так здесь плохо: что на трамваях по четыре четыре <так! – *Б.Р.*> стоят на последней подножке. Шура уедет на осень и на зиму в Тифлис актрисой.

И она так рада что не проходит минуты чтобы она не накричала так что в Петрограде слышно.

Целую крепко бабу Настю.

Как живет Вадим?? Его поцелуй тоже от меня.

Все ли еще Поляна спрашивает у прохожих сидит ли на ней Вадим? Неужели баба Настя играла в опере простого волка. На меня прямо на нервы влияет слово Пасха Х.В. Я ее не могу дождаться. Хотя у нас и светит солнце все таки ужасно умопомрачительно плохо. Я целую всех. *Даня*».

Письмо написано в марте. Пасха в 1915 году была ранняя – 22 марта, ее с таким нетерпением Даниил дожидался. Следы тогдашнего увлечения остались в одной из тетрадей, где он старательно изобразил Диноцераса, Стегозавра, Ипсилофодона, Стенакодона и еще несколько десятков ископаемых животных, так поразивших его. Вся эта одухотворенная ребяческим воображением палеозоология отзовется в «Розе Мира», в которой описаны рарурги – демонические крылатые ящеры, возникшие после инкарнаций из аллозавров, тираннозавров и птеродактилей. Чудища девона, триаса и мезозоя промелькнут в стихах «Русских богов». Не зря он так тщательно зарисовывал их в детстве. В том же году Даниил начинает сочинять стихи и прозу. Меньше всего ему хотелось заниматься уроками и музыкой.

Вот один из эпизодов той весны:

«Филипп Александрович сидит в кабинете, углубленный в книгу. Маленький Даня тут же разучивает на рояле заданные ему упражнения и начинает фальшивить. Филипп Александрович... наконец не выдерживает: “Ну, что врешь... Слезай со стула, слушай!” Филипп Александрович сам садится за рояль и начинает отбивать такт: “Раз, два, три... Раз, два, три...” Даня тем временем лезет под рояль и радостно сообщает о своем открытии “Дядя, а ты знаешь, ножка рояля очень напоминает лапу динозавра...” ... Филипп Александрович взрывается...»[47]

В следующем месяце, в апреле, Даниил опять пишет отцу:

«Здравствуй Отец как живешь? К нам приехал Игорь Велегорский и Тетя Вера. За ними приехал Арсений. Я ужасно жду лета. Я знаю почти всех допотопных животных. Ты ли написал рассказ “Кусака”? Я надеюсь поехать к Тебе летом погостить. Благодарю Тебя за письмо. Хорошо ли Вадим катается на велосипеде. Я пишу два рассказа. Один называется “Путешествие насекомых” а другой “Жизнь допотопных животных”.

20 апреля такой ветер что нельзя гулять. Слава Богу, что ветер южный. У нас сегодня сбор на ромашку. Саша и Немчинов продают ее. Мы с Муравьевыми были в зоологическом саду. Мне больше всех зверей понравились Кенгуру, Зебра и Леопард. Ирину Олину козерог боднул в палец. И у ней опухоль и очень болит. Поцелуй от меня Тебе и другим. *Даня*».

Приезд из Нижнего Новгорода, где Даниил уже гостил, двоюродных братьев, Игоря Велигорского с матерью и Арсения Митрофанова, был событием, о котором следовало сообщить, но не из ряда вон – к Добровым все время кто-нибудь да приезжал. Братья были куда старше, и на пожарную лестницу его не тащили.

У Даниила другие интересы, другая жизнь. На Пасху он пишет поздравления «солдатикам». «А у нас в городе совсем не чувствуется война. Только в госпиталях и лазаретах лежат раненые», – простодушно сообщает он в одном из своих посланий на фронт. Тетрадные листки с их черновиками сохранились:

«Милый солдатик. Поздравляю тебя с Пасхой. Скоро кончится война и мы все будем в городе и будем с тяжелыми душами вспоминать о прошлом, что было в 14 году. *Даня*».

«Хороший солдатик. Христос воскресе. Как хорошо будет, если бы война кончилась и мы победили. Верим в вас и в победу. Идите храбро на врага и война скоро окончится. *Даня*».

«Золотой солдатик. Как ужасно видеть все ужасы, которые творятся на войне. Я во веки не забуду эту ужасную войну. Будьте спокойны. Я предчувствую, что мы победим. Поздравляю тебя с праздником. *Даня*».

«Хороший солдатик. Да!!! было бы хорошо, если бы мы победили. Так надоела эта война, что прямо, кажется, умрешь. Небось на войне нехорошо? *Даня Андреев*».

О том, что на войне нехорошо, о госпиталях, переполненных ранеными, он знал из домашних разговоров – дядя во время войны кроме 1-й Градской работал еще и в госпитале.

Другое заметное событие, о котором он пишет отцу, – «сбор на ромашку». «День белой ромашки» – сбор пожертвований на борьбу с туберкулезом – проводился в предреволюционные годы каждую весну, в конце апреля. В этот апрель сборщиками «на ромашку» вместе с другими гимназистами были и Саша Добров со своим приятелем Андреем Немчиновым.

Даниила интересует Вадим с его исполнившейся мечтой, о которой он не раз говорил, – о том «энфильдовском велосипеде», который обещал подарить отец и, конечно, подарил.

Прочитанный рассказ отца о брошенной на даче собаке, о ее тоскливом одиночестве среди всечеловеческого равнодушия Даниила так тронул, что он спрашивает в письме: «Ты ли написал рассказ “Кусака?”» Он хочет подтверждения от него самого. Но если отец пишет рассказы, то почему бы не писать и ему? А кроме рассказов этой же весной, в «ужасном» ожидании лета, написал «самое первое стихотворение» – «Сад»:

Мѣсяцъ и число. | Колич. пакет. | Кому адресовано. | №№ пакетовъ. | Росписка.

По дорогѣ – у меня
тендарен:
Второго
сосѣдней
котораго
братишься
воѣнное.
думался.
ми словами
мѣдь вынуда
эки неболь=
удивительно красивый камень, пере=
мевавшій всѣми цвѣтами радуги.
Прибывши на островъ Бѣгри бога
превратились въ птицы и полетѣли
по дворцу. Многочисленные люди, по=
подавшіеся ими на путь ничего не
подозрѣвали въ безобидныхъ птицахъ.

Декеніанъ сказалъ:
есть таинственный
мнѣ богинѣ
(богиня волшебства
страны), при помощи
мы могисмъ пре=
въ какое угодно
Идемъ мы и возьмемъ
Сонти=
Декен=
про одѣ=
шой

Страница детской тетради Д. Л. Андреева

Где цветет кустами жасмин,
Где порхают стрекозы гурьбою,
Где сады хризантем, георгин
Расстилаются цепью немою,

Там теперь уже лето другое:
Там построен огромный дом;
Не цветет уже больше левкое:
Там огромнейший город кругом.

Стихотворение он посвятил «Дроготусе – Олечке». Олечка – жившая в их доме его воспитательница, Ольга Яковлевна Энгельгардт. Когда началась война, она забрала к себе из Риги дочь – Ирину. Ирину в перенаселенном доме Добровых тогда разместить было негде, и ее на время поселили у Муравьевых. Потом она стала жить у Добровых, в комнате с Даниилом. Олина Ирина, которую боднул «козерог», тут же получила прозвище – Ирина Кляйне (маленькая). В отличие от Ирины Муравьевой, младшей, но на голову выше и крупнее. С ними, с двумя Иринами и Таней, он и побывал апрельским днем в зоопарке.

Ольга Яковлевна, или Оля, как все в доме ее звали, сопровождала Даниила все детство. Ее скромный призрак появляется с докучными ребенку заботами и в его взрослых стихах: «А мне – тарелка киселя / И возглас фройлен: «Шляфен, шляфен!»

Фройлен у Добровых появилась еще при жизни бабушки. Полунемка, полулатышка, она учила его языку, стараясь почаще говорить с ним по-немецки. Он проказничал, не слушался, а когда та обиженно грозилась уехать от него, что происходило чуть не каждый вечер, кричал: «Олечка, ферцай!» «Дроготуся» Олечка всякий раз прощала.

Кроме фройлен у Даниила была няня, совсем молоденькая. Звали ее Дуней. Это Дуня в Вамельсуу вытащила его из проруби. Но Дуня, видимо, была не первой няней Даниила. Ее предшественница мелькнула в стихах:

Вступал в ворота Боровицкие
Я с няней, седенькой, как снег!

Мы шли с игрушками и с тачкою,
И там я чинно, не шаля,
Копал песок, ладоши пачкая
Землею отчего Кремля.

По всей комнате Даниила были развешаны нарисованные им портреты правителей выдуманных династий, сохранились они и в детской тетради. Все это были отголоски о́тчего Кремля, окружавшей памятник Александру II кремлевской галереи с потолком в мозаичных портретах великих князей и царей московских.

7. Отец и сын

Отец Даниила после января 1910-го, в котором он пробыл в Первопрестольной полторы недели, в Москве не появлялся до лета 1915 года. Тогда, после плавания на пароходике «Орел», он от Москвы сумел добраться до Рыбинска и, заболев, с полпути вернулся домой. О том, что он виделся с сыном, может свидетельствовать написанное тем летом стихотворение Даниила «Гимн», посвященное «милому папе»:

Грустный гимн прощания,
Тихий гимн полей,
Звонкий гимн свидания,
Длинный гимн аллей.
Все гимны сливаются
В один странный звук;
То он колебается,
То затихнет вдруг.

Это его второе стихотворение в жизни.

Леониду Николаевичу удалось еще раз в Москву приехать в октябре того же 1915 года. Но каждый раз он приезжал с множеством литературных и театральных дел. В тот год 18 октября Леонид Андреев последний раз побывал на «Среде» у Телешова, где читалась его не принятая Художественным театром трагедия «Самсон в оковах», и опять без успеха. Потом появился в Москве в ноябре. Даниила видел в эти приезды мельком, надолго у Добровых не задерживаясь.

Леонид Андреев жил судорожно и трудно. Писавший много, он нервно переживал войну, все творившееся в обреченно приближавшейся к революции России, и заглушал постоянную тревожную тоску сменявшими друг друга увлечениями. По-другому ему не жилось и не писалось. «Почти все лучшие мои вещи я писал в пору наибольшей личной неурядицы, в периоды самых тяжелых душевных переживаний»[48], – признавался он. Один из самых знаменитых писателей России тех лет ощущает себя непонятым, загнанным. «Та травля, которой в течение 7–8 лет подвергают меня в России, – записывает он в том же октябре 1915-го, – чрезвычайно понизила качество моего труда... Кто знает меня из критиков? Кажется, никто. Любит? Тоже никто. Но некоторые читатели любят – если и не знают. Кто они? Либо больные, либо самоубийцы, либо близкие к смерти, либо помешанные. Люди, в которых перемешалось гениальное и бездарное, жизнь и смерть, здоровье и болезнь, – такая же помесь, как и я»[49]. Это диагноз не только самому себе или своему читателю, но и современной России. В то же время его здоровое, дневное начало тянется к семье, к детям, кроме Вадима и Даниила их еще трое – Савва, Вера и Валентин. Дом на Черной речке, как и дом Добровых, все время переполнен. Его тянет к природе, он уходит в море на своей яхте.

В «Автобиографии красноармейца...» Даниил Андреев пишет, что в последний раз виделся с отцом и с братом Вадимом летом 1916-го, в Бутове. Дожидаясь их, наверное, здесь же, в Бутове, он написал еще одно посвященное отцу стихотворение «Соловей». Добровы снимали дачу в Бутове много лет подряд, сменив на него близкое Царицыно. Дача находилась неподалеку от железнодорожной станции по Курской железной дороге. С этим живописным в те годы дачным местом многое было связано и у Леонида Андреева. Есть фотография, на которой он снят вместе с Александрой Михайловной на поляне у березовой рощи в Бутове. Александра Михайловна с доверчиво приоткрытым ртом и затаенно грустным взглядом, Леонид Николаевич напряжен и тревожен. Она ждет рождения первого ребенка. И только пережившие русский двадцатый век, знающие о судьбе их сыновей, Вадима и

Даниила, о том, что именно здесь, в Бутове, будет огорожен колючей проволокой расстрельный полигон, на котором казнят двадцать одну тысячу мало в чем повинных людей, глядя на эту фотографию, могут представить – о чем эти грусть и тревога.

В Бутово Леонид Николаевич приехал в самом начале июля 1916 года с Вадимом с намереньем прожить три недели.

«Мы пошли гулять втроем – отец, Даня и я – бутовскими березовыми рощами, широкими, уходившими к самому горизонту полями...» – рассказывал Вадим об этой прогулке, во время которой отец, проведший здесь памятные месяцы с их матерью, увлекся воспоминаниями. Но чем больше вспоминал, тем мрачней и неразговорчивей становился. «Около маленького, заросшего кувшинками и водяными лилиями пруда, окруженного длиннолистыми ивами и высокими березами, прямыми как мачты, – сюда приходили по утрам купаться отец и мать – отец, резко повернув, быстро зашагал к даче Добровых...»[50] На другой день уехал.

Проводившая лето вместе с Добровыми в Бутове Ольга Бессарабова, которую пригласили позаниматься с маленьким Даниилом, 22 июля писала в дневнике о братьях: «Что станется в жизни с Даней Андреевым? Теперь это восьмилетний изящный и хрупкий мальчик, замечательное дитя, необычайно одаренное. Чудесное личико, живое, красивое, умное. Берегут его как зеницу ока. Дима (старший) замкнутый, молчаливый, издали мне кажется умным и много замечающим»[51]. Занятия с Даниилом были не обременительными. «Кажется, “урок” этот придуман нарочно, – замечала Бессарабова, – чтобы мне свободнее жить на даче летом. Кстати, чтобы и Даня не отвык от занятий»[52].

В последний раз Леонид Андреев приезжал в Москву 14 октября 1916 года. 17 октября в театре Ф. Ф. Комиссаржевского состоялась премьера его пьесы «Реквием». Что, конечно, символично. Виделся ли он на этот раз с Даниилом, неизвестно. А из их переписки мало что уцелело. В детской тетради есть черновик еще одного начатого письма отцу, которое, судя по всему, писалось тогда же, в 17-м или даже 18-м: «Дорогой папа! Как я обрадовался, когда узнал о возможности послать тебе письмо...» Фраза написана латинскими буквами. Это был один из «шифров» их переписки, Леонид Николаевич переписывался с сыном даже азбукой Морзе. Письма эти потом пропали на Лубянке.

Из азбуки Морзе и название его знаменитой статьи «S.O.S.», написанной 6 февраля 1919 года. По ее поводу Горький, в Петербурге сам возмущавшийся множеством «бессмысленных жестокостей, которые ничем нельзя оправдать», заявлял: «Ничего, ни зерна, не понимает, а – орет...»[53] Но считавший победивших

большевиков силой «зла и разрушения», прокричавший о наступлении времени «*безнаказанности* для убийств», о том, что ныне в мире «престолослужительствует сам пьяный Сатана», Леонид Андреев, как оказалось, предсказал наступление страшной тирании в России и кровавое будущее Европы. Апокалипсически-надрывные строки статьи словно бы предопределили судьбу его сына, пафос его писаний. Крик, показавшийся бывшему близкому другу, крестному отцу Даниила неуместным – «И чего лезет не в свое дело!» – оказался пророческим и предсмертным.

В том же 1919 году, 12 сентября, в деревне Нейвола Леонид Николаевич Андреев умер. В Москве о его смерти узнали по лаконичной телеграмме, появившейся в газетах, и многие этому не верили. Такое было время – неверных слухов, путаных сообщений. Не верили и Добровы, пока не получили из Парижа письма от овдовевшей Анны Ильиничны. Шла Гражданская война, действовала ВЧК. Газеты в том сентябре помещали сообщения с фронтов – оставлен Нежин, взят Житомир, взят Конотоп... 23 сентября опубликован список 66 расстрелянных за шпионство в пользу Антанты и Деникина. 25-го взорвана бомба в Московском комитете РКП в Леонтьевском переулке. 28-го на Красной площади прошли революционные похороны жертв под лозунгом «Ваш вызов принимаем, да здравствует беспощадный красный террор».

Этот год Добровы пережили особенно трудно. Весной Филипп Александрович заразился сыпным тифом, к лету с трудом выздоровел. Наступившая зима оказалась голодной и холодной. Занесенная сугробами Москва растаскивала на топливо заборы, сараи, всё, что можно было сунуть в печь.

Даниил, давно отца не видевший, взрослея, все больше представлял его не как родного человека, каким ему был дядюшка Филипп, а как отца мифологического. Так все и говорили: Даниил – сын писателя Леонида Андреева. Татьяна Оловянишникова вспоминала, что, когда они учились в школе, как-то им достали билеты на «Младость» Леонида Андреева. «И, конечно, Данечка по дороге в театр потерял их. Подходя к театру, он размышлял, как нам попасть на спектакль. “Ну, я скажу, что это мой отец написал пьесу”»[54]. В театр они попали.

8. Дом в Малом Левшинском и его обитатели

Дом Добровых появившаяся в нем в 1915 году Ольга Бессарабова восхищенно назвала сердцем России, сердцем Москвы. «Дом Добровых кажется мне прекрасным, волшебным резонатором, в котором не только отзываются, но и живут:

Музыка – самая хорошая (Бетховен, Глюк, Бах, Моцарт, Лист, Берлиоз, Шопен, Григ, Вагнер). Русские и иностранные, разные, но все хорошо выбранные <...>

Стихи на всех языках, всех веков и народов, и конечно же лучшие, самые драгоценные, а плохим в этот дом и хода, и дороги <...> нет. События. Мысли. Книги. Отзвуки на все, что бывает в мире, в жизни.

Жаль, что не умею, вряд ли сумею рассказать, как хотела бы и как было бы очень нужно, рассказать о добровском доме и о прекрасных его обитателях и хоть о некоторых его гостях»[55], – писала она в дневнике 17-го года.

О детстве Даниила Андреева, о том, как рос его удивительный дар, мы бы мало что знали, если бы до нас не дошли сбереженные в семье Сергея Николаевича Ивашева-Мусатова, близкого друга Даниила, две его детские тетради.

В них много замечательного. Например, рассказы в картинках с подписями, вроде комиксов, рисующие жизнь добровского дома. Главный герой рисунков дядюшка Филипп, над которым племянник все время подшучивает.

Вот рассказ «Прерванное воскурение фимиама». Рисунки не блещут выразительностью, но каждая ситуация описана лаконично, с юмором. На первом рисунке изображен дядюшка, полулежащий у открытого окна, за которым фигурки прохожих, держит в руке дымящую трубку, и подпись: «Послеобеденный отдых. Дядюшка воскуряет фимиам-полукрупку». Подпись под следующим рисунком: «Шурочка (за занавеской с горячим молоком в руках): – Папа, тебя к телефону». Подпись под третьим рисунком – диалог: «– Кто еще там?! – И с этим разгневанным возгласом дядюшка встает с кушетки! – Не знаю... – испуганно лепечет Шура». Под четвертым: «Ничего не видя за занавеской, дядюшка натыкается на горячее молоко, которое обдает его. Шурочка вопит о помощи». Под пятым: «Дядюшка с проклятиями, но летит к телефону». Под шестым: «Дядюшка ложится на стул и разговаривает по телефону». На двух последних «Дядюшка, отговорившись, возвращается...» «и продолжает воскурять фимиам».

А какова фраза о дядюшке в сценах «В семейном кружке»: «Дядюшка летит с самоваром. Оба дружно пыхтят»! Рассказы в картинках мало что говорят о способностях автора к рисованию, но литературный талант несомненен. Он честно описывает свои озорные выходки. Язык точен и ярок: «Я выкомариваю...», «Подшлепник не пролетает мимо», «Но дядюшка помнит свои долги и... я вскрикиваю громким голосом».

Наш стол во время завтрака
Страница детской тетради

Дядюшка – основной герой рассказов. Он и являлся главной фигурой дома, его душой. Вадим вспоминал: «...дядя Филипп по всему складу своего характера был типичнейшим русским интеллигентом, – с гостями, засиживавшимися за полночь, со спорами о революции, Боге и человечестве. Душевная, даже задушевная доброта и нежность соединялись здесь с почти пуританской строгостью и выдержанностью. Огромный кабинет с книжными шкафами и мягкими диванами, с большим, бехштейновским роялем – Филипп Александрович был превосходным пианистом – меньше всего напоминал кабинет доктора. Приемная, находившаяся рядом с кабинетом, после того как расходились больные, превращалась в самую обыкновенную комнату, где по вечерам я готовил уроки. В столовой, отделявшейся от кабинета толстыми суконными занавесками, на стене висел портрет отца, нарисованный им самим. На черном угольном фоне четкий, медальный профиль, голый твердый подбородок – Леонид Андреев того периода, когда он был известен как Джемс Линч, фельетонист московской газеты “Курьер”. В доме было много мебели – огромные комоды, гигантские шкафы, этажерки...»

Все, кто бывал в доме Добровых, вспоминали о его хозяине с восхищением. Он был уважаем всеми не только как самоотверженный доктор, но и как замечательно разносторонняя, глубокая

личность. Вот его портрет зимы двадцатого года: «...сутуловатый, с бородкой клином, пушистыми усами, как бы небрежно подстриженными, блондин. Характерный жест для Филиппа Александровича – поглаживание бородки книзу и реже – поглаживание усов. Густые брови и ресницы подчеркивали серо-голубые, глубоко сидящие глаза. <...> Походка у Филиппа Александровича мешковатая и плавная, почти без подъема ступней от земли, но быстрая. Смех был заразительным и раскатистым, и смеялся он всегда громко, но как-то всегда в меру, ненавязчиво и ненадоедно. Он очень любил юмор, и смех был свойствен его природе. Мягкие красивые руки – музыкальны»[56]. Филипп Александрович и создал ту духовную атмосферу, которая воспитала Даниила. О докторе близкий друг Даниила Андреева, Ивашев-Мусатов писал:

«Старшим дома Добровых был доктор *Филипп Александрович Добров*. Он был человеком громадной, редкой и возвышенной культуры и редкой внутренней скромности.

Обычно вечером, часов в 10, Филипп Александрович уходил в свою комнату – и там ложился на свою кровать, и читал часов до 12 ночи. Сосредоточенно, вдумчиво и глубокомысленно Филипп Александрович читал книги по вопросам искусства, литературы, философии и истории. Ночная тишина и спокойствие в доме давали Филиппу Александровичу ту внутреннюю собранность и углубленность, которые помогали ему вникать в глубину мысли читаемых книг. В течение 20–25 лет Филипп Александрович все свои вечера проводил за такими чтениями, и понемногу эти его чтения давали ему большой и разнообразный материал, который складывался постепенно в его своеобразное, индивидуальное мировоззрение, глубоко и вдумчиво обоснованное, прочувствованное и значительное, представлявшее собою нечто цельное и единое. Встречаясь с людьми, Филипп Александрович не отказывался вступать с ними в серьезные, этико-философские обмены мыслями, не скрывал своих убеждений, слушал возражения или согласия. Такая беседа была непроизвольной, оба участника не добивались убедить противника в верности своей мысли и в ошибочности мысли ему возражавшего. Это был в полном смысле *обмен мыслями* и ни в коем случае *не споры*. И такой, *чуждый спора, обмен мыслей* давал и Филиппу Александровичу, и беседующему с ним какое-то своеобразное ощущение, что произошло нечто глубокое и важное в жизни того и другого, что трудно объяснить, но что несомненно как-то по-особенному важно и нужно было для внутренней духовной жизни говоривших между собою...

Вот пример одной из бесед Филиппа Александровича с одним из своих посетителей.

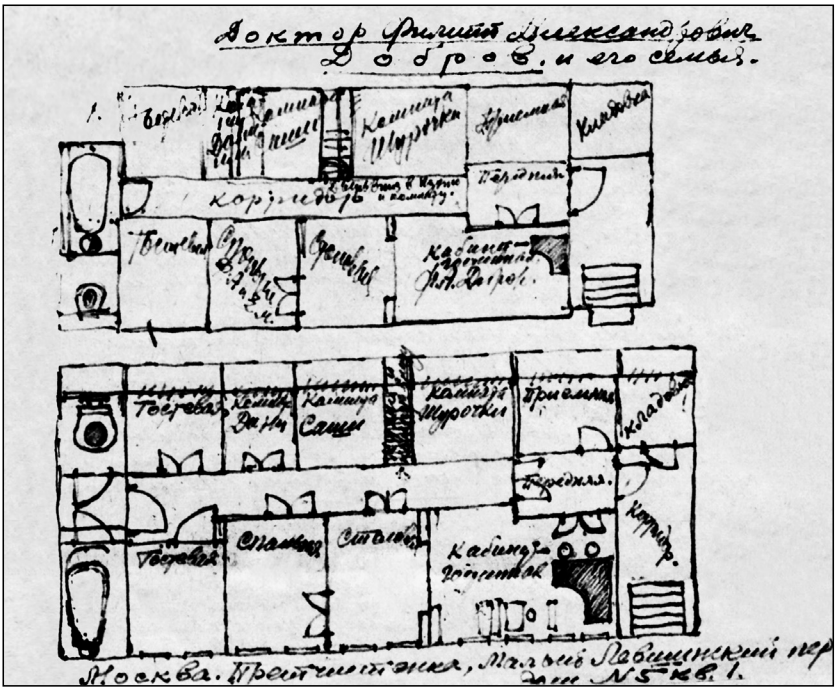


Схема квартиры Добровых. Малый Левшинский переулок, дом № 5, кв. 1. *Рисунок Б. А. Бессарабова*

Зашел разговор о начале Евангелия от Иоанна. Евангелие от Иоанна было написано по-гречески. Оно начиналось так: “В начале был Логос, и Логос был у Бога, и Бог дал Логос”.

Для полного понимания этих слов надо вспомнить, что в Греции понималось под словом Логос. История понятия Логоса была длительной и сложной. Сначала под словом Логос понималось обычное повседневное значение в примитивном смысле того слова, которое употребляется каждодневно. Затем, с развитием греческой философии, значение слова Логос углублялось, постепенно приобретая все более серьезный, чисто философский смысл. И *ко времени написания Иоанном его Евангелия под словом Логос уже понималось возвышенное понятие высшей мудрости, высшей правды, духовного высшего смысла*. Поэтому, чтобы вникнуть по-настоящему в начало Евангелия от Иоанна, надо вместо слова Логос вставить его значение, как оно понималось во время Иоанна. Получим такое выражение для начала Евангелия от Иоанна: “В начале была мудрость, высшая правда, духовный высший смысл; эта мудрость высшая правда, духовной высший смысл был у Бога; далее эта мудрость, высшая правда, духовный высший смысл стал Богом”. После такой замены в начале Евангелия от Иоанна

слова Логос его значением получилась *величественная, возвышенная, глубокая философская мысль, философски определяющая начало бытия*. Трудно представить себе более возвышенное и глубокое выражение для понятия начала бытия, чем эти слова. <...>

В *таком* понимании беседа посетителя с Филиппом Александровичем принимала все более и более глубокий, философский смысл; и если и была в начале разговора малопонятной посетителю в силу того, что в беседе возникли такие малознакомые ему понятия, как Логос, как Бог, – то в продолжении беседы посетитель, избегая спора, все более и более вдумывался в новые ему понятия, и невольно обогащал ими свое сознание, и уходил домой уже не тем, каким пришел, а духовно много богаче и глубже...

Можно было бы привести примеры других бесед Филиппа Александровича. Они были об иных предметах, об иных понятиях, – но всегда держались важных областей и приоткрывали перед посетителем нечто духовно новое и ему неизвестное, или мало ему понятное, – и тем обогащали его сознание.

Теперь, когда я вспоминаю мои посещения дома Добровых и мои беседы с Филиппом Александровичем, мне всегда представляется, что я как бы сразу выхожу в какую-то особенную область, в которой куда-то исчезают повседневные заботы и соответствующие мысли и ощущения, и вместо них появляются самые важные в жизни вопросы о величии жизни, о красоте и значительности бытия, о вечности жизни, о высшем назначении жизни, об ее оправдании перед человеческим сознанием, о высшем смысле жизни, – и эти вопросы приобретают огромное значение. Они заслоняют собою все остальное, всю обычную повседневную жизнь, все кажущееся таким важным и интересным, – а вместо них в каком-то особенном освещении и отчетливости ставят вечные вопросы религиозно-этически-философского плана. Я знаю, что я не один *именно так* воспринимал влияние на меня дома Добровых, но что все, входившие в их дом, именно так как бы погружались в духовную атмосферу их дома»[57].

Благодаря главным образом дядюшке, который в юности хотел стать музыкантом, мечтал о композиторстве, но по воле отца стал врачом (по семейной традиции старший сын должен был унаследовать профессию), в доме жил «дух музыки». Этот дух, как бы ни сопротивлялся музыкальным урокам племянник, овеял его детство и остался в нем навсегда.

...Над клавишами вижу я седины,
Сощуренные добрые глаза.

Играет он – играет он – и звуки,
Струящиеся, лёгкие, как свет,

Рождают его старческие руки,
Знакомые мне с отроческих лет.

Все Добровы были очень музыкальны, сестра доктора, Софья Александровна, окончившая Московскую консерваторию по классу фортепьяно, стала органисткой. По крайней мере, вагнерианство Даниила начиналось под воздействием дядюшкиного. И знаменитые музыканты в доме Добровых бывали, в нем играл Скрябин, пел Шаляпин.

Даниил был самым младшим, его все любили, баловали. И, по крайней мере, пока послереволюционная действительность не сделала жизнь семьи трудной, детство было счастливым. По воспоминаниям Аллы Александровны Андреевой, «он благодарил за это Бога до последних дней и помнил много веселых и забавных эпизодов из своего детства. Например, к Дане приходил домашний учитель, который установил две награды, вручавшиеся в конце недели за успехи в учении и поведении. Вручались – одна буква санскритского алфавита и одна поездка по Москве новым маршрутом – сначала конки, а потом трамвая. Санскритские буквы околдовали мальчика любовью к Индии, а поездки по Москве укрепили врожденную любовь Даниила к родному городу»[58].

Из его тетради мы узнаем о семейных увлечениях, это – бильбоке, серсо, крокет, пасьянс.

Бывало, что летние месяцы он проводил вместе с семьей друзей Добровых – Муравьевых, у их бабушки, в селе Щербинино в 14 верстах от Твери. Даню к ним отправляли вместе с Ольгой Яковлевной. Приезжал к ним и Саша Добров, рослый красивый гимназист, которого Николай Константинович шутливо величал бароном Брамбеусом. Детская дружба Даниила с сестрами Муравьевыми осталась навсегда.

Даниил часто влюблялся. Одной из первых избранниц была шестилетняя Ирина Муравьева, которая, конечно, об этом и не подозревала, а Даниил хотел на ней, когда вырастет, жениться, она его устраивала, как, смеясь, вспоминал он через годы. О другой влюбленности бутовским летом 1916-го рассказано в стихах:

Она читает в гамаке.
Она смеётся – там, в беседке.
А я – на корточках, в песке
Мой сад ращу: втыкаю ветки.

Она снисходит, чтоб в крокет
На молотке со мной конаться...
Надежды нет. Надежды нет.
Мне – только восемь. Ей – тринадцать.

Она в прогулку под луной
Свой зов ко взрослым повторила.
И я один тащусь домой,
Перескочив через перила.

Она с террасы так легко
Порхнула в сумерки, как птица...
Я ж допиваю молоко,
Чтоб ноги мыть и спать ложиться <...>

А попоздней, когда уйдёт
Мешающая фройлен к чаю,
В подушку спрячусь, и поймёт
Лишь мать в раю, как я скучаю.

Трещит кузнечик на лугу,
В столовой – голоса и хохот...
Никто не знает, как могу
Я тосковать и как мне плохо.

Судя по рисункам Даниила, Добровым вскоре после революции пришлось потесниться, хотя семья была многолюдной. Из девяти комнат, две из которых занимала прислуга, у них осталось три, квартира стала коммунальной. Но в тесноте жила вся Москва. Петроградец Чуковский после поездки в столицу заметил, что «в квартирах особый *московский* запах – от скопления человеческих тел»[59]. Кабинет Филиппа Александровича стал жилой комнатой, хотя рояль стоял на прежнем месте. Комнату, в которой жил Даниил, разделила занавеска. Здесь устроили Ирину Кляйне.

Над ними, на втором этаже живут некие Михно. Об этом мы узнаем из рассказа в рисунках «Водопад в миниатюре»: «Я сплю». «Внезапно ночью от Михно начинает течь». «Наконец я не выдерживаю и ставлю таз». «Но можете себе представить мой ужас, когда об таз капает все громче!!!»

Сестра Елизаветы Михайловны, Екатерина Михайловна, после того как ее мужа, Николая Степановича Митрофанова, как врача мобилизовали, из Нижнего Новгорода все чаще приезжала к Добровым. У них жил ее сын, Арсений. В 19-м пришло известие, что муж умер от тифа. Так она у сестры и обосновалась. А в 23-м поселилась у них Феклуша, монахиня Новодевичьего монастыря, оставшаяся без крова. Весной 22-го монастырь закрыли, настоятельницу игуменью Веру и еще нескольких клириков предали революционному суду. Среди осужденных – крестивший Даниила семидесятилетний протоиерей Сергий Успенский. Если храм, где он служил, некогда

запечатлел Поленов, то самого отца Сергия для картины «Русь уходящая» написал Павел Корин.

С лета 17-го года и почти до Шуриного замужества у Добровых жила ее подруга Эсфирь Пинес. Поселилась она по предложению Елизаветы Михайловны: «Шура так больна, нервна, и ей это приятно, она дружит с Эсфирью, может быть, Шуре будет легче»[60]. В тетради Даниила есть стихотворение, посвященное «Эсфирюшке», – «Гимн Венере». Под ним дата 6–7 ноября 1918 года. Строчка «Красавица вечера, ты блестишь в небесах!» или эпитеты «Опалово-яркая, жемчужно-прекрасная», хотя и относились к утренней звезде, должны были ей польстить, по мнению щедрого автора. У Малахиевой-Мирович, как и в «гимне» Даниила, Эсфирь – денница, павший Серафим с чертами скорбными и больными. И цикл ей посвященный она назвала «Утренняя звезда». Изломанное, богемное создание тех лет, предпочитавшая после работы мужской костюм, изящная, порой бесцеремонная Эсфирь вызывала у иных обитателей дома неприязнь. Как у Арсения и Саши, познакомившего сестру с Эсфирью, у нее имелись проблемы с кокаином.

В 22-м Добровы приютили сироту, старшую дочь умершего от чахотки сибирского священника – Фимочку. Претерпевший множество бед, он стал служить в церкви Покрова в Левшине. Батюшку с измученным болезненным лицом Елизавета Михайловна после обедни пригласила к завтраку, и тот, прилегший отдохнуть на диван, тут же умер. Мать Фимочки умерла раньше, на пути в Москву, от тифа, оставив восьмерых детей.

9. Гимназия Репман

В 1917-м Даниилу исполнилось одиннадцать лет. Революционные перемены он воспринимал не только из взрослых разговоров, жизнь быстро менялась, сегодняшние события мгновенно заслоняли вчерашние. В последний день февраля в Москве толпа собралась у городской управы, читали в рупора телеграммы из Петрограда, поднимали красные флаги. Народ толкся на Тверской, перед Городской управой на Воскресенской площади... Шура «пошла на Воскресенскую площадь “для сильных ощущений” <...> и “потому, что не могла сидеть за печкой”. Саша пошел с ней, потому что сестра идет, и он ничего не боится...» С детьми пошла и Елизавета Михайловна: «погибать, так вместе»[61]. Так же вместе Добровы в начале апреля на Страстной неделе и на Пасху ходят на службы в храм Христа Спасителя. Но говорят в эту весну «больше всего о Ленине в Петербурге, об охранке, о грядущем

наступлении, письмах Лоллия Львова в “Русских ведомостях”», «о политике, о власти, об устроении жизни страны»[62]... Елизавета Михайловна верит, что «народ и страна наша не погибнут. Но будет много катастроф, жертв и бед. Неисчислимо и неизмеримо»[63].

А в октябре на московских перекрестках горели костры, толклись вооруженные люди. На крышах высоких домов пулеметы. Во время восстания юнкеров их тихий переулок оказался под огнем, рядом, на Пречистенке, размещался штаб Московского военного округа. По Москве слышалась стрельба, усиливавшаяся к ночи, ухали пушки. В Кремле верхушку Беклемишевской башни снесло снарядом, на Спасской разворотило часы, в Успенском соборе зияла пробоина, зацепило один из куполов Василия Блаженного... Всюду по уже чуть тронутой снежком ноябрьской Москве встречались следы боев: разбитые стены, выбитые окна. Упоминали о трех тысячах убитых. На улицах мелькали хмурые фигуры солдат. В разговорах раскатистую фамилию Керенского сменили резкие – Ленин, Троцкий.

Говорили в доме Добровых о многом, о том, чем жила Россия, чем жила Москва.

В декабре давали по карточкам четверть фунта хлеба на человека в сутки.

В январе наступившего 18-го года обокрали Патриаршию ризницу.

1 февраля ввели новый стиль, и сразу наступило 14-е число.

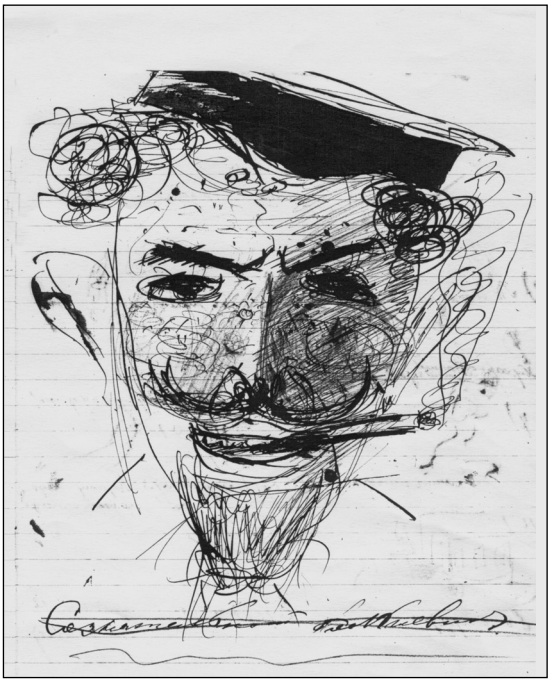
21-го на закате москвичи видели небесное знамение. От заходящего солнца взметнулся высокий огненный столб, прорезанный поперечной полосой. Багровый крест в полнеба осенял закат несколько минут. На другой день по Москве пошли толки о кресте, идущем с запада.

Ночью с 9-го на 10 марта большевистское правительство тайно оставило Смольный и выехало в Москву, ставшую революционной столицей.

На Пасху (она в том году была поздней – 4 мая) народ первый раз не пустили в Кремль.

В соседнем доме, в том самом, где когда-то жили Аксаковы, в квартире 9 ЧК в конце мая схватила контрреволюционную группу «Союз защиты родины и свободы». В два часа дня подъехали грузовики с латышами-чекистами во главе с самим Петерсом и увезли захваченных врасплох неопытных заговорщиков.

В июле стало известно о расстреле царя. Сообщение сопровождалось лицемерной ложью: «Жена и сын Николая Романова отправлены в надежное место».



Сознательный большевик
Страница детской тетради Д. Л. Андреева

Революционная современность попала и в тетради Даниила. Вот диалог под рисунком, изображающим брюхастого господина с рукой в кармане и тощего господина в канотье и с тросточкой:

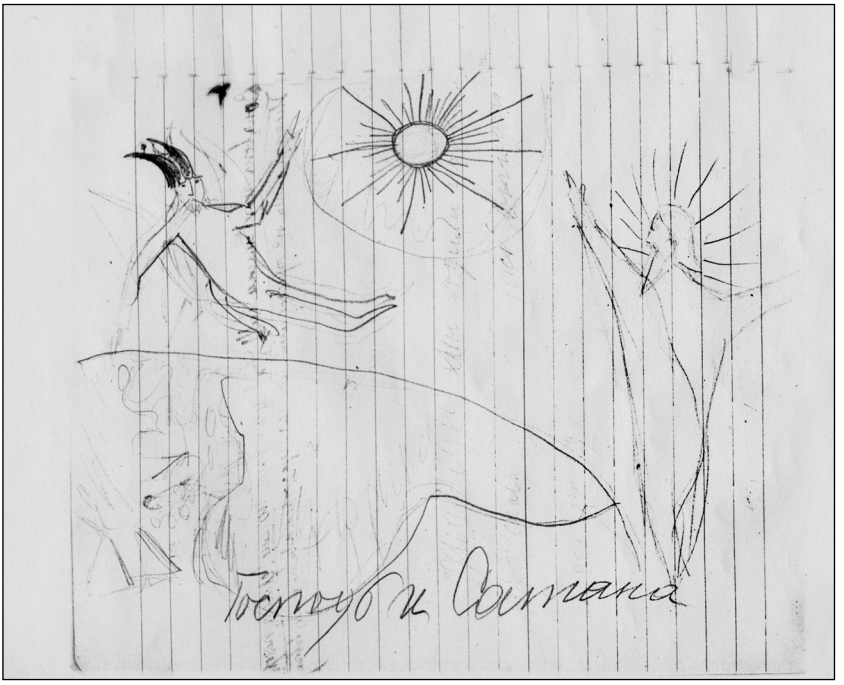
«– Василий! Ты мой дворник бывший?!

– Ишь, буржуй, худышкой стал! А во-вторых, какой я тебе дворник?!

– Кто старое вспомнит – тому глаз вон! А вот мы, Василий, настоящее вспоминаем, ты теперь будешь буржуй, ты, мой дворник».

«Кража» – озаглавил Даниил изображенный им эпизод тех лет во «второй» тетради. «В 2 часа ночи Саша зимой идет по улице в дедушкиной шубе. Он спокойно продолжает идти, как вдруг сзади появляются воры. Саша отбивается от воров, но безуспешно. Воры поспешно уходят, а Саша все еще вопит, хотя его крик – крик вопиющего в пустыне. В конце концов Саше приходится раздетым возвратиться домой...»

Даниил и к себе, герою шутливых сочинений, относится с улыбчивой иронией. Вот какую характеристику он дает самому себе: «Даня Андреев слыл смешным и хитрым мальчиком. Его прозвали “Рейнике-лис”. Он любил пошалить, но драки не любил



Господь и Сатана
Страница детской тетради Д. Л. Андреева

и всегда избегал. Когда в играх начинали жулить, он переставал играть, и тогда все больше не жулили». Давая характеристики одноклассникам, из любви к справедливости не обходит и себя. В сентябре 1917-го его отдали в прогимназию для детей обоего пола Е. А. Репман, основанную в 1904 году и «одну из самых передовых и демократических в Москве, практиковавшую еще до революции совместное обучение», – как он позже писал в «Автобиографии». В том же году гимназия стала 23-й школой второй ступени Хамовнического отдела народного образования, чуть позже получив № 26. Находилась она рядом с домом, где жил и умер Гоголь, в Мерзляковском переулке, во дворе нынешнего дома полярников (Никитский бульвар, 9). Руководили гимназией ее основательницы Евгения Альбертовна Репман и Вера Федоровна Федорова.

Еще в 1816 году Христиан Карлович Репман, нидерландский подданный, приехал в Петербург, дав начало жизнестойкой русской ветви рода, сумевшей пережить и век двадцатый. Отец хозяйки и создательницы прогимназии был не только действительным статским советником, доктором медицины, но и дирек-

тором отдела прикладной физики в московском Политехническом музее[64].

Революция, когда менялся сам ход времени, отзывалась на всем и вся. Ровесник Даниила вспоминал, что в 1917 году, когда он поступил в гимназию, «каждый день, во время большой перемены, дети московской интеллигенции устраивали побоища (не слишком грозные и кровавые) между “юнкерами” и “большевиками”»[65]. Кому-то Даниил запомнился тогда нервным ребенком, плаксой...

Академик Колмогоров, окончивший школу Репман, которую называл «необыкновенной гимназией», раньше, чем Даниил, свидетельствовал: «В 1918–1919 годах жизнь в Москве была нелегкой. В школах серьезно занимались только самые настойчивые»[66]. В классах появлялись новые ученики, неожиданно исчезали прежние. Менялись и учителя. Но традиции, несмотря ни на что, еще хранились. А среди учителей были замечательные.

Надежде Александровне Строгановой в 17-м было уже за сорок. Жена ученого, она была блестяще образованна, окончила, кроме гимназии и Высших женских курсов, еще и Сорбонну. Преподавая французский язык, знакомила учеников с французскими классиками и современными писателями, вела с ними философские беседы. Вот какой портрет ее оставила познакомившаяся с ней в начале 30-х современница: «...острый ум, холерический темперамент. Внешность... смуглое сухое лицо, жгучие черные глаза протыкают тебя насквозь... забраны на темя волосы, но заколоты небрежно, темно-серые пряди выбиваются из допотопной прически... черный балахон без пояса, от горла до земли, с узенькими рукавами до пальцев облегает ее тощее подвижное тело»[67]. Темпераментное учительство, иногда превращавшееся в деспотизм, стало ее второй натурой. Вот диалог Надежды Александровны, из тех же 30-х, с попавшейся под руку возможной ученицей:

« – А вы ходите в церковь?

– Иногда, на похороны. И к заутрене, ради настроения – посмотреть на крестный ход, на свечи, лица... по традиции, конечно.

– Какой ужас! Где ваша душа? – Она припугнула меня адом. И еще:

– Вы читали “Столп и утверждение Истины” Флоренского?

– Нет. Нет еще...

– Стыдно. Вы – крещеный русский человек, занимаетесь философией как язычница! Пора заложить фундамент Православной Веры»[68].

Строгановы тоже жили в приарбатском переулке – в Кривоникольском. В коммуналке в комнате Надежды Александровны

«стоял многоярусный киот, мигали две лампады, иконы были занавешены платками от нежелательных советских глаз»[69]. Пламенность натуры с годами сосредоточилась в ее православной истовости, учительские интонации стали проповедническими. На таких, как она, и стояла «катакомбная церковь». Когда Даниил Андреев писал в «Железной мистерии» о криптах, о молящихся в них, наверное, видел перед собой и непреклонную Надежду Александровну.

Литературу преподавала Екатерина Адриановна Реформатская, пришедшая в гимназию в декабре 19-го года. Историю – Иван Александрович Витвер, одновременно занимавшийся в аспирантуре Института истории, артистичный, увлеченный театром и музыкой, ей он профессионально учился перед революцией. Географию, так любимую Даниилом, – вдохновенная Нина Васильевна Сапожникова, а естествознание, уже в старших, 8-х и 9-х классах (тогда дореволюционные классы именовались группами) – Антонина Васильевна Щукина.

Федор Семенович Коробкин преподавал математику, которую Даниил, по словам одноклассницы, «не любил, не знал и не учил». «И хотя он всячески пытался совладать с собой и приняться за дело, каждый раз уходил с урока и прятался. В конце концов наступил последний урок, тот самый, контрольный. Он решил остаться. Но, как потом говорил мне, “как только раздался звонок, ноги сами вынесли”. Он рассказывал об этом так: “Проторчал весь урок в соседнем пустом классе, к тому же на меня напал кашель, и я простоял урок на подоконнике, высунув голову в форточку и кашляя в переулок, чтоб не было слышно”. Даниил был старостой класса. Это происходило уже при советской власти. Вместо частной Репмановской гимназии была советская школа. И вводились всякие новые порядки: старосты классов присутствовали на педагогическом совете, когда объявлялись отметки всех учеников. Даниил – староста, да еще фамилия Андреев – на “А”. С него начинается обнародование отметок всего класса. Преподаватели по очереди называют свою отметку каждому ученику. Когда дело доходит до математика, он, не поднимая глаз, говорит: “Успешно”.

Через несколько лет Даниил специально пошел домой к этому учителю, чтобы спросить: “Почему Вы так поступили?”. И вот что услышал в ответ: “Вы были единственным учеником, о котором я не имел ни малейшего представления. Я просто Вас никогда не видал. Меня это заинтересовало, и я стал осторожно расспрашивать остальных преподавателей об ученике Даниле Андрееве. И из этих расспросов я понял, что все Ваши способности, интересы,

все Ваши желания и увлечения лежат, так сказать, в совершенно других областях. Ну зачем же мне было портить Вам жизнь?”»[70]

А математику в этой школе преподавали замечательно, судя по тому, что именно ее окончили кибернетик академик Трапезников и гениальный математик Колмогоров. Колмогоров вспоминал: «Думаю, что очень большое значение имела общая атмосфера в частной гимназии Е. А. Репман. Эта гимназия была организована кружком демократической интеллигенции (из частных гимназий она была одной из самых дешевых по размерам платы за учение). Классы были маленькие (15–20 человек). Значительная часть учителей сама увлекалась наукой (иногда это были преподаватели университета, наша преподавательница географии сама участвовала в интересных экспедициях и т. д.). Многие школьники состязались между собой в самостоятельном изучении дополнительного материала, иногда даже с коварными замыслами посрамить своими знаниями менее опытных учителей. Делался опыт ввести в традицию публичную защиту кончающими учащимися выпускных сочинений (типа вузовской дипломной работы). По математике я был одним из первых в своем классе, но первым более серьезным научным увлечением в школьное время для меня были сначала биология, а потом русская история...»[71] В 17-м году Колмогоров вместе с одноклассником обдумывал конституцию идеального государства...

Учителя гимназии сами выбирали, как и чему учить, главное: раскрыть таланты учеников. А к ним в гимназии относились строго и справедливо. Поэтому, когда их наказывали, ни обид, ни слез не было. Распространенная в классических гимназиях зубрежка не признавалась. Обязательных экзаменов не существовало. Увлеченность творчеством и учителей и учеников, в основном детей московской интеллигенции, делала особенной обстановку в этой школе. Поэтому она была так дорога, памятна всем выпускникам, сохранявшим связь друг с другом десятилетиями. В «Розе Мира» страницы, посвященные воспитанию человека облагороженного образа, и записи по педагогике, которые делались в тюрьме в черновых тетрадях, конечно, связаны с воспоминаниями о родной школе. И не на одного Андреева школьные учителя оказали такое влияние. Память о «необычной» школе, признавался Колмогоров, «стала одной из идей, которые постоянно носились передо мной, – <...> сосредоточиться на деятельности руководства идеальной, в каком-то смысле, школой»[72]. Такую школу, математическую, он, в отличие от поэта, создал.

Вот одна из школьных шалостей Даниила, которого одноклассники называли «королем игр» за то, что «он в любую игру

вкладывал все воображение, способность к полной самоотдаче»[73]. Это рассказ с его слов: «Как-то ребята страстно заспорили о том, сколько груза поднимут воздушные шарики, и решили это проверить. Сложив деньги, выданные родителями на завтраки, они купили связку воздушных шаров и привязали к ним маленькую дворовую собачку. Спор-то шел всего-навсего о том, приподнимут шары песика или нет. Каково же было изумление ребят, их восторг и страх за бедное животное, когда шарики подняли собаку на высоту второго этажа и она с громким лаем понеслась вдоль переулка, задевая по дороге окна»[74].

В гимназию Даниил ходил пешком. Был он смуглолицым, длинноносым, и случалось, что встречная ватага арбатских мальчишек в переулке останавливала его и, обзывая «жиденком», требовала показать крест. Креста он не показывал, а, отстаивая честь, дрался.

В детской тетради Даниила есть рассказ в карикатурах «Гимназия. Несчастный день», построенный по всем законам драматургии. Он из одиннадцати карикатур: «Я опаздываю на урок», «Я рассердил учительницу: – Потрудитесь, Андреев, покинуть класс!», «Я выгнан, я грущу», «На перемене я весел, скачу, играю», «Я играю с Левой Субботиным в салазки», «Я неоднократно падаю... Вдруг в дверях грозная В<ера>Ф<едоровна>!!!», «В<ера> Ф<едоровна> читает нотацию и оставляет до 4 часов; я от страха влез под парту!», «Не унывая, я и Лева деремся...», «В дверях божественная Е<вгения> А<льбертовна>», «Вон, вон из гимназии!!! Никогда сюда не приходите», «Да! меня выключили! срам, позор! Я плачу...»

Трудные и голодные времена сплачивали и учителей и учеников. Учившийся в одном классе с Ивашевым-Мусатовым, будущим другом Даниила, и окончивший школу чуть раньше профессор Богоров, ставший крупным гидробиологом, вспоминал: «Первые годы революции Наркомзем стал снабжать школы продуктами. Все было на самообслуживании. Мы, ученики, отправлялись с детскими санками на Чистые пруды. Там нам выдавали сухой компот. На других складах по ордерам выдавали другие продукты.

Погрузив компот в мешки на санки, мы катились от Сретенских ворот к Трубной площади»[75]. Затем учащиеся голосованием выбирали «куховаров», и, конечно, каждая ложка каши, каждый стакан компота были на счету.

В те революционные времена в педагогический совет входили школьники, и Даниил был его членом. В его тетрадях есть несколько списков одноклассников. Фамилии в них меняются, революционные вихри, проносясь по арбатским переулкам,

уносят одни семьи, приносят другие. Среди тех, чьи фамилии повторяются, друзья Даниила. С ними он оставался дружен до последних дней. В Воротниковском переулке жил Алексей Шелякин, будущий «одноделец». Он вспоминал, как приходила к ним в дом Таня Оловянишникова: «Мой отец говорил... к тебе пришел Ангел. И действительно, Таня тех лет походила на Ангела. Прекрасное лицо – доброе и открытое».

В детской тетради, где Даниил ставил отметки девочкам класса и не был щедр, выше тройки никому, кроме одной избранницы – Гали Русаковой, ей – пять с плюсом. В записке к Тане Оловянишниковой он признавался, что Галю «любит безумно», и спрашивал: «Ты обратила внимание, какие у нее глаза, особенно когда она танцует вальс?» Так же безнадежно в Галю были влюблены его друзья Попов и Шелякин.

10. Планета Юнона и йог Рамачарака

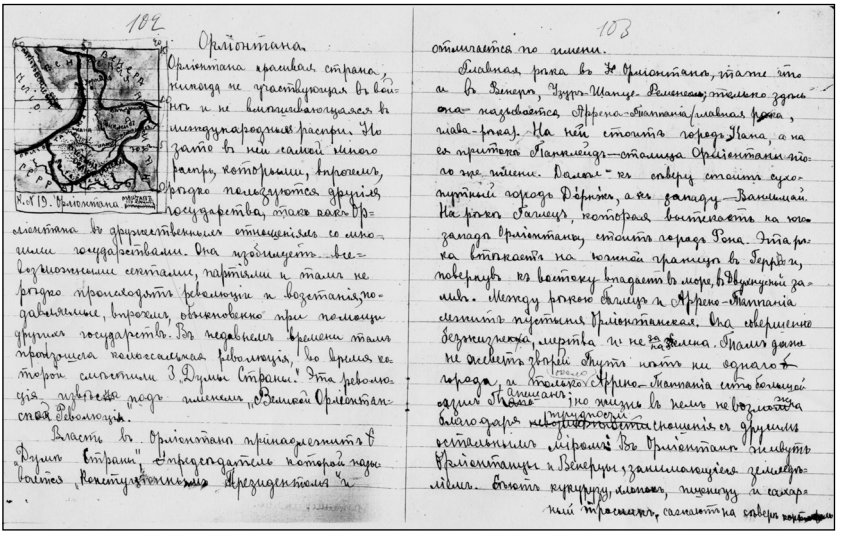
Все выдумывавшееся Даниилом в детстве приходило оттуда, откуда потом пришли и другие его сочинения. В его детских тетрадях можно найти прообразы и начало всех его книг. Выдумывая, он прислушивался к необъяснимо возникающим в нем звукам.

Играя мальчиком у тополя-титана,
Планету выдумал я раз для детворы
И прозвище ей дал, гордясь, – Орлионтана:
Я слышал в звуке том мощь гор, даль рек – миры,

Откуда, волей чьей созвучье то возникло?
Ребенок знать не мог, что так зовется край
Гигантов блещущих, существ иного цикла,
Чья плоть – громады Анд, Урал и Гималай –

так Даниил Андреев описывал свое детское сочинительство, видя в нем неосознанные прорывы в иные миры. Вот что рассказывает в «Дневнике» о нем восьмилетнем Бессарабова: «Даня презирает все существующие в мире языки (их надо учить, и они “маловыразительны”) и изобретает свой, новый, с исключениями, спряжениями и очень выразительными австралийскими окончаниями. Иногда звуки и слова “должны сопровождаться мимикой и жестами”»[76].

О врожденном чувстве слова, не просто поэтическом, а каком-то мистическом ощущении его звучания говорит детская история со словом «валь». Она рассказана со слов самого поэта его вдовой: «Дамы в те годы носили на шляпках вуали. Даня упорно, не слушая замечаний старших, говорил не “вуаль”, а “валь”. И только вечером в постельке, обняв белого плюшевого



Страницы детской тетради Д. Л. Андреева

медвежонка, погибшего при нашем аресте в 1947 году, мальчик восторженно и тихо шептал: “В-у-аль...” Это слово было таким красивым, что его нельзя было произносить вслух на людях»[77]. Вспоминая эту историю, он сам говорил о том, что слово для него «в запредельные страны музыкой уводящие звуки».

Первое его сочинение, сохранившееся в детской тетради, – история страны «Мышинии». В нем автор создал нечто вроде летописной хроники двух правящих династий – «Урасовской» и «Климской». Разделенное на параграфы и повествующее о войнах, междоусобицах и смутах, о характерах сменяющих друг друга на престоле властителей, оно говорит о знакомстве юного писателя с тогдашним «Учебником русской истории» профессора Платонова и еще с увлекательной книгой замечательного русского естествоиспытателя и путешественника Ященко «Хруп (крыса-натуралист)». Вполне возможно, что он и начал свою хронику после первых уроков истории в гимназии. В детски наивном, но остроумном тексте описано около сорока царствований, и можно только удивляться изобретательности историка «Мышинии». Вот некоторые параграфы этого сочинения:

«§ 2. Пи I Котогуб. Но зря плачут мыши по Урасе, есть сын: Пи Иждыгарович I. Вот он вступил на престол и шелковым платком вытер слезы старым придворным. И задумал Пи погубить кота, заклятого врага мышиного. Собрал большую рать и двинулся. Тихо подкрался он [к] коту спящему и ловким движением

задвинул хвост Кошачий в щелку... Мяучит Кошка, а мыши давай Бог ноги. Прославился этим подвигом Пи I и дали ему название “Котогуб”».

«§ 21. Урас VII Святой. Долго не хотели мыши брать в цари сына Сера IV Ураса VII, но делать было нечего. Урас был язычник. Он поехал путешествовать, а правление передал своей матери Морщинке I. Он поплыл в Крысию, где исповедовали Христианство. Урасу понравилась эта вера, и он принял ее, причем получил имя Крыс. Мать его была этому очень рада, а мышиная церковь причислила его к святым. Скончался он в 1477 году.

§ 22. Пи Вдохновенный IV. У Ураса осталось 2 сына: Пи и Итдыгар. После долгой смуты и издавания законов воцарился Пи IV. В это время в Мышинии появлялось все больше язычество, а Пи IV исправлял его. За это Пи прозвали “Вдохновенный”, что значит “исполняющий заповеди Божьи”. От мышей и у нас это слово. Итдигару II было завидно смотреть на Пи. Он убил его, а сам воцарился на престоле. Но Господь наказал его: он скоро умер».

«§ 31. Первый хан Швез I. Но королевич Швез корониально принял титул хана. Он ходил тогда с опахалом, с кисточкой на шляпке. Он завоевал с Кошией. Собрав большое войско, он двинулся к этой стране и победил. Но титул первого хана заглушил эту победу, и ее мало славили. Потом коротко царствовал его старший сын Урас VI, и на престол вошел его младший сын Хруп V.

§ 32. Хруп Веселый V. Хруп получил прозвание Веселого или Беспечного, потому что не вел себя степенно, как всякий хан. Он часто задавал пиры, обеды и балы. Он ездил по городу на лихих скакунах, но раз упал и разбился. Престол его занял сын – Клим VII».

Повествование доведено до 1601 года, но за это время в Мышинии произошли не только смены династий, но и бунты, и революции. Похоже, что сочинялось оно в революционную зиму 17-го и 18-го. Уже тогда для Даниила Андреева очень важен религиозный взгляд на историю. «Славный он был император, – говорит автор об Урасе I, – любил свою родину, заботился о ней и исполнял заповеди Божии».

Рядом с сочинениями о выдуманных странах и портретами их правителей – рисунки о революционных событиях: «Русский поезд Москва–Севастополь», с пассажирами, толпящимися на крышах вагонов, «Сознательный большевик», в бескозырке и с дымящей папиросой в зубах (надпись зачеркнута), «Сатана на земном шаре»...

В комнате Даниила на стене висела карта полушарий выдуманной им планеты. Она называлось Юнона. Рядом были разве-

шаны портреты правителей Юноны. Целая серия этих портретов и подробные карты сопровождают в тетради «Краткое описание стран планеты Юноны». Если его летопись Мышинии сочинение историческое, то описание Юноны – географическое. Чувствуется, что оно создано более опытным и повзрослевшим сочинителем. Если о Мышинии он пишет, еще как бы играя, то в описании Юноны вполне серьезен. Но и тут поражает странная тяга к систематизации, к тому, чтобы описать воображаемый мир, совершенно фантастический, с почти научной обстоятельностью. Все эти свойства Даниила Андреева очень заметны в «Розе Мира». С той же методическою последовательностью, как некогда страны Юноны, он описывает в ней структуру Шаданакара, его затомисы, сакуалы, шрастры... Чем необычней видения, тем более методично изображены. Вот и Орлионтана, о которой он вспомнил в стихах, в сочинении страна со своей географией и историей. Правда, кое-что в ее описании напоминает недавнюю историю России. Орлионтана, пишет он, «изобилует всевозможными сектами, партиями, и там нередко происходят революции и восстания, подавляемые, впрочем, обыкновенно при помощи других государств. В недавнем времени там произошла колоссальная революция, во время которой сместили 3 “Думы Страны”. Эта революция известна под именем “Великой Орлионтанской Революции”».

География Орлионтаны напоминает совсем другие страны: «На реке Гаглец, которая вытекает на юго-западе Орлионтаны, стоит город Фона. Эта река втекает на южной границе в Герре и, повернув к востоку, впадает в море, в Двухнусный залив. Между рекою Гаглец и Аррено-Тампаниа лежит пустыня Орлионтанская. Она совершенно безжизненна, мертва и не заселена. Там даже не живет зверей. Тут нет ни одного города, и только около Аррено-Тампаниа есть большой оазис Тапешан; но жизнь в нем невозможна благодаря трудности сношения с другим остальным миром. В Орлионтане живут Орлионтанцы и Венерцы, занимающиеся земледелием. Сеют кукурузу, хлопок, пшеницу и сахарный тростник, сажают на севере картофель».

В трех частях описания Юноны поражает огромное количество названий, которые с такой легкостью дает автор 32 придуманным странам, множеству городов, рек, гор.

Во второй тетради юнонская эпопея продолжена изложением мифологии Цереры, страны планеты Юноны. Она озаглавлена: «Сказки и легенды о чудесных богах и богинях церерских». Во «Вступлении» говорится: «Все 33 бога Древней Цереры разделялись на добрых и злых. Каждая из этих партий имела свою

высокую неприступную гору и на ее самой верхушке замок. Замок добрых назывался Дорелийский, а злых – Теппесский. Эти два замка вечно враждовали и ссорились, их главной целью было завоевать Херрину, богиню земных богатств, которая жила одна в великолепном дворце на одиноком острове Мольбоу. Но этот дворец был так неприступен, что долго никто из них не мог завладеть им, а карлики, окружавшие дворец, умели колдовать».

Так уже в детском мифотворчестве можно разглядеть смутное и наивное начало его мистического эпоса, «русских богов», плененную в цитадели уицраура Навну. Для Аллы Александровны Андреевой это было свидетельством врожденной связи Даниила с иной реальностью. Она писала: «Поток звукообразов и словообразов, который потом воплотился в зрелом поэтическом творчестве, уже тогда изливался на ребенка. Когда знакомишься с детскими тетрадями Даниила, то создается четкое впечатление, что мальчика готовили иные силы, что его ранняя, буквально внутриутробная встреча со смертью – это ранняя близость к иному миру, оставшаяся навсегда. И его, казалось бы, забавные игры со словами тоже были сложными упражнениями в слышании иных миров. Направленность к иным мирам проявилась в нем необыкновенно рано»[78].

Тогда же он увлекся, и уже навсегда, астрономией. Вечерами забирался на крышу и часами рассматривал звездное небо. Узнавший о его увлечении отец писал Добровым: «Даня совсем как мой герой из драмы “К звездам”: кругом бушует война и революция, а он пишет мне целое письмо – только о звездах...»[79].

И книги, прочитанные в отрочестве и пережитые с восторгом, как откровение, даже если через годы вызывают равнодушную усмешку, остаются в нас навсегда. Книга Рамачараки «Основы мировоззрения индийских йогов», проглоченная «в 13-летнем возрасте», «сыграла, – признавался Даниил Андреев, – в истории моего развития очень большую роль»[80]. 1920 год прошел для него под влиянием таинственного йога Рамачараки. Он заставил Даниила поверить в свои прежние рождения в Индии, запомнить, что «все формы религии одинаково хороши» и что нынешнее человечество очень далеко от подлинной духовности. Под псевдонимом скрывался Уильям Уолкер Аткинсон, врач и юрист из Пенсильвании, увлеченный теософией и Индией. Цикл его популярных книг перед Первой мировой войной в русском переводе выпустило издательство «Новый человек» – «Религии и тайные учения Востока», «Хатхайога», «Наука о дыхании индийских йогов»... Эти книги попали к Даниилу вряд ли случайно.

«...К Хатхайоге я отнесся легкомысленно, – сообщал Андреев много лет занимавшемуся дыхательной гимнастикой йогов по Рамачараке Василию Витальевичу Шульгину, – во-первых, потому, что был очень молод и здоров, а во-вторых, – у меня в характере нет некоторых свойств, необходимых для планомерных, ежедневных занятий какими бы то ни было упражнениями – физическими или психическими». Но «Основы мировоззрения индийских йогов» определили многие его взгляды навсегда, даже в какой-то мере и привели к «Розе Мира». Мечты о прорыве к космическому или духовному сознанию, о котором говорил Рамачарака, цитируя Ричарда Бёкка, теория перевоплощений, мысли о том, что человечество в своем развитии должно достичь подлинной религиозной духовности, когда у всех появится чувство «реальности существования высшей силы» и вырастет «сознание братства всего человечества», и еще ряд идей, почерпнутых у «индийских йогов», сделались его собственными.

«В сочинениях древних философов всех народов, в стихотворениях великих поэтов всех стран, в проповедях пророков всех религий и времен мы можем найти следы нисходившего на них просветления – раскрытия духовного сознания»[81], – писал Рамачарака, и Андреев стал искать и находить эти следы повсюду. И, конечно, из этих слов, как из случайного зернышка, потом выросла у него теория вестничества.

«Только в случайные драгоценные моменты мы сознаем в себе существование духа и в такие моменты чувствуем, что стоим перед страшным лицом Неизвестного. Такие моменты могут приходить, когда человек погружен в глубокое религиозное созерцание или когда отдается произведению поэта, несущего весть от души к душе...»[82] Прочтя эти утверждения Рамачараки, Андреев стал прислушиваться к собственным состояниям, ожидая вести.

Аткинсон-Рамачарака на первой же странице предупреждал, что «идеи предлагаемой читателям книги изложены на языке западной теософии и спиритуализма»[83], и, конечно, теософский след в воззрениях его пылкого русского читателя остался. Но теософом Даниил Андреев все-таки не стал, соединив все свои увлечения с православными основами в поэтической картине мироздания.

11. Два Кремля

Жизнь семьи Добровых в первые послереволюционные годы была особенно трудной и тревожной. Впрочем, как и у всех. Вот добровские портреты из письма близкой и давней знакомой

семьи – Надежды Сергеевны Бутовой к Малахиевой-Мирович 15 апреля 20-го года: «Вчера была Елизавета Михайловна Доброва. Принесла: хлеба, масла, сахару, яиц... Они все такие же: от своего рта кусок отнимут, другому отдадут. Она стала еще пламеннее в доброте. А он суров, одинок, желт, сосредоточен (в свободные минутки) в книжке, написал Дане 7 стихотворений прекрасных: элегичное, лиричное, трагичное, пышно-торжественное, прозрачно летящее, звонкое и тихое-тихое. Сочинял их по дороге в больницу пешком, зимой, по сугробам, в рваных сапогах и калошах. У него долго были длинные волосы, как у посвященного Иерея, и бороденка жиденькая, длинноволосенькая, и ватные штаны. Но теперь стал более элегантен! Саша хороший, мягкий, но полузаглубленный. М<ожет> б<ыть>, честность его еще и выправит. Инстинкт в нем есть, и здоровый: религиозен, любит книжку, любит искусство. Даниил – чудесный юноша: пишет стихи, пишет рассказы, пишет историю и географию своей планеты и рисует ее карты, портреты королей и вождей. Накрывает на стол, рвет обувь невероятной беготней и из всех блуз и штанов вылезает вон! Нежен к маме Лиле. Поклоняется дяде, дружит с Сашей и со всеми: но самостоятелен и супротивник старшим закоренелый. В творчестве еще виден родственник отцу: размах и сильные слова, а выдержка и почва под словами не всегда-то есть. Растения добровские почти все погибли. Да и у всех, положим, они поумирали. Кошек и собак, как и лошадей, в городе очень мало осталось»[84].

Филипп Александрович много работал, пытаясь прокормить большую, плохо приспосабливавшуюся к новой жизни семью. Он даже занялся приготовлением лечебных дрожжей: нэп. Они стали пользоваться спросом и так и назывались – «дрожжи доктора Доброва». Участвовал в этой работе и Даниил: молол на кофейной мельнице ячмень, разносил заказанные дрожжи по Москве. До родственников донеслось: «Даня торгует дрожжами». Наталья Андреева писала из Финляндии его возмущенной тетке, Римме Николаевне: «Я вполне с тобой согласна. Это ужасно и позорно. <...> Это сын Леонида Андреева»[85]. Но и доктор занимался не только лечением больных, а по-прежнему, несмотря на холод в доме (не выше плюс 6), от которого стыли руки, садился за рояль, увлеченно читал латинские поэмы, сочинял стихи. И сын Леонида Андреева жил творчеством. «Даня читает Бранда и рисует какие-то идиллические усадьбы, дома с колоннами, фонтаны, аллеи. Он закончил “Закат Атлантиды” – роман в трех частях. У него тонкое, истонченное лицо, со следами напряженной работы мысли»[86], – писала Малахиева-Мирович Бессарабовой

перед Рождеством 21-го года. Ей Даниил и тогда, и позже неизменно показывал свои литературные опыты, читал стихи, и ее влияние, несмотря на всю самостоятельность, испытал. «Напряженная работа мысли» принимала самые разные формы. Вместе с одноклассником Юрием Ордынским (ему Даниил в 3-м классе выставил 4 с плюсом) было задумано покушение на Троцкого! В Кремль они собирались проникнуть через одноклассницу Марию Курскую, дочь наркома юстиции.

Тяжело начался 21-й год. В январе, то оттепельном, то студёном и метельном, умерла дорогая всем Добровым Надежда Сергеевна Бутова, актриса МХТа. Еще прошлой весной Филипп Александрович настоятельно советовал ей уехать на юг. Но пути туда были отрезаны. В 1909-м она играла Суру в нашумевшей «Анатэме» Леонида Андреева, в 1913-м – мать Ставрогина в спектакле по «Бесам» Достоевского. Позже у нее, занимаясь в драматической студии, брала уроки Шура Доброва.

Бутову называли актрисой-монахиней. Высокая, чаще всего в темном платье, сосредоточенная, внутренне строгая. Совсем не похожая на актрису. Становясь старше, Бутова делалась все религиознее. Ее квартира в изукрашенном майоликой доме Перцова напротив храма Христа Спасителя была и монашеским затвором, и артистической студией, где киот с образами соседствовал с книгами и живописью на стенах. В литературно-художественной Москве актрису знали. Борис Зайцев, сравнивавший Бутову с боярыней Морозовой, писал, что «православие у ней было страстным, прямым, аскетическим, мученическим»[87]. И смерть ее была христиански жертвенной. Взявшись сопровождать в Крым заболевшую скоротечной чахоткой приятельницу-актрису, самоотверженно за ней ухаживая, заразилась сама. Дружеские, хотя и сложные, отношения долгие годы связывали с Бутовой Малахиеву-Мирович. Долгие годы Бутову лечил доктор Добров. Но особенно близка и дорога она стала его жене, Елизавете Михайловне.

После попытки лечения за границей Бутова, вернувшись в Москву, поселилась в Успенском переулке, в квартире в небольшом особнячке с усадебным садом, переходившим в сад Страстного девичьего монастыря. Здесь в мезонине над ее комнатами жили Алла Тарасова, Малахиева-Мирович и одно время Ольга Бессарабова. Сюда к ней заходил Добров, «суровый врач» и давний друг, здесь она и умерла. Отпевал Бутову ее духовник, известный на Москве батюшка Алексей Мечёв. В храме Святого Николая в Кленниках на Маросейке бывал и Даниил, известно, что дважды он причащался у отца Алексея, а потом приходил и к его сыну – отцу Сергию. Вполне возможно, что посещение отро-

ком Даниилом Оптинской обители, о котором упоминал его друг Василенко, и состоялось в те детские годы общения с благодатным батюшкой.

Даниил Андреев благодарно вспоминал Надежду Сергеевну всю жизнь: это она открыла ему красоту и глубину православной церковности. В актрисе-монахине он мог видеть тот сплав страстного служения искусству и глубокой религиозности, без которого не представлял «человека облагороженного образа».

Продолжалась Гражданская война, а мирные люди, обыватели как могли сражались за существование и пытались приспособиться к новой, каждый день менявшейся жизни. Трудно в доме приходилось всем. «Шура очень похудела, побледнела, углубляется в терпении, но порою не выдерживает. Красивые руки ее огрубели от сора, углей, холода и всякой грубой работы. Жизнь ее – сплошь черная работа – топка печей в квартире и еще помощь Елизавете Михайловне. Эсфирь больна, все больнее. Она обрилась (от нарывов)»[88]. Главные тяготы ложились на Елизавету Михайловну, мучившуюся сердечными припадками. Малахиева-Мирович писала 7 февраля 21-го года Бессарабовой: «Вчера было рождение Елизаветы Михайловны. Она месила тесто в холодной, прокопченной крысиной кухне, плакала и сбегала потом в церковь, ее единое прибежище»[89]. А сидящих за большим добровским столом не убавлялось. Другая жилица дома называла Елизавету Михайловну героическим, измученным и прекрасным человеком. В своем всегдашнем длинном платье, делавшем ее еще выше, в вязаной шапочке она действительно выглядела болезненно-усталой. «Вся жизнь ее сейчас – постоянная, напряженная, без отдыха и срока работа, ухаживание за Сашей, который всю зиму болеет <...> Ухаживание и тревога за Даню, который тоже болеет непрерывно, борьба с хаотическим духом Филиппа Александровича и всего дома, борьба со стихийными бедствиями, которые валятся одно за другим: порча водопровода, канализации, обвал потолка, несколько раз за зиму потоп в кухне, порча плиты, отсутствие дров...»[90]

В эту зиму Даниил особенно подружился с Ариадной Скрябиной, как и он, захваченной сочинительством. У Добровых несколько раз состоялись их совместные чтения. Ариадна была старше его на год и писала не только стихи, но и рассказы и пьесы. В прошлом году сочинила «Великую Мистерию», найдя и слушателей и последователей, большей частью школьных подруг. Ее заветная мысль: пострадать, умереть за Русский народ. «Великую Мистерию» она задумала поставить на Красной площади и завершить представление самосожжением актеров – протестом про-

тив «страданий человечества». «Хочет пойти к патриарху, чтобы он благословил ее на эту мистерию и смерть, добровольную жертву и искупление за все зло и весь ужас, который царствует в мире, в России, на Поволжье – всюду»[91]. Стихи она опубликовала в 24-м году в Париже. В них настроения этих лет:

Смерть смертию поправ – жива,
Как мудрый змей меняя кожу,
Победоносная Москва!
А я – лежу на смертном ложе!

Стихи в доме звучали часто, кроме Даниила их писали и дядюшка, и Арсений, и Эсфирь... Есть свидетельства, что в те времена, в начале двадцатых, в доме Добровых появлялся Маяковский, бывала Марина Цветаева. По крайней мере, Борис Бессарабов, прообраз героя поэмы Цветаевой «Егорушка», познакомился с ней (1 января 1921) именно у Добровых. Бессарабов вспоминал, что в один из вечеров в комнате Шурочки он увидел гостей: «Владимир Маяковский... около него пристроилась Лиля Брик, с которой я встречал его на улицах Москвы, Марина Цветаева. Тут же была очень милая темноглазая маленькая Татьяна Федоровна Скрябина...»[92] И соседка Добровых, учительница литературы Межибовская, рассказывала, что видела Маяковского в коридоре их квартиры, где тот разговаривал с незнакомым ей мужчиной. Тот якобы сказал поэту: «Ну и сволочь же ты, Володя». Маяковский ответил: «Все мы немного сволочи»[93].

В первые дни августа 21-го года в Москве шли дожди, потом стало сухо и знойно. В Поволжских губерниях начинался голод, для помощи голодающим был объявлен сбор пожертвований. В Москву с помощью собирался приехать Нансен. В Китае произошло ужасное землетрясение, погибло 200 000 человек. Страшные вести приходили из Петрограда. Умер Блок. Раскрыт заговор против советской власти профессора Таганцева, офицеров Шведова и Германа. Газеты сообщали, что «участники заговора понесли заслуженное наказание». Среди расстрелянных – Николай Гумилев.

В этом августе Даниил пережил состояние, похожее на то, о котором читал у Рамачараки, – состояние просветления, прорыва духовного сознания или озарения, поначалу недостаточно осмысленное и понятое. Позже счел его первым соприкосновением с мистической иноматериальной реальностью. Он писал об этом в «Розе Мира»: «Первое событие этого рода, сыгравшее в развитии моего внутреннего мира огромную, во многом даже определяющую роль, произошло в августе 1921 года, когда мне

не исполнилось еще пятнадцати лет. Это случилось в Москве, на исходе дня, когда я, очень полюбивший к тому времени бесцельно бродить по улицам и беспредметно мечтать, остановился у парапета в одном из скверов, окружавших храм Христа Спасителя... бытие... открыло передо мной или, вернее, надо мной такой бушующий, ослепляющий, непостижимый мир, охватывающий историческую действительность России в странном единстве с чем-то несоразмеримо бóльшим над ней, что много лет я внутренне питался образами и идеями, постепенно наплывавшими оттуда в круг сознания». О том, как он бродил по московским переулкам, любуясь пятиглавьями, заходя в храмы, глядя на «теплящиеся огни православия», Андреев рассказал в стихах, говоря о том ощущении, которым жил тем летом:

Это – душа, на восходе лет,
Еще целокупная, как природа,
Шепчет непримиримое «нет»
Богоотступничеству народа.

И о своем первом, осмысленном через годы видении Небесного Кремля в час светло-розового предвечерья, когда, облокотившись на мшистый парапет, увидел сквозь трепет березовой листвы нечто скрытое, ощутил духовный, подхватывающий его вихрь:

Я слышал, как цветут поверия
Под сводом теремов дремучих
И как поет в крылатых тучах
Серебролитный звон церквей,
Как из-под грузных плит империи
Дух воли свищет пламенами
И развевает их над нами
Злой азиатский суховей.

В единстве страшном и блистающем,
Как кубки с кровью золотые,
Гремящие века России
Предстали взору моему
Под солнцем, яростно взлетающим
Над этим страстным, крестным пиром,
Над тысячеобразным миром,
Чей нижний ярус тонет в тьму.

Рядом с храмом Христа Спасителя, со стороны Пречистенки, где пока высился пустой пьедестал памятника Александру III, был один скверик, напротив другой. Здесь он бывал множество раз, еще с няней. Тогда вокруг храма стояли скамейки, поодаль в насыпанном белом песке играли дети.

Наверное, после этого озарения у храма Христа Спасителя, в котором присутствовал и сам храм, и Кремль с «крестами, башнями, шатрами», ему стали видеться некие архитектурные ансамбли, «великие очаги» религиозной культуры грядущего, о чем он писал в «Розе Мира»: «Мне было едва 15 лет, когда эти образы стали возникать передо мной впервые, а год спустя я уже пытался запечатлеть их при помощи карандаша. Я не стал ни художником, ни архитектором. Но образы этих ансамблей, их экстерьеры и интерьеры, такие величественные, что их хотелось сравнить с горными цепями из белого и розового мрамора, увенчанными коронами из золотых гребней и утопающими своим подножием в цветущих садах и лесах, становились определённее от одного десятилетия моей жизни к другому».

Росший в доме, где бывало много художников, любивший рисовать, он скептически относился к своим художническим способностям. Его брат, Александр Добров, окончил архитектурный факультет ВХУТЕМАСа. Архитектором стал школьный друг Алексей Шелякин. Даниил тоже увлекся архитектурой, мальчишкой собирал коллекцию открыток с видами городов. Но, чтобы стать архитектором, необходимо хорошо знать чуждую ему математику. Поэтому любовь к архитектуре осталась в нем заветными видениями небывалых храмов Солнца Мира и мистериалов, таинственными верградами времен Розы Мира. Но главное, чем он живет,– поэзия.

12. КИС

Весной 23-го Даниил написал брату в Берлин, где оказалась осиротевшая семья Андреевых. «Очень трогательно пишет: милый мой братец. Как видно, он одинок, про Добровых ни звука, и нуждается ли <в> чем, тоже ни слова. Прислал свои стихи очень недурные»[94] – такое впечатление осталось от письма у его тетки Натальи Матвеевны Андреевой.

Это был возраст первых воспаленных вдохновений и приступов необъяснимого одиночества, несмотря на семейное тепло и пламенные школьные дружбы. В последнем классе образовался кружок, который они шутя назвали КИС – кружок исключительно симпатичных. «Кисовская» дружба сохранилась надолго.

В письме к больному Даниилу Андрееву, поздравляя с наступавшим 1959 годом, Татьяна Оловянишникова вспоминала: «А помнишь ли нашу традиционную ромовую бабу, первый и последний вальсы? Помнишь наш клюквенный морс (невероятно кислый), который мы приготовили вместо вина, забыв о

том, что оно полагается, когда встречали Новый год в гимназии? Помнишь, все учителя пришли вовремя, а Нина Васильевна опоздала? И как под утро выбегали на улицу и поздравляли прохожих с Новым годом? А у Нэлли наши встречи... Родной мой, вся, вся ведь жизнь связана с тобой... И спасибо тебе за то, что ты был со мной, “освещал” (по выражению Киры Щербачева) ее».

И в ее письме, написанном через несколько дней, 3 января 1959-го, те же воспоминания:

«Сегодня просматривала фотографии, и попалась наша Кисовская группа. Ты там хорош (это мы снимались в период нашего ”увлечения” живым кино. “Граф Магон – товарный вагон”), я тоже не плохо, только немного сумасшедший взгляд; но остальные вышли жутко. Помнишь, когда мы рассматривали эту карточку, то увидали заплаты на Борисовом локте; и решили, что впечатление, что Ада держит на веревочке Галин ботинок».

Еще из тех же писем: «Данька, родной, помнишь, как в Кисовские времена шли мы компанией куда-то (по Спиридоновке) и ты, по пути, захлопывал все открытые форточки?..»

Таня же вспоминала об их работе в «Решетихино», за Подольском, рядом со станцией Столбовая, где Даниил живал подолгу. В те революционные, тяжелые, все переворачивавшие годы, чтобы как-то выжить, «бывшие» устроили в имении сельхозартель. Взрослым летом помогали подростки. Выглядели эти попытки городских интеллигентов «осесть на землю» жалко: «Коров выгоняли в семь утра, вечером же их с трудом загоняли обратно, для чего все члены артели становились шеренгой, сквозь которую прогоняли коров в скотный двор; иногда же задняя дверь оставалась открытой, животные тут же через нее выходили, и вся церемония возобновлялась заново»[95].

Даниил, чувствуя себя на свободе, баловался и смеялся. Измученным взрослым было не до смеха.

Дружба кисовцев сохранилась навсегда. Одни были ближе Даниилу, с другими жизнь развела. Но его верность дружбе осталась неколебима. Одним из самых близких друзей стал Юрий Попов:

Мы подружились невозвратными
Утрами школьными, когда
Над партой с радужными пятнами
Текли прозрачные года.

Замедлив взор на нашем риторе,
Подобном мудрому грачу,
Веселый мальчик в белом свитере
Ко мне подсел – плечо к плечу.

Заговорив тотчас о Репине
И щекоча мне в шутку бок,
Он был похож на плотный, крепенький,
Едва родившийся грибок.

Внезапно, не нуждаясь в поводе,
На переменках, просто так,
Вдруг сокрушал кого ни попадя
Крутой мальчишеский кулак.

Забыв Ампэра, флору Африки,
Истоки Нила и шадуф,
По-братски мы делили завтраки,
Тайком за партой крем слизнув.

День окончания школы, 19 июня 1923-го. К тому времени это была 26-я московская школа, но выпускники продолжали называть ее гимназией Репман. В стихотворении «Вальс», посвященном окончанию школы, он писал:

Старая школа, родная и душная,
Ульем запела... и вот –
Вальсов качающих трели воздушные
Зал ослепительный льет.

С благоволящим спокойствием дедушки –
Старший из учителей...
В белом все мальчики, в белом все девушки,
Звезды и пух тополей.

Здравствуй, грядущее! К радости, к мужеству
Слышим твой плещущий зов!
Кружится, кружится, кружится, кружится
Медленный вихрь лепестков.

Все, знавшие Даниила Андреева долго и близко, вспоминали о его шутках, проказах, выдумках. Рассказывая о них, он никогда себя не выгораживал.

«По случаю окончания школы устраивалась вечеринка. Каждый должен был принести из дому на этот вечер какую-нибудь посуду. Даня вызвался принести вазочку для варенья, а так как вазочка была, видимо, довольно ценная, то дали ее ему только с условием, что он вернет ее обратно в целости и сохранности, что он и пообещал.

Возвращаясь вечером домой, он завязал ее в салфетку и, о чем-то раздумывая, помахивал этим узелком. Вдруг при очередном взмахе узелок задел за фонарный столб, и – о, ужас! – вазочка разбита! Что теперь делать? Как смягчить обиду и возмущение мамы? И Даня придумывает весьма хитроумный психологиче-

ский план. Кухня в их квартире была в полуподвальном помещении, и в нее вела довольно длинная и крутая лестница. Когда Даня вернулся, мама и еще какие-то женщины были внизу. Даня появляется на верху лестницы, поднимает руку с узелком и с восклицанием: “Вот она, ваша вазочка!” – сбегает до половины лестницы, затем грохается и с остальных ступеней съезжает уже на спине... Все кидаются к нему:

– Боже мой! Данечка! Не расшибся ли? Не сломал ли ногу или руку?

Нет, цел, ничего не сломал. А то, что разбита вазочка, это уже пустяки.

Слава Богу, что сам-то не разбился! Все это Даня рассказывал так живо, с жестами, мимикой и различными интонациями всех восклицаний, что я запомнила эту сценку, как бы сыгранную талантливым актером»[96].

После выпускного вечера кисовцы решили поехать на Сенежское озеро. На дачу к однокласснице Нелли Леоновой. Именьице Леоновых находилось в шести километрах от Сенежа и называлось Осинками. Деревня Осинки, кстати, находились в соседстве с блоковским Шахматовом. Друзья бегали на озеро, помогали заготавливать сено, играли в крокет.

Поездка в сентябре 1923 года сделалась эпосом – «Осиниадой», шуточной поэмой в шести главах. Поэму написали Даниил Андреев и Ада Магидсон, «два титана» кисовцев, так они названы в другом сочинении тех лет – «Победа острящих». «Осиниада» начиналась с описания приезда:

Порой веселой сентября,
Желаньем шалостей горя,
Три восхитительные рожи
Помчались к берегам Сенёжа.
Кирилл, Данюша и Елена...

Есть вариант: Некрасов, Даня и Елена. Кирилл Щербачев, Даниил Андреев и Елена Леонова (или, как все ее звали, Нэлли, «прелестная, как ветки ели») были первыми, затем к ним присоединились четыре кисовки – Тамара, ее фамилии мы не знаем, Лиза Сон, Ада Магидсон и Галя Русакова и – тем же вечером – Юрий Попов и Борис Егоров. «Теперь здесь был почти весь “Кис”», – говорится в поэме.

Ночевали они на сеновале – девочки направо, мальчики налево. Даниил спал, натянув на голову простыню, которую все, смеясь, называли его чепчиком. Погода не задалась, дождило (на редкость дождливым оказалось и все лето 23-го года), но им все

равно было весело. Они наперебой острили, обмениваясь рифмованными репликами. Это был «кисовский» стиль общения. Вот одна из сцен их времяпрепровождения, описанная кем-то из кисовцев, возможно, не без участия Даниила, в сочинении в пятнадцати главах с эпилогом «Победа острящих».

Вот они играют в крокет. «– Увы! напрасны все уловки! Сижу я прочно в мышеловке! – патетически скулил Алеша, стараясь незаметно пододвинуть свой шар на позицию».

Вот их забавы на сеновале. Мальчишки забираются на поперечные балки и прыгают в сено. «– Сейчас такое будет сальто, что вздрогнет остров Мальта!» – кричит Юра Попов. Забравшись выше всех, увлеченный, он непрерывно острит: «– Я сижу на этой балке, как в катафалке!» В «Победе острящих» здесь следует ремарка: «Оля вздрогнула: он предчувствует! Как это мистично!»

Откуда было знать Оле Блохиной, что в 41-м Попов сорвется с крыши и погибнет? Судьба многих кисовцев, талантливых, жизнерадостных, в том сентябре безоглядно веселящихся в свои семнадцать лет, окажется трагически сложной, как выпавшее им время.

Под «Победой острящих» стоит дата – июль 1924. Победители, как явствует из сюжета, Даниил Андреев и Ада Магидсон, сочинители «Осиниады» и сценариев «живого кино», которым они тогда увлекались. Предпоследняя глава «О нетерпимости посредственных людей и о гонении на истинный талант» вполне в стилистике ее героя:

«Даня несколько лет тому назад, еще в бытность свою цветущим юношей, почувствовал в себе вдруг влечение к живописи. Со свойственной ему талантливостью и широтой кругозора, он в ту же минуту постиг всю сложную технику старых и новых школ. Вместе с Адой они стали искать новый подход к искусству. Эти две многогранные натуры всюду встречали удачу и успех. Все, за что ни брался их гениальный ум, выходило необыкновенно талантливо и ново. Главное, ново. Они создали новую область в деле кинематографии, балета и драмы. Знаменитый Парижский театр [«Comédie-Française»] во время постановки их пьесы обрушился от аплодисментов, и тысячи людей и франков погибли во славу этих двух самородков. Три режиссера сгорели от стыда и превратились в три кучки пепла, которым остальные посыпали себе головы. Они подвизались на поприще акробатики, и их “мосты” приобрели всемирную известность. Они даже получили приглашение заменить своими телами Бруклинский мост, – но своевременно отказались. Даже Кирилл, построивший мост через ручеек в Осинках, впал в ничтожество и начал наново учиться. При

столь сильном напряжении интеллекта они нуждались изредка в абсолютном покое, и в Канатчиковой даче у них были сняты две постоянные комнаты, куда завистливые врачи ежегодно отправляли их на отдых. Вообще вся жизнь их, все их искания и достижения было сплошным триумфальным шествием.

Итак, они решили искать нового направления в живописи. При гибкости их ума они очень скоро нашли его. Он был основан на том же принципе остроумия и заключался в том, что на одном гигантском холсте изображался ряд предметов с одинаковым окончанием названий. Например, и всемирно известная картина “Сон в Иванову ночь”, висевшая в Лувре, изображала целый ряд предметов, оканчивавшихся на “ОН”: граммофон, вагон, Магон, трон, фараон, слон, Лиза Сон, хамелеон и т. д. Необходимым условием композиционного равновесия таких картин являлось то, что правую половину холста писала Ада, а левую Даня; или наоборот.

Теперь они работали над гигантской мистической картиной, называвшейся “Муза Блока” и изображавшей предметы на “АРЬ”: фонарь, дикарь, гарь, пахарь, звонарь и пр. Ее они готовили к Осенней выставке в Москве и рассчитывали на особенный успех.

Меж тем Сережа, тайно от общежития, занял пост эксперта по приемке картин на выставку. Тут-то и разыгралась драма: когда Ада с Даней приволокли картину, им отказали, сказав, что не принимают картин “острящих художников”. В этой интриге Сережа играл, конечно, роль предводителя. Но Ада с Даней не видели его руки в этом грязном деле и, вернувшись домой и рассказав всем о своем фиаско, повесили картину в столовой в назидание потомству».

Часть вторая

ДУГГУР
1923–1927

1. Дуггур

Отрочество и юность Даниила Андреева, его поколения совпали с революционным сломом всей русской жизни. Слом обозначился войной и всем видимой трещиной, становящейся провалом, явился в 17-м. Иногда казалось, что вихри улеглись, жизнь, текущая своим чередом, соединяет разрывы и не везде зажата гранитно-чугунными берегами утопии. Но ощущение того, что происходящее – таинственное отражение неуследимой ожесточенной борьбы, в которой верховодят принимающие причудливый облик силы тьмы, появилось в нем еще в школьные годы и становилось всё отчетливее. Это ощущение было интуитивным, поэтическим и мистическим. Грозное и безжалостное проглядывало за лицами и ликами совершавшегося. За обыденностью.

Состязания в острословии, придумывание «живых картин», шутливое сочинительство, счастливое убегание в природу – за этим времяпрепровождением в своем, кисовском кружке не только избыток юных сил, но и попытка отгородить свой мир от натиска безжалостной действительности.

Можно предположить, что «погружение в Дуггур», как Даниил Андреев называл несколько лет своей юности, началось в том же 1923 году, вместе с последними шумливыми днями в школе, с веселыми поездками дождливым летом на Сенеж. Об этом «темном периоде», его наваждениях и соблазнах до нас дошли самые смутные сведения. Не потому, что он утаивал нечто постыдное. Хотя и походя вспоминать о том времени не любил. Но многое, не внешнее, а духовно пережитое – «соблазн, кощунство, ложь, грехи» – отозвалось и в «Розе Мира», и в трех стихотворных циклах, названных «Материалами к поэме “Дуггур”». В них ставший мифопоэтическим эпосом рассказ о духовных мороках и развилках ранней молодости:

Не летописью о любви,
Не исповедью назови
Ты эту повесть:

Знаменовалась жизнь моя
Добром и злом, но им судья –
Лишь *Бог да совесть*.

Имя Даниил в переводе с еврейского означает: «Бог мне судья». Суд над самим собой, суд совести, в сущности, тоже Божий суд, требующий душевного порыва к Вышнему. Стихотворения «Материалов к поэме “Дуггур”» и есть суд совести, заканчивающийся молитвой к Ней – Звезде морей, Богородице.

Кто над стихом моим стоит,
Как друг суровый говорит:
– Будь смел и зорок, –
Пером жестоким запиши
Весь апокалипсис души,
Весь бунт, весь морок;

Безумных лет кромешный жар
И путеводный свет Стожар
В любой секунде
Тех непроглядных, вьюжных дней,
Да вспыхнет гимном перед Ней
Твой De profundis.

Но здесь суд превращается в мистериальное видение собственной юности, ее «темного периода», когда душа проходит по грани и в ней самой идет борьба сил света с демонической тьмой. Дуггур – инфернальный слой, где царят демоны великих городов. Это мир хмурой городской ночи, в которой преобладают «тона мутно-синие, сизые, серые, голубовато-лунные». В каждом из городов Дуггура своя великая демоница, населяют же их мелкие демоны обоего пола, едва отличающиеся от человека. Сущность этих демонов – безмерное сладострастие.

«Демоницы Дуггура телесно отдаются одновременно целым толпам, и в их обиталищах, полудворцах-полукапищах, идет непрерывная, почти непонятная для нас оргия во славу демонической царицы Луны, той самой, чье влияние испытываем иногда мы, люди, в городские лунные ночи: оно примешивается к маняще возвышенному и чистому влиянию светлой Танит, возбуждая в человеческом существе тоску по таким сексуальным формам наслаждения, каких нет в Энрофе... Единственным светилом в Дуггуре, его солнцем, служит Луна, поэтому бóльшую часть времени этот слой погружен в глубокий сумрак. Тогда вступает в свои права искусственное освещение – длинные цепи мутно-синих и лиловатых фонарей: они тянутся нескончаемыми гирляндами вдоль пышных, массивных зданий» – так описан Дуггур в «Розе Мира». Там есть и предупреждение: «Для человеческой

души срыв в Дуггур таит грозную опасность. Срыв происходит в том случае, если на протяжении жизни в Энрофе душу томило и растлевало сладострастие к потустороннему – то самое мистическое сладострастие, которое испытывают мелкие демоны Дуггура к Великой Блуднице».

Какое же сладострастие к потустороннему мучило и смущало юношу Даниила Андреева?

1923 годом помечено стихотворение «Юношеское», дописанное или поправленное в 1950-м. В нем можно угадать далекие очертания Дуггура: «Смутно помнятся конусы древнего, странного мира – / Угрожающий блеск многогранных лиловых корон...»

Стихотворение о богоборческих соблазнах первой же строкой – «Мы – лучи Люцифера, восставшего в звёздном чертоге...» – напоминает гумилевскую «Балладу»: «Пять коней подарил мне мой друг Люцифер...». Тем более что у Гумилева можно найти намек на лунную демоницу Дуггура: «И я отдал кольцо этой деве Луны / За неверный оттенок разбросанных кос...» Были стихи о Люцифере и у Коваленского, в ту пору захваченного сомнительной мыслью о предстательстве перед Богом за Люцифера... Но о каких богоборческих соблазнах говорит Даниил Андреев? Его строки – «Вспомни собственный дух в его царственном, дивном уборе! / Цепь раба растопи в беспощадном, холодном огне!» – действительно «нашептаны» Богоборцем или они отголосок ницшеанства? Нет, за поэтическими формулами и символистским словарем не книжные умозрения, а жизненные вопросы. На них поэт не отвечает, но они говорят о состоянии еще не оперившейся души, когда ее затягивают вихревые потоки злого, ненастного и растерянного времени:

Что разум, и воля, и вера,
Когда нас подхватят в ночи
От сломанных крыл Люцифера
Спирали, потоки, смерчи?

Вообще, интерес к мифологическим ликам зла присутствовал в самом воздухе времени. Бессарабова упоминает в дневнике 18-го года, как они с двоюродной сестрой Даниила разбирали «вереницу демонических ликов»[1]: Люцифера Мильтона, Сатану Бодлера, Мефистофеля Гёте, Черта Достоевского, демонов Лермонтова и Врубеля, дьявола Ропса и Вия Гоголя...

Рассказывая о трансфизических странствиях, Андреев сообщает кое-что и о мистическом сладострастии, откуда оно является и какое оказывает влияние. «Если подобные странствия, – говорится в “Розе Мира”, – совершаются по демоническим слоям и притом без вожатого, а под влиянием темных устремлений соб-

ственной души или по предательскому призыву демонических начал, человек, пробуждаясь, не помнит отчетливо ничего, но выносит из странствия влекущее, соблазнительное, сладостно-жуткое ощущение. Из этого ощущения, как из ядовитого семени, могут вырасти потом такие деяния, которые надолго привяжут душу, в ее посмертии, к этим мирам. Такие блуждания случались со мною в юности, такие деяния влекли они за собой, и не моя заслуга в том, что дальнейший излучистый путь моей жизни на земле уводил меня всё дальше и дальше от этих срывов в бездну».

У Даниила Андреева существует теория двух бездн (ее, подхваченную у Достоевского, некогда развивал Мережковский) – «бездны горнего мира и бездны слоев демонических». В порыве к горнему трудно миновать опасности оказаться в темной бездне. Но это все же лучше плоского существования в затягивающем «болоте». Из темной бездны можно вырваться и взлететь. Раскрывшаяся перед ним еще в юности гибельная бездна приобрела очертания, появляющиеся в его сочинениях во все более впечатляющих подробностях. Среди тех созерцателей горнего, кого сумела затянуть в себя демоническая бездна, он называет Иоанна Грозного. В поэме о нем, потому и названной «Гибелью Грозного», он говорит и о собственном опыте. Его Грозный пережил те же детские видения Небесного Кремля и Солнца Мира, играя мальчиком в кремлевском саду, что и он (видения описаны в триптихе «У стен Кремля») прошел то же испытание обеими безднами. Поэт от страшного испытания отказаться не хочет, на его пути оно необходимо:

Но не отрекусь от злого бремени
Этих спусков в лоно жгучих сил:
Только тот достоин утра времени,
Кто прошел сквозь ночь и победил;
Кто в своем бушующем краю
Срывы круч, пустыни пересек,
Ртом пылающим испив струю
Рек геенны – и небесных рек.

Речь идет не только о личном внутреннем опыте, но и о пепелящем историческом опыте России. Такое понимание блужданий еще не осознавшей себя души пришло через годы. А тогда, в «темный период», ему было 18, 19, 20 с небольшим лет – возраст отчаянной влюбленности, болезненной обостренности переживаний, возраст безумств, подвигов, преступлений, самоубийств.

Но и Россия переживала тот же темный период. Военный коммунизм, кровавый, холодный и голодный, в шинелях и кожанках, закончился. В 1921 году провозгласили НЭП. Москва с щер-

батыми и обшарпанными фасадами, прислушивающаяся к погрохатываниям Гражданской войны, медленно оживала. Даниил шел в школу через Арбат, где прилавки становились заманчивыми, расцветая колбасами, сырами, балыками, а витрины запестрели дамскими туалетами и побрякушками. Прохожие с усталыми и угрюмыми лицами, барышни и неунывающие дети останавливались, глазели. Вечерами на Арбате горели огни, высвечивая ресторанные подъезды, на Тверском вольной гурьбой расхаживали проститутки.

Москва жила неспокойно. ЧК действовала все уверенней, аресты никого не удивляли. Заканчивались бои Гражданской войны, а война идейная становилась беспощадней: ширилась борьба с религией, религиозной философией. Не только из страны высылались неугодные писатели и философы. В «Указатель об изъятии антихудожественной и контрреволюционной литературы...» из массовых библиотек в первую очередь включены религиозные философы – Платон, Кант, Шопенгауэр, Ницше, Владимир Соловьев... В библиотеках в отделах религии разрешались только антирелигиозные книги. Но Даниилу, его друзьям-кисовцам казалось, как это и должно быть в юности, что все плохое вот-вот кончится, и старались расслышать зов будущего, продолжали верить в любовь, счастье, шутить и смеяться.

В январе 24-го года с несколькими одноклассниками Даниил поехал в деревню Дунино под Звенигородом кататься на лыжах. Веселая поездка запомнилась. Кисовка Татьяна Оловянишникова вспоминала: «Останавливались в избе, которая была перегорожена надвое. В большей части расположились мальчики. Даня спал на старой кушетке, в которой, по его выражению, было “море железа”. Мы, девочки, спали на полу, на сене, во втором закутке. После дня, проведенного на морозе, в лесу на лыжах, Даня и Алеша [Шелякин] разлеглись на нашем сене, не оставив нам места, и вели какой-то философский разговор, рассказывая потом, что “девочки с благоговением слушали нас у наших ног”»[2].

22 января умер Ленин, на зданиях вывесили красные флаги с нашитыми черными полосами. Жуткий мороз, надрывные сиплые гудки, молчаливые люди на улицах. Немая очередь в Дом Союзов, потрескивание больших костров, у которых грелись тоже молча. Плакат «Ильич умер, Ленин жив». Внимательно читается переданная по телеграфу из Тифлиса статья Троцкого «Ленина нет!». Учащихся в Колонный зал пропускают без очереди. Мрачное, нечеловеческое явление государственной смерти задело всех, всю Москву, всю насторожившуюся зимнюю страну.

2. Врубель, Лермонтов, Достоевский

Образы мистического сладострастия Даниил Андреев увидел на «люциферических» полотнах Михаила Врубеля и в стихах второго тома Александра Блока. Эти два художественных гения стояли для него рядом, именно они сделали демонизм эпохи соблазнительно живописным и полнозвучным. Даниил Андреев не мог не переболеть им.

В «Розе Мира» врубелевский «Поверженный демон» назван демоническим инфрапортретом, в «Странниках ночи» «иконой Люцифера». В романе полотно описано с восхищением, рискующим перейти в мистическое сладострастие: «...гениальное произведение еще сияло всеми своими красками, всей своей страшной, нечеловеческой красотой. Казалось, на далеких горных вершинах еще не погасли лиловые отблески первозданного дня; быстро меркли его лучи на исполинских поломанных крыльях поверженного, – и это были не крылья, но целые созвездья и млечные пути, увлеченные Восставшим вслед за собой в час своего падения. Но самой глубокой чертою произведения было выражение взора, устремленного снизу, с пепельно-серого лица – вверх: нельзя было понять, как художнику удалось – не только запечатлеть, но только хотя бы вообразить такое выражение. Невыразимая ни на каком языке скорбь, боль абсолютного одиночества, ненависть, обида, упрек и тайная страстная любовь к Тому, Кто его низверг, – и непримиримое “нет!”, не смолкающее никогда и нигде и отнимающее у Победителя смысл победы».

Но расплата за люциферический соблазн неизбежна. Врубелю приходилось спускаться к ангелам мрака. И – вырывается у Даниила Андреева – «было бы лучше, несмотря на гениальность этого творения, если бы оно погибло».

Многолетняя завороженность Врубеля образом Демона овеяла его судьбу мистической тайной. Художник словно бы метался между евангельскими сюжетами, становившимися у него совсем не каноническими, тревожно болезненными, и неодолимой тягой к изображению взбунтовавшегося ангела, представлявшегося олицетворением мятежного человеческого духа.

Врубелевский Христос необычен, в его эскизах «Надгробный плач», «Воскресение» Он предстает неожиданным космическим символом. Такими же мистериальными образами-символами кажутся не только его ангелы и пророки, но и многочисленные демоны. Все они сохраняют лермонтовское начало, и это не только цикл иллюстраций к поэме. Но «Демона поверженного» даже жена художника называла современным ницшеанцем.

А Даниил Андреев видел в этом болезненно впечатляющем, фантастическом образе и падшего ангела, первого богоборца, и свидетельство вселенской борьбы, увиденной художником-вестником в инфернальных мирах. В стихотворении «Перед “Поверженным демоном” Врубеля» поэт описал то, что виделось и грезилось ему, когда, стоя перед таинственным полотном в Третьяковке, он ощущал и себя где-то «на границе космической ночи»:

В сизый пасмурный день
я любил серовато-мышиный,
Мягко устланный зал –
и в тиши подойти к полотну,
Где лиловая тень
по трёхгранным алмазным вершинам
Угрожающий шквал
поднимала, клубясь, в вышину.

Молча ширилась там
ночь творенья, как мир величава,
Приближаясь к чертам
побеждённого Сына Огня,
И был горек, как оцет,
своей фиолетовой славой
Над вершинами отсвет –
закат первозданного дня.

Не простым мастерством,
но пророческим сном духовидца,
Раздвигавшим мой ум,
лиловело в глаза полотно, –
Эта повесть о том,
кто во веки веков не смирится
Сквозь духовный самум
низвергаемый в битве на Дно.

Ему казалось, что в нем самом «тлеет» «тусклым углем – ответный огонь...». Но огонь чего – «Бунта? злобы?.. любви?..» – он ответить еще не мог. Стихотворение написано через годы, во Владимирской тюрьме, когда юношеские искусы осмыслены и оценены. Но картины преисподних миров, развернувшиеся перед ним, навсегда облеклись во врубелевский пепельно-лиловый колорит. Андрееву не могли не вспоминаться слова Блока о Врубеле, именно из них, может быть, вырастало его понимание вестничества, того, что и вестник может упасть. Блок писал в статье «Памяти Врубеля»: «Падший ангел и художник заклинатель: страшно быть с ними, увидать небывалые миры и залечь в горах. Но только оттуда измеряются времена и сроки; иных средств,

кроме искусства, мы пока не имеем». Блок называет Демона Лермонтова и Врубеля «символом нашего времени», а самого художника – вестником, чья весть «о том, что в сине-лиловую мировую ночь вкраплено золото древнего вечера»[3].

Очарованность Врубелем, конечно, связана с любовью к Лермонтову, великому поэту-мистику, причисленному Андреевым к тем, чье «творчество отмечено смутным воспоминанием богоборческого подвига, как бы опалено древним огнем». Поэтому лермонтовский Демон для него не литературный образ, а выражение подлинного мистического опыта души от встреч с иерархиями зла.

В «Розе Мира» говорится о духовном разладе, начавшемся в России еще в XVII веке, о том, что творчество и Лермонтова, и Достоевского, и Врубеля, и Блока лишь разные его исторические этапы. Разлад Даниил Андреев находит у многих творцов-вестников. Говоря о нем, он обращается прежде всего к собственным переживаниям:

«Есть гении, свой человеческий образ творящие, и есть гении, свой человеческий образ разрушающие. Первые из них, пройдя в молодые годы через всякого рода спуски и срывы, этим обогащают опыт своей души и в пору зрелости постепенно освобождаются от тяготения вниз и вспять, изживают тенденцию саморазрушения, чтоб в старости явить собою образец личности, всё более и более гармонизирующейся, претворившей память о своих падениях в мудрость познания добра и зла».

Кроме Блока и Врубеля в темных странствиях Даниила Андреева сопровождал Достоевский. Его он считал первым из величайших русских художественных гениев. Поступая в институт, на вопрос, в какое время года шел убивать старуху Раскольников, он ответил так, что экзаменовать его больше не стали. Достоевского он перечитывал постоянно, книги о нем читал все, что попадались, от Гроссмана до Ермилова. Бессарабова упоминает в дневнике о том, как у Добровых говорили «О “Бесах” Достоевского, о работе Гроссмана о Бакунине и Ставрогине...»[4] И такие разговоры были нередки.

Достоевский в «Розе Мира» назван среди тех, кто претворил память о своих падениях в мудрость познания добра и зла, а также среди великих созерцателей «обеих бездн». Взвинченная атмосфера многоголосых романов Достоевского будоражила, их взыскующие последней истины герои и отчаянные «кощунники» присутствовали рядом, переживались как живые судьбы, полные мистических откровений. Так он воспринимал не только Достоевского, в любом близком ему произведении искусства он

отыскивал отражения иных миров. В душах Ставрогина и Свидригайлова Андрееву виделись сумрачные отсветы Дуггура. Достоевский «проводит нас, – писал он, – как Вергилий проводил Данта, по самым темным, сокровенно греховным, самым неозарённым кручам, не оставляя ни одного уголка – неосвещенным, ни одного беса – притаившимся и спрятавшимся».

3. Блок

Среди великих созерцателей «обеих бездн», горней и демонической, кроме Иоанна Грозного и Достоевского в «Розе Мира» назван Лермонтов. «Четвертым, – говорит Андреев, – следовало бы назвать Александра Блока, если бы не меньший, сравнительно с этими, тремя масштаб его личности». Но именно Блок оказывается ему самым близким спутником в «темные годы».

Даниил Андреев вырастал с поэзией Блока, в доме Добровых она была на слуху. Блока, чувствуя с ним внутреннее родство, почитал не только его отец, он стал главным поэтом для поколения его сестры. Александра Филипповна и через годы рассказывала потьминским солагерницам о Блоке – «не только о творчестве, но и отдельные эпизоды из жизни поэта»[5], с актерским воодушевлением читала стихи. Ее муж, троюродный брат Блока, воспитывался в ближайшем символистском окружении поэта.

Когда-то Блок написал о себе: «“Мистицизм“ дал мне всю силу *к жизни*, какая есть <...> она проявилась хотя бы в тех же стихах...»[6]. Для Даниила Андреева мистичен сам воздух блоковской поэзии, он переживал ее не как «литературу», а как свое сокровенное, становящееся частью собственной жизни. Слова любимого поэта о том, что «революция совершалась не только в этом, но и в иных мирах», что она проявление «помрачения золота и торжества лилового сумрака»[7], для него не метафоры, а точное описание событий. Глава, посвященная Блоку в «Розе Мира», названа «Падение вестника». В ней судьбу Блока он представляет как сложную трагедию духовного спуска по лестнице мистических подмен. В его стихах он узнает урбанистические пейзажи Дуггура, слышит призывы лунных демониц:

Бегите все на зов! на лов!
На перекрестки улиц лунных!
Весь город полон голосов,
Мужских – крикливых, женских – струнных.

Для него очевидно, что Блок не только побывал в Дуггуре, но и воспел его. Ведь «каждая душа человеческая, побывавшая в этом тёмнолунном городе, не может не помнить этого, хотя бы

и совсем смутно». А в стихах Блока ему явно видятся ожившие призраки Дуггура, и среди них демоница Воглеа, исподволь подменившая образ поруганной Прекрасной Дамы. Стихи – самые убедительные свидетельства пребываний в Дуггуре, и, описывая демонический мир, над которым высится статуя Всадника с дымящимся факелом на исполинском змее, а не на вздыбленном коне, он цитирует строфы блоковского «Петра».

В лирических книгах Блока Даниил Андреев всюду находит отблески и образы демонических миров. Незнакомка знаменитого стихотворения для него существо мистическое, влекущее сквозь чадные, мутные ночи в лунный Дуггур, представляясь его обитательницей. Считая Блока зараженным неутолимым томлением к Незнакомке, встреченной в Дуггуре, он здесь говорит столько же и о себе, сколько о любимом поэте. О своей очарованности неземным образом, мерещившимся в юные годы за вполне земным обликом одноклассницы – Галины Русаковой. За ним ему и позднее мерещился Дуггур, ее имя он называл в стихах лунным.

Некоторые стихотворения Блока Даниил Андреев считает документами, говорящими «о жажде саморазрушения, своего рода духовного самоубийства». Эту же тягу к гибели, которой хочет сердце и «тайно просится на дно», пережитую Блоком, влюбленным в Волохову, но видевшему за ней другой, мистически соблазнительный образ (непременно связанный с Дуггуром!), Андреев пережил вслед за гипнотизировавшим его поэтом. У него гибельность приходит с несчастной любовью к Русаковой. Поэтому, чтобы понять происходившее с ним в «темный период», нужно вчитаться в то, что он пишет о «падении» Александра Блока. На страницах «Розы Мира», ему посвященных, любовь и горечь. Он переживает «падение» любимого поэта как собственное: «Блок всю жизнь оставался благородным, глубоко порядочным, отзывчивым, добрым человеком. Ничего непоправимого, непрощаемого, преступного он не совершил. Падение выражалось во внешнем слое его жизни, в плане деяний только цепью хмельных вечеров, страстных ночей да угаром цыганщины. Людям, скользящим по поверхности жизни, даже непонятно: в сущности, какое тут уж такое будто бы ужасное падение, о какой гибели можно говорить? – Но понять чужое падение *как падение* могут только те, кому самим есть откуда падать. Те же, кто сидит в болоте жизни, воображают, что это в порядке вещей и для всех смертных».

Блоку падение в итоге прощается, – после кратковременного пребывания в чистилищах, вместе с Леонидом Андреевым, с Фетом и другими небезгрешными выдающимися людьми, он – согласно «Розе Мира» – помещается в Синклит Небесной России.

4. Галина Русакова

Поэзия Александра Блока так захватила Даниила, что стала высвечивать события его жизни, трансформируясь в образы собственных незнакомок, двойников и снежных масок.

Еще в 23-м году написана позже переработанная «Элегия», обращенная к Галине Русаковой, когда он надеялся, что их «свиданья рассыпаны млечною пылью / У будущих солнц, на еще не пройденном пути». «Элегию» он включил в посвященный своей первой любви цикл «Лунные камни». Эти камни из ночного городского пейзажа Дуггура. Через стихотворения цикла, повторяясь, проходят мотивы заиндевелой, вьюжной Москвы, озаренной уличными фонарями:

Незабвенной и горькой святыней
Будешь ты до конца моих дней,
Ты, мерцавший над городом иней,
Ты, сверкавшая цепь фонарей.

«Бульвар уже был совсем пуст, когда на него вышел молодой поэт, – повествовал он в “Сказочке о фонаре”, – разгоряченный стихотворным письмом к своей возлюбленной, которое и писал весь вечер. Теперь ему хотелось, чтобы прохладный ветер освежал его лоб, а над головой сверкали звезды. Но тысячи городских фонарей затмевали свет небесных светил, небо казалось невыразительным и бледным». Поэт сказочки автобиографичен, и в его стихотворениях связавшиеся с блоковской «Снежной маской» переживания ведут в мир заснеженный, ночной и узнаваемо московский.

Там, за городскими пустырями,
За бульваром в улице немой
Спит под газовыми фонарями
Снег любви зеленоватый мой.

Виновница воспаленных страданий поэта, высвеченная блоковскими и его собственными стихами, вряд ли понимала мистериальный масштаб, до которого они вырастали. Но под голубоватым светом газовых фонарей тени на снегу становились фиолетовыми, вытягивались и оживали, увлекая, на грани сумасшествия, в иррационально сумрачные миры. Эти миры, для него непреложно реальные, и становились Дуггуром, в подробностях увиденным гораздо позже, в сновидческие тюремные ночи.

Измученность неразделенной любовью толкала на блуждания по полуночным улицам. Часто ему сопутствовал закадычный друг Юрий Попов. Их бессонные гулянья легко заводили в лун-

ный морок. А в воображении она, Галина Русакова, вполне земная и своенравная, не кокетливая, но гордящаяся своей красотой, косами «цвета меда», тянувшаяся к понятному счастью, представлялась мистическим лунным образом, «правящим снами».

Я молил, чтобы только раз
Единственная моя
Тихим светом бесценных глаз
Озарила мой лучший час.

Я молил, чтоб идти вдвоём
Сквозь полуночный окоём
В убелённые вьюгой края
В совершенном царстве моём.

Не услышал мольбу никто.
Плотным мраком всё залито...
Так карай же судьбу за то,
Что утрачена ось бытия.

Путь в «совершенное царство» оказывался невозможен без ее лица, ее светящихся глаз, без нее, казалось, утрачивалась сама «ось бытия».

О Галине Русаковой и Юрии Попове[8], двух действующих лицах поэмы «Дуггур», нам мало что известно. Мы даже не знаем, сделался ли Попов удачливым соперником Андреева. Но именно этот «треугольник» первой любви – главное переживание на «темных» и «светлых» кругах юности поэта. Первая и неразделенная любовь толкала на извилистые, мучительные тропы, заставляла переживать отчаянный «час восстанья, тьмы и гнева».

5. Юрий Попов

Одноклассника Юрия Попова Андреев называет темным другом ненастной молодости. Попов был единственным спутником и поверенным его тогдашних плутаний.

Я любил тебя горчайшею из дружб
за то,
Что никто ещё не понял наших душ –
никто.
Эти мутные ночные небеса,
ветра,
Диски желтых циферблатов в три часа
утра,
Нелюдимые капели, гуд перил,
мосты, –
Эту музыку апреля так любил
лишь ты.

Их дружбу сделала теснее, но запутала общая несчастливая любовь. Они оказались соперниками, и оба были отвергнуты.

И вот, святое имя юное,
Намёком произнесено,
Зашелестело птицей лунною,
С тех пор – одно... всегда одно.

По вечерам – друзьями ясными,
О первой тайне говоря,
Мы шли кварталами ненастными
От фонаря – до фонаря;

Устав стремиться в невозможное
И чувством выспренним гореть,
Делили поровну пирожные,
Собрав по всем карманам медь.

О Канте, Шиллере, Копернике
Речь за звеном плела звено...
Мы забывали, что соперники,
Что нам врагами быть дано;

О том, что сон нерассказуемый
Таим, друг с другом не деля...
Про узел тот неразвязуемый,
Что нас задушит, как петля.

В задуманном «безумном бунте» Андреев с упорством хотел идти до конца, не считаясь ни с чем и ни с кем. Попова он невольно увлекал за собой, так ему казалось.

Только смертная крепнет злоба.
Только мысль о тебе, дрожа,
Хлещет разум бичом озноба,
Сладострастием мятежа.

Долг осмеян. Завет – поруган.
Стихли плачущие голоса,
И последний, кто был мне другом,
Отошел, опустив глаза.

Лже-апостолом
и лже-магом,
Окружён пугливой молвой,
Прохожу размеренным шагом
С гордо поднятой головой.

Брезжит день на глухом изгибе.
Время – третьему петуху.
Вейся ж, вейся, тропа, в погибель,
К непрощающемуся греху.

Тогда, в ненастной молодости, Юрий Попов начал пить, потом спиваться. Он стал художником, но каким, как складывалась его судьба, – неизвестно. К тому, что сказано о нем в стихах Даниила Андреева, добавить можно немногое.

В самом начале войны Попов в подпитии полез на крышу тушить зажигалки и сорвался. В его гибели Даниил винил и себя. Почему? Вряд ли кто-нибудь сможет ответить. То ли он считал ответственным себя за то, что друг стал спиваться, часто даже казался похожим на одержимого бесами? Или речь идет о неведомом нам поступке? Чуткие совестливые люди всегда ощущают неясную вину, когда погибают близкие. Он переживал эту вину мучительно, никогда о ней не забывал:

И камень зыбких лестниц мрака
Шатнулся под твоей ногой:
Ты канул – и не будет знака
Из рвов, затянутых пургой.

Лишь иногда, пронзив ознобом,
Казня позором жизнь мою,
Мелькнёт мне встреча – там, за гробом,
В непредугаданном краю.

Андреев считал себя недостаточно наделенным способностью к раскаянию. Писал об этом жене из тюрьмы, когда та заметила, что он мучает себя тем, что от него не зависит, что он напрасно не пытается «забыть тропинок», закручивавших его юность...[9] «Я нахожу, напротив, что одарен этой способностью в весьма недостаточной степени, – возражал он. – Ты, кажется, думаешь, что я “постоянно” (как ты выражаешься) мучаю себя подобными настроениями. О, нет: я их испытываю гораздо реже и поверхностнее, чем было бы нужно. Требуется немалое мужество, чтобы не поддаваться соблазну – заглушить, отвлечь себя, скользнуть мимо, “обойти стороной”, как говорил Пэр Гюнт. Я вообще считаю, что человек, если он хочет быть глубоким, и в особенности мужчина, не должен прятаться ни от каких переживаний, сколь бы мучительны и тягостны они ни были. Наоборот, он должен стремиться пройти сквозь них до конца. А концом может быть только полное развязывание данного кармического узла, – хотя бы за порогом смерти. Например, у меня есть на памяти одна большая, очень серьезная вина перед покойным Ю. Поповым. Здесь она развязана не была, и теперь, поскольку его уже нет в живых, так и останется – чтобы развязаться – не знаю, где, когда и как. Но пока она не развязана, острое, жгучее чувство этой вины будет во мне жить, хотя, разумеется, случаются целые

дни, когда я ни разу даже не вспомню об этом. А не вспоминаю – по легкомыслию, тупости сердца, по недостатку глубины»[10].

Но зачем же головокруженье
Захватило сердце на краю
В долгий омрак страстного паденья,
В молодость бесславную мою?

Узел жизни – неужели это,
Что я в молодости завязал?

Подобные мучительные вопросы Даниил Андреев не переставал себе задавать всю жизнь, к тому же считая, что именно он погубил Юрия Попова, что «виноват, и притом сознательно, в пьянстве друга»[11]. В черновиках «Розы Мира» есть запись о нем, о себе и Дуггуре: «Ю<рий> был в Дуг<гуре> спасен сил<ами> Св<ета> без самоуб<ийства>; т. е. не изжив соблазн до конца. Противовес слаб, но все же есть, и поэтому [он] не отягчит себя так, как мил<лионы> др<угих>. Об этом люди почти всегда молчат, да и смутно понимают. – У меня был противовес, и в момент решит<ельного> выбора *ты бы* отверг Дуг<гур>».

6. Поступки

«Когда произносишь слово “соблазн”, напрашиваются привычные ассоциации с набором недостойных поступков, совершаемых человеком, поддавшимся ему. Ничего этого в жизни Даниила не было: он не пил, не употреблял наркотиков, не предавался и не помышлял ни о каких извращениях, не касался женских объятий. Было сложнее и страшнее. У Даниила все и всегда уходило из реального плана в бесконечность. Так было и в темном периоде юности: да, есть и факты, о которых я знаю и не стану рассказывать, потому что дело не в них, немногих, а в том, что он слушал тот призыв к гибели. И это тем более страшно, что ему, верующему православному христианину, вся греховность этого зова и собственной готовности слушать его, поддаваться ему была вполне ясна»[12] – так сдержанно о «темном периоде» Даниила Андреева, о котором он сам, и очень откровенно, рассказывал ей, свидетельствует его вдова.

Андреев, словно бы следуя Блоку, хотел полной гибели: ряд поступков, ведущих вниз, следовало завершить самоубийством. В блоковские «лиловые миры» и «серую бездну» должны свести, ступень за ступенью, все более преступные действия. Он выстроил вполне придуманную, но страшную последствиями теорию и методологию духовной смерти. Следуя ей, можно осуществить уничтоженье собственной души. Среди этих поступков

должны были быть убийство животного, женитьба на нелюбимой и даже, если верить одной из современниц, приводящей признание поэта о такой попытке, убийство человека. «...Он не сумел это сделать, но при этом поранил себе ножом руку (об этом у него были стихи)», – сообщает мемуаристка, добавляя: «Правда, предлогом для такого намерения было оскорбление девушки (вовсе ему не близкой)»[13]. Эти поступки он называл тогда «служением Злу». Что ж, и самоубийство вполне демонический вызов. «Возвратить Творцу билет» – последний вызов, какой может бросить человек Богу. Этим вызовом, а не сладострастием тайной блоковской гибели, бредил Маяковский, маниакально, по крайней мере в стихах, примеряясь к самоубийству. Но Андреев очутился во власти собственного морока и искуса, блуждая сумеречно-лунным миром. Хотя с самого начала чувствовал, что Кто-то все время хранит его на гибельном краю. В поэме «Немереча», обращаясь к Судьбе, он откровенен:

Как много раз Охране покориться
Я не хотел, но ты права везде:
Дитя не тонет в ледяной воде,
И ночью рвётся шнур самоубийцы.

Ледяная вода – вода проруби на Черной речке, куда он влетел, катаясь на санках, в раннем радужном детстве. Был ли рвущийся шнур петли? Вернее всего, что был, хотя нигде и никому об этом не рассказывал: в стихах он, как и всегда, ни о чем не говорил всуе. Не мог он не пережить те «роковые дни» «всесильных увлечений», о которых сказано Тютчевым: «И кто в избытке ощущений, / Когда кипит и стынет кровь, / Не ведал ваших искушений – / Самоубийство и Любовь».

О подобном своем состоянии он написал почти теми же словами: «...росла и пенилась в крови / Тоска, ничем не утоляемая, / О смерти, страсти, – о любви».

Но самым страшным соблазном юношеской души стал замысел духовного самоубийства как последнего вызова:

Все святыни отдам за мгновенье –
Бросить вызов законам Отца,
Бестелесный клинок преступленья
В ткани духа вонзив до конца.

Стихотворение, написанное позже, когда он уже изживал эпоху Дуггура, в марте 30-го, говорит о страшном проступке, предполагаемом на задуманном пути. После его совершения в душу должна хлынуть мистическая ночь и погубить ее:

... сам уложу тебя в гроб,
Сам засыплю землей,
Сам воздвигну твой крест
К плачущим небесам.

Если же запоешь –
Там, под землей, в гробу –
Я к земле припаду,
Я притаюсь, не дыша.
Не разорвать узду;
Не обмануть судьбу;
Мерно вонзит нож
В сердце свое душа.

Об одном из поступков, ведущих вниз, к саморазрушению, – есть смутные слухи, что он пытался убить или даже убил собаку, – рассказано в «Розе Мира»:

«В моей жизни был один случай, о котором я должен здесь рассказать. Это тяжело, но я бы не хотел, чтобы на основании этой главы о животных у кого-нибудь возникло такое представление об авторе, какого он не заслуживает. – Дело в том, что однажды, несколько десятков лет назад, я совершил сознательно, даже нарочно, безобразный, мерзкий поступок в отношении одного животного, к тому же принадлежавшего к категории “друзей человека”. Случилось это потому, что тогда я проходил через некоторый этап или, лучше сказать, зигзаг внутреннего пути, в высшей степени тёмный. Я решил практиковать, как я тогда выражался, “служение Злу” – идея, незрелая до глупости, но благодаря романтическому флёру, в который я её облёк, завладевшая моим воображением и повлёкшая за собой цепь поступков, один возмутительнее другого. Мне захотелось узнать наконец, есть ли на свете какое–либо действие, настолько низкое, мелкое и бесчеловечное, что я его не осмелился бы совершить именно вследствие мелкого характера этой жестокости. У меня нет смягчающих обстоятельств даже в том, что я был несмышлёным мальчишкой или попал в дурную компанию: о таких компаниях в моём окружении не было и помину, а сам я был великовозрастным багагаем, даже студентом. Поступок был совершён, как и над каким именно животным – в данную минуту несущественно. Но переживание оказалось таким глубоким, что перевернуло моё отношение к животным с необычайной силой и уже навсегда. Да и вообще оно послужило ко внутреннему перелому. И если бы на моей совести не было этого постыдного пятна, я, может быть, не испытывал бы теперь ко всякому мучению или убийству животного такого омерзения, иногда даже до полной потери самообладания».

Внутренний перелом, о котором сдержанно сообщает Даниил Андреев, мог быть похож на пережитый в молодости старцем Зосимой в «Братьях Карамазовых» Достоевского – любовная неудача, дурной поступок, затем раскаяние и прозрение. Но и позднее Дуггур, судя по стихам, пытался настичь его.

Дуггуром веяло в годы его юности и над домом Добровых, быстро превращавшимся в стесненную коммуналку. Неожиданный роман обожаемого всеми главы дома. Омраченная кокаином судьба Арсения, двоюродного брата. Присутствие двойственной, порочно обаятельной Эсфири – «падшего Серафима». Нервное болезненное состояние Шуры, живущей под ритм «Цветов Зла». С 17-го года началось блуждание по собственному богемному Дуггуру его брата Саши, любимца женщин: кокаин, анаша, алкоголь, беспутство. Осенью 25-го он попал в больницу. Бессарабова записала в дневнике: «Беда-горе о Саше переполнило дом, как чашу, до краев. <...> Мать его, как распятая на кресте»[14].

7. Высшие Литературные курсы

Темный зигзаг внутреннего пути пришелся на студенчество. После школы Даниил Андреев собирался поступить в университет, но даже к экзаменам «сына контрреволюционного писателя» не допустили. Тогда он стал учиться в Государственном институте слова, где уже занималась Ариадна Скрябина. Туда принимали всех, занятия проходили по вечерам. В институте слова было четыре факультета: декламационный, художественного рассказывания, ораторский и литературно-творческий. На декламационный поступила его одноклассница Елизавета Сон. Помещался институт на Большой Никитской, недалеко от Никитских ворот.

Государственный институт слова был образован из института декламации осенью 1920-го. В его организации принимал участие Брюсов, преподававший поэтику. Не всем его уроки казались «занимательными», «уж очень все было точно и формально, – вспоминал один из студентов, художник Сергей Лучишкин. – Но знал он свой предмет блестяще. К тому же он привлекал к занятиям известных поэтов-символистов, поэтому мы имели возможность общаться с Андреем Белым, Вячеславом Ивановым, Константином Бальмонтом»[15]. По некоторым сведениям, в 1923 году литературный факультет расформированного института влился в Высший Литературно-художественный институт им. Брюсова. Андреев в автобиографии сообщает, что он поступил в Литературный институт «в следующем году» после окончания школы. Но в дневнике Бессарабовой 19 октября 23-го года отмечено,

что «Даниил учится в Институте Слова»[16]. Известны тогдашние выпускники Института слова и 1925, и 1926 года, так, в 1925-м его окончила Толстая (Есенина), но литераторами стали немногие.

В брюсовском институте, который сам Брюсов называл «консерваторией слова», находившемся на Поварской, в доме, описанном Львом Толстым как дом Ростовых, литературная жизнь кипела. Среди студентов преобладали поэты, делившиеся, вспоминал один из них, на рабочих и эстетствующих, и «парни из рабочих сцеплялись с эстетствующими»[17]. Вряд ли в тогдашних идейных схватках начинающих поэтов участвовал Андреев. Однако сюда приходили и читали стихи Есенин и Маяковский. А преподавали известные литературоведы Мстислав Александрович Цявловский, Александр Сергеевич Орлов, Леонид Петрович Гроссман, фольклористы Борис Матвеевич и Юрий Матвеевич Соколовы, поэт и стиховед Георгий Аркадьевич Шенгели... Преподавал в институте и сам Брюсов, читавший курсы античной литературы и «науки о стихе». Но 9 октября 1924 года Валерий Яковлевич Брюсов умер. После его смерти институт просуществовал недолго. А осенью следующего года «развились взамен покойного института из Студии Союза Поэтов»[18] Высшие государственные литературные курсы Моспрофобра – ВГЛК.

История их возникновения непроста. Первоначально, с 1925 года, существовали Литературные курсы Главного управления профтехобразования на базе Литературной студии Всероссийского союза поэтов, руководимые тем же Брюсовым. С 1926 года это – Государственные литературные курсы Моспрофобра. В следующем году курсам присвоили наименование «Высших», присоединив к ним и Курсы живого слова, как, видимо, тогда уже именовался Институт слова. Готовили курсы, согласно уставу, творческих, редакционно-издательских и клубных работников[19].

Часть студентов брюсовского института, где если и появился Андреев, то мельком, перед его закрытием, продолжила учебу уже на Литературных курсах. Они были вечерними и платными, принимали всех желающих. Заведующий учебной частью Николай Николаевич Захаров-Мэнский – поэт и актер, тридцатилетний, с подпрыгивающей походкой и прядью на лбу, называвший студенток «деточками» – шутил, когда приходили абитуриентки из «бывших»: «У нас уже есть две княжны Гагарины!» Потому на курсах оказалось немало тех, кто не мог поступить в государственные вузы из-за происхождения, отпрысков «социально чуждых». Курсы собрали не только молодежь, но и разнообразных чудаков, тянувшихся к литературе, вроде шестидесятилетнего крестьянского поэта-самоучки Степана Аниканова.

Вот как вспоминала о курсах их слушательница Наталья Баранская (тогда – Родченко): «На курсах собралась довольно пёстрая публика: девчонки, только окончившие школу... пожилые учительницы, желающие “обновить знания”; молодые люди разных профессий, пробующие своё “перо”; экстравагантные подруги нэпманов, меняющие еженедельно цвет волос и ежедневно туалеты; девицы, стремящиеся облагородить свою речь; красотки в поисках интересных знакомств. Немногие одарённые талантом и многие просто любящие литературу. Среди них – отвергнутые государственными учебными заведениями за “плохое происхождение”. В их числе были потомки причастных к литературе семейств. На нашем курсе учился Андрей Бэер – праправнук Авдотьи Петровны Елагиной (в первом браке Киреевской) – это имена близких знакомых Пушкина; Игорь Дельвиг (может, и не прямой потомок Дельвига-поэта), внучка знаменитого издателя Лена Сытина. Поступали на курсы и “чуждые элементы” не столь громких фамилий, дети священников, церковных и государственных деятелей прошлых, “царских” времён, так называемых лишенцев (людей, лишённых гражданских прав). Вся эта пестрота создавала некий сумбур в обстановке и какую-то зыбкость и неустойчивость. Слушателям предоставлялась полная свобода выбирать, когда и кого слушать, что посещать. Однако диплом получить могли только те, кто прошёл все обязательные занятия по полной программе и сдал все экзамены»[20].

Почти все на курсах оказались стихотворцами. Поэтами стали немногие. Один из стихотворствовавших студентов, Александр Моисеев, с наивной искренностью писал: «Нет хуже, / Нет сквернее жизни / Никем не признанного / Тихого поэта: / Придешь в редакцию, / Редактор смехом брызнет / И скажет: / – Это перепето. / ... И лучше думаешь, / Опять идти к сохе – Ведь там гораздо / Будет больше толку!»[21]

Неустойчивым, сомнительным заведением казались эти Литературные курсы. Канцелярия курсов какое-то время ютилась в доме Герцена на Тверском, располагаясь в таком же временном и пестром Союзе поэтов. ВГЛК даже не имели собственного помещения – занятия шли то в школах, на одной из Тверских-Ямских, на Садовой-Кудринской (дом 3), то в других местах...

«По преподавательскому составу, по программе учебной – эти курсы, – вспоминала Мария Петровых, – были совершенно блестящим учебным заведением»[22]. Профессура на ВГЛК действительно собралась замечательная, многие перешли сюда из Брюсовского института. Здесь преподавали: теорию драмы – Владимир Михайлович Волькенштейн, римскую и итальянскую литературу –

Аполлон Аполлонович Грушка, французскую литературу – Борис Александрович Грифцов, литературу Востока – Алексей Карпович Дживелегов, теорию прозы – Константин Григорьевич Локс, русскую литературу читал Иван Алексеевич Новиков, немецкую, а потом и курс перевода – Григорий Алексеевич Рачинский (некогда позволявший себе говорить студентам: «Свобода! Покажут еще вам вашу свободу!» – и цитировал Гёте: «Никто в такой мере не раб, как тот, кто мнит себя свободным, им не будучи»), историю искусств – Алексей Алексеевич Сидоров, стихосложение – впалостью щек и торчащей бородкой напоминавший Дон Кихота, «мистически настроенный» Иван Сергеевич Рукавишников, старославянский язык – Сергей Иванович Соболевский, древнегреческую литературу – Сергей Михайлович Соловьев, эстетику – Густав Густавович Шпет. Семинар «Поэты пушкинской поры» вел Иван Никанорович Розанов, приглашавший студентов к себе домой, удивляя собранной им исчерпывающей библиотекой русской поэзии. Домой приглашал студентов и Рачинский, живший неподалеку. Старик, типично профессорской внешности – седой, бородатый, в очках, слышавший речь Достоевского о Пушкине, приятельствовал с Андреем Белым и пламенно говорил о Блоке... А тот же Захаров-Мэнский начинал свой курс с того, что наизусть, высоким по-женски голосом звонко декламировал «Слово о полку Игореве». Курс современной литературы читал (по свидетельству слушателей скучно и серо) Николай Николаевич Фатов. Но к Даниилу Андрееву он, написавший книгу не только о Демьяне Бедном, но и о его отце – «Молодые годы Леонида Андреева», мог питать особенный интерес. Но тот вряд ли явил расположение редактору однотомника и биографу Леонида Андреева, помня такой, например, фатовский пассаж, посвященный отцу: «Последние годы он добровольно провел “по ту сторону” советской черты, глубоко возмущая всех честных граждан Р.С.Ф.С.Р. своими клеветническими выпадами против рабоче-крестьянской власти...»[23]

Студенты и восхищались своими профессорами, и вышучивали их в курсовых «куплетах». Рукавишникова:

Знак масонский – на груди,
С бородой козлиной,
Рукавишников гряди
В альмавиве длинной!

Розанова:

Слова неспешны,
Слова безгрешны
Под розановским языком.
У Каролины

Справлял крестины
И лично с Вяземским знаком.

Пушкиниста Цявловского:

Мы честь и славу
Поем Мстиславу...[24]

Занятия на курсах шли вечером, а днем большинство студентов занималось в Румянцевской библиотеке, терпеливо сидя в читальном зале у ламп с зелеными абажурами. Много времени здесь проводил и Андреев. Потом, в тюрьме, он написал гимн библиотеке «в молчаливом дворце».

На ВГЛК училась одноклассница Даниила Андреева – Муся Летник, как и он, глубоко верующая и тоже писавшая стихи, маленькая, тоненькая, с легкой косинкой задумчивых глаз и почти детским голоском. Плохо ее знавшим она казалась жеманной и кокетливой. Они дружили. Муся его познакомила со своими подругами – Натальей Радченко, Ириной Всехсвятской и Ниной Лурье. Наталья Радченко оставила набросок, рисующий Даниила Андреева тех лет: «Он бывал, как и мы, Мусины подруги, неизменным гостем на дне её рождения. Даня – Мусин одноклассник, друг школьных лет, – думаю, был духовно близким ей человеком. В те юношеские годы он производил на меня впечатление цветка с надломленным стеблем, вернее всего ириса, не яркого, но изысканного, привядшего и всё же живого. А может, это сравнение с цветком и надломленным стеблем подсказано словами самого Дани, произнесёнными в каком-то споре с Ириной: “У вас типично короткий стебель сознания”. Мы подсмеивались над этими словами, повторяя их с Даниной томной интонацией, которую называли “декадентской”»[25].

На курсах он познакомился с приехавшим из Керчи Вадимом Сафоновым, крепко стоявшим на грешной советской земле, несмотря на увлеченное стихописание. Оно их и сдружило. В те годы Сафонов не только сотрудничал в «Труде», а даже напечатал несколько стихотворений, начав с отклика на смерть Ленина. Как и Даниил, был принят во Всесопо – Всероссийский союз поэтов. Союз возглавлял профессор ВГЛК и земляк Сафонова – Георгий Шенгели[26]. Всероссийский союз поэтов, объединявший стихотворцев и начинающих, и маститых, самого разного толка и калибра, просуществовал до 1929 года, но вряд ли чем-то мог помочь молодым поэтам... Поэзия, любовь к Лермонтову, юность, когда и самые разные люди легко сходятся, общие знакомые – объединяли. Они подружились. Сафонов приходил в гостеприимный дом Добровых, несколько раз оставался ночевать, поскольку жил далеко, в Сергиевом Посаде.

8. Семья

Весной 1926-го Даниил неожиданно получил письмо от брата, от которого долго не получал никаких известий.

После смерти отца, закончив гельсингфорскую гимназию, живущий стихами и романтическими порывами Вадим Андреев в октябре 20-го через Францию отправился в Добровольческую армию, потом из Батуми попал в Константинополь, где недолго поучился в русском лицее, оттуда в Софию и затем, в апреле 22-го, в Берлин, в город, где родился младший брат, где умерла их мать. Поначалу он и жил на той самой зеленеющей окраине, где это произошло, в Грюневальде, у поселившейся там мачехи. Не это ли сказалось на том, что Берлин Вадим, как и его отец, невзлюбил. Берлинские годы он позднее назвал «возвращением к жизни», замечая, что «пустить корни на чужой земле так же трудно, как сосне вырасти в солончаковой степи»[27].

В Берлинском университете Вадим Андреев изучал историю живописи, живя на стипендию Уиттимора, предназначавшуюся для русских студентов. В Берлине в начале 24-го вышла его первая книга стихов «Свинцовый час». Но летом того же года, не дождавшись обещанного советского паспорта, он перебрался в Париж, поступив в Сорбонну и занявшись русской филологией. Но и в Париже, где дышалось легче, хотя жилось так же трудно, время от времени молодой поэт, плохо представлявший, что на самом деле творится в России, порывается вернуться на родину. В 1926 году он женился на Ольге Викторовне Черновой. Черновой она была по отчиму – знаменитому эсеру, настоящий ее отец – художник Митрофан Федоров. Семейство Черновых в Париже двадцатых годов жило в кругу русского литературно-художественного Парижа. Одно время у них нашла приют Цветаева, дружили они с Ремизовыми. Ее сестры вышли замуж за друзей Вадима Андреева, Наталья за поэта Даниила Резникова, Ариадна – за прозаика Владимира Сосинского.

Слухи о Вадиме, об Анне Ильиничне Андреевой, ее детях до Добровых доходили с трудом. И Даниила, чувствовавшего духовное одиночество, обостренное необъяснимыми и самому себе метаниями, судорожно возникавшими мистическими построениями, неожиданное письмо брата, с которым не виделся почти десять лет, очень обрадовало. Он торопливо отвечал:

«Ох, за это время произошло очень много в моей жизни (внутренней). До чего хочется видеть тебя, говорить с тобой! Я уже привык к одиночеству, и оно давит все реже, но брата я хочу иметь до + ∞.

Я пережил недавно одну очень неприятную историю, когда был поставлен в глупейшее положение одним подлым человеком, которому я доверился вполне. Но это было мне наказание, ибо такую же подлость совершил и я сам перед тем с третьим человеком, учась лгать. Вышло восхитительно, роль свою сыграл я удачно, и даже очень, потому что результат превзошел все ожидания. Но это подло с моей стороны, и я был наказан за дело. Все это путаная и скверная история, которую я расскажу тебе, когда увижу тебя.

А сейчас я очень много занимаюсь; ибо идут зачеты (проклятые!). А перед тем очень много работал над своим романом».

Речь идет о романе «Грешники». Над ним Андреев начал работать еще перед поступлением в Литературный институт, и этот замысел, как и многие его замыслы, прошел через все творчество, меняясь, трансформируясь, но сохраняя главное, заветное. Позже, когда он писал «Странники ночи», Коваленский заметил: «Это те же “Грешники”». Намечая свой литературный путь, Даниил писал брату в том же письме: «Знаешь, я прихожу к убеждению, что я за всю свою жизнь напишу всего 2 или 3 романа (и вовсе не длинных, – тот, который я пишу 2 1/2 года, будет иметь всего 150 или около страниц, написал сейчас треть). А сижу я целые недели над тетрадями. У меня 16 толстых тетрадей черновиков. И думаю, что буду еще и еще переделывать – сотни раз – авось к старости что-нибудь и выйдет».

Но его ночные бдения над романом время от времени перемежали стихи. Об этом он тоже бегло сообщает брату: «Писал тут стихи, и за них попал в Союз Поэтов. Сейчас уже больше месяца стихов не пишу – слишком занят прозой и учением.

Печататься не думаю еще лет 5–6».

Не спешили печататься и другие его однокашники, серьезно относившиеся к литературе, – Арсений Тарковский, Юрий Домбровский... Мария Петровых свидетельствовала: «Я не носила стихи по редакциям. Было без слов понятно, что они “не в том ключе”. Да и в голову не приходило ни мне, ни моим друзьям печатать свои стихи»[28].

Писал Даниил брату и о семье: «А у нас в доме все то же – интересно, мирно и хорошо. Хорошие и интересные люди меня окружают. Все это очень приятно. Но бесконечно, тем не менее, хочется перемены, – и перемены самой простой – уйти и жить одному – совершенно одному, чтоб был сам себе господин. Это и будет, надеюсь, достаточно скоро (т. е. “скоро” очень относительно – ну через год). Как твои делишки с переездом сюда? Ты мне ответишь ли на это письмо?

Братец ты мой милый! Как хочется видеть тебя! Так много (есть рассказать!) Целую! Почему не писал ты раньше?»

Окончившему школу, повзрослевшему Даниилу в большом семействе Добровых, где его очень любили, жилось все-таки непросто. В переполненной квартире, в сердцах называемой «ночлежкой», трудно было уединиться, чтобы писать. Некоторое время он жил в одной комнате с Сашей Добровым. С 22-го года, когда Шура вышла замуж и в доме появился Александр Викторович Коваленский, а через полгода женился Саша, он спал в столовой. Там привык – и привычка осталась навсегда – затыкать на ночь уши, иначе выспаться ему не давали. Тем более что рядом, за занавеской, один раз в неделю у Филиппа Александровича проходил прием больных, начинавшийся довольно рано, и в этот день Даниилу, писавшему по ночам, приходилось недосыпать.

«Их дом и после жестокого уплотнения так и остался Ноевым Ковчегом, где такие, как я, спасаются от потопа, бездомья и неустроения»[29], – свидетельствовала Ольга Бессарабова в октябре 25-го. Она в это время ночевала в спальне старших Добровых за занавеской, рядом, в прихожей-приемной доктора, спал золотобородый художник Федор Константинов. Некогда просторный докторский кабинет разделили на шесть комнатушек, в одной большая еврейская семья – Межибовские, в другой Екатерина Михайловна с собакой Динкой, в следующей ее племянник Владимир Митрофанов, поджарый, высокий и остроносый, часто шутивший молодой человек под тридцать, здесь же ее сын Арсений, рядом – Даниил, дальше Фимочка. Напротив спальни – комната Коваленских. Видимо, чуть позже в комнату, где раньше помещалась Екатерина Михайловна, вселились братья Ламакины – старший Николай, ровесник Саши Доброва, и младший Василий. Оба – геологи, увлеченные наукой, учившиеся в Московском университете, уезжавшие в дальние экспедиции…

Но и в тесноте образовавшейся коммуналки большое семейство жило дружно, умело радоваться и смеяться. Когда Даниил спал в столовой, случилась история, в доме названная «Адам и Ева». К Межибовским как-то приехала сестра матери семейства, учительницы литературы и русского языка, Евгении Петровны, Ева. А в квартире жили три кошки, одна из которых на ночь обычно запиралась в подвале, где находилась кухня. Ночью, сквозь сон Даниил услышал, что кошка лезет в буфет. Спавший обычно нагишом, он поймал кошку, пошел с нею вниз. Услышав странный шум, Ева встала, зажгла свет, и обнаженный Даниил от смущения и неожиданности запустил в нее кошкой и юркнул назад, в столовую.

Даниил, неутомимый озорник и выдумщик, любил розыгрыши. Вот один из них. Шура Доброва каждый вечер долгое время проводила в ванной. Однажды Даниил, когда она принимала ванну, «сбросив ботинки и ступая на цыпочках, снес из столовой и гостиной все стулья, кресла и даже маленький столик в коридор и бесшумно нагромоздил их друг на друга, так, что на протяжении двух саженей – от двери кухни до двери спальни – образовалось заграждение высотою в человеческий рост». Свет в коридоре зажигался в передней. Шура, не понимая, в чем дело, с трудом выбиралась из ванной, стулья мешали, с грохотом падали, а Даниил сдавленно хихикал. Утром его ругали, но потому, что нужно было ругать, без злости, даже с некоторым сочувствием и тайным одобрением. Через годы эту и другие свои выходки он приписал педагогу, теоретику инфантилизма Ящеркину, герою новеллы «Новейшего Плутарха».

Старшие Добровы вполне понимали Даниила, в семье самого младшего, и прощалось ему многое, но и он, избалованный любящими тетушками, в те нелегкие годы обязан был помогать семье, каждый месяц приносить какие-то деньги на хозяйство.

По всей вероятности, летом 1927 года Даниил побывал в Судаке. Во-первых, там поселилась очень больная, с парализованными ногами Евгения Альбертовна Репман. Жить ей на старости лет стало не на что. Поэтому бывшие ученики гимназии, ежемесячно собирали для нее деньги. (Эта помощь, свидетельствует вдова Андреева, продолжалась до ее смерти; и большую роль в сборе этих денег играл Даниил.) Во-вторых, счастливый случай: для новых обследований Судакской крепости, начатых в 1925 году, из Москвы отправился профессор Александр Александрович Фомин. А он дружил с профессором Строгановым, мужем Надежды Александровны, их учительницы. Она и пригласила поехать с ними милую ее сердцу Зою Киселеву и Даниила Андреева. Это была возможность в то голодное и трудное время немного откормиться и отдохнуть.

Там, в Судаке, участвуя в раскопках византийской базилики (земляные работы – условие поездки), Даниил познакомился с первокурсником ВХУТЕМАСа Глебом Смирновым, и они подружились. Исследования Фомина по заданию Исторического музея и Археологического отдела Главнауки имели серьезное значение, о них он делал доклад на Всесоюзной археологической конференции в Херсонесе. Историческая наука всерьез интересовала и Андреева, не случайно герой «Странников ночи», одна из проекций автора, Саша Горбов – археолог. Остатки внушительной генуэзской цитадели, стена из серого известняка с боевыми башнями,

опоясывавшая гору Крепостную, откуда открывалась окруженная горами долина, искрящаяся на солнце бухта на юго-западе, – будили воображение. И сам уютный Судак с горами и морем, с саманными домиками и шелестящими тополями, молодая дружеская компания действовали ободряюще. Но даже здесь мучительные переживания всплывали. Может быть, о них он позже писал, вспоминая высокий берег с крепостными стенами:

За разрушенными амбразурами,
В вечереющей мгле – никого.
Брожу я, заброшенный бурями,
Потомок себя самого.

Постылая грусть терпка мне,
И, влажные лозы клоня,
Читаю надгробные камни
На долгом исходе дня.

И буквы людских наречий
На плитах разных времён
Твердят о Любимой вечно,
Одной в зеркалах имён.

И, в леденящем го́ре,
Не в силах утишить печаль,
Сажусь у гранитного взморья,
Долго гляжу – вдаль.

9. Коваленский

Не меньше, чем Высшие литературные курсы, для его образования, литературной учебы и всего мировоззрения сделало дружеское общение с Александром Викторовичем Коваленским, ставшим мужем Шурочки. Младше ее на пять лет, Коваленский был тогда еще студентом. В детстве, по словам поэта Сергея Соловьева, его двоюродного брата, Александр казался блестящим принцем. Но судьба принцу не благоволила.

Род Коваленских, выходцев из Польши, стал русским в XVII веке. Известен в роду Михаил Иванович Коваленский, друг и биограф Григория Сковороды, ездивший к Вольтеру и служивший правителем канцелярии Потемкина, не чуждый христианским мистикам екатерининских времен, то есть масонам. По отцу Александр Коваленский в сродстве не только с Соловьевыми – он был двоюродным братом поэта Сергея Соловьева, но и с Бекетовыми, через которых приходился троюродным братом Александру Блоку.

В 1915 году Коваленский поступил на медицинский факультет Московского университета и, увлекшись физикой и аэроди-

намикой, одновременно стал заниматься у Жуковского, дедушки русской авиации. Казалось бы, наследственность: родитель – математик, приват-доцент при кафедре механики университета и в молодости большой любитель голубей. Их он гонял и в Дедове, семейном имении Коваленских, и в Москве. Хотя настоящим отцом, как глухо говорит семейное преданье, являлся старший брат приват-доцента – Николай. А он казался противоположностью младшему. Как характеризовал его племянник, «с молодых лет посвятил себя живописи, увлекался охотой, был очень активен, остроумен и несколько надменен и высокомерен»[30]. Мать Александра Викторовича, Вера Владимировна, урожденная Коньшина, женщина с решительным, мужским характером – уродилась в отца, отставного гусара из мелкопоместных дворян. Достаточно образованная, она говорила по-немецки и по-французски. Этими же языками с малолетства овладел и сын, позднее освоивший еще и польский.

Семейство Коваленских входило в тот интеллигентский московский круг, который позднее назвали кругом символистским. В нем нельзя было миновать ни поэзии, ни философии, ни мистики. В доме своими людьми были Эллис, кому показывал первые стихотворные опыты Александр Коваленский, и Андрей Белый, кому он читал свои стихи в 24-м. Это его литературные наставники.

В переломившем жизнь 1918 году Коваленский тяжело заболел – туберкулез позвоночника – и больше года пролежал в постели, потом лет семь носил гипсовый корсет. И, кроме того, он страдал недугом избранных – эпилепсией. Болезнь сказалась на характере: сосредоточенность на себе, сдержанность манер, подчеркивавшая высокомерность. В 22-м, женившись, он снова стал слушать лекции на физико-математическом факультете, но из-за болезни перешел в Психоневрологический институт, который и закончил.

Его брак с Шурой Добровой был брак по любви, оказавшийся идеальным. Бессарабова отметила первое впечатление о Коваленском: «Муж Шурочки очень молодой, очень хрупкий и изящный. Первое, что мне пришло в голову о нем: Розенкрейцер и еще: Шелли»[31]. Описала она и свадьбу, венчание в Левшинском храме Покрова, где были только самые близкие: «Дома на пороге разостлали меховую пушистую шубу. Встретили Шурочку и ее мужа золотой иконой и хлебом-солью. На головы их бросали золотой дождь хмеля и ржаных зерен. Это не обряд, а обычай, но здесь даже вид хмеля и ржи был как бы священным от строгих светлых лиц Шуры и Александра Викторовича»[32]. Писал в эту пору Коваленский, по ее словам, «что-то о лимурийцах, о

Люцифере, о Лилит, о грехопадении» и рассказывал «о розе Ада, о Люцифере, о борьбе его и с ним, о предстательстве за него перед Богом, о космическом значении явления в мир Христа»[33].

Влияние на Даниила зятя, поначалу просто подавляющее, объяснялось, конечно, не только его старшинством и образованностью. Поэт и мистик, уже прошедший некий духовный и литературный путь, захватывал и увлекал своим интеллектом, таинственностью внутреннего опыта, властностью ума. Даниил долго восхищался им, часто говорил: «Он талантливее меня» – и уважительно замечал, что Коваленский, в противоположность ему, «способен творить, не надеясь ни на каких читателей»[34]. Речь шла о писаниях «для себя», хотя тот совсем не гнушался писаниями для заработка и успеха. Позже он замечал, что Коваленскому свойственна властность в обращении с людьми, самоуверенность, утонченность, эстетский вкус, рафинированность интеллектуального склада...

Бессарабова приводит в дневнике рассказ Александра Викторовича «о возникновении мира по учению оккультистов»: «Знаешь ли ты, как в ясные дни за чертой привычного видимого горизонта вдруг возникают новые полосы леса, поля, даль? Так и здесь новая, а может быть, уже и знакомая, но как бы забытая и вспоминаемая даль...»[35] Вокруг Коваленского было немало людей, не только мистически настроенных, но и принадлежащих к неким мистическим кругам. Муж его сестры, Евгений Константинович Бренев в 30-м году был арестован по делу «Ордена света» (анархисты-мистики) и сослан, в 38-м расстрелян.

О своем мистическом опыте Коваленский говорил, видимо, чаще всего туманно, ничего не называя и тем, замечал позже Андреев, безусловно ему веривший, создавая «почву для всяких путаниц, недоразумений, подмен и qui pro quo»*[36]. Одного из героев «Странников ночи», Адриана Горбова, он сделал похожим на Коваленского. Голубоглазый блондин, с породистым лицом, иронической улыбкой на сжатых тонких губах, для малознакомых – неприступный, высокомерно механический, – таким запомнили знавшие его.

Пространную характеристику Коваленского оставил Ивашев-Мусатов:

«Мне в жизни не приходилось встречать человека с таким мощным творческим умом. В его духовных концепциях, в их строгости, стройности и незыблемости чувствовалось такое сильное влияние мощного ума, что всякий, сталкивающийся с

* Одного вместо другого *(лат.)*.

Александром Викторовичем, ощущал в нем присутствие могучего интеллекта, властно и неумолимо подчинявшего себе всякого. Трудно указать, в чем именно сказывался интеллектуализм Коваленского, но он ощущался постоянно...

Помимо этого, Коваленский был очень большим и интересным поэтом. Я знаю некоторые его поэтические произведения. Они обладали великолепными, своеобразными замыслами и замечательной художественной формой. Александр Викторович далеко не всем читал свои поэмы. Но те, которым он читал свои поэмы (я в том числе), бывали ими глубоко потрясены интеллектуально и восхищены художественно.

Вот образчик такой поэмы.

Она называется "Дача в снегу".

Писатель работает в своей загородной даче. Напряженно работая над своим произведением, писатель слышит звонок. Писатель, не желая прерывать свою работу, не идет отпирать. Но звонок повторяется. Писатель снова не идет отпирать. Звонок настоятельно звонит в третий раз. Писатель идет отпирать дверь.

Перед ним стоит высокий человек средних лет и просит разрешения войти. Нехотя писатель впускает посетителя к себе. Перед писателем оказывается чем-то знакомый ему человек, но писатель не может припомнить, где он его видел.

Посетитель, оказывается, хорошо знает дачу писателя. Он делает ряд замечаний, из которых видно, что посетитель не раз бывал на этой даче. В начавшемся разговоре посетитель упрекает писателя за то, что тот в одном своем произведении заставляет действующее лицо совершить ряд поступков, которые, по своему внутреннему облику, не должны были быть совершены, что эти поступки накладывают тень на душевный облик совершившего их, хотя в повести изображен прекрасный, безупречный человек. Далее посетитель указывает, что то же действующее в произведении лицо, будучи по-прежнему прекрасным человеком, высказывает ряд мыслей, которых он не должен был бы иметь, но которые свойственны современным средним людям, и нет в произведении ничего, что наложило бы какую-то тень на действующего в произведении человека. "Как вы считаете, должен был бы в вашем произведении этот человек *так* говорить и *так* поступать и, вместе с тем, оставаться хорошим, прекрасным человеком?" – неожиданно спрашивает посетитель. Писатель смущается, так как ему кажется, что посетитель прав. "Да, – говорит посетитель, – видимо, вы согласны со мной. Тогда зачем же в вашем произведении изображен *якобы хороший, прекрасный человек, так* мыслящий и *так* поступающий. Нет ли в этом вну-

тренней неправды, толкающей читателя на ложный путь жизни?” Писатель смущается еще сильнее и опускает глаза. Когда через минуту он их вновь поднимает и смотрит на посетителя, желая возражать ему, – писатель видит, что посетителя перед ним нет.

В этом произведении (в фантастической форме) поднимается вопрос о том, что писатель *отвечает* за поведение в своих произведениях своих действующих лиц. Очевидно, в “Даче в снегу” посетителем было главное действующее лицо одного из произведений писателя, принявшее облик живого человека и упрекающее писателя во внутренней неправде его произведения и этим толкающего читателя на ложный путь жизни.

Александр Викторович был очень музыкален. Он даже поступил в консерваторию и не стал пианистом только потому, что с ним произошел случай, сделавший малоподвижной его правую руку»[37].

Бессарабова рассказывает в дневнике о впечатлении от его импровизации на фисгармонии: «Сначала было мрачно, тяжело <...> Потом – борьба адовых и светлых сил. Потом было то, что бывает в конце богослужения в церкви, когда круг богослужения замыкается и тает в куполе храма. А потом – светлый, плавный лёт, полет вверх, в музыку сфер...»[38]

Широко образованный, Коваленский естественно-научные знания и умения совмещал с гуманитарными, от теории музыки до теории стихосложения. Началом литературной работы он считал 1925 год. Речь шла действительно о работе. С 26-го по 30-й год он опубликовал десятка три детских книжечек, главным образом стихотворных: «Лось и мальчик», «Сахарный тростник», «На моторной лодке», «О козе-егозе, свинке-щетинке и о домашней скотинке»... Они пользовались спросом, переиздавались, включались в тогдашние хрестоматии. Возможно, привлекла его к этой работе дружившая с Коваленскими и Добровыми Малахиева-Мирович, в эти годы кормившаяся той же детской литературой, сотрудничавшая с теми же издательствами. Но главным для Александра Викторовича представлялось писавшееся «в стол», в 27-м – драма-мистерия «Неопалимая Купина», в 28-м – поэма «Гунны»... Читал он их только избранному кругу, самым близким.

Но неизбежная с самого начала раздвоенность – одно сочинять для заработка и публично состоять советским литератором, а другое, заветное, настоящее – втайне, для немногих, не могла не ломать и не уродовать его писательства.

В семье Коваленский получил прозвище Биша, так его называла жена. Любовь их была трогательно нежной и возвышенной. Эту трогательность не могли не замечать и окружающие. Шура, выйдя за Александра Викторовича, посвятила себя служению

мужу, беззаветно считала его гением, новым Гёте. Театр она оставила навсегда. Тем более что Коваленский отвергал театр, считал: цель человека – собирание многих сторон личности, разных жизней, заключающихся в нем, в одну, а актерство – это распыление себя, растрачивание не собранных в одно ипостасей души.

На посторонних, не без оснований, он производил впечатление человека сухого, высокомерного. Но не для получившего от зятя прозвище Брюшон Даниила. Для него их отношения стали не только родством, но и многое значащей дружбой. Они читали друг другу написанное. Об их совместном чтении (9 марта 24-го) упоминает Бессарабова: «Даня прочел поэму о России, Алекс<андр> Викт<орович> – первую главу поэмы»[39]. В уцелевшем отрывке одной из юношеских поэм сказано о близких отношениях тех лет с сестрой и ее мужем, называемыми любимейшими друзьями, о таких чтениях:

Он – рядом с ней. Он тих и важен.
Тетрадь раскрытая в руке...
Вот плавно заструилась пряжа
Стихов, как мягких струй в реке.
Созвездий стройные станицы
Поэтом-магом зажжены,
Уже сверкают сквозь страницы
«Неопалимой Купины».
И разверзает странный гений
Мир за мирами, сон за сном,
Огни немыслимых видений,
Осколки солнц в краю земном...

– Будь осторожен вдвое! Страшный
Соблазн тобою завладел. –

Так говорит сестра. Но мигом
Уж не рассеется дурман...
Она откладывает книгу
На свой синеющий диван.
Все измышленья в темень канут
От этой ласковой струи...

10. Московские химеры

«Кто-то из Парижа привез Добровым две статуэтки, изображавшие химер собора Нотр-Дам. Когда это было, точно не помню, во всяком случае, во времена юности Даниила. Тогда было модно их привозить... Статуэтки химер оказались в комнате Саши Доброва, двоюродного брата Даниила. И вот спустя неко-

торое время с ним стали твориться страшные вещи. Он был чудным человеком, но вдруг сделался наркоманом, а потом тяжело заболел. Его мама, Елизавета Михайловна, сказала, что во всем виноваты эти чудища, все сделали эти чудища. Одну статуэтку она успела выбросить. Тогда на нее все закричали, в том числе и Даниил, что это произведения искусства, как можно быть такой суеверной, что за нелепость, что за предрассудки.

Уцелевшую химеру Даниил поставил в своей комнате. Тут и с ним стали твориться непонятные вещи. Наступил тот его темный период, который он описал в стихах, вошедших в "Материалы к поэме 'Дуггур' "... Наконец, – рассказывала Алла Александровна Андреева со слов самого поэта, – он понял, что действительно в изображении химеры живет какая-то черная сила. Сказал об этом Гале Русаковой. Галя над ним посмеялась, так же, как он когда-то смеялся над Елизаветой Михайловной, и статуэтку у Даниила, хотевшего уничтожить ее, взяла себе. Вскоре она вышла замуж, они долго не виделись. Потом Даниил узнает, что ее муж тяжело заболел, у него туберкулез. Придя к ним, он увидел, что на шкафу рядом с диваном, где лежал больной, глядя вниз, прямо на него, стоит химера. Придумав какой-то повод, он взял ее и разбил. Но вскоре муж Гали Русаковой умер»[40].

В стихотворении (25 августа 1930) Малахиевой-Мирович описана «комната Даниила». Это свидетельство, что «химеры» над ним реяли долго: «Со шкафа дряхлая, костлявая химера / Бессильно сеет заклинанья зла». Но над химерой, выше – «Дант и мост св<ятого> Марка, / И Беатриче с розою в руках».

Химеры, готические видения дьявольской свиты, чьи темные статуэтки долго стояли на книжных шкафах дома Добровых, навсегда остались для Даниила Андреева символом темных миров, инфернальной нечистью, подстерегающей нас неподалеку. И странным образом химеры в его представлении стали гнездиться в московском пейзаже, над вокзалами, над сумеречными окраинами. Присутствие нечистой силы в тогдашней Москве почувствовал не только он.

7 мая 1926 года во флигеле дома № 9 в Чистом (Обуховом) переулке провело обыск ОГПУ. Обыскивали комнату жившего здесь Булгакова, уходя, забрали машинопись «Собачьего сердца» и дневник. Андреев часто бывал в этом переулке, в доме № 3, где жили друзья семьи Муравьевы. В Чистом переулке в похожем доме он поселит героев романа «Странники ночи». А скоро Булгаков поселится на углу Малого Левшинского, в одной из квартир дома напротив добровского, № 4, где на воротах сохранилась старинная надпись «Свободенъ отъ постоя». Но вряд ли о булгаковском соседстве

мог знать Даниил Андреев, упорно писавший роман «Грешники» и ведший свой дневник, тоже не миновавший Лубянки.

В эти майские дни он сдавал зачеты. Иногда ему и впрямь казалось, что и у них в доме, и вокруг «интересно, мирно и хорошо». Ему было двадцать лет, и то, что творилось в нем самом, казалось, не связывалось с тем, что происходило вокруг. Но нет, демоническое, бесовское и порождало клубящийся полумрак, в котором так легко можно сбиться с пути.

«Когда-то, в ранней юности, я любил город...» – писал он брату в 1936 году[41]. Нет, Москву он не разлюбил, но блуждания по освещенным, окликающим луну фонарями улицам открыли ему демонический город. Москва – вечерняя и ночная, Москва двадцатых не декорация происходящего с ним, а соучастница. Озаряет ее лунная демоница. Это уже не Москва, а преддверие ее изнанки, где властвует демоническая госпожа города. Госпожа города проявление кароссы Дингры, матери Мрака, в коей таится могущественная мистика пола. Она присутствует в пустынных скверах и притаившихся кварталах, там, где происходит «тайный шабаш страстной ночи», у вокзалов, где «взвыли хищные химеры». Такой ему видится ночная столица, пронизанная излучениями Дуггура. Это не только фантазии и грезы болезненно переживающего половое созревание и взросление юноши, а обостренное восприятие того, что действительно было разлито в нездоровом воздухе тогдашней Москвы. Это чувствовал не только Даниил Андреев. В есенинской «Москве кабацкой», да и в «Черном человеке», тот же воздух времени, ночной гибельный разгул. «Революция лишила нас накопленной веками морали», – констатировал Евгений Петров, соавтор Ильфа. «Вместо морали – ирония. Она помогала преодолеть эту послереволюционную пустоту, когда неизвестно было, что хорошо и что плохо». В эти «темные» годы стихия Дуггура, как ее описал Даниил Андреев, выплеснулась на ночные улицы разоренной Гражданской войной страны. Мораль религиозную с наглой властностью теснила мораль безбожная. В начале двадцатых проповедовалась свободная любовь. «Совершенно голые люди» с повязками через плечо «Долой стыд» вдруг влезали в трамвай, – записывал в дневнике 12 сентября 1924 года Михаил Булгаков. Под таким революционным лозунгом узкогрудый коминтерновец Карл Радек провел колонну обнаженных по Красной площади. Об этом писали газеты. Дуггур торжествовал, он не был болезненной фантазией поэта. «Комсомольская правда» публиковала статьи на тему «Половой вопрос и комсомол». Когда сексуальная пролетарская революция стала давать результаты, власти начали ее притормаживать. Издавались популярные брошюры, например, «Куда должна направляться половая энергия современ-

ной молодежи» некоего А. Тимофеева. Доклад критика Полонского «Массовое упадничество в жизни и литературе в связи с вопросами пола» на диспуте в Политехническом итожил злобу дня: как жить без христианских заповедей, с какой новой моралью?

Одним из поводов закрытия ВГЛК, где власти обнаружили гнездо «чуждых элементов», в 28-м году стало скандальное «дело трех поэтов» (хотя один из них был прозаиком), газетами названное «нэпманской гнильцой», «есенинщиной». Застрелилась из револьвера мужа студентка курсов, комсомолка, изнасилованная, как сообщалось, тремя сокурсниками, членами РАППа, поэтами Альтшуллером, Аврущенко и Анохиным. От РАППа обвинителем назначили Ермилова. Рядом шел Шахтинский процесс, но суд над поэтами, по свидетельству Варлама Шаламова, его затмил.

Москва, пережившая военный коммунизм, Гражданскую войну, НЭП, с перенаселенными квартирами, где уцелевшие бывшие ютились бок о бок с действительными и мнимыми победителями, жила, как и вся страна, не только скудно и голодно, но и с ощущением, что переменились сами понятия добра и зла. В ее ночах и темных углах действительно властвовала демоническая «госпожа города». По этой лунной Москве и плутал двадцатилетний Даниил Андреев:

Я в двадцать лет бродил, как умерший.
Я созерцал, как вороньё
Тревожный грай подъемлет в сумерках
Во имя гневное твоё.

Огни пивных за Красной Преснею,
Дворы и каждое жильё
Нестройной громыхали песнею
Во имя смутное твоё.

В глуши Рогожской и Лефортова
Сверкало финок остриё
По гнездам города, простертого
Во имя грозное твоё.

По пустырям Дорогомилова
Горланило хулиганьё
Со взвизгом посвиста бескрылого
Во имя страшное твоё. <...>

И всюду: стойлами рабочими,
В дыму трущоб, в чаду квартир,
Клубился, вился, рвался клочьями
Тебе покорствующий мир.

Но в те же сумеречные годы он все чаще и чаще заходил в православные храмы, выстаивал заутрени и вечерни. Те из одно-

классников и однокурсников, кто помнил его озорным выдумщиком, веселым и добрым товарищем, стали удивляться слухам о Даниной религиозности. Она казалась вызовом. Священнослужителей отправляли на Соловки, храмы закрывали, бывшие семинаристы писали антирелигиозные брошюры. «Иисуса Христа изображают в виде негодяя и мошенника, именно Его. Нетрудно понять чья это работа» – так отметил Булгаков в дневнике, оказавшемся на Лубянке, присутствие в тогдашней Москве сил Зла. А большинство привычно безмолвствовало.

11. Женитьба на нелюбимой

Одна из намеченных ступенек в последовательном «служении Злу» – женитьба на нелюбимой. Несмотря на мистическое обоснование и преднамеренность поступка, женился он словно бы неожиданно для себя. Тем более скоропалительная женитьба удивила семью. Вот как описывала события Елизавета Михайловна Доброва:

«В институте он познакомился с одной девушкой, виделся с ней на лекциях, бывал у них в доме. Она у нас не бывала; иногда она заходила на минутку за ним, и они уходили вместе. <...> За второй год ученья вызовы участились, причем она совершенно не считалась со временем, она могла прийти и в два и в три часа ночи, поднять его с постели и увести его с собой, ссылаясь на какие-то важные дела. Также постоянно вызывала по телефону, причем из этих разговоров я заключала, что он не очень ею заинтересован, мне даже казалось, что все это неприятно Дане. <...> Вечером сидели мы, читал он мне свою вещь, потом встал так порывисто и вышел, потом входит да прямо ко мне: “Мамочка, я перед тобой очень, очень виноват, простишь ли ты меня когда-нибудь?” – “Дуся, дитя мое, в чем дело?” – “Мамочка, я женился”. – “Милый ты мой, зачем же ты это сделал?” – “Мамочка, так надо было, да мы и любим друг друга”. – “Почему же ты сделал это так, тайком от нас?” – “В церкви во время венчания я почувствовал, что сделал не так, как надо, мне было так тяжело, что тебя не было в церкви, и мне все казалось, что ты войдешь”. Видя его в таком тяжелом состоянии, конечно, я ничего не могла сказать, т. е. что я действительно поверила, что они любят друг друга, но в этом-то и была главная ошибка; конечно, он ее не любил; любила ли она его, не могу сказать. Словом, после всяких перипетий, к концу второго месяца они разошлись. Теперь уже получили гражданский развод, еще остался церковный. Должна сказать, что все это стоило Дане немало сил и нервов...»[42]

Женился он в конце августа 1926 года. Венчались они в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке.

Родом из Киева, Шура Гублёр училась с ним на Высших литературных курсах и была на год моложе, ей только что исполнилось девятнадцать. С Даниилом ее познакомила, видимо, Муся Летник. Любовь Шуры выглядела, как и каждая первая любовь, сумасшествием. Она преследовала Даниила. Вечерами ехала на 34-м трамвае до остановки Малый Левшинский или шла арбатскими переулками к заветному дому. Однажды ходила под окнами любимого по снегу в оранжевых отсветах ламп босиком, заставляя то же делать и подругу, упорно таща ее за собой[43]. Сопровождала Даниила во всех блужданиях по Москве, заходила с ним во все церкви, куда время от времени влекло Даниила. У нее даже стигматы выступили на руках, вспоминала сокурсница, а Даня все-таки считал ее «неправославной душой». Он не любил Шуру. Но, как в дурмане, неустанно кружил с ней по вечерней Москве, все более и более чувствуя себя на пути вниз, в сумрак лунного заснеженного города. В стихах говорил и об этом:

Сонь улиц обезлюдевших опять
туманна...
Как сладко нелюбимую обнять,
как странно.

Как сладостно шептать ей в снеговой
вселенной
Признаний очарованных весь строй
священный,
Когда-то для возлюбленной моей,
когда-то,
Так искренно сплетённый из лучей,
так свято...

Глаза эти, и косы, и черты,
и губы
Не святы, не заветны для мечты,
не любы,
Но – любо, что умолкла над судьбой
осанна...
Кощунствовать любовью и тобой
так странно.

Беззаветно влюбленной и ослепленной своей любовью Шуре состояние Даниила было совершенно непонятно. Но она принимала его и не понимая: поэт должен быть необычным. Юная, почти красивая, она верила и не верила в свое счастье. Но в нем жил другой образ, другое лунное имя.

Фактически Шуриным мужем он так и не стал. Переехав после венчания к ней, жившей в Леонтьевском переулке, Даниил неожиданно заболел. Заболел детской болезнью – скарлатиной, лежал в жару. Прибежавшая к ним Александра Филипповна немедленно забрала брата домой. Выздоровев, он к жене не вернулся[44]. Предзимняя мрачная, но бодрящая погода, послеболезненная опустошенность принесли какое-то успокоение. Ночами он опять писал.

После мучительного разрыва с Шурой, после развода Даниил не хотел возвращаться на Литературные курсы. Огорченная Елизавета Михайловна писала его брату:

«Должна тебе сказать, что с Даней ладить нелегко: человек он замкнутый, характер у него упорный, чтобы не сказать упрямый; если что заберет в голову, то переубедить его мало сказать трудно, почти невозможно.

Он решил, что его учение в институте слова, где он учился последние два года и был отмечен профессорами, ему лично для его будущей деятельности ничего не дает, и решил бросить учение. Как мы ни старались общими силами уговорить его этого не делать, все оказалось бесполезно»[45].

Дело было не в упрямстве, и домашние, осознав это, не настаивали. Даниил не хотел, не мог встречаться с Шурой. Ее, ни в чем перед ним не провинившуюся, так получалось, он обманул и оскорбил. Казалось невыносимым видеть ее, объяснять то, что она не понимала, то, что он сам пока не вполне понимал.

12. Двенадцать Евангелий

В 1926 году в Большом театре поставили оперу Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и о деве Февронии». 25 мая состоялась премьера. Дирижировал Сук, декорации Коровина, Клодта, Васнецова. Постановка взволновала всю Москву. Критики-партийцы называли оперу «поповско-интеллигентским» «Китежем», призывали: «...никакой беды и ущерба искусству не будет, если государство откажется от богослужебного “Китежа”...» Даниила опера потрясла, оставшись навсегда одним из главных русских мифов и образцом мистического искусства[46]. Большой театр для него навсегда связался с этой оперой:

Темнеют пурпурные ложи:
Плафоны с парящими музами
Возносятся выше и строже
На волнах мерцающей музыки.

И, думам столетий ответствуя,
Звучит отдаленно и глухо
Мистерия смертного бедствия
Над Градом народного духа.

Китеж стал для Даниила Андреева образом мистерии не только народа, но и «отдельной души, чья неприкосновенная внутренняя святыня, оберегаемая иерархиями Света, остается недоступной никакому, самому могущественному врагу, уходя в таинственную духовную глубь от любого вторжения, от любого враждебного прикосновения».

У него, наверное, именно тогда стало складываться если и неосознанное понимание, то ощущение, что все переживаемое миром, а значит, и им – мистерия. Юношеские блуждания урочьями Дуггура он тоже представляет мистерией, борьбой светлого и темного начал. Эту мистическую борьбу, спасение собственной души силами Света он и попытался изобразить в «Материалах к поэме “Дуггур”». Как же ему удалось спастись? «Срывы и падения могут быть и после светлых жизней потому, что просыпается то, что спало при солнечном свете»[47], – писал он позже, вспоминая свой горестный опыт.

«Да, путь был узок, скользок, страшен, / И не моя заслуга в том, / Что мне уйти из тёмных башен / Она дала святым мостом». Кто эта она? Шаги чьих легких гонцов он различает под знаком голубого цветка Новалиса, в октавах Гёте о женственности ангельских сфер, в стихах Владимира Соловьева о Неугасимой звезде, в «Стихах о Прекрасной Даме» Блока и, наконец, в поэме-мистерии Коваленского о Неопалимой Купине? Конечно, это Та, чей образ величался Вечной Женственностью, Мировой Душой и в «Розе Мира» получил таинственное имя Звенты-Свентаны.

Коваленский, «семейно» унаследовавший мистическое мировидение русского символизма, столь же семейно поделился им с Даниилом, воспринявшим предание как свое, кровно близкое. Поэтому в стихах об «отблесках голубого сиянья», освятивших не только его юношеские духовные скитания, но и жизнь, он перечисляет именно то, что было свято мистикам-соловьевцам. Новалис, которого Вячеслав Иванов называл первым предтечей «перед последним проникновением в тайну Мировой Души»[48], «Посвящение» к таинственной, неоконченной поэме «Тайны» и строки в «Фаусте» о вечно-женственном Гёте, «Три свидания» Владимира Соловьева, первый том Блока – все это стало для Даниила поэтически достоверной реальностью, он жил ею, странно воскрешенной в доме Добровых атмосферой быстро становившегося историей символизма. Но, может быть, логично, что в «красной»

Москве, где он видел богоотступничество народа, принявшего подмену добра злом вместе с крикливыми лозунгами и обещаниями земного рая, и с ним произошла подмена. Правда, похожая на ту, что символисты видели у Блока: Прекрасная Дама обернулась другой – Незнакомкой, Блудницей. А перед Даниилом Андреевым выросла *другая* – демоница Дуггура, госпожа города, увлекшая на опасные пути.

Но он рассказывает в стихах и о спасшей заблудшего, о Пресвятой Богородице, Звезде морей, завершая повествование о своем падении молитвенным обращением к Ней:

Дай искупить срыв в бездну роковой,
Пролить до капли кубок тёмной жизни
Перед Тобой.

«Даниил рассказывал мне, – писала его вдова, – как удивительно произошло его освобождение от той темной руки. Это случилось буквально в одно мгновение. Он прекрасно помнил, как вошел в переднюю часть бывшего зала квартиры Добровых и с него внезапно просто как бы спáло что-то темное. Все стало совершенно четким и легло по местам. Даниил говорил, что Филипп Александрович присутствовал в это время в комнате, он увидел и понял, что происходит. Они не сказали друг другу ни слова, но оба все поняли. Это кажется мне необыкновенно важным»[49].

Того, что с ним произошло, он долго не мог объяснить, вписать в осмысленную картину. Его всегдашняя страсть к систематизации, поэтическая логика толкала на рассудочные попытки свести концы с концами в объяснении необъяснимого. Это он пытался сделать, когда ему впервые приоткрылись светлые миры. За работу, начатую им в 33-м году в сочинении «Контуры предварительной доктрины», оставшемся незаконченным, он брался и раньше, но отступал. Слишком уж бессвязными, хотя и яркими, как цветные предутренние сны, казались видения, а схемы ничего не связывали.

Все это он понял гораздо позже и объяснил: «Разум очень долго не мог справиться с ними, пробуя создавать новые и новые конструкции, которые должны были сгармонизировать противоречивость этих идей и истолковать эти образы. Процесс слишком быстро вступил в стадию осмысления, почти миновав промежуточную стадию созерцания. Конструкции оказались ошибочными, разум не мог стать вровень со вторгавшимися в него идеями, и потребовалось свыше трёх десятилетий, насыщенных дополняющим и углубляющим опытом, чтобы пучина приоткрывшегося в

ранней юности была правильно понята и объяснена». То же было и с «темными» видениями и блужданиями. Их смысл он стал угадывать гораздо позже, когда увидел мир Дуггура со всеми демоническими насельниками, со всеми прихотливыми подробностями инфернального устройства.

Но все же ему хотелось с кем-то поделиться еще не осмысленным, болезненным опытом. Он писал в Париж брату:

«Дима, милый мой брат!

Долго лежало у меня большое письмо к тебе, во много страниц, долго не мог решить – посылать его или нет. И наконец понял, что это невозможно. Понимаешь: так все выходит в нем плоско, деревянно, грубо – просто неправильное впечатление может получиться. Да и трудно вообще посылать подобное.

А многое нужно было бы рассказать тебе. В моей жизни произошло очень много тяжелого за последний год. А так как ни с кем я об этом не говорю, то все это накопилось в душе и требует какого-нибудь выхода»[50]. Его он искал на бумаге и много писал.

Но оставался и другой, настоящий выход, и он открылся ему. Одно из завершающих и, может быть, главных стихотворений дуггуровских циклов – «Двенадцать Евангелий». Так называется церковная служба Великого Четверга на Страстной неделе, в которой вспоминается Тайная вечеря. Он не раз бывал на ней и в храме Христа Спасителя, и в храме Покрова в родном переулке.

Вдова поэта вспоминала, как Даниил читал ей Евангелие. «Особенно о Воскресении Христовом и явлении Господа Марии Магдалине. Он читал так, что я до сих пор слышу его голос, а то, что произошло две тысячи лет тому назад, чувствую, как если бы невидимо присутствовала в Гефсиманском саду»[51]. С таким же чувством написано стихотворение «Двенадцать Евангелий».

Великий Четверг называют еще Чистым, потому что в этот день душа должна очиститься перед праздником Пасхи. Об очищении собственной, едва не погибшей души и говорится в стихотворении. И о выходе, открывающемся в христианской вере:

Прохожу со свечкою зажжённой,
Но не так, как мальчик, – не в руке –
С нежной искрой веры, сбережённой
В самом тихом, тайном тайнике.

Часть третья

СОЛНЦЕВОРОТ
1927–1930

1. Большая отрада, что я не писатель

Весной Андреев поехал в Ленинград. Там он чаще всего останавливался в бывшей квартире отца на углу Мойки. На нее выходили длинные окна кабинета, а из спальни виделся кусок Марсова поля, а дальше, за липами Летнего сада, можно было разглядеть краснеющий Михайловский замок. Четырехкомнатная квартира стала коммуналкой, но здесь жили двоюродные братья Даниила. В этот раз в Ленинграде он познакомился с потомственным «василеостровским немцем» Георгием Давидовичем Венусом. О нем ему писал Вадим. С Венусом брат подружился в Берлине в начале 1923 года. Они входили в одну литературную группу – «4+1», тогда же выступившую, но без особенного успеха.

В Берлине Венус успел выпустить книгу стихов «Полустанок». Берлин и оказался для него «полустанком», через год после выхода книги он, единственный из всей группы, вернулся в Россию. В том же 26-м году издал книгу о своем опыте Гражданской войны – «Война и люди. Семнадцать месяцев с дроздовцами». О книге одобрительно отозвался Горький. Она стала пропуском в советскую литературную жизнь, куда Венус, поддержанный Алексеем Толстым, вошел легко: одна за другой стали выходить его книги рассказов, романы. Но в 34-м, после убийства Кирова, он был сослан, в 38-м арестован, обвиненный вместе с группой ленинградских писателей в подготовке теракта против Сталина, и через год с отбитыми следователями легкими умер в Сызранской тюрьме.

Георгий Венус прошел тот же путь, что и Вадим Андреев. Белая армия, Константинополь, Галлиполи, неуютная эмигрантская жизнь в Берлине, где одновременно вышли их первые книги. Попытки возвратиться на родину. Тогда они оба получили разрешение вернуться, но Андреев, с самого начала из Берлина рвавшийся, не дождавшись ответа из советского консульства, уехал, как ему казалось, ненадолго, в Париж. Этого другу Венус позднее долго не хотел прощать. От Венуса Даниил узнал о брате то, о чем не мог прочесть в его письмах. Да и вообще они могли найти

общий язык. Венус, как и он, страстно любил Блока, русскую поэзию. «Он мне очень понравился», – написал Даниил брату.

В том же майском письме были строки: «Очень надеюсь на следующий год съездить в Париж.

Большая, очень большая отрада для меня в том, что я не писатель (не смейся)».

Наивные даже для того, не во всем еще сталинского, времени, так никогда и не сбывшиеся надежды увидеть Париж и кажущаяся странной «отрада» не быть писателем... Но, поговорив с Венусом, с энтузиазмом вчерашнего эмигранта вступившим на стезю советского писателя, близко зная литераторские будни Коваленского, Даниил, почувствовав несвободу зарабатывающих на хлеб писательством, не кокетничал и не лукавил. Он так и не опубликовал при жизни ни одной стихотворной строчки.

Но и ему приходилось думать о заработке, особенно после того, как он оставил курсы. 1926 год сулил надежды – вышли в Госиздате «Избранные рассказы» Леонида Андреева с вводным этюдом Луначарского и четыре небольшие книжки в других издательствах, в театрах ставились пьесы. Казалось, книги знаменитого писателя теперь будут издаваться регулярно, как и других русских классиков. Даниил рассчитывал на отцовские гонорары. «Сейчас мои дела несколько поправляются (денежные), и я думаю, что в ближайшее время смогу тебе высылать регулярно по 30–40 рублей в месяц. Если же выгорит дело с Госиздатом, – то тогда будет совсем хорошо»[1], – сообщал он брату. В Госиздате вышли в 27-м отдельными книжечками рассказы «Кусака» и «Петька на даче», но с каждым годом Леонида Андреева издавали все меньше, вспоминали все реже. Чуждый пролетариату писатель.

Видимо, еще в одну из прежних поездок в Ленинград он посетил посвященную отцу выставку, открытую в сентябре 24-го в Пушкинском Доме, куда Римма Николаевна передала часть архива брата, его вещи и стала хлопотать об открытии музея. После разговоров о музее с тетей, 1 октября 1927-го Даниил написал, как ему показалось, очень резко, вдове отца, Анне Ильиничне: «До меня дошли сведения, что значительная часть папиных картин и пр<очих> вещей передана Вами из Ваммельсуу кому-то в Выборг, где сейчас и находится. В Ленинграде сейчас открылся музей Леонида Андреева, который находится под ведением Пушкинского Дома. Там представлены всевозможные фотографии, снимки, иллюстрации к пьесам, книги, рукописи и т. д. Там находится также несколько папиных картин, спасенных дядей Павлом. Я обращаюсь к Вам от имени Пушкинского Дома с просьбой передать в музей вещи, находящиеся в Выборге»[2].

2. Второе озарение

Весной 1928 года, к приближению Пасхи антирелигиозная пропаганда становилась все более оголтелой. А Пасха в том году пришлась на 15 апреля. Март оказался морозный, и в апреле зима отпускала медленно, то подморозит, то завьюжит – снегу оставалось много, таял он плохо. 14-го вечером Даниил отправился на пасхальную службу в соседний, с детства знакомый храм Покрова в Левшине. Храм находился рядом с домом – на углу Большого и Малого Левшинских переулков. Построенный на деньги стрельцов в 1712 году, скромный, белый, прямоугольный, с синим в звездах куполом и невысокой колокольней – восьмерик на четверике, храм славился хором. По преданию, строившие храм стрельцы приискали для него юродивого, тоже своего, из стрельцов. Но благодать на юродивого не снизошла, у храма он не прижился, и с тех пор в Москве псевдопредсказателей именовали «левшинскими юродивыми». Одно время, уже в советские годы, здесь служил дьяконом внук Льва Толстого – Сергей Сергеевич, пылко обратившийся к церкви[3]. Напротив храма некогда жил Загоскин, автор «Юрия Милославского», здесь у него бывали Гоголь, Аксаковы, Погодин, Вельтман.

По воспоминаниям соседки Добровых, когда в храме Покрова в Левшине служил патриарх Тихон, то обедал в семье Добровых.

Патриарх Тихон почти ежедневно служил в московских храмах, особенно часто в храме Христа Спасителя, в кремлевских храмах, в храмах Арбата. В храме Покрова Пресвятой Богородицы в Левшине Святейший служил литургию трижды – 12/25 сентября 1921 года, затем, уже после заключения (апрель – июнь 1923) во внутреннюю тюрьму ГПУ, 29 октября / 11 ноября 1923-го и 1/14 декабря 1924 года[4]. И, конечно, на этих службах присутствовали домочадцы Добровых. Тетушки Даниила Елизавета Михайловна и Екатерина Михайловна, Феклуша – непременно. Кто-то из них мог быть и среди тех московских глубоко верующих женщин, которые самоотверженно поддерживали патриарха в дни его преследования властями и заключения в Донском монастыре. Они собирали средства для патриарха, содержали в Донском «специального человека, готовившего кушанье для Святейшего», дежурили под окнами заключенного. Охрана им грубо угрожала. Среди них, по свидетельству современницы, были «и интеллигентные, высокообразованные и безукоризненно воспитанные дамы, и старуха прачка, и “серые” бабы...»[5] За несколько дней до последней службы патриарха в Левшине зверски убили

его келейника. На отпевании, как доносил агент ОГПУ, патриарх «выглядел... плохо-болезненно... Бабы кудахтали, что он находится в самом плачевном материальном положении...» [6].

Всему этому Даниил Андреев не мог не быть свидетелем. В «Розе Мира» он написал о похоронах патриарха Тихона, вылившихся, по его словам, «в такую миллионную демонстрацию, что перед ней померкли все внушённые правительством и партией массовые изъявления горя, которые годом раньше поразили москвичей в дни похорон или, вернее, мумификации первого вождя». Патриарха Тихона он назвал среди тех, кто вошел в Синклит Небесной России.

О своем «втором озарении», произошедшем на Пасху 28-го года в храме Покрова, Андреев написал с документальной точностью. Оно произошло «после пасхальной заутрени на раннюю обедню: эта служба, начинающаяся около двух часов ночи, ознаменовывается, как известно, чтением – единственный раз в году – первой главы Евангелия от Иоанна: “В начале бе Слово”. Евангелие возглашается всеми участвующими в службе священниками и дьяконами с разных концов церкви, поочерёдно, стих за стихом, на разных языках – живых и мёртвых. Эта ранняя обедня – одна из вершин православного – вообще христианского – вообще мирового богослужения. Если предшествующую ей заутреню можно сравнить с восходом солнца, то эта обедня – настоящий духовный полдень, полнота света и всемирной радости. Внутреннее событие, о котором я говорю, было, и по содержанию своему, и по тону, совсем иным, чем первое: гораздо более широкое, связанное как бы с панорамой всего человечества и с переживанием Всемирной истории как единого мистического потока, оно, сквозь торжественные движения и звуки совершавшейся передо мной службы, дало мне ощутить тот вышний край, тот небесный мир, в котором вся наша планета предстаёт великим Храмом и где непрерывно совершается в невообразимом великолепии вечное богослужение просветленного человечества».

В рассказах поэта о своих озарениях есть нечто, отсылающее к трем видениям Владимира Соловьева. О них Андреев всегда помнил и подробно перечислил в «Розе Мира». Философ поведал о своих видениях кратко и не без иронии («...факты рассказал, виденье скрыв») в поэме «Три свидания», отнюдь не ссылаясь на духовидческий опыт в своих софиологических построениях. Андреев, напротив, говорит об особом опыте, на котором и основываются его сочинения. Но отдельные прорывы, причем разных степеней, духовного сознания долго не складывались в целостную картину. Они оставались только свидетельствами мистической реальности,

не дававшей ему той полноты постижения, к какой он так стремился. Но светлые видения к нему приходили, как правило, или рядом с православным храмом, или в нем, во время церковной службы.

Гонения на православную церковь становились все беспощадней. Еще в 27-м году началась кампания по изъятию церковных колоколов. Под окрики властей и репрессии совершалось «богоотступничество народа». Особенно легко вовлекалась в антирелигиозную пропаганду молодежь. Участвовала в разрушении храмов, в глумлении над священниками. В шедшего по улице тихого монаха могли бросить камнем. Уже после Пасхи, в мае, ОГПУ провело аресты в Троице-Сергиевой лавре, примолкшей и разоренной. Арестовали отца Павла Флоренского, о котором нередко говорили в доме Добровых. Нескрываемая вера в Бога легко становилась преступлением.

3. Обыденность

За днями дни... Дела, заботы, скука
Да книжной мудрости отбитые куски.
Дни падают, как дробь, их мертвенного стука
Не заглушит напев тоски.

Вся жизнь – как изморозь. Лишь на устах осанна.
Не отступаю вспять, не настигаю вскачь.
То на таких, как я, презренье Иоанна –
Не холоден и не горяч! –

это стихотворение написано в те дни 1928 года, когда Даниил Андреев вновь, и не в первый раз, искал себя, свое, иногда, казалось, находил, а потом опять терял.

Но обыденность настигала его каждодневно. Уйдя с Литературных курсов, он считал себя обязанным чем-то, кроме писания, заниматься, приносить в дом, пусть небольшие, деньги – «на хозяйство». Издания отца мало что давали, к тому же он долго не мог вступить в права наследства. Судьбой Даниила были особенно удручены нежно его любившие тети – Екатерина Михайловна, в эти годы добровольно пошедшая работать в психиатрическую клинику, поскольку считала, что «душевнобольным помощь нужнее всего», и Елизавета Михайловна, мама Лиля, обремененная заботой обо всей большой семье. В письме к Вадиму она написала и об этом:

«...Я все-таки считаю, что вообще учиться Дане необходимо, а также необходимо привыкать к постоянным правильным занятиям, нельзя же считать правильной работой его писание, за которым, правда, он может просидеть целые сутки, а то другой раз сколько

времени пройдет, прежде чем он сядет за работу. Ты сам пишешь и понимаешь, что по заказу эту работу делать невозможно.

Относительно нашей жизни могу сказать, что работаю столько, что больше невозможно. Семья у нас, как всегда, большая: нас двое, Шура с мужем, Саша с женой, Катя живет с нами вот уже пятый год, конечно, она помогает в работе; а также живет у нас одна сирота: отец ее четыре года тому назад случайно попал к нам да у нас и умер; осталось 9 детей, 8 из них благодаря одной энергичной женщине удалось устроить, а она так и осталась у нас; еще живет у нас Феклуша, которая ходила за маминой и бусинькиной могилами, а теперь живет у нас, т<ак> к<ак> ей некуда деваться. Вот так и живем, такой большой семьей. Сиротку зовут Фимочка. Фимочка с Феклушей тоже помогают в работе, т<ак> к<ак> прислуги мы не имеем, это очень для нас трудно. Катя у нас за повариху, а я за прачку, не говоря уже о том, что все заботы и хлопоты о жизни и по хозяйству всецело падают на мои плечи, так что должна тебе сказать, подчас бывает очень трудно»[7].

Еще труднее Елизавете Михайловне приходилось и с давно взрослым сыном, Александром. Высокий, красивый, голубоглазый – таким его запомнили соседки. Он получил диплом архитектора, но, переболев энцефалитом, работать по специальности не мог, стал художником-оформителем. Оформительской, шрифтовой работе обучил и брата. Работы хватало. «Я не вдумываюсь в то, что пишу, – говорил о своем ремесле Андреев, – только прикидываю количество знаков по тарифам». Потребность у советской власти, у всех ее учреждений для разворачивания наглядной агитации оказалась огромной, не меньшей, чем у торговли в рекламе. С первой женой, Ириной, Александр через несколько лет расстался. Вино и кокаин он испробовал еще в гимназической юности. От наркомании позже удалось избавиться, но время от времени он запивал. При всем том знавшие его утверждали, что, несмотря на свои слабости, Александр Добров был «порядочным и добрым человеком».

Врывавшиеся в обыденность отзвуки державных событий воспринимались обостренно, но осмыслялись не сразу. 29 марта 1928 года страна с государственным размахом, организованным партийными директивами, отметила шестидесятилетие Горького, семь лет назад уехавшего из России. Он уезжал недовольный политикой большевиков, Лениным, уставший бессильно протестовать против арестов и расстрелов, защищать интеллигенцию. Но оторваться от бывших «союзников» не удалось, как ни пытался он сохранить свою независимость. С воцарением Сталина все планомерней писателя стали опутывать незаметной, липкой паутиной: переписка перлюстрировалась, визитеры из СССР подсы-

лались, контролировались, инструктировались... Юбилей всемирно известный писатель отметил за границей. А в конце мая неожиданно сел в берлинский поезд и приехал в Москву. Приезд «пролетарского писателя» стал пышным советским торжеством. Пришвин записал в дневнике: «Юбилей его сделан не обществом, не рабочими, крестьянами, писателями и почитателями, а правительством, совершенно так же, как делаются все советские праздники. Правительство может сказать сегодня: “целуйте Горького!” – и все будут целовать, завтра скажет: “плюйте на Горького!” – и все будут плевать <...> Юлия Цезаря так не встречали, как Горького <...> Юбилей этот есть яркий документ государственно-бюрократического послушания русского народа...»[8]

Возможно, именно в этот приезд Горького в СССР, неусыпно опекаемого ОГПУ, к крестному отцу и приходил Даниил Андреев, с тем чтобы тот удостоверил, что он действительно сын писателя Леонида Андреева. Авторитетная бумага требовалась для вступления в права литературного наследства. Как передает один из мемуаристов рассказ об этом визите, Андреев объяснил, что деньги ему нужны для того, чтобы, не связывая себя службой, «пуститься в странствия по городам и весям» Руси, как это сделал когда-то сам Горький. Тот же советовал крестнику найти работу по душе, в чем предлагал содействие, а не бродяжничать – времена сейчас другие[9]... Кроме того, они могли беседовать и о судьбе Вадима, продолжавшего хлопотать о возвращении на родину. Вадима, чьим официальным крестным отцом был дед Велигорский, Горький тоже считал своим крестником.

4. Тарусские поля

Летом Андреев попал в Тарусу. Этот городок на Оке давным-давно облюбовала московская интеллигенция, искавшая летом дачного роздыха и природных красот, писатели и художники. А в двадцатые годы Таруса, находившаяся в двадцати с небольшим километрах от железнодорожной станции, стала приютом административно высланных, «бывших», сомнительной для советской власти старой интеллигенции. Правда, позже власть добралась и до них.

В Тарусу Даниил приехал вместе с Коваленскими и Беклемишевой, видимо, их сюда и зазвавшей. Очень любил эти места ее сын, Юрий. Он приезжал сюда, по его словам, для того, чтобы «промыть себе глаза русской природой и послушать тишину»[10]. Но в этом году сын Веры Евгеньевны все лето пробыл на Черном море и вернулся в Москву лишь в сентябре.

Из Тарусы Даниил писал Владимиру Митрофанову (тот все еще жил вместе с тетей, Екатериной Михайловной, в Малом Левшинском) с восторженностью, несмотря на деловитость сообщения: «Дорогой Вольдемар, советую приезжать непременно. Места действительно необычные. Комнату достать легко за 15–20 рублей в месяц; к концу августа цены снизятся, наверное, еще больше. Продукты, в общем, не дороже, чем в Москве. Сейчас (2 дня) погода плохая, но, наверное, скоро пройдет»[11].

Места не зря показались ему необычными. Зеленый тихий городок на взгорьях над Окой со светящимися крестами храмами. Один – внушительно высившийся собор Петра и Павла, другой – Воскресения Христова, белевший на Воскресенской горке. Всего через несколько лет и до них дойдут руки богоборцев, храмы закроют, обезобразят... Улицы, ближе к окраинам, совсем деревенские, в тенистых палисадах, выбегающие в просторы. В поля, перемежающиеся березовыми рощами, купами былинных дубов, к светящейся Оке, открывающей таинственный, холмистый, поросший темнолесьем другой ее берег. Там неподалеку, в усадьбе Борок, долго жил замечательный живописец Поленов. Туда можно было переехать на пароме. Плашкоутный мост власти недавно продали соседнему Алексину. А впадающая в Оку Таруска, а пересыхающая в зной Песочня, речки, где еще водились и бесстрашно всплескивались щурята? А зовущие дойти до них и вбежать увалистые холмы?.. А славная горная ключевая вода? А травы? Заросший клочок поля, золотисто-бронзового от пижмы. Мордовник с фантастически изящными голубоватыми колючими шарами. Бледно сиреневый короставник. Блекло-розовые поросли бальзаминов. Голубые вспышки цикория. Просторы, в живом и редкостном многотравье открывающиеся за окраинами, Даниил назвал Тарусскими полями. В эти поля он уходил гулять, бродяжить.

В конце сентября он писал старшему брату: «Лето... провели в Калужской губернии на Оке, в необыкновенно красивом месте. Это дало мне страшно много. Ведь я уже несколько лет почти не выезжал из Москвы. И попав в эту сказочную красоту – черт его знает, даже не знаю, как определить. Природа – хмелит; разница в том, что в ее опьянении нет ни капли горечи»[12].

И в следующем году, опять и опять вспоминая Тарусу, в письме Вадиму восклицал: «Дима, Дима, неужели ты будешь здесь, вместе будем в Тарусских полях – думать невыносимо!!»[13], и повторял в письме к невестке: «Жду лета – солнечных полевых дорог, и все не верится: неужели мы все вместе будем скоро бродить по лугам и лесам Тарусы?»

Увлеченный природой, зеленой тишиной, Даниил Андреев не замечал захолустного неустройства: «тут и там завалившиеся домишки, упавшие заборы, одичалые сады, бесприютные заросли, бурьян, крапива...» О тогдашнем тарусском разоре, о «бедности и тишине вековечной» написал Иван Касаткин в очерке «Тарусяне»[14]. Он поведал, как мгновенно местные власти «свалили начисто» вековой сосновый лес на Игнатьевской горе, «прихватив кстати и березовые рощи вокруг города». Изобразил местную торговую площадь с выкрашенной в черный цвет «буйной головой Маркса», окруженной привязанными лошадьми, главную улицу с наполовину нежилыми купеческими домами, с выбитыми стеклами, проржавевшими худыми крышами. Упомянул пивную и чайную «Не унывай» Замарайкина, исполком, дверь в который изнутри запирал кочергой недавно присланный начальник – «рабочий с производства»... Тарусяне, обходившиеся без электричества и телефона, кормились своим хозяйством и многочисленными дачниками, сдавая им комнатушки, продавая парное молоко...

Некогда Таруса была окраиной земель Великого Черниговского княжества. И, наверное, не случайно село Трубецкое под Тарусой, так же как Трубчевск, связано с достославными князьями Трубецкими. Не случайно и то, что отсюда Даниил Андреев через год попадет на другие зеленые просторы того же древнерусского княжества, ощутит с ними родовую и мистическую связь. А восхищение тарусскими полями стало радостью первой встречи с прародиной, таящей грядущие откровения.

5. Ленинград

Вернувшись из Тарусы, он отправился в Ленинград. О поездке подробно написал Вадиму: «На днях я приехал из Ленинграда, куда ездил “призываться” на воинскую повинность. Пока что ничего не известно, дадут мне отсрочку на год или нет; придется ехать туда в конце октября вторично. Жил я там у Левы и Люси, в старой папиной квартире на Мойке. С Люсей у меня создались очень близкие отношения; это один из весьма немногих людей, с кем я говорю на одном языке. Долгие ночные разговоры по многу часов кряду. Он очень интересный человек. Говорили и о тебе; он рассказывал о тебе с большой теплотой, видно, что он тебя очень любит. Я сказал, что по приезде в Москву буду тебе писать, и он просил передать большой привет.

Левика дела довольно-таки скверны. С ним происходит то, что теперь со многими: сильно пьет, нравственно и умственно опустился. Жаль ужасно: он по существу очень хороший и

добрый. Теперь же, вдобавок, и здоровье его расстроилось, и его поместили на неопределенное время в лечебницу. – Видел, помимо того, Ларису, ее мужа, Анну Ивановну, Римму, Галю и других. Странно, что из такой среды мог выйти человек с такими взглядами, настроениями и чувствами, как Люся. Вот человек большой совести!»[15]

В Ленинграде жило много родных. Дочь Павла Николаевича Андреева, умершего в 1923 году, и Анны Ивановны – Лариса, его двоюродная сестра, с мужем. Другое семейство – сестры отца, Риммы Николаевны, ее дети – Лев, Леонид и Галина. Римма Николаевна в те годы активно занималась литературным наследием брата, хлопотала об изданиях. С ее сыном, Люсиком, как его звали в семье, Леонидом Аркадьевичем Андреевым (он носил не фамилию отца – Алексеевский, а знаменитого дяди и своего крестного), чем-то очень похожим на молодого Леонида Андреева, Даниил сошелся ближе всего. С ним можно было говорить о мистическом.

Но трудно сказать, говорили ли они о мистическом. В начале июля закончился шахтинский процесс. Судили «саботажников строительства социализма». О процессе писали все газеты. Арестованных «спецмерами» заставили признаться во всех злодеяниях. По стране организовывалось возмущение трудящихся, требовавших покарать инженеров-вредителей. В Ленинграде, по свидетельствам очевидцев, на площадь перед Мариинским дворцом выводились толпы с плакатами «Требуем высшей меры наказания!»[16] Даниил не видел этих плакатов, но знал о них. В стихотворении о Рылееве, написанном в следующем году, имперская столица мрачна:

Вечера мгла седая
По сумрачной шла Неве,
К травам острова Голодая,
К мертвой моей голове.

Несмыкающимися очами
Я смотрел – через смертный сон, –
Как взвивает трехцветное знамя
Петропавловский бастион.

Грубо, упрощенно, так, как требовалось следствию, взгляды его того времени изложены в протоколе допроса 5 мая 1947 года: «Начало моей антисоветской деятельности относится к 1928 году. К этому времени более четко определилось мое отрицательное отношение к советской власти. Я, считая неправильным отношение советской власти к религии, утверждал, что в СССР не суще-

ствует свободы печати и неприкосновенности личности. Невозможность свободно выехать за границу для каждого желающего я расценивал как насилие над личностью»[17]. Конечно, никакой «антисоветской деятельностью» Андреев не занимался, но несоветские взгляды считались злейшим преступлением в годы узаконенного единомыслия. В том же протоколе он перечислил тех, с кем был тогда близок, с кем делился взглядами: Юрия Попова (тогда покойного), переводчика и стиховеда Игоря Романовича (погибшего в лагере), художника Синезубова (оставшегося во Франции), и тех, с кем давно не виделся, и надеялся, что им его признание не повредит, – Глеба Буткевича и Вадима Сафонова.

6. Восток

Вернувшись из Ленинграда, он вновь углубился в литературные занятия, хотя и продолжал радоваться, что «не писатель». «Теперь начинается зимний образ жизни: город, работа, тетради, книги. Очень хотелось бы мне к концу октября, когда меня заберут, наверное, на военную службу, окончить мой пресловутый роман; но, кажется, не успею, – отчитывался он перед братом. – Фамильный недостаток: берусь за темы, с которыми почти невозможно справиться. Кроме того, с каждым годом повышаются требования и к себе самому, и к своему “детищу”; приходится чрезвычайно много переделывать, видоизменять, совершенствовать.

Прекрасные отношения создались у меня с мамой, Шурой и ее мужем. Мой дом стал моей совестью, – понимаешь? И даже, кажется, я не могу без него долго существовать. Даже за две недели житья в Питере – начал мучаться» [18].

Добрые отношения дома, внутреннее равновесие помогали писать, а писание высвечивало жизнь смыслом. Больше всего усилий уходило на роман «Грешники», то страницами продвигавшийся, то останавливавшийся, то переписывавшийся. Сочинялись и стихи. Была написана поэма «Красная Москва». Позже она отозвалась в триптихе «Столица ликует» и, может быть, в «Симфонии городского дня». Был начат поэтический цикл «Катакомбы», завершенный только в 41-м. Судя по всему, в не дошедших до нас стихах так или иначе говорилось об уходе истинной православной веры в катакомбы. В его «Железной мистерии» катакомбы изображены в шестом акте – «Крипта». К «катакомбной» церкви, как назывались «тихоновцы», принадлежали и некоторые из его друзей.

По рассказам Алексея Смирнова, в которых правда, увы, неотрывна от домыслов, Даниил Андреев близко общался с «тихоновцами» на даче Смирновых в Перловке, где иногда жил

подолгу. Приезжая ранней весной и разместившись во флигеле, он топил на ночь «железную печку-буржуйку, – картинно рассказывает Смирнов о происходившем до его рождения, – подвесная труба которой была выведена в форточку. На своем медном примусе он постоянно кипятил крепкий, черный, тюремного пошиба чай. У Андреева был ключ от флигеля, он появлялся неожиданно и так же неожиданно, не прощаясь уезжал в Москву.

Рядом с флигелем стоял построенный из горбыля дровяной сарай, а под ним – схрон, землянка со скрытым воздуховодом. В этом схроне периодически прятались катакомбные монахи и священники, днем спавшие во флигеле вместе с Андреевым на старинных черных железных кроватях с набитыми сеном тюфяками. Если появлялись подозрительные прочекистские люди, монахи уходили через люк в схрон. По ночам бабушка носила еду и для катакомбников, и для Андреева. <...>

Периодически по ночам в доме около иконы начала XVIII века «Знамение» вполголоса служили молебны. <...>

Среди скрывавшихся катакомбных священнослужителей были люди весьма образованные, к примеру, архимандрит Арсений, в прошлом человек из хорошего общества, закончивший в молодости какой-то привилегированный лицей и учившийся потом в немецких университетах. С ним Андреев обсуждал религиозные и философские вопросы», – но, по словам Смирнова, – «все больше толковал об Индии, Тибете, о гималайской расе, об иранских и индийских ариях»[19].

«Моя жизнь ровная – как ниточка на катушке – день за днем, внешних событий нет. Но последнее время это уже не гнетет и не томит, как бывало раньше, и, думаю, в этом виновата не привычка, а что-то другое. Вижу, что полосы “кабинетной” жизни бывают время от времени нужны чрезвычайно.

Осенью довольно основательно засел за Древний Восток – это мне очень нужно, – но скоро выбили меня из колеи хлопоты относительно папиного сборника (Диме я рассказал уже), – и только теперь я мало-помалу вхожу снова в этот изумительный мир – Халдеи. Страшно интересно, не могу Вам выразить как!»[20] – делился Даниил с женой брата. Позже он поведал об этих кабинетных бдениях:

...И вот упало вновь на милую тетрадь
От лампы голубой бесстрастное сиянье...
Ты, ночь бессонная! На что мне променять
Твоё томленье и очарованье?

Один опять. В шкафах – нагроможденье книг,
Спокойных, как мудрец, как узурпатор, гордых:

Короны древних царств роняли луч на них,
И дышит ритм морей в их сумрачных аккордах.
Но из широких чаш ещё струится вверх
Поблёкший аромат былых тысячелетий,
Как старое вино перебродивших вер,
Когда-то полных сил и радостных, как зори.
Мемфис, Микены, Ур, Альгамбра, Вавилон –
Гармония времён в их бронзе мне звучала,
Томленье терпкое мой дух влекло, вело,
По стёртым плитам их – к небесному причалу.

Сегодняшнюю ночь иной стране отдам –
Востоку дерзкому, возлюбленной отчизне...

В сказания Древнего Востока, небезынтересного для него и раньше, он углубился не без влияния Коваленского. Причудливая древность увлекала не менее, чем современность, переплетаясь с ней, входя в нее. К новинкам литературы он не был равнодушен, но следить за всеми появляющимися книгами не успевал, да и не хотел утонуть в сегодняшнем, текущем.

Какие же книги открывали ему фантастический мир Халдеи? Конечно, двухтомная «История Древнего Востока» Тураева, крупнейшего русского востоковеда, имевшаяся в его библиотеке. Вероятно, популярная «История Халдеи» Рагозиной, использовавшей труды западных востоковедов. И в особенности труды по истории религий. Может быть, еще с отрочества были в его библиотеке два тома из поэтичной «Иллюстрированной истории религий» профессора теологии Шантепи де ла Соссей, посвященные индуизму, буддизму и религиям Китая. Таинственный религиозный мир Востока – сокровенное знание жрецов Вавилона и Египта, буддизм, мистическая Индия, увлечение ими в предреволюционные годы кто только не пережил. Даниил Андреев шел следом, ища и находя свое.

Халдея – нововавилонское царство, где правили халдейские цари Набопаласар, Навуходоносор... В Библии Вавилония названа Сеннаром. Той же осенью Андреев написал стихотворение об этой мифической стране, родине астрологов-халдеев. Долгое время о ней знали лишь по Библии и обрывкам сказаний вавилонского историка Бероза. В стихотворении «Сеннанр» поэт видит себя в одной из воображаемых древних жизней странствующим мудрецом-халдеем:

Я молча прохожу, спокоен, мудр и стар,
По бурой площади утихшего Эрэха.

Вечерних литургий еще звучат везде
Напевы хмурые; клубятся благовонья,

Жрецы поют, к пастушеской звезде
Молитвенно воздев ладони,
Ведут к закланью тесной чередой
Откормленных тельцов сквозь пенье и кажденье
И обещают вновь воздвигнуть пред зарей
Бесчисленные всесожженья.

Евфрат навстречу мне вздыхает, чуть звеня...
Пересекаю мост – вся ночь луной объята, –
И восхожу один по строгим ступеням
На белые, как сон, террасы зиккурата.

Увиденные им, как во сне, белые террасы в «Розе Мира» превратились в семиступенчатый белый зиккурат, эмблематический образ *Эанны* – затомиса (небесной страны) древней вавилоно-ассиро-ханаанской метакультуры. Семь ступеней зиккурата обозначали «семь слоёв, которые были пережиты и ясно осознаны религиозным постижением вавилонского сверхнарода». Наверное, тогда уже в его воображении вставали «многоступенчатые храмы-обсерватории, сделавшиеся вершинами и средоточиями великих городов Двуречья», пусть в поэтической дымке, невнятно стало представляться драконообразное чудовище – уицраор. «Вавилонская метакультура была первой, в которой Гагтунгру удалось добиться в подземном четырёхмерном слое, соседнем с вавилонским шрастром, воплощения могучего демонического существа, уицраора, потомки которого играли и играют в метаистории человечества огромнейшую и крайне губительную роль, – с уверенностью знающего и посвященного писал он в «Розе Мира». – В значительной степени именно уицраор явился виновником общей духовной ущербности, которой была отмечена эта культура в Энрофе. И хотя богиня подземного мира, Эрешкигаль, побеждалась в конце концов светлой Астартой, нисходившей в трансфизические страдалища Вавилона в порыве жертвенной любви, но над представлениями о посмертье человеческих душ, исключая царей и жрецов, довлело пессимистическое, почти нигилистическое уныние: интуитивное понимание парализующей власти демонических сил».

Там же, в халдейском междуречье, он обнаружил храмы Солнца, ставшие для него прообразами Храмов Солнца Мира.

7. «Реквием»

«В сентябре будет 10 лет с папиной смерти – я все-таки надеюсь, что ты будешь к этому времени здесь. Сейчас я подготавливаю сборник, посвященный папе. В него войдет “Реквием” (здесь еще

мало известный), кусочки дневника, много писем и воспоминания Вересаева, В. Е. Беклемишевой и Кипена. Сборник составляем мы вдвоем с Верой Евгениевной. Это большой друг нашей семьи.

До последних дней этот сборник отнимал чрезвычайно много времени – целыми днями приходилось бегать, высунув язык, по городу или печатать на машинке (чего я, кстати сказать, не умею). Теперь почти весь материал уже сдан, на днях будет заключен договор с издательством "Федерация". Интересно, будет ли отмечена где-нибудь за границей эта годовщина? Хотя представляю себе, что говорили бы и писали бы все эти господа, какого "патриота" и реакционера пытались бы из отца сделать! Не обрадуешься, пожалуй, этому чествованию», – писал Даниил Андреев брату 14 февраля 1929 года.

Вера Евгеньевна Беклемишева, вместе с которой он готовил «Реквием», была опытным литератором. В предреволюционные годы состояла литературным секретарем издательства «Шиповник», основанного ее мужем, и много лет знала Леонида Андреева. Ее подробные воспоминания завершали сборник.

«...Сухая, стройная женщина аристократической внешности, на редкость простая в обращении... Она мигом располагала к себе и сразу же вызывала собеседника на откровенность, какого бы он ни был возраста»[21] – такое впечатление она тогда производила. Жила Беклемишева с сыном Юрием совсем рядом, на Остоженке. Андреев приходил к Вере Евгеньевне, в ее довольно просторную комнату на втором этаже, где они беседовали среди пыльных стоп книг, журналов, рукописей.

Однако, несмотря на всю энергию Веры Евгеньевны, издать «Реквием» оказалось непросто. Леонид Андреев, знаменитый и признанный, не считался самым желанным автором даже в относительно вольные двадцатые, когда его книги еще издавались. Попытки же опубликовать в Москве или Ленинграде последний роман писателя «Дневник сатаны» оказались безуспешными, а после 1930 года его книги вовсе не появлялись четверть века, если не считать двух изданий рассказа «Петька на даче» и одного – рассказа «Кусака», ставших детской классикой...

Поэтому «Реквием» издали не к десятилетию смерти знаменитого писателя, а только в следующем году. На титульном листе сборника рядом с В. Е. Беклемишевой впервые в печати появилось имя Д. Л. Андреева.

Торопясь с запальчивыми претензиями «к господам из эмиграции», он не мог представить, с каким предисловием – а без него и не вышел бы! – появится «Реквием». В предисловии к сборнику Леонид Андреев назван мятущейся душой «потерявшего

нить жизни представителя чуждого нам класса», и объявлено, что «его психика, его мировоззрение, его мироощущение враждебны нам», а «философия», как и «философия» Достоевского, неприемлема. Говоря об отце, старый большевик и партийный публицист Невский, говорил и о сыне. «Для всех серьезно мыслящих и живущих жизнь – мистерия», – приводил он слова Леонида Андреева, под которыми мог подписаться бы Даниил Андреев, и заявлял, – а мы говорим: «жизнь великое творчество трудящихся масс, в своем творчестве разгоняющих тьму веков и изгоняющих тайну этой тьмы...»

Не только навязанное составителям партийное предисловие заставило глубже осознать, что именно совершалось в стране в эти, не менее революционные, чем 17-й год, переломные времена. Курс на индустриализацию и коллективизацию проводился революционно – на костях и на крови. Советской литературе предназначалось стать рупором партии и оружием пропаганды. В совершавшемся Андреев позднее разглядел предначертания Противобога и волю Жругра, демона большевистской власти, воплотившуюся в сталинские пятилетки, сопровождавшиеся террором.

«В 1929 году замолкли церковные колокола. О том, что это было именно в том году, мне говорил Даниил, – вспоминала его вдова. – Тем летом он уехал специально поближе к Радонежу, чтобы слышать колокольный звон, там остался последний храм, где еще звонили. А московские колокола в это время уже молчали»[22]. Борьба с колокольным звоном и, конечно, «в интересах трудящихся», началась с секретного постановления НКВД «Об урегулировании колокольного звона». Запретив «звон во все колокола», колокола по всем городам и весям стали сбрасывать с колоколен и отправлять на переплавку. В ноябре того же года стали снимать колокола в Троице-Сергиевой лавре. Но не только церковные звонницы заставили замолчать. Начали рушить старинные намоленные московские храмы. Уничтожили храм Покрова в Левшине, столь дорогой для семьи Добровых, знакомый Даниилу с детства. Пытались покуситься на само время, отменить названия дней недели. Отменили специальным указом празднование Рождества и Нового года, объявив их религиозной пропагандой. А крестный Даниила Андреева на открытии второго съезда Союза воинствующих безбожников провозгласил: «...религии нет места в том огромнейшем процессе культурного творчества, который с невероятной быстротой развивается в нашей стране»[23].

8. Хлопоты о старшем брате

«Слушай, Дима, нет ли теперь какой-нибудь возможности тебе вернуться в Россию? Приложи все усилия; здесь (в Москве или в Ленинграде) не так уж невозможно устроиться», – писал Даниил брату в сентябре 1928-го. Вадим Андреев и сам не оставлял мыслей о возвращении в Россию, продолжал хлопоты и оставался апатридом, не желая принимать французского подданства. «И не в силах к тебе возвратиться, / И не в силах тебя разлюбить» – строки из тогдашнего его стихотворения, обращенного к России. Но в эмигрантской литературной жизни участвовал деятельно. В 1928 году в Париже у него вышла вторая книга стихов – «Недуг бытия». Вступив в группу «Кочевье», он участвовал в ее вечерах в «Таверне Дюмениль» на Монпарнасе, где собирались молодые литераторы русского Парижа, читал стихи, в декабре сделал доклад, посвященный 135-летию со дня рождения Тютчева, опубликованный в «Воле России» и обративший на себя внимание. Стал печататься как критик. Но жить в переполненной русскими эмигрантами Франции было трудно, главное, не на что. Литература прокормить не могла, приходилось браться за любую работу: чернорабочий на фабрике, типографский наборщик, киномонтажер... Не зная советской жизни, представляя ее по газетам и рассказам, в своей любви к России Вадим Андреев хотел верить в лучшее. И верил. Вере способствовала неутомимая советская пропаганда и влиятельная агентура. А парижская жизнь, особенно поначалу, была неустроенной. О французских мытарствах брата Даниил позже рассказывал: у него часто не хватало денег даже на пачку папирос. В автобиографии писал: «После окончания Сорбонны ему пришлось вместо философии заняться развозкой на тачке масла и молока по парижскому предместью. Позднее он овладел специальностью киномонтажера, и это позволило ему жить сравнительно сносно».

Вернуться Вадим Андреев хотел, несмотря на все препятствия. И тогда, и позже он был близок к части русской эмиграции, настроенной если и не просоветски, то вполне лояльно к режиму, въяве не знакомому и не представимому. Левые настроения и симпатии к Стране Советов росли, жаждавшие верить пропаганде верили, от страшных слухов отмахивались. Тем более что предвоенная европейская жизнь не казалась радужной. Видимо, в не дошедшем до нас письме младшему брату он писал о необходимых бумагах, надеясь на помощь тех именитых советских писателей, с которыми познакомился в Париже. Например, Бабеля, чей московский адрес просил сообщить. Исаак Бабель, арестованный в 39-м, рассказал

следователям, что в 27-м году в Париже встречался с Вадимом Андреевым. Тот вместе с молодыми поэтами приходил к нему «на квартиру по улице Вилла-Шовле, дом 15»[24], и Бабель позже ходатайствовал о его возвращении в Москву. Но особенные и небезосновательные расчеты были на помощь Горького.

Отвечая брату, успевший кое-что разузнать и убедившийся в том, какие громоздятся преграды, 14 февраля следующего года Даниил писал:

«Димочка, дорогой мой, задерживаюсь я с письмом потому, что наведение справок относительно моего ручательства, которое я хочу тебе послать, заняло много времени; до сих пор я не выяснил некоторых пунктов; выясню, по всей вероятности, на днях и тогда докончу сие письмо <...>

Относительно твоего приезда у меня есть большие сомнения. Но мне так хочется тебя видеть, последнее время я так много о тебе думаю и так жду тебя, что мне ужасно трудно тебе советовать отложить возвращение. Дело, однако, в том, что, во-первых, тут трудно найти работу, особенно такой, можно сказать, “умозрительной” профессии, как ты (я разумею твою Сорбонну). Правда, быть может, тебе удастся устроиться в Академии Художеств, но ведь это тоже бабушка надвое сказала; во всяком случае, если поедешь, будь готов к неприятным сюрпризам в этой области. Во-вторых – жилищный вопрос. Купить комнату в Москве далеко не простое дело (гораздо лучше в этом отношении в Ленинграде, но не забудь, там нет Художеств<енной> Академии, почти единственного места, где можно было бы тебе пристроиться). В общем, можно в Москве достать комнату с тем, чтобы ежемесячно платить от 25 до 50 рублей – сумма, как видишь, довольно солидная. Когда ты думаешь приехать? Если этой весной или летом, то на первое время тебе поможет гонорар, который я, по всей видимости, получу с кинофильма “Белый Орел”, темой которому послужил папин “Губернатор”. Но что будет дальше – сам не знаю, моя дальнейшая судьба “темна и таинственна”. Работа по-прежнему случайная.

Вот такие предупреждения. Но, с другой стороны, я великолепно понимаю, что значит столько времени прожить вне России, понимаю, что дольше так тянуться не может, что ты должен так или иначе вернуться. В конце концов без работы (регулярной) ты можешь сидеть и там и тут, разница же в том, что здесь будут свои, что здесь *своя* земля, *свой* воздух, *свой* народ. Поэтому я далеко не категорически отговариваю тебя от приезда, отнюдь нет. Да, кроме того, сюда примешивается и личная моя тоска по тебе. Я очень люблю тебя».

Продолжив письмо через две с лишним недели, он сообщил еще более удручающие новости: «Юрист, наведя справки, сказал мне следующее: мое ручательство, как ручательство не члена партии и даже не члена профсоюза (что особенно грустно), не может играть никакой роли. Я проверил эти сведения, и, кажется, они справедливы»[25].

Юрист, к которому обращался Даниил или у которого проверял «сведения», вероятней всего Муравьев, старый друг Добровых. Он продолжал непосильную адвокатскую борьбу за справедливость. В 1922 году принял участие в защите ЦК правых эсеров. Как следствие, оказался арестован и на три года выслан из Москвы, правда, уже через несколько месяцев возвращен благодаря давнему знакомству с Дзержинским. В 24-м вновь стал адвокатом и продолжал защищать, пока это властями допускалось, гонимых и обвиняемых. В 29-м пытался защитить тверского крестьянина Чуркина, записанного в кулаки и обвиненного в антисоветской деятельности. Так что не только о возможности помочь возвращению брата, но и о том, с какой политической целесообразностью действуют советские законы, Николай Константинович мог Даниилу Андрееву поведать обстоятельно.

Сомнения младшего брата, к тому же прекраснодушно надеявшегося на лучшее и не изведавшего еще всей беспощадности советской действительности, от коей, как могли, его продолжали оберегать любящие тетушки, наверное, тоже помогли охладить патриотический пыл, с каким старший брат добивался возвращения. От отчаяния Вадима Андреева спасала не столько поэзия, которой он жил. Поэзия не спасла его друга, Бориса Поплавского. Спасала семья. В начале следующего, 1930 года, 22 января у него родилась дочь. Ее, как и мать, назвали Ольгой. Узнавший новость лишь летом, Даниил писал брату: «Димка, родной мой, если б ты знал, как мы были счастливы! Мы слышали уже со стороны, что у вас родилось дитя, но не знали более ничего, даже того, мальчик это или девочка. Я писал тебе, и даже очень большое письмо (весной) – разве ты его не получил?

Мне очень понятно твое счастье – не удивись этому, – может быть, это странно слышать от человека, который даже и не женат, но я хотел бы иметь ребенка. За вас с Олей я радуюсь всей душой и целую вас всех троих и обнимаю. Как я хотел бы видеть вас!»[26]

9. Стихиали

Следующее лето Даниил Андреев провел не в Тарусе, как мечтал, а на Украине. Это – июль–август 29-го. На Днепре в

Посадках, недалеко от Триполья, была дача семьи Аллы Тарасовой. Сюда он приехал с Вавочкой, Малахиевой-Мирович. По ее стихам, пометам под ними можно представить их путь до Киева на поезде и дальше долгим знойным днем по Днепру на пароходике, на котором «под низким потолком спрессованные люди, / Таранья чешуя и кости на полу» и вокруг озабоченные, хмурые, «заморенные» лица...

В шутливом дачном стихотворении изображено утро: «В комарином звоне гулком / Даня спит и видит сон: / Принесла торговка булки, / Сливки, масло и лимон». Увы, «Пробуждение ужасно – / пусты стол и кошелек». В другом, обращенном к Даниилу – звездная ночь, бессонная беседа о «сужденной встрече», признание: «Так мать святого Августина / На эти звездные края / С тревогою за душу сына / Глядела, как сегодня я». И дата: «17 августа 1929, 3 ч. утра».

Варвара Григорьевна Малахиева-Мирович называла Даниила «зам.сына». Ее одухотворенное присутствие можно разглядеть во многих его увлечениях – поэтических и мистических. Старушечьего в ней не было, несмотря на ее шестьдесят лет. Жизнь она прожила в исканиях пути, в пылких увлечениях и разочарованиях. Не только в идеях, но и в людях. Учась на Высших женских курсах в Киеве, стала народницей, участвовала в революционном кружке. Отстав от народников и пережив нервное расстройство, поехала за границу, в Европу. Потом, в том же родном Киеве, сблизилась с Львом Шестовым, чье влияние оставило в ней заметный след. Несколько лет прожив в Петербурге, в 1901-м поселилась в Москве. Всегда много писала – прежде всего стихи, которые всю жизнь были ее возвышенным лирическим дневником. Писала и прозу, переводила. Печаталась как критик – театральный и литературный. В ее писаниях религиозно-философское мироощущение прихотливо сочеталось с артистизмом. От логических построений ее влекло к интуитивному, мистическому. Флоренский говорил, что в Варваре Григорьевне есть какая-то «оккультная топь». Переведенный ею (вместе с М. В. Шиком) труд Уильяма Джемса «Многообразие религиозного опыта» Даниил Андреев не мог не прочесть с особенным вниманием, о нем он упоминает в «Розе Мира». Даниил часто читал ей свои стихи, слушал ее:

Горит светильник мой не прямо,
И пламя припадает ниц.
Кристаллов слез двойная рама
Туманит взоры звездных лиц.

Тусклы надзвёздные просторы,
Земной теснины мрак глубок,

И на меня глядит с укором
Распятый в небе Мотылек.

После революции Малахиева-Мирович печаталась в основном как детский поэт. А на следующий год после путешествия с Даниилом начала вести дневник, названный «О преходящем и вечном».

Трипольское лето отозвалось в «Розе Мира» рассказом о стихиалях – живых духах природы: «Счастливо усталый от многовёрстной прогулки по открытым полям и по кручам с ветряными мельницами, откуда распахивался широчайший вид на ярко-голубые рукава Днепра и на песчаные острова между ними, я поднялся на гребень очередного холма и внезапно был буквально ослеплен: передо мной, не шевелясь под низвергающимся водопадом солнечного света, простиралось необозримое море подсолнечников. В ту же секунду я ощутил, что над этим великолепием как бы трепещет невидимое море какого-то ликующего, живого счастия. Я ступил на самую кромку поля и, с колотящимся сердцем, прижал два шершавых подсолнечника к обеим щекам. Я смотрел перед собой, на эти тысячи земных солнц, почти задыхаясь от любви к ним и к тем, чьё ликование я чувствовал над этим полем. Я чувствовал странное: я чувствовал, что эти невидимые существа с радостью и с гордостью вводят меня, как дорогого гостя, как бы на свой удивительный праздник, похожий и на мистерию, и на пир» – так он рассказал о своем пронзительном ощущении того, что все в природе не только живет особенной таинственной жизнью, но и являет совершенно иную, отдельную от утонченного созерцателя одухотворенность.

Позже, называя любимым цветком – почти как героиня андерсеновской сказки – лилово-розовый цветок репейника, он говорил о его особенной ауре, может быть, связанной с символикой вечно-женственного или с Готимной – Садом Высоких Судеб.

Конечно, о растениях, наделенных чувствительностью, писал даже Эдгар По, фантастичность которого Достоевский называл «какой-то материальной». Но одушевление природы, прочувствованное единство с ней – «все во мне, и я во всем» – свойство не только романтических писателей и мистиков. Оно затаенно живет, наверное, в каждом человеке. В древних религиях существовало поклонение священным рощам, деревьям и растениям. В Индии священны не только реки и горы, но и отдельные скалы, пещеры, деревья – в каждом живет свой дух. Анимизм – вера праотцев в то, что во всем окружающем, живом и кажущемся

неживым, есть душа, – стала инстинктивной верой поэтов. И то, что Даниил Андреев за поэтическими ощущениями природы увидел «невидимые существа» – стихиали, отличало особенность его мировосприятия, глубоко религиозного. Так он был устроен – во всем видел таинственную мистическую жизнь. Через годы трипольское видение превратилось в обстоятельное описание открытых им мистических миров светлых и демонических стихиалей.

Возвратившись в Москву в конце августа, он сразу остро ощутил подступающую осень с холодящими туманами, с утренниками и ледяными росами, желтящими травы. А полные жизни цветущие поля, увиденные летом, вспоминаясь, вызывали теперь строки о подступающей гибели, изображенной с мифологической пышностью: «Злаки падут под серп, заклубится поток Эридана, / Стикса загробного лед жизни скует берега». Наступала осень 29-го года, и для многих и многих грядущей зимой «лед» Стикса станет из метафоры явью.

Той осенью, под колокольное молчание и газетный гром, власть железной хваткой взялась за крестьянство, определив всеобщего врага – «кулака». Началась страшная пора коллективизации, раскулачивания, готовящегося беспощадного голодомора. Мужика разоряли, провозглашая принудительный труд социалистическим. «По воле партии» течение жизни загонялось в железобетонные берега ударно строящейся утопии. В те берега вслед за народом погнали и писателей. Со страниц книг должны были звонить сталинские колокола.

«Должен признать, что в 1928–1930 г<одах>, будучи не согласен с решениями партии и правительства об индустриализации страны и коллективизации сельского хозяйства, я особенно озлобился против советской власти»[27] – за этим признанием, выбитым на допросе и заключенным в казенные следовательские формулировки, можно увидеть умонастроения Даниила Андреева тех лет.

Глухо, но и до Москвы дошли известия о массовом расстреле в Соловках в ночь с 28 на 29 октября 1929 года трехсот политических заключенных, а следом и уголовников, убиравших их трупы.

Но совершавшееся отзывалось пока в стихах Даниила Андреева, вместе с его собственными метаниями, любовью и тоской, размеренными строками как живое, но далекое эхо: «Кончено лето души. Из долин надвигается стужа. / Белые хлопья кружат, шагом ночей взметены...»

10. Дружба

7 января 1930 года умер Иван Алексеевич Белоусов. До издания сборника памяти Леонида Андреева, куда вошли письма к нему старого друга, снабженные его примечаниями, он не дожил. Следом, 22 января, умер близкий друг Белоусова – Алексей Евгеньевич Грузинский. Оба – приятели Леонида Андреева из кружка «Среда», близкие знакомые Добровых.

В хлопотах, связанных с книгой об отце, Даниил, приходя к Белоусовым, еще ближе сошелся с сыном писателя – Евгением. Знакомство их началось еще в 25-м или даже в 24-м году. Когда он первый раз пришел к ним, «Женя... гонял во дворе тряпичный футбольный мяч. Футбол был его страстью. Ирина Павловна, к которой Даня пришел, захотела их познакомить: ровесники, один – сын Леонида Андреева, другой – Ивана Алексеевича. Она с большим трудом докричалась до сына. Ему страшно не хотелось идти домой. Он явился нехотя, они с Даниилом познакомились – и подружились на всю жизнь» – так со слов Евгения Белоусова рассказывает историю их знакомства вдова поэта, позже ставшая и вдовой Белоусова. «Ранние фотографии Даниила (30-х годов) сделаны именно Женей, – сообщает она. – Важной частью их дружеского общения было чтение друг другу: Даниил читал Жене стихи, а Женя Даниилу – свои оригинальные рассказы. Женя благоговел перед Даниилом и полностью осознавал его место в русской культуре»[28]. С Белоусовым он мог говорить обо всем – и о стихах Гумилева, и о газетной злободневности.

В 30-м году в Москве впервые проходила спартакиада народов СССР. Первый же ее день завершился карнавалом на Москве-реке у Парка культуры. Проплывали баржи с конструкциями и муляжами на темы пятилетки, пели хоры, гремели духовые оркестры, по берегам стояли толпы зрителей. Представления закончились пышным фейерверком. Зрелище впечатлило Даниила Андреева. В поэме «Симфония городского дня» есть отзвуки этого празднества «советского карнавала» с восторгами «беса спорта», с изображениями «социалистической скинии»...

В статье «Головокружение от успехов», появившейся в марте 30-го года, Сталин одергивал старательно выполнявших верховные указания о коллективизации «революционеров». Они, оказывается, перестарались и «дело организации артели начинают со снятия колоколов. Снять колокола – подумаешь какая революционность!»[29] – иезуитски язвил над верноподданной номенклатурой хищный вождь.

В том же году, в октябре, прошли аресты по делу «Промпартии», вредителей, проникших, как писали газеты, повсюду, раз-

вернувших шпионаж и всяческие диверсии под руководством генштабов Франции, Англии и прочих капиталистических государств. Но бдительное ОГПУ вовремя их разоблачило. Опыт «шахтинского» дела учли, процесс, закончившийся 7 декабря, прошел гладко, приговоренных к казни отправили трудиться в лагеря.

Будущая жена поэта, Алла Бружес, пятнадцатилетняя школьница, заканчивавшая семилетку, навсегда запомнила страх того времени: «Арестовали моего дядю. И я полгода стояла у окна каждую ночь и ждала, что за папой придут. Кончилось это трагикомично. Во двор въехала машина... Я была совершенно уверена (это было уже полгода такого еженощного стояния у окна), что приехали за папой. Потом машина развернулась, оказалось, что это – грузовик. Со мной сделалась истерика»[30].

А Даниил в апреле засел за работу «над книжкой для детей о рыбной промышленности». Вероятно, заказ помог ему получить Коваленский, бывший в те времена не только признанным детским писателем, но и членом «комиссии по созданию новой детской книги» при ВЦИК. Работа не вдохновляла, требовала усидчивости и мешала писать свое. Но заработок был необходим.

Его товарищ по курсам Вадим Сафонов тогда не только писал прозу, почти забросив стихи, но числился опытным очеркистом и уже издал книгу об естествоиспытателях – «Ламарк и Дарвин». С ним можно было советоваться о новой работе как с профессионалом. И хотя они встречались теперь реже, Даниил не мог не приехать к нему на свадьбу. Жил в ту пору Сафонов в Сергиевом Посаде, где жила и другая близкая знакомая Добровых и Андреева – Малахиева-Мирович. Только что, в январе, городок переименовали в честь взорванного эсерами большевика в Загорск. Гостей собралось немного, невеста, с которой Андреев познакомился еще в школе, где она училась классом или двумя младше, а потом встречался на Литературных курсах, сидела за скромным свадебным столом и ежилась от прохлады. Внимательный Даниил накинул ей на плечи свою куртку. Чувствуя себя взрослой, она вызывающе спросила: «Даня, вы бывали у проституток?» И он со всей доверчивой честностью ответил: «Да, был один раз», хотя и не любил вспоминать о временах «Дуггура».

11. Некоторые перемены

В добровском доме все время происходили перемены. Обыденные, они казались не слишком существенными. Но происходили. Саша Добров расстался с Ириной. Жизнь пары, искавшей, но не нашедшей опоры друг в друге, не задалась,

они расстались. Появилась веселая Маргарита. Соседка, тогда совсем маленькая девочка, Викторина Межибовская, любимица всего дома, на всю жизнь запомнила ее «сказочный подарок – маленьких стеклянных розовых свинок». Но Саша и его жена жили совсем другими интересами, чем Коваленские и Даниил, в последнее время особенно сблизившийся с ними. Характеры у всех были разными, непростыми. Да и жилось большой семье, где главным кормильцем пожилых женщин, опорой молодой пары и не готовых к житейским сражениям поэтов оставался старый доктор.

Феклуша боготворила Филиппа Александровича, трогательно старалась ему услужить, угодить. «Она всегда боялась пропустить момент, когда надо было подать калоши и палку Филиппу Александровичу, когда тот выходил на улицу»[31], – вспоминала соседка. Доктор ежедневно шел пешком на Пироговскую, в свою больницу, а по вечерам обходил дома пациентов, почти всегда бесплатно.

В огромном, во всю стену зеркале, которое висело в прихожей, входящие в дом и поднимавшиеся по широким деревянным ступеням взглядывали на себя, прежде чем войти, открыв белую застекленную дверь налево, в переднюю. Приемная доктора теперь помещалась в столовой, перегороженной занавеской. А из передней дверь налево вела в бывший кабинет Филиппа Александровича, где жили его сын с женой, а направо – в гостиную-столовую. Даниил помещался в столовой. Теснота мучила не только их, так, а часто и куда хуже, жило большинство. Рядом теснились соседи, к которым вел темный и узкий коридор. И вот Саша с Маргаритой уехали попытать счастья в строящийся, прославленный всеми советскими газетами город металлургов, куда только что подвели железную дорогу, – в Магнитогорск. Станция – деревянный барак, над стройплощадками среди степи высится гора Магнитная. На «стройке социализма» работали не только комсомольцы, но и тысячи заключенных, жилось там нелегко, работалось тяжело, но об этом газеты молчали.

«Их отъезд немного разрядил атмосферу, которая в нашем доме сгустилась за последние 2 года до того, что стала трудно переносимой, – писал после их отъезда Даниил брату. – Не могу тебе в письме описать всех обстоятельств, взаимоотношений, причин и проявлений антагонизма – для этого потребовалась бы целая тетрадь. К этой зиме семья разделилась на резко очерченные лагери: Шура, ее муж и я – с одной стороны, Саша и Маргарита, с другой, мама и дядя посередине, то ближе к одному стану, то к другому. Все это было ужасно мучительно.

Теперь – уже почти 3 месяца, как их с нами нет. Тяжелее всего их отсутствие маме, но и она овладевает собой. Общая же атмосфера, повторяю, разрядилась».

Заняв освободившуюся – до их возвращения – комнату, Даниил не скрывал радости, сообщая о своем переселении:

«Для тебя, вероятно, непонятно, что у нас “получить комнату” значит испытать величайшее счастье. Получивший комнату не в состоянии 1/2 года согнать со своего лица идиотски-блаженную улыбку. Уверяю тебя, что возможен даже роман с комнатой.

После 7 лет, проведенных в нашей “ночлежке”, где жило 5, одно время даже 6 человек, после семилетней варки в хозяйственно-столово-телефонно-разговорно-спально-крико-споро-сцено-дрязго-семейном котле (я преувеличиваю мало!) – после 7 лет почти полной невозможности систематически работать и заниматься – и вдруг очаровательная, тихая, солнечная комната, с двумя окнами на юго-запад, мягкой мебелью, библиотекой, легкими летними закатами за окном – пойми!!

Жаль только одного: я до сих пор мало пользовался этим великим жизненным благом для “своей, серьезной” работы. Третий месяц сижу над книжкой для детей о рыбной промышленности. Это скучно (и трудно), но ничего не поделаешь. Рассчитываю недели через 2 кончить, получить часть гонорара и укатить куда-нибудь. Далеко, вероятно, не придется – разве только, б<ыть> м<ожет>, на Украину. Но и то под сомнением. А осенью, возможно, будет очень интересная работа: о древнеперуанской культуре. Да и “своим” займусь.

С воинской повинностью у меня так: я попал во вневойсковую подготовку, т. е. 1 месяц на протяжении года или двух должен проходить военную премудрость здесь, в Москве. Я доволен этим: к войне и военному делу не чувствую никакого тяготения. Конечно – долг и все такое, но пока войны нет, эти размышления о долге – головные и для меня же самого малоубедительные.

С ожесточением, почти с “решительностью отчаяния” какой-то, трачу все, что могу, и даже то, что не могу, – на книги. По этому случаю хронически сижу без денег (карманных). Но это не беда.

Все-таки, несмотря на все минусы нашего дома, я его сильно люблю и бесконечно ему благодарен за многое. И ничего не могло бы быть лучше, если б вы трое присоединились к нам»[32].

Малахиева-Мирович, у которой перед глазами проходили все горести и радости добровского дома, писала о нем в дневнике так: «Странноприимница для одиноких скитальцев, душевный санаторий для уязвленных жизнью друзей и нередко дача Канат-

чикова – для самих членов дома». И добавляла: «Разнообразные горести, усталость, нервы всех членов семьи не мешают попадающему в атмосферу этого дома ощутить себя в теплой целебной ванне и уйти согретым и размягченным»[33].

12. Солнцеворот

Поэма «Солнцеворот» стала одним из главных замыслов 1930 года. Работать над ней Андреев начал, возможно, уже весной и сообщал об этом Вадиму в не дошедшем до нас письме. В нем даже могло быть начало поэмы. В следующем письме он говорит о стихотворческих проблемах, волновавших его в связи с поэмой, позднее пропавшей:

«Милый брат!

Послание это – исключительно литературное.

По порядку.

О “вольных” и “классических” размерах.

Форма диктуется заданием. Поэтому ни в каком случае нельзя осуждать ни того, ни другого принципа, ни “классического”, ни вольного. Можно лишь говорить о конкретностях и частностях. Напр<имер>: тому или иному заданию не свойственна ни монументальная четкость ямба, ни мечтательная напевность дактиля; сама тема диктует: рваный стих.

Можешь ли ты представить себе “Двенадцать” написанными с первой до последней строки, скажем, анапестом? – Абсурд. – Или “Демона”, вздернутого на дыбу “советских октав” Сельвинского? – Абсурд. У Демона затрещат суставы, порвутся сухожилия, и тем дело и кончится: вместо Демона получится мешок костей.

И утверждаю: тема Революции, как и всех вихревых движений, имеющих к тому же и движение обратное (тут А опережает Б, В отстает от Б, а Г движется назад), – ни в коем случае не может быть втиснута ни в ямб, ни вообще в какой бы то ни было “метр”.

Но, с другой стороны, столь же неправильно было бы пытаться дать напряженную боль и мощь массового движения, сметающего все преграды и все рубежи, в расслабленно-лирических вольных стихах с их развинченными суставами. Вольный стих – явление декаданса, и, напр<имер>, в моей поэме он будет фигурировать именно в этой роли.

Что же касается основных ритмов моей поэмы – это ни классический стих, ни вольный размер. Менее всего он – вольный: он подчинен железным законам. Не может иметь места в нем ни внезапное выпадение слога, ни – ничем не мотивированное прибав-

ление такового, ни уменьшение или увеличение количества ударов. Например, может ли быть назван вольным следующий ритм:

Схема: _ / _ / _ /_ _

_ /
/
/
и т. д. – 16 строк – строфа. Это – костяк.

Облеченный же плотью, он выглядит так:

Мятеж туманит головы.
С костром
схож
луг.
Вперед! Пылают головни.
Разбой.
Дрожь
рук.
Крепчает темень черная
В груди.
Злой
ветр
Коряжник выкорчевывает,
дик,
как
вепрь...

Мотив стихийного разбоя (разгром усадеб, партизанщина, зеленые), с несколько плясовым оттенком. (За ритм этот готов стоять до гробовой доски.) Согласись, что тут "вольный стих" и не ночевал. Ты можешь оспаривать другое: подбор слов, звучание, образы – одним словом, воплощение, а не идею. И тут я уже не буду так тверд в отстаивании своих стихов»[34].

Поэму Андреев писал с вдохновенным запалом и в сентябре собирался закончить первую часть, «вероятно, строк около 600», – как он сообщал брату. Предыдущая поэма «Красная Москва» ему уже казалась несовершенной, хотя лучшие куски из нее он включил в «Солнцеворот». Впрочем, позже он и «Солнцеворот» назовет ученической поэмой. В ней, по его признанию, он находился под сильным влиянием Коваленского, разделяя «его временное увлечение спондеями»[35]. Но для Даниила Андреева увлечение спондеями не стало временным, позднее он писал о спондеике «как принципе стихосложения».

Изощренный версификатор, Коваленский широко использовал спондеи и в драме-мистерии «Неопалимая Купина», писавшейся им в 27-м году, но оставшейся незаконченной, и в написан-

ной через год поэме «Гунны». Тогда Даниил не только находился под всеподавляющим литературным влиянием Александра Викторовича, но и разделял многие умонастроения наставника. Впадая в особые мистические состояния, тот просил зятя записывать его высказывания. Какими они были – неизвестно. Таинственные состояния Коваленского, природу которых он умел внушительно объяснять, настраивали на возможность иноприродных откровений.

В то время, когда Андреев задумал «Солнцеворот», Коваленский завершал поэму «1905 год»[36]. На революционную поэму Коваленский возлагал расчетливые надежды, самонадеянно рассчитывая выдвинуться «в первые ряды советских поэтов». Тема считалась актуальной. Как раз исполнялось двадцатипятилетие со дня начала первой русской революции. Этой востребованной темы он уже коснулся в вышедшем в том же году в издательстве «Молодая гвардия» историческом очерке «Нескучный сад», уделив событиям 1905 года отдельную главку. Но в поэме, вольно или невольно, Коваленский вступал в самонадеянное соревнование с Пастернаком, чья поэма «Девятьсот пятый год», названная самим поэтом «относительной пошлятиной» и «добровольной идеальной сделкой со временем»[37], стала известной и признанной.

«1905 год» Коваленского не стал большой удачей. Продуманный конформизм, раздвоенность, как ни старался автор подхлестывать стиховой рассказ спондеической энергией, сказались. Успеха поэма не имела, хотя появилась в «Красной нови» и попала в революционную антологию. Она осталась безуспешной попыткой автора войти в сомкнутые ряды современных советских поэтов. Но ее своеобразная, местами выразительная метрика оказала на ученика явное влияние, отозвавшись даже в зрелых стихах Даниила Андреева. Он навсегда запомнил строфы с барабанной дробью спондеев:

Гонит чужой долг,
Дышат ряды шпал,
– Слушай снегов толк:
– Пал, Порт-Артур, пал...
– Пал, Порт-Артур, пал!
– Строй, и за ним строй...
Вон – впереди – встал
Новых Цусим рой...[38]

Поэме Коваленский предпослал два эпиграфа. Первый – из Ленина, второй из «Медного Всадника» Пушкина. Ленинские слова эпиграфа – «Революция началась... Вероятно, волна эта

отхлынет, но она глубоко встряхнет народное сознание... За нею вскоре последует другая» – очевидно перекликаются с утверждением Андреева в письме к брату, что революции, как и все вихревые движения, имеют и движение обратное... Но его больше впечатляла другая поэма Коваленского – «Гунны», о революции 17-го. Позже, на следствии, он уклончиво определил ее мысль: «Великая революция – это грандиозный сдвиг национального сознания...»

Судя по всему, «Солнцеворот» Даниила Андреева был поэмой о Революции и Гражданской войне, о новой смуте, связанной «вихревым движением» с временами самозванцев. Поэтому некоторые строфы ее позже естественно вошли в другую поэму, в «Симфонию о смутном времени» – «Рух».

Но не только уроки домашнего ментора и старшего друга усваивал поэт. Поэзия двадцатых, и не одни Маяковский и Есенин, Хлебников и Волошин, но и Асеев, Сельвинский, Пастернак, часто совсем чуждые его мироощущению и поэтике, так или иначе отзывалась в его начальных опытах. А работая над «Солнцеворотом», Андреев с особым пристрастием читал размашистые поэмы Сельвинского, прежде всего «Уляляевщину», тоже поэму о смуте. «Слышал ли ты что-нибудь о нем? – спрашивал он брата о Сельвинском. – Хотя поэзия не ступала на эти страницы даже большим пальцем правой ноги, – все же этот “поэт” – самое значительное, на мой взгляд, явление нашей литературы за последние несколько лет. Он чрезвычайно остроумен, и если разъять слово – то и остр, и умен (по-настоящему).

Он считает себя учеником школы Пастернака, но надо отдать ему честь, отнюдь не Пастернак. Кстати: твоей любви к Пастернаку не разделяю. Мне в оба уха напели, что это гениальный поэт, – но я, как ни бился, сумел отыскать в его книгах всего лишь несколько неплохих строф. Вероятно, я его просто не понимаю. Но мне претит это косноязычие, возводимое в принцип. Он неуклюж и немилосердно режет ухо. Но талантлив – несомненно, и жаль, что заживо укладывает себя в гроб всяческих конструкций».

Пишет он брату и о других новинках литературы: «Кроме Сельвинского еще рекомендую: Чапыгина, роман “Разин Степан” – первый роман о России, заслуживающий названия “исторического”; Тынянов, “Смерть Вазир-Мухтара” – блестящий роман о Грибоедове и – “Кюхля” о Кюхельбекере. Писатель очень культурный, что ставит его выше огромного большинства наших литераторов, которые, не в обиду им будет сказано, при всей своей революционности, обладают, однако, куриным круго-

зором. Даже Шолохов – несомненный талант (читал его “Тихий Дон”?), но ведь интеллектуально это ребенок.

В последнее время у нас наблюдается острый интерес к Хлебникову. Появилось наконец 1-е собрание его сочинений, и среди поэтов циркулирует слух, что это – гений, которого в свое время проглядели. Не думаю, конечно, что гений, но черты гениальности – есть. Поэт интересный исключительно – но главным образом своими любопытнейшими экспериментами и исканиями».

В том же письме он делится с братом литературными интересами и предпочтениями: «...нельзя ли достать у вас там Вячеслава Иванова что бы то ни было (если нет какого-нибудь собрания сочинений)? Здесь он стал величайшей редкостью и стоит бешеных денег. Если б тебе удалось его добыть – очень прошу, пришли: это один из моих любимейших поэтов, и я по-настоящему страдаю, не имея его постоянно под рукой.

Мандельштама я знаю скверно – его тоже очень трудно достать – как и Ин<нокентия> Анненского, которого я безрезультатно ищу вот уже $1^1/_2$ года. Вообще же, если хочешь знать наконец определенно, то ставлю точку над i: учителя мои и старинная и нержавеющая любовь – символисты, в первую голову – Блок...»[39]

Солнцеворот – 25 декабря, в этот день солнце поворачивает на лето, зима на мороз. В названии поэмы символика времени: солнце, как Божий лик, говорит, что мистическое время уже поворотило «на лето», а историческое, зимнее время явно поворачивает «на мороз». Не зная поэмы, подобный сюжет можно только предполагать. Но, прослеживая постепенно складывающийся в миропонимании Даниила Андреева образ времени, видевшего в нем то вихревые движения, то смену красных и синих эпох, с почти физическим ощущением мистерии непрестанного сражения сил тьмы и света, можно думать, что похожая мысль присутствовала и в поэме «Солнцеворот».

Часть четвертая

ТРУБЧЕВСКАЯ ИНДИЯ
1930–1934

1. Первое лето в Трубчевске

В начале августа 1930 года Даниил Андреев, Коваленские и Беклемишева с сыном, только что окончившим физико-математический факультет Московского университета (шестой спутник нам неизвестен), отправились в Трубчевск.

Юрий Беклемишев в письме другу с бодрым юмором так описал путь до Трубчевска: «...в 20 ч. 10' я отбыл с Брянского вокзала... Когда на другой день я прибыл на станцию Суземка, то оказалось, что поезд опоздал на три часа и что поезд, идущий в Бобруйск, ушел. Следующий будет завтра. Катастрофа. Однако тут все могло бы кончиться более или менее благополучно, не будь со мной мамаши и ее чемоданов (впоследствии я подсчитал, что их было 6 штук, не считая мелких вещей). Моя мамаша, конечно, спаниковала, и вот через полчаса мы в компании четырех других товарищей по несчастью на паре колхозных суземских лошадей тронулись в Бобруйск (Суземки – Трубчевск, 50 верст по песку!). Мамашины чемоданы угрожающе грохотали за нашими спинами, связанные в какую-то фантастическую пирамиду предприимчивыми колхозниками. Встречные аборигены с удивлением и испугом смотрели на странное сооружение, медленно движущееся по песчаной дороге среди дремучих брянских лесов. Примерно каждые три версты происходили аварии, и мы ремонтировали наше сооружение. Всю дорогу нас сопровождали тучи слепней и комаров. Заночевать пришлось в пути, не доезжая 15 верст до Трубчевска, потому что лошади явно собрались подыхать. Ночевали на каком-то старом сене, съедаемые комарами. Всю дорогу у меня болел зуб. Однако, несмотря на все, я был тверд, как скала.

На другой день в 12 часов, промокнув под дождем, мы торжественно въехали в Бобруйск. Это удовольствие стоило нам 10 рублей, не считая, конечно, ж. д. билетов. Устроились хорошо.

Трубчевск один из самых старых русских городов. Он упоминается еще в “Слове о полку Игореве”. Здесь масса исторических древностей. В местном музее я видел откопанные черепа финских

племен и гуннов с очень покатыми лбами, а также монеты арабов и Римской империи, неизвестно как попавших в трубчевские пески.

Здесь довольно хорошая компания молодежи, в которой я и вращаюсь»[1].

В Трубчевске мучавшийся больным зубом Беклемишев отправился к врачу. Это был Евлампий Николаевич Ульященко, старый земский врач, близко знавший семейство Велигорских еще по Орлу, где учился в гимназии с Петром и Павлом Велигорскими, и помнивший не только Добровых, у которых бывал в Москве, но и родителей Даниила. Жил он с большой семьей в доме при больнице.

Небольшой городок Трубчевск с 1930 года вырос, но ненамного, и, может быть, в этом его не всякому понятное счастье. Упоминавшийся в Ипатьевской и Лаврентьевской летописях как удельное владение Новгород-Северского княжества, славный легендарным Бояном и князем Всеволодом, братом бессмертно невезучего князя из «Слова о полку Игореве», связанный судьбой и именем с княжеским родом Трубецких, тысячелетний Трубчевск пережил все русские несчастья. Ни одна большая война не обошла город. Его неповторимость не в одной древности, но и в редкостном местоположении не только на некогда роковой засечной черте, а и на землях, соединявших Русь Московскую и Малую. Рубежность его, возникшего там, где соседствовали некогда радимичи, вятичи и северяне, всегда была не разъединительной, а объединительной. Помнит город и раздольное Черниговское княжество. Вокруг Трубчевска до сих пор чудом уцелел, почти без порух, древнерусский былинный простор, открывающийся с высокого берега Десны, на котором город расположился. Даль распахивается, когда выходишь к Троицкому собору. Здесь стоял детинец, размещался княжеский двор, отсюда рос посад. Это место, заглавное в Трубчевске, и называется Соборной горой. Даниил Андреев не мог не очароваться зеленым всхолмьем, откуда, как в его стихах, «вдруг разверзается простор...». Разверзшись, простор стал затягивать «зелеными певучими дорогами», вившимися среди темных лесов, тихоструйных рек, лебединых озер. Здесь его страстная любовь к природе нашла «непроглядную страну», приоткрывшую и праотеческую Русь, и чаемую мистическую тайну.

Видный издалека, с Десны, Троицкий собор с обступившим его тенистым парком – и душа Трубчевска, и память. В своей основе сегодняшний Троицкий собор построен в 1784 году, во времена, когда сам город приобретал новый облик и планировку. Но возвели собор на месте храма XII века, который рушился и возрождался вместе с Трубчевском, а во времена польского вла-

дычества становился костелом. От допетровских времен сохранилась сводчатая крипта с надгробьями князей Трубецких, затем каждое столетие добавляло свое. В 1824 году пристроили колокольню, в 1910-м Ниловский придел. Во времена первых приездов в Трубчевск Даниила Андреева в соборе шла служба, целы были храмовая ограда и четыре часовни вокруг. Стояла деревянная часовня и над святым ключом Нила Столбенского. Вниз к нему крутым берегом вели подгнившие ступени.

В Трубчевске у Даниила Андреева имелись семейные корни, в нем одиннадцать лет – с 1883 по 1894-й – жил, служил управляющим удельных лесных дач, избирался гласным трубчевской управы дед – Михаил Михайлович Велигорский[2]. Сюда Велигорский переселился с Украины, переведенный из Киевской удельной конторы в Московскую. Жил без семьи, ее он перевез в Орел – детям пришла пора учиться (в Трубчевске гимназия открылась только в 1914 году). В 1894-м отсюда, опять же в связи со службой, Михаил Михайлович переехал в другой уездный городок тогдашней Орловской губернии – Севск.

Захваченный красотой и мощью открывшихся с трубчевских холмов просторов, Даниил Андреев, надеявшийся продолжить работу над «Солнцеворотом», на время забыл о всех замыслах. «Поэму сейчас не пишу: живу в глуши, в маленьком городишке Трубчевске, на реке Десне, – писал он брату. – Красота тут сказочная, и я только смотрю и слушаю. Очень далеко гуляю один. Жара, я черен, как уголь. Был на лесных озерах, куда еще прилетают лебеди.

Тут безграничный простор, целая страна развертывается у ног. И когда идешь – невозможно остановиться: версту за верстой, и в конце концов уходишь так далеко, что обратно едва доползаешь, уже к ночи»[3] .

В первое же лето он побывал на Неруссе (тогда писалось – Неруса), извилисто струящейся по лесам речке, впадающей в Десну под Трубчевском. В забытые времена она служила водным путем на Радогощь, Севск. Быстрая, затененная местами смыкающимися над ней ветвями, Нерусса завораживала неожиданностью своих поворотов. В те поры над ней еще встречались вековые дубы, безжалостно сведенные позже. Добрался он и до лебединых Жеренских озер, называвшихся Жеронскими. Их было три – Большое, Среднее и Малое Жерено. Но Малое уже и в те времена, наверное, начало умирать, зарастая. Ну а в девятнадцатом веке озера кишели рыбой, и сети в них попусту не заводили.

До революции город ремесленников и торговцев, большей частью деревянный, украшенный бесчисленными садами, нарядными купеческими домами и восемью храмами, в тридцатые

годы Трубчевск менялся мало. Хотя и в нем происходили перемены, что-то строилось – хлебозавод, новая больница, проводились водопровод и электричество. Гордился тогда Трубчевск двумя учреждениями – Народным театром и Краеведческим музеем. Но год перелома наступил и для них. Театр – должен быть сугубо пролетарским, хотя в нем и раньше ставили революционные пьесы, такие как «Федька-есаул» Ромашова о Гражданской войне, но за ней следовал «Лекарь поневоле» Мольера... В музее – никаких икон и монастырских книг, никакого дворянского «хлама», никаких старорежимных интеллигентов. Заведующим музея местного края, как он тогда назывался, выгнав основателя, виновного в дворянском происхождении, как раз в 1930-м назначили начитанного, но неопытного энтузиаста Павла Николаевича Гоголева, бывшего почтового служащего, с хаотичной щедростью завалившего музей разнообразными экспонатами. Чего здесь только не было, но преобладали археологические древности – керамика неолита и раннего железного века... Ну а пришедшие после Гоголева, который пошел в школьные учителя, идейные ревнители, растранжирив и опустошив, что могли, сушили, как вспоминали старожилы, в музейных залах рыбацкие сети... Самого же Гоголева в 1933-м арестовали и дали три года лагеря, по делу организации якобы собиравшейся «реставрировать строй дореволюционной России...». В тот первый приезд вместе с Юрием Беклемишевым музей посетил и Даниил, познакомившийся с его директором.

2. Предзимье

Трубчевское лето кончилось, а московская осень возвращала не только в напряженную жизнь столицы, но и в беспощадную действительность сталинских политических кампаний. Начавшаяся опубликованной 7 ноября 1929 года статьей Сталина «Год великого перелома» коллективизация, как негромко поговаривал народ, «понаделала делов». Начало ее Андреев мог видеть и в трубчевской округе. Крестьяне в колхоз не хотели, и в тех деревнях, рядом с которыми он странничал, поголовно устраивались на работу в лесничества. Но власти торопливо рапортовали о создаваемых колхозах, любители ухватить чужое, где могли кулачили зажиточных соседей. Ударная ликвидация кулачества шла рука об руку с очередной антирелигиозной войной – церкви грабили, забирали под склады и зернохранилища, глумясь, расстреливали и жгли иконы, гнобили священников. На восток и на север двинулись товарняки с кулацкими семьями. Набитые до отказа несчаст-

ными людьми вагоны, окна закручены колючей проволокой. После появления уже к весне, 2 марта 1930 года, другой сталинской статьи – «Головокружение от успехов», говорившей об «искривлении партийной линии», часть крестьян попробовала выйти из колхозов. Но ненадолго. Эшелоны с кулаками продолжали путь на восток и на север. Репрессии, названные Сталиным «перегибами», приутихнув, не прекратились, а еще и перешли с деревни на город. Появились лишенцы. Их за ненадлежащее происхождение лишали избирательных прав, «вычищали» с работы, оставляли без хлебных карточек, не замедливших появиться. Кампания шла с размахом, лишенцем одно время числился, к примеру, Станиславский.

Непрекращавшиеся репрессии свидетельствовали: за каждым углом и кустом таятся враги. Как всегда, немало «врагов» нашлось среди интеллигенции. Арестованный вместе с женой Алексей Федорович Лосев по воле следствия стал участником несуществующей контрреволюционной организации «Истинно православная церковь». Его чудом изданная и сразу запрещенная книга «Диалектика мифа» вызвала у властей вспышку ярости. Каганович с трибуны XVI съезда партии клеймил «философа-мракобеса», смакуя крамольные цитаты. Лосеву дали десять лет, отправив на Беломорско-Балтийский канал. Не без лубянской ловкой подсказки ударил по отбывающему срок «классовому врагу» и Горький. В статье «О борьбе с природой», приведя среди прочих слова Лосева – «Спасение русского народа я представляю себе в виде “святой Руси”», – писатель заявил, что нечего делать в стране «людям, которые опоздали умереть, но уже гниют и заражают воздух запахом гниения».

Неизвестно, прочел ли Даниил Андреев «Диалектику мифа», но прочесть мог. Запрещенная книга частично уцелела, в Москве ее читали. Но главное в том, что, увлеченный восточными мифологиями, жившими в нем рядом с образами Святой Руси, поэт пришел к пониманию мифа как особой мистической реальности, пониманию, родственному идеям и выводам Лосева. От мифологического восприятия мира ведет начало метаисторический метод познания, описанный в «Розе Мира».

Статья Горького, опубликованная 12 декабря 1931 года сразу в «Правде» и в «Известиях», антирелигиозным, в унисон партийной пропаганде, пафосом не могла не возмутить крестника. Но если он не прочел этой статьи, то слышал крылатую горьковскую фразу: «Если враг не сдается – его уничтожают». За год до того (15 ноября 1930) она прозвучала в «Правде». Но еще раньше, из Сорренто, Горький писал историку Покровскому о том, что в России «гражданская война переносится в ту “мирную” действительность, в которой мы существуем по сей день», и отмечал «обилие

заговоров»[4]. О них неустанно сообщали советские газеты, «материалы» о врагах и вредителях ему присылал сам Сталин.

14 мая 1931 года Горький вновь приехал в СССР. Организованная правительством встреча, пышная и громкая, с толпами народа, оркестрами, речами входила в планы приручения и уловления «буревестника». Прекраснодушные верили, что знаменитый писатель увидит правду и откроет ее всем. Окончательно Горький вернулся в следующем году, и опять его встречали с ритуальной советской торжественностью. «Буревестник» окончательно попал в давно расставленные сети и, даже понимая это, уже ничего не мог поделать. Даниил Андреев, как и его отец когда-то, с крестным разошелся. О «триумфальном» приезде Горького в Москву написал с беспощадной прямотой:

Когда-то под аркой вокзала,
К народу глаза опустив,
Он видел: Россия встречала
Его, как заветнейший миф.

Все пело! Он был на вершине!
И, глядя сквозь слёз на толпу,
Шагал он к роскошной машине
Меж стройных шеренг ГПУ.

Все видел. Все понял. Все ведал.
Не знал? обманулся?.. Не верь:
За сладость учительства предал
И продал свой дар...

Врагами партийной власти быстро стали недавние союзники и та свободомыслящая русская интеллигенция разнообразных политических взглядов, что совсем недавно, казалось, находилась в одном лагере с Горьким. К этой интеллигенции принадлежал старинный приятель доктора Доброва – Павел Николаевич Малянтович. Последний министр юстиции Временного правительства, к тому же, на свое несчастье, подписывавший указ об аресте Ленина, для советских властей являлся несомненным затаившимся врагом. Старого адвоката не только «вычистили» из московской адвокатуры, но и арестовали, приговорив к десяти годам лагеря за давнюю принадлежность к Центральному бюро меньшевиков. На защиту соратника и друга бесстрашно встал Муравьев, опять используя знакомства среди советских вождей. Их он защищал до революции. А защищал адвокат многих, например, Каменева, Сольца, тогдашнего председателя Совнаркома Рыкова.

20 мая 1931 года коллегия ОГПУ Малянтовича освободила. Его черед придет: в 37-м новый арест и в 40-м расстрел. Все это

обсуждалось в семье Добровых и стало в подробностях известно Даниилу, часто бывавшему и в Чистом переулке у Муравьевых, и, пусть изредка, на Зубовском бульваре у старшего Малянтовича. Позже, во время допросов на Лубянке, следователи вспомнили и Малянтовичей, заставив Андреева подписать протокол со следующим признанием: «Еще в годы революции на квартире у Доброва... постоянно проходили сборища врагов советской власти. Бывшие министры Временного правительства Малянтович Павел и Малянтович Владимир, бывший председатель чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства Муравьев, бывший московский градоначальник Лидов[5] были постоянными участниками этих сборищ»[6].

Признания получены просто. Андрееву предъявили выписку из давнишних показаний сына Малянтовича – Владимира Павловича, где речь шла о некой антисоветской организации. Сына сумели заставить дать показания на отца. Вот что он подписал: «В конце 1932 года в квартире моего отца Малянтович П. Н. <...> собрались: я – Малянтович В. П., мой брат Малянтович Георгий Павлович – б. офицер царской армии и мой дядя Малянтович Владимир Николаевич – б. товарищ министра почт и телеграфа при Временном правительстве. В беседе на политические темы мой отец информировал присутствовавших о том, что в Москве существует нелегальная контрреволюционная организация, возглавляемая так называемым “Народно-демократическим центром”, в состав которого вошел и он сам <...> Продолжая, мой отец сообщил нам, что в состав руководства этой организации вошли – “крупные люди из числа занимавших видное положение при царском строе и при временном правительстве” и что цели и задачи организации сводятся к развертыванию активной нелегальной деятельности, направленной к подготовке государственного переворота, свержению советской власти и установлению взамен советского строя новой государственной власти во главе с правительством “народно-демократического центра”»[7]. Конечно, выбило следствие и показания о террористических намерениях. И пусть никакого «Народно-демократического центра» в 1932 году не существовало, ясно, что сталинского репрессивного режима старая демократическая интеллигенция принять не могла.

3. Космическое сознание

В Трубчевском районе раскулачивание по-настоящему развернулось в 1931 году. Весной, в мае, в Трубчевске стала выходить газета «Сталинский клич», призывавшая: «Ударим по кулаку и их

агентам». Но Андреев, следуя инстинктивной тяге, старался уходить туда, где злоба дня не задевала, чтобы пожить в природе и с природой. Сразу покорившая Нерусса, несколько выше ее впадающая в Десну Навля – у этих сказочно чистых рек, по их дремучим лесным поймам с берегами, то гривисто приподнятыми, то болотистыми, то открывающимися покосными раздольями, он чаще всего и странствовал. В «Розе Мира» так говорится о трубчевских странствиях: «Это были уходы на целый день, от зари до заката, или на три-четыре дня вместе с ночевками – в леса, в блуждания по проселочным дорогам и полевым стежкам, через луга, лесничества, деревни, фермы, через медленные речные перевозы, со случайными встречами и непринуждёнными беседами, с ночлегами – то у костра над рекой, то на поляне, то в стогу, то где-нибудь на деревенском сеновале». Загорелый и обветренный, искусанный комарами, усталый, он возвращался в городок – «несколько дней отдыха и слушания крика петухов, шелеста вершин да голосов ребят и хозяев, чтение спокойных, глубоких и чистых книг – и снова уход в такое вот бродяжничество».

В Трубчевске он, видимо, уже тогда останавливался у одинокой старушки – Марфы Федоровны Шавшиной. Ее бревенчатый домок под тесовой крышей тремя окнами выходил на улицу Севскую. За домом был небольшой сад. Жила она одна. До революции Шавшина стирала трубчевским купцам белье. А теперь сдавала горенку и подторговывала. Почти восьмидесятилетнюю бойкую старуху, не умевшую ни читать, ни писать, соседи за глаза называли «темной Машебихой». Недалеко высилась пожарная каланча, и раскатистый удар билом означал, что наступил полдень.

Именно этим знойным летом с ним произошло то, что навсегда привязало душу к трубчевским просторам, что он считал «лучшим моментом» своей жизни. О нем подробно рассказано в «Розе Мира»: «...это совершилось в ночь полнолуния на 29 июля 1931 года в тех же Брянских лесах, на берегу небольшой реки Неруссы. Обычно среди природы я стараюсь быть один, но на этот раз случилось так, что я принял участие в небольшой общей экскурсии. Нас было несколько человек – подростки и молодежь, в том числе один начинающий художник. У каждого за плечами имелась котомка с продуктами, а у художника ещё и дорожный альбом для зарисовок. Ни на ком не было надето ничего, кроме рубахи и штанов, а некоторые скинули и рубашку. Гуськом, как ходят негры по звериным тропам Африки, беззвучно и быстро шли мы – не охотники, не разведчики, не изыскатели полезных ископаемых, просто – друзья, которым захотелось поночевать у костра на знаменитых плесах Неруссы.

Необозримый, как море, сосновый бор сменился чернолесьем, как всегда бывает в Брянских лесах вдоль пойм речек. Высились вековые дубы, клены, ясени, удивлявшие своей стройностью и вышиной осины, похожие на пальмы, с кронами на головокружительной высоте; у самой воды серебрились округлые шатры добродушных ракит, нависавших над заводями. Лес подступал к реке точно с любовной осторожностью: отдельными купами, перелесками, лужайками. Ни деревень, ни лесничеств... Пустынность нарушалась только нашей едва заметной тропкой, оставленной косарями, да закруглёнными конусами стогов, высившихся кое-где среди полян в ожидании зимы, когда их перевезут в Чухраи или в Непорень по санной дороге.

Плёсов мы достигли в предвечерние часы жаркого, безоблачного дня. Долго купались, потом собрали хворост и, разведя костёр в двух метрах от тихо струившейся реки, под сенью трёх старых ракит, сготовили немудрящий ужин. Темнело. Из-за дубов выплыла низкая июльская луна, совершенно полная. Мало-помалу умолкли разговоры и рассказы, товарищи один за другим уснули вокруг потрескивавшего костра, а я остался бодрствовать у огня, тихонько помахивая для защиты от комаров широкой веткой.

И когда луна вступила в круг моего зрения, бесшумно передвигаясь за узорно-узкой листвой развесистых ветвей ракиты, начались те часы, которые остаются едва ли не прекраснейшими в моей жизни. Тихо дыша, откинувшись навзничь на охапку сена, я слышал, как Нерусса струится не позади, в нескольких шагах за мною, но как бы сквозь мою собственную душу. Это было первым необычайным».

Можно подумать, что подробное и обдуманное описание лунной июльской ночи в «Розе Мира» связано и с его последующим опытом, и с задачами самой книги. Но вот что он писал в те же дни Малахиевой-Мирович: «Тут была одна ночь, проведенная у костра, гораздо более значительная, чем ночь на Ивана Купалу, о которой Вам писал. Река Нерусса одна из тех, что, по легенде, орошила рай. Почти таитянская гармония, хотя и другая по тонам. Спутники мои уснули, и я один бодрствовал у костра и просидел всю ночь с первой затеплившейся звезды до последней погибшей. Ночь была божественная – другого эпитета не может быть, и развертывалась как мистерия со своим финалом – закатом луны, полным необыкновенного трагизма...»[8] И почти то же, но с подробностями, писал о ней через два с небольшим года Евгении Федуловой, недавно переехавшей в Ленинград и ставшей Евгенией Рейнфельд. Она тоже давно была увлечена Востоком и мистикой.

В 27–28-м участвовала в анархо-мистическом кружке, организованном Федором Ростопчиным, правнуком поэтессы, изучавшим восточные языки и прозванным еще одноклассниками «старфаком» – «старым факиром». Влияние блестящего и обаятельного «старфака» сказалось на всей судьбе Евгении. Ростопчина хорошо знала Татьяна Муравьева, учившаяся с ним и, вероятно, с Федуловой в одной школе. Муравьева-то и могла познакомить ее с Даниилом Андреевым.

«Меня тогда охватило невыразимое благоговение, и не кровавым смятением, а великолепной, как звездное небо, гармонией стала вселенная. Я обращался к Луне, быть может, с тем чувством, которое поднимало к ней сердца далеких древних народов, – описывал он удивительную ночь Рейнфельд. – ...Я лежал, то следя за ветвью, слабо колеблемой над моей головой жаром костра, то ловя скрывающуюся за ней голубую Вегу, то отворачиваясь и снова опускаясь взглядом к низко нависнувшим листьям, вырезавшимся на белом диске луны, как тонкий японский рисунок. Звезды текли, и казалось, что вся душа вливается, как река, в океан этой божественной, этой совершенной ночи! Птицы, смолкшие в чащах, люди, уснувшие у хранительного огня, и другие люди – народы далеких стран, солнечные города, реки с медленными перевозами, сады с цветущим шиповником, моря с кораблями, неисчислимые храмы, посвященные разным именам Единого, – все было едино. Все-таки были минуты, когда стерлась грань между я и не я....»[9]. «Само собой, разумеется, я не претендую (Боже упаси!!) на космическое сознание, но пережитое в ту ночь было крошечным приближением – все-таки *приближением* – к нему (прорывом), – уверял он. – Я хочу надеяться, что это ко мне пришло не в последний раз, но, кажется, повторение будет не скоро. В то лето все состояние внутреннего мира и даже стечение внешних обстоятельств удивительно способствовало этому самораскрытию».

О «космическом сознании» стали говорить в конце девятнадцатого века. Андреев впервые прочел о нем у Рамачараки, несколько раз цитировавшего книгу канадского психиатра Ричарда Бёкка, так и называвшуюся – «Космическое сознание». Рамачарака назвал это состояние «раскрытием духовного сознания». Позже он мог прочесть о нем и в переведенной Малахиевой-Мирович книге Уильяма Джемса, тоже опиравшегося на Бёкка. Он, по его словам, не только уверовал, *увидел*, что «вселенная состоит не из мертвой материи, но она живая», и ощутил «присутствие... вечной жизни». Видение, говорил Ричард Бёкк, переживший его во время поездки в кэбе, продолжалось

несколько секунд, но раскрыло перед ним истину. Это состояние он определил так: «Характерной чертой космического сознания является прежде всего чувство космоса, то есть мировой жизни и ее порядка; и в то же время это – интеллектуальное прозрение... состояние особой моральной экзальтации, непосредственное чувство духовного возвышения, гордости и радости; нужно прибавить сюда еще обострение нравственного чутья... и наконец еще то, что можно бы назвать чувством бессмертия...»[10] Вообще же «вселенское чувство», как показал русский философ Иван Иванович Лапшин в обзоре свидетельств о подобных состояниях[11], наиболее полно уловлено и передано поэтами. Их Лапшин в статье «Мистическое познание и “Вселенское чувство”» цитирует не менее обильно, чем мистиков.

Пережитое Даниилом Андреевым состояние, когда перед ним «космос разверз свое вечное диво», искало выхода в слове, но всегда оказывалось больше и значительнее того, что удавалось выразить. «Сколько раз пытался я средствами поэзии и художественной прозы передать другим то, что совершилось со мною в ту ночь. И знаю, что любая моя попытка... никогда не даст понять другому человеку ни истинного значения этого события моей жизни, ни масштабов его, ни глубины». Впрочем, о невозможности высказать сокровенное говорили и говорят все поэты, а к тому же «неизреченность», как утверждалось в исследовании Джемса, первый из четырех признаков мистических переживаний. Три других – интуитивность, кратковременность и «бездеятельность воли». Поставленный Джемсом вопрос – «не представляют ли мистические состояния таких возвышенных точек зрения, таких окон, через которые наш дух смотрит на более обширный и более богатый мир?» – для Андреева окончательно решился лунной ночью на Неруссе.

Но в стихах, тогда писавшихся, вставали не трубчевские дали, а, казалось, когда-то, в иной жизни исхоженная Индия, названная им первоначальной родиной:

Ослепительным ветром мая
Пробуждённый, зашумел стан:
Мы сходили от Гималая
На волнующийся Индостан. <...>

Всё цвело, – джунгли редели,
И над сизым морем холмов
Гонги вражьих племён гудели
В розоватой мгле городов.

Но я умер. Я менял лики,
Дни бываньа, а не бытиё,

И, как севера снег тихий,
Побледнело лицо моё.

В Индии не только семь великих священных рек, там все реки священны. Андреев в буквальном смысле обожествлял, да и ощущал такими, Десну, Навлю, Неруссу. И то, что он писал в «Розе Мира» о душах рек, это не влияние индуизма, а переживания поэта, бродившего по их берегам, входившего в их прозрачные воды. Из этих переживаний родились не только стихи, но и собственное учение о стихиалях, о душах рек: «Сквозь бегущие воды мирных рек просвечивает мир воистину невыразимой прелести. Есть особая иерархия – я издавна привык называть её душами рек, хотя теперь понимаю, что это выражение неточно. Каждая река обладает такой “душой”, единственной и неповторимой. Внешний слой её вечнотекущей плоти мы видим, как струи реки; её подлинная душа – в Небесной России или в другой небесной стране, если она течёт по землям другой культуры Энрофа. Но внутренний слой её плоти, эфирной, который она пронизывает несравненно живей и где она проявляется почти с полной сознательностью, – он находится в мире, смежном с нами и называемом *Лиурною*. Блаженство её жизни заключается в том, что она непрерывно отдаёт оба потока своей струящейся плоти большей реке, а та – морю, но плоть не скудеет, всё струясь и струясь от истока к устью. Невозможно найти слова, чтобы выразить очарование этих существ, таких радостных, смеющихся, милых, чистых и мирных, что никакая человеческая нежность не сравнима с их нежностью, кроме разве нежности самых светлых и любящих дочерей человеческих. И если нам посчастливилось воспринять Лиурну душой и телом, погружая тело в струи реки, тело эфирное – в струи Лиурны, а душу – в её душу, сияющую в затомисе, – на берег выйдешь с таким чистым, просветлевшим и радостным сердцем, каким мог бы обладать человек до грехопадения».

Тогдашняя его углубленность в восточные религии и мифологии сказывалась на всех переживаниях, и закатное солнце, увиденное где-нибудь на Десне под Кветунью с ее величественными прибрежными высями, становилось египетским Златоликим Атоном, опускающим стопу за холмы, а церкви на высоком берегу видением Святой Руси, соседствующим с видением храмов Бенареса над священным Гангом.

4. Левенки

Рядом с Шавшиной жила большая семья Левенков, чей дом выходил на поперечную улицу – Ленина (бывшую Орловскую),

но сады их, по выражению Андреева, «соседили». В саду Марфы Федоровны груши росли рядом с изгородью, и в ней, чтобы собирать падалицу с залезших к соседям раскидистых ветвей, была сделана калиточка. Через нее и хаживал шавшинский квартирант в гости к Левенкам. Свои визиты он описал живописно и не без умиления:

Хозяйка станет занимать
И проведет через гостиную,
Любовна и проста, как мать,
Приветна ясностью старинною.

Завидев, что явился ты –
Друг батюшки, знакомый дедушки,
Протянут влажные персты
Чуть-чуть робеющие девушки.

К жасминам окна отворя,
Дом тих, гостей солидно слушая,
И ты, приятно говоря,
Купаешься в реке радушия.

Добронадежней всех «рагу»,
Уж на столе шипит и пышнится
Соседка брату – творогу –
Солнцеподобная яичница.

Ни – острых специй, ни – кислот...
Но скоро пальцы станут липкими
От шестигранных сладких сот,
Лугами пахнущих да липками.

Усядутся невдалеке
Мальчишки в трусиках курносые,
Коричневы, как ил в реке,
Как птичий пух светловолосые.

Вот, мягкостью босых подошв
Дощатый пол уютно щупая,
С реки вернется молодежь
С рассказом, гомоном и щукою.

Хозяин, молвив не спеша:
«А вот – на доннике, заметьте-ка!»
Несет (добрейшая душа!)
Графин пузатый из буфетика.

И медленно, дождем с листа,
Беседа потечет – естественна,
Как этот городок, проста,
Чистосердечна, благодейственна...

Для провинциальной русской интеллигенции семейство Левенков и обычное, и необыкновенное. Необыкновенной казалась разносторонняя талантливость, душевная щедрость и чуткость всех Левенков. Потому к ним так тянуло Даниила Андреева, ежедневно, когда непогода или вдохновение мешали далеким странствиям, сиживавшего у левенковского самовара.

Глава семьи Протасий Пантелеевич, преподаватель рисования, перед революцией служил сразу в трех учебных заведениях Трубчевска – в высшем начальном училище, в мужской и женской гимназиях. Самородок из казаков села Гарцево под Стародубом, он был из тех, кто даровит во всем, за что ни берется. Учившийся в киевской рисовальной школе у небезызвестного художника-передвижника Пимоненко, он, уже обзаведшийся семьей, выдержал экзамены и получил право на преподавание чистописания, черчения и рисования. Переехав в 1905 году из Волынской губернии в Трубчевск, растил детей, посильно служил прекрасному и сеял, следуя интеллигентским заветам, доброе и вечное. Живописи не оставлял, писал пейзажи родных окрестностей: «Нерусса», «Плесы», «Поповский перевоз», «Стародубский пейзаж»... Протасий Пантелеевич восхищал живым умом, неистощимым интересом к искусству и литературе. Кроме живописи он увлекался и поэзией, и философией, и музыкой. Даже делал скрипки, а стоявшее в его домике пианино сумел собрать собственными руками. Столярничал, занимался цветоводством.

У Даниила Андреева с каждым из Левенков сложились свои отношения, но глубокая дружба у него была именно с главою семейства. Стихи, ему посвященные, в тюрьме он озаглавил «Памяти друга», думая, что того давно нет в живых. В стихах сказано о главном, что сблизило их, о мистическом мироощущении и поэтическом понимании природы. Даниил Андреев всегда отличал людей с чувством мистического, сразу становившихся ему особенно близкими.

Был часом нашей встречи истинной
Тот миг на перевозе дальнем,
Когда пожаром беспечальным
Зажглась закатная Десна,
А он ответил мне, что мистикой
Мы правду внутреннюю чуем,
Молитвой Солнцу дух врачуем
И пробуждаемся от сна.

Он был так тих – безвестный, седенький,
В бесцветной куртке рыболова,
Так мудро прост, что это слово

Пребудет в сердце навсегда.
Он рядом жил. Сады соседили.
И стала бедная калитка
Дороже золотого слитка
Мне в эти скудные года.

На спаде зноя, если душная
Истома нежила природу,
Беззвучно я по огороду
Меж рыхлых грядок проходил,
Чтоб под развесистыми грушами
Мечтать в причудливых беседах
О Лермонтове, сагах, ведах,
О языке ночных светил.

В удушливой степной пыли моя
Душа в те дни изнемогала.
Но снова правда жизни стала
Прозрачней, чище и святей,
И над судьбой неумолимою
Повеял странною отрадой
Уют его простого сада
И голоса его детей.

Порой во взоре их задумчивом,
Лучистом, смелом и открытом,
Я видел грусть: над бедным бытом
Она, как птица, вдаль рвалась.
Но мне – ритмичностью заученной
Стал мил их труд, их быт, их город.
Я слышал в нём – с полями, с бором,
С рекой незыблемую связь.

Я всё любил: и скрипки нежные,
Что мастерил он в час досуга,
И ветви гибкие, упруго
Нас трогавшие на ходу,
И чай, и ульи белоснежные,
И в книге беглую отметку
О Васнецове, и беседку
Под старой яблоней в саду.

Я полюбил в вечерних сумерках
Диванчик крошечной гостиной,
Когда мелодией старинной
Звенел таинственный рояль,
И милый сонм живых и умерших
Вставал из памяти замглённой,
Даря покой за путь пройдённый
И просветленную печаль.

Но всех бесед невыразимее
Текли душевные встречанья
В полу-стихах, полу-молчаньи
У нелюдимого костра –
О нашей вере, нашем Имени,
О неизвестной людям музе,
О нашем солнечном союзе
Неумирающего Ра.

«Нам свои стихи он читать стеснялся, но охотно читал их отцу»[12], – вспоминала Лидия Протасьевна об Андрееве. Любовь к поэзии сближала. С Протасом Пантелеевичем он бродил по берегам Неруссы, беседовать они могли «о неизвестной людям музе», не замечая времени, до утра.

Детей в многочадной семье было восемь[13]: четверо сыновей, столько же дочерей. Все унаследовали и отцовскую жизнестойкость, и любовь к искусству. Подружился Даниил со старшим сыном Протаса Пантелеевича – Всеволодом, его ровесником[14]. Всеволод вначале пошел по отцовской стезе, стал художником, но страсть к истории, вернее, к археологии, в конце концов перетянула. В путешествиях по окрестностям Всеволод, как и его младшие братья – Анатолий, увлеченный фотографией, Олег, бывший еще школьником, захватив удочки, не раз сопровождали Даниила. Бывало, они вечером выходили из Трубчевска, чтобы перед рассветом выйти к прячущимся за чащобой Чухраям и встретить восход солнца на Неруссе.

Левенки увидели в Даниеле не только высококультурного столичного молодого человека, но и почувствовали его незаурядность, вызывавшую невольное уважение, иногда робость. При всей простоте манер, скромности и даже застенчивости, открытости замечалась на нем печать необыкновенности. Она сквозила в облике – высокий, худой, с густой от загара смуглотой, большелобый, с лицом, в котором угадывалось нечто индусское, с ясными и лучистыми глазами, в манере говорить, резко отличающейся от трубчевского выговора. Бросалась в глаза Левенкам его неприспособленность к практической жизни. Казалось смешным, что он пытался, обжигая пальцы, испечь на огне свечи яйцо, что, отправившись на базар за пшеном, принес проса... Но неудачные походы на Ярмарочную площадь остались стихами:

Мимо клубники, ягод, посуды,
Через лабазы, лавки, столбы,
Медленно движутся с плавным гудом,
С говором ровным
реки толпы:

От овощей – к раскрашенным блюдам,
И от холстины –
к мешкам
крупы.

Олег Протасьевич через годы рассказывал: «Мы пошли на Жерено озеро – я, Анатолий и Даниил Леонидович. Говорили на какие-то философские темы. И тут, когда я спорол какую-то чушь, он мне сказал: “Олег Протасьевич, вы ошибаетесь”. И я, мне было лет пятнадцать, был поражен, что он назвал меня на “вы” и по отчеству».

Анатолию Протасьевичу помнилось другое и по-другому. «Было, Даниил – дурачился. Он начинал: “Подумай, лягушатница – Гоголь, залив Десны, Нерусса – подумаешь красавица – там ни мостов, ни людей нет…” Вот на эту тему он и дурачился. Можно себе представить, Даниил дурачился? Но это было. С маршалом Жуковым я на ты был. И с Даниилом на ты. Дома у нас он, конечно, не дурачился…» Но Анатолий Протасьевич помнил и то, что походка у Андреева была, когда он выходил с посошком в путь, апостольской. Таким и запечатлел: на мутноватой любительской фотографии – высоколобый юноша-странник с мешком за плечами, в подпоясанной светлой рубахе с отложным распахнутым воротом.

Старшая в семье Евгения преподавала астрономию. Она окончила трубчевскую гимназию, много читала, писала стихи, знала языки – немецкий и французский, изучала польский, – читала по-польски романы Сенкевича. Увлечения предметами романтическими – астрономией и поэзией – не могли не сдружить ее с Андреевым. Она и стихи писала о звездах:

Орион и Сириус выходят
На охоту в звездные поля.
С их очей застывших глаз не сводит
Зимней ночью мертвая Земля…

В ее альбоме, куда она с девичества переписывала стихи, под инициалами Д. Л. А. записано стихотворение, где угадывается интонация Даниила Андреева. Оно посвящено ей:

Снова шторы задвинуты вечером темным и хмурым,
И у книжных томов
Вновь зажегся во тьме синеватый цветок абажура,
Чародей моих снов.

Вот по узкой тропинке иду, и весь мир мне отрада.
Раздвигаю кусты.
За калиткою ветхой широкие яблони сада,
Синь июля и ты.

И дрожащие ветви склоняются ниже, все ниже:
Нам покров.
В полуночной тиши абажура цветок неподвижен –
Чародей моих снов.

Возможно, ей же посвящено стихотворение «Звезда урона»:

Из сада в сад бесшумно крадусь...
Всё тёплой ночью залито,
И радость, молодую радость
Не разделил еще никто.

Одно лишь слово прошептала;
А за плечом её, вдали,
Звезда Антарес колдовала
Над дольним сумраком земли.

Но этот взор! В нём снились зори,
В нем никла гибкая лоза, –
Глаза, сулящие, как море,
Полынно-серые глаза!..

...Упругость веток отстраняя,
Где листья бьются об лицо,
Вокруг уснувшего сарая
Всхожу беззвучно на крыльцо.

Каким оказался их недолгий таинственный роман, спросить некого, остались только стихи, дошли невнятные слухи. Но когда Евгению Левенок арестовали и она в 1946 году оказалась в московской пересылке, Андреев навестил ее, принес передачу.

5. Уицраор

В августе 1931-го Даниил Андреев бродил заросшими берегами Неруссы, а в Москве стали готовить к взрыву храм Христа Спасителя. Ободрали золотой купол – металлический каркас решетчато чернел, над ним еще вились птицы, но опасались садиться. Сбивали украшавшие храм горельефы. Сбили и воспетого поэтом «каменного старца», ставшего для него образом самого храма:

На беломраморных закомарах,
С простым движеньем воздетых рук,
Он бдил над волнами улиц старых,
Как покровитель, как тайный друг.

Мой белый старец! наставник добрый!
Я и на смертной своей заре

Не позабуду твой мирный образ
И руки, поднятые горé.

Храм начали взрывать 5 декабря в 12 часов дня. После первого взрыва рухнул только один из четырех пилонов, поддерживавших купол. Через полчаса прогремел второй взрыв, потом еще, пока не обрушились стены, могучие остатки которых остались торчать в кирпичных россыпях. Но ненадолго, на месте храма должен был строиться гигантский Дворец Советов.

В этом году Андреев продолжал писать поэму «Солнцеворот». И то, что совершалось в продолжавшуюся эпоху великого перелома, входило в стихи спондеическими барабанными ритмами.

– Вперед!!! –
Сбоку, с тыла
    Подсказ:`
    «Гимн пора!» –
И вот,
штормом взмыло:
    – Ура, вождь!
    Ура! – <...>

Бренчат
гимн отчизне...
    Но шаг
    вял и туп.
Над сном
рабьей жизни,
    Как дух,
    Черный Куб.

Этот «Праздничный марш», завершенный в 50-м году, написан в 31-м. Маршевый минор тревожен и гротескно пародиен, в нем громогласная советская патетика «фальшивых гимнов». Поэту отчетливо слышно все страшное, что таится за бодрящим напором лозунгов и призывов.

В том же 31-м из Магнитогорска, год с лишним проработав прорабом, в Москву вернулся Александр Добров, поселившийся на Плющихе. Он с трудом вырвался с ударной стройки, где строители жили немногим лучше египетских рабов. Власть трудящихся меньше всего заботилась о трудящихся. Вернулся он, переболев энцефалитом, и его приступы мучили потом Доброва всю жизнь.

В начале 1932 года Андреев впервые решил пойти на службу. «...Я поступил на работу на Москов<ский> завод “Динамо”, в редакцию заводской многотиражки “Мотор”, где работал сначала литературным правщиком, потом зав. соцбытсектором газеты. На службе пробыл всего около двух месяцев и ушел по

собственному желанию, не найдя в себе ни малейшей склонности не только к газетной работе, но и вообще к какой бы то ни было службе. Больше я не служил нигде и никогда», – лаконично сообщает он в автобиографии.

В те годы завод, соседствующий с Симоновым монастырем, разоренным и разбиравшимся, теснимым возводимым дворцом ЗЛК, был одним из самых известных в Москве, он с дореволюционных лет выпускал электродвигатели. А в том году, когда на завод пришел Андреев, на «Динамо» готовился выпуск первых советских электровозов. Завод расстраивался, разрастался, работало на нем больше пяти тысяч человек. Издававшаяся на заводе с 27-го года многотиражка выполняла, как и полагалось, свою задачу – пропагандировать «партийную линию среди широких масс динамовцев», и в ней звучали те же фанфары, что и в больших газетах. Выпускали газету три человека. Работал при редакции литкружок.

Причиной увольнения, по рассказу вдовы поэта, стало вот что. В газету приходили заметки и письма на антирелигиозную тему. Тема на заводе тогда актуальная. Среди «антиобщественных центров» бывшей Симоновской слободы, ставшей Ленинской, партийными пропагандистами в первую очередь назывался Рогожско-Симоновский монастырь, и только потом перечислялись винное отделение местного кооператива, пивная и шинкари. Мешавший монастырь взорвали, храм Рождества Богородицы, несмотря на робкие протесты верующих, закрыли. Завод расширился за счет церковной территории, а позже над упокоением иноков Осляби и Пересвета заработали станки... Письма рабкоров, вместо того чтобы готовить к публикации, Андреев складывал в нижний ящик стола. Но «Союз воинствующих безбожников» действовал, рабкоры «Мотора» не покладали рук. И когда ящик переполнился – подал заявление об уходе. Дело было не только в графоманском зуде безбожников. Чтобы работать в газете не только в те годы, но и позднее, следовало или безусловно веровать в провозглашавшиеся догмы, или научиться двоемыслию. Даниила Андреева представить в такой роли невозможно. Но, уйдя из многотиражки, он в письме брату признавался: «Эта работа, главное – завод и его жизнь – дали мне очень много»[15]. Знакомство с большим заводом, с его механическим, но осмысленным ритмом общего труда, с рабочим классом, с мастерами-станочниками, работавшими здесь еще до революции, каким бы коротким ни было, открыло сторону жизни, арбатскому юноше малознакомую. В строфах его «Симфонии городского дня» отозвались цеховой гул и ритм этих зимних месяцев заводской службы:

Еще квартиры сонные
дыханьем запотели;
Еще истома в теле
дремотна и сладка...
А уж в домах огромных
хватают из постелей
Змеящиеся, цепкие
щупальцы гудка.
Упорной,
хроматическою,
крепнущею гаммой
Он прядает, врывается, шарахается вниз
От «Шарикоподшипника»,
с «Трехгорного»,
с «Динамо»,
От «Фрезера», с «Компрессора»,
с чудовищного ЗИС.
К бессонному труду!
В восторженном чаду
Долбить, переподковываться,
строить на ходу.

А дух
еще помнит свободу,
Мерцавшую где-то сквозь сон,
Не нашу – другую природу,
Не этот стальной сверхзакон.

Законы заводского производства и нараставший пропагандистский натиск государственно-партийного аппарата в год завершения первой сталинской пятилетки под станочный гул и грохот рождали в нем ощущение действительно «стального сверхзакона», управляющего происходящим. Тогда же пришло к нему видение чудовища со странным скрежещущим именем, олицетворяющего беспощадную государственную волю.

«В феврале 1932 года, в период моей кратковременной службы на одном из московских заводов, – рассказывает он в «Розе Мира», – я захворал и ночью, в жару, приобрёл некоторый опыт, в котором, конечно, большинство не усмотрит ничего, кроме бреда, но для меня – ужасающий по своему содержанию и безусловный по своей убедительности. Существо, которого касался этот опыт, я обозначал в своих книгах и обозначаю здесь выражением “третий уицраор”. Странное, совсем не русское слово “уицраор” не выдумано мною, а вторглось в сознание тогда же. Очень упрощённо смысл этого исполинского существа, схожего, пожалуй, с чудищами морских глубин, но несравненно пре-

восходящего их размерами, я бы определил как демона великодержавной государственности. Эта ночь оставалась долгое время одним из самых мучительных переживаний, знакомых мне по личному опыту. Думаю, что если принять к употреблению термин “инфрафизические прорывы психики”, то к этому переживанию он будет вполне применим».

Зима, которой он решился пойти работать на завод, выдалась для семьи Добровых нелегкой. Он писал о ней брату: «Во-первых, все по очереди болели: мама, Шура, ее муж и я. В продолжение всей зимы свирепствовал грипп, зачастую заболевали целые семьи, целые квартиры; дядя Филипп поэтому был загружен работой, а ему ведь уже под 70 лет и у него грудная жаба. Кроме болезней, были и другие тяжелые переживания. Тетя Катя получила телеграмму, что умер Арсений. Его жена была в это время в Москве, так что он умер в Нижнем Новгороде совершенно один. Известие это мы получили всего неделю назад, и сейчас тетя находится в Нижнем – поехала хоронить сына, – представляешь ли, как все это невесело (мягко выражаясь)»[16].

Жить становилось все труднее. Хотя книги Леонида Андреева издавать перестали, до недавнего времени продолжали поступать авторские отчисления от постановок его пьес, иногда еще шедших в театрах, особенно провинциальных. Но и отчисления из «Всероскомдрама» стали редкими, к 1934 году они прекратились совсем. Даниилу Андрееву все чаще приходилось думать о заработке.

6. Вечера

В том же 1932 году, осенью, он познакомился с художником-гравером, окончившим искусствоведческий факультет Московского университета, Андреем Дмитриевичем Галядкиным. Они были ровесниками. Познакомил их Александр Михайлович Ивановский, сын священника, тоже художник. С ним Андреев не раз подряжался на оформительские работы. Галядкин любил литературу, пробовал писать прозу, отличался критичностью и независимостью. Чтобы не дуть в общеобязательную дуду восхваления соцреализма, от искусствоведческой карьеры отказался. «Галядкин, восхищаясь произведением классического искусства, говорил, при советской власти искусство не может развиваться»[17] – так позже определялись зафиксированные в протоколе допроса бывшей жены его взгляды. Граверное ремесло он унаследовал от отца, виртуозно резавшего почтовые марки, еще мальчиком работал с ним в мастерских Гознака, а

теперь подвизался в издательствах, выполняя главным образом технические рисунки.

«Были несколько лет, когда я очень часто хаживал в этот дом, – вспоминал Галядкин. – Слушал Данины стихи, спорил с ним, не одобряя его влечение к йогам и пагодам.

Привычна стала тяжелая парадная дверь с отскочившей кое-где краской, самый глубокий слой наложен, пожалуй, лет сто назад.

Желтая костяная кнопка звонка довольно высоко, и сегодня еще указательный палец левой моей руки живо ощущает ямку той костяной кнопочки.

А иногда проходил мимо, видел в окнах: поливает цветы Елизавета Михайловна; ловил отрывки вагнеровской увертюры, чаще всего тягучие басы “Тангейзера”. Это музицировал на рояле старый доктор Добров, супруг Елизаветы Михайловны.

Как правило, открывала дверь Александра Филипповна, по-домашнему – Шурочка, дочь Добровых и Данина двоюродная сестра.

Только надавишь кнопку, Шурочка здесь, – словно так и стоит все время за дверью: быстра, как ветер, большеносая, большеглазая, иногда до зелени бледная, с ярко накрашенными губами большого рта, у нее японская прическа, и с утра до вечера она в фиолетовом капоте вроде кимоно.

Очень декадентская и очень добрая была Шурочка, несмотря на громоподобный бас.

Даня тоже не ленился выходить на звонок, но быстрая Шурочка опережала двоюродного братца.

Бывало, хорошо увидеть в дверях красивое Данино лицо, добрый взгляд его удлиненных глаз, услышать его мягкий и музыкальный тенорок.

Носил он волосы, как старинный поэт, похож был на побритого Надсона, и казалось мне, что в нем живет *вечно-поэтическое*, как бывает “вечно-женственное”. Что-то от Владимира Ленского, недаром тенорок у обоих “и кудри темные до плеч”, у Дани, правда, они “до плеч” не были.

Иногда даже бант вместо галстука, и долго послужившая толстовка из темного вельвета.

Откроет, бывало, дверь и старенькая, немощная, но опора всего дома – Елизавета Михайловна. Она встречала любезного ей гостя тихим и ласковым приветствием, – бледная, седенькая, глаза серьезно-строгие. Были у нее, кажется, гости и нелюбезные, особенно в те дни, когда одолевала ее какая-то таинственная хворь.

В исключительных случаях выходил на звонок сам доктор – почтенный бородатый интеллигент. Под обличием сурового и не терпевшего возражений астматика, – добрый, самоотверженный человек. Непременное чеховское пенснэ с дужкой на переносице, тоненькая цепочка вдета в карманчик чесучовой толстовки»[18].

Тогда же Галядкин познакомил Андреева со своим однокашником, бредившим поэзией, Виктором Михайловичем Василенко, приведя его в гостеприимный добровский дом. Если Галядкин был сдержан и ироничен, то Василенко – романтически восторжен. Увлеченный западным искусством, но понимавший, что с дворянским происхождением нужно выбирать иной предмет занятий, он по совету своего мудрого учителя Бакушинского обратился к народному искусству. Но настоящим призванием Василенко считал поэзию. Некогда первые сонеты, наивные, написанные в подражание дельвиговским, он приносил Брюсову. В Даниеле Андрееве Василенко нашел сочувственную поэтическую душу и понимание. Он жил с родителями неподалеку – в Трубниковском переулке, в Малый Левшинский приходил часто, засиживались они допоздна.

«Эти вечера были наполнены, – вспоминал Виктор Михайлович через десятилетия, – разговорами о поэзии, о Блоке, о Волошине, о Гумилеве... О Боге.

Очень любя Фета, он говорил мне о том, что это один из редких случаев, когда поэт нашел себя в старости. Ведь если бы не было “Вечерних огней”, он был бы совсем небольшим поэтом. А стихами “Вечерних огней” он предвосхитил символизм. Помню, как он читал мне из них:

Долго ль впитывать мне мерцание ваше,
Синего неба пытливые очи?

Кстати, считая, что поэту необходимо знать о космосе, он много читал по астрономии. И я с тех пор пристрастился к книгам по астрономии.

Мы говорили о Достоевском, которого он очень любил, особенно высоко ставя “Бесы” и “Братьев Карамазовых”. Он замечал мне: “Помни, Витя, есть такие великие произведения, которые надо обязательно перечитывать. Каждый раз будешь понимать их по-другому”.

Любил он читать богословские книги, что в те годы казалось необычным. И рассказывал мне о том, как в детстве побывал в Оптиной пустыни.

У Дани была такая особенность: он не любил больших сборищ. Почти никогда я у него никого не встречал, и беседовали, обычно, мы лишь вдвоем...

Даниил читал мне все, что он писал... Помню, как он описывал свою предыдущую жизнь в иных мирах. Рассказывал он, откинув голову и полузакрыв глаза – прекрасные черты, бледное лицо, негромкий голос. Говорил он всегда медленно, без какой-либо экспрессии, никогда не вскакивал, не делал резких движений. Всегда глубоко сосредоточенный, внимательный, спокойный. А я ему надоедал. В те времена – это начало тридцатых – я часто влюблялся, и все неудачно, и потому приходил к нему и плакался в жилетку. А он меня утешал.

“Витя, ты пойми, – говорил он, – ты же встречался с ней в прошлой жизни. Ты, конечно, этого не можешь вспомнить. У тебя такого дара нет. Но знаешь, может быть, тогда и ты ее любил, и она тебя любила. А теперь дай ей полюбить и кого-нибудь другого”.

“Ты негодяй, Даня”, – возмущался я. А он говорил: “Ты не знаешь, но большей частью люди, с которыми мы сейчас встречаемся, ведь мы с ними и раньше встречались, в прошлых жизнях. И удивительно, что кроме тех, кого мы встречаем заново, многие были нам знакомы и раньше. И часто враги наши там остаются врагами и здесь. Понимаешь? Они нам причиняют боль, потому что они причиняли ее и когда-то. А иногда бывает так, что в этой жизни они заглаживают свои прежние грехи. Стараются сделать тебе что-нибудь хорошее, сами этого не осознавая, но чувствуя, что это необходимо”.

Даниил был очень красив. Высокий. Стройный. Лучистые, чуть загадочные глаза. А главное, в нем ощущалась большая внутренняя сила. И в то же время он был мягок, дурного слова при нем сказать было нельзя. И женщины его очень любили. А он относился к ним возвышенно, благородно. И был романтически влюбчив.

Несколько раз, подолгу он рассказывал мне о своей жизни в каком-то ином мире. Там было три Солнца: одно голубое, другое изумрудное, третье такое, как наше. И они всходили в разное время. Причем, когда совпадали восход одного и закат другого, в небе полыхали удивительные, фантастические краски, которые преображали все – дома, леса, луга. Люди там жили очень хорошо, там не было ни войн, ни злодейств. Он говорил о прекрасных зданиях, ласковом море, о том, что все жители этого мира любят поэзию, искусство... Я его спрашивал: “Там как в раю?” Помолчав, он отвечал: “Да. Как в раю”. Он говорил о какой-то любви, которая у него была на одной из планет. О юной красавице, с которой встречался в каких-то мраморных павильонах... А рядом бродили ласковые звери, выгибая бархатистые гибкие

спины. Они походили на тигров, но были ручными и никому не делали зла. Там летали птицы, которые садились прямо на плечи, терлись своими клювами о щеки, а некоторые даже позволяли брать себя в руки, и люди кормили их какими-то невиданными зернами. Тут же росли чудесные плоды, их приносили какие-то женщины, кланялись и уходили. Люди возлежали на каменных ложах в легких одеждах и читали книги <...>

Стихи он читал великолепно. Он не был декламатором, не завывал. У него была какая-то особая проникновенно-певучая манера чтения. Читал большею частью с листа и говорил так: “Я читаю из тетради, Витя, потому что в стихах ошибаться нельзя”»[19].

7. Индия Духа

Василенко вспоминал, что Даниил Андреев не только «чрезвычайно высоко ценил индийскую культуру», он считал, что «индуизм в своих высших проявлениях приблизился к духовному выходу в космос. Его занимала Индия Духа, возвышенные образы Вишну и Брамы»[20]. Конечно, Андреев помнил «Северного раджу» из «Жемчугов» Николая Гумилева, строки: «Мы в царстве снега создадим / Иную Индию... Виденье». Они перекликаются со строкой об Индии Духа знаменитого «Заблудившегося трамвая». Индия влекла Андреева с детских лет.

Индия! Таинственное имя,
Древнее, как путь мой по вселенной!
Радуга тоскующего сердца,
Образы, упорные, как память...

Рассказать ли? – Люди не поверят,
Намекнуть ли? – Не поймут ни слова,
Упрекнут за тёмное пристрастье,
За непобедимое виденье.

Прикоснусь ли нищею рукою
К праху светлому дорог священных,
Поклонюсь ли, где меня впервые
Мать-земля из мрака породила?

Он действительно верил в реинкарнацию, в непобедимое виденье первой своей жизни в Индии. Но нельзя не вспомнить и «Прапамять» Гумилева, спрашивавшего:

Когда же наконец восставши
От сна, я буду снова я –
Простой индиец, задремавший
В священный вечер у ручья?

Отзвуки Гумилева в цикле «Древняя память» очевидны. И все же Андреев искал Индию Духа не гумилевскую, при всей любви к поэту, а собственную, представлявшуюся вполне реальной. Индией, какой она виделась ему из книг, какой он был захвачен с детства. В Индии его интересовало все, но видел он в ней прежде всего страну религиозно-поэтических озарений, святых гор и рек, многочисленных божеств и бесчисленных храмов. Страну, где почти каждый прикосновенен иным мирам, чувствует духовную жизнь природы как собственную, преклоняется перед ней и отправляется в путь босым. Несовпадение образов мучило.

«Недавно я попал на один фильм с громогласным заголовком: “Путешествие по Индии”, – писал он в одном из писем. – Но разочарование было страшное. Более по́шло, более бездарно съездить в Индию не умудрился бы даже Демьян Б<едный>.

Представьте себе: половина времени ушла на показ каких-то фабрик, цехов, производственных процессов и т. п., а остальное время перед глазами маячила группа каких-то английских пошляков, то влезавших на слона, то слезавших с него, то входивших в руины, то из них выходивших... И только на несколько мгновений, как фантастический сон, как феерия, мелькнули полунагие, с белыми тюрбанами фигуры, сходящие к реке по каменным ступеням – и громоздящиеся один на другой храмы священного Бенареса.

Бенарес – мечта моя, одна из самых любимых и самых томительных»[21].

В стихах он называет Индию «радугой тоскующего сердца», а Бенарес – «негаснущею радугой»:

Кажется: идет Неизреченная
Через город радужным мостом...
Необъятный храм Ее – вселенная.
Бенарес – лампада в храме том.

Бенарес – «лотос мира», город Шивы, священный город всех вер и толков Индии, и не только Индии, буддисты идут туда из Тибета и Непала. В Бенаресе начал свою проповедь Будда. Город запружен паломниками. Толпы у храмов, толпы у священного Ганга. Всюду слышится молитвенное пение. Блаженны индусы, коим посчастливилось умереть у Ганга в Бенаресе. Здесь древнее средоточие религиозной жизни Индии. Но и в современности явились герои Индии Духа. Прообразом деятелей грядущей лиги Розы Мира он увидел Махатму Ганди. Книгу о Ганди Ромена Роллана, – видимо, поэтому в его творчестве Андреев нашел «отраженный отблеск вестничества», – рассказывающую о подвижни-

честве Махатмы, он прочитал еще в двадцатых. Книга увлекла, начиная с эпиграфа: «Человек, который слился с творцом вселенной». Не только идеи Махатмы, но и его почти мифологический образ пророка, мистика и народного вождя стал олицетворять для него современную Индию. Ганди – первый «в новой истории государственный деятель-праведник», утвердивший «чисто политическое движение на основе высокой этики» и опровергший «ходячее мнение, будто политика и мораль несовместимы». Слова Ганди: «...я попытаюсь религию ввести в политику», призывы к единению «религий, рас, партий и каст», признание, что христианство составляет часть его теологии[22], – все это было или стало и его убеждениями. Индия с традициями многовекового соседства индуизма и мусульманства, а то и попыток соединения их – от Кабира до Рамакришны и Вивекананды, с терпимостью к толкам, сектам и чужим вероисповеданиям, пусть идеализированная, для Даниила Андреева сделалась не только собственной прародиной, но и прародиной чаемой Розы Мира.

«Нас обоих манит Восток – но разные его половины. Вас – Передняя Азия, меня – Индия, Тибет, Индокитай. (Но не Китай и не Япония: это глубоко чуждо.) Уже давно – это основное русло моего чтения», – писал он в том же письме Евгении Рейнфельд весной 33-го года. И хотя он говорит о чуждости ему культурных миров Китая и Японии, за этим признанием не легкомысленное отрицание чужого, а неравнодушное и довольно дотошное знание. Стоит лишь прочесть написанные им в тюрьме новеллы о китайском мандарине Гё Нан Джён и о японском полководце Тачибано Иосихидэ. Но главные интересы Даниила Андреева в начале тридцатых постепенно оказались сосредоточены на Индии, вернее, на ее религиозном мире, символом которого виделся Бенарес – святыня индуизма с толпами восторженных паломников, встающими друг за другом храмами и гхатами – «сходями» к священным водам Ганга.

8. Трубчевская Индия

«Молодой мечтатель, юный друг мой, Даниил Андреев сидит в Трубчевске, а душою то и дело пребывает в Индии»[23], – записала в дневнике Малахиева-Мирович 28 июля 31-го года. В том счастливом и знойном июле он писал ей, что попадет туда не позже, чем через пять лет, а через десять появится его книга об Индии. К письму он прилагал стихи о своей прародине:

Уйду от мертвого колодца
В твои певучие деревни;

Над чашей голубого лотоса
Прочту века во взоре древнем.
Под вечно ласковыми пальмами,
В цветах невиданного счастья,
Ночами Индии хрустальными
Переберу твои запястья.
В утихнувшего сердца заводи
Да отразятся в час отрады
Подобно золотистой пагоде
Бесплотные Упанишады.
И душу золотыми петлями
Завяжут мудрецы и дети,
Чьим голосам внимают медленным
Из сумрака тысячелетий.

В третий раз в Трубчевск он опять приехал на все лето, с надеждой вновь пережить то необычное состояние, когда перед ним стали приоткрываться космические иномиры. «В некоторых условиях окружающей нас природы кроется особая власть вызывать... мистические состояния»[24] – в это утверждение Уильяма Джемса он верил безусловно и считал, что прошлым августом на берегу Неруссы нашел эти «условия». Но лето 32-го года в благословенном Трубчевске, где он, по его признанию, «так великолепно кейфовал в прошлом и позапрошлом году», не задалось. Брату жаловался: «На этот раз, однако, обстоятельства были не так благоприятны. Сначала мешала погода. Июнь и первая половина июля были на редкость дождливыми: ежедневно гроза с жестоким ливнем и даже градом, а иногда – так даже 2 грозы на дню. Я несколько раз пробовал уходить гулять (ухожу я всегда далеко, на целый день), но каждый раз промокал до нитки, так что наконец всякая охота бродяжничать отпала.

Едва же наступила великолепная <...> жара, как я сильно повредил <...> пятку, наступив босиком на торчащий из доски ржавый гвоздь. Начался нарыв, очень медленно назревал (очень неудачное место: грубая кожа), потом мне его разрезали – вся эта эпопея заняла 3 недели. Тут наступили несравненные лунные ночи, и, видя, что лето для меня гибнет, я, раньше, чем это было можно, пустился гулять.

Надо было наверстать пропущенное, запастись на зиму впечатлениями. Хромая на одну ногу, я сделал чудесную четырехдневную прогулку по брянским лесам, вверх по совершенно очаровательной реке Неруссе, проводя лунные ночи в полном одиночестве у костров. Прохромал я таким образом верст 70, причем приходилось переходить вброд, долго идти по болотам, и все это закончилось тем, что я вторично засорил еще

не успевшую зажить ранку. Начался второй нарыв на том же месте...»[25]

Когда в ненастливых небесах проглядывало солнце, он отправлялся за Десну, на Неруссу, выходя на тропы, чуть заметные в сырых серебрящихся травах. Ловили редкое вёдро и косари. Но после обеда опять начинало погрохатывать, снова надвигался дождь. «Над Неруссой ходят грозы, / В Чухраях грохочет гром...» – строки об этих паривших грозовых днях. Под сверкание и грохотанье, а то и под шелест дождя он возвращался. А только распогодилось – поранил ногу. Но не мог пропустить июльские лунные ночи, звездопады августа. Эти бессонные ночи под ненасытный комариный звон и треск костра наполняло ожидание необычайного. Он признавался в «Розе Мира»: «...я старался всеми силами вызвать это переживание опять. Я создавал все те внешние условия, при которых оно совершилось в 1931 году. Много раз в последующие годы я ночевал на том же точно месте, в такие же ночи. Всё было напрасно».

В ту мистическую ночь, о которой рассказано в «Розе Мира», рядом с ним вместе с Всеволодом Левенком, «начинающим художником», возможно, были и его братья. Им он чаще всего читал стихи любимых поэтов – Тютчева, Блока, Гумилева. Но иногда, на привалах, читал и свои – о Сеннаре и Бенаресе, о таинственном Индостане.

Олегу Левенку он обещал, бродя с ним по заросшим берегам Неруссы, что когда-нибудь они вместе пошляются по чудесной Индии. В эти годы Индию Андреев искал и в трубчевских просторах, Индию Духа. В Индии все священно, все одухотворено, все имеет свой религиозный смысл. Индуизм, его религиозное мироощущение определяет благоговейное отношение к живому. Именно так, благоговейно и религиозно, сакрализуя всё и вся, смотрел на мир он сам и хотел, чтобы так смотрели все, постепенно приучаясь «воспринимать шум лесного океана, качание трав, течение облаков и рек, все голоса и движения видимого мира как *живое*, глубоко *осмысленное* и <...> *дружественное*». Только тогда тебя охватит подлинное религиозное чувство – «как будто, откидываясь навзничь, опускаешь голову всё ниже и ниже в мерцающую тихим светом, укачивающую глубь – извечную, любящую, родимую. Ощущение ясной отрады, мудрого покоя будет поглощать малейший всплеск суеты; хорошо в такие дни лежать, не считая времени, на речном берегу и бесцельно следить прохладную воду, сверкающую на солнце. Или, лежа где-нибудь среди старого бора, слушать органный шум вершин да постукивание дятла». Этому он сам вполне научился именно здесь, в брянских лесах под Трубчевском.

Кто-то из спутников Даниила, Коваленские или Беклемишевы, летом 30-го в Трубчевске жили в доме учительницы начальных классов Зинаиды Иосафовны Спасской, ставшей и его знакомой. Тишина городка, по которому катили, стуча и скрипя, телеги только в базарные дни, несуетливость будней помогали отдохнуть душой, насколько возможно забыть назойливую советскую злободневность. Всем им, жившим поэзией, литературой, необходимы были эти побеги из столицы. Но старшие спутники Андреева в леса и просторы вместе с ним не уходили, довольствуясь садовыми чаепитиями и недальними прогулками у Десны.

Иногда он навещал Ульященко. Поздоровавшись с хозяйкой, Ольгой Викторовной, смущающейся дочерью – пятнадцатилетней Любой, Андреев проходил в кабинет Евлампия Николаевича. Земский доктор не мог не напоминать ему чем-то Филиппа Александровича – та же внимательность, та же самоотверженность. Вообще Даниил любил общаться с людьми старше его, с ними он находил больше общего. Этим летом у Евлампия Николаевича родился внук – Владимир, и Даниила пригласили в крестные отцы[26].

Не раз приходил он и в музей, к его энергичному директору. По слухам, через несколько лет после освобождения из лагеря, Гоголев стал невозвращенцем. Как он попал за рубеж, когда – неизвестно, но, по тем же непроверенным слухам, он оказался во Франции, где, вероятно уже после войны, встречался с Вадимом Андреевым.

9. Дневник поэта

Осенью 1932 года Даниил писал Вадиму: «Дорогой брат, не буду даже пытаться подыскать себе оправдание: мое молчание (само по себе) – самое очевидное и непростительное свинство. Но папа однажды весьма остроумно заметил, что для писателя писать письма то же, что для почтальона – гулять для моциона. А я в эти месяцы носился, как ладья по морю поэзии, и пристать к “берегу” обстоятельных и трезвых писем было для меня почти невозможно».

Вернувшись из Трубчевска с больной ногой, Даниил вынужденно лежал в постели и запойно писал стихи. «К сожалению, затронута надкостница, и до сих пор неизвестно, удастся ли избежать операции. Пока делаю дважды в день ножные ванны самой высокой температуры, какую только способна выдержать нога. Из всего этого следует простая, но мудрая мораль: “Когда болит нога, не ходи гулять!!!”

Как только буду выходить, поступлю на службу: меня ждет довольно уютное место в одной библиотеке», – подробно отчитывался он брату. Писавшиеся стихи составили цикл, или, как он называл его, «маленький сборник» «Дневник поэта». О содержании сборника можно лишь гадать, вскоре, после очередного вызова в ОГПУ («органы» без присмотра не оставляли), сборник он уничтожил. Видимо, во время вызова его выспрашивали и о Коваленском, который после этого сжег только что написанную поэму «Химеры». 1932 годом помечено всего несколько стихотворений Даниила Андреева, а стихи под заглавием «Из дневника» датированы 34-м и 36-м. Но в одном из стихотворений 32-го – «Самое первое об этом» – можно узнать трубчевские просторы:

Ярко-белых церквей над обрывами стройные свечи,
Старый дуб, ветряки –
О, знакома, как детство, и необозрима, как вечность,
Эта пойма реки.

Вновь спускаться ложбинами к добрым лесным великанам,
К золотому костру,
Чтобы утром встречать бога-Солнце над белым туманом
И стрекоз синекрылых игру;

Возвращаясь на кручи, меж серой горючей полыни
Подниматься в вечерний покой,
Оглянуться на лес, как прощальное марево, синий
За хрустальной рекой.

Но вряд ли трубчевские странствия стали темой «Дневника поэта», скорее о нем можно судить по другому стихотворению, помеченному 32-м годом и позже вошедшему в «Материалы к поэме “Дуггур”», где в мистической теме слышится всезахватывающая тревога, предчувствие эпохи торжествующего зла:

И имя твое возглашали
Напевом то нежным, то грубым
Вокзалов пустынные трубы –
Сигналы окружных дорог,
И плакали в чёрные дали,
И ластились под небесами,
И выли бездомными псами –
В погибель скликающий рог.

К этим строфам он поставил эпиграфом строку Гумилева «Темные грезы оковывать метром...». «Темные грезы» не оставляли Андреева, но, входя в стихи, освобождали душу от сумрака, осветляли ее. Еще и поэтому он считал стихи самым лучшим в себе.

Малахиева-Мирович в дневнике (22 июня 1932) решила для будущего биографа поэта «набросать трагический профиль» своего «юного друга» той поры – «мечтательный, гордый и такой мимозный, такой “не для житейского волненья, не для корысти, не для битв”. Мечта. Гордыня. Уязвленность. Острый, беспощадный анализ и детская наивность суждений, навыков, поступков (иногда). Юмор, смех и под ним – мрачная безулыбочность. Жажда дерзания, любовь к дерзанию и страх перед жизнью. Наследие отца, Л. Андреева, – беспокойный дух, фантастика, страстность, хаотичность. От матери – стремление к изяществу, к благообразию, к жертвенности. Чистота, наряду с возможностью тяжелой, может быть даже инфернальной, эротики. Талантливость в ранние годы, почти Wunderkind, потом некоторая задержка роста, трудность оформления. С 23–24 лет определяется его лицо в творчестве: горячий пафос мысли, взор, жаждущий внемирных далей, повышенное чувство трагического, отвращение ко всему, что не Красота, крайний индивидуализм, одиночество духа и вера в конечную мировую гармонию»[27].

«Шура с мужем просидели лето в Москве. Зять очень много работает – больше, чем позволяет здоровье, – но они надеются, что эта работа в скором времени даст им возможность пожить некоторое время, ничего не делая и отдыхая где-нибудь на природе.

Саша с женой ездили отдыхать в Углич, но им удалось прожить там только 2 недели. (Теперь они живут отдельно, но недалеко от нас, на Плющихе.)»[28], – кратко сообщал Даниил Вадиму о семейных новостях осенью.

Жизнь семьи шла непросто, обо всем было не написать. Коваленский, с его трезвым взглядом на жизненные обстоятельства, все больше отходил от заказной литературной работы. Неудача с поэмой «Пятый год» не вдохновляла. Занятия литературой становились не только обременительными, а и небезопасными. Но не зря он когда-то учился у отца русской авиации, любовь к которой его не оставляла. В автобиографии Коваленский сообщал о своих тогдашних занятиях: «...с конца 1930 года я все более и более втягивался в работу над конструкциями авиационных двигателей, моделей и полуфабрикатов. С 1931 года начал работать в Комитете по оборонному изобретательству при ЦС ОАХ СССР, затем в Авиатресте, конструктором-консультантом, а с 1933 года – по организации новых производств в Исправительно-трудовых колониях, где проработал до 1938 года (УНКВД)».

«Александр Викторович писал стихи, делал модели самолетов, которые летали по нашему длинному кори-

дору»[29], – вспоминала соседка Коваленского тех лет. С авиамоделированием он познакомился у Жуковского, еще в 1910 году организовавшего первые в России соревнования летающих моделей. В начале тридцатых авиамодельные кружки появились повсюду. Аэропланы, известные по именам герои-летчики, дальние перелеты надолго стали советской романтикой. У Юрия Крымова, также видевшего модели Коваленского в коридоре добровской квартиры, в «Танкере “Дербенте”» один из персонажей увлекается авиамоделями. Александр Викторович на романтические запросы современности отвечал как мог, и не без обдуманного практицизма.

Даниил, размышлявший об иных небесах, где самолеты не летают, в письме к брату поведал о своих воображаемых прогулках по Парижу, попасть куда, как он пять лет тому назад надеялся, ему не было суждено. «Сейчас, наверно, у вас прекрасная осенняя погода, и вы иногда ходите гулять в Bois de Meudon. Ты, наверно, удивишься, откуда я могу знать такие подробности. А вот откуда. Я недавно рассматривал атлас Маркса; там есть карта парижских окрестностей; я нашел Clamart и выяснил, что в двух шагах от вас находится большой парк, и вряд ли вы никогда не пользуетесь его близостью. Знаю и кое-что другое, например, что в Париже вы ездите на трамвае через porte Montrong. Интересно, какой № трамвая?»[30]

Государство теперь строго и цепко следило за своими гражданами. 27 декабря 1932 года вновь ввели отмененные революцией паспорта. Правда, крестьянам их не выдали. А выдавая москвичам, власть решала, кого оставить в столице, а кого ввиду неблагонадежности выселить. Коснулось это и дома в Малом Левшинском. Только что, в мае, вышедшая замуж за соседа Добровых Анна Сергеевна Ламакина вспоминала: «Рядом с нашей комнатой жили Шахмановы – Яков Николаевич и его жена Вера Александровна. Это были добрые хорошие люди, но глубоко несчастные. Вера Алекс<андровна> была тяжело больна. Яков Ник<олаевич> работал и нес всю тяжесть забот о своей семье. Однажды, придя домой, я застала эту семью в ужасном положении. В то время в Москве проходила паспортизация, и большое количество людей лишилось московского паспорта и подлежало выселению. Такая участь постигла и их. Какую глубокую веру, какое терпение и покорность показали эти люди во время тяжелого испытания. Старый Яков Ник<олаевич> с совершенно больной женой должны были выехать из Москвы куда-то... Помню, как я плакала, когда они покинули нашу квартиру. Все живущие в нашей квартире единодушно переживали это событие»[31].

Возможно, именно Шахманов, позднее умерший в Малом Ярославце, и есть тот «член комиссии по исследованию царских усыпальниц» в Петропавловской крепости, который поведал Андрееву о том, что гроб Александра I оказался пустым, о чем рассказано в «Розе Мира». Вдова поэта передавала с его слов, что очевидцем вскрытия императорской гробницы был сосед Добровых и что фамилия его, ей не запомнившаяся, начиналась на Ш.

10. Письма 1933 года

Следующий год принес неутешительные вести из Трубчевска. Туда дошел голодомор, шедший вслед за коллективизацией. Весной пришла большая вода, летом зарядили дожди. «Что посеяли – всё отмякло», – говорили деревенские, голодавшие и умиравшие. «В Трубчевск мне в этом году уехать, видимо, не удастся, – писал он в апреле Рейнфельд. – Оттуда приходят ужасающие письма, там жестокий голод. Семья из 5 человек живет на 100 р. в месяц, в то время как хлеб стоит 120 р. пуд. Люди не видят всю зиму не только хлеба, но даже картошки. В день варится 5 бураков (по бураку на каждого) – и это всё. А ведь там дети! Удалось тут организовать регулярную отправку посылок, но это, конечно, кустарщина, да и не знаю, долго ли мне удастся продолжать в том же духе...»[32] Посылки посылал голодающим не только он. Той же весной в доме Киселевых на Зубовском бульваре, куда изредка заходил Даниил, на обеденном столе раскладывалась груда мешочков, пакетов, кульков, а на стульях стояли ящики для посылок. «Мелитина Григорьевна (мать), Зоя и Катя деловито упаковывают продукты – отправляют одиннадцать посылок на Украину»[33]. А газеты в эти апрельские дни, когда Андреев мучился известиями о трубчевских друзьях, восхищались подвигом летчиков, спасших челюскинцев. Ни о каком голоде никто и не заикался.

Семье Левенков, о которой говорится в письме, действительно приходилось туго. Старшие дети жили самостоятельно, но младшие еще ходили в школу, а основному кормильцу семьи, Протасию Пантелеевичу, было уже под шестьдесят. В бесконечных трудах и заботах, он держался бодро, приговаривал: «Когда тебя припечет в жизни, тогда вволю нафилософствуешься». Ему философствовать приходилось частенько. Зарабатывал он после революции не только преподаванием, но и тем, что писал портреты вождей: спрос на них все возрастал, а некоторые лица менялись – Троцкого и Бухарина сменили Молотов и Каганович. Как-то получил за очередной ленинский портрет фунт пшена и

две иссохших тарани, но в голодное время это считалось заработком.

Не только в Трубчевск, как рассчитывал, Даниил не мог поехать, но и в Ленинград. «Вообще никогда еще жизнь так резко и круто не опровергала мои расчеты и планы, как в этом году, – доверительно писал он Евгении Рейнфельд. – Я Вам говорил о некоторых из них. И мое большое “предприятие”, которому я так радовался и верил, уже зимой превратилось в туман, в химеру. Остается радоваться хоть тому, что это произошло не слишком поздно. Но Вы сами понимаете, какое это горькое и куцее утешение.

Вдобавок я очень уж был избалован: всякая задача, которую я перед собой ставил (до этого), достигалась без особого труда. И это ослабило мою выносливость (коряво выражено, но Вы поймете).

Вот опять идет весна, и опять дух непокоя заставляет по ночам путешествовать... по атласу, – за невозможностью лучшего. Целыми часами сижу над картами Индии, Индокитая, Малайского архипелага. Кстати, Женя, почему мы, русские, создавшие такой великолепный язык, так осрамились с названиями и именами? Посмотрите на Запад: Нюрнберг... Равенна... Рио-Жанейро... Руан... – Оглянешься на Восток: Гвалиор... Рангун... Айрэнг-Даланг, Бенарес... А у нас: Рыльск! Скотопригоньевск! Вокса!! Икша!!! В чем же дело?! Из каждого названия глядит хулигански ухмыляющаяся, хамская рожа. Или я необъективен и слишком уж поддался отвращению, которое так долго росло и так заботливо вскармливалось прелестями окружающей обстановки?

Идут нескончаемые будни. Пишу книжку для Энергоиздата: серия биографий (для юношества) ряда выдающихся ученых и изобретателей, начиная с Архимеда. Это было бы интересно, если бы дано было время (и задание) писать серьезно, основательно изучая эпохи и личности. Но мне дано время только до 1 июля, а книжка в 6 листов; к тому же материалов мало и доставать их трудно. Наконец, еще и то портит дело, что все эти ученые всю жизнь свою провели за письменным столом, канва их жизни удивительно бедна внешними событиями, и сделать эти биографии хоть сколько-нибудь увлекательными – невозможно.

С деньгами туго, поэтому приходится брать и работу диаграммно-чертежного характера. Ею загружены вечера, и читать почти не хватает времени. Но все же прочел недавно очень интересную книгу, одного из крупнейших современных астрономов сэра Джемса Джинса “Вселенная вокруг нас”. Это описание вселенной с точки зрения последних научных теорий. Страшно интересно!

<...> На лето поеду, кажется, под Москву, в Калистово (недалеко от Хотьково) – там будет жить Нелли Леонова (Вы ее немного знаете) и зовет к себе погостить июль»[34].

Рейнфельд, общение с которой ограничивалось перепиской, оказалась ему интересна не столько общими воспоминаниями, сколько общими интересами. Она, как мы узнаем из его письма, занялась арабским языком, чему он радуется, хотя и спрашивает, ссылаясь на недоумение Коваленского: «почему Вы взяли именно арабский, а не персидский или санскрит?»[35] (Она потом закончила иранское отделение ЛГУ и преподавала как раз персидский язык.) Их объединяла тяга к тайнам Востока. Этими тайнами, как и любовью к восточным языкам, ее навсегда увлек Федор Ростопчин (был ли с ним знаком Даниил Андреев – неизвестно). Именно Евгении Рейнсфельд он подробно описал открывшееся ему на Неруссе. Имея в виду темы такого рода, обсуждавшиеся им далеко не с каждым из близких друзей, писал ей: «...о многом таком мы могли бы поговорить, когда я приеду в Л<енинград>»[36]. Кроме Рейнфельд в Ленинграде в те годы жила другая его подруга детских лет, учившаяся с ним еще у Грузинской, – Татьяна Оловянишникова, вышедшая замуж и ставшая Морозовой. В Ленинград она переехала после нескольких лет работы на Чукотке с мужем и двумя дочерьми. С Татьяной он тоже переписывался.

В декабре 33-го он вновь пишет Рейнфельд, подводя итоги уходящему году, делясь самым заветным: «Летом я никуда не выезжал, если не считать нескольких дней, проведенных у знакомых на даче. Вызвано это тем, что издательство задержало мои деньги за книгу до сентября месяца. Я должен был бы поехать в Трубчевск, но на этот раз поездка эта ничем бы не напоминала partie de plaisir* прежних лет: она сулила мне только очень тяжелые переживания. Но их все равно не избежать – они закрутят меня в Ленинграде, куда я съезжу при первой материальной возможности. С февраля по июль я писал книгу – серию биографий ученых изобретателей (для юношества), в которую вошли Архимед, Л. да Винчи, Паскаль, Эйлер, Даниил Бернулли, Фрэнсис (изобретатель турбин) и наш акад<емик> Жуковский. Это была довольно приятная работа, но под конец она мне здорово опротивела. Сейчас к книге подобрано уже большое количество (свыше 50) иллюстраций, и она находится в печати. На невыплаченную мне еще часть гонорара вот за эту-то самую книгу я и надеюсь съездить в Ленинград. Думаю, что будет это в январе–феврале.

Теперь я работаю по другой линии – по графической: делаю диаграммы, таблицы и пр<очую> чепуху. Если б такая работа

* Здесь: увеселительную прогулку *(фр.)*.

была постоянно – больше нечего и желать было бы. Работаем мы обычно вдвоем с одним моим приятелем-художником у меня в комнате. И благодаря механичности работы, мы имеем возможность большую часть времени предаваться разговорам или же просто молчаливому размышлению (каждый о своем).

Лето явилось для меня переломным периодом во многих отношениях. Главное – я избегаю теперь строить метафизические и пр<очие> “системы”.

(“Я числил числа, строил химеры
И, выстроив, в них верил”.)

По-видимому, эти умозрения имеют совершенно ничтожную ценность, ибо их можно создать n-ное количество – все одинаково логичные, одинаково недоказуемые и одинаково не выражающие истинного соотношения вещей, идей и сущностей в мире. Лично для меня более или менее достоверными являются сейчас лишь те положения, которые утверждаются одинаково всеми великими религиозными системами, – а таких положений очень немного... Остальное – дело сердца, интуиции, но не интеллекта. Жаль, что в этом году мне не удалось по-настоящему встретиться с природой – мне эти встречи чрезвычайно важны».

Сообщает он в этом письме и о семье, где Евгению знали и помнили. «Мама больна, она вообще очень ослабела и сдала за этот год, – пишет он. – Моя сестра и ее муж на днях переезжают на несколько месяцев в Калугу, и мы надеемся, что тогда мама сможет поехать к ним на несколько недель отдохнуть. Без такого отдыха все может кончиться для нее (еще больше – для нас, т. к. она сама этого не боится) – самым дурным образом.

Материально – хуже, чем в прошлом году, но по крайней мере есть уголь и в комнате тепло.

У Грузинских не бываю, да и вообще редко хожу куда бы то ни было»[37].

Наверное, одной из причин крушения его летних планов было то, что он оказался загружен работой до самого начала зимы. Книжка для «Энергоиздата», начатая в феврале, требовала серьезных усилий. Нельзя походя написать цикл биографических очерков об ученых-изобретателях, начиная с легендарного Архимеда. В эти годы резко повысился интерес к научно-популярной литературе, книги о науке и технике требовались всем издательствам. Немало выпускал их «Энергоиздат». Но каждая рукопись тщательно рецензировалась, проходила серьезную, прежде всего идеологическую, проверку. Известный мастер научно-популярной литературы Лев Гумилевский, в те времена тоже сотрудни-

чавший с «Энергоиздатом», в воспоминаниях рассказал, как Главлит запретил в мае 33-го года его уже отпечатанную биографию Дизеля. Сорокатысячный тираж книги, в которой якобы «воспевался капиталистический строй», пустили под нож[38]. То же произошло и с трудом Даниила Андреева. В конце следующего года он сетовал в письме вдове Волошина: «В прошлом году я имел несчастье написать книгу – ряд биографий-очерков, посвященных ученым: Архимеду, Леонардо да Винчи и др<угим>. Часть денег была получена мной еще в прошлом году, а оставшуюся тысячу мне должны были уплатить этим летом или осенью. Теперь же оказалось, что книгу закрыл Главлит»[39].

11. Контуры

«В ноябре 1933 года я случайно – именно совершенно случайно – зашёл в одну церковку во Власьевском переулке, – рассказывает Андреев в «Розе Мира». – Там застал я акафист преподобному Серафиму Саровскому. Едва я открыл входную дверь, прямо в душу мне хлынула тёплая волна нисходящего хорового напева. Мною овладело состояние, о котором мне чрезвычайно трудно говорить, да ещё в таком протокольном стиле. Непреодолимая сила заставила меня стать на колени, хотя участвовать в коленопреклонениях я раньше не любил: душевная незрелость побуждала меня раньше подозревать, что в этом движении заключено нечто рабское. Но теперь коленопреклонения оказалось недостаточно. И когда мои руки легли на ветхий, тысячами ног истоптанный коврик, распахнулась какая-то тайная дверь души, и слёзы ни с чем не сравнимого блаженного восторга хлынули неудержимо. И, по правде сказать, мне не очень важно, как знатоки всякого рода экстазов и восхищений назовут и в какой разряд отнесут происшедшее вслед за этим. Содержанием же этих минут был подъём в Небесную Россию, переживание Синклита её просветлённых, нездешняя теплота духовных потоков, льющихся из того средоточия, которое справедливо и точно именовать Небесным Кремлём. Великий дух, когда-то прошедший по нашей земле в облике Серафима Саровского, а теперь – один из ярчайших светильников Русского Синклита, приблизился и склонился ко мне, укрыв меня, словно эпитрахилью, шатром струящихся лучей света и ласкового тепла. В продолжение почти целого года, пока эту церковь не закрыли, я ходил каждый понедельник к акафистам преподобному Серафиму – и – удивительно! – переживал это состояние каждый раз, снова и снова, с неослабевающей силой».

Небольшая церковь Святого Власия «на Козьем болоте» с начала XVII века и поныне стоит на углу Большого Власьевского и Гагаринского переулков. После закрытия в ней долго размещался овощной склад, но и тогда, проходя мимо, Андреев чувствовал душевное просветление. Это состояние сказалось на замыслах того года. В первую очередь на сочинении «Контуры предварительной доктрины». В нем он пытался осмыслить и привести в определенную систему то, что, казалось, открылось ему в последнее время – на берегу Неруссы и в церквушке Святого Власия, в индуизме и буддизме. Контуры своего мировидения он пытался набросать не один раз, не завершая, откладывая и вновь возвращаясь. Не закончив и это сочинение, он потом использовал многое из него в первых двух частях романа «Странники ночи».

«Контуры предварительной доктрины» не сохранились, но известно, как и в романе, речь в сочинении шла о теории смены красных и синих эпох. Об этой теории, позднее подробно изложенной в «Странниках ночи» и долго его занимавшей, есть свидетельство знакомой поэта, Ирины Усовой:

«...У Дани была интересная и оригинальная концепция исторических духовных циклов, охватывающих большие массы людей и даже целые народы. Нечто вроде своеобразной кривой: разгорание, подъем, взлет духовности, затем спад. Каждый цикл мог охватывать большее или меньшее время, большее или меньшее количество стран и народов, достигать большей или меньшей высоты или, наоборот, глубины падения. К сожалению, я не помню, как располагал Даня эти циклы во времени и пространстве, то есть по годам и народам. Помню только, что окраска циклов соответствовала их сущности: от золотисто-голубой, светло-лучезарной вверху до кроваво-багровой внизу»[40]. На этой теории явно сказалось его увлечение астрономией. О спектральной классификации звезд он мог знать не только из недавно прочитанной книги Джемса Джинса «Вселенная вокруг нас» (любопытно, что тогда же ее прочел и Николай Заболоцкий). И вполне логично, что Андреев представляет исторические эпохи как периоды жизни звезд, которые можно описать, в зависимости от их возраста и количества излучения духовной энергии, оттенками цвета – от красного до фиолетового или синего.

Как все главные замыслы и мотивы Даниила Андреева, и эта «теория» не осталась втуне, в романе «Странники ночи» ее излагает один из героев – Леонид Федорович Глинский. Суть ее «в чередовании красных и синих эпох в истории России... – пересказывала эти страницы романа Алла Александровна. – Цвета –

красный и синий – взяты условно, но понятно, что они отображают: красная эпоха – главенство материальных ценностей; синяя – духовных. Каждая историческая эпоха двухслойна: главенствует окраска стремления властвующей части общества, и всегда в эпохе присутствует “подполье” противоположного цвета. Позже, созрев и накопив силы, это подполье становится главенствующей, связанной с властью, окраской следующей эпохи, а в подполье уходят силы и течения, прежде бывшие наверху.

С течением исторического времени смена эпох убыстряется, а цвет их становится ярче. В глубинах истории любое материальное стремление не теряло духовного отсвета, а любая духовность не разрывала связи с землей. Имеется в виду государственная структура, а не аскетический подвиг, это – явление другого порядка. Хотя очень часто этот аскетический, как бы оторванный от земли, подвиг предпринимался не для личного спасения, а для спасения мира.

Древние эпохи можно назвать лиловыми – то синее, то краснее. Чем ближе к нашему времени, тем цвет определеннее.

В свете этой теории рассматривается, например, накопление “красных” сил декабристов в конце царствования Александра Благословенного с его синей окраской. А также – соотношение запутанно-мистических метаний начала двадцатого века с приходящими к власти уже вопиюще-красными силами, воплотившимися в победе большевизма»[41]. Себя герои романа считают «Синим подпольем». Андреевым была разработана специальная таблица чередования синих и красных эпох в истории. Он читал ее друзьям.

Возможно, из этой теории он вывел свое отношение к формам государственности, считая, как позднее признавался на допросах, русское самодержавие и в форме Империи, и в форме Советского Союза явлением вредным для русской культуры и возлагающим слишком тяжелое бремя на русский народ. В оправдание своей теории, Андреев, по его словам, выписывал во всемирной истории случаи, когда период усиленного культурного творчества народа совпадал с периодами его политической раздробленности: Иудея, Древняя Греция, Италия эпохи Возрождения, Германия XVIII века…

Говорилось в «Контурах предварительной доктрины» о грядущем Храме Солнца мира[42]. В написанном в том же году стихотворении «Каменный старец» изваяние «белого старца» на храме Христа Спасителя с поднятыми горе́ руками представляется ему изображением наставника, открывающего тайны мироздания. Ключи к ним он искал в обдумываемой «доктрине»:

Ты изъяснил мне движение твари,
Их рук, их крыльев, из рода в роды, –
Молитву мира о вышнем даре,
Объединившую
все народы.

Повсюду: в эллинских кущах белых,
В садах Японии, в Тибете хмуром,
Перед Мадонной
и перед Кибелой,
На берегах Ганга,
на площадях Ура,
Под солнцем инков,
луной Астарты,
Пред всеми богами,
всеми кумирами
Священник бдил в синеве алтарной
И руки к тебе воздевал,
Свет Мира!

...И Ты нисходишь к сердцам воздетым
Все ярче, ярче из рода в роды,
И с каждой верой – все чище свет Твой,
И все прозрачней хрусталь Природы.

Здесь Даниил Андреев начинает складывать «лепестки» разных вер, надеясь вырастить из них чаемую «Розу Мира». Здесь он объединяет свой поэтический Восток и поэтический Запад. Откуда и как вырастало такое мировидение? Ведь по его сочинениям видно, что оно менялось, однако новые прозрения не отменяли прежние. Представления о мироустройстве и его божественной основе росли, как живое многолетнее растение: новые побеги появлялись из уже существующих, порождая все больше листьев и соцветий. Выраставшее становилось не столько учением, сколько мифологией. Но в ней проявилось то его свойство, заметное уже в детских тетрадях, – тяга к систематизации всего и вся, какими бы причудливо фантастическими ни казались описываемые им подробности пригрезившихся миров. Любопытно, что это типично для индуистского миросозерцания, стремящегося ко всеобщей классификации таинственного и божественного.

В этом году он написал небольшую поэму «Титурэль», отнюдь не следуя сюжетам рыцарских романов, таких как незаконченный роман «Титурэль» Вольфрама фон Эшенбаха или «Младший Титурэль» его последователя Альбрехта. Эти рыцарские романы, как и романы Томаса Мэлори о короле Артуре и рыцарях Круглого стола, были в России известны по пересказам и изложе-

ниям. Они стали любимым чтением Даниила Андреева. «Рыцари Круглого стола и связанное с некоторыми из них – тот мир образов, в котором (в значит<ельной> степени) я живу последние года 2»[43], – позже писал он жене брата, чья шестилетняя дочь в то время читала истории о Парцевале и Ланселоте, признаваясь в любви к книгам, считавшимся детским чтением. Но ему рыцарские романы не казались развлекательным чтением. Особенно рассказывающие об одном из важнейших для мистиков нового времени европейском мифе – о Святом Граале. Андрееву был дорог и еще один поэтический источник мифа – оперная мистерия Рихарда Вагнера «Парсифаль», в которой Титурэль – одно из действующих лиц.

Титурэль поэмы, ставший одним из королей Грааля, в «Розе Мира» – великий дух, известный лишь из эзотерических сказаний, создатель Монсальвата, проходит мистический путь в поисках Сальватэрры, Святой земли. Мальчиком на ангельский зов он пускается в дорогу. Время обозначено ясно: вторая половина двенадцатого века. В пути Титурэль взрослеет. Нищим паломником он встречает рыцарей-крестоносцев, потерпевших поражение от египетского султана Саладина, захватившего Иерусалим, проходит по землям ислама, где его принимают за странника Аллаха, и лишь умирая обретает чаемое. Ангелы вручают ему «дивную Кровь в хрустале», чтобы она хранилась в Монсальвате, в горных высотах. Отсюда и будут сходить, говорит поэт, народоводители «к новым и новым векам». О духовной жажде, которая позовет этих народоводителей, о мистических путях к Граалю забрезжил и стал складываться замысел большой поэмы. Ее Даниил Андреев долго считал главным своим делом.

Ища свет мира, он с поэтическим размахом видит общий религиозный порыв в языческих жрецах Кибелы и в священнослужителях, возносящих мольбу Мадонне. Стремясь внимательнее разглядеть «лепестки» вер, он вспоминал, может быть, и Махатму Ганди, в своих проповедях цитировавшего вместе с «Бхагаватгитой» Коран и Библию.

В написанном в том же 33-м году стихотворении «Серебряная ночь пророка», об известном ночном полете-путешествии пророка Мухаммеда в Иерусалим, он продолжает мистическую тему «Каменного старца»:

В уединённом храме
ждут Моисей и Христос,
Вместе молятся трое
до предрассветных рос.

И в выси, откуда Солнце
чуть видимо, как роса,
Конь ездока возносит
на Первые Небеса.

Говорит он в стихах этого года и о бронзовом музейном Будде: «Каждого благословлял он полураскрытой ладонью, / С благоуханного лика веял внемирный покой...»

12. Предгория

Чем беспощадней становилось время, тем бодрей и громче звучала музыка, чаще маршировали физкультурники, аплодисменты непременно переходили в овацию. Террор усиливался – ширилась радиофикация. Начало 1934 года – это XVII съезд ВКП(б), доклады Сталина, Молотова, Кагановича. Торжество сталинского всевластия. До Андреева, как и до всего народа, доносился лишь гул речей, лозунгов и призывов. Интересующиеся вникали в доступные по газетам и слухам подробности. Еще не отменены продуктовые карточки. Но в Москве появились первые троллейбусы. Соседняя Остоженка, скоро ставшая Метростроевской, была перекопана – строилось метро. Заодно на ней снесли храмы Воскресения и Успения, хотя, как считали многие, строительству они совсем не мешали. Но к сносу храмов москвичи уже привыкли, одни – принимая как должное, другие хмуро помалкивая.

17 августа 1934 года открылся первый Всесоюзный съезд писателей. О нем писали все газеты: овации Сталину и Горькому, доклад Бухарина о поэзии, речи писателей.

Это лето Андреев большей частью провел в Москве, иногда выезжая за город. Видимо, какое-то время пробыл у Смирновых. Их сын утверждает: «Три года до моего рождения (1934, 1935, 1936) Андреев подолгу жил у нас в Перловке». В Перловке он действительно бывал часто, был там своим, знал многих. Как уверяет Алексей Смирнов, познакомился с родственниками Джунковского (некогда товарища министра внутренних дел и командира жандармского корпуса, который одно время скрывался на даче в Перловке, «но был выдан их бывшим дворником») и «бывал у них, расспрашивал о Распутине». Джунковского расстреляли в 1938-м. «Мой отец, – пишет Смирнов, – предупреждал Андреева: опасно посещать семью царского генерала! Но куда там! Андреев вообще был человеком рисковым и мог спокойно засовывать голову в пасть льва»[44].

Довольно долго он гостил на даче Муравьевых на Николиной горе. С Николаем Константиновичем он мог беседовать

о многом, а в это лето они могли обсуждать только что вышедшую книгу Ганди «Моя жизнь», которую оба прочли, или говорить о стихах Максимилиана Волошина, увлекших старого адвоката. В сентябре Муравьев писал давнему соратнику в Харьков: «Я сейчас очень интересуюсь Волошиным и собираю его работы. Последний сборник его стихотворений издан в Харькове, если не ошибаюсь, в 1923 г. Не могли бы Вы антикварным путем приобрести для меня эту книжку...»[45] Речь шла о книге «Демоны глухонемые».

С первого знакомства, еще в 1929 году, Даниил особенно близко сошелся с Гавриилом Андреевичем Волковым, ставшим мужем Татьяны Муравьевой. Волков изучал творчество Льва Толстого, участвовал в редактировании его Полного собрания сочинений. Занималась Толстым и Татьяна, работавшая вместе с мужем в Музее Толстого на Пречистенке. Любовь к Толстому у нее была наследственной, с писателем долгое время общался ее отец, участвовавший в составлении его духовного завещания.

Возле дома с мезонином, в сосновом бору, вместе с Волковыми Даниил совершал долгие прогулки. Они дорого обошлись его друзьям позже. Сравнительно недалеко от Николиной горы, в Зубалове, находилась дача Сталина. Но Даниил меньше всего думал о соседстве правительственных дач и живших в них вождях. Он пребывал в иных мирах, слушая жужжание веретена времен Майи, заявлял в стихотворении «Из дневника» – «...на восток, за желтый Инд / Ложится пыль моей дороги». На этой лирической дороге перед ним вставали «орлиные высоты Непала», Бенарес, индийские бархатные ночи...

Он и в этом году жил поисками собственной Индии, уходя в необычные состояния вдохновенных полугрез, иногда встречая тот единственный образ, который, казалось, скоро появится в московской толпе. *Ее*, видевшуюся выражением идеала настолько достоверным, что он верил – встречался с ней в иной жизни, куда ему приоткрылась щелочка сознания, и надеялся встретить не сегодня, так завтра в этой. «Сцена у реки (в поэме) действ<ительно> была», – записал он через годы в тюремной тетради о видении, изображенном в поэме «Бенаресская ночь»:

...На берег вышла. Солнце тканью
Из света – стан ей облекло;
Над грудью влажно расцвело
Жасмина сонного дыханье,
И – обернулась... В первый раз
Забыл я снег и лед в Непале,
И прямо в душу мне упали
Лучи огромных, темных глаз.

Я вздрогнул: там, под влагой черной
Индийских бархатных ночей,
Сиял цветок нерукотворный,
Как чаша золотых лучей.
Мерцала в этом детском взоре
Тысячелетняя тоска
Старинных царств, уснувших в море
Под золотым плащом песка;

Неуловимые для слуха,
В нем реки звездные текли
Неизмеримых странствий духа
Еще до солнца и земли...
Я видел путь наш в море мира,
Сквозь плещущие времена,
И звук, ликующий как лира,
Из сердца рос: – Она! Она!

Известна связанная с этой поэмой трагикомическая история. Рассказанная со слов поэта, она передает его самоиронию. «Однажды он ехал в трамвае, и вот на одной из остановок увидал девушку, которая стояла, прислонившись к столбу, держа в руках что-то прозаическое, вроде бидончика для молока и продуктовой сумки, и, видимо, ожидая свой номер. Что-то в ее наружности поразило его: “Она?!” – И он выпрыгивает уже на ходу из трамвая <...> Но, будучи очень застенчивым, не решается подойти к ней и смотрит на нее издали. Вслед за ней вскакивает в трамвай и едет, не теряя ее из вида, до железнодорожного вокзала, где она выходит. Он за ней. Она входит в здание вокзала, он за ней. Она, уже смешиваясь с густой толпой, проходит через контроль на перрон, а у него нет перронного билета, и он остается... Но так как дверь, через которую она вышла, вела к пригородным поездам, то он решает, что, стало быть, она должна приехать в Москву еще. И он ездит к этому вокзалу и ждет у этого перрона. Уж не помню, сколько дней, или недель, он так ездил и по сколько часов ждал там, только однажды он увидел ее опять! А так как он понимал, что невозможно будет объяснить ей кратко – почему он обратился к ней, то он брал с собой эту индийскую поэму, где говорилось о любви, о предназначенности друг другу и прочих поэтических вещах <...>

И он подошел к ней, подал эту тетрадь – “прочтите” – и спросил, когда она снова будет в Москве. Через сколько-то дней он опять помчался на вокзал... Вот она, идет! Что-то она ему скажет?! Она возвращает ему тетрадь со словами: “Я замужем”»[46].

Романтический, мистический мир поэта, вторая реальность. Но какой бы фантастической она ни казалась, как бы ни верил он в то, что в прошлой жизни «был индусом, принадлежал к касте брахманов, но был изгнан из нее за брак с неприкасаемой»[47], у него на столе стояла фотография вполне земной Галины Русаковой, а все его видения оказывались связаны с творившимся на московских улицах и советских просторах. Поэтический путь через великие религиозные мифы, становившиеся частью собственного мифотворчества, вел к мистерии современности, к совершавшемуся на его глазах в России. Чтобы осмыслить эту мистерию, следовало пройти путями человеческого духа и не только Востоком, но и Западом.

Возможно, в 1933-м он написал строки, ставшие лирическим руководством к действию надолго:

Чтоб лететь к невозможной отчизне,
Чтобы ветер мечты не стих,
У руля многопарусной жизни
Я поставил тебя, мой стих.

Чтобы сердце стало свободным,
В час молитв – подобным свече,
Знаменосцем – в бранные годы,
Трубадуром – в лунном луче.

Стихотворение заключает позднее составленный цикл «Предгория», начинающийся со стихов о Феодосии. Точной даты, когда оно написано, неизвестно, но именно в 1934 году он вновь побывал в Крыму. Может быть, эта поездка как-то была связана и с летними беседами о Волошине с Муравьевым. 20 октября 1934 года помечено его стихотворение «Могила М. Волошина», написанное в Коктебеле. Поэзию Максимилиана Волошина Андреев любил, ценил его чрезвычайно, и в «Розе Мира» поэт среди тех, кто вступил в Синклит сразу после смерти. Высокой попыткой назвал он религиозно-этическую заповедь Волошина: «В дни революций быть человеком, а не гражданином». О единственной их встрече со слов поэта рассказала вдова, очевидно, путая даты: «Летом 1931 года он встретил в Москве, на улице, Максимилиана Александровича Волошина и, преодолев на этот раз свойственную ему болезненную застенчивость, подошёл к нему и представился. Совершенно понятно, что встречен он был Максимилианом Александровичем с полным дружелюбием, радостью и тут же приглашён в Коктебель. Но этим летом у Даниила денег не было совсем, а на следующий год Волошина уже не было в живых». Однако это краткое знакомство могло произойти лишь в

феврале или марте 1927-го, когда Волошин в последний раз приезжал в Москву.

В Коктебеле Андреев побывал, познакомился с Марией Степановной Волошиной. 20 октября 1934 года помечено написанное там стихотворение «Могила М. Волошина» и тогда же (24 октября) ей подаренное. Видимо, беседовали они и об издании книг Волошина, и Андреев не мог не взяться похлопотать об этом в Москве. Через два месяца посылая вдове поэта его новый вариант и еще два коктебельских стихотворения, он писал: «Что казалось возможным в Коктебеле, под непосредственным обаянием творчества и личности Макс<имилиана> Алекс<андровича>, то оказывается вовсе нелегким делом здесь, в Москве, где в представлении партийно-литературных кругов имя Волошина ассоциируется *прежде всего* с мистикой и с “весьма сомнительной” политической позицией. Прибавьте к этому, что идиотское убийство Кирова сильно изменило общую, так сказать, литературную конъюнктуру. Вот почему я не могу написать Вам ничего обнадеживающего. Остается только одно: терпеливо ждать более благоприятного времени».

Писал он и о своих делах: «Работать приходится очень много, а с Рождества до мая даже придется засесть и не разгибая спины корпеть над диаграммами и таблицами по 14–15 часов в день, – то есть на несколько месяцев *совершенно* вычеркнуть себя из всякой жизни...

Все-таки за ноябрь и декабрь мне удалось писать – урывками, по ночам, иногда даже в трамваях! В результате я привел в порядок около десятка коктебельских стихотворений и написал не очень большую, но очень для меня важную поэму. Переслать ее Вам нет возможности, поэтому ограничусь пока 3-мя коктебельскими стихотворениями.

Стихотворение, посвященное Максимилиану Александровичу, Вы знаете, но я его несколько переделал, особенно конец, который меня не удовлетворял еще и в Коктебеле, «могила-колыбель» – образ слишком уж использованный, не свежий»[48].

Много работать приходилось из-за того, что надежды на гонорар за книгу, не пропущенную Главлитом, рухнули.

1 декабря страну потрясло убийство Кирова. Обсуждали убийство и у Добровых. В 1948 году во время следствия эти разговоры всплыли. По крайней мере, в протоколе допроса Андреева в Лефортове есть такое показание: «Коваленский, будучи особенно озлоблен против Сталина, в 1934 году после убийства Кирова заявлял, что покушение на Кирова не дало ощутимых результатов и не смогло вызвать изменений в стране. Если уж

жертвовать собой, говорил Коваленский, так надо было стрелять в Сталина»[49]. Но ходили слухи, особенно в Ленинграде, о том, что за покушением стоят и НКВД, и Сталин. Словно бы заранее готовясь к событию, советская юстиция мгновенно внесла изменения в уголовно-процессуальные кодексы, принятые «Постановлением ЦИК и СНК СССР» в тот же день. Изменения касались «дел о террористических организациях и террористических актах против работников советской власти». Пункты были следующими: «1. Следствие по этим делам заканчивать в срок не более десяти дней. 2. Обвинительное заключение вручать обвиняемым за одни сутки до рассмотрения дела в суде. 3. Дела слушать без участия сторон. 4. Кассационного обжалования приговоров, как и подачи ходатайств о помиловании, не допускать. 5. Приговор к высшей мере наказания приводить в исполнение немедленно по вынесении приговора».

Начались открытые, мало чем ограниченные, но пока прицельно выборочные репрессии.

Часть пятая

МОНСАЛЬВАТ
1935–1936

1. С черным дулом бесчестного века…

16 января 1935 года в Ленинграде Военной коллегией Верховного суда были осуждены Зиновьев, Каменев и еще 17 их сторонников, обвиненных в убийстве Кирова. В августе Каменева с Зиновьевым судили снова, теперь за участие в «троцкистско-зиновьевском» «Объединенном центре» и казнили. В мае 1935 года распустили Общество старых большевиков. Месяц спустя ликвидировали Общество политкаторжан и ссыльно-поселенцев. Система совершенствовалась, жестоко отсекая все ненужное, уничтожая неугодных, мешающих, путающихся под ногами, случайно попавшихся под руку. Конфискованное имущество репрессированных, еще хранившее следы чьей-то разбитой жизни, тут же распродавали специальные магазины. Попадался здесь и фарфор из царских сервизов, и мебель из дворянских особняков, доставшиеся новым правителям в двадцатых. Такова логика борьбы за власть и террора: бей своих, чтоб чужие боялись.

Еще летом 1934-го арестовали соседей Добровых, братьев Ламакиных. История их ареста такова. У братьев были приятели, тоже два брата – Владимир и Алексей Прибыловы. Владимир подрабатывал сторожем в консерватории. Как-то на концерте ожидали Сталина. И Владимир спросил: «А что, Сталин приедет с охраной?» Последствия любопытства оказались страшными. Всех друзей задавшего невинный вопрос арестовали. Судили их за подготовку террористического акта против вождя. Братьев Прибыловых расстреляли, Василий Ламакин получил пять лет Беломорканала, а потом отправился в многолетнюю ссылку, Николай угодил на Соловки и в 37-м был расстрелян[1]. Жена младшего Ламакина вспоминала: «…когда я осталась одна, я просидела на подоконнике открытого окна нашей комнаты всю ночь и с трепетом прислушивалась к каждому звуку – не возвращается ли Вас<илий> Вас<ильевич> домой. Так я дождалась рассвета… С этого дня начались наши страдания, наши тяжелые испытания.

Передачи в тюрьму, свидания через решетку, ожидания этапа – заполняли всю жизнь...

После ареста Вас<илия> Вас<ильевича> и Ник<олая> Вас<ильевича> меня стали избегать многие. Все жили в страхе за свою судьбу, а общение с семьями заключенных было опасным. Увидя меня на улице, знакомые переходили на другую сторону. Редко кто-либо заходил ко мне...

Добровы переживали со мной мое горе. Я приходила домой с работы, оставалась одна в комнате, топила печку в своей одинокой холодной комнате (комнату мы получили ту, которую занимали Шахмановы до своей высылки). Растапливая печку, я смотрела на огонь, сердце стонало в одинокой муке, слезы лились из глаз. Я ведь долго ничего не знала – где Вас<илий> Вас<ильевич>, что с ним. В такие минуты приходила Елиз<авета> Мих<айловна>, обнимала меня и настойчиво уговаривала прийти к ним. Я шла к ним, садилась за их большой семейный стол, согревалась их уютом и любовным отношением ко мне. Однажды сестра Елиз<аветы> Мих<айловны> – Екат<терина> Мих<айловна> позвала пойти с ней ко всенощной. Мы стояли в церкви с нею рядом, помню ее старое измученное лицо, у нее ведь так много было в жизни своего страдания и горя...»[2].

Несмотря на мрачные времена, за длинным столом вечерами по-прежнему часто засиживались гости. Впрочем, все послереволюционные годы, вплоть до ареста всего младшего поколения добровского семейства, были наполнены своими и чужими несчастьями. Но дом хранил традиции. «Угощение всегда было очень скромное: какие-нибудь бутерброды, сухарики, чай, – вспоминал об этих вечерах Василенко. – ...Руководил всем его родственник, переводчик Коваленский. А Даня сидел молча, говорил, при мне, во всяком случае, редко и ни в каких спорах участия не принимал. Потом он мне делал знак глазами, мы уходили к нему, и Даня обычно читал мне стихи»[3]. Стихи одухотворяли жизнь, давали ощущение внутренней свободы. Живший энергией творчества, уходящий в минувшие тысячелетия, в мифы и мистические сказания древности, ища откровений в звездном небе и в молитвенной сосредоточенности, он воспринимал сегодняшний день в ином масштабе, чем окружающие. Поэтому в стихах его слышится мужественная приподнятость:

Как радостно вот эту весть вдохнуть –
Что по мерцающему своду
Неповторимый уготован путь
Звезде, – цветку, – душе, – народу.

Поэтому он остался в памяти знавших его в те годы «с развевающимися длинными волосами, в блузе художника, с вдохновенным лицом, обращенным немного вверх»[4]. Никакой блузы художника не было. Ею через годы представлялась поношенная толстовка из темного вельвета. И, конечно, несмотря на поэтический облик, он не был отрешенным от действительности романтическим поэтом, которому нет никакого дела до подхлестывающих лозунгов второй пятилетки, ночных арестов, сменявших друг друга процессов над «врагами народа» и напряженной, изматывающей жизни ближних и дальних. Да и художником он себя не считал, хотя в этом году ему удалось вступить в Горком художников-оформителей. Это дало пусть зыбкий, но необходимый официальный статус, помогавший оставаться человеком привилегированной «свободной» профессии. Шел стаж, выдавались справки о месте работы... В Горкоме состояла армия художников самой разной квалификации, от живописцев-неудачников, не принятых в МОСХ, до самоучек – плакатистов, шрифтовиков, изготовителей портретов вождей и книжных обложек, технических рисунков, ретушеров. Наглядная агитация украшала фасады и коридоры, цеха и конторы, клубы и библиотеки, менялась перед каждым красным праздником. Оформительское ремесло стало верным средством заработка, им Андреев нередко занимался вместе с более умелыми друзьями, чаще всего с Ивановским. «Больше всего приходилось работать в Моск<овском> Политехническом музее, в Моск<овском> Коммунальном музее, музее Моск<овского> Художественного театра, музее Гигиены, в различных павильонах Сельскохозяйственной выставки, в Парке культуры и отдыха им. Горького и т. д., – сообщает он в автобиографии. – Работа заключалась в проектировке экспозиции, составлении проектов и чертежей стендов, в рисовании диаграмм, картограмм, всякого рода планов и схем, в фотомонтаже, шрифтовой работе и т. д.».

По ночам, как обычно, он писал, и его позиция в тогдашних стихах о Гумилеве определенна:

Смертной болью томлюсь и грущу,
Вижу свет на бесплотном Фаворе,
Но не смею простить, не прощу
Моей Родины грешное горе.
Да, одно лишь сокровище есть
У поэта и у человека:
Белой шпагой скрестить свою честь
С чёрным дулом бесчестного века.

Но стихов этой зимой появилось немного. В конце февраля он писал Волошиной: «Зима была на редкость нелепая, сумбурная и бестолковая в деловом отношении, но внутренне – одна из самых плодотворных. И это несмотря на недостаток времени. Дело не в поэзии (писал я не так много), а в той внутренней работе, без которой поэт не имеет шансов стать чем-либо иным кроме посредственного стихописца.

Читал тоже мало – есть периоды в жизни, когда потребность в чтении сводится до минимума»[5].

В этом году он чаще стал бывать у Евгения Белоусова. Они читали друг другу написанное: он стихи, Белоусов рассказы. Неожиданно легко Андреев сблизился с его друзьями. С двадцатилетней Еленой Федоровной Лисицыной, студенткой Литературного института, скоро ставшей женой Белоусова, и с четой Кемниц: Виктором Андреевичем Кемницем, русским немцем, инженером завода «Компрессор», и его женой, Анной Владимировной Скородумовой, балериной Камерного театра.

Кемниц был способным конструктором и страстно увлекался музыкой и цветоводством. О музыке, о цветах и стихах он говорил, как и обо всем, негромко, но с вдохновенными, тонкими подробностями. Лев Копелев, вместе с Кемницем отбывавший срок в «Марфино», вспоминал, как тот рассказывал о знакомстве с музыкой Скрябина: «– Это было потрясением... Нет, я не могу это ни объяснить, ни описать... Внезапно растворился новый мир – еще за минуту раньше неведомый и невообразимый. Но это был мой – лично мой мир. Впервые я услышал музыку совсем свою, о себе... Моцарт, Бетховен, Чайковский, Шопен прекрасны, великолепны. Они всегда восхищают. Волнуют. Радуют. Услаждают. Они всегда о чем-то прекрасном – земном или неземном... Но это все где-то там... А Скрябин здесь, обо мне и во мне»[6]. Андреев Скрябина воспринимал совсем иначе: называл «темным вестником», в «Поэме экстаза» видел отражение демонического слоя «с его мистическим сладострастием»... Наверное, о Скрябине они спорили. Но высокий, большеголовый «с крутым, просторным лбом, несколько похожий на Эйзенштейна»[7], с доверчивыми светлыми глазами Кемниц нравился Андрееву.

Жена Кемница, к которой муж относился с восхищенным благоговением, была начитанна, любила и знала поэзию, умела говорить о стихах. С ней у Даниила, рассказывала Алла Александровна, был короткий роман.

Ближе сошелся он теперь и с Александром Александровичем Добровольским, с которым познакомился у Белоусовых еще

в двадцатых. Добровольский, старший в их кружке, был незаурядным прозаиком, начавшим печататься еще в 1911 году, а в 15-м выпустившим книгу рассказов «Молодое, только молодое». Тогда он жил в Петрограде, сотрудничал в «Новом журнале для всех», где познакомился и подружился с Есениным, называвшим его Сашкой. По крайней мере, так он обращается к Добровольскому в уцелевшем письме. Книга рассказов, оставшаяся единственной, вышла под псевдонимом из Достоевского – Тришатов. Этот таинственный персонаж, молодой человек, появляется в романе «Подросток» в паре с роковым Андреевым. Добровольскому-Тришатову было под пятьдесят, он давно не печатался, как бы выпав из шумной советской литературы, и занимал скромнейшую должность библиотекаря в клубе Союза писателей, но продолжал много и всерьез писать. Старший брат Евгения Белоусова, Иван Иванович, давний друг Добровольского, говорил о нем как о перегнавшем свое время, ставя его прозу рядом с прозой Андрея Белого и Пастернака.

От той поры остались фотографии, сделанные Евгением Белоусовым, на которых изображена вся компания, чьи встречи бывали и шумными, и веселыми, на них не только читались стихи и проза, но и устраивались небольшие шутливые представления. На одной из фотографий Даниил с моноклем в глазу, в бабочке и цилиндре, с кошкой в руках. Той или иной чертой все на ней изображенные позже вошли в роман «Странники ночи», стали его прототипами. Тришатова, например, можно было узнать в пожилом библиотекаре и историке Василии Михеевиче Бутягине.

Встречи у Белоусова, продолжившиеся у Кемницев, внимания органов не избежали. Во время следствия в Лефортове, из Андреева выбили подпись под протоколом, в котором говорилось:

«Присматриваясь к окружению Белоусова, я вскоре убедился, что связанные с ним лица враждебно настроены против советской власти...

Общность антисоветских взглядов объединила нас, и таким путем мне удалось создать еще одну антисоветскую группу, в которую входили: Белоусов и его жена Лисицына, Добровольский-Тришатов, Кемниц и его жена Скородумова.

Вместе с этим должен сказать, что наиболее доверительные отношения у меня установились со Скородумовой-Кемниц, которой я высказывал не только свою злобу и ненависть к советской власти, но и делился с нею террористическими намерениями против Сталина...»[8]

2. Пер-Гюнт

Викторина Межибовская, выросшая в коммунальной добровской квартире, вспоминала о своем детстве, согретом вниманием бездетных Коваленских: «Помню... мы с Александрой Филипповной возлежим на софе (она читала мне). И она, и ее муж Александр Викторович рассказывают мне о каком-то маленьком человечке, который живет в книгах и лишь по ночам выходит оттуда и путешествует по комнатам»[9]. Возможно, таким человечком иногда чувствовал себя и Александр Викторович, чья жизнь казалась неустойчиво двойственной. Одним, уверенным в себе мыслителем и поэтом, он был дома, у камина, рядом с обожаемой Шурочкой, за столом с давними собеседниками. Другим – расчетливо деятельным в стремлении обрести устойчивое положение в не принимаемой им советской жизни, в сущности, только для того, чтобы охранить свой домашний и сокровенный мир. Пока не кончилось – а должно же когда-нибудь кончиться! – царство агрессивной большевистской несвободы, главное для него – по возможности достойно пережить время, ужас которого он ощущает ясно и трезво, как мало кто. Говорить вполне откровенно Коваленский мог с немногими. Тогдашнее стихотворение Даниила кажется продуманной репликой, подводящей некий итог долгому, сложному разговору:

Милый друг мой, не жалей о старом,
Ведь в тысячелетней глубине
Зрело то, что грозовым пожаром
В эти дни проходит по стране.

Вечно то лишь, что нерукотворно.
Смерть – права, ликуя и губя:
Смерть есть долг несовершенной формы,
Не сумевшей выковать себя.

Последние строки явно отсылают к «Пер Гюнту» Ибсена, к словам Пуговичника, говорящего Пер Гюнту, что тот всю жизнь «не был самим собой», тем, чем был создан, и потому, «как испорченная форма», должен быть «перелит». Как писал об этом эпизоде драматической поэмы Блок: «...в лесу с Пер Гюнтом произошло нечто, стоящее вне известных нам измерений»[10]. В трактате «Мир как воля и представление» Шопенгауэра, знакомом Ибсену и, конечно, прочитанном Андреевым, эта родственная буддизму, а не христианству мысль отчеканена, как афоризм: «Смерть – это миг освобождения от односторонности индивидуальной формы, которая не составляет сокровенного ядра нашего существа, а скорее является своего рода возвращением его...»[11]

Но то, что произошло с его любимым героем, Пер Гюнтом, происходило со многими. Даниил Андреев переживал вопросы, для него взаимосвязанные: что будет с Россией, претерпевающей насильственную переплавку традиционных исторических форм, что будет с ним, все еще ищущим самого себя. Написанное казалось лишь отдаленным приближением к тому, что он мучительно искал, нет, скорее ждал. Чтобы приблизиться к откровению, которое не могло явиться само собой, стихописания, поэзии, которой он жил и через увеличительное стекло которой видел мир, было недостаточно. Он понимал – необходимо делание. Без делания ему грозит участь Пер Гюнта. Пушкин отчеканил: «слова поэта – суть его дела». Но гражданская роль поэта может быть сыграна и рифмующим публицистом, а ему мерещилась другая, высшая роль поэта – мистическая, вестническая. И в этом слове – делание – для него поэтически соединились и буддийское понимание (один из четырех путей к спасению), и православное.

Коваленский, с мистическими состояниями, стихотворными и прозаическими опытами, в которых сквозили предощущения сокровенного, на этом пути мог быть лишь недолгим спутником. Потому что и он не всегда представлялся выковавшим себя окончательно.

3. Миларайба

Индия для многих мистиков была страной, где хранятся ключи к иным мирам. Туда, на Восток, устремились искатели Грааля. Такое представление об Индии в Европе утвердили теософы в рационально-иррациональном стремлении соединить религии Востока, буддизм и индуизм с христианством. В «Розе Мира» отрицательно говорится о теософии, а в ее черновиках учение Блаватской названо соединением «крайне смутн<ых> предч<увствий> Р<озы> М<ира>», «некот<орых> низших форм инд<ийской> философ<ии>» и «всевозм<ожной> бесовщины от Дуггура до Цебрумра». Но то, что Даниил Андреев в своих духовных исканиях отправился на Восток, в Индию, конечно, связано и с теософскими веяниями, захватившими русских мистиков и богоискателей начала XX века. Как здесь сказалось влияние мистических убеждений Коваленского, попадали ли в руки Андреева кроме Рамачараки-Аткинсона многочисленные перед революцией теософские издания – мы не знаем. Однако путь автора «Розы Мира» в Индию, Непал и Тибет стал собственным, по преимуществу поэтическим.

В первой половине тридцатых годов Андреев увлечен индуизмом и буддизмом, особенно ранним. Прежде всего он мог

прочесть доступные ему книги русских индологов и буддологов В. П. Васильева, И. П. Минаева (трудами этого ученого он интересовался всю жизнь), путевой дневник Г. Ц. Цыбикова «Буддист паломник у святынь Тибета», выходившие в предреволюционные годы зарубежные исследования Германа Ольденберга, Т. В. Рис-Дэвидса, Августа Барта и, конечно, поэтические книги – «Жизнь Будды» Асвагоши в переводе Бальмонта и поэму Эдвина Арнольда «Свет Азии», прозаический перевод которой он цитирует в «Розе Мира».

Князь Сергей Николаевич Трубецкой в предисловии к книге Барта «Религии Индии» писал о том, что «по своему необычайному богатству и разнообразию духовная жизнь Индии требует продолжительного изучения» и что «в древнейших памятниках религиозной мысли Индии» заключена философия, изумительная «по глубине и смелости мысли, которая произвела сильное впечатление на многих современных европейских мыслителей»[12]. Андреев не мог не прочесть этой книги, изданной в той же библиотеке «Русской мысли», что и «Многообразие религиозного опыта» Джемса. Среди других религий Индии Барт рассматривал и буддизм.

Буддизм давно интересовал русских поэтов. Например, Надсона, Мережковского («Сакья Муни»), Федора Сологуба. О «метампсихозе», переселении душ писали многие, начиная с Боратынского. В стихах Андреева буддийские мотивы входят в то, что он позднее назвал «древней памятью». Погрузиться в нее помогли вполне книжные занятия, но память человечества неизменно становилась его собственной памятью и доро́гой: «...в дней обратных череду / Я вспять от гроба к колыбели / Прозревшим странником иду». Его юношеская вера в прежние жизни, в переселение душ и в учение о карме с годами только утвердилась.

Будда, по легендарным верованиям индусов, был девятым превращением Вишну. Прозрение пришло к Будде Гаутаме на берегу речки Найраньджаны, под сенью священного дерева Всеведения – бодхи или баньяна, где он «сидел семь дней в одном и том же положении, поджав ноги, вкушая радость освобождения...»[13] И перед Даниилом Андреевым иные миры забрезжили на берегу столь же небольшой речки – Неруссы, куда его год за годом тянула вера в то, что там особенное место, каких на земле немного. Поэтические представления, после того как приоткрывались «щелочки сознания», становились убеждениями. Поэтому героем «индийских» поэм и стихотворений становился он сам, героиней – его возлюбленная из той, иной жизни. Поэтому он говорил от своего имени:

На орлиных высотах Непала,
Как цветок в снеговом хрустале,
Вся в заоблачных снах, увядала
Моя прежняя жизнь на земле.

Дольний мир, как отраву, отринув,
Собеседник седых ледников,
Принимал я от строгих браминов
Воду смерти – мудрость веков.

По воспоминаниям Василенко, среди рассказов Андреева было много из прежней жизни в Индии «очень подробных и живописных, о природе, о заросших склонах и холодных вершинах, о каких-то прогулках и беседах с монахами. “Я долго учился у буддийских монахов”, – замечал он»[14]. Стихотворение «Миларайба» написано от имени почитаемого на Тибете как Великого Учителя, поэта и буддийского отшельника. Миларайба (правильная транскрипция – Миларэпа) ушел из «шумного мира», от земных «страстей и бурь». Он жил в пещерах, созерцал красоту природы и пел гимны о присутствующем всюду божестве, об очищении, которое приносят одиночество и жизнь в безмолвии гор:

И в обитель скорбных я ушел, плача:
Бодисатв молил я, заклинал духов,
Духов злых и добрых,
Что в лесах и в реках,
И в порывах ветра снуют шумно...
И постиг ум мой:
Нет врагов у сердца,
Чей исток в небе, в Истинно-Сущем...

– Голоса Времени, – голоса братьев!

И теперь – только
Душистый ветер
Колыхает ветви над моей пещерой,
Да летят птицы,
Идут люди,
Прибегают волки вести беседу
О путях спасенья, о смысле жизни...

– Голоса Времени! Друзья сердца!

В стихотворении точно передан пафос Миларайбы, который повествовал о себе в повести «Гур-Бум»:

Я, Миларэпа, осиянный великой славой,
Памяти и Мудрости дитя.
Хотя стар я, покинут и наг,
Из уст моих льется песня,

Ибо вся природа служит мне книгой.
Железный жезл в моих руках
Ведет меня через океан Жизни[15].

В книге Гонбожаба Цыбикова «Буддист паломник у святынь Тибета» есть описание статуи «певца людских страданий и блаженства, достигшего всеведения», изображаемого «истощенным, полунагим с распущенными волосами, приложившим правую руку к уху... Он, по преданию, сделался Буддой в течение одной жизни»[16]. (У Цыбикова, как и у Андреева, имя святого монаха – Миларайба.) Возможно, что Андреев мог видеть репродукцию картины Николая Рериха из серии «Врата Востока» «“Миларайпа Услышавший” – на восходе познавший голоса дэв». Правда, по свидетельству Василенко, они в те годы о Рерихе никогда не говорили.

В стихотворении Миларайба отчасти похож на православного монаха, спасающегося в пустыни. Увлеченный поэзией буддизма, Андреев пути собственного спасения неизменно связывал с христианством, а смысл жизни искал в инстинктивно ощущаемом предназначении открыть людям то, что должно было прежде приоткрыться ему, то, что он назовет Розой Мира. Учение Будды с проповедью ненасилия, сострадания и терпимости принималось им как явное провозвестие Розы Мира. Ему был близок буддийский универсализм и то, что в буддийский культ естественной частью входило искусство – от архитектуры до театральных представлений, музыки и танца, а буддийские монахи были поэтами и художниками, астрологами и философами. В паломническом дневнике Цыбикова рассказывается о том, как на базарных площадях и улицах Тибета появляются монахи и начинают декламировать религиозные поэмы, вывешивая изображения святых или Будд. Чаще всего среди них паломник видел изображения Падма-Самбави и Миларайбы[17]. В этом единстве поэзии и религии Андрееву виделся прообраз служений будущих верградов. Но согласиться с тем, что мир – иллюзорен, что действительность – Майя, грёза божества, не мог. Его друг, Василенко, говорил, что Андреев был равнодушен к буддизму. Это и так, и не так. Буддизм как религиозная система ему действительно не был близок. Он не мог не сочувствовать резким словам Владимира Соловьева о буддизме, «основной догмат которого есть совершенное ничтожество, “пустота” всего существующего и высшая цель – нирвана, полное погашение всякой жизни»[18]. Но «поэзию» буддизма, особенно тех давних времен, когда тот еще не был вытеснен из Индии, он прочувствовал и высоко ценил. По крайней мере, в стихах вместе с буддийским монахом-поэтом Андреев проходил «орлиными высотами» Непала и Тибета, нагорьями Индии, джунглями

Таиланда, азийскими степями и пустынями. Эти воображаемые странствия поэта, погружения в религиозные образы буддизма, индуизма, ислама сказались не столько «контурами доктрины» (а к ним он все время возвращался), сколько стихами. В главном замысле тех лет, в поэме «Песнь о Монсальвате», среди персонажей кроме христианских рыцарей значатся их современники – брамин Рамануджа, основатель школы вишишта-адвайта, и принадлежавший к школе Каджуд-па буддийский монах Миларайба. Не раз Андреев обсуждал с Коваленским таинственную тему перемещения центра Монсальвата и Грааля на Восток, в Гималаи. Позже, в «Розе Мира», место будет уточнено – Памир, и кратко сказано, что причины этого очень сложны.

4. Оранжевые зори

Василенко вспоминал о своей довоенной дружбе с Андреевым: «...я проводил часы многие годы, слушая его стихи, читая свои, восхищаясь его романтическо-поэтическими “воспоминаниями” о его жизни в двух иных мирах, где было несколько солнц (изумрудное, синее, такое, как наше) и были удивительные утра, и дни, и вечера, особенно когда эти солнца встречались утром и вечером; расходясь – тоже; жизнь там была счастливая – без войн, без злодеяний, все любили искусство, поэзию, не было страшных городов-спрутов, городов-чудовищ... Он, Данечка, был всегда влюблён в ослепительно прекрасных девушек, мечтательниц; в одну художницу, писавшую зори и вечера, когда два солнца встречались и расходились. Он очень ярко это описывал и говорил, что он помнит (цитирую на память): “Голубое солнце неохотно уступало место золотому, и мы (с нею) замирали в восторге, глядя, как голубые и золотые потоки света смешивались, голубые ослабевали, гасли, а золото заполняло всё мягким сиянием, очень были, Витя (это мне), красивы печальные кипарисы, – они там тоже были, – это дерево, Витя, есть и на других планетах, – они голубели, а потом растворялись в золоте и казались вылитыми из золота; ветра по утрам не было; они были неподвижны; золотом заливались – до дна – озера, – их мы видели с холма, где встречал я с моей возлюбленной восход, – и я слушал, как она произносила стихи... “Скажи, Даня, а ты помнишь эти стихи?” – наивно спрашивал я. “Нет, конечно, – отвечал Андреев, – но я помню, что они возвышенны и прекрасны”. Даня говорил и о жизни своей на земле в Индии: он был воином, она жрицей храма, и свою любовь он и она скрывали. Было это в давние времена, он подчёркивал – “когда складывались стихи ‘Рамаяны’ ”»[19]. Эти воспоминания подтверждают стихи:

Два солнца пристальных сменялось надо мною,
И ни одно из них затмиться не могло:
Как ласка матери, сияло голубое,
Ярко-оранжевое – ранило и жгло...

Тот мир угас давно – бесплодный, странный, голый...
Кругом – Земля в цвету, но и в земной глуши
Не гаснут до сих пор два древних ореола
Непримиримых солнц на небесах души.

«Рамаяна» начала складываться в IV веке до нашей эры и рассказывает о подвигах Рамы – царя солнечной династии. В ней память о религии Солнца, оставшегося в индийском пантеоне одним из главных божеств, не говоря о том, что оно воспевается поэтами, творцами религиозных гимнов. В забытой древности в Индии существовали храмы Солнца. Культ Солнца Мира, Храмы Солнца Мира, о которых писал Даниил Андреев, не были для него романтической грезой, они связывали древние цивилизации с грядущим царством Розы Мира. Способность, нет, скорее свойство переживать иные эпохи, жизнь иных народов, иные миры не как иллюзорные видения, а как подлинную, мистического происхождения реальность, наверное, и сделала описываемое им поэтически достоверным. Его романтические изображения, из каких бы разных эпох и миров ни возникали, становились частью поразительно целостного мира. Духовные странствия на восток и на запад, в Святую землю и в Индию, в Халдею и средневековую Испанию или Германию, в Египет были не путаными исканиями, а обретением своего. Сохранившиеся стихи 1935 года особенно разнообразны по исторической географии. Он видит себя родившимся и старящимся на берегу Меконга («Дикий берег»), духовным воином Ислама, вслушивающимся в протяжный ритм Корана («Я уходил за городскую стражу...»), каббалистом из Пражского гетто («Бар-Иегуда Пражский»)... И хотя эти стихотворения связаны с кругом тогдашнего чтения, все они движимы единой интуицией или мыслью, пусть еще смутно брезжащей, ведущей его. Ему верилось, что поэтические путешествия продолжатся, приведут к чаемому свету. О земных странствиях он писал по-иному: «Лечь в тебя, горячей плоти родина, / В чернозем, в рассыпчатый песок...»

Но ближе всего – о чем Андреев говорил не раз – была ему Индия, страна, где всё проникнуто религиозным отношением к жизни, всё связано с иными мирами. В индуизме множество разнообразных толков и течений, в нем приемлемо многое и отсутствует само понятие ереси. При этой широте, он определяет не только мировидение верующих, их отношение к природе – к священным горам, рекам, животным и растениям, но и всю органи-

зацию общества. А перенаселенный индуистский пантеон полон таинственной, причудливой поэзии. В нем боги и полубоги, множество сверхъестественных существ. Человеческая история, каждая личность, в ней участвующая, да и все живое включены в вечный круговорот вместе с божествами и существами иных миров. Учение о карме, в котором определялась ответственность человека за собственную судьбу не только в данной жизни, но и в иных рождениях, зависимость от нравственного выбора, он принял безусловно еще в отрочестве, прочтя Рамачараку. Для него карма – один из незыблемых принципов мироздания – «закон возмездия, железный закон нравственных причин и следствий». И «русские боги», кишащая демоническими существами изнанка мира, земные просторы, которые он видел одухотворенными многочисленными стихиалями, – весь его поэтический космос связан с представлениями индуизма. Пронизанность религиозностью, почти такая, какую он провозглашал как необходимое состояние будущего просветленного человечества, всей жизни Индии – так представлял ее, конечно по книгам, Даниил Андреев – было главным, что влекло его в страну сонма божеств, бесчисленных храмов и святых мест, где чтят не правителей и полководцев, а отшельников, святых и поэтов.

5. Нибелунги

Алла Александровна Андреева вспоминала: «В середине двадцатых годов, как мне кажется, на Москву обрушилось кино. <...> Во многих кинотеатрах шла немецкая двухсерийная картина “Нибелунги”. В “Арсе” ее сопровождал оркестр, игравший Вагнера. Фильм и вправду был прекрасным. Первая серия называлась “Зигфрид”, вторая – “Месть Кримгильды”. Я, конечно, влюбилась в Зигфрида: он был само совершенство. Кримгильда тоже была прекрасна, особенно ее длинные белокурые косы – несостоявшаяся мечта всей моей жизни.

<...> Даниил, тогда уже взрослый юноша, тоже смотрел этот фильм. Естественно, у него все было гораздо глубже и сложнее. Он влюбился в Кримгильду, да так, что каждый вечер ездил в кино, чтобы ее увидеть. Так было, пока в Москве, хоть где-нибудь, шла “Месть Кримгильды”. Он видел ее 70 раз! К тому времени относится замысел “Песни о Монсальвате” – ранней, юношеской неоконченной поэмы...»[20]

Трудно сказать, к тому ли времени, то есть к 25-му или 26-му году, относится замысел «Песни о Монсальвате» или к более позднему. Но писать поэму Андреев начал в 35-м. А заме-

чательный фильм Фрица Ланга, вышедший на экраны Германии в 1924 году, один из классических фильмов немого кино, произвел на него впечатление, оставшееся надолго. О нем можно судить по другой его поэме – «Кримгильда», впрямую связанной с «Нибелунгами». Фильм в середине двадцатых увлеченно смотрели по всей Европе, а не только в Москве. Малахиева-Мирович, описывая (1 апреля 1926) ночной Арбат, упоминает тогда шедший в «АРСе» фильм: «И тут же рядом Зигфрид снится / Стенам облупленным Кино. / С драконом Фафнера сразиться / Во сне опять ему дано». Даниилу Андрееву навсегда запомнились и Пауль Рихтер – Зигфрид в сопровождении двенадцати рыцарей, и Маргарет Шён – Кримгильда, клянущаяся «вражеской кровью» и «беззакатной любовью». Наверное, именно с тех пор он страстно полюбил кино. В образе мстительницы Кримгильды ему виделось не осуществление кровной мести, а воплощение закона нравственных причин и следствий – «кармы». Но главным было мистериальное – так ему виделся фильм – содержание эпоса. Гигантские замки и соборы в таинственной дымке, гранитные лестницы, мосты, зубчатые стены с башнями, дремучие леса с фантастически могучими деревьями, огромный, правдоподобно живой дракон – вся монументальная пластика фильма, его экспрессионистское Средневековье в тевтонском обличье оживляли рыцарские времена и мифы.

Конечно, этот фильм сказался и на его видении темных миров, и на кинематографическом, вагнеровском колорите его рыцарских поэм «Титурэль», «Песнь о Монсальвате», «Кримгильда». Но более всего повлиял на замысел «германского» цикла поэм Даниила Андреева Рихард Вагнер «Кольца Нибелунгов» и «Парцифаля». Вагнеровскую музыку часто исполняли в доме – дядюшка на рояле, Коваленский на фисгармонии. С увлечением Андреев читал вагнеровские мемуары – «Моя жизнь». Его вагнерианство связывалось с вагнерианством символистов, Блока. Кроме того, немецкая культура – не случайно он родился в Берлине – была для него одной из самых близких. Многие русские поэты были германофилами.

6. Монсальват

О замысле и об источниках «Песни о Монсальвате» Даниил Андреев рассказал в «Розе Мира»: «Небесная страна Северо-западной культуры предстаёт нам в образе Монсальвата, вечно осиянной горной вершины, где рыцари-праведники из столетия в столетие хранят в чаше кровь Воплощённого Логоса, собранную Иосифом Аримафейским у распятия и переданную стран-

нику Титурэлю, основателю Монсальвата. На расстоянии же от Монсальвата высится призрачный замок, созданный чародеем Клингзором: средоточие богоотступнических сил, с непреоборимым упорством стремящихся сокрушить мощь братства – хранителей высочайшей святыни и тайны. Таковы два полюса общего мифа северо-западного сверхнарода от безымянных творцов древнекельтских легенд, через Вольфрама фон Эшенбаха до Рихарда Вагнера. Предположение, будто раскрытие этого образа завершено вагнеровским "Парсифалем", отнюдь не бесспорно, а пожалуй, и преждевременно. Трансмиф Монсальвата растёт, он становится всё грандиознее. Будем же надеяться, что из толщи северо-западных народов ещё поднимутся мыслители и поэты, кому метаисторическое озарение позволит постигнуть и отобразить небесную страну Монсальват такой, какова она ныне».

Но не только потому, что поэту недостало «метаисторического озарения», осталась незаконченной «Песнь о Монсальвате»...

У Гёте есть неоконченная поэма «Тайны», вернее – ее фрагмент. Он издавался по-русски первый раз в переводе А. А. Сидорова, знакомого Андрееву по ВГЛК, второй – в переводе Пастернака. Оба раза с предисловием Рачинского, преподававшего на тех же Литературных курсах, а в третий, уже в 1932 году, в переводе Сергея Васильевича Шервинского. И с Рачинским, поседелым редактором сочинений Владимира Соловьева, и с бодрым Шервинским был знаком Коваленский, в те годы также пытавшийся переводить Гёте. «Тайны» не могли не заинтересовать Андреева, хорошо помнившего октавы «Посвящения» к «Тайнам». «Посвящением» традиционно открываются сочинения «светоносного» поэта. В примечаниях к фрагменту Гёте так говорит о сюжете поэмы:

«...Юный монах, заблудившийся в гористой местности, обнаруживает наконец в приветливой долине величественное здание, заставляющее его предполагать, что это – обитель благочестивых, таинственных мужей.

Там он находит двенадцать рыцарей, которые, перенеся жизнь, теснившую их трудами, страданиями и опасностями, приняли обет жить здесь и в тиши служить Богу. Тринадцатый, в котором они признают своего главу, как раз готов с ними расстаться; каким образом – остается скрытым. Однако он за последние дни начал повествование о своем жизненном пути, о чем в кратких намеках сообщается новоприбывшему и гостеприимно встречен-

ному духовному брату». Дальше Гёте сообщает «общий план, а этим самым и назначение поэмы», говоря, что им «имелось в виду провести читателя через нечто вроде идеального Монсеррата, с тем, чтобы, следуя по пути, проложенному на самых различных высотах гор, скал и утесов, при известных обстоятельствах выйти на обширные и привольные равнины. Он посетил бы каждого из рыцарей-монахов в его обители и, созерцая климатические и национальные различия, узнал бы, что отменнейшие мужи могут со всех концов земли стекаться сюда, где каждый из них в тиши по-своему почитал бы Божество».

«За сим обнаружилось бы, – продолжает поэт, – что каждая отдельная религия достигает момента своего высшего цвета и плода, в который она приблизилась к этому верховному вождю и посреднику, мало того, – всецело с ним воссоединилась».

«А так как все это действие совершается в страстную неделю, и главный отличительный знак этого сообщества – крест, увитый розами, легко можно предвидеть, что запечатленная пасхальным днем вековечность повышенных человеческих состояний во всей своей утешительности обнаружилась бы и здесь...»

В этом изложении мы видим присутствие мотивов, близких Даниилу Андрееву, но важнейшие для него, – соединение религий, мистическое содружество двенадцати рыцарей-монахов, образ розы и креста...

Замысел «Тайн» Рачинский, истолковывая поэму, связывал с загадочным орденом розенкрейцеров, с преданиями о котором Гёте был хорошо знаком, но подчеркивал, что в обители Монсеррат нет оснований видеть Монсальват с Граалем, хотя простец монах и может напомнить отдаленно вагнеровского Парсифаля. Небезынтересным для Андреева могло быть замечание Рачинского, что «из креста и розы роза была ближе великому поэту, создавшему... тот величественный гимн Богоматери, каким является вся последняя сцена “Фауста”...»[21]. Тем не менее в «Песни о Монсальвате» Даниила Андреева нельзя не ощутить, пусть очень отдаленного, отзвука таинственного замысла Гёте.

7. Грааль

Вдова поэта считала «Песнь о Монсальвате» ранней юношеской поэмой. Согласиться с этим трудно, несмотря на то что поэма осталась незаконченной и ее нельзя отнести к большим удачам поэта. Во-первых, «Песнь о Монсальвате» он задумал на рубеже тридцатилетия; во-вторых, слишком дорог был ему замысел, не оставлявший поэта на протяжении трех лет.

Сказание о Святом Граале имеет сложную и до конца не выясненную историю. В кельтском мифе лишь один из его истоков. Мистическое предание о Святом Граале в XII веке предстало во французской литературе сочинением Кретьена де Труа «Персеваль, или Повесть о Граале», затем в немецкой романом Вольфрама фон Эшенбаха «Парцифаль», по сюжету которого в 1882 году Рихард Вагнер написал знаменитую оперу[22]. Предание таково: Иосиф Аримафейский, член синедриона и тайный ученик Христа, после распятия, как повествуется в Евангелии от Иоанна, выпросил Его тело у Пилата и предал погребению. Согласно средневековому преданию, он и собрал кровь Иисуса Христа в Чашу. Чаша была вознесена на небо, а затем вручена ангелом Титурэлю и хранится в таинственном замке – Святом Граале. Отыскать замок и обрести Чашу могут лишь чистые сердцем.

Предание о Граале, известное по рыцарским романам, как считается, восходит к эзотерическим сказаниям и христианским апокрифам, таким как «Евангелие от Никодима». Но сказались на «Песне о Монсальвате» не эзотерические источники, открытые лишь неким посвященным, а опера Вагнера «Парцифаль», откуда взяты и большинство действующих лиц, и само название замка, где таинственные рыцари хранят Грааль. Вагнер связывал с легендой о Граале и «Нибелунгов», поэтому его оперный цикл «Кольцо Нибелунгов» и «Парцифаль» предстают частями единого романтизированного национального мифа. Но главное, что их объединяет, – сосредоточенность на изображении борьбы сил Света и Тьмы. Его оперы – мистерии, и Даниилу Андрееву именно этим близок Вагнер, именно так он его воспринимает и в этом ему следует, хотя в своем замысле идет дальше. А позднее, в «Розе Мира», миф о Граале становится частью его собственного мифа о мироздании.

Среди действующих лиц «Песни о Монсальвате» не случайно названы брамин Румануджа и буддийский монах Миларайба, которые, видимо, должны были по логике сюжета прийти к Граалю вместе с христианами, что говорит об одной из первых попыток поэта соединить Восток и Запад, «лепестки» разных вер. Наверное, не случайно введены в поэму служители замка тьмы и гибели – военачальник араб Аль-Мутарраф и первый из двенадцати зодчих Клингзора – Бар-Саамах. Но в завершенных частях поэмы о Раманудже, Миларайбе и Бар-Саамахе не говорится, хотя очевидно, что именно с их появлением и должны были разрешаться главные коллизии поэмы, художественная логика которой, видимо, и помешала ее закончить. Сюжет исчерпал себя, не дойдя до задуманной развязки.

Но, работая над поэмой, Андреев пережил миф о Граале в том широком смысле, в котором его воспринимал. Этот миф, вагнериански окрашенный, для него стал главным в западноевропейской культуре, определяющим и объясняющим многое. В «Розе Мира» он говорит: «Фауст, конечно, не Мерлин; байроновский Каин – не Клингзор; Пер Гюнт – не Амфортас, а гауптмановского Эммануэля Квинта, на первый взгляд, просто странно сопоставлять с Парсифалем. Образ Кундри, столь значительный в средоточии мифа, не получил, пожалуй, никакой равноценной параллели на его окраинах. С другой стороны, никаких прообразов Гамлета и Лира, Маргариты или Сольвейг мы в средоточии Северо-западного мифа не найдём. Но их взор туда обращён; на их одеждах можно заметить красноватый отсвет – то ли Грааля, то ли колдовских клингзоровских огней. Эти колоссальные фигуры, возвышаясь на различных ступенях художественного реализма, на различных стадиях мистического просветления, похожи на изваяния, стерегущие подъём по уступам лестницы в то святилище, где пребывает высочайшая тайна северо-западных народов – святыня, посылающая в страны, охваченные сгущающимся сумраком, духовные волны Промысла и благоволения.

Разве блики от излучения этой святыни – или от излучения другого полюса того же мифа, дьявольского замка Клингзора – мы различаем только на легендах о рыцарях Круглого стола? или только на мистериях Байрэйта? Если Монсальват перестал быть для нас простым поэтическим образом в ряду других, только чарующей сказкой или музыкальной мелодией, а приобрёл своё истинное значение – значение высшей реальности, – мы различим его отблеск на готических аббатствах и на ансамблях барокко, на полотнах Рюисдаля и Дюрера, в пейзажах Рейна и Дуная, Богемии и Бретани, в витражах-розах за престолами церквей и в сурово-скудном культе лютеранства. Этот отблеск станет ясен для нас и в обезбоженных, обездушенных дворцовых парках короля-солнца, и в контурах городов, встающих из-за океана, как целые Памиры небоскрёбов. Мы увидим его в лирике романтиков и в творениях великих драматургов, в масонстве и якобинстве, в системах Фихте и Гегеля, даже в доктринах Сен-Симона и Фурье. Потребовалась бы специальная работа, чтобы указать на то, что могущество современной науки, чудеса техники, равно как идеи социализма, даже коммунизма, с одной стороны, а нацизма – с другой, охватываются сферой мифа о Монсальвате и замке Клингзора. Ничто, никакие научные открытия наших дней, кончая овладением атомной энергией, не выводят Северо-западного человечества из пределов, очерченных пророческой символикой

этого мифа». Эти мысли, высказанные в «Розе Мира», и есть итог пути, начатого в «Песне о Монсальвате».

Мистический миф о Граале давно реял рядом с Даниилом Андреевым. У той же Малахиевой-Мирович. В 18-м она обращалась к подруге: «Предав земле сожжение земное, / В далекий Молнсальват идем, / Где, Грааль святой ревниво сохраняя / И не сходя с заоблачных вершин, / Тебе и мне дорогу озаряет / Грааля рыцарь Лоэнгрин».

Замысел «Песни о Монсальвате» захватил и близких друзей Даниила Андреева. Василенко вспоминал: «Особенно много он мне рассказывал о Монсальвате, о чаше Святого Грааля. Он говорил о трубадуре, который всю жизнь посвятил поискам Монсальвата и в конце концов умер где-то на Востоке, за Ираком, так и не найдя его.

Даня, писавший о Монсальвате, говорил, что в прошлой жизни приходил к Граалю. Храм он видел с близлежащих склонов, дальше его не пустили.

Что здесь было от действительного знания, а что от поэтического воображения – не знаю. Но меня тогда тема Грааля очень волновала, я был под большим влиянием Дани. Я даже написал стихотворение “Монсальват”:

Азийские дремлют горы.
Безлюдье, холод окрест,
но блещет в небе собора
спасающий вечный крест. <...>

Тропинки ведут к истокам
могучей горной реки.
С вершин в молчанье глубоком
спускаются ледники.

Никто никогда там не был,
никто еще не видал,
как чисто вечное небо
над высью пустынных скал!

И лишь пастухи слыхали,
идя по горной тропе,
как где-то в туманной дали
печально колокол пел. <...>

Это стихи 1939 года. Тогда я буквально подражал Дане. Потому что он был не просто мастер. Он был поэт глубокого внутреннего содержания. Содержания, подобного которому я не встречал. Оно поражало»[23].

В главе «Замок Святого Грааля» романа Солженицына «В круге первом» пребывавший в Марфинской «шарашке» вме-

сте с автором Ивашев-Мусатов назван Ипполитом Михайловичем Кондрашевым-Ивановым. Нарисован портрет странного художника по-солженицынски резко, почти карикатурно, но документально точно, так, что мы можем представить друга Даниила Андреева, рыцарски искавшего в сталинской Москве Святой Грааль. В главе рассказывается о самом заветном замысле Ивашева-Мусатова, о задуманном полотне, которое он называл главной картиной своей жизни. На ней должен был быть изображен Парсифаль, увидевший свет *оттуда* и стоящий «в ореоле невидимого сверх-Солнца сизый замок Святого Грааля», то есть то, о чем говорится в поэме «Песнь о Монсальвате». Ивашев-Мусатов был человеком мистически настроенным, это и сблизило его и с Коваленским, и с Даниилом Андреевым. Написанный позже вариант картины о Святом Граале художник подарил Солженицыну.

Почему средневековое предание так увлекло поэта и его друзей? В «Запеве», с которого и началась поэма, датированном 8 сентября 1935 года, поэт обращается к «вечной святыне»: «Помоги же нам в горестной битве / В этом темном тесном краю!» Он верит, что в мире существуют и святыня, и братья «с белых вершин Монсальвата», молящиеся за тех, кто оказался в мглистом мире «разрушенья и смут». Эта вера и сосредоточилась в страшные для России годы в предании о Граале, ставшем для горстки мистически настроенных мечтателей единственной надеждой там, где, кажется, силы Тьмы восторжествовали. Помощь в горестной битве могла быть только мистической, надежда брезжила – только в молитве и вере. Поэты искали веры поэтической. В стихотворении 1936 года Даниил Андреев, прямо не упоминая ни о Монсальвате, ни о поэме, говорит о тех вдохновенных ночах, когда он писал ее, опровергавших ложь дня, «подобного чертежу», о том, что его привязало к средневековому сюжету:

Вот, стройный пик, как синий конус ночи,
Как пирамида, над хребтами встал:
Он был, он есть живое средоточье,
Небесных воль блистающий кристалл.

Он плыл, звуча, ковчегу Сил подобный,
Над гребнями благоговейных гор,
И там, на нем, из синевы загробной,
Звенел и звал невоплотимый хор...

«Стройный пик» – Монсальват, «Гора Спасения». Вера в нее, когда он писал поэму, была непреложной. Но путь поэта вместе со своими героями и близкими друзьями к Монсальвату и Граалю

оказался лишь частью пути, который должен привести к тому, что он назвал Розой Мира.

8. Автопортрет

Зима и весна 1936 года были заняты сочинением «Песни о Монсальвате». Он увлекался, поэма, казалось ему, лучшее, что им написано. Вдохновенные ночи сменялись тягостной депрессией, сомнениями, тоской. Весною заболела Елизавета Михайловна, проболев целый месяц. Как он сообщал брату, ее мучила «злокачественная флегмона в соединении с жестокими приступами малярии»[24]. Пока мама Лиля не выздоровела, в доме, на ней державшемся, было неуютно, тревожно.

Ему в «скрежещущем городе» не хватало природы. На месте снесенных храмов зияли котлованы и пустыри, и самый большой из них, продуваемый сырыми ветрами, располагался рядом, на месте храма Христа Спасителя. Чем больше старую Москву разрушали, тем громогласней трубили о сталинском плане ее реконструкции. Но рушили быстрей, чем строили. После зимы, легко прикрывавшей все прорехи белоснежьем, это бросалось в глаза. Той весной он писал: «Оттого ль, / что в буднях постылых / Не сверкнет степной ятаган, / Оттого ль, / что течет в моих жилах / Беспокойная / кровь цыган – / Оттого / щемящей тоскою / Отравив мне краткий приют, / Гонит страстный дух непокоя / В мир и в марево / жизнь мою». В конце апреля он едет за город: подышать лесной свежестью, сырой очнувшейся землей, первой пробивающейся зеленью.

Ему не хватало, притом что он всегда жил окруженный дружеской приязнью и интересом, близкого человека, такого, с которым можно было бы говорить о сокровенном. Говорить о себе, о мучавшем его, пусть и не открываясь до конца, было легче не с ближними, как это бывает, а с дальними. В середине мая, отвечая на печальное письмо Евгении Рейнфельд, которая делилась своими несчастьями, он ищет в ней сочувственную женскую душу. Письмо исповедально.

«Иногда я чувствую Вас очень близкой; несмотря на то, что я Вас очень мало, в сущности, знаю, мне кажется, что я если и не понимаю, то чувствую нечто в Вас, быть может, главное; и убежден, что и у Вас есть внутреннее понимание моей линии жизни. (Косноязычная вышла фраза, но ведь это не так важно, правда?) Моя жизнь сейчас проходит однообразно и почти совсем без внутреннего света, как и всегда весной. Это четко выраженный годовой цикл с июля по январь – линия восхождения, затем – спад.

Кончается все каждый раз гнетущим депрессивным состоянием, с которым я в этом году пытался бороться с особенной настойчивостью, но толку от этого получается мало. Причин этой прострации – 4, между ними 1 внешнего характера, две – исключительно внутреннего, а одна, так сказать, спонтанного. Эта последняя заключается в том, что было отчасти выражено в одной поэмке об Индии, которую я Вам однажды читал. До 30-летнего возраста блуждать в поисках единственно пленяющего образа, отсекая в себе все ростки живого тяготения к другим, – это не только мучительно, но (очень может быть) это ошибка, непоправимая, калечащая душу и жизнь.

Что же касается одной из внутренних причин, то здесь дело заключается в том, что я, по своим интеллектуальным, волевым и пр<очим> данным – только поэт; и вместе с тем с детских лет не смолкает голос, требующий *деланья*. “Пока не требует поэта...” – это формула *данного*, но не *должного*. $1^1/_2$ года назад я сделал попытку в этом направлении, но продержался на нужной линии едва полгода. Не хватает рел<игиозно>-волевых сил, да и даже просто нервных и физических сил. Сорвавшись, я с тех пор сделал столько шагов назад, так регрессировал во всех смыслах, даже не имеющих сюда прямого отношения (напр<имер>, интеллектуальном), что сейчас ни для чего, кроме холодного уныния, нет оснований.

Осенью я начал большую поэму из эпохи крестовых походов – свободная вариация на тему центрального мифа позднего средневековья, – очень свободная, озаренная тем пониманием, которое возможно только для человека нашей эпохи и страны. (Впрочем, действие поэмы протекает на пороге XII и XIII вв. И в ней фигурируют, наряду с вымышленными мною, и традиционные персонажи, например, Лоэнгрин.) Вещь будет очень объемистая. Написана треть. В художественном (да, впрочем, и в других) отношениях она, к счастью, оставила далеко за собой написанное мною прежде. Сейчас эта поэма – единственное, что по-настоящему заставляет меня хотеть жить: хотя бы для того, чтобы кончить ее. Материальные дела плохи, поехать летом не удастся, по-видимому, никуда.

Здоровье же очень и очень требует ремонта: я что-то совсем захирел. К сожалению, мне отпущен природой непропорционально малый запас сил. В таком возрасте, а уже приходится их экономить и рассчитывать, задавшись целью протянуть еще десяток лет. (Впрочем, если условия труда изменятся, может хватить и на большее.) Главное, главное: успеть воплотить хотя бы основное из того, что неотступно стоит перед душевным зрением.

Весною до чего трудно, мучительно трудно в городе! Поднимает голову беспокойный дух странствий, и такая смертельная тоска от этой проклятой прикованности к одной точке! Одним словом,

...бросить бы жизнь на кочующий вал,
Поверив лишь морю, как старшему брату!

Ездил раза 3 за город, слушал жаворонков, вел всякие игры в еще лишенном тени лесу, шлялся по-цыгански босиком по талым топям и делал многое другое, что возможно только там, в природе. Но эти однодневные поездки вообщем только разжигают жажду.

Простите меня за такое минорное письмо, надеюсь, что через месяц-два кончится эта меланхолия»[25].

Но и в этом письме Даниил не выговорился до конца, удержался от многих признаний. Через несколько дней он пишет брату, продолжая вглядываться на рубеже тридцатилетия в самого себя, рисуя автопортрет:

«Твоя карточка, родной мой, свидетельствует о том, что у нас действительно много общего, и не в одной только внешности. Но на тебя жизнь наложила печать таких страданий, каких я, живущий и живший всегда в своей родной стране и в своей любящей семье, не знал и не мог знать. Не подумай, что моя жизнь была безбедной и беспечальной, – но тяжелое в ней было другого рода, чем в твоей, особенно до твоей встречи с Олей. Внешне я выгляжу не моложе тебя. Думаю, что при очень большом внутреннем сродстве, мы отличны друг от друга во многих более периферических чертах: в чертах характера, в темпераменте, в некоторых вкусах и склонностях и т. п. (Между прочим, кроме всего остального, ты ужасно интересуешь меня как человек, пожалуй, даже я бы сказал – как личность, индивидуальность.) Ты спрашиваешь меня: курю ли я? Да, и даже очень усиленно. Занимаюсь ли спортом? К сожалению, должен ответствовать отрицательно. Спортивная жилка во мне совершенно отсутствует, и это мне очень досадно еще и потому, что здоровье у меня совсем скверное и спорт мог бы кое-чему помочь (особенно, если бы я занимался с мальчишеских лет). Скверное здоровье заключается в постоянной слабости, головных и пр<очих> болях, пониженной работоспособности и т. п. Многое я порчу себе и своим образом жизни: двойной нагрузкой (графической и литературной), ночными занятиями, беспорядочным сном. Будущей зимой, вероятно, придется взять себя в руки и заняться лыжами. Разное у нас отношение и к воде: я знаю, что ты ее любишь – знаю давно, с тех пор, как вы жили на

берегу океана (или Бискайского залива?). Я очень люблю воду, как элемент пейзажа, – нет, даже не пейзажа – в этом слове есть что-то специфически-художническое – а как элемент, ощущаемый через зрение. Ведь есть и другое ощущение природы: восприятие ее всеми фибрами, всем существом, слухом, осязанием, обонянием, даже волосами и подошвами ног. И в этом аспекте я больше люблю мир земли и растительности, чем воду. Между прочим, я унаследовал от папы страсть к хождению босиком – удовольствие, наверное невозможное в Зап<адной> Европе, но доступное у нас (за городом), где совершенно другие обычаи и где нет этого чудовищного нагромождения условностей.

Когда-то, в ранней юности, я любил город, но теперь давно уже утерял вкус к нему и ужасно мучаюсь без природы, прикосновение к которой возможно для меня сейчас только урывками. Насколько я не понимаю прелести зимы, терпеть не могу холода и из зимней красоты могу воспринимать только иней, настолько же люблю – до самозабвения – зной, бродяжничанье по лесам, лесные реки и вечера, ночи у костров, холмистые горизонты, даль – русскую “среднюю полосу” и Крымские горы, – без этого совсем не могу жить.

Хочу еще дать тебе некоторые вехи – некоторые указания на мои частные вкусы и склонности, симпатии и антипатии – это отчасти поможет тебе представить мой внутренний мир.

Я люблю:

Восток больше Запада. (Одной из моих больших жизненных ошибок была та, что я не поступил вовремя в Институт Востоковедения, – мне хотелось бы быть индологом. А теперь уже поздно, нет ни достаточного запаса сил, ни матер<иальных> возможностей.)

В истории Запада мне ближе всего XII–XIII века.

Музыка: Бах, Вагнер, Мусоргский. В особенности Вагнер.

Боттичелли, Фра-Анжелико, но на первом месте среди них – Джотто.

Врубель.

Дон-Кихот. Пер Гюнт.

Тютчев.

Внятен “сумрачный германский гений”, но к острому галльскому смыслу я более чем равнодушен. Исключая Флобера, Мопассана, Верлэна и некоторых драм Гюго, фр<анцузская> лит-ра чужда мне. Крайне неприятен Франс (кроме 2–3 вещей). Очарования А. Ренье не понимаю и скучал, читая его, так же, как (увы) над Стендалем. Очень враждебен Теофиль Готье и все представляемое им направление искусства вообще. Впрочем, фр<ан-

цузскую> лит<ерату>ру недостаточно знаю, но и как-то не ощущаю сейчас потребности пополнять свои знания в этой области.

“Пиквикский клуб” перечитываю почти ежегодно.

Лермонтов и Достоевский возвышаются надо всем.

Из древних культур, к которым вообще чувствую большую склонность, особенно люблю, не перестаю удивляться – благоговейно удивляться – Египту.

После лит<ерату>ры на 2-м месте по силе впечатляемости стоит для меня архитектура (а затем уже музыка и живопись). Наиболее близкие стили: Египет (очень люблю эпоху XIII дин<астии>), готика, арабская архитектура, и южно-индийская XVII–XVIII вв.

В области “точных наук” отличаюсь сказочной бездарностью. Кажется, кроме таблицы умножения, не смог усвоить ничего. Одно время увлекался астрономией, но более серьезному знакомству с ней помешало именно это отсутствие математических способностей и отвращение к математике. Оно же отпугнуло меня в свое время от дороги архитектора.

Не обладаю, к сожалению, также и способностью к ремеслам. Совершенно лишен дара рассказывания. Речь, вообще, затрудненная, – м<ожет> б<ыть>, следствие, отчасти, образного мышления.

Некоторые из отрицательных черт характера: лень, эгоцентризм, вспыльчивость, любовь к комфорту.

Люблю долгие зимние ночи в тихой комнате над книгами и бумагой.

Но наряду с этим не прочь иной раз повеселиться самым бесшабашным образом (впрочем, теперь – реже); очень коротко знаком мне дух непокоя и странствий.

Солнце люблю больше, чем луну, но вечер больше, чем утро»[26].

И в следующем письме он продолжает вглядываться в себя, уже на фоне представлений о брате: «Из твоего последнего письма мне стало ясно: там, где мы с тобой не сходимся, мы дополняем друг друга. Ты очень деятелен, я – как говорится, натура “созерцательная”; ты любишь работать руками, я – ненавижу даже греблю; ты вообще представляешься мне в разных формах физического движения; я – больше всего люблю лежать и предаваться пленительному ничегонеделанию; и при всем том, даже в этих контрастах мы являемся как бы двумя сторонами одного существа. А до чего много совпадений, даже в подробностях. Любовь к остротам, и притом, увы, таким, от которых веселишься только сам, свойственна мне столько же, сколько и тебе; сколько коми-

ческих сцен разыгрывалось на этой почве между мной и дядей Филиппом! Надо сказать, что он – необыкновенно благодарный объект для всякого рода мистификаций: он простодушен и доверчив, как ребенок.

У нас с тобой пристрастие даже к одним и тем же знакам препинания: к тире и к тире с запятой».

Заканчивая письмо, Даниил, обращался к брату: «В следующем письме я продолжу начатую нами линию: о вкусах, склонностях, чертах характера. Продолжай и ты: не знаю, как для тебя, но для меня это очень важно и удивительно радостно: я полнее, полнокровнее ощущаю тебя» [27].

Самоанализ в письмах был тем увлекательнее, что помогал и преодолевать приступы отчаяния, тоски, и отчетливее представить старшего брата, его «внутренний строй». Строй был похожим, мировидение разным. Письма наталкивали на воспоминания об отце, о детстве, воспоминания становились стихами. Тогдашние стихи Даниила об отце перекликаются со стихами о нем, вряд ли ему известными, Вадима, написанными в другие годы. Сказалась родственность переживаний. Схожим оказался даже почерк братьев. Но они не виделись уже два десятилетия.

9. Смерть Горького

«К Ек<атерине> Пав<ловне> и Бабелю я еще не ходил сознательно, т<ак> к<ак> еще не вернулся из Крыма А<лексей> М<аксимович>, где он провел всю зиму и весну. Но в первых числах июня я разовью бешеную энергию»[28], – писал Даниил брату, не оставлявшему попыток вернуться на родину. Что на самом деле происходило в стране, ударно строящей социализм, ни он, ни его просоветски настроенные товарищи не знали. В хлопотах Вадим Андреев рассчитывал и на казавшихся из-за рубежа весьма влиятельными знакомых советских писателей, и – главное – на помощь Алексея Максимовича, казавшегося вторым после Сталина человеком в СССР. Даниил позже писал в автобиографии, что Горький действительно пытался помочь и даже «довел дело до Иосифа Виссарионовича, от которого получил уже устное согласие. Оставался ряд формальностей...» Откуда было знать об истинных отношениях «буревестника» и «вождя», державшего «великого пролетарского писателя» мертвой хваткой. Побывавший у крестного Андреев, даже обедавший у него за одним столом вместе с Генрихом Ягодой, своему другу Глебу Смирнову, если верить свидетельству его сына, говорил: «Дом Горького – какой-то чекистский обезьянник...»

Горький вернулся из Крыма 27 мая уже не совсем здоровым, 1 июня на даче в Горках слег с температурой. Начиная с 6 июня в «Правде» публикуются тревожные бюллетени о состоянии здоровья Горького. 18-го он умер. Смерть Горького стала предвестьем новой волны террора. Через два года виновниками смерти великого пролетарского писателя оказались врачи-убийцы – домашний врач Горького Левин и «содействовавший этому преступлению» Плетнев.

21 июня Даниил писал в Париж: «Дорогой мой брат, прежде всего – не падай духом. Тот факт, что твое прошение было отклонено, еще не решает дела окончательно. Гораздо печальнее другое: смерть Горького. Благодаря тому, что он всю зиму и весну провел в Крыму, а по приезде тотчас заболел и уже не вставал, он не успел должным образом оформить твое дело. Е<катерина> П<авловна>, у которой я был в самых первых числах июня – тогда трагический исход его болезни никто не предвидел – считала, что Алексею Максимовичу осталось сделать небольшое усилие, чтобы сбылись твои желания. (Сама она мало что может сделать.) Мне теперь рисуется иная возможность. Недели через 2–3 (сейчас, непосредственно после смерти А<лексея> М<аксимовича>, это неуместно) я напишу Иосифу Виссарионовичу, и думаю, он сочтет возможным помочь нам. Одним словом, я отнюдь не оставляю надежду видеть тебя здесь в конце лета или осенью»[29]. Прекраснодушные надежды на приезд брата, конечно, не сбылись, хотя он продолжает хлопоты, вновь собирается пойти к Бабелю.

«Ты не подозреваешь, вероятно, как часто, почти беспрестанно я думаю о тебе; как ты воображаемо сопутствуешь мне в моих прогулках; и до какой боли, с мучением, жду я того часа, когда это из мира фантазии превратится в действительность»[30], – признавался он Вадиму.

Как раз во время предсмертной болезни Горького был опубликован проект «сталинской» Конституции.

10. Дивичоры

«Этим летом, вероятно, не удастся поехать никуда...»[31], – с грустью писал Даниил брату в мае, но уже через месяц бодро сообщал, что собирается в Трубчевск: «Отъезда жду с большим нетерпением, т<ак> к <ак> очень устал и чувствую себя нехорошо и в физическом, и в нервном отношении»[32]. Погода в Москве стояла на редкость хорошая, такая, какую он любил: солнце, жара, изредка грозы с шумными короткими ливнями. В доме стало тихо. Екатерина Михайловна собралась в Горький, повидаться

с сестрой и братом. Коваленские жили на даче у Леоновых на станции Белописецкая около Каширы, на Оке, где неделю с ними провела и Елизавета Михайловна. Ненадолго приезжал на дачу Леоновых Даниил. Там он познакомился с девятнадцатилетней Ириной Арманд, тут же в него безутешно влюбившейся, и ее родителями – Львом Эмильевичем (двоюродным братом знаменитой Инессы) и Тамарой Аркадьевной (родственницей отца Павла Флоренского). Ирина изучала английскую филологию, любила поэзию и была в родстве с семейством Репман. Это их сдружило.

В Трубчевск Даниил уехал в начале июля. За те три года, что он здесь не был, городок почти не изменился. И это его, приехавшего из Москвы, где многое менялось, радовало. Трубчевск, делился он восхищением в письме к жене брата, «стоит высоко над рекой, почти все домики в нем деревянные, окруженные яблоневыми садами. А на пожарной каланче каждый час бьют в колокол. Большинство улиц поросли зеленой травой и ромашками»[33]. Ему как раз нравилось то, что на улице вдоль заборов, на которые клонились яблони, белели ромашки. Здесь город не мешал зеленому простору, а словно бы вырастал из него, поднимаясь вместе с Соборной горой над поблескивающей внизу Десной.

«Можешь позавидовать: вот уже две недели, как отвратительное изобретение, называемое обувью, не прикасалось к моим ногам, шапка – к голове; прикосновение этих гнусных предметов заменено лаской теплого, нежного воздуха и материнской земли, – писал он в Париж из Трубчевска, жалея, что брата нет рядом. – Стоит удивительный, чарующий, мягко-обволакивающий зной, грозы редки, пасмурных дней нет совсем во все это лето, – это лето прекрасно, как совершенное произведение.

С круч, на которых расположен городок, открывается необъятная даль: долина Десны, вся в зеленых заливных лугах, испещренных бледно-желтыми точками свежих стогов, а дальше – Брянские леса: таинственные, синие и неодолимо влекущие. В этих местах есть особый дух, которого я не встречал нигде; выразить его очень трудно; пожалуй, так: таинственное, манящее раздолье. Когда уходишь гулять – нельзя остановиться, даль засасывает, как омут, и прогулки разрастаются до 20, 30, 35 километров. Два раза ночевал на берегах лесной реки Неруссы. Это небольшая река, которую в некоторых местах можно перейти вброд (но, в общем, довольно глубокая). Но даже великолепную Волгу не променяю я на эту, никому не известную речку. Она течет среди девственного леса, где целыми днями не встреча-

ешь людей, где исполинские дубы, колоссальные ясени и клены обмывают свои корни в быстро бегущей воде, такой прозрачной, такой чистой, что весь мир подводных растений и рыб становится доступным и ясным. Лишь раз в году, на несколько дней, места эти наводняются людьми; это – дни сенокоса, проходящего узкой полосой по прибрежным лужайкам. Сено скошено, сложено в стога (очень удобные, кстати, для ночевок) – и опять никого – на десятки верст, только стрекозы пляшут над никнущими к воде лозами. Ведь "Где гнутся над омутом лозы" написано здесь, на одном из ближайших притоков Десны, реке Рог.

Среди моих московских друзей нет никого, кто имел бы эту любовь к природе и бродяжничеству. Исключение – Шурочкин муж, но он – инвалид. Поэтому я почти всегда брожу один. И до чего же, до чего же не хватает тебя! Я теперь постоянно мечтаю о следующем лете, когда буду водить тебя по этим, священным для меня, местам.

Одно только обстоятельство смущает меня: Трубчевск не подойдет для Олюши, т<ак> к<ак> для того, чтобы увидеть настоящую, нетронутую природу, надо уходить очень далеко, а вокруг самого городка расположены неинтересные поля и однообразные луга, лишенные тени. Ну, да там посмотрим.

Через несколько дней, когда начнутся лунные ночи, я уйду на целую неделю в леса по течению Неруссы и Навли. М<ежду> прочим, в хорошем атласе ты мог бы найти эти места: это южнее Брянска, между Брянском и Новгородом-Северским.

Не знаю, может быть, с моей стороны нехорошо, что я так описываю тебе все это, – тебя еще сильнее потянет сюда, – но душа слишком полна, и я не могу не поделиться с тобою»[34].

Именно это трубчевское лето 1936 года широко вошло в его стихи вольными древнерусскими просторами, брянскими лесами.

С кронами, мерцающими в трепете;
Мощные осины на юру...
Молча проплывающие лебеди
В потаенных заводях, в бору:

Там, где реки, мирные и вещие,
Льют бесшумный и блаженный стих,
И ничьей стопой не обесчещены
Отмели младенческие их.

Лишь тростник там серебрится перистый,
Да шумит в привольном небе дуб –
Без конца, до Новгорода-Северска,
Без конца, на Мглин и Стародуб.

Старший сын Левенков, Всеволод, с июня прошлого года стал заведовать Трубчевским краеведческим музеем. Наступившим летом он со страстью любителя, получившего наконец профессиональный статус, занимался археологическими разысканиями. Обследовал «Холм», или, как еще называли это урочище на Неруссе, – «Осетинскую Дачу». У Жеренских озер обнаружил стоянки мезолита-неолита. Раскапывал курганы под Трубчевском – в Кветуни у Чолнского монастыря. Во всех этих местах Андреев не раз бывал и кое-где вместе с начинающим археологом. Но Всеволод Протасьевич настолько был занят разоренным музейным хозяйством и археологическими предприятиями, что виделись они редко. А в августе Левенок уехал на раскопки стоянки Елисеевичи и вернулся только в сентябре. Но их немногие разговоры оставили след. Герой вскоре начатого романа «Странники ночи» – Саша Горбов – археолог, и в одной из глав рассказано, как он возвращается из археологической экспедиции, работавшей рядом с Трубчевском. И деревня Кветунь на высоко взметнувшемся правобережье Десны, таящем остатки древнего городища, где, может быть, поначалу и располагался Трубчевск, манила его не только неоглядно распростертыми лесными далями. Рядом теснились бесчисленные курганы Литовских могил и Жаденовой горы, высился старинный Чолнский Спасский монастырь, от коего до нас дошли одни развалины. Как говорят ученые, раскапывавшие курганы, сюда, в древний Трубецк, православная вера пришла еще до Крещения Руси. Монастырь, уцелевший в Смутное время, советскую власть пережить не смог. А в те времена Андреев еще застал соборный храм Рождества Христова, колокол которого слышали даже в Трубчевске.

Здесь на полянах – только аисты,
И только цаплями изучен
Густой камыш речных излучин
У ветхого монастыря;
Там, на откосы поднимаясь, ты
Не обоймёшь страну очами,
С её бескрайними лесами,
Чей дух господствует, творя, –

эта строфа «Русских октав» о Кветуни, куда он поднимался от старицы Десенки крутыми откосами. С высокого берега, помеченного меловыми выходами, виделось далеко. Синелись луга, изрезанные непостоянством Десны, оставлявшей зарастающие осокой и лозняком старицы, подергивались голубой дымкой чащи брянского леса.

Кветунь угадывается в уцелевшем отрывке «Странников ночи». В нем Саша Горбов вспоминает похожие места: «Образы,

вспыхнувшие в его памяти, но только это были образы тихих хвойных дорог, похожих на светло-зеленые гроты, молчаливых полян, не вспоминаемых никем, кроме аистов. Открылась широкая пойма большой реки, овеянная духом какого-то особенного раздолья, влекущего и таинственного, где плоты медленно плывут вдоль меловых круч, увенчанных ветряными мельницами, белыми церквами и старыми кладбищами. За ними – волнообразные поля, где ветер плещется над золотой рожью, а древние курганы, поросшие полынью и серой лебедой, хранят заветы старинной воли, как богатырские надгробия. С этих курганов видны за речной поймой необозримые леса, синие, как даль океана, и по этим лесам струятся маленькие, безвестные, хрустально-чистые реки и дремлют озера, куда с давних пор прилетают лебеди и где он встречал нередко следы медведей...»

Судя по всему, Трубчевск в «Странниках ночи» занимал не меньшее место, чем в жизни автора. А это трубчевское лето как никогда отозвалось стихами. В них ожили и странствия прежних лет. Тогда, бродя у Неруссы и Навли, у Жеренских озер, скитаясь лесными тропами от кордона к кордону, восхищаясь и увлекаясь, в стихах он искал другого. В ожидании прорывов космического сознания, в чаяньях Индии духа, Даниил Андреев в поэзии жил тем же. Да он и не был поэтом непосредственного отклика, поэтом, у которого переживания, впечатления сразу становятся лирическим дневником. Чаще всего он писал о пережитом через годы, в его тщательно составленных, возводимых в ансамбль циклах оно становилось частью не сразу сложившегося, но предчувствуемого целого. Это целое – жизнь поэта.

Помеченных 1936 годом стихотворений немало, и они определили значимость для него «трубчевской» темы. В этом году был написан цикл, сложившийся в поэму «Лесная кровь». По словам вдовы поэта, ни истории, описанной в поэме, ни ее героини в действительности не было. «Героиня возникла из переживания автором романтики Брянских лесов, а внешность её Д. А. взял у жены своего друга, очаровательной, сероглазой, русокосой женщины, очень органично связывающейся с природой. Она об этом не знала и очень удивилась, когда я рассказала ей это на лагерных нарах (и она, и муж её были тоже взяты по нашему делу). Позже, в тюрьме, дорабатывая поэму, Д. А. усложнил образ героини некоторыми моими чертами – так он сказал»[35].

Но, судя по уцелевшим ранним вариантам стихотворений из «Лесной крови», восстановленный и дописанный в 1950-м цикл не стал иным. «Сероглазой» и «русокосой» была Елена Лисицына, жена Белоусова, а позже, через десятилетия, соперница Аллы

Александровны. И хотя нельзя не верить ее утверждениям, что героиня «Лесной крови» выдумана, как и героиня «индийской поэмы», но в своих путешествиях по трубчевским лесам он мог, пусть и мельком, увидеть дочь лесника с «невыразимыми глазами». И те черты, которыми он ее наделил, были не выдуманными, а увиденными, и характер ее – тот женский характер, который он почувствовал и в Галине Русаковой, и, может быть, в Евгении Левенок.

Недалеко от лесного урочища Дивичоры, на Лучанском кордоне, действительно когда-то жила семья лесника. Люди запомнили редкую красоту лесниковой дочери и то, что в тесной хате над речными кручами находили ночлег прохожие и проезжие. Перед войной лесник умер, жена и дочь перебрались в Кветунь, дом, от которого тропа спускалась к Десне, опустел. На Дивичорах Даниил бывал и вряд ли минул этот кордон. Однажды он рассказал жене, как в очередной раз твердо решив бросить курить, уехал в трубчевскую «глушь, в домик лесника, – не взяв с собой курева. Он решил, что так отвыкнет, но измучился и не написал ни строчки. А когда, возвращаясь, наконец попал на полустанок, с которого надо было садиться в московский поезд, первое, что сделал, – купил папиросы и закурил»[36]. Так что домик лесника, в котором он жил, не выдумка.

Но можно согласиться с тем, что дочь лесника, гордая и своевольная красавица брянских лесов, в поэме не портрет с натуры, а создание поэта, романтическая героиня. Языческое в ее натуре навеяно как раз теми урочищами и лесными заводями, где ему привиделась Дивичорская богиня. В поэме лесник встречается поэту в «глуши Барсучьего Рва». Он «плотен, как ствол, / Рыжеват, не стар. / Спокоен, слегка хитёр, / Но странно тяжёл / И белёс, как пар, / Его внимательный взор». Наутро лесник собирается в Старград, за которым прочитывается – Стародуб. Всё в поэме – лесные дороги, деснянские кручи, география и топонимика – конкретно и узнаваемо. И если героиня «Лесной крови» – создание поэта, то женский образ, мелькающий в других циклах, вряд ли только игра лирического воображения. Одно из «трубчевских» стихотворений, в котором он призывает себя отдаться природным стихиям, заканчивается так:

Когда же развеешь в полях наугад
Всех песен легкие звуки –
Отдать свой незримый, бесценнейший клад
В покорные
нежные
руки.

Здесь же сказано, что поэту необходимо «коснуться плоти народной» «по сёлам, по ярмаркам, по городам». Попытка «коснуться» – в неудавшейся, как считал поэт, поэме «Гулянка». В ней те же трубчевские впечатления 1936 года и та же романтическая история о короткой любви-страсти, перекликающаяся с поэмой о дочке лесника с тяжелым и внимательным взором. «Гулянка» и начинается со взгляда:

Ярко-желтый плат на косах,
Взгляд, внезапный, как ожог, –
Этой тайны глаз раскосых
Я с утра забыть не мог, –

а заканчивается объятием:

И сплелись до боли, муки,
В безыскусной простоте
Руки, руки, руки, руки,
Огневые руки те,
Что наслали этот морок.
В душу с самого утра...

Поэтому можно предположить, что трубчевским летом 36-го поэт пережил увлечение, о котором мы можем только гадать по его стихам.

11. Сквозь лес Вечного Упокоения

Называя в письме брату обувь отвратительным изобретением, Даниил Андреев не шутил, а высказывал заветное убеждение. Он уходил в странствия босиком, и его «религия» босикомохождения утверждалась на берегах Десны и Неруссы, на лесных тропах, где покалыванье хвои сменялось листвой и глиной, а осыпь оврага выводила на речной песок: «Да: земля – это ткань холста. / В ней есть нить моего следа».

В своих странствиях он редко оставался на ночлег в «душных хатах». Кров искал и находил – «необъятный, без стен и ключа» – в стогу, на охапке сена у полевой межи, чувствуя, как парит земля, нагретая дневным зноем, или устраивал ложе у костра где-нибудь над Неруссой. И шептал вечернюю молитву:

За путь бесцельный, за мир блаженный,
За дни, прозрачней хрустальных чаш,
За сумрак лунный, покой бесценный
Благодарю Тебя, Отче наш.

Свой путь он чаще всего начинал со спуска к Десне. В эти годы она была вполне судоходной, вниз, из Трубчевска к Новго-

роду-Северску, по ней сплавляли плоты, сводя еще остававшиеся по берегам мачтовые боры. Но славный Брянский лес, его сосняки и дубровы еще держались, не сдавая главные свои рубежи между Неруссой и Навлей. Хотя кое-где лес и отступал – много требовалось древесины стране во второй ударной пятилетке. В стихах Андреева об этом сказано мужественно и ясно, он в своих странствиях открыт сегодняшнему дню, его беспощадности и красоте:

Лес не прошумит уже ни жалоб, ни хвалы:
Штабелями сложены безрукие стволы.

Устланный бесшумными и мягкими, как пух,
Белыми опилками, песок горяч и сух.

Долго я любуюсь, как из мёртвого ствола
Медленно, чуть видимо является смола...

Эта бодрость и ясность взгляда соседствуют с трагизмом пережитого, почти на краю гибели во время блуждания по лесу, который он назвал лесом «вечного успокоения».

Июль 1936-го был особенно знойным, но он всегда любил жару и хорошо переносил. Один из путей странствий под солнцепеком описан так:

Неистощим, беспощаден
Всепроникающий зной,
И путь, мимо круч и впадин,
Слепит своей желтизной...

Люблю это жадное пламя,
Его всесильную власть
Над нами, как над цветами,
И ярость его, и страсть;

Люблю, когда молит тело
Простого глотка воды...
...И вот, вдали засинело:
Речушка, плетни, сады...

Еще один маршрут – в стихотворении «Из дневника». Судя по нему, он семь дней шел лесами, простирающимися между Неруссой и Навлей, притоками Десны, а на восьмой «открылся путь чугунный». Он вышел к узловой станции, к поселку Навля:

Зной свирепел, как бык пред стягом алым:
Базарный день всех поднял ото сна,
И площадь добела раскалена
Была перед оранжевым вокзалом.

То морс, то чай в трактире под окном
Я пил, а там, по светло-серой пыли,

Сновал народ и женщины спешили
За ягодами и за молоком.

Тем же вечером сел в поезд и, не заходя в переполненный душный вагон, стоя на подножке и «сжав поручень», видимо, вернулся в Трубчевск, поскольку навстречу «душмяным мраком» веял «пост “Нерусный”»...

Другой путь под палящим зноем описан в «Розе Мира»: «Однажды я предпринял одинокую экскурсию, в течение недели странствуя по Брянским лесам. Стояла засуха. Волокнами синеватой мглы тянулась гарь лесных пожаров, а иногда над массивами соснового бора поднимались беловатые, медленно менявшиеся дымные клубы. В продолжение многих часов довелось мне брести по горячей песчаной дороге, не встречая ни источника, ни ручья. Зной, душный как в оранжерее, вызывал томительную жажду. Со мной была подробная карта этого района, и я знал, что вскоре мне должна попасться маленькая речушка, – такая маленькая, что даже на этой карте над нею не обозначалось никакого имени. И в самом деле: характер леса начал меняться, сосны уступили место кленам и ольхе. Вдруг раскалённая, обжигавшая ноги дорога заскользила вниз, впереди зазеленела поемная луговина, и, обогнув купу деревьев, я увидел в десятке метров перед собой излучину долгожданной речки: дорога пересекала её вброд. Что за жемчужина мироздания, что за прелестное Божье дитя смеялось мне навстречу! Шириной в несколько шагов, вся перекрытая низко нависавшими ветвями старых ракит и ольшаника, она струилась точно по зелёным пещерам, играя мириадами солнечных бликов и еле слышно журча.

Швырнув на траву тяжёлый рюкзак и сбрасывая на ходу немудрящую одежду, я вошёл в воду по грудь. И когда горячее тело погрузилось в эту прохладную влагу, а зыбь теней и солнечного света задрожала на моих плечах и лице, я почувствовал, что какое-то невидимое существо, не знаю, из чего сотканное, охватывает мою душу с такой безгрешной радостью, с такой смеющейся весёлостью, как будто она давно меня любила и давно ждала. Она вся была как бы тончайшей душой этой реки, – вся струящаяся, вся трепещущая, вся ласкающая, вся состоящая из прохлады и света, беззаботного смеха и нежности, из радости и любви. И когда, после долгого пребывания моего тела в её теле, а моей души – в её душе, я лёг, закрыв глаза, на берегу под тенью развесистых деревьев, я чувствовал, что сердце моё так освежено, так омыто, так чисто, так блаженно, как могло бы оно быть когда-то в первые дни творения, на заре времён. И я понял, что происшедшее со мной было на этот раз не обыкновенным купа-

нием, а настоящим омовением в самом высшем смысле этого слова».

Рассказ звучит элегически. Но во время этого странствия он, попав в лес, охваченный пожаром, чудом остался жив. Аллегория «Божественной Комедии» Данте Алигьери – «Земную жизнь пройдя до половины, / Я очутился в сумрачном лесу...» – в судьбе Даниила Андреева здесь стала реальным переживанием. О своем сумрачном лесе, брянской непроходимой чащобе, он написал поэму «Лес Вечного Упокоения», в окончательном варианте названную «Немереча».

Случилось это в жгучем июле, когда солнце вступило в созвездье Льва, и ему, беззаботно пустившемуся в путь, верилось, что знойный ветер в трубчевские просторы летит, как в прапамяти, со священных многохрамных долин Нербадды, Ганга или Джамны. Вначале он шел вдоль Неруссы, миновав одну, вторую деревню, и углубился в такую чащу, где уже не встречалось ни души и только птичий щебет и свист осеняли одиночество.

Неожиданно он увидел быстро поднимающиеся над чащей плотные белоснежные клубы, сквозящую между деревьями, над подлеском голубоватую дымку лесного пожара. Не захотев возвращаться прежней дорогой, он двинулся в сторону Чухраев – лесной деревеньки на песчаном холме среди болотистой поймы, откуда можно было выйти к Руму, урочищу с поемным лугом ниже по Неруссе. По пути, на краю древнего бора, ему попались остатки брошенной избенки лесничего. Брошенное жилье всегда наводит тоску, а тут над развалинами давней чужой жизни, все шире разлетаясь по мглисто-знойному небу, валил густой дым. Здесь и бывалому человеку не могло не сделаться жутко. А дым и клубящаяся тень его с верховым гулом летели по следу, настигали одинокого путника, слезя глаза, и лес, пронизанный знойным солнцем, казалось, сейчас запылает совсем рядом, поднимаясь веселыми языками пламени по стволам, негромко потрескивая.

Торопливо двинувшись в сторону от пожарища, он заплутал, оказавшись совсем в непроходимой чащобе. Выйдя к ночи на лужайку, окруженную уцелевшими кустами орешника, решил заночевать, лег в повлажневшую к ночи опаленную траву и провалился в тревожное забытье.

Потом, когда писалась поэма и заново переживалось это забытье, ему вспомнилось состояние, описанное Вольдемаром Бонзельсом в книге «В Индии», эпиграф из которой Андреев взял ко второй главе «Немеречи». Герой Бонзельса забывает в индийском сне европейскую жизнь, как «отвратительный, полный ненужной суеты сон», вместе со своим прошлым, представляю-

щимся сплошным заблуждением. «Я исчезал и возрождался во сне и в бодрствовании, – говорит он, – <...> сменяющиеся части дня и само течение времени слились для меня в одно неопределенное ощущение движения, а чистота растений, окутывавших меня, как живым покровом, была самой могучей силой, господствовавшей над моим медленно угасавшим сознанием»[37]. Трубчевская немереча оказалась не менее таинственной и опасной, чем индийские джунгли.

Что-то заставило подняться его еще до рассвета, чтобы снова торопливо идти, почти бежать через заросли, и чем быстрее он двигался, тем больнее хлестали колючие ветки, тем сильнее делалась тревога. Почти три дня без еды. Но, главное, – мучила жажда, думалось только о воде, к которой он и спешил. А наступившее утро вновь обожгло палящим солнцем. Убегая от него, он потерял счет времени, и ему грезилось и являлось под дымным солнцепеком то, что, наверное, является перед смертью – возникали лица друзей, мамы Лили, дяди Филиппа, а за спиной, казалось, неотступно движутся и настигают злые стихиали диких чащоб, трясин и лесных палей. Когда он неожиданно увидел перед собой расступающиеся деревья, окошенный лужок и свежесмётанный стог, то упал рядом, залез в него и провалился в свинцовый, мертвый сон. Проснувшись, довольно быстро, словно кто-то ему указывал дорогу, вышел к Неруссе, перед которой встал на колени и долго пил. Он понял, что спасен, что вторая жизнь, дарованная чудом, дарована не зря:

Кем, для чего спасен из немеречи
Я в это утро – знаю только я
И не доверю ни стихам, ни речи...

Прикосновение смерти стало глубоким переживанием, действительно переломившим жизнь надвое, обновило душу. Весенние уныние, недовольство собой, недостаточность воли к должному, которую он ощущал, – исчезли. Он действительно мог погибнуть и, думая об этом, написал завещание, светлое, как прокаленное солнцем лето, – «Последнему другу»:

Не омрачай же крепом
Солнечной радости дня,
Плитою, давящим склепом
Не отягчай меня...

<...> в зелени благоуханной
Родимых таёжных мест
Поставь простой, деревянный,
Осьмиконечный крест.

12. Бдящие

«С бдящими бодрствует Ангел. – Не спи: / Полночь раздвинет и слух твой, и зренье», – обращался он к самому себе в стихотворении, наполненном образами и символами «Песни о Монсальвате». В нем говорится о братьях-водителях, мерещущихся ему в белом соборе среди ледников на вершинах Монсальвата. Там чаемая Чаша Грааля:

Кровь ли алеет в живом хрустале?
Рдеют дары ли на белом престоле?..
– Братья едины в светящейся воле –
Волю Пославшего длить на земле.

А на земле, на московских улицах, куда он вернулся из Трубчевска, догорало жаркое пыльное лето. Политические процессы, которые один за другим стали разворачиваться после убийства Кирова, не могли не казаться инспирированными, но политическая борьба, за ними проглядывавшая, как таковая Андреева интересовала в эти годы мало. Главным врагом и жупелом сталинских властей стал троцкизм. С 19-го по 24 августа прошел процесс о контрреволюционной деятельности «троцкистско-зиновьевского террористического центра», процесс 16-ти. Его контролировал Николай Ежов, которым 26 сентября заменили Генриха Ягоду. Хотелось верить, что после этого репрессий станет меньше, об их размахе в следующем году никто не мог и предположить. Стихотворение о Грибоедове, тогда написанное, говорило о роке власти:

Быть может, в этот час он понял – слишком поздно, –
Что семя гибели он сам в себе растил,
Что сам он принял рок империи морозной...

Немало было осужденных на громких сталинских процессах тридцатых, которые так или иначе сами приняли настигнувший их рок беспощадной борьбы за безраздельную власть.

В романе «Странники ночи» возвратившийся из Трубчевска Александр Горбов поражен тяжелой атмосферой, царящей в доме. Его мать, оставшись с сыном наедине, перечисляет друзей и знакомых, арестованных за время его отсутствия. Сцена обычная для тех лет, с чередой политических процессов, мрачных газетных кампаний, ночных арестов. Подобные новости в сентябре 1936-го встречали и Даниила Андреева.

Из октябрьского письма брату явствует, что после возвращения из Трубчевска он собирался ехать в Калинин, видимо, на заработки, но не поехал, работа нашлась в Москве. «Теперь очень

много работаю, с 10 утра до 12 ночи, – писал он. – Так будет продолжаться, я думаю, еще месяца полтора, а потом войдет в норму. Дело в том, что со своей летней поездкой я сильно залез в долги и теперь надо их поскорее возвращать.

За прекрасное лето расплачиваемся ужасающей осенью: ранние холода и убийственная слякоть. Третьего дня даже снег шел»[38].

Вероятно, о событиях этой же осени говорит тогдашнее стихотворение:

Ты выбежала вслед. Я обернулся. Пламя
Всех наших страстных дней язвило дух и жгло,
Я взял твою ладонь, я осязал губами
Её знакомый вкус и сонное тепло.

Я уходил – зачем? В ночь, по размытой глине,
По лужам, в бурелом хотел спешить – куда?
Ведь солнца ясного, садов и мирных лилий
В бушующей судьбе не будет никогда.

Я вырвался. Я шёл. О плечи бились сучья.
Я лоб прижал к стволу; ствол – в ледяной росе...
Кем для меня закрыт покой благополучья?
Зачем я осужден любить не так, как все?

Стихотворение, позже вошедшее в цикл, посвященный Галине Русаковой, видимо, обращено к ней, и, несмотря на мучительность отношений, ее фотография неизменно стояла на его столе.

Часть шестая

СТРАННИКИ НОЧИ
1937–1941

1. Письмо Сталину

Не дожив нескольких часов до Нового года, в разгар дела «юристов», умер старый друг семьи Добровых Николай Константинович Муравьев. Смерть спасла от ареста стойкого защитника преследуемых, ссыльных, томившихся в тюрьмах. «Даниил читал всю ночь над его гробом Евангелие – он всегда читал над усопшими друзьями Евангелие, а не Псалтырь. Как раз в это время явились с ордером на арест покойного и обыск <...>. Гроб с телом покойного стоял на его письменном столе, Даниил продолжал читать, не останавливаясь ни на минуту, а пришедшие выдергивали ящики письменного стола прямо из-под гроба и уносили бумаги»[1], – рассказывала со слов Андреева его вдова. Так начался 37-й год в знакомом с малолетства доме в Чистом переулке. Не случайно в нем он поселил главных героев своего романа.

Год оказался страшным, но страшное стало обыденным, многим казалось, что их репрессии не коснутся хотя бы потому, что они ни в чем не виноваты. Так днем считали те, за кем являлись той же ночью. Аресты проходили по ночам, органы старались делать свое дело, не привлекая лишнего внимания, расстреливали тайно, родным сообщали не о казни, а о приговоре – «десять лет без права переписки». Существовало как бы две действительности – ночная, с арестами и расстрелами, страхами, и дневная, с надеждами на лучшее, с желанием не знать, с попытками разумного объяснения совершающегося, пока оно тебя не задело. Лион Фейхтвангер, в январе посетивший Москву, писал в молниеносно изданной по-русски книге «Москва 1937»: «Громадный город Москва дышал удовлетворением и согласием и более того – счастьем»[2]. Фейхтвангер присутствовал на процессе Пятакова–Радека, и, по его словам, убедился в виновности обвиняемых, но признался, что их поведение перед судом осталось для него

непонятным. Логику трагических ролей определяли сценаристы и постановщики судилища, они же приглашали зрителей. А что могли понять те, кто узнавал о судах и расстрелах из газет?

Как относился к совершавшемуся, что переживал поэт, можно судить по его стихам:

Помоги – как чудного венчанья
Ждать бесцельной гибели своей,
Сохранив лишь медный крест молчанья –
Честь и долг поэта наших дней.

Стихи написаны в 37-м. Но, видимо, позже, не раньше осени. А зимой Даниил продолжает по просьбе брата, рвущегося из эмиграции, малоуспешные хлопоты. 18 марта пишет ему: «Дорогой мой, родной мой Димуша, мной сделано все, от меня зависевшее. Не так давно было отослано письмо И. В. Сталину, и я думаю, что на протяжении апреля, может быть, мая, дело вырешится окончательно. Если ты получишь какое-либо сообщение из консульства, пожалуйста, тотчас же напиши мне, чтобы я мог немного подготовить ваше, так сказать, pieds à terre* (во франц<узской> орфографии я не силен). Должен сознаться: неужели действительно приходит к концу двадцатилетняя разлука. Это так странно, так невероятно, что боюсь мечтать, и все-таки мечтаю беспредельно.

Мы живем по-прежнему. Только дядя что-то стал сдавать (с прошлого года). Грудная жаба часто не дает ему возможности двигаться, и иногда ему приходится лежать по целым неделям. Лежит он и сейчас, тихо читая у себя за занавесками.

Мама тоже, конечно, чувствует себя не блестяще, ведь надо учитывать, что им обоим уже под 70 лет. Бодрее и крепче держится тетя Катя. Алекс<андр> Викт<орович> страшно много работает, я его почти не вижу.

У меня в работе бывают перебои – исключительно по вине моей феноменальной практической бездарности. Исключая этой стороны жизни да еще того, не менее плачевного факта, что личная жизнь моя не устроилась и, вероятно, никогда не устроится, – в остальном этот год был для меня плодотворным и, если так можно выразиться, внутренно-щедрым. Читаю, впрочем, немного. Знаешь ли ты роман Бруно Франка “Сервантес”? Книга замечательная, настоящая большая литература. Она здесь имеет громадный успех.

Вчера был на Пушкинской выставке. Впечатление грандиозное. 17 зал, полных рукописями, документами, редчайшими

* Здесь: устойчивое положение *(фр.)*.

портретами, великолепными иллюстрациями к Пушкину и т. п. Нечего и думать осмотреть все это за 1 раз. Выставка будет функционировать до 1 января, т<ак> ч<то> ты ее, надеюсь, еще застанешь и мы сходим на нее вместе».

Наивные надежды страшного времени. Посетителей Пушкинской выставки встречал двойной портрет Пушкина с женой. Она смотрит в зеркало на себя, поэт мрачно и тревожно оглядывается, а над его резким профилем парит отражение благодушной светской толпы. Советская толпа, запуганная и управляемая, на собраниях требовала беспощадно уничтожать врагов народа, предателей и убийц. За делом «параллельного антисоветского троцкистского центра» следовало дело «право-троцкистского антисоветского блока», раскрывались «военно-фашистские» заговоры, обнаруживались контрреволюционные террористические организации.

Письмо Андреева Сталину написано по совету Пешковой, знавшей, от кого в СССР все зависит. Тем более что с Иосифом Виссарионовичем о желании Вадима Андреева вернуться успел поговорить Алексей Максимович. Но письмо осталось без ответа.

Блестяще переведенная поэтом Александром Кочетковым книга о Сервантесе рассказывала о безуспешной и страдальческой борьбе гения с судьбой и эпохой – нищета, война, тюрьма, непризнание, и – бессмертная победа – роман о Рыцаре печального образа. Восхитившийся книгой Бруно Франка Даниил Андреев не думал о том, что его ждет впереди то же – и война, и сума, и тюрьма.

2. Встреча

В начале 1937 года женился Ивашев-Мусатов, совсем недавно пришедший в себя после безумной любви к однокласснице Андреева – Зое Киселевой. Вот портрет Киселевой тех лет, девушки неописуемой красоты: «...античные черты лица, озаренные византийской духовностью; строгий профиль и правильный овал белого лица с легким румянцем; темно-каштановые косы обвивают голову двойным венцом; густые брови с грустным изгибом; излучающие внутренний свет серые глаза; губы классической формы очерчены индивидуально. Рост выше среднего, фигура стройная, пышная в расцвете молодости и здоровья. Одета в простое платье, никаких украшений»[3]. Восторженный художник потерял голову.

Старше Киселевой на восемь лет, Сергей Николаевич Ивашев-Мусатов родился в 1900-м. Родился он незаконнорожден-

ным и потому долго носил отчество, данное по крестному отцу – Михайлович. Отец его – Николай Александрович Мусатов. Мать – Ивашева, из рода декабриста, преподавала немецкий язык. После гимназии, где он учился в одном классе с Колмогоровым, дружил с ним и тоже увлекся математикой, поступил на физико-математический факультет Московского университета, окончил его. Недолго даже преподавал математику. Но живопись, которой всерьез и все больше занимался, не оставляя университета, взяла верх. Складываться как живописец начал в студии Ильи Машкова. Потом был учеником на редкость независимого, тончайшего мастера Михаила Ксенофонтовича Соколова.

Высокий и прямой, худощавый, светловолосый, в круглых очках, живший искусством, артистичный и красноречивый, он со знанием дела говорил о музыке и философии, особенно часто о древнегреческой, о Сократе и Платоне, о литературе. Страстно любил музыку и часто музицировал.

Зое Киселевой родные запретили выходить замуж за неуравновешенного художника. И совсем не потому, что тот представлялся им идеалистом, витавшим над грешной и немилосердной действительностью. Ивашев-Мусатов был женат, причем церковным браком, на Анне Егоровой, дочери известного историка, тоже выпускнице гимназии Репман. С ней он в 1934 году развелся, но требовался церковный развод, получить его оказалось непросто. Семья Киселевых, истово православная, принадлежала к «тихоновцам», к «катакомбной» церкви. Противилась этому браку и Зоина наставница – Строганова, прочившая ее в монахини.

Ивашев-Мусатов разрыв переживал долго и мучительно, едва не покончил с собой. «Однажды Даня шел по какому-то делу мимо его дома, вовсе не собираясь заходить к нему. Но вдруг какое-то непреодолимое чувство заставило его повернуть к дому и войти в квартиру друга как раз в тот момент, когда тот был уже готов покончить с собой. Дане удалось отговорить его...»[4] – так передает эту историю Ирина Усова. И вот Ивашев-Мусатов женился на художнице Алле Бружес, моложе мужа на пятнадцать лет, красавице.

Алла Бружес была дочерью физиолога, профессора Александра Петровича Бружеса, происходившего из петербуржской литовско-датской семьи. В юности он мечтал стать композитором, даже учился у Римского-Корсакова, и любовь к музыке, прошедшая через всю жизнь, передалась и его детям. Мать, Юлия Гавриловна, в девичестве Никитина, по семейному преданию, из рода ходившего за три моря Афанасия Никитина, была новгородкой «с цыганской примесью». Ее мечта стать певицей оборвалась

с рождением дочери. Дочь, подрастая, в свою очередь мечтала стать актрисой, но увлеклась живописью. В 1935 году поступила в Институт повышения квалификации живописцев и художников-оформителей при МОСХе. Институт, по ее воспоминаниям, создали «для того, чтобы те, кого испортил формалистический ВХУТЕМАС... переучились на реалистический манер». Учеба вместе с выпускниками ВХУТЕМАСа, а среди них были одаренные и почти сложившиеся художники, дала неплохую подготовку. Незаурядным художником был учившийся в том же институте у Михаила Ксенофонтовича Соколова и будущий муж, уже выставлявшийся. Сблизила их не только живопись, а и общая глубокая любовь к музыке. Кроме того, Ивашев-Мусатов производил впечатление человека не только талантливого, но и значительного, знающего о чем-то высоком и не всем доступном, когда, увлекаясь и не без театральности, говорил о греческой философии или о Граале...

Ближайшим другом Ивашева-Мусатова был Даниил Андреев, и прежде всего познакомил жену с ним. «Он хотел показать ему меня, как свое спасение, – вспоминала Алла Александровна. – Произошло это так: Сережа позвонил и вызвал Даниила на улицу... Начало марта. Было темно, крупными-крупными хлопьями шел снег. Стояла чудесная зимняя погода, когда холодно, но не мороз и не оттепель, а белые мостовые и падают мягкие хлопья снега. Такая погода мне всегда казалась блоковской...

И вот мы пришли в Малый Левшинский переулок, где стоял тот самый некрасивый маленький домик, дверь которого выходила прямо на улицу. Даниил был всегда очень точен. Поэтому в назначенное время, когда мы подошли, дверь открылась, и из нее вышел стройный высокий человек.

С тех пор прошло 60 лет. А я помню – рукой – теплую руку Даниила, его рукопожатие. Помню его очень добрый радостный взгляд, необыкновенную легкую походку. Он был рад за Сережу. Так, под этим мягким падающим снегом, началось наше с ним знакомство на всю жизнь. Больше от того вечера в памяти ничего не осталось»[5].

Но высокий и легкий человек со смуглым лицом и темными узкими глазами произвел на нее впечатление необычности и значительности. То, что он вошел в ее жизнь навсегда, осозналось позже.

В доме Добровых Ивашев-Мусатов стал появляться с женой. Чаще они бывали у Коваленских, лишь изредка заставая Даниила. Коваленские, редкостные домоседы, выходили из дому лишь по крайней надобности. Это было не только следствием болезней Александра Викторовича, но и характера. И к ним приходили

главным образом старые знакомые. Чаще всего Коваленский читал гостям свою прозу. Чтение обычно начиналось после полуночи, новеллы мистического содержания требовали соответствующей обстановки. В доме всегда бывали художники, некоторые знали Добровых еще с дореволюционных лет, лечились у доктора. Старым знакомым дома был Федор Константинов, одно время даже живший у Добровых. Перед революцией он окончил Строгановское училище, участвовал в выставках «Мира искусства». В комнате Коваленских висело две его работы – портрет Шуры и натюрморт с пионами, украшали его картины и кабинет доктора. Бывал с незапамятных дореволюционных времен Федор Богородский. До отъезда по командировке Наркомпроса в Берлин, откуда он уже не вернулся, приходил преподававший во ВХУТЕМАСе Николай Владимирович Синезубов, иногда вместе с женой Ниной Павловной[6].

«У Добровых бывало и много других гостей, – вспоминала Алла Александровна. – За столом велись очень интересные разговоры (которых я никогда не слышала раньше) обо всем: о философии, Православии, католицизме, Бетховене... Не могу припомнить прямых антисоветских высказываний, но вся атмосфера была такой. Я окунулась в эту атмосферу, правда, от смущения, только ушами, если можно так выразиться (потому что только слушала, а сама молчала), и чувствовала, что это моя среда.

Люди тогда редко собирались помногу – это одна из характерных черт времени. Добровский дом был исключением. К ним приходили помногу на Пасху, на Рождество. Раздвигался стол, и без того большой, и за ним легко умещалось человек двадцать. Накрывался он изумительной красоты скатертью, когда-то привезенной из Финляндии. Теперь я понимаю, каких стоило трудов содержать ее в чистоте. Но клеенка на праздничном столе была совершенно недопустима. Дверь из столовой всегда была открыта в переднюю, и когда семья собиралась за столом или приходили гости, дверь не закрывали, хотя уже было известно, что одна из соседок получила ордер на комнату от НКВД. К моменту моего знакомства с семьей Добровых многие из их друзей были арестованы, в том числе по “делу адвокатов”. Но люди с трудом отвыкают от прежних привычек, и за столом все так же говорили то, что думали, несмотря на распахнутую в переднюю дверь»[7].

3. Тоска и расколотость

27 февраля, в день открытия Пленума ЦК ВКП(б), Политбюро утвердило первый подготовленный НКВД расстрельный список 1937 года и без всякого суда отправило на расстрел

479 человек. А страна широко и торжественно отмечала столетие со дня гибели Пушкина. Историческая ирония, мрачное совпадение или тайный мистический умысел – ознаменовать расстрелами годовщину смерти поэта, призывавшего «милость к падшим»? В Историческом музее как раз к февралю открылась Пушкинская юбилейная выставка, восхитившая не только Андреева, – очередь на нее не иссякала. При подготовке выставки со сто первого километра привозили для консультаций сосланного пушкиниста Виноградова... Издавались собрания сочинений, однотомники, исследования, проходили ученые заседания и конференции – славили «загубленного царизмом» Пушкина.

Страна жила в напряжении и страхе, об арестах говорили или крикливым языком собраний – «смерть контрреволюционерам, вредителям, шпионам, троцкистским бандитам», или шепотом, с самыми близкими. Любой мог оказаться изменником, наймитом, пособником. В осажденной оцепенелой Цитадели шел неустанный поиск внутренних врагов. Но за зимой шла весна, сходил снег, зеленели деревья. Люди шли на работу, с работы, надеялись, влюблялись, растили детей, стояли в очередях, ели и пили...

Андреев этой весной мучился еще и личными проблемами. О них известно из его писем. Поздравляя брата с рождением сына, называя себя «счастливым дядей», он жаловался на неприятные события холостой жизни: «...последние месяцы были для меня исключительно тяжелыми, одними из самых тяжелых в моей жизни. К сожалению, я не могу описать тебе всей мучительно-нелепой, дикой, карикатурной канители, которую я выносил целый год и кот<орая> в последние месяцы дошла до Геркулесовых столбов мучительности и нелепости. Это, конечно, касается исключительно области так называемой личной жизни. Описание этой истории заняло бы целый том, а несколько фраз не дадут тебе должного представления о происходившем. Слава Богу, теперь, как будто, самое трудное позади; я был доведен до состояния белого каления и все разорвал разом. Но все-таки это еще не конец: тут возможны самые дикие и неожиданные сюрпризы. Вся эта история не только ужасно измучила, но и состарила меня»[8].

Возможно, что речь идет о коротком романе со Скородумовой-Кемниц. Понятно, что отношения с женой доброго знакомого, разрыв с ней, не могли не быть мучительны. О романе известно лишь со слов Аллы Александровны. Она, говоря об определяющем жизнь Даниила «тонком ветре “оттуда”», заметила, что «яснее и лучше других слышала эту его особенность, пожалуй, Анечка Кемниц»[9]. Умевшая чувствовать и «особен-

ность» поэта, и чутко понимавшая поэзию, Анна Владимировна нервно переживала крушение балетной карьеры. После тяжелого гриппа, давшего осложнение на сердце, она оставила сцену и занималась хореографией.

В том же письме он рассказывает брату о семейных неурядицах: «Дома тоже мало радостного. Дядя проболел 3 месяца (старческое ослабление сердечной деятельности); пришлось подать заявление о пенсии. Так как хлопочет он о пенсии персональной, т<о> е<сть> повышенной (такая пенсия дается за особые трудовые заслуги), то должно пройти некоторое время прежде, чем это дело оформится. Сейчас он в отпуске, но отпуск истекает 20 июня; придется опять ходить на работу, а здоровье его почти в том же состоянии, как и 3 месяца назад, в начале заболевания. Впрочем, ему дадут, вероятно, добавочный отпуск. Сам он очень мрачно переносит падение своей трудоспособности, мучит сам себя измышлениями о своей бесполезности, дряхлости, ненужности и т. п. Мама тоже постоянно хворает. Вдобавок отношения между некоторыми членами нашей семьи оставляют желать лучшего. Одним словом, наш старый дом проходит через довольно тяжелую полосу»[10].

Он устал от переживаний за близких, страха и тревоги душного лета, занятости то в одном учреждении, то в другом, от осточертелой работы, находившейся иногда только благодаря друзьям, помнившим о поэте и о его непрактичности. Не раз помогала найти заказы Валентина Миндовская, ставшая художницей. Иногда они работали вместе, хотя, вспоминала Миндовская позже, Даниил бывал легкомыслен – пора сдавать написанные к празднику 1-го Мая транспаранты, а он, увлеченный разговором и раскачивающийся на стуле, вдруг задевает банку с краской – и белила полились на кумачовое полотнище, труд целого дня пропал.

4. Янтари

В конце июня он писал Евгении Рейнфельд, сообщая ей то же, что и брату: «В личной жизни моей было очень много тяжелого, и хотя я Вас вспоминаю часто, но писать было трудновато... Теперь лучше, появилось нечто радостное, хотя, м<ожет> б<ыть>, и чересчур легкомысленное. Та тяжелая история еще не вполне, кажется, кончилась – возможны крупные неприятности – но все-таки самое мучительное как будто позади. Сейчас успешно работаю, к 15 июля думаю все закончить и уехать сперва в маленький городок на Оке, потом в Крым и вернусь в Москву к 1 сент<ября>»[11].

Видимо, уже в начале июля Андреев уехал в Судак. Уехал вместе с Марией Гонтой, которая помогла ему одолеть «тоску и расколотость».

Мария (Марика или Марийка, как ее звали близкие знакомые) Павловна Гонта в двадцатые годы была женой поэта Дмитрия Петровского. Начинал Петровский как поэт с футуристами. Во время Гражданской войны партизанил вместе с анархистами, потом с Щорсом. Известны его воспоминания о Хлебникове, на него повлиявшем. А Велимир Хлебников в рассказе «Малиновая шашка» изобразил Петровского, сына сельского священника, недоучившегося семинариста и живописца, «опасным» человеком, кокаинистом, три раза вешавшимся, «ангелом с волчьими зубами»[12]. Петровский в двадцатые дружил с Пастернаком, в 29-м они разошлись. Позже, в феврале 37-го, на пленуме Союза писателей певец червонного казачества выступил против давнишнего друга, не чураясь политических обвинений.

Петровские жили в Мертвом переулке (в 37-м уже носившем имя Николая Островского), где Мария осталась одна. Петровский оставил жену летом 26-го, позже пытался к ней вернуться. Они казались странной парой. Петровский был старше жены на двенадцать лет. Угловатая сухопарая фигура кавалериста с вытянутым лицом возвышалась над бойкой, всевосприимчивой, по-южному смугловатой Марийкой, восторженно слушавшей поэтов – Мандельштама, Пастернака, Тихонова, Луговского. По несколько карикатурному описанию дочери Владимира Луговского, Гонта была «небольшого роста, очень изящная, с тонкой талией, крутыми бедрами и высокой грудью. Разговаривая, она ходила взад и вперед, заглядывая в большое зеркало, висевшее на стене, и поглаживая себя то по груди, то по бедру»[13].

Гонта, журналистка и сценаристка, неожиданно стала и актрисой. В 31-м снялась в кинофильме «Путевка в жизнь» сразу в двух небольших ролях – воровки и нэпманши. Съемки сопровождались пылким романом с режиссером фильма – Николаем Экком. В 30-е она публиковала очерки об авиации, сотрудничала в журнале «Прожектор», в «Красной звезде».

Роман ее с Даниилом Андреевым начался в мае или июне, и все лето 37-го оказалось окрашено «легкомысленной» страстью. В этом страшном году острое чувство жизни, приступы бесшабашного веселья чередовались с ощущением, как писала Гонта в воспоминаниях о Пастернаке, что они «забыли и разучились смеяться», чувствуя себя «придавленными, сжатыми, согбенными». Может быть, роман с Андреевым, поездка в Судак – попытка убежать от согбенности и страха.

В цикле «Янтари», посвященном Марии Гонте и судакскому лету, он признавался: «Я любил эти детские губы, / Яркость речи и мягкость лица». И еще: «Ты, солнечная, юная, врачующая раны, / Моя измена первая и первая весна!» Но и в Судаке, под обещающим счастье знойным солнцем, у моря, в горах, там, где вырезался знакомый силуэт генуэзской крепости, в нем жила неисчезавшая горечь –

И не избавил город знойный
От тёмных дум,
Клубя вокруг свой беспокойный,
Нестройный шум...

Он остался благодарен Марии за все, даже уверял ее: «...к несравненному раю / Свела ты старинное горе / Души моей терпкой...» Любивший дальние прогулки, все время стремившийся в путь, Даниил нашел в ней легкую на подъем, веселую спутницу:

Хочешь – мы сквозь виноградники
По кремнистым перелогам
Путь наметим полудённый
На зубчатый Тарахташ:
Там – серебряный, как градинки,
Мы попробуем дорогой
У татар миндаль солёный
И вино из плоских чаш.

Меж пугливыми отарами
Перевал преодолеем,
И пустыня нам предстанет
Вдоль по жёлтому хребту,
Будто выжженная карами,
Ураганом, суховеем,
Где лишь каперсы, как стая
Белых бабочек, в цвету.

Судя по сюжету «Янтарей», они побывали в Отузах, Ялте, Форосе, Бахчисарае, но чаще бродили по окрестностям Судака.

Видимо, с Гонтой он провел лишь часть отдыха. А оставшись один, поселился у безвыездно жившей в Судаке Евгении Альбертовны Репман, которую не видел уже три года. Пользоваться гостеприимством старой учительницы вместе с Марией ему было бы неловко. В этот раз он встретился здесь со своим одноклассником, ее племянником, Юрием Владимировичем Репманом, ставшим математиком. Они не виделись со школы. Потом, в Москве, он несколько раз заходил к нему, жившему неподалеку – в Гранатном переулке. Позже Юрий Репман погиб на фронте, а его жену с маленьким ребенком, как немцев, выслали из Москвы...

В августе Андреев писал Любови Федоровне, жене художника Смирнова, с которым когда-то познакомился именно в Судаке: «...я думаю вернуться в Москву в середине сентября. Вторая половина моего отдыха получается гораздо лучше первой. Я устроился здесь несколько иначе, чем вначале, и с внешней стороны все складывается отлично. Прекрасно питаюсь, много сплю; гулять стараюсь недалеко, чтобы накопить побольше сил, хотя горы властно тянут к себе; пока что я побывал только на двух вершинах. Зато часто ухожу в пустыню, начинающуюся за холмами в нескольких шагах от моего дома. Это настоящая пустыня – с бесплодными холмами, никогда и никем не посещаемыми побережьями, скудной полынью и вереском, а главное – с удивительной, совершенно непередаваемой тишиной. Она окаймлена горами, и в линии этих гор – что-то невыразимо-спокойное, мудрое и умиротворяющее. Должен признаться, и это разочарует Г<леба> Б<орисовича>, что в настоящее время для меня гораздо целебнее и плодотворнее эта пустыня, чем знаменитая генуэзская крепость, несмотря на ее живописную красоту и возбуждаемые ею исторические ассоциации»[14].

О том, что не всегда уходил за молчаливые холмы в одиночку, он в письме умалчивает. Мария Гонта стала прототипом одной из героинь «Странников ночи», из украинки и журналистки превратившись в романе в татарку и художницу – Имар Мустамбекову. В нее влюблен Олег Горбов, поэт, мятущийся в раздвоенности, отказывающийся от «духовного» брака, поскольку «совсем иное чувство, простая земная страсть, связывает его с другой женщиной» – Имар, далекой от высоких поэтических мечтаний о работе над текстами Литургии. В конце концов он уходит к Имар. Олег в «Странниках ночи» – поэтическая ипостась автора, и «раздвоенность», изображенная в романе, им пережита сполна и, видимо, не раз. В сохранившемся отрывке «Странников ночи» так или иначе описана Имар – Мария, ее комната в Мертвом переулке и ставшее символом их отношений янтарное ожерелье. Там, совсем рядом с Малым Левшинским, он часто бывал в то лето:

«...Она действительно уже легла, потому, что, отворяя ему дверь квартиры на осторожный звонок его, оказалась в памятном для него бухарском халатике, фиолетовом с желтыми разводами. И когда, улыбнувшись ему исподлобья, она протянула ему руку гибким движением, он эту руку, как и всегда, поцеловал.

Угадал он и остальное: комната была уже приготовлена на ночь, лампа под пунцовым абажуром придвинута к изголовью, чистая постель постлана и уже слегка смята, а поверх одеяла брошены две книги: одна – с захлопнутым переплетом – том Мая-

ковского, другая – раскрытая: очередная литературная новинка, “Лже-Нерон” Фейхтвангера.

– Хочешь поужинать?

Нет, он не хотел. Он вообще не хотел никакой суеты, ничего хлопотливого. Как он был доволен, что застал ее вот так: без посторонних <...> Горячий полумрак сглаживал единым тоном ее смуглую кожу, яркие губы, косы, заложенные вокруг головы, и янтарное ожерелье...»

Алла Александровна рассказывала, что просила Гонту написать о Данииле Андрееве, но та, погруженная в воспоминания о дружбе с Пастернаком, так ничего и не написала. Хотя в доме Марии Павловны на торшере всегда висело янтарное ожерелье – знак памяти о воспевшем ее поэте и московско-крымском лете 1937-го.

5. В коротком круге

По ночам провидцы и маги,
Днем корпим над грудой бумаги,
Копошимся в листах фанеры –
Мы, бухгалтеры и инженеры.

Полируем спящие жерла,
Маршируем под тяжкий жёрнов,
По неумолимым приказам
Перемалываем наш разум.

Всё короче круги, короче,
И о правде священной ночи,
Семеня по ровному кругу,
Шепнуть не смеем друг другу –

строки стихотворения 37-го года. Аресты шли круго́м и кругами. Террор настигал уже не столько бывших, сколько сегодняшних – ответственных работников, партийцев, – кто оказался троцкистом и шпионом, кто вредителем, кто уклонистом. Люди исчезали всюду и совсем рядом. В тихом переулке погрохатывание подъезжающих «марусь», стук автомобильных дверец, скрип тормозов по ночам, когда он писал, резко приостанавливали время, обрывали мысль.

В соседних домах в Малом Левшинском взяты Вильпишевский, завпроизводством Мосгортранссоюза, Борзов, директор конторы Хлебпроект, Гутман, завотделом Гидрометиздата, Ефимов, директор сектора Госбанка, Трофимук, начальник отдела института, Белов, замдиректора камвольной фабрики, вместе с женой... И еще многие. Все осуждены за участие в террористических орга-

низациях, все расстреляны, легли кто в Бутове, кто в «Коммунарке», кто в Донском. Вряд ли Андреев был знаком с ними. Хотя кого-то, наверное, встречал на улице, с кем-то, полузнакомым, мог вежливо раскланиваться, хотя в большинстве это были жители, появившиеся в арбатских переулках в двадцатых, занявшие квартиры «чуждых элементов», потеснившие уцелевших старожилов.

Летом, выдавшимся на редкость жарким, выслали из Москвы соседку, Ламакину. Высылали ее навсегда, как жену врага народа. Когда пришла повестка «о выселении меня из Москвы, – вспоминала она, – придя с работы домой, я увидела встречающую меня Елиз<авету> Мих<айловну>, которая со странным волнением передала мне повестку и тут же стала успокаивать меня. Но гром грянул со страшной силой. Мне пришлось покинуть Москву, расстаться с близкими, надолго оторваться от своей работы по специальности»[15].

Узнал об этом Даниил, только вернувшись из Судака, как и о других высылках и арестах. Коваленский рассказал об аресте хорошо знакомого ему Сергея Клычкова... Но большинство старались жить так, словно ничего страшного не происходит, и если впрямую террор их не касался, позже не могли ничего вспомнить. Алла Александровна рассказывала о ритуальных собраниях в институте, где она училась: «Нас собирают всех, закрывают дверь, читают нам материалы очередного следствия, очередного дела. Потом предлагают всем проголосовать за смертную казнь. Все мы поднимали руки. Я только никак не могу понять, почему только я это помню. <...> Я у подруги моей спрашивала: “Разве ты не помнишь?” Она – “Совершенно не помню”. А когда читали, то еще смотрели, кто поднял руку, кто нет. Известно: кто не поднял руку, вечером доставят на Лубянку»[16].

2 ноября 37-го арестовали, как говорили, за перевод Джойса, Игоря Романовича с женой. Ему дали 10 лет лагерей, ей – 8.

В том же году арестовали и расстреляли родителей жены его давнишнего приятеля Юрия Беклемишева, жившего недалеко – на Остоженке. Горько недоумевавший – тесть и теща, польские коммунисты, никак не могли быть врагами, – Беклемишев старался жить как и прежде, много работал, гасил переживания писанием. Он писал «Танкер “Дербент”», свою вторую повесть. Первую, «Подвиг», отвергли все редакции. Несмотря на упорство характера, после первой неудачи его долго мучила неуверенность. Чересчур категоричные замечания матери, многоопытной литераторши, казались старомодными, он их не принимал. Это, видимо, и заставило идти за советами к Даниилу, единственному среди его тогдашних товарищей имевшему отношение к литера-

туре. Трудно сказать, какую роль сыграли дружеские советы, но, видимо, лишними не стали. По крайней мере, через десятилетия Алла Александровна говорила определенно: «Даниил помогал Крымову писать “Танкерт ‘Дербент’ ”».

Многое сближало Даниила Андреева с Юрием Беклемишевым – давние дружеские отношения с его матерью всей семьи, общая любовь к природе, к поэзии и музыке, многое – разъединяло. Окончивший физмат Беклемишев стал деятельным инженером, увлеченным работой, техникой. Сочинения его были современными – о летчиках и нефтяниках, о соцсоревновании. А поэт и созерцатель Даниил увлекался древней Халдеей, Египтом и Индией. Но важно то, что Беклемишев, бывший моложе Андреева всего на два года, уже принадлежал к поколению советскому и был не только влюбленным в поэзию Блока романтиком, но и атеистом, не признающим никакой мистики. «Нет во мне и тени религиозности, – утверждал он. – Я – аналитик. Убеждения для меня важнее и прочнее любой веры. Каждый день и каждый час я проверяю убеждения фактами и факты убеждениями. До сих пор все сходилось. И я знаю, что будет сходиться и впредь»[17]. Безжалостности и фальши строящегося режима, его нетерпимой веры, не сходящейся с фактами, он, как многие, не замечал. Казалось, рано или поздно все сойдется. И Беклемишев, и его товарищи, переполненные жизнестроительной силой молодости, надеялись на лучшее. Действовал инстинкт самосохранения. Андреев жил в том же и совсем в другом мире, с другими, апокалипсическими настроениями:

Еще, в плену запечатанных колб,
Узница спит – чума;
В залах – оркестры праздничных толп,
Зерно течет в закрома...
Кажутся сказкой – огненный столп,
Смерть, – вечная тьма.

В «Странниках ночи», начатых в этом году, во второй главе изображалась картина железнодорожного крушения. В него попадает возвращающийся из Трубчевска археолог Саша Горбов, переживший на Неруссе, как и автор, соприкосновение с «космическим сознанием». Катастрофа, произошедшая ночью, с человеческими страшными жертвами, в романе описывалась безжалостно реалистически. О том, что она символизировала, можно предположить по написанным тогда же стихам:

Вижу, как строится. Слышу, как рушится.
Все холодней на земной стезе...

Кто же нам даст железное мужество,
Чтобы взглянуть в глаза грозе?

Сегодня с трибуны слово простое
В громе оваций вождь говорил.
Завтра – обломки дамб и устоев
Жадно затянет медленный ил.

Шумные дети учатся в школах.
Завтра – не будет этих детей:
Завтра – дожди на равнинах голых,
Месиво из чугуна и костей.

Скрытое выворотится наружу.
После замолкнет и дробь свинца,
И тихое зеркало в красных лужах
Не отразит ничьего лица.

«Красные лужи», не отразившие ни уцелевших победителей, ни выживших побежденных – это все, что останется от переживаемой «красной» эпохи. Значит, погибнет и «синее подполье», не дождавшись наступления времен небесного цвета.

6. Начало романа

Замысел «Странников ночи», возможно, вырос из начатого и незаконченного романа «Эфемера». В тогда же написанном стихотворении, позже озаглавленном «Из погибшей рукописи», – настроения этого времени. Предстоящие грозные события должны разрешить внутренние мучения поэта, ответить на неотступную жажду делания и ожидание вести. Жизнь «без любви, без подвига» не имеет смысла и грозит худшим – духовным падением:

Без небесных хо́ров, без видений
Дни и ночи тесны, как в гробу...
Боже! Не от смерти – от падений
Защити бесправную судьбу.

Герои романа мучаются тем же, что и автор, – ищут и ждут вести, стремятся к деланию, готовы к «бесцельной гибели». Странниками ночи автор мог счесть себя, своих друзей. О времени, но и о себе, о них и писался роман. Потому, «как только Даниил кончал очередную главу, он шел к своим близким друзьям и читал ее страницу за страницей»[18], – свидетельствует участница читок – Алла Александровна. Он спешил к ним еще и потому, что непечатаемому писателю необходим читатель – друг и соратник. Но внутренняя тема романа вырастала не только из

переживаемого «сталинского» времени, но и стоящего за ним мистического – красно-синего. Не только всю жизнь вкладывает в писание настоящий писатель, но и неизбежно влияет на собственное будущее. Начатый роман через десять лет станет причиной трагического перелома судьбы не только автора, но и окружающих его. Предположить такое было невозможно. Но в стихах, тогда писавшихся, мрачные предчувствия звучат как свидетельства и как предсказания:

Я крикнул – в изморось ночи бездомной
(Тишь, как вода, заливала слух),
И замолчал: все, кого я помнил,
Вычеркнуты из списка живых.

Одна из глав романа, посвященная «вычеркнутым из живых», называлась «Мартиролог», в ней перечисляются жертвы террора – арестованные, расстрелянные. Еще в 1940 году Степан Борисович Веселовский опубликовал (а написал в 37-м!) работу «Синодик опальных царя Ивана Грозного как исторический источник». В ней – сведения о жертвах террора Грозного. Работа историка наверняка была знакома Андрееву и отозвалась и в этой главе романа, и, позже, в поэме «Гибель Грозного», где не только говорится о «немых синодиках» тирана, но и звучит поминание:

О повешенных и колесованных;
О живьем закопанных в земле;
О клещами рваных; замурованных;
О кипевших в огненной смоле.
За ребят безотчих и за вдов...

От «Странников ночи» до нас дошли восстановленная по памяти во Владимирской тюрьме первая глава «Великая туманность» (трудно сказать, полностью ли) и три совсем небольших фрагмента. Знаем мы о романе по изложению его содержания, сделанному вдовой поэта, и по воспоминаниям его поклонницы Ирины Усовой. Она, по ее признанию, слышала роман только в чтении, еще до войны, и определяла как историю «духовных исканий ряда лиц, главным образом трех братьев, на фоне нашей действительности»[19]. Ни один из трех братьев Горбовых не стал автопортретом, но в каждом черты автора, его пристрастия, убеждения, и вместе с тем в каждом есть то, что в его собственной жизни не сбылось, а в характере отсутствовало.

В первой же главе появляется старший брат, Адриан Владимирович – профессор астрономии и мистик, ищущий в звездном небе иные миры и ощущающий присутствие «космического

сознания». Устремление к звездам, космический мистицизм сочетаются в нем с характером, напоминающим Коваленского педантичностью, лаконичностью и сухостью речи, и даже внешне – размеренностью движений, «механическим» пожатием изящной, но ледяной руки... И так же, как Коваленский, старший Горбов загадочен, овеян значительностью приоткрытых ему тайн.

Следующая глава знакомит с другим братом – Александром Владимировичем. Он археолог, влюбленный не только в русскую древность, таящуюся в трубчевских курганах, но и в боготворимую им природу. В роман вошел эпизод, который можно отчасти представить по описанным в «Розе Мира» первым соприкосновениям Андреева со стихиалями в Триполье и с «космическим сознанием» под Трубчевском. Он один, окруженный тихо шелестящими черными деревьями, над ним августовское звездное небо, может быть, рядом неслышно струится Нерусса. Здесь пережито неожиданное слияние с живущей таинственной жизнью окружающей природой. Она становится понятной, родной, и это ощущение полно непередаваемого блаженства. Саша, как и автор, больше всего любит творог, восторженно превознося его как основу земной пищи, и мед. Возвращение Саши из экспедиции, пережитая им железнодорожная катастрофа, видимо, события той же ночи, которую брат его провел в обсерватории. Саша человек действия, решительный и целеустремленный, как и его возлюбленная – Татьяна, порывистая, естественная.

Еще один брат, Олег, – поэт, религиозно настроенный, влюбляющийся, раздваивающийся, ищущий. На хлеб зарабатывает тем же, чем и автор, – он художник-шрифтовик. Его блуждания и устремления пережиты самим Андреевым, хотя, наверное, в другой форме. Вот эпизод, связанный с ним, рассказанный Усовой: «...Олег у себя в комнате. По оставшейся для меня непонятной или забытой причине он собирается повеситься... Уже все готово, но в последний момент он бросает взгляд на рукописи своих стихов <...> Он сжигает один за другим все листы, пока от всего его творчества не остается лишь кучка пепла, над которой он склонился... И тут с ним происходит некий катарсис, и через некоторое время он встает с колен уже другим человеком – готовым для новой жизни»[20]. Олег собирается жениться на Ирине Глинской – это должен быть духовный брак. Именно у нее в комнате висит репродукция врубелевского «Демона поверженного», в глазах у которого читается «непримиримое – НЕТ». Картина описана в романе с глубоким мистическим чувством, как некая «икона» Люцифера – так ее определяет Глинский. И, возможно, здесь причина того, что Олег никак не может разорвать страстную связь со

смуглой и ласковой Имар, изменяя высокому выбору. В образе брошенной Ирины, по свидетельству Аллы Александровны, угадывались некоторые черты Шуры Добровой.

Три брата в романе появились, возможно, не без влияния «Братьев Карамазовых». Но дом Горбовых в Чистом переулке со стариками родителями и братьями, конечно, напоминал родной дом Андреева.

Родственник Горбовых, их двоюродный брат Венечка Лестовский, был в какой-то мере автошаржем. По словам Ирины Усовой, это жалкий, почти комический персонаж. «Тут уж мы были уверены, – рассказывает она, – что ничего общего у него с Даней нет, но Даня сказал, что и в Венечке есть частица его самого, а именно: ”То, что есть во мне смешного и нелепого”. Вначале этот Венечка говорил со “словоерсами”, но мы дружно, все трое, раскритиковали это, – теперь-де это уже анахронизм, никто так уже не говорит, как во времена Достоевского. И Даня послушно убрал эти “-с”»[21].

И в другого второстепенного персонажа – молодого архитектора Евгения Моргенштерна (немецкая фамилия неслучайна, но какое значение имела в романе двусмысленность «утренней звезды», мы можем только гадать) он вложил и свою любовь к архитектуре, и свои представления о грядущем Храме Солнца Мира.

Но и один из важнейших героев романа – Леонид Федорович Глинский, брат Ирины, – тоже авторская проекция. Глинский воображался Андрееву как некий идеал будущей, обретшей подлинное знание личности. О таком знании мечтал он сам. Глинский организатор тайного мистического братства, куда входят почти все герои романа, кроме старшего Горбова. Два эпизода, связанных с Глинским, приводит Ирина Усова:

«...Глинский у себя в комнате молится перед сном. Не о себе, не о своих близких, но о России. Это довольно длинная молитва, слова проникновенные и возвышенные. Пауза. Земной поклон. И опять та же мольба о ней, о России. Слова становятся все вдохновеннее и произносятся со все большим чувством. И опять земной поклон, и опять же мольба. И, как рефрен, каждый раз повторяется:

– Паче же всего не оставь ее Духом! (Я думаю, что такую молитву следовало бы читать ежедневно во всех еще уцелевших храмах на Руси.)

...Глинский уже арестован и находится в общей тюремной камере. Он (индуист), православный священник и мусульманин-мулла несут поочередно непрерывную вахту молитвы. Когда один устает, вступает второй, затем – третий, – чтобы молитва, подобно неугасимой свече, горела пламенем веры, не затухая

ни на минуту, днем и ночью»[22]. Глинский арестован в очередную ночь за то, что отказался голосовать за одобрение смертной казни подсудимым очередного политического процесса.

Когда был начат роман – весной или осенью 37-го, после возвращения из Судака, – неизвестно, но он уже в этом году начинает читать главы из него близким друзьям.

Действие романа происходило по ночам, которыми он и писался. Первая ночь связывает события на земле с происходящим в небесах, где-то в великой туманности Андромеды, куда всматривается из обсерватории старший из братьев Горбовых. Наблюдаемая им звездная картина написана романтически-восторженно: «На черном бархате метагалактических пространств наискось, по диагонали, точно сверхъестественная птица, наклонившая в своем полете правое крыло и опустившая левое, перед ним сияло чудо мироздания – спиральная Туманность М31. Золотистая, как солнце, но неослепляющая, огромная, как Млечный Путь, но сразу охватываемая взором, она поражала воображение именно явственностью того, что это другая, бесконечно удаленная вселенная. Можно было различить множество звезд, едва проявляющихся в ее крайних, голубоватых спиралях; и сам туман, сгущаясь в центре ее, как овеществленный свет, как царственное средоточие. И чудилась гармония этих вращающихся вокруг нее колец, и казалось, будто улавливаешь ликующий хор их рождения и становления». В книге Джемса Джинса «Вселенная вокруг нас», так увлекшей Андреева, помещена фотография М31, очень похожая на это описание. Но ему удалось посмотреть на нее и в телескоп. Для этого он, давно увлеченный астрономией, специально приходил к старому астроному, одному из основателей первого в России Астрономического общества – Василию Михайловичу Воинову. Тот продолжал заветный, потом признанный выдающимся труд десятилетий по изучению солнечных пятен.

За астрономической главой угадывается введение в мистический смысл событий. Дважды в ней встречаются ссылки на американского астронома Эдвина Хаббла, открывшего, что при увеличении расстояния до галактик красное смещение возрастает, а «скорости растут по мере удаления» туманностей. Отсюда могла и вырасти теория о красных и синих эпохах Глинского, героя, которому Андреев передоверит основные идеи недописанных «Контуров предварительной доктрины». Но и профессор Горбов, занятый измерением звездных параллаксов, потому что для изучения влекущих его внегалактических туманностей существующий в Советском Союзе астрономический инструментарий недостаточен, устремлен за пределы науки в область «еще более

парадоксальных идей». Это область мистики. Мистический выход «за горизонт трехмерного мира», в миры «недоступных нашему сознанию координат» Андреев начинает искать вместе с героями задуманного романа. Так, путь рыцарей «Песни о Монсальвате» к замку Грааля не прервался, а, может быть, продолжился путем «Странников ночи», ставших главным делом его жизни на десятилетие, вплоть до ареста. Вот отчего «Песнь о Монсальвате» осталась неоконченной. Хотя есть правда и в мнении Ирины Усовой: поэма «доходит до такого предела мистицизма, что дальше писать ее оказалось невозможным...»[23].

Метания, духовно напряженные, иногда болезненные братьев Горбовых, мистические поиски и замыслы Глинского и его соратников в страшных «сталинских» ночах – вот главное содержание романа. Но присутствовал в нем еще один герой, сделанный совсем из другого теста, нежели мечтательные мистики, окружающие Глинского. Герой, чья заговорщическая деятельность описана в самой крамольной главе «Странников ночи». Это Алексей Юрьевич Серпуховской, участник группы, строящей террористические планы, он даже связан с иностранной разведкой. Но эта глава, видимо, написана позже, после войны.

7. Ответа не надо

В Останкинском дворце-усадьбе графов Шереметевых еще в 1918 году был открыт музей творчества крепостных. А в том 37-м в нем, не только в анфиладе роскошных гостиных и в театральном зале, но и в других помещениях дворца, готовилась выставка, на которой, конечно, следовало показать не только творчество, но и «различные формы эксплуатации крепостного крестьянства». В одной из комнат развернулась выставка, посвященная принятой в прошлом году сталинской конституции, объявленной «единственной в мире подлинной демократической конституцией». Оформительской работы здесь оказалось много. Алла Александровна вспоминала: «Мы с Сережей работали в то время в Останкинском музее, делали большую выставку, посвященную крепостному театру. В ней были макеты спектаклей. Помню, я лепила Парашу Жемчугову в роли Элианы в опере Гретри “Самнитские браки”. А Даниил работал с нами как шрифтовик. В Останкине мы виделись, поскольку он привозил работу, которую делал дома.

С Останкинским дворцом связан для меня один важный личный момент. Время было страшное. Сережу уже таскали несколько раз в НКВД и вызвали еще на какой-то день. Мы

находились в помещении церкви, что рядом с Шереметевским дворцом. Теперь это Оптинское подворье, а тогда там располагалась канцелярия музея. Я выхожу из комнаты, поговорив с директором, и вижу – на скамейке сидит Даниил. Это было внутри церкви. Сидит он на скамейке и ждет, когда мы выйдем. И вот, когда я попадаю в его поле зрения, он вздрагивает, и лицо у него делается совершенно странным. Я подхожу и спрашиваю:

– Что с Вами?

Мы были тогда еще на “вы”. Отвечает:

– Ничего, ничего.

И мы разговариваем уже о том, что нас так волнует, мучает, о том, как Сережу таскают в НКВД. Много лет спустя, в 45-м году, когда он вернулся с фронта и мы уже были вместе, я спросила:

– Ты помнишь тот момент в Останкине?

Он ответил:

– Еще бы не помнить!

– А что это было? Почему ты тогда так вздрогнул? И вообще так реагировал на меня?

– А потому, что я увидал, что это – ты. Та, которую я встретил. Но ты была женой моего друга.

А со мной было так. Из Останкина мы с Сережей ездили на трамвае. Там было кольцо, мы садились на места против друг друга и долго ехали. Я задумалась, как-то ушла в себя, пыталась разобраться в своем отношении к Даниилу. Оно было очень глубоким, никакого определения ему я не находила. Сережа, сидевший напротив меня, вдруг проговорил:

– Я знаю, о чем ты думаешь. Тебя тревожит то, как ты относишься к Даниилу.

Я сказала:

– Да.

А он мне на это ответил:

– Я очень высоко ставлю дружбу. Ничуть не ниже любви. Так что не беспокойся»[24].

Незарубцевавшаяся первая любовь, поэтический идеал никак не воплощавшийся в живых женщинах, тянувшихся к нему и даже нравившихся, некое предчувствие при встречах с женой друга, задевающей порывистой боттичеллиевской красотой, переживания, сказавшиеся в вопросе-восклицании «Зачем я осужден любить не так, как все?», делали его жизнь напряженно-тревожной. И только писательство, как некий свыше предписанный долг, освещавший жизнь, помогало сохранять душевное равновесие.

Все труды ради хлеба насущного, за которые Андреев старательно брался, так далеко отстояли от главного в его жизни, что как бы и не мешали заветным ночным бдениям, писательству. Во время работы он часто мог сосредоточенно думать о своем, машинально выписывая слово за словом на диаграммах (больше всего ему нравилось делать картограммы), стендах, транспарантах. Заработки его в этом году оказались преимущественно «театральными», осенью 37-го он делал те же шрифтовые работы для Художественного театра. А замысел «Странников ночи» все сильнее увлекал, и начавший свое таинственное движение сюжет втягивал в себя то, что происходило с ним, и предопределял то, что должно было произойти.

В мае 1938 года он получил последнее письмо от брата, понявшего, что попытки вернуться на родину окончились ничем. За последний год сделалось очевидным, что возвращение брата на родину не только невозможно, но и смертельно опасно. Еще в 36-м Вадим Андреев писал, обращаясь к отечеству:

Чем одиночество ночное злей,
Тем для меня неумолимее виденье
Твоих обезображенных полей.

И так заканчивал стихотворение:

Прости меня. Я знаю, ты – прекрасно.
Мне тяжело неверие мое.
Горит на знамени кроваво-красном
Нерукотворное лицо Твое.

Отвечая брату, Даниил пишет короткое письмо, недосказанность которого говорит о многом:

«Дорогой Димуша,
все мы живы и более или менее здоровы. Часто, очень часто думаю о тебе и всех вас, хоть и далеких, но бесконечно милых моему сердцу. Как ни грустно, что все сложилось таким образом, но этому надо радоваться. Больше всего мне хотелось бы, чтобы ты нашел смысл и радость в той жизни, которая выпала на твою долю. Нежно целую ребяток и Олю.

Хотя живем мы там же, где и раньше, но ответа не надо.

Любящий тебя *Д.*»[25]

Да, следовало радоваться тому, что брату не удалось вернуться. Просьба больше не писать писем должна сказать о многом. 37-й год развеял все надежды, похоронил все иллюзии, если они еще оставались. Следующее известие от брата Даниил получит лишь после войны.

8. Усовы

В воспоминаниях Ирины Усовой говорится о том, что Андреев познакомился с ней и сестрой в 37-м году. Сам поэт назвал на допросе временем их знакомства 39-й, точно обозначив место – «в доме арестованного Воинова»[26]. Старый астроном умер в 1943-м, речь шла о его сыне. Но сведениям, полученным на допросах, доверять вполне нельзя. Слишком много находилось причин у допрашиваемых не вспоминать точных дат, всех имен и событий, а у допрашивавших не искать правды, а добиваться подтверждений обвинения. Возможно, знакомство в 37-м для Андреева было мимолетным и ничего не значащим, в то время как для сестер Усовых оказалось памятным событием, как можно судить по воспоминаниям Ирины Усовой. Она этот день запомнила подробно: «Осенью 1937 года случайно узнали мы, что живет в Москве сын Леонида Андреева, что он “талантливее своего отца”, что он поэт, но никогда нигде не печатался и не печатается. Последнее как раз и заинтриговывало: раз не печатается, значит... Но как познакомиться? Невозможно! И опять-таки случай (а может быть, судьба). Он в то время работал, как мы уже потом узнали, над той главой своего романа “Странники ночи”, в которой действие происходит в астрономической обсерватории, и ему хотелось посмотреть на туманность Андромеды. Через общую знакомую для него была устроена встреча с астрономом, у которого дома был небольшой телескоп. А семья этого астронома была нам как раз хорошо знакома – мы у них бывали. Нам дали знать, когда он придет, и в назначенный день и час мы с сестрой были во дворике, возле дома, где был уже установлен переносной телескоп.

Этот дом с двориком и маленьким садом принадлежал художнику В. Васнецову, и теперь там дом-музей его имени. Но в те годы этот музей не субсидировался (видимо, за ненадобностью), и детям художника пришлось закрыть его. А для того, чтобы избежать “уплотнения”, они поселили в нем дружественную им семью, которая и была как раз семьей этого астронома. Мы пришли якобы тоже посмотреть туманность, Луну, звезды и вообще все, что захочет нам показать старый “звездочет” (как мы его прозвали). Но смотрели, конечно, в основном на того, кто вскоре стал самой яркой и близкой звездой (солнцем) нашей жизни.

Внешность его впечатляла: высокая худая фигура, очень худое смуглое лицо (лицо “голодающего индуса”), великолепный лоб с откинутыми назад волосами, крупный, но тонкий, красивой

формы нос, четко очерченные губы и две продольные бороздки у краев худых щек. Глаза карие – их нельзя было назвать ни большими, ни красивыми, но была в них какая-то особая значительность <...> Он был сух, замкнут и строг, ни разу не улыбнулся, от настойчивых приглашений хлебосольных хозяев – зайти в дом попить чаю – решительно отказался. Наверное, эта его сухость была довольно понятной реакцией на слишком уж настойчивые атаки со стороны моей сестры: с места в карьер – приглашение к себе и фррр – с треском распускаемый павлиний хвост всяких соблазнов: она-де была знакома с Волошиным, и у нее есть его стихи, ее мать – переводит стихи, и даже, что у нее есть коллекция интересных камешков... А он, буквально прижатый к забору дворика, каменел все более и отмалчивался. Все же ей удалось заполучить номер его телефона и всучить ему наш с просьбой позвонить – когда он сможет прийти»[27]. Но тот упорно не звонил, пока невыдержавшая Татьяна не позвонила ему сама и не уговорила прийти в гости.

Сестры Усовы вместе с матерью жили, по тогдашним московским меркам, от Малого Левшинского далеко – у старого Ботанического сада. Это были остатки небогатой дворянской семьи из городка Суджа Курской губернии. Ее мужская часть революционного времени не пережила. Отец, получивший агрономическое образование в Германии, хозяйствовал в своем имении, вынужден был бежать из родного дома и умер от разрыва сердца. Сына, бывшего офицера, уже после Гражданской войны расстреляли. Возраст матери, Марии Васильевны, перетек за пятьдесят. Некогда она окончила Институт благородных девиц, а после революции посещала Брюсовский литературный институт, занявшись поэтическим переводом. В переводы Гельдерлина и Рильке, Бодлера и Верлена, опубликовать которые не удавалось, она вкладывала свою любовь к поэзии. Писали стихи и обе дочери. Жили Усовы бедно, неустроенно. Мария Васильевна так и осталась дамой десятых годов подчеркнуто «поэтического облика», плохо приспособленной к советскому коммунальному быту, и, по раздраженному замечанию младшей дочери, «до шестидесяти лет не научилась правильно сварить картошку или яйцо»[28]. Ирина Владимировна, из-за непролетарского происхождения, не сумела поступить в университет и работала лаборантом-микологом, а перед самой войной, окончив курсы, стала лесопатологом и с весны ежегодно уезжала на полевые работы. Старшая, Татьяна Владимировна, университет окончить сумела, стала переводчицей с английского, но работала младшим научным сотрудником в

Институте геологии. Характером недружные сестры отличались непростым, собственной семьи не было ни у старшей, ни у младшей. Появившийся в их доме Даниил Андреев очаровал и дочерей и мать.

Первое время он приходил к Усовым нечасто, «примерно раз в две-три недели. И каждый раз читал свои стихи – немного – около десяти, но с каждым разом они становились все откровеннее, все глубже и шире вводили нас в его внутренний мир, – вспоминала Ирина Усова. – А мир этот был так необычаен <...>

Сначала он читал только совершенно нейтральную лирику – о природе, о хождении босиком. Впрочем, и там постоянно встречалось у него какое-нибудь слово, какая-нибудь “изюминка”, делавшая эти стихотворения непригодными для официальной печати. Затем уже стихи, связанные с его душевными переживаниями. И только когда наше знакомство стало переходить в дружбу – те стихи, в которых он касался нашей тяжкой действительности»[29].

Чаще он стал навещать Усовых, когда они поселились на улице Станиславского, в доме на углу Никитских ворот.

«Мы стали жить втроем в полутора комнатах, – рассказывает Ирина Усова. – В главной комнате было 17 м и во второй – 4 м. Эта последняя была выгорожена из лестничной площадки, и туда вела из нашей большой комнаты фанерная дверь сквозь дыру в капитальной стене. В этой кладовке, в которой было нормальное окно во двор с одиноким деревом, умещались двустворчатый шкаф и стоявшая стоймя длинная вещевая корзина. На кирпичах стояла железная сетка, на которой спала Таня, желавшая иметь отдельную комнату. Эта четырехметровая комната обладала звукоизоляцией, что давало нам возможность слушать стихи Даниила, не опасаясь постоянно любопытствующих соседей»[30]. В таких коммунальных углах жили тогда почти все.

Сестры влюбились в Даниила, младшая тогда же посвятила ему стихи, по-женски восторженные, заканчивавшиеся так:

Прозревающий Духа рассвет
И нездешнего Солнца восход –
Благо тебе – Поэт –
Благословен твой приход!..

Набравшись смелости, прочла ему. Стихи тронули Даниила. «Он выслушал с очень серьезным лицом и попросил повторить, – рассказывала Ирина Усова. – Но я передала ему листок. Позже я как-то выразила свое огорчение, что не могу дать ему что-то большое и хорошее, а он сказал:

– Что вы... Вот хотя бы ваши стихи...»[31]

Возможно, к 39-му году относится его сближение с Усовыми. Тогда он провел месяц в Малоярославце в общении с Марией Васильевной и Татьяной. Лето выдалось грибное, хождения с Татьяной Усовой по грибы были частыми и долгими лесными прогулками. Старшая сестра, уехавшая на полевой сезон, не без ревности рассказывала: «Мама с Таней снимали комнату у их знакомой Е<фросиньи> П<роферансовой> <...>, а для Дани присмотрели светелку поблизости, так что питались они вместе. Вдвоем с Таней они совершали длительные прогулки по окрестным лесам и лугам, что, естественно, очень сблизило их. Видимо, могло казаться даже, что их дружба переходит уже в роман. По крайней мере, Е. П. сказала маме словами из “Евгения Онегина”: “Я выбрал бы другую, Когда б я был, как ты, поэт”. Когда Даня был увлечен своей работой и поэтому отказывался от прогулки, Таня, разумеется, не настаивала, а он говорил по этому поводу: “Какое всепрощение!” <...>

У Е. П. был крокет, и они иногда с увлечением играли в эту игру, теперь уже вышедшую из моды, но к которой Даня был пристрастен еще в детстве. В игре проявилась еще какая-то сторона Даниного темперамента. Однажды он “промазал” (видимо, какой-то ответственный ход) и от досады так стукнул молотком о землю, что сломал его! А потом очень “угрызался”... Да он и вообще склонен был “угрызаться”, иногда даже из-за пустяков. Однажды у нас за столом он неосторожным движением столкнул уже пустую чашку на пол, и она разбилась... Как он расстроился!»[32]

Проферансова, по словам Ирины Усовой, «немного знакомая с оккультизмом», заметила как-то, что у Андреева такая походка, какая «бывает у людей, отмеченных некой сверхчеловечностью»[33]. Ровесница и подруга Марии Васильевны, Проферансова жила в Малоярославце в ссылке. Ее в 1937-м приговорили за недоносительство на сына «к трем годам лишения права проживания в 15-ти пунктах»[34]. Бывшего мужа Проферансовой, а затем сына осудили по делу анархистов-мистиков. Им вменялась принадлежность к мистической организации «Орден тамплиеров». Оба погибли – муж в ссылке, сын в лагере.

В Малоярославце жила в 37-м осиротевшая семья Шиков, близкая Малахиевой-Мирович, она часто гостила у них. Был знаком с Шиками и Даниил Андреев. Поэтому приезд его тем летом в Малоярославец вряд ли связан только с Усовыми.

9. Пропавшие следы

В 1939 году Андреев знакомится с Ростиславом Митрофановичем Малютиным. В одном из протоколов допроса уже первого месяца следствия, под давлением «всезнающего» следователя, он рассказал об этом знакомстве. Малютин пришел в Малый Левшинский, сообщил Андреев, «как сотрудник Литературного музея, с просьбой сообщить ему некоторые сведения биографического характера о моем отце. Постепенно наши отношения утратили официальный характер, мы неоднократно встречались, главным образом у меня на квартире, беседуя на различные литературные и частично политические темы. До войны я один раз был на квартире у Малютина, где познакомился с его женой Верой Федоровной и ее родителями». В беседах и Малютин и Андреев, как он признался, соблюдали «определенную осторожность». Слишком жестокое было время, и слишком мало они были знакомы, чтобы позволить себе откровенность.

В мезонине небольшого дома на Якиманке вместе с сестрой жил герой «Странников ночи» Глинский. Там часто собирались его друзья. В этом доме одно время помещался Литературный музей. Конечно, это не связывает Глинского с Малютиным. Почти в каждом из действующих лиц романа узнавались если не черты, как в братьях Горбовых, то отсветы личности автора, совмещенные с чертами окружающих. Глинский – индолог, но для него Индия и Россия мистически соединены, как они соединены для Андреева. Как и он, Глинский не любит холода и севера, предпочитая палящий зной. Даже обреченность его, больного туберкулезом, переживалась автором как собственная (именно в эти годы он заболел спондилоартритом и вынужден был носить металлический корсет). Но способность Глинского собрать вокруг себя единомышленников, сплотить противостоящих диктатуре и безбожию – эту черту своего героя Андреев пытался найти вне себя и вне круга давнишних друзей. Представлялось ему, что должны быть и люди, подобные экономисту и подпольщику Серпуховскому. Чем-то похожим на него мог показаться новый знакомый, Малютин.

Все темы и мотивы писавшегося романа вытекали из жизни автора, свои духовные ипостаси распределившего главным образом между братьями Горбовыми. В библиотекаре Бутягине можно предположить не только намек на Тришатова, но и увидеть любовь к литературе и истории самого романиста. Серпуховской же, кому Алла Александровна среди знакомых прототипа не находила, представлялся проекцией тех черт, которые, считал Андреев, у него отсутствуют.

Индология Глинского, его теория красных и синих эпох – давние и заветные темы Андреева. В тридцатые годы книг, посвященных Индии, а тем более ее религиям, выходило совсем немного. Чудом казались тома собрания сочинений Ромена Роллана под заглавием «Опыт исследования мистики и духовной жизни современной Индии». Правда, один из томов долго не выпускался в свет, а идеи книги о Ганди объявлялись не только утопичными, но опасными и демобилизующими. Хотя власть к Роллану, после встречи в 1935 году со Сталиным продемонстрировавшему сочувственное отношение к «исторической миссии СССР», относилась с предупредительным вниманием. Василенко вспоминал, что именно Андреев познакомил его с «индийскими» томами Роллана, и они зачитывались «Жизнью Рамакришны», «Жизнью Вивекананды», «Вселенским Евангелием Вивекананды»... Слова французского писателя: «...если есть на свете страна, где нашли свое место все мечты людей с того дня, когда первый человек начал сновидение жизни, – это Индия», потому что в ней «процветают все виды богов, начиная от самых грубых до самых возвышенных, вплоть до бога Бестелесного, Безыменного, Безграничного»[35] – Даниил Андреев считал безусловной и давно им самим выношенной истиной. Но для него, он понимал, путь в знойную землю, открытую мистическому небу, был закрыт. Оставалось искать Индию в трубчевских немеречах.

Алла Александровна сообщает, что последнее лето в Трубчевске он провел в 1940 году. Лидия Протасьевна Левенок неуверенно припоминала, что последний раз Андреев приезжал ненадолго, и называла весну того же года. Других сведений об этом нет, нет и «трубчевских» стихов этого времени. Но есть помеченные 39-м три стихотворения «трубчевского» цикла «Зеленою поймой». Два из них связаны с Дивичорами, и в одном из них появляется знакомый «дом у обрыва» в старом лесничестве и мелькает героиня, заставляющая вспомнить поэму «Лесная кровь»:

Там, на глухих Дивичорах,
Где пропадают следы –
Вкрадчивый шелест и шорох
Злого костра у воды.

И, в непонятном веселье,
Древнюю власть затая,
Варит дремучее зелье
Темная ворожея.

Плечи высокие, пряди
У неподвижного лба.

В бурых руках и во взгляде –
Страсть моя, гибель, судьба.

Тайну её не открою.
Имя – не произнесу.
Пусть его шепчет лишь хвоя
В этом древлянском лесу.

В том же древлянском лесу является ему «дивичорская богиня» или та же «темная ворожея»:

Вдоль озер брожу насторожённых,
На полянах девственных ищу,
В каждом звуке бора – отражённый
Слышу голос твой, и трепещу.

А кругом – ни ропота, ни бури:
Травы, разомлевшие в тепле,
Аисты, парящие в лазури
С отблесками солнца на крыле...

Возникает дочь лесника, правда, по логике сюжета, подмосковного, и в романе «Странники ночи». Ей, Марии Муромцевой, живущей в Медвежьих Ямах, он придал некоторые черты Аллы Мусатовой. Можно только предполагать – встретилась ли романтическая героиня поэту в его «трубчевской Индии», или пригрезилась, и поэтому мемуаристки не запомнили никаких подробностей возникновения этого андреевского сюжета? Никто теперь не ответит. Но попробуем поверить в стихи о местах, столь дорогих поэту, где, похоже, он бывал счастлив:

Там, у отмелей дальних –
Белых лилий ковши,
Там, у рек беспечальных,
Жизнь и смерть хороши.

10. Предбурье

Зимой, после двух с половиной лет ссылки, неожиданно вернулась Анна Ламакина. Вернулась с маленьким ребенком, без мужа: ему жить в Москве было запрещено. Комнату пришлось возвращать через суд. Соседское участие ее поддерживало. Она навсегда это запомнила: «Добровы встретили меня ласково. Полюбили Алешу. Вспоминается – как по нашему коридору бежал маленький Алеша, который только что начинал ходить. Как Филипп Алекс<андрович>, делая вид, что догоняет его, приговаривал: “Вот догоню, догоню сейчас”. Алеша визжал от удовольствия.

Потом за большим добровским столом сидим мы уже с Алешей. Алеша сидит на коленях Фил<иппа> Алекс<андровича> и вместе с ним из одного блюдца пьет чай, а Фил<ипп> Алекс<андрович> кладет ему в рот маленькие кусочки мармелада.

Вас<илия> Вас<ильевича> никак не прописывали в Москве. Мы с Алешей коротали это время вдвоем в холодной, можно сказать ледяной, комнате. Печка топилась плохо, в комнате пахло дымом, а на стене, выходящей на лестницу, лежал снег, который я счищала по утрам щеткой. В коридоре бегали крысы. Было страшно, одиноко и грустно...»[36]

На Андреева чужие бедствия действовали угнетающе. Стихотворение о Велимире Хлебникове, написанное в 40-м году, заканчивается горестными строками:

А мир-то пуст... А жизнь морозна...
А голод точит, нудит, ноет.
О голод, смерть, защитник грозный
От рож и плясок паранойи!
Исправить замысел безумный
Лишь ты могла б рукой бесшумной.
Избавь от будущих скорбей:
Сосуд надтреснутый разбей.

Год выдался трудным, бóльшую часть свободного времени Андреев отдавал писанию разраставшегося романа. Может быть, ненадолго съездил в Трубчевск.

Летом арестовали Андрея Галядкина. По воспоминаниям Василенко, Галядкина арестовали вот почему: «Живя подолгу в Никольском, он был дружен со старостой местной церкви. И Алла Константиновна Тарасова, актриса, его знакомая, попросила Андрея организовать венчание ее племяннику. Что он и сделал. А через два месяца его арестовали за то, как я потом выяснил, что он “совращал в религию” великую актрису»[37]. Неизвестно, так ли это – поводом к аресту могло послужить что угодно. Усиленная борьба с «религиозниками» шла весь этот год.

К делу Даниила Андреева приложена выписка из протокола допроса первой жены Галядкина от 30 августа 1940 года. На вопросы о политических настроениях мужа она отвечала, что его настроения и его родителей «были резко антисоветскими», и добавляла: «Припоминаю, особенно он был недоволен, что ему не дают свободно высказывать свои мысли, что вот в Германии и других капиталистических странах каждый может говорить, печатать, что ему вздумается»[38]. Ее показаний (как они получены и в какие формулировки облечены старшим оперуполномоченным НКВД Гришуновым – это иное дело) было достаточно

для ареста не только Галядкина, на вопрос, «в присутствии кого Галядкин А. Д. высказывал антисоветские настроения», – допрашиваемая отвечала, что тот высказывал их «в присутствии своих родителей, которые его в этом поддерживали, и близких друзей. Особенно близким человеком моему мужу были – сын священника Александр Ивановский и сын писателя Андреева, которые сочувствовали моему мужу и сами выступали с антисоветскими взглядами»[39].

Выбили показания на Даниила Андреева и на их общих друзей и у самого Галядкина. Об Андрееве расспрашивали особенно подробно. Вот протокол допроса от 5 марта 1941 года:

«ВОПРОС: Когда вы последний раз встречались с Андреевым?

ОТВЕТ: Последний раз я с ним встречался летом 1939 г. Он приезжал ко мне в с. Никольское.

ВОПРОС: Для чего он был у вас в с. Никольском?

ОТВЕТ: Он приезжал в один из выходных дней просто провести свободное время.

ВОПРОС: Что вам известно о политических взглядах Андреева?

ОТВЕТ: Из неоднократных разговоров, которые у меня были с Андреевым, мне известно, что по своим политическим взглядам и убеждениям [он] является человеком антисоветским.

ВОПРОС: Вы с Андреевым были связаны по антисоветской работе?

ОТВЕТ: По антисоветской работе я с Андреевым связан не был»[40].

На допросе 10 марта давление на Галядкина усилено, показания на «сообщников» получены:

«ВОПРОС: Вы продолжаете быть неискренним и скрываете как свою преступную работу, а также и своих соучастников. Предлагаем рассказать об этом...

ОТВЕТ: Я также не намерен скрывать что-либо о своей преступной работе и честно заявляю, что не только проводил контрреволюционную агитацию против мероприятий советской власти, но писал статьи и очерки, в которых протаскивал антисоветские взгляды, в целях распространения которых я устанавливал связь с людьми антисоветскими и всецело разделявшими мои взгляды.

ВОПРОС: Кто эти лица. Назовите их?

ОТВЕТ: ... Андреев Даниил Леонидович, ..., Ивановский Александр Михайлович ..., Усова Мария Васильевна. Все эти лица очень религиозные и люди антисоветские.

ВОПРОС: В чем состояла антисоветская связь с ними?

ОТВЕТ: Кроме антисоветских разговоров, которые у меня были с ними, я им читал свои очерки и статьи, где излагал враждебные советской власти идеологические взгляды. Эти очерки ими охотно и с одобрением выслушивались...»[41]

Конечно, Андреев давно состоял на особом учете у органов, информацию о нем они собирали впрок, и запротоколированные показания готовились как юридические основания для будущего «дела», когда придет срок возбудить его. Признания Галядкина о том, кому он читал свои писания, для этого были достаточны. Главное – правильно сформулировать показания в протоколе допроса. Следователи Князьков, Меркулов, чьи подписи стоят под лубянскими протоколами, делали это старательно и умело.

11. Смерть доктора Доброва

Январь 1941 года Андреев был занят оформительской работой, как всегда, срочной. В письме к Глебу Смирнову, с которым давно не виделся, он просит заранее назначенную встречу перенести «на любое число после 25-го», добавляя: «Очень я соскучился – моя жизнь в последние месяцы не дает возможности никого видеть, а я не создан для такого отшельничества!»[42] Никого не видел не только из-за работы ради хлеба насущного: в эту зиму он много писал. И не один роман. Закончил автобиографические записки «Детство и молодость (1909–1940)», писавшиеся давно, исподволь. И снова, вытеснявшиеся прозой, после затяжных пауз пришли стихи. Дописывался давно начатый – первые стихотворения написаны еще в 28-м – цикл «Катакомбы».

Пасха в 1941 году пришлась на 20 апреля. Как всегда, в добровской столовой на черном рояле светились в овсе крашеные яйца, на большом столе возвышался кулич. Но светлая пасхальная неделя для семьи Добровых стала похоронной. Умер Филипп Александрович. Умер в одночасье, от удара, после посещения больного отправившись в ванную вымыть руки. «Помню, как Елиз<авета> Мих<айловна>, хватившись его, искала его по всей квартире, – вспоминала эти дни соседка. – <...> Несли его по коридору в комнату Дани, где он вскоре и умер. Служили панихиду дома. Все наше переднее и даже часть Малого Левшинского переулка была полна людьми – его больными, очень любившими Филиппа Александровича, и людьми, близкими его семье. Все стояли с зажженными свечами и пели “Христос Воскресе”<...> Мы все, жильцы, единодушно с Елизаветой Михайловной стояли у его гроба. Как стойко переносила потерю Елиз<авета> Мих<ай-

ловна>. Помню, когда хоронили Фил<иппа> Алекс<андровича> на Новодевичьем кладбище, как радовалась Елизавета Михайловна, что рядом с его могилой растет куст сирени»[43].

У гроба стояла осиротевшая семья, соседи, старые друзья. Отпевали доктора в приемной, где он столько лет принимал больных. В доме не только входная дверь, но и все окна были открыты; народ толпился и под ними. Ивашев-Мусатов жалел: собирался, но так и не написал портрет Доброва. Теперь нарисовал его в гробу. «...Получился изумительный рисунок. Какое было лицо у Филиппа Александровича! Оно просто светилось»[44], – вспоминала стоявшая рядом Алла Александровна.

Присутствовала и Татьяна Усова, уже считавшая себя женой Даниила. Ее младшая сестра писала о докторе: «По профессии врач, из тех последних могикан медицины, которые только с состоятельных своих пациентов берут деньги, он был в то время на пенсии, но имел частную практику. Дома он не принимал, для этого не было места, – и сам ходил по больным. Как-то, будучи у Дани, Таня услышала из другой комнаты через коридор звуки рояля.

– Кто это играет?

– Дядя.

– А что это он играет?

– Он импровизирует.

Филипп Александрович сказал:

– Музыка – это стихия, без которой невозможно существование моей души.

Ради того, чтобы прочитать древних авторов в подлинниках, он уже в преклонном возрасте выучил греческий язык.

Как-то он был у больного недалеко от Никитских ворот и зашел к нам. Он был уже глубокий старик, и у него было больное сердце. Мы жили на втором этаже, и все же заметна была сильная одышка, когда он вошел. А большинство же его пациентов жили в старых домах без лифтов, и многие еще выше, чем мы.

– Филипп Александрович, ведь Вам уже слишком трудно при таком сердце взбираться по лестницам!

– Ничего, мы, старая гвардия, умираем стоя!

<...> На похороны съехалось много людей, частью даже никому из семьи не знакомых. И выяснилось, что Филипп Александрович многим помогал, чего даже жена его не знала. И столько хорошего было сказано о покойном, что Даня воспринял похороны как некий праздник Духа»[45].

Позже, когда началось «дело» Андреева, следствие характеризовало благородного доктора как монархиста, утверждая:

на квартире его «в первые годы после революции собирались монархисты, меньшевики и другие вражеские элементы, которые обсуждали активные меры борьбы с советской властью»[46]. Один из следователей заметил: «Этого вашего доктора первым надо было пристроить в наши места...»

Видимо, еще раньше доктора умерла Феклуша. Ламакина вспоминала, как перед Феклушиной кончиной она просила ее дать знать с того света, есть ли там жизнь. А после ее смерти увидела сон: идет по коридору Феклуша, улыбается ей и говорит: «Там все живы!»

Перед самым началом войны в Москве появилась Татьяна Морозова, остановившись у их одноклассницы Екатерины Боковой. Она с дочерьми на лето ехала в деревню Филипповскую, к родителям мужа. В первый же день Даниил навестил подругу детства. Ее огорчил его «скверный вид». Приезд Морозовой стал поводом для встречи одноклассников. Она писала о ней: «Один вечер собрались у Кати Даня, Галя, Тамара, Борис и я... Даниил в тот вечер беседовал с моими девочками, которые прилипли к нему, они ему понравились настолько, что ему захотелось приехать к нам в деревню. Жаль только, что с Даниилом как следует поговорить не удалось...»[47]

О том, что на пороге война, они не говорили.

12. «Германцы»

Наступило 22 июня 1941 года.

Коваленский, в 40-м году удивлявшийся немецким победам, по словам Андреева, считал, что немцы ведут борьбу за крылатость европейского духа против материалистического сознания, господствующего в СССР, против мирового мещанства Америки и Англии и рано или поздно столкнутся со сталинской тиранией. К сообщениям о зверствах фашистов они относились недоверчиво. Советская пропаганда давала обратный эффект, рождая не только невероятные слухи, но и мифы. В долгий мир СССР с Германией Гитлера, несмотря на договор о ненападении, мало кто верил. Но сообщение о начавшейся войне поразило даже тех, кто ждал ее.

Даниил Андреев войну предчувствовал и пытался «за грядущими войнами / Смысл разглядеть надмирный». В 1937-м писал:

Войн, невероятных, как бред,
    Землетрясений, смут
В тусклом болоте будничных лет
    Выросшие – не ждут...

Жди. Берегись. Убежища нет
От крадущихся минут.

В библиотеке Андреева была, следует полагать, внимательно прочитанная книга польского генерала Сикорского «Будущая война»[48], написанная в 1934-м, а в русском переводе изданная в 1936-м. Генерал делал трезвый вывод, что война не за горами, что она будет всеобщей и для стран, в нее вовлеченных, станет «вопросом жизни и смерти», что малейшие упущения в подготовке к обороне приведут «к неминуемой гибели»[49]. Главным виновником войны предполагалась Германия, с ее быстро выраставшей военной мощью. Сикорский цитирует «Мою борьбу» Гитлера, его слова о грядущем господстве германской империи на земном шаре. Фашистский фюрер называл пацифистов «слепыми» и «плаксивыми», говорил о победном мече «властвующей нации», стремящейся завоевать мир «во имя интересов внешней культуры». Книга Сикорского о близкой войне, о которой говорила вслух и к которой открыто готовилась Европа, помогала представить приближение невероятных и страшных событий. В апокалипсических стихах Андреева 37-го года воздух не только сталинских расстрельных ночей, но и ожидание неминуемой, страшной войны. 41-м помечено стихотворение, видимо, написанное до ее начала, «А сердце еще не сгорело в страданье»:

Учи же меня! Всенародным ненастьем
Горчайшему самозабвенью учи,
Учи принимать чашу мук – как причастье,
А тусклое зарево бед – как лучи!

Когда же засвищет свинцовая вьюга
И шквалом кипящим ворвется ко мне –
Священную волю сурового друга
Учи понимать меня в судном огне.

Судя по одному из «Протоколов допроса», следствие заставило Андреева признаться в том, что он «в 1941 году знал о существовании антисоветской организации, ставившей своей целью захват власти, и не сообщил об этом». Следователи обвиняли его в связях с неведомой организацией. Обвинение основывалось на знакомстве с Малютиным, и хотя во многом доверять протоколу, ведшемуся майором МГБ Кулыгиным, а тем более его формулировкам нельзя, но разговоры с Малютиным действительно происходили, и отношение к войне в ее первые дни вполне могло быть не таким, каким стало через несколько месяцев.

«В один из первых дней войны, – признался, судя по протоколу, допрашиваемый Андреев, – ко мне на дом неожиданно

днем явился Малютин и начал со мной вести более откровенный разговор о текущих событиях. Он констатировал общность наших антисоветских взглядов и заявил, что “настало время перейти от слов к делу”... Он заявил тогда мне, что считает фашистскую Германию призванной явиться историческим орудием, которое ликвидирует в России Советскую власть, в результате чего власть перейдет в руки антисоветских группировок, стремящихся к установлению в стране “парламентарного строя”. Поэтому он стоит за поражение Советского Союза в войне с фашистской Германией. Я высказал сомнение в том, что Германия может обеспечить создание парламентарного строя в России».

«Следствие располагает данными о том, что Малютин, – настаивал майор, – сделал Вам конкретные предложения». На это Андреев ответил: «Вполне конкретных предложений сделано не было, но я из слов Малютина мог заключить, что он подразумевал мое участие в идеологическом или художественном руководстве, в намеченном этой организацией правительственном аппарате. Вообще постов и должностей он не назвал». На следующий вопрос: «Как Вы отнеслись к предложению Малютина?», он ответил вполне искренно: «Отрицательно. Я заявил Малютину, что у меня для такой деятельности нет ни опыта, ни склонности, ни способности. Я указал, что считаю себя писателем и хотел оставаться таковым в дальнейшем. Кроме того, я выразил Малютину свои сомнения в том, что победа фашистской Германии может явиться вполне положительным фактором для России». На утверждение, что следствие знает, что он стоял «на пораженческих позициях» и рассчитывал «на фашистскую Германию как на силу, способную уничтожить Советскую власть», судя по протоколу, он признался: «Да, в дальнейшем я стоял на пораженческих позициях, но в начале войны я еще не мог определить своего отношения к событиям»[50].

Это признание согласуется со свидетельством сына Смирнова, которому Андреев, по его утверждению, в первый год войны говорил: «Глеб, не расстраивайся, если придут в Москву немцы, то это не так уж и важно. Приходили они в революцию в Киев – ну и что? Немцы придут и уйдут, а Россия останется».

С начала войны Андреев стал писать поэму «Германцы». Его всегда увлекал, по слову любимого поэта, «сумрачный германский гений», внятный в «Нибелунгах» и в Гёте, а особенно в Вагнере. Когда гитлеровские армии двинулись на Россию, на СССР, «германский гений» превратился в смертоносный шквал, и над завоевателями мерещилось знамя беспощадного Одина. Поэма писалась, следуя ходу военных событий. Понимание про-

исходящего, менявшееся, становилось все глубже. О впечатлении, производимом поэмой, Ирина Усова, слышавшая «Германцев» в начале войны, вспоминала: «Написана она была в самом начале войны, когда еще не доходили слухи о фашистских зверствах. А о Гитлере Даня знал только, что он мистик, вегетарьянец, что проводит какие-то мистические сеансы, на которых беседует с Гением немецкой расы... Это все сочувственно заинтриговывало его. В поэме сперва перечислялось все прекрасное, созданное этой многогранной нацией: Байрейтские музыкальные празднества, торжественно-радостное, как нигде в другой стране, празднование Рождества: “Если от Вислы до Рейна праздник серебряный шел”; образы Лоэнгрина и Маргариты: “где по замковым рвам розовеет колючий шиповник, где жила Маргарита и с лебедем плыл Лоэнгрин”.

Затем идет начало войны, с постоянным жутким рефреном: “К Востоку, к Востоку, к Востоку!” <...>

По форме она была одна из сильнейших, можно смело сказать, что это был шедевр. Она состояла из отдельных частей, занимающих каждая около страницы. И в каждой части размер и ритм стиха менялся в соответствии с содержанием. Это создавало такое разнообразие звучания, такую каждый раз новую свежесть восприятия! Из этой поэмы были впоследствии восстановлены Даней четыре отрывка <...> Даня дал им заголовки: “Шквал” и “Беженцы” (поэма подзаголовков не имела). Третий отрывок – это эвакуация “мощей” Ленина. Здесь чувствуется жутковато-гротескный мистический подтекст. И четвертый отрывок – кульминационный момент войны – немцы уже под Москвой... “Враг здесь, уже сполохом фронта / Трепещет окрестная мгла...”, “Свершается в небе и в прахе / Живой апокалипсис века”»[51].

Фрагменты поэмы, ставшие самостоятельными стихотворениями, позже вошли в главу «Русских богов» «Из маленькой комнаты», в первом варианте называвшуюся «Предбурье». За ней следовал «Ленинградский Апокалипсис». В нем сказался его собственный военный опыт. Кроме четырех упомянутых Усовой стихотворений в поэму, видимо, еще входили «Враг за врагом...», «Не блещут кремлевские звезды» и, может быть, «А сердце еще не сгорело в страданье...». В поэме он называет немцев народом-тараном «чужих империй», народом, который «воет гимн, взвивает флаги». Война представляется поэту мистическим жерновом возмездия, перемалывающим судьбы и народы.

Но в «Германцах» присутствовало и другое видение Германии Парсифаля, Гёте, Вагнера, судя по черновым, случайно уцелевшим строфам:

Германия взошла на небо
Не поступью ландскнехтов буйных,
Не бурей на ганзейском рейде,
Не шагом вкрадчивым купца:
Она взошла ...
Тропой вдоль речек тихоструйных,
Где нянчил добрый фогельвейде
Осиротелого птенца.

На таких строфах и зиждились потом обвинения поэта на следствии в «пронемецких настроениях».

Написав «Германцев», Андреев читал поэму друзьям. Василенко, с которым после начала войны они встречались редко, запомнились строфы о «бесах, носящихся вокруг мавзолея Ленина». В начале войны, вспоминал Василенко, «мы не верили в немецкие душегубки, в звериное лицо фашизма». Но Андреев знал высказывания Гитлера не только по советским газетам, а и хотя бы по цитатам Сикорского и разглядел в нем демонические черты. Пусть вождь нацистов умел «в случае надобности говорить языком Иммануила Канта, автора трактата о вечном мире»[52], так ведь этот же язык при надобности использовал и Сталин. В начале поэмы появляется тот «страшнейший» демон, в котором угадывается уицраор «империи-тирании», как поэт определял государство Гитлера. «Стоногим спрутом» демон явился не сразу, вырастая из уязвленного ультимативным Веймарским миром национально-патриотического чувства, постепенно превратившись в загромыхавший над Германией «истошный рев Хайль Гитлер»:

Он диктовал поэтам образы,
Внушал он марши музыкантам,
Стоял над Кернером, над Арндтом
По чердакам, в садах, дворцах,
И строки, четкие как борозды,
Ложились мерно в белом поле,
Чтобы затем единой волей
Зажить в бесчисленных сердцах:

Как штамп, впечататься в сознание,
Стать культом шумных миллионов...

Образ Гитлера в поэме мог быть еще неясен, еще задаются вопросы, кто он:

Провидец? пророк? узурпатор?
Игрок, исчисляющий ходы?
Иль впрямь – мировой император,
Вместилище Духа народа?

Как призрак, по горизонту
От фронта несется он к фронту,
Он с гением расы воочью
Беседует бешеной ночью.

Но странным и чуждым простором
Ложатся поля снеговые,
И смотрят загадочным взором
И Ангел, и демон России.
И движутся легионеры
В пучину без края и меры,
В поля, неоглядные оку, –
К востоку, к востоку, к востоку.

Но характеристика Гитлеру, данная позже, в главном сложилась сразу. Гитлера, как и Сталина, Андреев считал порождением «демонического разума». Гитлер «не проходимец без роду и племени, а человек, выражавший собою одну – правда, самую жуткую, но характерную – сторону германской нации. Он сам ощущал себя немцем плоть от плоти и кровь от крови. Он любил свою землю и свой народ странною любовью, в которой почти зоологический демосексуализм смешивался с мечтою – во что бы то ни стало даровать этому народу блаженство всемирного владычества...». В то же время «другие народы были ему глубоко безразличны».

Во время войны, 20 января 44-го года, историк Веселовский, осмысляя связь событий, писал в дневнике: «К чему мы пришли после сумасшествия и мерзостей семнадцатого года? Немецкий и коричневый фашизм – против красного. Омерзительная форма фашизма – в союзе с гордым и честным англосаксом против немецкого национал-фашизма. <...> Все карты спутаны, над всем царит волевой авантюрист-проходимец без вчерашнего дня и без будущего»[53]. Но и Веселовский называет проходимцем не Гитлера...

Особенно интересовали Андреева «слухи» о мистицизме Гитлера. В «Розе Мира» он говорит, что «противопоставление себя и своего учения всякой духовности» у него «не отличалось последовательностью и окончательностью». Гитлер «с благоволением поглядывал на поползновения некоторого круга, группировавшегося подле Матильды Людендорф, к установлению модернизированного культа древнегерманского язычества; вместе с тем он до конца не порывал и с христианством». Поощрял «распространение в своей партии очень туманного, но всё же спиритуалистического мировоззрения (“готтглеубих”)...». Для Андреева Гитлер стал одним из главных, вместе со Сталиным, демониче-

ских героев мистерии двадцатого столетия, служившим силам зла. И в поэме «Германцы», и в «Розе Мира» он мифологизирован, представая не просто эпическим злодеем, но человекоорудием для осуществления замыслов Противобога.

Предполагать, что перед войной и в самом ее начале Андреев надеялся, что «германцы» принесут освобождение от сталинского режима, никаких оснований нет. Хотя о возможном поражении в войне он не мог не размышлять. Но пафос поэмы «Германцы» был не пораженческий и не германофильский, а патриотический. Другое дело, что патриотизм в поэме не советский, взгляд на историю – мистический. В 1943 году в автобиографии, говоря о своем отношении «к советской власти и к войне», Андреев искренне высказал свои взгляды: «Ясно, что германский фашизм я не могу рассматривать иначе как реакционную силу, посягающую на самое существование русской культуры, на самостоятельное бытие русского народа, живым членом которого себя чувствую и сознаю. Я глубоко люблю старую культуру Германии и Италии, немецкую музыку и поэзию, итальянскую живопись и архитектуру. Тем более страшной кажется мне роковая опухоль, возникшая на теле этих культур в лице фашизма и требующая удаления самым жестким хирургическим путем. Поэтому я не мыслю окончания текущей войны иначе, как только при условии полной и безвозвратной ликвидации фашистского режима, вызвавшего такие бедствия, какие были незнакомы до сих пор мировой истории».

Часть седьмая

ВОЙНА
1941–1944

1. Военное лето

В ночь на 24 июня раздался вой сирен, объявили воздушную тревогу. Утром радио разъяснило, что тревога учебная. Но война вместе с немцами стремительно надвигалась на Москву. В сообщениях Совинформбюро говорилось о тяжелых боях и сдаваемых городах: 9 июля – Псков, 16 июля – Смоленск, 15 августа – Новгород, 25 августа – Днепропетровск. К 8 сентября кольцо сомкнулось вокруг Ленинграда. Немцы начали операцию «Тайфун», фронт двинулся на Москву, уже привыкшую к авианалетам.

Первая бомбежка обрушилась на Москву в ночь на 23 июля, когда фугасная бомба попала в Вахтанговский театр, оставив развалины, фугасы и зажигалки падали в арбатских переулках – в Сивцевом Вражке, в Староконюшенном, в Плотниковом... На улицах пахло гарью. Эту ночь Андреев пережил в Переделкине, где в июне, еще до начала войны, Усовы сняли флигелек. Ирина Усова вспоминала: «Через месяц после начала войны Даня приехал туда к нам с ночевкой, и как раз в этот день, когда стемнело, был первый налет на Москву немецких бомбардировщиков. Лучи множества прожекторов шарили по небу. Как гигантские хоругви, склонялись они то в одну, то в другую сторону, перекрещивались и расходились. И, поймав лучом самолет, уже не упускали его, передвигаясь вместе с ним. А на этот луч вперекрест ложился второй, и так высоко, высоко в небе летела в центре гигантской буквы Х крошечная серебряная стрекоза, несущая к Москве смерть. Зрелище было феерическое! Совсем близко от нашего дома, укрытая в лесу, стала бить зенитная батарея. Но ее выстрелы не достигали цели, а осколки снарядов, падая обратно, стучали о железную крышу дома. Даня страшно беспокоился и нервничал. Его близкие, его семья там, а он не может туда ехать, так как из-за необходимости затемнения с наступлением темноты поезда уже не ходили.

Но вот там, где Москва, в одном месте появляется и все усиливается свет – зарево пожара! Стало быть, какой-то бомбарди-

ровщик прорвался через все ряды зенитных установок и сбросил на Москву бомбу. Данина тревога усилилась. Он пытался понять, над каким местом Москвы зарево, – не там ли, где его дом... Он почти не спал и чуть свет с первым же поездом уехал в Москву. Потом ему, как и всем другим, приходилось дежурить во дворе своего дома на случай попадания туда зажигалок (бомбы воспламеняющего действия). Когда однажды он был на дежурстве и услышал свист фугасной бомбы, – то кинулся к корпусу своего дома и прижался к его стене, чтобы, если бомба упадет туда, разделить участь всей семьи...»[1]

Ночами громыхал заградительный огонь зениток, несся ноющий звук юнкерсов, вспыхивали прожектора. Бомбы на Москву падали и днем, люди гибли. Слухи быстро оповещали: бомба попала в шедший у Манежа трамвай. Сброшен с пьедестала, правда, в тот же день поднят памятник Тимирязеву. Задет портик Большого театра... Бомба попала в университетский сквер, выбиты окна и двери, разрушена крыша Манежа... Можно предполагать, что первое военное лето стало для Андреева особенно тяжелым. Стремительные фронтовые события, то те, то другие житейские трудности, каждодневная, нараставшая тревога. Нелегко приходилось всему семейству Добровых, потерявшему главу. Слишком многое в доме держалось на старом докторе. Осложнившиеся отношения Даниила, лишенного всякой житейской хватки, с Коваленскими, болезненная беспомощность мамы Лили и Екатерины Михайловны, сразу сдавших, совсем постаревших, – все это мучило, заставляло горько замыкаться.

В середине сентября киевская группировка наших войск попала в окружение. Киев сдали 19 сентября. 20 сентября погиб Юрий Беклемишев-Крымов. Незадолго перед тем Даниилу приснилось, как он погибнет. Крымов погиб геройски, под селом Богодуховка Полтавской области в рукопашном бою, прикрывая отходящих товарищей. Он пробивался из окружения вместе с редакцией газеты «Советский патриот». Бился до последнего, с той уверенной отвагой, с которой когда-то в юности выходил драться стенка на стенку на московских пустырях. Его нашли с семью штыковыми ранами. Но об этом стало известно позже, он считался пропавшим без вести, и мать Юрия никак не хотела поверить в его гибель.

Алла Александровна упоминала: одно время, в начале войны, Даниил был близок с Галиной Русаковой, но они быстро расстались. Подробностей мы не знаем, хотя ясно: юношеская любовь невоскресима. Их запоздалый, недолгий роман, очевидно, совпал с гибелью другого Юрия – Попова, соперника и друга, осенней

ночью дежурившего на высокой крутой крыше, и к режущей боли прошлого прибавились муки вины в том, в чем вряд ли он мог быть виновен.

2. 16 октября

Осенняя Москва превращалась во фронтовой город, пустела, это стало ощущаться всеми. Над крышами в помрачневшем октябрьском небе – аэростаты воздушного заграждения. Оконные стекла в белых бумажных крестах. По окраинам – поднялись надолбы, рылись траншеи. Даже на Садовом кольце появились противотанковые ежи. Сделали их из стали, предназначавшейся для каркаса начавшего строиться Дворца Советов. Заметно поднявшийся к июню 41-го на месте храма Христа Спасителя каркас разобрали. По ночам на улицах черно, ни огонька. Дежурившие на крышах видели, как небо, особенно на северо-западе, озарялось вспышками.

Киев пал. Все ближе знамя Одина.
На восток спасаться, на восток!
Там тюрьма. Но в тюрьмах дремлет Родина,
Пряха-мать всех судеб и дорог.
Гул разгрома катится в лесах.
Троп не видно в дымной пелене...
Вездесущий рокот в небесах,
Как ознобом, хлещет по спине –

так начинается один из самых впечатляющих «набросков к поэме» «Германцы» – стихотворение «Беженцы».

2 октября наш фронт был прорван западнее Вязьмы, 3 октября Гудериан захватил Орел и двинулся на Тулу, 6-го немцы взяли Брянск, 9-го вошли в Трубчевск... 12 октября ГКО решило строить третью оборонительную линию в самой Москве, где началась эвакуация. Готовились подпольные группы для действий в оккупированной столице, на случай отступления минировались важные объекты, и не только военные. Заминировали даже Дом Союзов. Москвичи поневоле привыкли к прерывистому вою сирен, гудкам, гулу бомбардировщиков.

Разведка группы немецких армий «Центр» оценивала положение в сводке 14 октября: «В настоящее время противник не в состоянии противопоставить наступлению на Москву силы, которые были бы способны оказывать длительное сопротивление западнее и юго-западнее Москвы. <...> Эвакуационные мероприятия в районе Москвы дают основания полагать, что противник считается с возможностью ее потери»[2].

Вечером 14 октября неожиданно предложили эвакуироваться всем членам Союза писателей. Ни Даниил Андреев, ни Коваленский в писателях, конечно, не числились. А 15 октября ГКО принял решение «Об эвакуации столицы СССР г. Москвы». Сталин собирался уехать в Куйбышев: на Центральном аэродроме ждал самолет, на станции у завода «Серп и молот» спецпоезд.

16 октября 1941 года навсегда запомнилось всем, пережившим этот день в Москве. Из города на восток потянулись потоки навьюченных беженцев. Метро не работало, трамваи еле ползли.

Вот свидетельства картины этого дня:

«Шагают врассыпную разношерстные красноармейцы с темными лицами, с глазами, в которых усталость и недоумение...

У магазинов огромные очереди, в магазинах сперто и сплошной бабий крик. Объявление: выдают все товары по всем талонам за весь месяц...

Ночью и днем рвутся снаряды зениток, громыхают далекие выстрелы. Никто не обращает внимания. Тревога не объявляется.

Многие заводы закрылись, с рабочими произведен расчет, выдана зарплата за месяц вперед.

Много грузовиков с эвакуированными: мешки, чемоданы, ящики, подушки, люди с поднятыми воротниками, закутанные в платки»[3].

Садовая «вплотную запружена машинами, в них, согнувшись в три погибели, сидят на грудах вещей беженцы – пригородные обыватели, городские евреи, коммунисты, женщины с детьми. Втиснулись в поток автомобилей какие-то воинские части; пешеходы катят тележки с привязанными чемоданами, толкают тачки и детские коляски. Спрессованная масса течет по Садовому кольцу к трем вокзалам с утра до ночи непрерывно»[4].

«Шоссе Энтузиастов заполнилось бегущими людьми. Шум, крик, гам. Люди двинулись на восток, в сторону города Горького...

...Застава Ильича. Отсюда начинается шоссе Энтузиастов. По площади летают листы и обрывки бумаги, мусор, пахнет гарью. Какие-то люди то там, то здесь останавливают направляющиеся на шоссе автомашины. Стаскивают ехавших, бьют их, сбрасывают вещи, расшвыривая их по земле»[5].

У Казанского вокзала клокочущие, рвущиеся уехать толпы. В центре горклый запах горящей бумаги, ветер несет бумажный пепел – жгли какие-то невывезенные архивы, документы. В здании наркоматов на площади Ногина двери брошенных кабинетов распахнуты, бумаги разбросаны. Разор в пустом Союзе писателей: окна настежь, двери заколочены досками. На одном из углов на Кузнецком Мосту, рассказывает очевидец, валялись красные

тома сочинений Ленина, другой повествует о том, как закапывал те же «дорогие ему тома» в землю... И слухи – достоверные и нелепые. О немецких парашютистах на Воробьевых горах, о танках, прорвавшихся где-то на окраине...

В этот же день по приказу зам. наркома внутренних дел Кобулова было расстреляно 156 человек, видимо, самых опасных заключенных, начиная с мужа Марины Цветаевой и кончая женами маршала Тухачевского и члена ЦК Межлаука.

16 октября врезалось в память и Алле Александровне Андреевой: «Из Москвы бегут все, кому действительно страшно. Немцы подошли к сердцу России. Мы слышим по радио то, что привыкли слышать: наши войска оставляют, оставляют, оставляют... Утром 16 октября в Москве уже были только те, кому некуда и незачем бежать. Мы уже не расставались и старались держаться вместе.

Утром было объявлено, что в 12 часов передадут важное сообщение. Все знали, что это вступление к объявлению о сдаче города. И вот в полдень по радио сказали, что важное сообщение переносится на 16 часов. Не могу объяснить, каким образом, но я поняла – немцы не войдут. Москва не будет сдана. Когда я сказала об этом мужчинам, а мы с Сережей не расставались и все время звонили Коваленским и Даниилу, они на меня накинулись. Мужчины – народ логический:

– Ты что? Ну о чем ты говоришь?!

Я упорно повторяла, твердила одно:

– Не знаю почему, но Москва сдана не будет. Не знаю, что сейчас произошло, но то, что произошло, все изменит.

В 16 часов объявили, что где-то открывается магазин, а какой-то троллейбус пойдет другим маршрутом. Неизвестно почему, но права оказалась я, а не умные мужчины с их логическим мышлением.

Я знаю, что в те часы произошло чудо. Мне не надо было ничего видеть. Я ничем не докажу своей правоты. Но и спустя пятьдесят с лишним лет память чуда так же жива. Сейчас кое-что известно. Существует несколько версий. Я знаю такую версию: три женщины по благословению неизвестного священника, взяв в руки икону Божьей Матери, Евангелие и частицы мощей, которые им удалось достать, обошли вокруг Кремля. Есть версия, будто самолет с иконой Казанской Божией Матери облетел вокруг Москвы. Не знаю... Мне, помнящей атмосферу того времени, более правдоподобной кажется версия первая – шли кругом Кремля. Матерь Божия отвела беду от Москвы. Значит, так было надо. И никто меня не убедит в том, что это не было

чудом»[6]. Многие из переживших эти дни остались убеждены в том, что Москву не сдали именно благодаря чуду.

Казалось, натянутые сталинские вожжи провисли, власть растеряна и растерянность передалась всем нервными судорогами страхов и слухов. Вот как изображена эта растерянность в «Розе Мира»: «Наступила минута слабости. Та минута, когда у вождя, выступавшего перед микрофоном, зубы выстукивали дробь о стакан с водой. Та минута, растянувшаяся, увы, на несколько месяцев, когда в октябре 41-го года вождь с лицом, залитым слезами, вручал Жукову всю полноту командования фронтом Москвы, уже наполовину окружённой германскими армиями, и заклинал его голосом, в котором наконец-то появились некоторые вибрации, спасти от гибели всех и вся».

Известно, что когда Сталину доложили о событиях 16 октября, вождь сказал: «Ну, это ничего. Я думал, будет хуже...» На фронте этот день назвали «московским драпом».

«Беженцы» написаны Даниилом Андреевым после этого страшного дня. Они о его тогдашних переживаниях:

Не хоронят. Некогда. И некому.
На восток, за Волгу, за Урал!
Там Россию за родными реками
Пять столетий враг не попирал!..
Клячи. Люди. Танк. Грузовики.
Стоголосый гомон над шоссе...
Волочить ребят, узлы, мешки,
Спать на вытоптанной полосе.

Лето меркнет. Черная распутица
Хлюпает под тысячами ног.
Крутится метелица да крутится,
Заметает тракты на восток.
Пламенеет небо назади,
Кровенит на жниве кромку льда,
Точно пурпур грозного судьи,
Точно трубы Страшного Суда.

По больницам, на перронах, палубах,
Среди улиц и в снегах дорог
Вечный сон, гасящий стон и жалобы,
Им готовит нищенский восток.
Слишком жизнь звериная скудна!
Слишком сердце тупо и мертво.
Каждый пьет свою судьбу до дна,
Ни в кого не веря, ни в кого.

Шевельнулись затхлые губернии,
Заметались города в тылу.
В уцелевших храмах за вечернями

Плачут ниц на стершемся полу:
О погибших в битвах за Восток,
Об ушедших в дальние снега
И о том, что родина-острог
Отмыкается рукой врага.

19 октября в Москве объявили осадное положение.

3. Фронтовая Москва

В середине ноября началось новое немецкое наступление на Москву. Жизнь в осадной, вступавшей в жестокую зиму Москве становилась с каждым днем холодней, голодней и все более непохожей на мирную. Продуктовые карточки, 250 грамм хлеба в сутки на иждивенца. Мучительные заботы о дровах (добровские комнаты отапливались печами). Комендантский час. Стылые, мертвые окна. Ожидание бомбежек и недобрых вестей. Эта Москва в его стихах, написанных в декабре 41-го:

Не блещут кремлевские звезды.
Не плещет толпа у трибуны.
Будь зорок! В столице безлунной,
Как в проруби зимней, черно...
Лишь дальний обугленный воздух
Прожекторы длинные режут,
Бросая лучистые мрежи
Глубоко на звездное дно.

Давно догорели пожары
В пустынях германского тыла.
Давно пепелище остыло
И Новгорода, и Орла.
Огромны ночные удары
В чугунную дверь горизонта:
Враг здесь! Уже сполохом фронта
Трепещет окрестная мгла.

Когда ж нарастающим гудом
Звучнеют пустые высоты
И толпы в подземные соты
Спешат, бормоча о конце, –
Навстречу сверкают, как чудо,
Параболы звезд небывалых:
Зеленых, серебряных, алых
На тусклом ночном багреце.

О том, как жилось ему в эти месяцы, известно из воспоминаний Ирины Усовой, кажется, не лишенных пристрастных преувеличений:

«Даня, как, впрочем, и все его семейство, был человеком очень непрактичным, запасов продуктов, хоть самых малых, у них никаких не было, так же, как и вещей для обмена. И уже очень скоро он стал страдать от голода. Мы старались, как только могли, подкормить его. Уж не помню, с какого времени установилось, что он стал приходить к нам регулярно два раза в неделю к позднему обеду, когда Таня возвращалась с работы. К этим дням приберегалось что получше. Я думаю, что только эти два раза в неделю Даня вставал из-за стола насытившимся. И так же регулярно, два раза в неделю, он садился после еды на диван и читал нам очередной отрывок из того, над чем тогда работал. Сначала это были его поэмы “Янтари” и “Германцы”, затем, и уже до самого отъезда на фронт, – его роман. В тех же случаях, когда он хворал, Таня или я навещали его и привозили ему немного чего-нибудь съестного. Правда, когда это делала я, мне от Тани всегда жестоко попадало: – Как ты смела! – Для нее было не так важно, чтобы Даня поел, но чтоб у него было чувство признательности только к ней одной!

Центральное отопление во время войны не действовало, но, возможно, не сразу во всех районах Москвы было отключено одновременно. Во всяком случае, однажды Даня из-за сильного холода у себя ночевал у нас в маленькой комнате. Вечером, после ужина, он удалился туда, мы закрыли дверь и старались не шуметь. Он работал тогда над поэмой “Германцы”. Уж не помню, до которого часа ночи он писал и когда лег спать. Встал на несколько часов позже нас и прочитал нам написанное за один присест. Это было более восьмидесяти прекрасных строк, уже до конца обработанных и законченных. <...>

Электроэнергия также не сразу была жестко нормирована, и поэтому, когда я получила на работе для обогрева в свое личное пользование электрокамин, то тут же оттащила его к Дане. Не помню слов, которыми он поблагодарил меня, а быть может, их и не было вовсе. Но очень хорошо помню его взгляд глубокой благодарности. <...> Тут вошла его мама, которая уже знала, что я принесла, и они молча, но так выразительно обменялись взглядами. <...> А как-то она сказала о Дане: “Этот ребенок никогда не доставлял мне никаких неприятностей”. (Свои-то дети доставляли и, кажется, порядочные, особенно дочь)»[7].

Работая над «Германцами», он неожиданно для себя написал цикл «Янтари».

В дни, когда над каждым кровом временным
Вой сирен бушует круговой

И сам воздух жизни обесцененной
Едко сух, как дым пороховой –

В этот год само дыханье гибели
Породило память дней былых,
Давних дней, что в камне сердца выбили
Золотой, ещё не петый стих –

так он объясняет, почему студеным военным январем ему вспоминался август в Судаке, смуглолицая черноглазая Мария.

В непроглядных вьюгах ты затеряна,
В шквалах гроз и бурь моей страны.

Лишь не гаснут лёгкие, как вестницы,
Сны о дальнем имени твоём,
Будто вижу с плит высокой лестницы
Тихий-тихий, светлый водоём.
Будто снова – в вечера хрустальные
Мы проходим медленно вдвоём
И опять, как в дни первоначальные,
Золотую радость жизни пьём.

Гонта в это время находилась в эвакуации в Чистополе, откуда скоро стала рваться назад, в Москву, просила знакомых помочь в этом. Возможно, написала она и Андрееву.

В конце января или начале февраля он узнал, что Малютин ранен и лечится в московском госпитале. Об этом сообщила Вера Федоровна, жена Малютина, и Андреев навестил его. Но о разговорах начала войны они не вспоминали...

Коваленский осенью и зимой 41-го писал цикл «Отроги гор». В нем можно услышать те же постсимволистские отзвуки мистических тем, что и в «Песне о Монсальвате» Андреева. «Никем не найден он» – в этом утверждении, с которого начинается цикл, можно увидеть намек на Грааль. А дальше речь идет о незримой «охране», явленной «в злые дни», «в минуты роковые»:

Уже не в первый раз, когда
Еще незримая беда
Стучится к нам, как гость случайный,

Мы слышим в смутной глубине,
Не наяву и не во сне,
Их голос тайный.

Коваленский видит свою «вершину в ледяной броне», где «выси всех высот». Он ведет спор со временем: «Смотри: воронкой вьется время, / Высасывает мозг и дух уводит в ночь». Но видения его под еле различимый «ветер боя» и хор «невнятных голо-

сов» смутны и отстраненны. Символистская зыбкость заключена в строгие формы, сонеты цикла перемежаются трехстрочными и пятистрочными строфами. К сосредоточенности на «пути самосозданья» ментора и друга Андреев относился с сочувствием, но прислушивался к собственным голосам. Он в те же месяцы писал «Германцев», слушая внятные голоса войны.

Этой первой военной зимой Коваленский привлек зятя к литературной работе. Правда, роль ему отвел скромную, подсобную. В начале 42-го Александр Викторович начал по заказу издательства «Художественная литература» переводить Марию Конопницкую и тогда же вместе с литературоведом Леонидом Ивановичем Тимофеевым составлял антологию «Стихи о Родине». Андреев помогал отбирать стихи для антологии, исполнял роль машинистки, готовя рукопись. Татьяне Морозовой, благодаря ее за ленты для пишущей машинки, он писал: «Вообще, с переходом моим к Ал<ександру> Викт<оровичу> окончательно на литер<атурную> работу, они становятся нашим “орудием производства”...»[8].

Закончив «работу по составлению сборника», он надеялся вместе с Коваленским заняться переводами с польского...

Морозова, застигнутая войной в Филипповской, на несколько дней появилась в Москве, вырвавшись во время каникул из сельской школы, где она работала. Андреев незадолго перед тем переболел паратифом и был не совсем здоров, но принял ее, помог разузнать о связи с Ленинградом, откуда она ждала вестей и куда рвалась. Сообщение «только через Вологду и не пассажирское, а товарное под вопросом»[9] – вот и все, что удалось узнать. На сердце у нее было тяжело. Муж, оставшийся в Ленинграде, за несколько дней перед этим – 7 января – умер от голода, о чем она узнала гораздо позже.

Морозовой в Филипповскую Андреев пишет о житье-бытье, о делах: «Все время гриппю, бюллетеню, вот и сейчас. Из-за этого не иду в военкомат, откуда уже давно лежит повестка. Дома все без перемен. Плохо, что кончились дрова, новых, вероятно, не будет – базы пусты, – а электричество стали выключать здорово. Двое суток не на чем было стряпать, не говоря уж о холоде и тьме.

Ну вот, дорогая. Ах да: может случиться, что я прикреплюсь к хорошей столовой и буду получать довольно приличный обед. Но это еще бабушка надвое сказала»[10].

Татьяне Морозовой жилось куда труднее. Больная, сказывались последствия энцефалита, от которого едва не умерла, не приспособленная к тяжкой деревенской жизни, с двумя дочерьми, она всю войну оказалась вынуждена работать не только в школе,

но и в колхозе. Морозова так описывала свое тогдашнее житье в письме подруге: «В доме родителей мужа валяюсь на каких-то шубах на грязном полу избы. Зима. Ночь. Встаю в четыре утра и ощупью, если нет луны, иду на Караваевку, в школу. Там в темноте затапливаю печи, и начинаются слезы. А вечером, после занятий, пилим с Верой (дочерью. – *Б.Р.*) дрова (ей было 12–13 лет), пила тупая, сил нет...» Несколько раз она вырывалась в Москву, к школьным еще подругам, к двоюродному брату, от него забегала к жившему по соседству Даниилу. Его дружеское бескорыстное участие она чувствовала всю жизнь.

В июле, после четырехмесячной тяжелой болезни, умерла Елизавета Михайловна, мама Лиля. Даниил второй раз осиротел:

Вторая мать, что путь мой укрывала
От бед, забот, любовью крепче стен,
Что каждый день и час свой отдавала,
Не спрашивая н и ч е г о взамен.

С ее смертью, казалось, дом Добровых перестал быть их общим домом.

«Когда мама его слегла, он ездил иногда на рынок – купить для нее один (!) стакан клубники за двадцать или тридцать рублей. Говорил, что она не понимает положения, в противоположность всегдашнему своему характеру, стала капризной и требовательной.

Коваленские отделились и стали питаться отдельно. Такие распады семьи из-за пищи случались тогда очень часто. Иногда даже муж и жена питались отдельно. За исключением двух раз в неделю, когда он бывал у нас, Даня был постоянно голоден. Да еще кузина его, как мне кажется, действовала на него паникерски. Он вообще был склонен поддаваться настроениям тех, к кому был привязан. Когда я, еще до войны, видела ее один раз, будучи у Дани, – она мне определенно не понравилась. Она удивительно дисгармонировала с общим стилем семьи: ярко накрашенные, большие, выступающие губы, длинные серьги до плеч, и одно плечо (действительно беломраморное), несмотря на зиму, обнажено, – нечто вроде одалиски. За общим чаем говорила не помню о чем, но помню, что с чрезвычайным апломбом и безапелляционностью.

Однажды, когда я была у Дани, видя, что единственный его костюм износился, я спросила его: – Почему не отдаст себе сшить костюм из грубошерстного отреза, который подарила ему Таня? А он с резкой горечью ответил: “Зачем? Чтобы меня в нем похоронили?” Я промолчала...»[11] – с преувеличениями, с горячей пристрастностью вспоминала об этом времени Ирина Усова.

Алексей Смирнов рассказывает, что одна из поклонниц подарила Андрееву гардероб покойного мужа, бывшего нэпмана, «и он до самой войны донашивал несколько костюмов из прекрасной английской шерсти и шикарное черное осеннее пальто»[12]. Но во время войны все было обменяно на продукты.

4. Татьяна Усова

Домашний разлад, одиночество опять и опять приводили Андреева в семейство Усовых. Здесь его не просто любили – боготворили. Ну а Татьяна, судя по лишенным какой-либо снисходительности к сестре ревнивым воспоминаниям Ирины Усовой, вела настойчивую любовную осаду, в конце концов увенчавшуюся временным успехом. «Лето 1942 года было первое при Дане, когда я оставалась в Москве, – повествовала она. – Но времени, да и сил для загородных прогулок не было. Кроме поездок, часто на два дня кряду, с обменными целями, надо было по многу часов выстаивать в очередях, чтобы отоварить продуктовые карточки, ездить на огород, который давала служба (и который ничего, по большей части, не давал, так как земля была негодная), и вообще, помимо обычных хозяйственных дел, делать массу других, связанных с военным временем. А зимою еще по многу часов простаивать на коленях возле трехногой железной печурки, дуя в нее и подсушивая в ней сырые осиновые дровишки, из которых капал сок, превращаясь в едкий угар, от чего разбаливалась голова. И все эти дела были моей обязанностью. <...>

Один только раз за все лето я участвовала в совместной поездке в дачные места. У Дани была определенная цель поездки: неким весьма состоятельным людям, живущим сейчас на собственной даче, предложить – не купят ли какую-то добровскую золотую вещицу? А мы с Таней поехали с ним за компанию. Не доходя до дачного поселка, мы с Таней уселись в тени, за придорожной канавой, а он, предварительно обувшись, пошел к этим людям уже один. Вернулся через полчаса, не столько раздосадованный неудачей своей миссии, как пораженный и впечатленный уже непривычным для нас стилем барской жизни. “Представьте себе, – рассказывал Даня, – прекрасный ухоженный сад (ясно, что есть специальный садовник), цветущие в изобилии розы, посыпанные песком дорожки, и в довершение всего звуки рояля из окон большого красивого дома!”

Когда возвращались, стало прохладно. Я накинула на себя безрукавный плащ из серебрянки, сшитый для лесной работы, так как благодаря своей тонкости и невесомости он легко уме-

щался в полевой сумке на спине. На спине из-под капюшона у него отходили сборки, образующие к подолу развевающиеся на ходу складки. Я в ту пору была очень легка на ногу, привыкла ходить быстро и, увлекшись ходьбой, ушла вперед. Заметив это, остановилась подождать остальных. Обернувшись, увидела, что Даня издали очень пристально и с какой-то мыслью в глазах смотрит мне вслед. Поравнявшись со мной, он сказал: “Вот такой плащ был у Агнессы (героиня его поэмы “Мон-Сальват”). – “Нет, не такой: ‘В серебряной робе и синем плаще’ ”. – “Это была ошибка!”

Еще из этой поездки запомнилось, что на обратную дорогу у него не хватило папирос, и он страдал от невозможности принять очередную дозу этого наркотика. Было несколько грустно от сознания, что в глубине души он предпочел бы сейчас нашему обществу хотя бы одну-единственную папиросу!

С Таней же Даня чаще ездил за город. В одну из поездок они возвращались вдоль только что убранного картофельного поля, и Таня по пути собирала оставшиеся кое-где мелкие, с орех, картофелинки. На ее вопрос, почему он не собирает тоже, он ответил: “Не умею я так крохоборничать!” Однако голод поджимал, продавать ему было нечего... кроме книг. В конце концов это и пришлось ему делать. С какой болью расставался он с ними! Особенно жаль ему было полного собрания сочинений Достоевского. И ведь тогда книги, сравнительно с едой, стоили гроши. В другой раз они вернулись после загородной прогулки оба какие-то значительно-серьезные. Скоро выяснилось, почему они обращались друг к другу уже на “ты”... Должна сознаться, это меня взволновало. Сердце забилось так часто и так громко, что я испугалась, что и другим слышен этот стук...»[13]

Конец лета и сентябрь прошли в попытках добыть пропитание, названных им «хозяйственными экскурсиями», и подготовке к зиме. К зиме, не обещавшей быть легкой, в доме шел ремонт, ремонтировалась большая комната, занятая Коваленскими после смерти Елизаветы Михайловны.

5. Мобилизация

В октябре 1942-го Андреева призвали в армию. Перед тем как отправиться в военкомат, он поехал навестить Софью Александровну, сестру доктора Доброва, жившую в подмосковной Валентиновке. У нее в саду он решил зарыть рукопись «Странников ночи». Несмотря ни на что, роман писался, первая часть была закончена, почти дописана вторая.

Алексей Смирнов передает в весьма приблизительных воспоминаниях, что Андреев «рассказывал, как пришел в военкомат со своей портативной пишущей машинкой, мешком папирос “Беломорканал” и тремя книгами – буддийскими текстами, Евангелием и томом Шопенгауэра “Мир как воля и представление”»[14]. Так это было или не так – неизвестно, образ похож, но чересчур литературен. Мобилизовали Андреева как нестроевого и отправили в 196-ю дивизию в конце сентября, после тяжелых боев под Сталинградом, выведенную в Московскую зону обороны. Размещенная неподалеку от Москвы, на станции Кубинка, дивизия, потерявшая две трети боевого состава, пополнялась и переформировывалась.

Во фронтовой автобиографии он писал: «Для себя лично я считаю долгом и обязанностью включиться в нашу общую освободительную борьбу. Заболевание нервных корешков спины – так называемый спондилоартрит (я несколько лет носил железный корсет и снял его незадолго до мобилизации лишь потому, что не мог в военных условиях заказать себе новый) – это заболевание препятствует несению мною строевой службы, я освобожден мед<ицинской> Комиссией от марша и физ<ической> работы. Но я не мыслю для себя сейчас иного местопребывания и работы, как в армии. Мое место здесь. Здесь я полнее ощущаю хотя и маленькую, но реальную пользу, приносимую мною общему делу, и здесь буду делить все боевые опасности с цветом нашего народа – с Красной Армией.

Некоторые моральные взгляды, усвоенные мною с детства и укоренившиеся навсегда, диктуют мне не избегать ни опасностей, ни открытой борьбы. Но препятствуют участию в такой работе, где имеется элемент обмана, хотя бы и допустимого в условиях войны. Например, не хотел бы и не мог бы быть разведчиком. Возможно, что эту мою позицию трудно обосновать и защищать логически, но она коренится в чувстве, более сильном и императивном, чем логика, и никакому пересмотру не подлежит».

В Кубинке, переполненной переформировывавшимися частями, Андреев приютился в снятой комнатушке и пока находился на полуштатском положении, тем более что формы ему поначалу не выдали: с холодами пришлось ходить в тяжелом, еще отцовском пальто.

На Новый год он получил увольнение и поехал домой. Алла Александровна рассказывает: «Мы всегда встречали Новый год у Коваленских. <...> Даниил был еще в Кубинке. Его отпустили в Москву на два дня, о чем мы с Сережей не знали.

У нас еще был такой обычай – встречать Новый год в белом платье. И в ту новогоднюю ночь я была все в том же свадебном

белом платье, в котором впервые пришла в этот дом. Темная-темная холодная Москва была удивительно красива военными зимами, потому что свет – окна, фонари – лишает город его настоящей ночной красоты. Москва первых зим с затемнениями, когда не было ни единого лучика из окна, ни одного фонаря, была тихая, снежная. В ней проявились ритмы города, которые при свете пропадают. Ложился снег, его не счищали, и от него было светло. Господи, какие в Москве есть удивительные повороты, уголки, изгибы крыш, сочетания высоких и маленьких домов!

Мы пришли с Никитского бульвара в Малый Левшинский. Пришли мы ночью, значит, уже не было комендантского часа. На звонок дверь – я уже упоминала, что она шла из квартиры на улицу, – открыл Даниил. Ничего не произошло фактически и очень многое неуловимо. Прозвучали три голоса в темноте, и главным были интонации этих голосов, слова-то произносились самые простые. Из темноты прозвучала горячая радость в приветствии Даниила.

Скрытый темнотой, ответил на его радость мой голос, дрогнувший, вырвавшийся из постоянного, привычного владения собой. А Сережин прозвучал напряженно, собранно и скованно в ответных на приветствие словах.

В ту новогоднюю ночь мы с Даниилом перешли на “ты”, но, как ни странно, ни я, ни он не поняли до конца, что эта встреча Нового года была нашей с ним Встречей»[15].

Но в эту новогоднюю ночь рядом могла быть и Татьяна Усова. Сестры Усовы несколько раз приезжали к нему в Кубинку. «Особенно запомнились две поездки в Кубинку, – пишет Ирина Усова. – Я знала, что Даня любит и всегда отмечает Рождество, и решила устроить ему елочку. Седьмого января я захватила с собой несколько елочных свечей, а по пути от лесной дороги к поселку отломила большую, густохвойную и душистую еловую лапищу. Укрепила ее в углу комнаты, прикрепила к ней свечи и зажгла их. Пока они горели, мы сидели молча, смотря на эти огоньки и на таинственные густые елочные тени на стене и на потолке. Данино лицо было освещено снаружи этими свечами, а изнутри своим собственным, каким-то теплым, нежным и задумчивым светом. Когда свечи догорели и мы вновь зажгли электричество, он сказал с чувством: “Большое спасибо!”

В этот ли раз или в другой он, уже не помню, по какому поводу, а может, и вовсе без него, – заговорил о Тане. (Может быть, хотел узнать мое мнение об их взаимоотношениях или же вообще о ней?) Он сказал: “Я для нее единственный и неповторимый”, – и посмотрел на меня значительно и несколько испы-

тующе. “О, милый Даня, – подумала я, – да разве же только для нее? – вы и для нас всех и единственный и неповторимый. Уж ежели Есенин ‘цветок неповторимый’, что тоже верно, то вы-то – наинеповторимейший!” Но вслух не сказала ничего (и напрасно). Он помолчал выжидающе, затем продолжал: “Она согласится на любую роль возле меня”.

<...> Но жизнь сложилась иначе, и он довольно скоро сам убедился, что ее согласие на любую роль возле него было лишь хорошо сочиненной и хорошо сыгранной ролью.

И вот последнее мое посещение Кубинки: вдруг приходит от Дани телеграмма на мое имя (от Тани ему был потом выговор: почему не на ее). В телеграмме он сообщал, что его часть скоро отправляют дальше, и просил приехать, забрать его тяжелое отцовское пальто и еще кое-что из вещей. Я, конечно, моментально собралась и помчалась, хотя день уже клонился к вечеру. Не успела я пробыть с Даней и часу, как явилась Таня. Вернувшись со службы, она прочла телеграмму и помчалась вслед. Я почувствовала, что я лишняя, во всяком случае для Тани, и засобиралась обратно. Ушла в кухню, где стояла моя обувка, и, стоя на одном колене, завязывала шнурки. В полумраке дверного проема проявляется Данина фигура. “Не уезжайте, Ирина, вы обе мне одинаково дороги!” – “Спасибо, Даня”. И я все же уехала. Правда, что третьему и спать было не на чем и негде»[16].

И вот закрывается теплый дом,
И сени станут покрыты льдом,

Не обогреет старая печь,
И негде будет усталым лечь.

Часы остановятся на девяти.
На подоконник – метель, мети!

Уже сухари, котелок, рюкзак...
Да будет так. Да будет так.

Куда забросит тебя пурга?
Где уберечься от бомб врага?

И где я встречу твои глаза?
И все же поднял я руку *за*.

На хищный запад, гнездовье тьмы,
Не ты пойдешь, а солдаты – мы;

Доверю жизнь я судьбе шальной,
И только имя твое – со мной.

Под этим стихотворением две даты – *1941–1958*, посвящено оно *А. А.* – Алле Андреевой. Ирина Усова ревностно отмечает, что

Алла Мусатова провожала его только до метро. Конечно, стихотворение могло быть первоначально обращено и к Татьяне Усовой. Заканчивается оно так:

Ремень ложится мне на плечо,
А в сердце пусто и горячо.

Одно еще остается: верь! –
И вот закрывается старая дверь.

Уходя на фронт и думая о том, что может не вернуться, Андреев оставил свои рукописи Усовой. Среди них два экземпляра «Странников ночи». После ареста на одном из первых допросов ему предъявили письмо Татьяны Усовой, где говорилось о «литературном завещании». «Находясь в армии, – признался он, – я послал в Москву Усовой письмо, в котором писал, что делаю ее своим душеприказчиком и поручаю ей после моей смерти издать оставленные у нее мои литературные произведения»[17].

Татьяна Морозова, уже после того, как Андреев ушел на фронт, писала о нем в одном из писем: «Даня меня очень беспокоит. Он, не официально еще, женился на Татьяне Вл<адимировне> Усовой, [она] деятельная женщина, которая высоко ставит его. Она мне недавно сообщила о Дане. “Он пишет в вагоне, едет на север, сильно мерзнет, совсем охрип <...>” Он был писарем. Изумительный он человек, я все больше и больше восхищаюсь им». Мучаясь с дочерьми в Филипповской, зная – без посторонней помощи ей «из этой дыры не выбраться», она, что кажется удивительно наивным, надеется только на него, верного друга (а он на фронте и может погибнуть): «Даниил меня вытащит, если сам будет жить лучше»[18].

6. Ладога

В начале 1943 года готовился прорыв Ленинградской блокады. Среди дивизий, отправленных на усиление фронтов, была и 196-я стрелковая дивизия, находившаяся в резерве. После 10 января дивизия погрузилась в эшелон и в ночь тронулась в путь. Только высадившись у станции Кобона и ступив на лед Ладожского озера, все поняли, куда прибыли. Дивизию, включенную во 2-ю ударную армию, с 10 февраля зачислили в резерв Ленинградского фронта. С декабря командовал дивизией генерал-майор Пётр Филиппович Ратов, недавний генштабовец.

Сослуживец Андреева, Федор Михайлович Хорьков, вспоминал: «После изнурительных боев под Сталинградом нашу дивизию вновь пополнили и перебросили на другой фронт. Пополнение

состояло в основном из казахов и узбеков, которые впоследствии храбро дрались, и нашу дивизию немцы прозвали "дикой".

Нам не говорили, куда мы едем, но выдали по сумке сухарей и велели строго беречь.

О направлении мы узнали только на берегу Ладожского озера. Нам приказано было идти по ледовой дороге.

Группами и в одиночку солдаты шли на синие огоньки, мигавшие впереди и указывающие путь. Мимо нас проносились машины и исчезали в снежных вихрях. Слева ухали пушки, с воем проносились снаряды и плюхались в лед.

Иногда раздавался предостерегающий крик: "Внимание, воронка!" – и мы обходили ее по колено в воде. Валенки намокли, и ноги переставали слушаться. Я прошел четверть пути, проезжавшая машина затормозила. Шофер потребовал сухарь, соглашаясь перевезти на другую сторону. К его удивлению, я высыпал горсть сухарей и вскоре трясся в кузове, на ящиках со снарядами.

Ленинград был в какой-то серой дымке.

У Финляндского вокзала изнуренные женщины протягивали руки и жалобно смотрели в глаза бойцов. Через несколько минут моя сумка была пустой»[19].

А вот воспоминания радиста 893-го стрелкового полка той же дивизии Николая Степановича Коврукова: «Приехали к Ладожскому озеру, дали лыжи, а в некоторых местах лед был пробомблен, дыры остались, вода, скользко. Поехали, ноги с непривычки расходятся, у всех паха заболели, лыжи покидали, и так вот пешком пошли. А сзади трофейная команда лыжи собирала»[20].

Этот переход описан в «Ленинградском Апокалипсисе», и в нем не только те же подробности, что у Хорькова и Коврукова, но и увиденные поэтическим зрением, начиная с берега в сумеречной буранной дымке, откуда они начали свой путь, где

Косою сверхгигантов скошенным
Казался лес равнин Петровых,
Где кости пней шестиметровых
Торчали к небу, как стерня,
И чудилась сама пороша нам
Пропахшей отдаленным дымом
Тех битв, что Русь подняли дыбом
И рушат в океан огня.

А дальше открывался неоглядный ледовый простор, скрывавший «под снеговой кирасою» «Разбомбленные пароходы, / Расстрелянные поезда, / Прах самолетов, что над трассою / Вести пытались оборону...». И каждому на том ладожском пути, повторявшему про себя «Вперед, вперед!», могло казаться, что

...Быть может, к полночи
И мы вот так же молча ляжем,
Как эти птицы, фюзеляжем
До глаз зарывшиеся в ил,
И озеро тугими волнами
Над нами справит чин отходной,
Чтоб непробудный мрак подводный
Нам мавзолеем вечным был.

Переход в поэме описан документально точно, с немецкими ракетами, взвивавшимися на юге, над вечерней Ладогой, с крепнувшим ветром и с огнями фар встречных машин на трассе жизни, которые казались неестественно красивыми в синем снежном мраке – «Как яхонты на черном веере». Утро ледового марша, когда идущим открылись морозные дали, оказалось буднично негеройским:

В потемках ночи, от дивизии
Мы оторвались. Только трое –
Не командиры, не герои,
Брели мы, злобясь и дрожа.
Где отдохнуть? Достать провизию?
Мороз... бездомье... скудный завтрак.
И мы не думали про «Завтра»
У фронтового рубежа.

Наступление на Ленинградском фронте началось 12 января, когда ясное хрусткое утро взорвал орудийно-минометный гул, по немцам ударили 4 500 орудий. Мороз трещал за минус двадцать. А уже 18 января войска Ленинградского и Волховского фронтов соединились, блокада была прорвана. Через несколько дней и 196-я дивизия, после двухдневного перехода через Ладогу и Карельский перешеек, вошла в город. Вошла одной из первых, поздно вечером:

А ночь у входа в город гибели
Нас караулила. Все туже
Январская дымилась стужа
Над Выборгскою стороной...
Нет никого. Лишь зданья вздыбили
Остатки стен, как сгустки туши –
Свои тоскующие души,
Столетий каменный отстой.

«В Ленинграде расположили в 5-этажном доме, печки железные дали, мы вывели в форточку трубы и подогревали так жилье. Но дыма в комнатах стояло по пояс, маленько ляжем внизу, вроде нет дыма. Тем и спасались»[21], – рассказывает Ковру-

ков. Но в дивизию входил не только 893-й стрелковый полк радиста Коврукова. Ее части расквартировали в районе Лесотехнической академии, Политехнического института, в его общежитии на Лесном проспекте[22]. С 20 апреля дивизию передали в состав 55-й армии и через Ижоры перебросили на фронт. Под утро 23-го дивизия заняла оборону «на третьем армейском оборонительном рубеже». Штаб находился в балке Петрославянки, второй эшелон штаба и тыла в поселке Рыбацкое, ленинградском пригороде. «Каждый день начинался с налетов авиации и артобстрела, – вспоминал Хорьков, с 5 марта работавший секретарем военной прокуратуры дивизии. – В отдельные дни я насчитывал до двадцати трех налетов немецкой авиации на город. Но вражеские самолеты в город прорывались редко и беспорядочно сбрасывали бомбы на крыши поселка. Жители его терпели все лишения вместе с нами, но их мучил еще страшный голод. До слез больно было смотреть на их опухшие лица»[23].

7. Битва уицраоров

Поздний вечер, дымящийся январской стужей, которым Даниил Андреев вошел в «город гибели», с пустынными улицами, заваленными неубиравшимся снегом, с мертвыми окнами, запомнился навсегда. «Во время пути по безлюдному, тёмному городу к месту дислокации, – рассказал он в «Розе Мира», – мною было пережито состояние, отчасти напоминавшее то давнишнее, юношеское, у Храма Спасителя, по своему содержанию, но окрашенное совсем не так: как бы ворвавшись сквозь специфическую обстановку фронтовой ночи, сперва просвечивая сквозь неё, а потом поглотив её в себе, оно было окрашено сурово и сумрачно. Внутри него темнело и сверкало противостояние непримиримейших начал, а их ошеломляющие масштабы и зиявшая за одним из них великая демоническая сущность внушали трепет ужаса. Я увидел третьего уицраора яснее, чем когда-либо до того, – и только веющее блистание от приближавшегося его врага – нашей надежды, нашей радости, нашего защитника, великого духа-народоводителя нашей родины – уберегло мой разум от непоправимого надлома».

Третий уицраор, Жругр – демоническое олицетворение сталинской деспотии, а дух-народоводитель – Яросвет. Не только демоническая воля третьего уицраора ведет бой со злобным уицраором Германии, но и хранящий Россию Яросвет, непримиримый противник Жругра, реет над осажденным Ленинградом. Битва идет и в иных мирах. Перед поэтом завеса приоткрылась,

и он ужасается видению драконообразного чудовища. В мерных «русских октавах» видение осмыслено, обрело дорисованные воображением подробности:

В зрачке, сурово перерезанном,
Как у орла, тяжелым веком,
Тлел невместимый человеком
Огонь, как в черном хрустале...
Какая сталь, чугун, железо нам
Передадут хоть отголосок
От шороха его присосок
И ног, бредущих по земле?

<...> В нем чудилось
Шуршанье миллионов жизней,
Как черви в рыбьей головизне,
Кишевших меж волокон тьмы...
Господь! неужто это чудище
С врагом боролось нашей ратью,
А вождь был только рукоятью
Его меча, слепой, как мы?..

Переживание, сдержанно описанное в «Розе Мира», развернуто в поэме «Ленинградский Апокалипсис». А в поэме, замечает автор, «закономерности искусства потребовали как бы рассучить на отдельные нити ткань этого переживания. Противостоявшие друг другу образы, явившиеся одновременно, пришлось изобразить во временной последовательности, а в общую картину внести ряд элементов, которые хотя этому переживанию и не противоречат, но в действительности в нём отсутствовали. К числу таких произвольных привнесений относится падение бомбы в Инженерный замок (при падении этой бомбы я не присутствовал), а также контузия героя поэмы».

О том, что фронтовое небо поражало и завораживало, говорит запись во фронтовом дневнике Хорькова 21 июня 43-го: «В ночном небе, как в гигантском аквариуме, плавали аэростаты! Мимо них, подобно красным червям, проносились вспышки снарядов, и где-то по-жучьи гудел немецкий самолет».

Ночь, описанная в «Ленинградском Апокалипсисе», не одна из блокадных ночей, а свирепая мистическая ночь великого сражения двух самых мощных в мировой истории драконов-уицраоров, с их демоническими полчищами. Когда орды чужеземной нечисти Клингзора обрушились на высившуюся на изнанке мира цитадель Российской державы, то ее свирепые защитники, забыв о противостоянии силам Света, всецело сосредоточились «на войне с врагом, ещё более тёмным, чем они сами». И решающую

схватку защитников не только сталинской Цитадели, но и России с гитлеровскими войсками Даниил Андреев изобразил так, как ему увиделось в той январской ночи, после двухдневного ледового перехода: «Наступила глубокая ночь. Силы Света обрекли себя на временное добровольное бездействие, пока не завершится схватка чудовищ. Только перипетии этой схватки были видимы всем на земле; точно духовный паралич сковал высшие способности людей и лишь напряжённейшие медитации да наивысший творческий взлёт могли поднять иногда человеческую душу над непроницаемым кровом тьмы».

В надземной ночи разворачивалось мистическое сражение и продолжалось наступление наших войск, разорвавших огневые тиски блокады.

8. Ленинградский хлеб

Рассказ Андреева о том, как он едва не попал под суд, так передает Алла Александровна: «Это был смешной эпизод. Его, солдата, отправили в какой-то ларек торговать, по-моему, хлебом и еще какими-то продуктами. И, естественно, скоро обнаружилась недостача, за которую его и привлекли к суду. К счастью, попался следователь, для которого имя Леонида Андреева не было пустым звуком, да и без этого было ясно, что человек, который спокойно сидит перед ним, ни в чем не виноват. Дело было в том, что Даниил не мог не давать голодным детям остатки хлеба. Он стеснялся требовать мелочь, когда ее у человека не было, и в довершение всего кормил хлебом приходившего к палатке жеребенка»[24].

В состав дивизии входила 423-я полевая хлебопекарня, к ней, видимо, и прикомандировали нестроевого рядового Андреева. Хотя блокада кончилась, нормы хлеба увеличились в несколько раз, никто не ел досыта. «Смешной эпизод» грозил трибуналом, даже расстрелом. Более подробно мы знаем о нем со слов одного из свидетелей и участников – Федора Михайловича Хорькова. Он и познакомил их. «В то время, после тяжелого ранения, меня направили на работу в прокуратуру дивизии секретарем, – повествует Хорьков. – Однажды к нам явился высокий солдат с осунувшимся худым лицом. Вежливо доложил следователю капитану Борисову: “По вашему вызову рядовой Андреев...” Я невольно залюбовался солдатом, его доверчивым взглядом. Казалось, он отдавался на волю судьбы: “Вот я, весь перед вами, делайте со мной что хотите!”

Капитан Борисов стал его допрашивать. Я услышал, как солдат назвал себя: “Андреев, Даниил Леонидович, 1906 года рождения”.

– Вы не сын писателя Леонида Андреева? – спросил я. Он утвердительно ответил, тогда я попросил его выйти и объяснил следователю, что это сын крупнейшего русского писателя.

Капитан Борисов книг не читал, но поверил мне и согласился помочь Даниилу Леонидовичу.

Даниил (позвольте мне его называть так, ведь впоследствии мы стали большими друзьями) работал в военторге, и у него не хватило продуктов на сумму более семисот рублей»[25]. (В другом варианте рассказа говорится о сумме в 300 рублей.) «А мы, – рассказывает Хорьков, – должны были его за это судить. Он не стал утаивать свою слабость и открыто рассказал все на допросе следователю Борисову»[26].

В Ленинграде дороже клеклого хлеба, наполовину с жмыхом, целлюлозой и даже опилками, ничего не было. Проверка, проведенная под руководством помощника военного прокурора капитана Николая Борисова, показала, что Андреев давал голодным детям хлеб и сахар и, может быть, кого-то спас от голодной смерти. Кроме того, при хозяйственном взводе, где служили большей частью казахи, был жеребенок, которого кормить оказалось нечем. А он тыкался в руки солдат, просил есть. Однажды жеребенок попался Андрееву, и тот не удержался, пожалел его, дал горбушку. С тех пор тот стал ходить за ним, попрошайничать. Так появилась недостача. Все это следователь доложил командующему дивизией генерал-майору Ратову, рассказав и о том, что провинившийся – сын писателя Леонида Андреева. Появилась резолюция: «В порядке приказа 0413 направить рядового Андреева бойцом в похоронную команду».

Солдаты и сами голодали. «Помню, после снятия блокады, – писал Хорьков, – нам выдавали двойные порции еды, но мы не наедались. Чувство ненасыщенности у меня продолжалось лет двадцать после окончания войны»[27].

Среди фронтовых перипетий и переживаний из дома пришло печальное известие. Умерла последняя из сестер его матери – Екатерина Михайловна Митрофанова.

9. Команда погребения

В автобиографии, написанной 4 июня 1943 года, когда Андреев уже почти месяц пробыл в команде погребения, он перечисляет, где служил и в качестве кого: «В продолжение полугода работал старшим писарем-машинистом Политотдела 196[-й] КСД (Краснознаменной стрелковой дивизии. – *Б. Р.*). После того, как эта должность стала внештатной, я был переведен на ана-

логичную должность сначала в штаб КАД (видимо, Краснознаменного артиллерийского дивизиона; правда, в состав дивизии входил не КАД, а 725-й артиллерийский полк. – *Б. Р.*), затем в штаб 863 СП (Стрелкового полка. – *Б. Р.*), наконец переброшен в команду погребения при Отделе тыла 196[-й] КСД.

Здесь я используюсь также на караульной службе. Своей теперешней работой очень доволен, так как работа канцелярского типа мне крайне надоела, да и вообще я не чувствую к ней ни малейшей склонности».

В командах погребения служили нестроевые и ограниченно годные. Их задача – собирать с поля боя и предавать земле тела убитых, ставших в бесстрастных, как и положено, армейских документах списком безвозвратных потерь. Хоронили не только своих, но и немцев, бросавшихся в глаза черной формой. Работа тяжелая и страшная. Убитые с кишками, вывернутыми на землю, с оторванной рукой или ногой, со снесенным черепом... Нестерпимо тошнотворный запах разложения. Трупы от теплой погоды наступающего лета быстро разлагались. Их укладывали на повозки, накрывали брезентом и везли к вырытым ямам. Здесь ужас войны виделся воочию, веял трупным запахом.

17 июня в дневнике Хорьков записал: «Разговаривал с сыном Леонида Андреева Даниилом. Хороший человек! Он сначала был у нас в части продавцом магазина, а затем хоронил убитых». В воспоминаниях он говорит, что дивизия тогда располагалась на берегу Невы, напротив Шлиссельбурга. Жили они с Андреевым в соседних землянках. «Даниил каждую свободную минуту забегал ко мне и делился впечатлениями. Он вспоминал отца, родных, свою жизнь. Тогда я впервые узнал, что где-то во Франции живет его брат, Вадим Леонидович, переписка с которым прервалась, о чем он сожалел.

Было очень голодно. Прокурор и следователь часто отлучались, и нам с Даниилом доставались их порции каши и щей.

Даниил еще больше похудел и осунулся. Каждый день он видел изуродованные трупы, которые на повозках доставлялись к большим ямам. Иногда я подходил к нему, он приподнимал на повозке покрывало, и я видел посиневшие трупы. На их животах химическим карандашом были написаны фамилии. А потом просил меня уходить: “Я не выдержу этого сам, уходи!”»[28].

Рассказывая о подробностях тех месяцев, Хорьков упомянул, что не раз видел Андреева с иллюстрированным томом Анри Барбюса «Сталин». «Потом он подарил ее работнику политотдела Дворецкому. Книга к Даниилу попала случайно. Нашу 196-ю Стрелковую дивизию перебрасывали с места на место: то

на Карельский перешеек, то под Колпино, то в Ленинград. Потом нас разместили на Невском пятачке. Я работал секретарем Военной прокуратуры дивизии и жил в землянке. Даниил хоронил убитых и в свободное время забегал ко мне поесть. Мы ели скудную пищу из одного котелка. Однажды в морозный день он вошел ко мне оживленный, раскрасневшийся и показал эту книгу “Сталин”, которую подарили ему артисты. Он обычно был сдержан в разговоре, замкнут, а тут улыбнулся и рассказал:

– Ездил в Ленинград с работниками политотдела за артистами. Ехали в санях, дурачились. Артистка (он назвал ее, но я не запомнил) запела вдруг: «Мерзнет носик, мерзнут щечки, негде губки отогреть...» Обняла меня и прижала к себе.

– А ты растерялся? – прервал я. Глаза его засияли, излучая радость.

– А я поцеловал ее!

Улыбка вдруг исчезла, взгляд посуровел. Даниил снова стал неприступным, как бы ушел в себя.

– Садись есть! Я тебе оставил! – Я пододвинул ему котелок.

Даниил достал из голенища кирзовых сапог ложку и стал жадно хлебать жиденький суп. Я подал ему два сухаря.

Опорожнив котелок, он неторопливо облизал ложку и сунул обратно в сапог. <...>

Об отце он говорил мало. Не любил его рассказы “Рассказ о семи повешенных” и “Красный смех”. Я спросил Даниила, как он относится к роману “Сашка Жигулев”. Я искал этот роман, чтобы прочитать, и не мог достать. Тогда Л. Андреева не печатали.

Даниил ответил как-то неопределенно:

– Ничего особенного не нахожу!

Он никогда не говорил, что пишет стихи или прозу, но в литературе разбирался глубоко. Мы разбирали с ним творчество Паустовского. Я показывал ему свои стихи. Он похвалил, что у меня есть что-то свое, рассказывал о стихосложении и указывал на недостатки. Поэтом я не стал.

О политике мы никогда не говорили. Даниил был очень сдержан и, вероятно, боялся меня как работника прокуратуры. Тогда все боялись друг друга. Боялись лишнего слова. <...>

Даниил видел мой настрой, скрывал свои взгляды, маскируясь книгой Анри Барбюса. Иначе вести себя в то время было нельзя»[29].

Однажды Хорьков в землянке показал ему книги, подобранные у одного из разрушенных домов. Но и в разговорах о литературе Андреев оставался немногословен и, казалось, все время сумрачно думал о чем-то своем. Это Хорькова не удивляло. Война.

Служба в похоронной команде изматывала не только душевно. С появлением на пригорках мать-и-мачехи Андреев старался на каждую могилу положить букетик, и вместе с травой, появившейся на развороченной снарядами земле, стали пробиваться неопределенные надежды.

«До чего живуча все-таки человеческая душа, – писал он 21 июля 43-го года Валентине Миндовской. – Правда, самых страшных и жестоких проявлений войны мне все еще не приходилось переживать, но все же я видел немало тяжелого и невыразимо печального. И несмотря на это, в душе не умерли ни радость жизни, ни надежда, ни жажда творчества, ни вера. Наоборот, они горячее, чем когда бы то ни было раньше.

Внешне моя жизнь еще течет по тому руслу, в кот<орое> попала около месяца назад, но, очевидно, скоро опять последуют перемены, хотя мне неясно еще, в какую сторону.

Тишина, долгое время царившая вокруг, сменилась шумом, но это в некотором расстоянии от нас; на несколько километров – ровное, спокойное поле, покрытое нивами и огородами, где, несмотря ни на что, мирно копошатся в земле жители расположенного вблизи большого города. Трубы фабричные, трубы его окраин и отдаленные шпили четко вырисовываются на фоне закатных небес. Погода улучшилась, и хотя дождь ежедневно, но, по крайней мере, тепло. Физически чувствую себя далеко не так бодро, как в психологическом отношении, но все-таки передышка этого месяца улучшила общее состояние организма.

Последнее время, под действием акрихина, ослабела даже малярия».

10. Госпиталь

В конце июля был получен приказ о передислокации, и в ночь со 2-го на 3 августа дивизия перешла к лесу под Колонией Овцино на правом берегу Невы, а к 10-му – в район переправы у речки Черной. К 15 августа дивизия, переданная в состав 67-й армии, выступила на передовую к Синявинским высотам, на следующий день получив приказ о наступлении. Под утро 18 августа, после артиллерийско-минометного обстрела немецких позиций, три полка дивизии поднялись в атаку, наступая на высоту 43, 3, – так обозначались Синявинские высоты. Именно в эти дни Андреев попал в госпиталь. «Сегодня расстался с Даниилом Андреевым, у него расщепление позвоночника», – записал в дневнике как раз 18-го Федор Хорьков. В воспоминаниях рассказано подробнее: «Постоянный голод и переживания тяжело отразились на его

здоровье. Он не жаловался, стойко все переносил, а потом слег. Расщепление крестцового позвоночника приносило ему страшные мучения. В августе 1943 года его отправили в госпиталь. Он писал мне оттуда, что поправился, работает в операционной и тяжело переносит вид человеческой крови»[30]. Обострение давней болезни позвоночника произошло из-за того, что Андреев надорвался на перетаскивании снарядов.

Когда дивизию, потерявшую на Синявинских высотах 2 658 человек убитыми и ранеными, отвели на передислокацию, Даниила Андреева вместе со всеми 24 августа наградили медалью «За оборону Ленинграда». Медаль он получил уже в госпитале. Это был 595-й хирургический полевой госпиталь. Вставший на ноги, но болезненный нестроевой солдат стал санитаром, потом регистратором. Постепенно Андреев прижился в госпитале: все-таки вырос в семье доктора. Встретил он здесь благосклонное расположение и начальника госпиталя Александра Петровича Цаплина, и главного врача Николая Павловича Амурова. К концу его службы отношения с ними стали почти дружескими.

Здесь и служба оказалась легче, и появилась надежда вернуться в Москву. «Однажды он написал мне, – вспоминал Хорьков, – что из ставки главнокомандующего в штаб дивизии должен поступить вызов о его откомандировании в Москву. В штабе тогда этот вызов был утерян, и Даниилу долго пришлось ожидать...»[31].

В госпитале, как и в части, он получал много, больше всех, писем. Много писем, как всегда, писал сам, ни о ком из друзей не забывая. Нетерпеливо ждал писем от Аллы Мусатовой, но их переписка, как и большинство его тогдашних писем, не уцелела, сожжена на Лубянке.

Письмо 31 октября 43-го Валентине Миндовской: «Милая Валя, очень возможно, что мы увидимся в непродолжительном будущем. Мечтаю провести у вас целый день. Как только приеду, пошлю Вам открытку, и тогда звоните скорее по телефону. Впрочем, отнюдь не исключена возможность, что я проболтаюсь здесь еще энное количество времени. Не хочу об этом думать. Сейчас очень занят подготовкой к празднику: лозунги, стенгазета, чтение с эстрады отрывка из Шолохова и т.п. Живу надеждой».

В следующих письмах та же надежда: «Вопрос о моем откомандировании движется вперед, и осязаемые результаты уже не за горами. А пока существую в прежних условиях – хороших, насколько это может быть на войне. Сыт, в тепле, начальство хорошее, отношения с людьми сложились прекрасные. Работы очень много, но физически она не трудна. Только двух вещей не хватает: близости друзей и возможности работать над моей нео-

конченной вещью. Это-то и тянет так невыносимо в М<оскву> и заставляет считать дни и часы, оставшиеся до откомандирования. Читать не успеваю. Перед Новым годом оформлял выставку, а теперь засосала канцелярская работа. Но все это ничего, лишь бы скорей окончательная победа и конец войны»[32].

«Пока условия жизни прежние, чередуются периоды очень напряженной работы и передышки, во время которых удается отдохнуть, почитать, поиграть в шахматы. Но о творческой работе, конечно, остается только мечтать. Бесконечное бесплодное ожидание откомандирования расшатало нервы. А физически – состояние сносное, пожалуй, лучше, чем в прошлом году»[33].

Летом 44-го, когда началось новое наступление, Рижская операция, госпиталь перебазировали в район Резекне. Место оказалось живописным – зеленые холмы, сосновые леса, озера и озерки, реки и речушки. Латвийское лето стало передышкой.

Он рвался домой, его мучила невозможность писать. Но здесь, в Резекне, он сумел приняться за «Странников ночи». «Милая Валя, виноват перед Вами: что-то никак не могу собраться написать Вам по-настоящему, – пишет он в очередном письме Миндовской. – Это главным образом потому, что сейчас я свободное время употребляю на литер<атурные> занятия – а это с писанием писем почти несовместимо (психологически)! Живу в общем хорошо настолько, насколько возможно в моем положении. Во второй половине июня собираюсь в командировку в Москву, но она будет короткой, и с горечью думаю о том, что не успею почти никого повидать, т.к. дел будет по горло.

Все еще надеюсь на сравнительно скорое окончательное возвращение к работе, ведь мы с Л<ьвом> М<ихайловичем> (речь идет о Тарасове, муже Миндовской. – *Б. Р.*) ближайшие соседи! Но, не зная № его части, найти его невозможно. Нахожусь от него км 20, в чудесной местности. Холмы, леса, озера. 2 раза ходил гулять, бродил по лесу, купался и наслаждался. Читать некогда и нечего, но “Странников ночи” двигаю все же вперед, хотя и медленно. Без основной рукописи, оставшейся в Москве, настоящая большая работа над ними невозможна. Из полученного за этот период жизненного материала и впечатлений многого не могу осмыслить. Это, очевидно, потом, дома, по возвращении будут условия, возможности, от которых отвык.

<...>Кончив главу, вдохновлюсь, вероятно, на настоящее большое письмо»[34].

Уже зная, что на днях отправится в Москву, в командировку, 10 июня 44-го он писал Митрофанову: «Жизнь моя течет ровно и спокойно. Работой не перегружен, условия хорошие. <...> Что

касается вызова, то это дело начали опять с самого начала. Теперь ждем результатов, но я уже изверился. <...> Я перечитал “Преступление и наказание” и частично “Подростка”. <...> Физическое состояние мое посредственно, спина болит, слабость и вдобавок фурункулез и флюсы. Но настроение бодрое, хотя жизнь задает задачи и загадки, многие из которых не могу осмыслить».

Какие загадки загадала ему война, увиденная не из умозрительного далека, а явившаяся перед глазами с обезумевшими от голода блокадными детьми, с армейской неизбежной безжалостностью, с обыденностью смерти и страданий? Жизнь в сырых землянках, казарменных углах среди самых разных людей, сведенных войною в роты и батальоны? Ощущение «я», втиснутого в обезличенное единой волей и шинельным сукном «мы», о котором он написал потом в «Ленинградском Апокалипсисе»:

Мы – инженеры, счетоводы,
Юристы, урки, лесники,
Колхозники, врачи, рабочие –
Мы, злые псы народной псарни,
Курносые мальчишки, парни,
С двужильным нравом старики.

Какие силы движут этим множеством, народом? Что и куда ведет его самого? Он перечитывает в госпитале Достоевского, наверное, ища и у него какие-то ответы. Он рвется к незаконченному роману, видящемуся несколько по-иному. Страшный опыт войны соединялся с опытом внутренним, с мистическими интуициями, но пока не разрешал громоздившиеся вопросы.

11. Командировка

В Москву он приехал 14 июня и пробыл дома неделю. Те полтора года, что они не виделись, Коваленский занимался переводами с польского. Закончив книгу стихотворений Словацкого, выхода которой с нетерпением ждал, тем летом работал над переводом «Гражины» Мицкевича и драмы Выспянского «Свадьба». Но меньше всего говорили они о переводах. Даниила волновало состояние Александра Доброва, перед войной переживавшего рецидивы энцефалита. Теперь он попал в больницу с тяжелой наркотической депрессией. Видевших его Добров поражал болезненно трясущимся видом.

Для Аллы Александровны эти дни, озаренные летним солнцем, стали особенными, переломившими судьбу. Навстречу ей она устремилась без раздумий. Ничего, кроме июньского света и безоглядного бега по арбатским переулкам к неизвестной новой

жизни, ей не запомнилось: «Стоял июнь 44-го. Это были самые светлые, самые прекрасные дни года. По всей Москве цвели липы.

Я вернулась откуда-то домой. Сережа сидел с тем застывшим выражением лица, которое я уже знала. Я вошла в комнату. Он поднял голову и сказал:

– Даниил приехал в командировку. Он сейчас дома в Малом Левшинском.

Я молча повернулась и побежала. Я бежала, как бегала двенадцатилетней девочкой, которая училась в Кривоарбатском переулке, не останавливаясь ни на секунду, через весь Арбат, Плотников переулок, Малый Левшинский.

Я бежала знакомым путем, как в школьные годы, только уже не с той беспечностью жеребенка, которому просто необходимо бегать. Теперь я бежала – буквально – навстречу своей судьбе. И на бегу отрывалось, отбрасывалось все, что меня держало, запутывало, осложняло Главное.

Бежала бы я так же, если бы знала, навстречу какой судьбе спешу? Думаю, что да, бежала бы. В этом ведь и заключается выбор – беспрекословное подчинение своей предназначенности. Вот я и бежала, закинув голову, как в детстве, навстречу любви, тюрьме, лагерю и – главное – самому большому счастью на Земле – близости к творчеству гения. Это ведь, может быть, самая непосредственная близость к мирам Иным. Только не надо думать, что я тогда это знала. Ничего не знала.

Прибежала. Позвонила. Открыл кто-то из соседей. Я взлетела по ступенькам, пронеслась через переднюю, бросилась сразу в комнату Даниила, открыла дверь – комната пуста. Я повернулась, пробежала снова через переднюю, также без стука влетела в комнату Коваленских и застыла на пороге.

Даниил стоял спиной ко мне и разговаривал с Коваленскими, сидевшими на диване. На шум открывающейся двери он обернулся, увидав меня, на полуслове прервал разговор и пошел ко мне. Мы взялись за руки, молча прошли через переднюю, молча пришли в его комнату. И я абсолютно ничего не помню. Очень может быть, что мы ни одного слова и не сказали. Что мы просто вот так, держа друг друга за руки, сели на диван.

Спустя какое-то время так же, не разнимая рук, мы вошли к Коваленским, и Даниил сказал:

– Мы теперь вместе.

Александр Викторович взволнованно спросил:

– Совсем? Без всяких осложнений?

Он имел в виду, конечно, Сережу и Татьяну Владимировну. Но для нас на свете уже не было ничего и никого. Все окружав-

шее нас исчезло. Были – только мы двое, не разнимавшие рук, мы сказали:

– Ничего. Ни у кого. Ни с кем. Никаких осложнений. Никаких половинчатых решений. Мы вместе.

Тогда же все было сказано Татьяне Владимировне. Можно упрекнуть и меня, и Даниила в жестокости, в том, как мы рвали со всеми. Но это было то, что называют судьбой. Было четкое осознание, что все надо отметать. Переступать через все. Наша дорога – взявшись за руки, вдвоем идти навстречу всему, что нас встретит. А встретило нас многое. И очень страшное. И огромное счастье. А это счастье бывает только у людей, которые действительно поняли, что должны быть друг с другом и разделить все, что жизнь принесет.

Потом Даниил вернулся на фронт.

Удивительное дело, но Сережа, несмотря на уже довольно прочные отношения с Наташей, очень тяжело переживал мой уход. Он попал в психиатрическую клинику на Девичьем поле, и мы с Наташей ездили к нему по очереди»[35].

Их решение быть вместе не совсем неожиданный порыв. Но и не обдуманный, давно ожидаемый шаг. То, что жена друга, несмотря на их разлад, так безоглядно все порвет, без сожалений оставит за спиной, Андреев не ожидал. Но нервная целеустремленность, свойство рвать не оглядываясь, никого и ничего не щадя, нетерпеливая припрыжка навстречу судьбе отличали характер его возлюбленной. Всю войну они переписывались, июньской встречи ждали. Этот день – 21 июня 1944 года – стал для них самым светлым днем в году. Их радость безоблачной не оказалась. Для Ивашева-Мусатова это стало ударом, для сорокалетней Татьяны Усовой – катастрофой.

Ивашев-Мусатов попал в клинику не в первый раз, тяжелые приступы депрессии бывали с ним и раньше, он даже состоял на учете у районного психиатра. Но уход жены, несмотря на собственное увлечение Натальей Кузнецовой, для него стал изменой, казавшейся незаслуженной.

Алла Александровна рассказывала, что именно во время войны началось ее «внутреннее расхождение с мужем»: «Мне не надо было за Сережу Мусатова замуж выходить. Все замужество было построено на том, что вместе мы писали этюды и читали “Введение в философию” Сергея Трубецкого. А еще мы читали Плотина. В нем я ничего не понимала абсолютно. Вы понимаете, это все не основание выходить замуж. Семейная жизнь наша стала расползаться. В это самое время я получила от Даниила письмо: “Напиши мне подробно, что происходит у вас с Сережей? Ты не можешь представить, как это для меня важно”»[36].

Впереди их ждало много не просто житейски трудного, но и трагического. Хотя они жили надеждами и планами. Еще в 43-м году она с напором и решительностью писала ему: «У нас крылья достаточно сильны, чтобы их хватило на полет больший, чем любимая комната в Уланском, заставленная книгами – в Левшинском и синяя Коваленских»[37], отметая стены «постыдного уюта».

«Измена» потрясла Татьяну Усову, самонадеянно ничего не замечавшую. Ее Алла Александровна запомнила в те дни «с цветком в волосах, некрасивой, но цветущей». В одном из писем Даниил, чувствовавший, что в отношении к Татьяне, кроме сочувствия и благодарности, ничего не испытывает, написал ей, что «их взаимоотношения должны будут измениться»[38]. Та поняла эти слова противоположным образом. Ее сестра так передает обстоятельства их разрыва: «Насколько я могу судить по отрывочным фразам из маминых писем, внешне события происходили так: сразу же после моего отъезда Таня затеяла капитальный ремонт квартиры, и когда Даня внезапно приехал, в комнате был сплошной хаос и негде даже присесть. Тогда он сказал, что придет позже, и, видимо, пошел прямо к Алле.

Мне трудно судить, как и в какой последовательности развивались эти драматические события. Но вот (из письма мамы), как при вспышке зарницы, эпизод из того времени. Немного убравшись, Таня идет в церковь (стало быть, Даня сказал ей, что пойдет туда?!). И что же видит: Даня и Алла ставят вместе свечи. Не знаю, подошла ли она к ним или по выражению их лиц поняла, что уже поздно?.. Неизвестно мне также и то, когда, как и в каких словах Даня сказал о своем решении. Но не исключено, что он и не придавал такого значения той фразе, после которой Таня считала его уже своим женихом. Ведь, в конце концов, и очень близкие друзья могут желать устроиться жить вместе. Кроме того, эта фраза была им написана Тане до того, как <...> он узнал, что Алла свободна. Но в чем он был, конечно, совершенно уверен, так это в том, что после его женитьбы на ком бы то ни было у него останутся с Таней самые близко-дружественные отношения. Не сама ли она уверила его, что ее чувство к нему таково, что она согласится на любую роль возле него. Но тут, раз уже бесполезно было продолжать играть роль, Таня выпрямилась во весь собственный естественный рост, и театральный плащ соскользнул с нее... Она отвергла Даню! Она отказалась от него совсем и навсегда... Отказалась от его любви, дружбы, от всякого общения с ним! Она запретила ему приходить к ней. Она должна была быть единственной, а вторая роль – роль близкого друга – ее не устраивала.

И вот опять, как при вспышке зарницы: Даня на коленях (буквально!) просит у нее прощенья... Но Таня была непреклонна. Когда я узнала об этом, подумала: вот уж поистине только высокий может стать, прося прощения, на колени – низкий не сделает этого никогда! Конечно, он был виноват перед ней, но в основном лишь в том, что поверил в ту роль, которую она играла.

Я-то всегда считала, что она Дане совершенно не подходит, хотя бы уже потому, что в ней преобладали черты скорей не женского, а мужского характера. Даня же, как, наверное, все поэты, очень ценил в женщинах именно женственность. Наверное, отсюда его неравнодушие к женским косам»[39].

Трагически разрыв Даниила с дочерью переживала Мария Васильевна, смотревшая на предполагаемый союз ее с поэтом как на событие возвышенное. «Здесь храм строился!» – восклицала она. Простить ни его, ни в особенности «коварную разлучницу», о коей жадно собирались все недобрые слухи, они не могли. Но Андреев иногда, в отсутствие Татьяны, категорически не желавшей его видеть, навещал Марию Васильевну, хотя ему приходилось всякий раз выслушивать от нее жестокие упреки.

Малахиева-Мирович, соглашаясь, что «брат из Салтвореры (Сальватэры!) / Изменой путь свой приземлил», напрасно призывала Татьяну Усову «Собрату сломанные крылья / Лучом прощенья исцелить».

12. Возвращение в Москву

Андреев уехал по месту службы. «Я жила ожиданием Даниила, – описывает эту пору Алла Александровна. – Единственное, что хорошо помню из того времени, – это “Гамлета”. Я начала с увлечением работать над эскизами к спектаклю, который, естественно, мне никто не заказывал и никогда бы не заказал. Это было решение всего спектакля: за́мок, сложенный из серых камней, на стенах – ковры, но мало. Очень немного мебели. Иногда кресло, если нужно, чтобы оно “играло”. Весь упор был на актере, на костюме. Костюмы, как и цветовые элементы декораций, были очень сдержанных цветов: черные, белые, тускло-красные, оливково-зеленые. На одном из эскизов Гамлет и Офелия стояли на фоне двух узких окон, за которыми сверкала серебряная Дания, – таким бывает сияние моря в северных странах. Гамлет – в черном, Офелия – в черно-белом с длинными, светлыми, совершенно прямыми волосами. Я вообще не люблю локонов и завитушек у героинь. На другом эскизе Гамлет распахивал дверь, за которой так же сияли серебряная Дания, далекое море, может быть,

туман – все серебристо-белое. Я была очень увлечена этой работой. Писала ночами напролет, потому что днем ездила к Сереже в больницу и еще зарабатывала преподаванием в студии. Этими же ночами писала и письма Даниилу.

Работа над “Гамлетом” заполняла время, когда я еще жила одна в гоголевском доме. Потом Сережа вернулся домой из больницы, и Наташа переехала к нему, а я перебралась в комнату Даниила в Малом Левшинском и стала приводить ее в порядок, чтобы, когда он вернется, его ждал прибранный дом и я в этом доме. <...>

Через какое-то время вышел указ отпускать с фронта специалистов для работы по профессии. Через Горком художников-графиков я стала добиваться, чтобы Даниила отозвали...» [40].

В начале осени фронтовой госпиталь, со службой в котором он свыкся, получил приказ о передислокации. Видимо, к этому времени относится эпизод, переданный, со слов самого Андреева, в воспоминаниях Чукова. У начальства госпиталя (у Чукова – «начштаба») «не было письменного стола, и Д. Л. пошел в соседний дом и под честное слово вернуть забрал полированный письменный стол у симпатичной барышни-латышки. При перебазировании <...> на новое место Д. Л. с ужасом увидел, что стол уже погружен солдатами на грузовик. Он потребовал возвращения стола хозяйке, что было встречено солдатами дружным смехом. Тогда Д. Л. вступил в драку с солдатами, те были поражены его решимостью и уступили. В итоге стол был возвращен»[41].

Войска Прибалтийского фронта перешли границу, двигаясь на Будапешт и Вену. Госпиталь тронулся вслед за наступающей армией. А рядового Андреева, после долгих хлопот, в октябре 1944-го откомандировали в Москву, в Музей связи Красной армии для участия в оформлении экспозиции.

Алла Александровна рассказала о его возвращении: «Рано утром в дверь позвонили. Я всегда знала его звонок. Ну, казалось бы, вскочила с постели, побежала, как есть, открыла... Ничего подобного. Я застыла. Села на диване и замерла, не в силах шевельнуться. Он поднялся по лестнице, вошел в дверь. Вид у него был ужасный. Нестроевой солдат – это жалкая картина: шинель, бывшая в употреблении, ни на что не похожая, обмотки и огромные жуткие башмаки. Единственное, что он в своей одежде любил, – это пилотку, во-первых, потому, что считал ее изящной, во-вторых, она закрывала его такой высокий красивый лоб, которого он стеснялся...

Эту жизнь надо было как-то устраивать. Музей связи – военный музей, и Даниил должен был работать в нем как профессиональный художник-оформитель, каковым не являлся. Он был

хорошим шрифтовиком, любил и профессионально делал схематические карты, мог красиво, со вкусом сделать какие-то отдельные экспонаты, но этого было мало. Надо было что-то предпринимать»[42].

Устраивать и предпринимать было в бойцовском характере Аллы Александровны, и она стала придумывать, «каким образом сделать, чтобы Даниил мог работать дома». «Принарядившись как могла, – вспоминала она, – приехала в Музей связи и явилась к начальнику. Понятия не имею, что я ему щебетала, как доказала, что моему мужу надо работать дома, но доказала, и он “откомандировал”, так сказать, Даниила домой, чтобы он там работал, а в музей являлся по определенным дням и привозил готовую работу. Таким образом, дома работала за него я. Правда, как раз шрифты я писала плохо, а делала работу художника-оформителя. Это были какие-то бесконечные диаграммы, схемы и что-то еще. Я все это придумывала, рисовала, наклеивала на планшеты, вообще вкладывала в работу весь свой уже довольно большой опыт. Даниил писал шрифты и отвозил работу в музей»[43]. Но до разрешения работать дома, полученного далеко не сразу, он вставал затемно, возвращался поздно, часто очень усталым, выдохшимся.

«С этими поездками возникло еще одно смешное осложнение, когда понадобилась моя способность щебетать, глядя в лицо мужчине, и получать то, что надо, – рассказывала Алла Александровна об этом времени. – Был уже конец войны, шла зима 44/45 года, близилась последняя военная весна. И многих молодых мужчин, мобилизованных по возрасту, на фронт уже не отправляли. Им давали безопасную, но очень нудную работу. Они патрулировали на улицах, особенно много их было в метро на всех выходах.

<…> Для мальчиков-патрульных Даниил был, конечно, желанной добычей. Они его останавливали чуть не каждый раз, когда он ехал домой из Музея связи, и отправляли на гауптвахту, еще хорошо если мыть пол, а не чистить туалеты. Обычно ему приходилось там ночевать. Один раз его задержали за зеленые камуфляжные пуговицы. Когда я заменила их на блестящие медные, его остановили уже потому, что на шинели пришиты медные пуговицы, а должны быть защитного цвета. В конце концов это надоело и ему и мне. И мы придумали забавную игру.

Из Музея связи Даниил звонил мне перед тем, как ехать домой. Я рассчитывала время, приезжала к метро “Кропоткинская”, где тогда был один выход, и ждала его. Даниил выходил из вагона, и мы шли на расстоянии друг от друга, смешавшись с толпой, будто случайные прохожие. Я очень хорошо видела, как появлялся блеск в глазах у замучившегося от скуки патрульного, когда он замечал эту нелепую фигуру. Мы подходили достаточно близко, и парень уже

готовился вцепиться в Даниила и придраться к каким-то нарушениям, которые всегда можно найти. И тут я подлетала к патрульному и, улыбаясь, начинала лепетать, расспрашивать, как выйти на Кропоткинскую, а еще мне нужен Гоголевский бульвар. Ну что ж, хорошенькая молодая женщина, нежно улыбаясь, спрашивает парня, и он начинает отвечать. А я продолжала: “Ах, пожалуйста, ах, спасибо! А еще, пожалуйста, объясните...” – и так занимала те минуты, за которые Даниил успевал благополучно проскочить мимо. <...>

Вообще Даниил очень странно относился к себе. Как-то мы ехали на трамвае к моим родителям. Подъезжаем к Петровским воротам, я обращаюсь к нему с чем-то, а он отворачивается. Я ничего не понимаю, спрашиваю еще раз, думаю, может, не расслышал. Даниил опять отворачивается, еще более резко. Я замолкаю. Выходим у Петровских ворот, и тут я говорю:

– Что случилось? В чем дело?

И слышу невероятный ответ:

– Неужели тебе не понятно, что такая женщина, как ты, не может иметь в качестве спутника то, что я сейчас собою представляю.

Господи! Я онемела и, по-моему, полдороги от Петровских ворот до мамы изумленно молчала»[44].

Далеко не каждый вечер после работы в музее Андреев мог сесть за недавно ему переданную отцовскую «Корону». До войны пишущей машинки у него не было вовсе. Рукопись романа, закопанного в Валентиновке, пропала – бумага отсырела и слиплась, чернила расплылись. Экземпляра, оставленного у Татьяны Усовой, он, видимо, вернуть не смог и, по свидетельству Аллы Александровны, «Странников ночи» «начал писать заново буквально с первых строк...»[45]. Но причиной переписывания романа стала пережитая война, ее опыт, новое понимание людей и событий.

Писание определяло его жизнь. Главным оно стало и для жены. Она со всей решительностью и целеустремленностью стала устраивать их общую жизнь, ограждая мужа и его творчество. «Обрубила», по ее словам, «подчиненные» отношения Даниила с Коваленскими, ограждала от излишних, как она считала, посещений друзей. Атмосфера дома изменилась. Старым друзьям, раньше приходившим запросто и в любое время, а теперь встречавшим рядом с ним непреклонную охранительницу покоя и вдохновения, стало казаться, что перемены в Малом Левшинском произошли разительные. Татьяна Морозова свое впечатление от посещения Андреевых 20 декабря 44-го выразила так: «дикая перемена окружения»[46].

Часть восьмая

СОЧЕЛЬНИК
1945–1947

1. Сочельник

Стихотворение «Сочельник» написано в январе 1949 года, в тюрьме. Это воспоминание о рождественском сочельнике 45-го, сочельнике счастья:

Речи смолкли в подъезде.
Все ушли. Мы одни. Мы вдвоем.
Мы живые созвездья,
Как в блаженное детство, зажжем.

Пахнет воском и бором.
Белизна изразцов горяча,
И над хвойным убором
За свечой расцветает свеча.

И от теплого тока
Закачались, танцуя, шары –
Там, на ветках, высоко,
Вечной сказки цветы и миры.

А на белую скатерть,
На украшенный праздничный стол
Смотрит Светлая Матерь
И мерцает Ее ореол.

Ей, Небесной Невесте –
Две последних, прекрасных свечи:
Да горят они вместе
Неразлучно и свято в ночи.

Только вместе, о, вместе,
В угасаньи и в том, что за ним...
Божий знак в этой вести
Нам, затерянным, горьким, двоим.

«В той нашей комнатке кроме мебели <...> был еще маленький круглый столик. За ним мы обедали. Другой был не нужен – нечего было на него ставить. И вот Сочельник 45-го.

Тот столик я накрыла белой скатертью. Что на нем стояло праздничного, не помню, вряд ли что-нибудь особенное. Зажгли большую

голубую лампаду у иконы Матери Божией. Украсили маленькую елочку шариками и свечами. Я нарядилась. Даниил очень любил смотреть, как я наряжаюсь. Он садился с сигаретой в руках и говорил, что это похоже на то, как распускается цветок. Что происходило на самом деле? Да я просто снимала каждодневную блузку и надевала единственную праздничную – белую с широкими рукавами, а юбка была одна на все случаи жизни. Пыталась немножко причесаться, что мне никогда не удавалось. И это-то Даниил воспринимал как распускающийся цветок! Вот я переоделась, причесалась, оглядываюсь и вижу – он сидит на диване с глазами, полными слез. Я, конечно, подбежала. А он говорит: "Не пугайся. Это от счастья".

Этот вечер – одно из самых счастливых воспоминаний моей жизни»[1], – признавалась Алла Александровна Андреева.

Впервые за долгие годы мучавшийся тем, что не может «любить, как все», он ощутил себя счастливым. Озаренное зажженными свечами любимое, одухотворенное лицо, рождественский снежный отсвет в окнах, свечной запах над нежным хвойным, белоснежная скатерть, жар натопленной голландки остались в нем и в ней навсегда.

Он был благодарен жене за теплоту счастья, которого давно не ждал: «Ведь многие же считали меня маниаком, одержимым, а ты не испугалась полюбить и переплести свою судьбу с моей»[2].

В первой редакции «Сочельник» оканчивался по-иному, молитвой Владычице Рая:

Роковую разлуку,
Роковое томленье прерви,
Слей их радость и муку
В общий пламень тоски и любви,

В синий пламень бессмертья,
Синий ирис у трона Отца,
Ты, Звезда Милосердья,
Ты, живая Любовь без конца.

И все-таки в стихах они счастливые, горькие и затерянные «странники ночи», впереди – разлука. А эта рождественская ночь – недолгая, озаренная свечами передышка.

Война шла, наши армии с тяжелыми боями продвигались по Европе, начиналась Восточно-Прусская операция. Гекатомба Отечественной войны продолжала расти. Сталин с ледяным бездушием, как сказано в «Розе Мира», продолжал бросать «в мясорубку миллионы русских», а Гитлер, «скрежеща зубами, с пеной у рта бросаясь на пол и грызя ковер от ярости, от досады и от горя о погибающих соотечественниках, всё же гнал и гнал их на убой...».

2. В «маленькой комнате»

«Душа Андреева как бы начиналась с его комнаты, – заметил Ивашев-Мусатов, описывая дом Добровых и его обитателей. – Его комната была средней по размеру. Прямо против входной двери в стене были два окна. Простенок между этими двумя окнами был весь занят многочисленными небольшими портретами (в размер открытки) близких по духу людей Андреева. Здесь были портреты Льва Толстого, Владимира Соловьева, Достоевского, Тютчева, Лермонтова, Гюго, Ибсена, Шопена, Шуберта, Шумана, Листа, Вагнера, Бетховена, Баха, Моцарта, Римского-Корсакова, Бородина, Мусоргского. К стене направо от входа стоял большой книжный шкаф, а над ним висела одноцветная большая картина, на которой был изображен Данте, навстречу которому шла Беатриче с юной девушкой. Перед простенком с портретами стоял письменный стол, на нем портрет отца Даниила Леонида Андреева.

<...> Никто не удивился бы, войдя в эту комнату, если бы, когда вошедший высказал бы какую-нибудь глубокую мысль, он услышал бы ответ, произнесенный одним из тех, портреты которых висели на стене. Это воспринялось бы вошедшим вполне естественно и не вызвало бы в нем никакого недоумения. <...> Такова уж была атмосфера комнаты Даниила, что в ней должно было случаться так!»[3]

«Маленькую комнату», где ютилось их беззащитное счастье, уцелевшую только в его стихах и воспоминаниях близких друзей, описала и жена поэта. «Я очень любила нашу комнату. Она была маленькая, четырнадцать или пятнадцать метров. В ней стояли большой письменный стол Даниила, за которым он работал, и мой маленький дамский письменный столик. Я не припомню, откуда он взялся, но вспоминаю его как живое потерянное существо. Я так его любила! Над этим столиком висел образ Владимирской иконы Божией Матери – освященная фотография. Владимирская Матерь Божия – это любимая икона Даниила. Еще в комнате стояли большой диван, скорее матрац на ножках, на котором мы спали, маленький шкафчик, где помещались вся наша посуда и все продукты, да еще и место оставалось. У окна стояло большое кресло, и кругом, до потолка, книги. Еще там был вышитый ковер, закрывавший дверь в комнату, где при жизни стариков Добровых жили Коваленские, а потом поселились очень хорошие соседи. Они тоже прошли через тюрьмы и лагеря. На этой двери на нескольких гвоздях висел весь наш гардероб. Платяного шкафа не было, да он был бы пуст.

На письменном столе стояла фотография Гали, которую Даня так любил. Она стояла на его столе всегда. Когда мы стали

жить вместе, Даниил попробовал ее убрать, но я раскричалась, потребовала вернуть фотографию на место. Я же любила Даниила со всей его жизнью, любила его ребенком, юношей, любила все, что с ним было, поэтому и не могла допустить, чтобы со стола исчез портрет женщины, так много значившей в его жизни. Он послушался меня и поставил фотографию обратно, а рядом мою, только не ту, какой я была в то время, и не ту шестнадцатилетнюю красотку – фотография Паоло Свищова, которая всем так нравится, а другую, где мне три года. На этой фотографии, которая при аресте пропала, детская мордашка с очень странным, каким-то задумчивым невеселым выражением глаз и волосенками, стоящими дыбом. Даниил ее любил. Для него было очень важно ее присутствие.

Такая у нас была комната. Верхнего света не было. Даниил его не любил. В разных местах зажигались лампы. Еще у Даниила была такая особенность: мы никогда не закрывали дверь. Уходили, не запирая, оставляя горящую лампу. Он очень не любил приходить в темную комнату и, уходя, оставлял горящую лампу»[4].

Вспоминается «Мастер и Маргарита»: «...громадная комната – четырнадцать метров, – книги, книги и печка. Ах, какая у меня была обстановка!» И такая же обреченная любовь, и пишется роман, предназначенный к сожжению, и та же боязнь темноты, и снящийся если не спрут, то змей, а впереди – тюрьма, да и психиатрическая клиника – Институт Сербского... И хотя Алла Александровна уверяла, что в Даниеле не было ничего похожего на Мастера, а она вовсе не Маргарита, ставшая ведьмой, было, было что-то удивительно схожее в их судьбе.

Описания комнаты можно чуть уточнить. Рядом с фотографией трехлетней Аллы Бружес стояла бронзовая статуэтка бодисатвы. На стенах кроме упоминавшейся репродукции картины Данте Габриеля Россети «Данте с Беатриче на улице Флоренции» – «Джоконда». Икона находилась над перечисленными Ивашевым-Мусатовым портретами. Диван стоял слева от двери, над ним висела полка с книгами. Стену справа целиком занимали книжные полки. Дверь за ковром в комнату соседей была слева от окон, около левого окна стоял и рабочий столик Аллы Александровны.

Кухней в подвале перестали пользоваться еще во время войны и готовили в комнатах или в передней, где стояли керосинки – берегли тепло. В заброшенном отсыревшем подвале, куда вела узкая деревянная лестница, напоминали о более щедрых временах большая запыленная плита и просторный сундук для куличей: их когда-то пекли на Пасху столько, чтобы хватило до Троицы.

Наверное, вспоминая о том времени, Алла Александровна рассказывала и о дворе добровского дома, где были клумбы, где в глубине росла трава и темнели дровяные сараи, которые сторожили два сенбернара – Султан и Норма.

«Мы с Даниилом, – вспоминала она, – топили печку, переделанную из голландки в шведку, – это одновременно печка для отопления и плита. Она закрывалась медными дверцами, и там был еще бачок с краном для кипятка. Это было волшебное место, живой огонь. Как его не хватает в жизни! Печку следовало топить каждый день. Однажды нас с Даниилом весь день не было дома. Потом мы пришли, в комнате – холодно. Даниил принес дрова, мы стали растапливать, я накинула на плечи его шинель.

– Господи! Сейчас же сними! Сию минуту сними шинель!

Я, конечно, сняла:

– А что такое?

– Никогда не бери шинель. Я достаточно нагляделся на фронте на женщин в шинелях. Ничего более страшного, более неестественного, чем шинель на женщине, не может быть! Умоляю тебя: чтобы я тебя в шинели больше не видал!

Конечно, в шинели он меня больше не видел. Такой была реакция рыцарственного мужчины, которому вид женщины в шинели казался оскорбительным, кощунственно недопустимым»[5].

Только после возвращения в Москву Андреев стал ощущать, как тяжело дались военные годы. Сжимавшее душу напряжение постепенно отпускало, давая знать хворями – старыми и новыми. Он не мог ни привыкнуть, ни притерпеться к войне – каждодневным крови и смерти, человеческим страданиям, иноматериальными излучениями которых – гаввахом, сказано в «Розе Мира», – питаются демонические силы. Его мучили сами армейские безжалостные будни, когда ни днем, ни ночью не принадлежишь себе. К тому же два фронтовых года он почти ничего не писал.

«Как-то он сказал, – заметила Алла Александровна, – что с войны человек не может вернуться целым, он обязательно будет ранен или физически, или психически, или морально. Он тоже вернулся раненным этой войной, и очень глубоко. Недаром через много лет он начнет “Розу Мира” с тревожных мыслей о двух главных опасностях, грозящих человечеству: всемирной тирании и мировой войне»[6].

3. Судьба Глинского

Зиму и весну 45-го Андреев проходил в солдатской шинели. Служба в Музее связи продолжалась, за нее он получал паек. Жена получала паек в МОСХе. Брать работу домой ему разрешили

далеко не сразу, и не всегда это удавалось, а подневольная вседневная занятость изматывала. Подруга Елизаветы Сон, его одноклассницы, которую он в те месяцы навестил, запомнила Андреева таким: «Пришел человек в шинельке, весь худой, вид очень несчастный»[7]. Топорщившееся шинельное сукно, серо-зеленое, под цвет шинели, усталое лицо, впалые щеки, болезненный взгляд.

У тридцатилетней его жены вид был не несчастный, а целеустремленно деятельный, несмотря на худобу и бледность. Даниил, где-то вычитавший, что нежные и бледные анемоны, как и цикламены, в народе называют дряквами, смеясь, стал называть ее дряквой – «моя милая, нежно-весенняя дряква!».

12 мая он писал Митрофанову: «Мое непростительно долгое молчание, правильнее сказать – исчезновение, вызывалось совершенно дико прожитой зимой – болезнями и полосами крайней загруженности, чередовавшимися в каком-то горячечном темпе. Сейчас я продолжаю вставать в шесть, возвращаться домой в десятом часу вечера и тут же валиться в постель. Но открытие музея, в котором я работаю, должно на днях состояться, и тогда все пойдет спокойнее. Но здоровье скверно, и надо предпринимать какие-то меры; впрочем, сам еще не знаю какие»[8].

25 июня 1945-го, после открытия Музея связи, Андреева демобилизовали и признали инвалидом Великой Отечественной войны 2-й группы с пенсией 300 рублей. Диагноз: маниакально-депрессивный психоз атипичной формы.

Теперь он мог снять гимнастерку с мятыми погонами, не остерегаться патрулей, мог сидеть над рукописями когда угодно, передохнуть. Правда, оставалась забота – на что жить. Его сочинения – не для советской печати. Перед глазами пример мудрого Коваленского. Александр Викторович еще во время войны предпринял очередные попытки стать настоящим советским писателем, сочинив повести «Партизаны» и «Дочь академика»... И опять потерпел неудачу. Но его выручала переводческая стезя, на которую он вступил, и почетная, и, при удаче, безбедная. Весной 45-го он принялся за перевод любимого им Генрика Ибсена, драматической поэмы «Бранд». Ибсеном оказались овеяны для Коваленского все послевоенные, предарестные годы. «Бранда» он завершил весной 46-го и сразу принялся за «Пер Гюнта». В Большом зале консерватории 6 марта исполнялся «Пер Гюнт» Грига. Совпадение для чуткого к символическим знакам и намекам Коваленского неслучайное. Ибсеновские монологи ненавязчиво перекликались с судьбой. «Мы приговор не знаем свой», – говорит Бранд в его переводе. Осенью 46-го Коваленский сумел купить хороший радиоприемник и стал слушать зарубежное радио. Это было

небезопасно. Но он не мог и предположить, что пишущийся в соседней комнате роман и есть страшный приговор всем им.

Медленно, но неуклонно продолжавший писаться и переписываться роман «Странники ночи» магически втягивал в себя жизнь автора, жизни его близких и дальних. Рукопись, перепечатываясь на отцовской машинке, видоизменялась, разрасталась. В первой редакции роман состоял из двух частей, или томов, и второй том Андреев считал незавершенным. Теперь в нем стало четыре части. Еще летом 44-го, когда служба в госпитале стала оставлять время для занятий, он стал «двигать» роман дальше. Наверное, тогда же задумал и продолжение – «Небесный Кремль». В нем уцелевшие герои романа должны были, вслед за автором, пройти через войну, с которой один из героев – поэт Олег Горбов – возвращался потерявшим зрение.

Даниил Андреев писал о сегодняшнем, о сталинской ночи над Россией. За военные годы ночь не отодвинулась, не отгорела с фронтовыми заревами, не сделалась историей. «Странники ночи» продолжали пополнять лагеря. Но война и ее окончание, увидевшееся ему не в майском победном салюте, а в первых атомных грибах, приоткрыли опасности будущего, страшные планы противобога. Увлеченно переписывавшийся роман становился совершенней, значительней. Но не от стилистической правки. Сказавшийся на нем опыт войны сказывался и на героях повествования, увидевшихся резче, объемней. Стало ясно, чем продолжатся их странствия.

«Первый черновик, в буквальном смысле сырой, мы сожгли своими руками. Мы потому его сожгли, чтобы было меньше, что прятать. Мы все время ощущали себя под лапой»[9], – сообщает вдова Андреева. Она удивлялась тому, что он попросил у нее разрешения воспользоваться некоторыми ее чертами для образа одной из героинь – Марины. Алла Александровна считала, что обычно писатели делают это без спроса. Но Даниил Андреев, видимо, ощущал, что все, кто так или иначе соприкасается с романом, оказываются и в реальной жизни связаны с его роковой логикой.

«Он писал каждую ночь. Я ложилась, засыпала, а Даниил садился за письменный стол, за машинку и страницу за страницей, главу за главой воссоздавал свой роман. В романе, помимо огромной глубины идей, мыслей, прекрасных образов, им созданных, совершенно удивительно была передана Москва, такая живая, реальная. <...> Каждый вечер он читал мне главу романа, написанную предыдущей ночью. И не просто читал, а мы вместе переживали каждую строчку.

Вот когда пригодилась моя странная способность к сопереживанию. Нередко Даниил обращался ко мне, рассказывал ситуацию, возникшую в романе, и спрашивал (чаще о женских персонажах, естественно): “Скажи, а как она двигается, какой тут может быть жест, как она говорит?” И я старалась проникнуться состоянием героини, стать на какой-то момент ею и догадаться, как она поведет себя. Так мы и жили вместе как бы в пространстве романа, и герои его окружали нас, как живые»[10].

Роман развивался вместе с судьбами героев, входящих в мистическое братство, сосредоточенное вокруг Леонида Федоровича Глинского. Не потому, что Глинский обретший и посвященный. Нет, он, как и автор, ищущий и чающий. В нем очень много от автора – необычайная, отнюдь не теософски рассудочная влюбленность в Индию и сосредоточенность на русской истории, на ее роковых вопросах. Его обреченность – он болен туберкулезом, его кабинетность концентрируют страстную волю к деятельности, поэтому Глинский так стремится объединить и собрать вокруг своего мезонинчика на Якиманке единомышленников – «синее подполье». Существовали подобные мистические братства, вернее кружки, в сталинской Москве? Конечно. Точнее, их притаившиеся приверженцы. И немногие уцелевшие «мистические анархисты», к которым принадлежали Налимов и близкая знакомая Усовых Проферансова, и рассеянные остатки антропософского общества, и розенкрейцеры. Но Андреев, как и его герой Глинский, не разделял теософских доктрин, не состоял членом тайных обществ. Он искал собственную мистическую истину, ждал личного откровения, прорыва «космического сознания». И в каждом из «странников ночи» присутствовал он сам, искатель высшей истины и света.

Хотя поэта Даниил Андреев изобразил в другом герое – Олеге Горбове, в судьбе Глинского он отчасти предугадал собственную. Летом 1937 года его герой неожиданно арестован и попадает в переполненную камеру со спертым тюремным воздухом, овеянным парашей.

Этот эпизод романа мы знаем из пересказа вдовы автора.

«Бесконечные, почти всегда ночные, допросы. Среди собранных в камере совершенно разнородных людей – православный священник и мулла. Они двое и Глинский, без слов понимая друг друга, образуют как бы треугольник защиты: по очереди, один из них молча молится о всех, находящихся в камере. Когда его вызывают на допрос или совсем покидают силы, он взглядом передает свою молитвенную стражу другому.

Какое-то время Леонид Федорович пытается вывернуться из предъявляемых ему обвинений, совершенно неопределенных,

поскольку дело надо целиком “шить”, основываясь пока лишь на факте отказа от голосования за смертную казнь.

Была глава, посвященная очной ставке с одним из сослуживцев Глинского, взятым раньше. Эта глава называлась “Остатки человека”, и этим названием все сказано.

Наступает кульминация всей жизни этого героя.

На очередном допросе он бросает всякие увертки и начинает говорить. Не о своей группе, не о людях – ни одного имени он не называет. Остолбеневшим следователям, без их вопросов, он говорит все, что думает о советской власти, о погубленной России, о чудовище – Сталине, обо всей жуткой, вооруженной машине, против которой он стоит один, больной и безоружный. Говорит все ярче и горячее, постепенно понимая, что вся его жизнь была прожита для этой минуты, для того, чтобы в застенке сказать палачам и убийцам, что они – палачи и убийцы приспешники Зла.

По условиям советской действительности эта речь должна была кончиться расстрелом, но для Глинского конец приходит иной: с сильным горловым кровотечением, начавшимся тут же, в кабинете следователя, его уносят в тюремную больницу, где он вскоре умирает»[11].

4. В Филипповской

Требовался отдых, и в начале июля они поехали в подмосковную деревню Филипповскую[12], куда Андреевых, а следом и Галину Русакову с мужем, зазвала Татьяна Морозова. Хотя она сама в Филипповской ощущала себя чужой. По воспоминаниям дочери, деревенские говорили, издеваясь над ее житейской неумелостью и непрактичностью: «Хуже тебя нет человека на свете». Жила Морозова с дочерьми в тесной пристройке тяжело и голодно, к концу войны руки стали трястись, лицо подергиваться. Друзья ненадолго скрасили ее трудное, беспомощное одиночество.

Добираться в Филипповскую пришлось долго, на перекладных – деревня находилась в сорока километрах от Загорска, по направлению к Вербилкам, и в стороне от большой дороги. Места эти большей частью низменные и лесистые. За полями вокруг деревни синели перелески, петлявшие проселки открывали пологие холмы, в недалеких чащах таились болота.

«Мы очень хорошо провели там месяца полтора, – вспоминала Алла Александровна. – Гуляли все вместе или вдвоем с Даниилом. Как раз тогда, 6 августа, американцы сбросили атомную бомбу на Хиросиму. Даниил это страшно переживал. Самым драгоценным в мире для него была культура, поэтому свер-

шившийся ужас он воспринимал как возможное начало гибели мировой культуры. Я переживала иначе, больше по-женски, а он очень трагично и глубоко. Смешно и дико, что в ходе следствия именно Даниилу пытались приписать попытку подложить атомную бомбу под Красную площадь.

Мы много гуляли вдвоем. Вся деревня над нами смеялась, потому что не понятно, что за люди: грибов не собирают, вообще ничего не делают, а, как выражались деревенские, “хлыстают и хлыстают”. Да, мы ходили, ходили по лесу, по дорогам. И слава Богу!»[13]

Прогулки получались иногда дальними, многокилометровыми. Они шли проселками и лесными тропами, дышали вольным воздухом почти безлюдного простора, забредали в дикие малинники и объедались малиной. В округе часто встречались пруды, большей частью заросшие кугой, в перелесках прозрачной бурой водой светились бочаги. В непритязательной природе виделось что-то врачующее, успокаивающее. Здесь стали к нему возвращаться стихи:

И если бывало мне горько и больно,
Ты звёздную даль разверзал мне в тиши;
Сходили молитвы и звон колокольный
Покровом на первые раны души.

Возможно, о детских ранах души ему напомнило присутствие Галины Русаковой. Мучила невозможность помочь Татьяне Морозовой. Она тоже была из его детства, из счастливого младенчества. Внутреннее беспокойство заметно в письме из Филипповской Валентине Миндовской:

«Живем в абсолютной изоляции. Ни писем, ни газет – и совершенно не представляем, что делается среди друзей. За Вас как-то особенно тревожно. <...>

Жизнь наша здесь не столь идиллична, как хотелось бы. Очень трудна и утомительна была сама дорога, да и условия жизни оказались не вполне удобными. Во-первых, помещение лишено изоляции, во-вторых – чудовищное полчище блох и стаи мух, не дающие спать, в-третьих – погода, превратившая местность более или менее в болото и не позволяющая вдоволь насладиться солнцем и теплом. Спим очень мало и плохо, тем более, что давно вышел весь люминал. Но все-таки стараемся не падать духом и взять от этой поездки все, что возможно. Гуляем каждый день; промокли до нитки только один раз. Ходим за ягодами (здесь уйма лесной малины), немного читаем и крохотулечную чуточку занимаемся. Только здесь выяснилась в полной мере степень нашей усталости. Такое чувство, что надо бы еще 2–3

месяца растительной жизни, чтобы опять превратиться в людей. Но это, конечно, нереально. Если суждено прожить сколько-то под Вашим гостеприимным кровом, то уж с начала сентября надо брать какую-нибудь работу.

Питаемся хорошо, чему очень помогает изобилие ягод, грибы и бесплатная картошка»[14].

Вечерами мужчины отправлялись за водой на колодец и долго стояли там, что-то обсуждая. Их беседы жены, смеясь, стали называть «мужчины у колодца». Во время такого стояния у колодца они и узнали о взрыве атомной бомбы. Кто-то услышал сообщение по радио. Андреев воспринял событие как апокалипсическое, долго и возбужденно переживал.

Дождливая погода с начала августа сменилась зноем, и засобиравшиеся было Андреевы остались еще на неделю.

«Очень вылезло старое… – делилась Татьяна Морозова в письме к подруге, знавшей и Андреева и Русакову, их давние отношения. – Погода наконец установилась, началась жатва, работаем целыми днями, т<ак> ч<то> Даню и Галю я почти не вижу. Только вечером, но они рано ложатся и пытаются уснуть, чему мешают блохи. Сегодня хороший вечер, Даниил мрачен, и Алла не отходит от него. Пошла к Галиному окну, предложила ей выйти, но она не может, моет посуду. <…> Прекрасный она человек, я ее любила, мою “королеву”… Завтра все уезжают. Тяжело, даже очень»[15].

Гости уехали из Филипповской 19 августа.

5. Новая жизнь

Сразу после Филипповской Андреевы отправились в Измайлово, к Валентине Миндовской. Ее мужа все еще не отпускали из армии. Измайлово в те времена казалось загородом, хотя туда можно было добраться не только на электричке, но и на метро или на 14-м трамвае. Место, где жила Миндовская, называлось с незапамятных времен Анны Иоанновны Измайловским зверинцем. Дачная улица – небольшие деревянные дома с мансардами и высокими крышами – располагалась у самого леса, ставшего Парком имени Сталина.

На втором этаже дома с балкончиком в 4-м Измайловском проезде, среди лиственниц и лип, уже жили две гостьи. Они, как оказалось, по недоразумению, заняли место Коваленских, которые сами же и направили их к Миндовской. Это две замечательные женщины – Екатерина Алексеевна Андреева-Бальмонт, бывшая жена поэта, и ее ближайшая подруга – Леля, Ольга Николаевна Анненкова. Они и жили, вернее доживали, вместе, в Хлеб-

ном переулке (подруг потом и похоронили рядом на Даниловском кладбище). Екатерина Алексеевна, узнав о смерти в Париже Константина Бальмонта, в 1944-м принялась писать о нем, потом, увлекшись, о другой своей давней любви – о князе Урусове, и закончила воспоминаниями о детстве. Видимо, в Измайлове она не оставляла этих занятий.

Андреева-Бальмонт была убежденной антропософкой, как и ее младшая подруга. Несмотря на разницу между ними в семнадцать лет, часто казалось, что подруги – ровесницы, несмотря на непохожесть: Екатерина Алексеевна – высокая, внушительная дама, Ольга Николаевна – небольшого роста, худощавая и подвижная. Обе с молодости искали разгадок «тайн бытия» по доктору Штейнеру. Анненкова некогда слушала лекции Штейнера, участвовала в постройке Гётеанума и даже получила от учителя права «гаранта», то есть имела полномочия принимать в Общество. В 31-м ее арестовали по делу об организации антропософов, но она отделалась трехлетней высылкой в Орел.

По свидетельству Аллы Александровны, эти милые старушки пытались увлечь антропософской верой и Даниила. Книгами Анны Безант, Рудольфа Штейнера, конфискованными при аресте, снабжали его именно они. Благодаря им он прочел неопубликованные «Воспоминания о Штейнере» Андрея Белого, упомянувшего в них и Анненкову. Но доктор Штейнер не увлек Даниила Андреева, и не только потому, что показался «великим путаником», а из-за «резкой антипоэтичности». Отсутствие поэзии, считал он, свидетельство неистинности, признак ложных умственных построений.

В Измайлове Андреевы чаще всего гуляли по лесу, шли к Серебряному пруду, иногда, по аллейкам в акациях, выходили к запустенью Государева двора, облепленного пристройками и давно забывшего богомольного Алексея Михайловича.

После беззаботности живописных прогулок, тишины уже в начале сентября они вернулись домой, к будням. По ночам он опять писал. Тому, чтобы роман продвигался, мешало все. Заботы о хлебе насущном, скудном и достававшемся трудно. Приступы депрессии. Вседневные, никак не кончавшиеся хлопоты. Но, когда не писалось, ему становилось еще тяжелее. Жене запомнились короткие отдохновения, вечера вдвоем. «Даниил читал вслух, я вышивала. Это называлось “мы читаем”. Как-то случайно я разыскала очень красивые разноцветные нитки – гарус, кусочек канвы и хорошие иголки. Даниил сказал, что все это принадлежало Бусеньке, Евфросинье Варфоломеевне. Он страшно обрадовался, когда я нашла эти нитки, канву и начала вышивать. Я вышила сумочку, потому что ее у меня не было. <...>

Даниил очень любил читать вслух, когда я вышивала. И говорил: “У меня такое чувство, что ты не теряешь времени, слушая меня, а занята делом, тем более что ты вообще не можешь сидеть без дела...”»[16].

Он читал ей то, что писал. Читал «Преступление и наказание», «Тристана и Изольду», Мережковского, рассказы отца...

Тогда же они вместе стали бывать в консерватории. Слушали Вагнеровский цикл, потом Бетховенский. «Лоэнгрином» дирижировал Мравинский. Это запомнилось... Выросшая в музыкальной семье, Алла Александровна привыкла жить с музыкой, ходить в концерты.

«Так началась наша жизнь, – вспоминала она о послевоенном времени как о счастье. – Мы были очень бедны. К этому времени я уже стала членом МОСХа, но денег все равно не было. Поэтому мы не могли обвенчаться: не на что было купить кольца. Формально же все получилось легко. Мне не хотелось лишний раз травмировать Сережу, поэтому я просто взяла справку о его пребывании в психиатрической больнице и на этом основании явилась в суд одна и развелась. Расписались мы с Даниилом 4 ноября 1945 года. Важно, что мы были вместе, и, конечно, мы тогда думали, что вот еще немножко – и обвенчаемся. Обвенчались мы через двенадцать лет...»[17].

Поглощенный романом, стихов Андреев стал писать очень немного. Одно из тогда, в 45-м, написанных – о детстве. После войны, после утрат, горьких для него размолвок с Коваленскими он все чаще стал вспоминать маму Лилю, дядю, уклад и свет добровского дома:

Наставников умных и спутников добрых
Ты дал мне – и каждое имя храню, –
Да вечно лелеется мирный их образ
Душой, нисходящей к закатному дню.

Стихи вырастали из благодарности – «За детство – крылатое, звонкое детство, / За каждое утро, и ночь, и зарю...». Были и встречи, напоминавшие о «звонком» детстве. Узнав, что наконец-то он женился, пришла посмотреть на Данину избранницу няня, когда-то выхватившая его из чернореченской проруби. Они не виделись с начала войны. Потом случайно встретился с Ириной Кляйне. «Как-то мы ехали в троллейбусе, перед нами, через два сиденья, сидела женщина с пышными белоснежными волосами, которыми мы с Даниилом залюбовались, – рассказывала Алла Александровна. – Когда она вышла и Даниил глянул за окно, он узнал Ирину Кляйне. “Кляйне, Кляйне!” – закричал он. “Данечка!” – она его узнала, но троллейбус уже покатил. Кляйне была теперь Ириной

Ивановной (Яновной) Запрудской». Это была совсем не та Ирина Кляйне его детства, а уверенная, благополучная жена работника МИДа, «очень советская». Но общие воспоминания волновали и ее.

6. Встречи в Измайлове

«...Господь дал нам вместе услышать начало колокольного звона, когда ожил голос колокола Новодевичьего монастыря в Сочельник 1946 года. Мы шли на Новодевичье кладбище, на могилу матери Даниила, когда в одно мгновение воздух наполнился этим потрясающим звуком, а прохожие, тайком поглядывая друг на друга, тихо плакали»[18], – пишет Алла Александровна о начале первого послевоенного года. После Рождества они опять собирались в Измайлово.

Мужа Валентины Миндовской в декабре 45-го наконец-то демобилизовали. Лев Михайлович Тарасов казался человеком тихим, но очень впечатлительным, болезненность подчеркивали сгорбленные плечи. Из армии, где, как и Андреев, служа в госпитале, он насмотрелся на смерти и страдания, Тарасов вернулся с нервным расстройством, мучился депрессиями. Волнуясь, молчал, курил, аккуратно держа двумя пальцами всегдашнюю «беломорину». Но внутренне сосредоточенный и твердый, глубоко верующий, производил впечатление значительное – «кремень», говорили его знавшие. Тарасов занимался искусствоведением, писал стихи. Работал редактором. Как-то на него пожаловались, что он приходит на службу с опозданием. В ответ на недовольство начальства Лев Михайлович спросил: «У вас есть претензии к моей работе?» – «Нет». – «А я не могу приходить на работу с оторванной пуговицей». Так он и продолжал приходить к 12. Эта внутренняя независимость нравилась Андрееву. Еще с фронта он в одном из писем Валентине писал о Тарасове: «Я чувствую в нем близкого человека, никогда его не видав, – как это ни странно»[19]. Познакомившись, они подружились. Дружба стала семейной.

Поздравляя Тарасовых с Рождеством, Андреев спрашивал: «Удобно ли Вам, если мы нагрянем вечером 10 января? Если удобно – позвоните. В случае, если звонка не будет, мы будем считать, что эта комбинация, как принято выражаться, Вас “устраивает”.

Сейчас крутимся, сбиваясь с ног, с диспансером, ВТЭКом, обменом паспорта и т. п.»[20].

Начавшийся год легкой жизни не сулил. Послевоенная Москва жила трудно и скудно, по карточкам. Поэтому объявленное 26 февраля понижение цен в «коммерческой тор-

говле» – подешевели хлеб, макароны, крупы, даже папиросы на 50% – сулило облегчение. Но постоянной работы у них не было. «А зарабатывать на жизнь было надо, – повествует о том времени Андреева. – И вот друг Даниила Витя Василенко договорился со своим знакомым, работавшим в Третьяковке… Фамилия сотрудника Третьяковки была Житков. Мы ужасно нуждались в деньгах. Поэтому, когда я пришла в Третьяковку и Житков меня спросил: “Что Вы могли бы сделать?”, я ответила: “Да все, что угодно”.

Я имела в виду, что буду копировать что угодно, лишь бы работать. А он воспринял мои слова совершенно иначе, рассмеялся и сказал:

– Мне Ваша самоуверенность мила. Хорошо. Делайте “У дверей Тамерлана” Верещагина.

О Боже! Дверь, изображенную Верещагиным, я думаю, все помнят и могут мне посочувствовать, но никто даже не подозревает, как трудно было копировать штаны двух стражей, широкие, сафьяновые, узорчатые. Я сидела над этой копией, по-моему, недели три…»[21] После Верещагина писать копию юоновского «Марта» было отдохновением.

Без друзей они не жили. Редко, но забегал Василенко, появлялся, бывая в Москве, ставший главным архитектором Курска Шелякин, заходили Ивановский, Ивашев-Мусатов с женой, Лиза Сон, Ирина Арманд… Заезжали сослуживцы по госпиталю – Амуров, Цаплин, Дворжецкий… Читались свеженаписанные главы. 6 марта Андреев писал Тарасовым: «Мы очень соскучились. Но все это время болела Алла, да и сейчас мы еще не в состоянии выбраться в такое путешествие, как к Вам. Если Вы – в более подвижном состоянии, то было бы изумительно, если б Вы выбрались к нам»[22]. И они выбирались.

В следующий раз Андреевы поехали в Измайлово после Пасхи, 2 мая, когда зелень стала распускаться, солнце пригревать. Приезд они назвали «набегом», а день приезда «штурмом». В этот день женился брат Аллы Александровны – Юрий. Его избранница настолько не понравилась матери, Юлии Гавриловне, что свадьбу решили отметить в гостях, у Тарасовых. Все вместе прогулялись в парке, еще только готовившемся к открытию сезона, потом сели за стол, украшенный цветами и пирогом, испеченным хозяйкой.

Именно здесь, в Измайлове, Андреева навестил Николай Павлович Амуров. Они подружились в госпитале и теперь вспоминали 44-й год, сослуживцев. После того, как Андреев уехал из Резекне в Москву, госпиталь оказался в Будапеште, потом в Вене… Амуров с грустной улыбкой рассказывал, как они, молодые, сработавшиеся и сроднившиеся за войну врачи, мечтали

после победы устроиться работать вместе. И вот прошло совсем немного времени, а жизнь разбросала всех по городам и весям.

В «Розе Мира» Андреев не один раз скажет о травмированности войной, оставшейся в нем навсегда. В те годы, вспоминала его вдова, «Даниил часто задумывался, а я, естественно, всегда спрашивала: “Ты о чем?”. Однажды он очень глубоко задумался, а я свое:

– Ты о чем? О чем, Заинька?

Он сказал:

– Перестань. Перестань, я о фронте»[23].

Фронтовые друзья, знакомые не часто, обычно проездом, но появлялись в Малом Левшинском. Многие из них, как и сам Андреев, привыкнув на фронте к махорке, продолжали сворачивать самокрутки. Фронтовики говорили, что с ней никакие папиросы не идут в сравнение, и «приходили в восторг, когда узнавали, что жена Андреева разрешает курить в доме и спокойно переносит махорку»[24].

7. География

Андреев всегда любил географию. В детских тетрадях тщательно рисовал карты выдуманных им стран планеты Юноны. Карты иллюстрировали описания стран – преимущественно географические. Замечательно преподавала в гимназии Репман географию Нина Васильевна Сапожникова. Ее они часто вспоминали с Мусей, Марией Самойловной Калецкой. Она, как и ее муж – Сергей Николаевич Матвеев, работала в Институте географии Академии наук. Сергею Николаевичу, бодрому и подтянутому, всегда готовому в путь, перевалило за пятьдесят. «Два – под дождем алтайской непогоды», – упомянуты Матвеевы в поэме «Немереча», где перечислены ближайшие друзья. Они, рассказывает Андреева, «несколько месяцев в году проводили то на Тянь-Шане, то на Алтае, словом, в горах. Смеясь, они говорили, что по полгода проводят не только вне советской власти, но и вообще без всякой власти. Мы всегда так радовались, когда они приезжали в Москву. Это были удивительной чистоты и ума люди, веселые, с каким-то чудным, прямо-таки музыкальным звучанием, какое бывает у людей, много времени живущих среди природы, особенно в горах. Но мне кажется, что будь они другими людьми, то и с гор бы тоже приезжали не такими чистыми, глубокими и обаятельными. И вот эти друзья решили помочь Даниилу. Сергей Николаевич дал ему материалы, относящиеся к русским путешественникам. И Даниил написал маленькую книжечку – биогра-

фии нескольких русских исследователей горной Средней Азии. На ней стояли две фамилии, потому что с Даниилом никто не заключил бы договора»[25].

Матвеев был признанным специалистом – кандидатом географических наук, старшим научным сотрудником Института географии. В том же 1946 году у него вышла книга «Турция» – фундаментальное физико-географическое описание Азиатской части Турции – Анатолии. Над описанием Матвеев работал долго и тщательно, использовав все доступные источники. После ареста доскональное знание Турции выйдет ему боком. По воле следствия он получит роль организатора подготовки побега «террористической группы» Андреева через советско-турецкую границу.

В книжке «Замечательные исследователи горной Средней Азии» – четыре кратких биографических очерка. Их герои – Семенов-Тян-Шанский, Северцов, Федченко, Мушкетов – выдающиеся ученые, самоотверженные, значительные люди. Все они оставили столь обширные труды, тома описаний и мемуаров (даже не доживший до тридцати Федченко, чье «Путешествие в Туркестан» опубликовано в пяти томах «Известий Общества любителей естествознания»), что без помощи Матвеева на их изучение ушли бы годы. Андреев, как всегда, был добросовестен и увлекся судьбами выдающихся русских путешественников. Его интересовали подробности знакомства Семенова с Достоевским, он возмущался позитивистским пылом Северцова, пропагандировавшего дарвинизм... Но времени недоставало, отложенные «Странники ночи» не оставляли, выдуманные герои, с каждым из которых он проживал часть своей жизни, теснили исторических, и книга получилась не блестящей, по-настоящему выразительных страниц в ней немного. А в «Географиздате» книгой остались довольны. Новый автор, не географ, но владеющий словом образованный литератор, сын знаменитого когда-то писателя, всех устраивал. Книга «Замечательные исследователи горной Средней Азии» в серии «Русские путешественники» вышла в сентябре, а Даниил Андреев уже работал над новой книгой для той же серии. Теперь договор заключили с ним одним.

Матвеев радовался успеху книги и Даниила, тому, что помог друзьям. Чем их бескорыстная дружба чревата, никто предугадать не мог. «Сережу Матвеева мы погубили, – признавалась Алла Александровна. – Его арестовали по нашему делу. Оснований для ареста не было ровно никаких. Он получил срок и погиб от прободения язвы на каком-то этапе, кажется, его везли с лагпункта в больницу... Эти чудесные лица я никогда не забуду. У Сережи

были необыкновенные ярко-голубого цвета глаза, удивительной прямоты и чистоты...»[26]

Чудом уцелели другие их друзья, тоже географы и настоящие путешественники – Авсюки – «Григорий Александрович и Маргарита Ивановна, которую звали Гулей, – свидетельствует Алла Александровна. – По большим праздникам они приходили к Коваленским вчетвером, и мы к ним присоединялись. Традиционно сначала они приходили именно к Добровым, а потом – к Коваленским. Григорий Александрович был специалистом по ледникам, потом он, насколько я знаю, участвовал в первых антарктических экспедициях. Даниил был прямо без ума от него, в полном восторге от всего облика этого человека. Для него это действительно был идеал – высокий, светлоглазый, смелый, в нем было все, что Даниил так ценил в мужчинах». Авсюки «рассказывали о горах, эти рассказы можно было слушать бесконечно»[27].

Григорий Александрович Авсюк – крупный ученый, позднее академик. В катастрофическом 47-м, когда следователи настоятельно выспрашивали и об Авсюках, а Даниил Андреев «лез из кожи», чтобы друзья не попали на Лубянку – «в Арктиду», Авсюк вступил в партию. Это казалось необходимым, чтобы спокойно заниматься наукой, и, может быть, помогло уцелеть, избежать «Арктиды».

8. Задонск

В июле 1946 года Андреевы вместе с семьей Бружес отправились на отдых в Задонск. Уезжали с Павелецкого вокзала, еле втиснувшись в грязный вагон, ехали долго, с затяжными и частыми остановками – послевоенные поезда ходили плохо.

Задонск – уездный южнорусский городок на левом берегу Дона при впадении в него почти пересохшей речушки Тёшевка – был не больше Трубчевска и одно время тоже входил в Орловскую область. Когда-то известный как «Русский Иерусалим», Задонск гордился монументальными храмами, четырьмя монастырями, а главное – святителем Тихоном Задонским. «Многие ли знают о Тихоне Задонском?» – спрашивал в «Дневнике писателя» Достоевский. В то послевоенное лето в разоренном богоборчеством Задонске еще находились жители, знавшие о Тихоне, помнившие о паломническом многолюдстве монастырей и благовесте пятиглавых соборов. Но знаменитый Рождество-Богородицкий монастырь лежал в запустении, занятый овощесушильным заводом. Правда, в нем уцелел белый Владимирский собор,

и с его паперти открывались слепящие степные дали. Неподалеку, в Тюнинском монастыре, разместилась МТС.

Даниил Андреев так описывал друзьям житье в Задонске: «Перед глазами следующее: открытое окошко с геранью, за ним – уличка и сады, а дальше – даль по ту сторону Дона, с деревенькой и лесами. Лесами – увы – недоступными, ибо самочувствие наше не позволяет сделать ни одной настоящей прогулки. Это тем более досадно, что погода благоприятствует: много солнца. В результате за три недели осмотрели лишь ближайшие окрестности: интересный полуразрушенный монастырь, берега реки и недалекие, покрытые лесом холмы с живописными обрывами. Купаемся на мелком месте и развлекаемся по вечерам возможными petits jeux* с Бружесами, – начиная с блошек и кончая подкидным дураком. Мои занятия немецким идут крайне туго. Аликова живопись – гораздо успешнее. Собраны материалы для трех больших картин, кот<орые> она собирается писать в Москве. Вообще ее состояние получше, даже потолстела чуточку.

Мозги спят непробудным сном, – даже это письмо оказалось для отупевшей головы предприятием почти непосильным. Что-то зловещее! Как буду я осенью справляться с географическими книгами, не говоря уж о более серьезных задачах – одному Богу известно. Временами степень собственного поглупления пугает.

Питаемся хорошо, спим много, а больше всего валяемся в саду»[28].

Похожее впечатление от задонского отдыха в 36-м году осталось у жены Мандельштама. «...Мы прожили около шести недель на верховьях Дона, радуясь и ни о чем не думая»[29], пока радио не напомнило о новых процессах.

Алла Александровна вспоминала о задонском лете идиллически, как о продолжении счастья, озаренного незапамятным сочельником. «Мы поехали <...> в Задонск всей семьей: мама с папой, мы с Даниилом и мой младший брат Юра с молодой женой Маргаритой. Жили на окраине Задонска, где мама сняла чистые беленькие комнатки. Мама хозяйничала, готовила какие-то вкусные вещи. Папа, как всегда, добрый и немногословный, был центром притяжения для всех. Очень юная Маргарита и такой же мальчишка Юра ходили в каком-то растерянно-городском виде, она в красивом платье, в туфельках на высоченных каблуках и с красным зонтиком. А мы с Даниилом, как обычно – он в выцветшей гимнастерке, я в задрипанном сарафане, оба босые, с непокрытыми головами, – часами бродили по задонской степи. Солнце нам было только в радость, и чем больше, тем лучше. Все

* Салонными играми (*фр.*).

вместе мы ходили на Дон, очень любили купаться ночью. Дон был действительно тихий, во всяком случае в Задонске, в нем совсем не чувствовалось течение и изумительно отражались звезды. Мы входили в звездную воду.

Я ухитрилась покалечиться – засадить в ногу целую щепку. Папа ее вытащил, перевязал, но несколько дней я не могла ходить. Первую ночь от боли я не спала, и Даня читал мне вслух всю ночь. Потом они с папой, передавая меня с рук на руки через забор, выносили под тенистое дерево, и там произошла забавная сцена. Даниил рассказывал мне план продолжения “Странников ночи”. Война должна была быть и в романе. Один из самых близких Даниилу героев поэт Олег Горбов – одна из проекций его самого – с фронта возвращается слепым. Боже, как я плакала. Как плакала! Пришел папа посидеть с нами под деревом, а я заливаюсь слезами, совершенно не могу остановиться. Папа, как всегда, сделал вид, что ничего не видит и не слышит. Вероятно, решил, что мы поссорились. Даниилу пришлось объяснять: “Александр Петрович, посмотрите на это ‘над вымыслом слезами обольюсь’. Я рассказал ей о судьбе одного из героев романа – и вот, пожалуйста, получите”.<...>

Возвращались мы назад в битком набитом товарном вагоне. Ведь прошел только год с небольшим после войны, и победившая страна была совершенно разгромлена. В памяти остался замечательный белый храм на холме, храм Тихона Задонского. Конечно, тогда он был закрыт, но сейчас, думаю, в нем давно уже идут службы. Около храма веселый базар, как всегда в русских небольших городках <...>. До горизонта расстилалась степь, и воздух над ней дрожал от зноя.

И еще воспоминание. В Задонске было довольно много детей, одинаково одетых, которые всегда держались вместе. Нас удивляло, что эти дети были очень приветливы, никогда не хулиганили, были ласковы с животными. Мы узнали, что они из детского дома для сирот военного времени, всё потерявших. Отчего эти дети были такими хорошими, не знаю: страшное ли несчастье, которое они пережили, а может, так счастливо сложилась судьба, что нашлись воспитатели, которые отнеслись к ним как к родным. Мы были поражены поведением детей и вообще всем их душевным обликом. Для Даниила это была еще одна подсказка, подтверждавшая давнюю мечту, которая так и прошла через всю его жизнь и не осуществилась: основать школу для этически одаренных детей, где их будут не просто учить что-то читать и что-то делать, а воспитывать из них тех, кого в “Розе Мира” он называет “человеком облагороженного образа”»[30].

Здесь, в Задонске, наверное, он и написал стихотворение о детстве, помеченное 46-м годом, об игре в лапту:

Ударив мячик биткою, дать сразу гону, гону,
Канавы перескакивая, вихрем, прямиком,
Подпрыгнуть, если целятся, – и дальше, дальше, к кону,
В одних трусах заплатанных, без шапки, босиком.

Нет веса в теле меленьком, свободном и упругом,
Свистящий воздух ластится к горящей голове...

Больше всего удовольствия ему доставляли купанья в Дону. О них он вспоминал в тюрьме, называя «психофизическим» наслаждением. Сохранившийся в черновых тюремных тетрадях отрывок, возможно, отзывается безмятежностью этого лета:

Утро сонное –
Ширь бездонная...

Тополя пирамидальные
Прячут белый тихий дом.
Степь в росе и тучи дальние
Оторочены дождем.

Есть в нем и такие строки:

Ржанье конское!
Степь задонская...

9. Путешествия по карте

Неожиданно нашлась давно пропавшая шкатулка, где хранились письма Леонида Николаевича Андреева. Их сохранилось много. Письма, начиная с конца прошлого века, к Добровым, письма к сыну. Сейчас, после всех смертей, после пережитого за войну, они сделались особенно дороги. А нашлись так. В голодные военные и послевоенные годы в доме развелись крысы, уже мало боявшиеся людей. Как-то, в погоне за ними, Коваленский забрался с палкой под рояль и, глянув ненароком вверх, увидел шкатулку.

Старые письма вновь напомнили Даниилу Андрееву о брате. Перед самой войной слухи о нем доходили от Ирины, первой жены Александра Доброва. Давно, видимо, в конце двадцатых она уехала в Кейптаун, там в 38-м прочла «Повесть об отце» Вадима Андреева, опубликованную в «Русских Записках», и сумела связаться с Вадимом... Но уже восемь лет Даниил ничего не знал о брате.

«После войны звонок в дверь, – свидетельствует Алла Александровна. – Пришел солдат, был во Франции на острове Олерон и привез известия о Вадиме, и Даниил написал ему открытку. Этого солдата потом тоже забрали в связи с делом Даниила.

Даниил в открытке предупреждал брата, чтобы он не возвращался в Россию».

Солдат – Иван Максимович Фатюков, «бухгалтер маленького поволжского совхоза» из Саратовской области, попавший во время войны в плен, оказался вместе еще с двумя десятками русских военнопленных на Олероне, французском острове у Атлантического побережья. Там они приняли участие в Сопротивлении, готовили диверсии против немецких островных батарей. Вадима Андреева они называли «Друг Родины Вадим...». Знакомство с ними тот воспринял как встречу с русским народом, а о Фатюкове отзывался восторженно, ему он казался советским Платоном Каратаевым. Во всяком случае, общаясь с Фатюковым, Вадим Андреев писал о нем как о человеке «крепкого законченного характера», «душевной ясности и мужества»[31].

Оказавшаяся после сдачи Парижа на Олероне семья Андреевых прожила там пять лет, всю войну. Вместе со свояком, Владимиром Сосинским, Вадим Андреев при первой же возможности включился в Сопротивление и в 44-м был арестован немцами, но просидел недолго – война кончилась. А в победной эйфории, получив в 46-м советское гражданство – до того он оставался апатридом, – опять засобирался в Россию.

Открытка Вадиму с предупреждением, видимо, послана позже. Сразу же после посещения Фатюкова, в начале сентября 46-го, Даниил отправил в Париж письмо:

«Дорогой, милый, родной брат!

Наконец-то смог я убедиться, что все живы и здоровы! Восемь лет я не получал от тебя ни единой весточки. И хотя вера в то, что ты жив, меня не оставляла, но причин для беспокойства за тебя и твою семью было более чем достаточно. С радостью узнал я о твоей партизанской работе в немецком тылу. Следовательно, мы боролись с тобой против общего врага на разных концах Европы.

Прежде всего, должен сообщить тебе печальную весть: в 41 г., как раз накануне войны, неожиданно скончался от кровоизлияния в мозг дядя Филипп; в следующем году, уже в очень тяжелых условиях, умерла мама (после мучительной болезни, длившейся 4 месяца), а через полгода за ней последовала и тетя Катя. (В это же время в блокированном Ленинграде умерла Римма[32].) Наша семья распалась, старый добровский дом перестал существовать. Саша уже давно живет отдельно со своей женой. Шура и ее муж продолжают жить в нашей квартире, но хозяйство и вообще вся жизнь у нас отдельные; у нас – то есть у меня и моей жены Аллы. Женаты мы 2 года; женились в очень странных усло-

виях, в совсем, казалось бы, неподходящее время: во время моей краткосрочной командировки с фронта в Москву. Наша встреча, любовь и совместная жизнь – величайшее счастие, какое я знал в жизни. Алла – художник, пейзажист и портретист. Оба мы работаем дома и никогда не разлучаемся больше чем на 2–3 часа.

Я долгое время был на фронте, участвовал в обороне Москвы и Ленинграда, был в Ленинграде во время блокады, переправившись туда по единственному пути – по льду Ладожского озера; потом был переброшен в район Великих Лук и Невеля и наконец в Латвию. Война сильно подорвала здоровье – и физическое, и психическое. Еще до ее окончания я был снят с воинского учета и направлен на лечение. Но полное излечение невозможно. Теперь я числюсь в категории инвалидов Отечественной войны. Работоспособность сильно понижена, способность двигаться ограничена. В связи с этим пришлось переменить род работы. Написал небольшую книжку на географическую тему, она понравилась (на днях уже должна выйти в свет), и получил заказ на вторую, на тему из области географических исследований, над которой сейчас и работаю. Недавно мы оба вернулись из небольшого городка Задонска, где проводили летний отдых; немного посвежели и даже потолстели. Живем очень тихо, изредка бываем на концертах и – крайне редко – в театрах. Усиленно мечтаем о вашем возвращении и общей жизни. Подумай, что могло бы быть лучше этого! Впрочем, для выражения наших чувств, как мы тебя любим, как скучаем по тебе, как много значит для меня твоя семья, как хочется обнять Олечку и Сашука и расцеловать Олю, – для всего этого все равно нельзя найти слов.

Обнимаю вас крепко, крепко, родной мой, Алик тоже обнимает и шлет самые лучшие сердечные пожелания. Привет от Ив<ана> Макс<имовича>»[33].

Письмо, как кажется, писалось с оглядкой, оно могло попасть в руки непрошеных, но бдительных читателей. После войны просоветски или просто патриотически настроенные прекраснодушные эмигранты возвращались в Россию, не зная, что многим из них предуготованы лагеря и ссылки. Решались ехать и Андреевы. Но, вспоминала дочь Вадима Леонидовича, «я попросила родителей задержаться, чтобы окончить лицей. И тут же мы получили открытку от дяди: мол, это правильное решение – подождать, пока Оля окончит Сорбонну». Они поняли – это предупреждение. Ольга Андреева была еще школьницей, и «Сорбонна означала только одно: ни в коем случае не езжайте!»[34]

Сталинский режим человечней не делался. Июльское партийное постановление, ждановские анафемы Ахматовой и Зощенко

ничуть не удивляли. Тут же бдительность повсюду повысили и диссертацию Ирины Арманд о Диккенсе, вполне невинную, не допустили к защите.

Как-то Андреев встретил Веру Федоровну, жену Малютина. Она рассказала, что о муже нет никаких вестей с лета 42-го, хотя есть надежда, что жив и находится или в плену, или где-то в лагере для перемещенных лиц. То, что из такого лагеря путь на родину лежал в лагерь пострашнее, она могла и не знать.

10. Африка

После возвращения из Задонска они сидели без денег и оба разболелись. Выкарабкиваясь из простуд, из безденежья, необходимо было работать. В начале октября Андреева писала измайловским друзьям, у которых в сентябре родилась дочь и к которым они давно не могли выбраться: «Рады мы за вас обоих почти до зависти». О себе сообщала: «...я изо всех сил гоню копию, несмотря на повышенную температуру и отвратительное самочувствие, а Даниил, приблизительно через день, ходит в Ленинскую библиотеку в летних босоножках, а на другой день лежит в постели и кашляет».

Взявшись в сентябре за следующую географическую книгу – «О русских исследователях Африканского материка», в библиотеке Андреев просиживал подолгу. Работал с азартом, хотя мечтал побыстрее вернуться к роману. Но роман застопорился, и он все дни читал, делал выписки. Однажды из библиотеки «пришел сияющий и сообщил мне, что нашел сведения об африканской реке, названной именем Николая Степановича Гумилева»[35], – вспоминала Алла Александровна. Он ей рассказывал и о том, о чем вынужденно умалчивал в писавшихся очерках, например, об Александре Булатовиче. Булатович путешествовал по неизведанным землям Эфиопии и оставил интереснейшие путевые записки. Потом стал афонским монахом, а во время Первой мировой сделался священником Красного Креста и в рясе не раз бесстрашно водил солдат в атаку... Булатович восхищал Даниила Андреева. Это был вполне его герой. В «Новейшем Плутархе» он упоминает «отбытие русской миссии к Менелику II, научные экспедиции д-ра Елисеева, Булатовича, Артамонова, укрепление связей между русской и абиссинской церквями...» – то, что изучал, работая над книгой об исследователях Африки.

В воспоминаниях Бориса Чукова передан рассказ о том, как в связи с работой над книгой «О русских исследователях Африканского материка» Андреев «заинтересовался связями русского православия с православием Эфиопии». Стремясь узнать об их

современном состоянии, он «отправился в небольшой старинный особняк в центре Москвы, где размещался Государственный Комитет по делам религий. Его принял со сдержанной вежливостью православный иерарх и в немногих словах рассказал о бедственном положении современной Эфиопской церкви <...>. На самом интересном месте рассказ был прерван появлением Карпова, председателя Госкомитета. К этому вальяжному сановнику поспешно устремился рассказчик-иерарх и вместе с коллегами подобострастно принялся расспрашивать Карпова об успешном зарубежном турне. На Д. Л. никто уже не обращал внимания, и он удалился»[36].

Герой новеллы Даниила Андреева из «Новейшего Плутарха», педагог Ящеркин, пропал в окрестностях Харарры, исчезнув в направлении тропических лесов Шоа. Та же Абиссиния мелькнула в поэме «Немереча», когда поэту в брянской лесной глуши явился стог – «Округлый, жёлтый, конусоподобный, / Как в Африке тукули дикарей...». А в «Розе Мира» упоминается Абиссинская христианская метакультура, безнадежно задержанная в своем пути... Абиссинией прошли все русские исследователи Африканского материка, в чьи биографии погрузился Андреев. Последним путешествием в Абиссинию доктора Елисеева, проведшего две недели в Харарре, заканчивался очерк о нем в невышедшей книге. И еще – по Хараррскому плоскогорью путешествовал Николай Гумилев. За Гумилевым, прошедшим по знойной Абиссинии, за русскими исследователями Андреев следовал по картам и описаниям в библиотечной тишине, переживая чужие впечатления, как свои.

В 1949 году в Географиздате в серии «Русские путешественники», в которой предполагалось издание книги уже сидевшего во Владимирской тюрьме Даниила Андреева, вышла книжечка «По Африке» И. И. Бабкова, автора нескольких брошюр, посвященных Крыму. В ней три непритязательных очерка – о Е. П. Ковалевском, В. В. Юнкере, А. В. Елисееве. В основе очерков записки самих путешественников. Поэтические описания африканских пустынь, гор, лесов и их обитателей в очерках иногда перемежаются пассажами «о современных расистах – американских и английских колонизаторах», об антиимпериалистическом движении... Использован ли в ней труд осужденного Андреева – неизвестно.

Изучая материалы о русских исследователях Африки, Андреев много читал – «Путешествие во внутреннюю Африку» Ковалевского, «Путешествие в центральную Африку в 1875–1878 гг.» Юнкера, «По белу свету» Елисеева, «От Энтото до реки Барро»

и «С войсками Менелика II» Булатовича, заглядывал в труды Рафаловича и Норова. Читал с увлечением: его всегда тянуло в дальние путешествия, и не только по иным мирам... Да и казалось, что популярные книги о географии – та стезя, на которой он может существовать как литератор, зарабатывать на жизнь. Появились и другие географические замыслы: написать биографию Ивана Павловича Минаева, знаменитого буддолога и индолога. Он даже отыскал племянницу Минаева, после чего Матвеев по его просьбе стал хлопотать в Академии наук о пенсии для нее. Позже, в тюремной черновой тетради, намечая план будущей просветительской библиотеки, посвященной русской науке, один из томов он отведет исследователям Южного полушария, начиная с героев своей невышедшей книги – Ковалевского, Елисеева, Юнкера, продолжив именами Булатовича, Миклухи-Маклая и Альбова... Но, как бы ни влекла в эту зябкую зиму 46-го Африка, роман не оставлял его, ночами Андреев снова возвращался к заждавшейся рукописи.

11. Романический канон

Всю жизнь Даниил Андреев перечитывал Достоевского. А «Странники ночи» подталкивали к новому и новому перечитыванию великих романов. В предарестные годы он, вспоминала Алла Александровна, читал ей по вечерам то «Преступление и наказание», то «Бесов». Тогда же, в самом конце 46-го или в начале 47-го, Андреев в очередной раз перечел книгу Леонида Гроссмана «Творчество Достоевского»[37]. Многое в ней было ему близко. Гроссман писал о «фантастическом» реализме Достоевского, о его врожденном мистицизме, об интересе «к снам, галлюцинациям, бредовым видениям», промежуточным состояниям между сном и явью... И особенно интересны меткие наблюдения литературоведа над мастерством любимого писателя, «втискивавшего» – словцо самого Достоевского – в свои страницы множество лиц и философских теорий, стали Андрееву теперь, когда он заканчивал «Странников ночи».

С Леонидом Петровичем Гроссманом Андреев познакомился во время поступления в Литературный институт. Ему он отвечал на вопросы о Достоевском на приемном экзамене. Вряд ли знакомство сделалось близким. Хотя Гроссман о Достоевском беседовал еще с его отцом, а теперь и жил по соседству, в Малом Левшинском, в доме № 1, во дворе, и они при редких встречах раскланивались. На этот раз он встретил профессора как раз после того, как закончил перечитывание его книги, и так смутился, что говорить о ней, тем более что вышла она почти два-

дцать лет назад, не стал. Да и говорить ему часто казалось труднее, чем писать. И он написал Гроссману:

«Глубокоуважаемый Леонид Петрович,

Недавно мне случилось прочитать Ваши статьи о Достоевском – “Ставрогин и Бакунин”[38], “Стилистика Ставрогина”, “Достоевский и Европа” и другие. Пользуюсь случаем выразить Вам сердечную благодарность за то глубокое наслаждение, которое испытал я при перечитывании – уже в 3-й или 4-й раз – этих замечательных работ. С течением лет они все более молодеют, значение их возрастает, их звучание становится все сильнее. Многое, что в статье “Достоевский и Европа” раньше не останавливало на себе внимания, – теперь в свете трагического опыта Европы за последнее десятилетие – поражает глубиной идей, широтой обобщения, остротою прогнозов. Мне кажется, что со времени издания Вашего собр<ания> соч<инений>, т. е. почти 20 лет, в советской литературе не появилось ничего, что могло бы быть сопоставлено с Вашими работами; во всяком случае, такого полета ума, высокой культуры слова и полного отсутствия провинциализма я не встречал нигде более.

Прошу прощения, что оторвал Вас этим письмом от занятий, но все последние дни я живу настолько под впечатлением Вашей книги, что, увидев Вас, не мог удержаться от выражения чувства глубокой признательности»[39].

Гроссману было дорого это признание сына Леонида Андреева, особенно в ту пору. Уже больше десяти лет его работы о Достоевском не издавались, в 37-м от него требовали отречься от «реакционного писателя», чего он так и не сделал.

Андреев встретил у Гроссмана понимание дорогих ему мыслей Достоевского. Тревожившие писателя судьбы Европы, заставили его, – говорилось в статье «Достоевский и Европа», – в конце концов обратить взгляды от Сены и Темзы «к джунглям священных рек» и призвать в Азию, к «великой матери всех религий, в подлинное “соседство бога”, в священную близость тысячелетних созерцательниц небесных откровений – Индии и Палестины...»[40].

В предисловии к книге «Поэтика Достоевского» Гроссман писал, что «романический канон», созданный автором «Братьев Карамазовых», «еще неоднократно будет служить родственным писательским темпераментам»[41]. Но литературовед не мог и подумать о том, что увлеченный Достоевским сын Леонида Андреева пишет роман о современности, оглядываясь на восхищающий его «романический канон», устремленный «к откровениям новой мистерии»[42].

12. Обречены

Снежной зимой 1947 года Даниил Андреев написал «колыбельную» для любимой: «В гнездышке старого дома / Баюшки, Листик, баю!». Морозной зимой грезился «благостный зной»:

В ткань сновидений счастливых
Правду предчувствий одень:
Пальмы у светлых заливов
Примут нас в мирную тень.

Пальмы появились в стихах не только потому, что он писал о путешественниках по Африке, но и потому, что Андреевы предполагали поехать летом в Цхалтубо, мечтая о пальмах и море. Однако зазывание счастливых снов не отгоняло мрачных предчувствий.

«Наша судьба была уже решена. Даже странно, как, зная обо всем, что делается вокруг, мы совершенно не обращали внимания на многие вещи, – пишет о предарестных месяцах Андреева. – Не думаю, правда, что что-нибудь нам помогло бы. То вдруг неизвестно почему к нам заявился какой-то человек и начал уговаривать обменять комнату на другую на углу Остоженки. То внизу в подвале, в бывшей кухне Добровых, начали стучать, скрести... говорили, что там делают сапожную мастерскую. Конечно, никакой мастерской не было. Просто в пол нашей комнаты вделывали подслушивающий аппарат. То пришел без всякого вызова телефонный мастер и объявил, что нам надо чинить телефон. Телефон у нас работал, чинить ничего не надо было, а вот глаза этого “мастера” и какой-то странный холод, пробежавший у меня по спине, я даже сейчас помню»[43].

Уже потом, оглядываясь, они удивлялись собственной невнимательности, беспечности. То вдруг в Третьяковке, где она занималась копированием, к ней подошел «молодой человек с фотоаппаратом и попросил разрешения сфотографировать», то соседка замечала, как на наружный подоконник их комнаты «залез человек... и что-то делал с форточкой». Потом на следствии ей напоминали фразы, действительно произносившиеся. Всезнайство органов ошарашивало и подавляло.

Все это были обычные следственные «мероприятия» МГБ. Во время их проведения, как предписывали служебные инструкции, «преступник секретно фотографируется со своими шпионскими и вражескими связями», проводятся «секретные обыски, выемки и фотографирование документов»[44].

Андреевым остерегаться следовало. Одна из соседок, они знали наверняка, связана с «органами». Даниила Андреева, нахо-

дившегося до войны под административным надзором, перед большими советскими праздниками 1 Мая и 7 ноября, ежегодно арестовывали. Тогда он числился в списке неблагонадежных. А к ним по-прежнему, часто не выбирая времени, не предупреждая, захаживали говорливые друзья. Всегда настороженный и трезвый Коваленский предупреждал – это может плохо кончиться.

Ламакина рассказывала дочери, что как-то, незадолго до ареста, Даниил зашел к ним в комнату и пригласил послушать свой роман, который он читал друзьям, собравшимся за большим добровским столом. Но Ламакины, наученные горьким опытом, сославшись на маленьких детей, отказались. Свой рассказ она закончила словами: «Слава Богу, что мы не пошли»[45].

Но смутные предчувствия стали понятны только потом. Алла Александровна вспоминала: «...помню ощущение огромной змеи, которая кольцом свернулась вокруг дома – и то ближе, то дальше. И была еще одна странная вещь. Ночью. Я лежу на диване. Даниил сидит за машинкой, буквально рядом. И в самой середине ночи я слышу звонок и понимаю – пришли. Я совершенно застываю. Никто не входит. ...Мне опять почудилось...»[46].

В Измайлово они ни осенью, ни той зимой не выбрались. Сетуя, что не могут приехать, она, словно бы предчувствуя, написала Тарасовым об их полугодовалой уже дочери: «...того гляди, дождемся, что она сама выйдет нас встречать». Напряженный и дерганый «стиль жизни», на который ссылалась Алла Александровна в письме, не давал передышки: «Данина “Африка” едва позволяет урывать какое-то крошечное время для неудачных попыток лечиться и ничего делать не позволяет»[47], – сетовала она. И все же книга «О русских исследователях Африканского материка» в свой срок была успешно сдана в издательство, а роман подвигался к завершению. Каждую законченную главу Андреев читал жене. Тут он вполне похож на своего отца. Тот тоже писал по ночам и написанное обязательно читал жене. Иногда уже под утро будил и читал. Но книги Леонида Андреева знала вся образованная Россия. А у сына читательский круг ограничивался близкими и друзьями. И чем ближе становилось окончание «Странников ночи», тем больше хотелось, чтобы роман прочли. Прочли друзья, потому что ни о какой публикации в досягаемом будущем не могло быть и речи. И друзья читали. Кто-то главы, кто-то завершенные части. Автору требовался отклик.

Роман открывался всматриванием астронома в ночное звездное небо и заканчивался взглядом на утреннюю звезду. Завершался некий ночной круг, пройденный героями. Автор, не догадываясь об этом, завершал его вместе с ними.

В начале апреля Андреев дал прочесть вторую часть «Странников ночи» Ирине Арманд. Буквально через несколько дней она их возвратила, неопределенно сказав, что ей нравится «горячее отношение автора к жизни». Когда он дал Ирине рукопись романа, та показала ее матери, и с ней, после прочтения случилась истерика, перешедшая в сердечный приступ. После истории с диссертацией дочери, после слухов о новых арестах Тамара Аркадьевна ко всему относилась с нервной опаской. Она тут же решила, что если этой ночью к ним явится опергруппа – ей уже чудились шаги на лестнице, – то они скажут, что нашли рукопись в метро, а от дочери потребовала немедленно, утром же вернуть ее. Рукопись была возвращена, но материнское сердце – вещун: в свое время за дочерью пришли.

21 апреля вечером Коваленских навестили Авсюки. В застолье говорили о многом, спорили, не подозревая близости катастрофы. Потом, на допросе, Андреев, признаваясь в «преступных» мыслях и речах, рассказал, что в тот вечер «под влиянием вина» он высказался «в пользу поражения СССР в предстоящей войне с Америкой». Но Маргарита Ивановна, жена Авсюка, показал он, стала его стыдить: «Как не стыдно Вам, русскому человеку, накликать на родину такое бедствие...» Как мог, он спасал чету Авсюков от «Арктиды».

Как раз в эти весенние дни Коваленский занимался усиленными хлопотами по приему в Союз писателей, начатыми еще в марте, готовил документы. Первый раз он пытался вступить еще во время войны и получил рекомендацию от Алексея Толстого, но, как записал в дневнике Тимофеев, «пал жертвой вражды Толстого и Фадеева». 16 апреля ему дали рекомендации критик Евгения Книпович и переводчик Сергей Шервинский, 17-го – Николай Асеев и Константин Федин. Уже после ареста Даниила и Аллы, 24 апреля, Коваленский сдал документы в приемную комиссию. Среди них была автобиография. В ней он писал, что литературную работу считает своим «основным и любимым делом» и что она «запланирована уже на несколько лет вперед». Но у злых сил оказались иные планы.

Часть девятая

«ДЕЛО» ДАНИИЛА АНДРЕЕВА
1947–1948

1. С. и Х.

Без информаторов и агентуры «мероприятия» МГБ немыслимы, они были бы невозможны.

Андреева повествовала о предарестных временах: «Мы познакомились с одним поэтом, точнее, поэтом и актером Вахтанговского театра. Человек он был интересный и как-то невероятно нужный Даниилу. Я могла только любоваться и радоваться, как они с полуслова понимали друг друга, как читали друг другу, как говорили, как совершенно, что называется, “нашли друг друга”, как два наконец встретившихся очень близких человека. Я не знаю, как было дело: работал ли этот человек в ГБ или его просто вызвали, но он нас “сдал”. И еще нас “сдала” моя школьная подруга. Тут, я думаю, ее вызвали. Вряд ли она пошла бы сама, но если вызвали, пригрозили, напугали, она, конечно, рассказала о романе “Странники ночи”, о моих антисоветских воззрениях»[1].

Поэт и актер, правда, уже бывший, – Николай Владимирович Стефанович[2]. Он жил недалеко от Малого Левшинского, в Калошином, выходившем на Арбат прямо к театру, в прятавшемся за тенистым палисадником небольшом скошенном домишке, доживавшем век, какие еще встречались в арбатских переулках. В Калошином прошла почти вся его жизнь, тоже перекошенная и спрятанная. Отец умер перед революцией, он остался с беспомощными матерью и сестрой. В 28-м, шестнадцатилетним, поступил на Высшие литературные курсы, на следующий же год закрывшиеся. Позже столь же недолго проучился в музыкальном училище. В 34-м поступил в Вахтанговское училище, окончил, стал служить в театре. Началась война, и во время воздушного налета в дежурство Стефановича в театр попала полутонная бомба. Многие дежурившие вахтанговцы погибли. А он, контуженный, оказавшийся засыпанным обломками, стал инвалидом. Из театра пришлось уйти, и, вернувшись из Перми, из эвакуации, Стефанович стал искать литературную работу. Возможно, в этом ему помогали «органы». Трудно сказать, когда его сломали

и сделали осведомителем. Вряд ли он сам сделал первый шаг... Но в 1936-м, перед началом следствия по делу поэтов Даниила Жуковского и Натальи Ануфриевой – с ними Стефанович вроде бы дружил, – он, если верить лубянскому делу, написал донос: «Убедившись, что Ануфриева определенно обрабатывает меня для преступных действий, я счел своим долгом подать заявление в НКВД...»[3] Или его заставили написать заявление? В нем шла речь о террористических намерениях, и Стефанович выступил главным свидетелем обвинения. В 37-м, уже после осуждения Жуковского, он написал: «– О, Господи! Пусто и страшно / Становится в мире Твоем!» Ощущая себя в пустом мире, может быть, во всепрощении Божьем Стефанович находил утешение? Или в стихах, теплившихся этим последним упованием? Примерял ли к себе Иудину участь? По крайней мере, в стихах Стефановича:

Испуганно все замолчали.
Смотрели растерянно вниз,
Когда на разбухшей мочале
Иуда несчастный повис.

И тихо качался апостол,
И вздернулась вверх борода,
Все это не трудно и просто,
Все это не страшно, – да?

Но не страшно ли жить в кошмаре предательств? Всегда и везде актерствовать? Поддерживала забота о сестре, как и он, болезненно неуравновешенной и без него пропавшей бы? И сестра трогательно заботилась о нем. Послевоенное их существование было трудным. Сестра, Людмила Владимировна, зарабатывала печатаньем на машинке (в ту пору перепечатывала рукописи Пастернака). Жили в одной комнате, и, работая, она запиралась в платяном шкафу, берегла нервного брата, не переносившего машинописного стука. «Стефанович жил бедно, горько», – рассказывала Алла Александровна. Перед методами «органов» выстоять трудно, тем более при психической неуравновешенности Стефановича. Но он понимал меру собственного падения. Это видно из стихов, они – разговор падшего создания с Богом, исповедь предающего. В стихах он не актерствует. Поэтому в них есть проникновенность, оцененная Даниилом Андреевым и Пастернаком. Вот до войны написанное стихотворение Стефановича «Памяти отца»:

Мне от тебя осталось, как наследство,
Волос твоих отрезанная прядь.
А как же мы игрушечное детство
Рассчитывали вечно повторять?

Светился мир, раздвинут и приподнят,
Давая место вымыслам твоим,
И оттого, что мерзок я сегодня,
Не только мне, но жутко нам двоим.

И оттого, что сраму нет предела,
И оттого, что так и повелось, –
Внезапно в медальоне поседела
Коричневая прядь твоих волос.

Что стояло за стихами, какие бездны малодушия, вольного или невольного предательства, какие муки совести – знали только автор и его жертвы. Все преданные – посажены, погибли. Стефанович легко общался со многими – круг его знакомств был широк, – с литературоведами Шкловским и Чичериным, с переводчиками Шервинским и Левиком, с Андреевым и Коваленским, с философом Александром Горским, в 43-м арестованным и умершим в тюремной больнице... Пока ими мало интересовались «органы», Стефанович был не опасен, мил, вызывал сочувствие. Одни, знавшие Стефановича, в большинстве, не хотели и слышать о его стукачестве, другие, в меньшинстве, были в этом уверены[4].

Любовью к поэзии, чуткостью к слову, редким религиозным мироощущением, нервной возбужденной восторженностью Стефанович увлек Андреева. Он с воодушевлением и блеском в глазах говорил о Достоевском и о Блоке, о просвечивающей через стихи иной реальности, о Владимире Соловьеве, о Вселенской церкви, о гностиках... Познакомились они перед войной, в мае 41-го, у Ирины Арманд, но сблизились в эти предарестные годы. Прихрамывающий, черноволосый, как и Андреев, высокий и худой, с бледным истощенным, нервным лицом, бедно, как, впрочем, многие тогда, одетый, Стефанович приходил в гости по вечерам, и они беседовали, засиживаясь до ночи. Заварив чай, подав к чаю сухарики, Алла Александровна уходила спать за ширму. Она привыкла к бдениям мужа с близкими друзьями. В начале апреля Стефанович взял на прочтение роман – толстый, автором старательно переплетенный машинописный том. В те дни он написал стихотворение со строчками: «А дьявола утонченные плутни / Становятся особенно тонки».

На другой день после ареста Даниила Андреева, о чем жена еще не знала, Стефанович позвонил ей, необычайно взволнованный, спросил: « Как Даниил Леонидович? Что про Даниила Леонидовича?» – и услышав, что все в порядке, обрадованно, видимо поверив тому, что «все обошлось», сказал, что хочет принести роман.

Алла Александровна рассказывала: «Я возразила:

– Да не спешите, Даниил же вернется через два дня, тогда придете.

– Нет, нет, я принесу.

Он принес книгу, не вошел даже, а просто с порога отдал ее мне в руки...»[5]

Стефанович искренне радовался телеграмме, полученной в те дни от якобы уехавшего Андреева, надеясь, что пронесло. Тогда его суетливость и возбужденность, поспешное возвращение рукописи не показалось странным.

После первых допросов стало ясно, что о романе «органы» узнали не только от Стефановича, но и от Галины Хижняковой, давней, со школьных лет, подруги Аллы Александровны. Ее, очевидно, вызвали и заставили рассказать все, что нужно. Ясно, что были и другие информаторы. В постановлении на арест говорилось: «Факты распространения нелегальной антисоветской литературы подтверждаются показаниями Хижняковой Г. В.», правда, потом оказалось, что протокол ее показаний к делу не приобщен. Имени Стефановича в постановлении нет вовсе. Штатные осведомители в официальных документах никогда не упоминались. Зато в постановлении указаны послужившие основанием к аресту Андреева показания от 10 марта 1941 года давно сидевшего в лагере Галядкина и давнишние показания его бывшей жены. Пришло время, и их пустили в ход.

Видимо, Стефанович и Хижнякова, но вряд ли только они, и стали частью агентурной сети МГБ, наброшенной на Даниила Андреева и его окружение. Абакумов так формулировал в донесении Сталину результаты первоначального этапа следствия: «В процессе агентурной разработки было выявлено, что АНДРЕЕВ Д. Л. и АНДРЕЕВА А. А. группировали вокруг себя вражески настроенных людей и среди них вели злобно антисоветские разговоры, распространяли клевету и измышления против Советской власти.

Кроме того, через агентуру установлено, что АНДРЕЕВ написал ряд антисоветских произведений и читал их своему близкому вражескому окружению.

МГБ СССР было секретно изъято антисоветское произведение АНДРЕЕВА под названием «Странники ночи» в 4 частях, в одной из глав которого АНДРЕЕВ призвал к активной борьбе с Советской властью путем террора против руководителей Советского правительства»[6].

В августе, когда разворачивалось следствие по делу Андреева, Стефанович писал: «Ни чувств, ни совести, ни денег, / Земная ноша нелегка». Но о подлинной роли его в этом деле судить невозможно: это из тайн Лубянки. Через годы Даниил Андреев

писал жене из тюрьмы: «О С. и Х. я знал уже тогда. Сомневаюсь, жив ли он. Злобы на них у меня больше нет»[7].

Стефанович пережил Андреева на двадцать лет.

2. Арест

Арест Андреевых – тщательно разработанная операция, в полном соответствии с практикой «ведения следствия по делам о шпионах, диверсантах, террористах и участниках антисоветского подполья» в органах МГБ. Об этой проверенной практике Абакумов, уже после ареста «террориста» Андреева, докладывал в спецсообщении Сталину 17 июля 1947 года:

«1. Перед арестом преступника предусматриваются мероприятия, обеспечивающие внезапность производства ареста – в целях:

а) предупреждения побега или самоубийства;

б) недопущения попытки поставить в известность сообщников;

в) предотвращения уничтожения уликовых данных.

При аресте важного государственного преступника, когда необходимо скрыть его арест от окружающих или невозможно одновременно произвести арест его сообщников, чтобы не спугнуть их и не дать им возможности улизнуть от ответственности или уничтожить уликовые данные, – производится секретный арест на улице или при каких-либо других специально предусмотренных обстоятельствах»[8]. Поэтому Андреева, отправившегося в командировку, для того МГБ и организованную, арестовали на пути в аэропорт.

«Когда Даниил написал книгу о русских путешественниках в Африке, она уже была в гранках и должна была скоро выйти, ему неожиданно предложили по телефону полететь в Харьков и прочесть лекцию по этой книжке. Даниил очень удивился, но почему бы и нет? <...> Очень рано утром к нашему дому подъехала машина. Я вышла проводить Даниила. Он сел в машину, и она тронулась по переулку. Когда машина отъезжала, Даниил посмотрел на меня через заднее стекло...»[9], – вспоминала Андреева. В автомобиле кроме водителя сидели еще два человека. Запомнились последние слова мужа: «Как хорошо, что все самое тяжелое мы уже пережили, у меня не хватило бы сил пережить все это еще раз...»

Андреев в тюрьме не раз вспоминал «злополучную фразу» перед расставанием. Ему стало казаться, что он только зря растревожил жену, и притом попал «пальцем в небо». Он описал ощущения этого утра, когда автор оказался среди своих героев и, под-

5

СССР

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ОРДЕР № 3259

Апреля 23 дня 1947 г.

Выдан

тов. Котцеву Ирм.-Боброву-Мосальу

на производство ареста и обыска

Андреева Даниила Леонидовича

по адресу: Москва, Мос. Левшинский пер. д. 5 кв. 4 и по месту работы.

Место для печати

Зам. Министр Государственной Безопасности Союза ССР

Справка 254

Арест санкционирован Генеральным Прокурором СССР

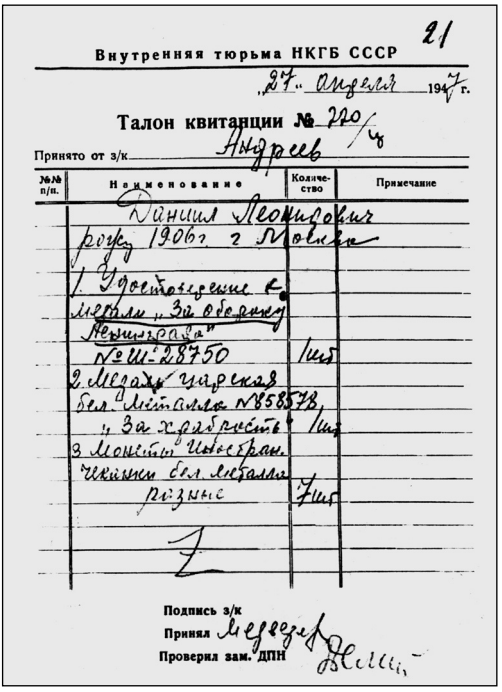
Зам.

Государственному Советнику юстиции 1 ранга тов. Сафронову

Ордер на арест Д. Л. Андреева

чиняясь романному сюжету, принял совершающееся. Ощущения сна наяву. Поэтому имена героев «Странников ночи» в переписке с женой зазвучали как имена реальные: «Я помню слова Адриана: “Нет, Леон<ид> Фед<орович>, горбовская душа – живучая, она вроде ваньки-встаньки”. И еще запомнил на веки веков маленькое ярко-блестящее белое пятнышко в перспективе залитого солнцем переулка: это ты стояла у подъезда в белой блузке. Я ведь тогда принужден был повернуть, пересев в другую машину, у самого аэродрома. И представь: Калуж<ская> площадь, Якиманка, мимо дома Глинских, и, наконец, монументальный, величественный, широкий и даже с настоящими чугунными перилами мост – украшение, гордость Красной столицы. Совпадение было потрясающим»[10].

Командировочное удостоверение Министерства высшего образования датировано 22 апреля. Постановление на арест подписано майором Кулыгиным тем же днем, 23 апреля, утверждено замминистра госбезопасности СССР генерал-лейтенантом Огольцовым и санкционировано Генеральным прокурором. Ордер на арест и обыск выдан тоже 23 апреля. 23-м помечены все тюремные процедуры и протоколы. Жена поэта в разное время



21

Внутренняя тюрьма НКГБ СССР

„27" Апреля 1947 г.

Талон квитанции № 220/ч

Принято от з/к Андреев

№№ п/п.	Наименование	Количество	Примечание
	Даниил Леонидович рожд. 1906 г. г. Москва		
	1. Удостоверение к медали „За оборону Ленинграда" № Ш-28750	1шт	
	2. Медаль „Индия" без металла № 858578, „За храбрость"	1шт	
	3. Монеты иностран. чеканки без металла разные	7шт	
	Итого		

Подпись з/к

Принял Медведев

Проверил зам. ДПН

Талон квитанции на личные вещи Д. Л. Андреева

называла датой ареста 21 и 22 апреля 1947 года, но в документах значится 23-е.

Арестом занимались майор Кобцев И. М., лейтенант Мамаев И. С. и младший лейтенант Бобров (инициалы в документах отсутствуют). Андреева подвезли к третьему подъезду Лубянки, куда всех арестованных и привозили. Отвели в бокс – камеру без окна, без нар. Потом – обычные тюремные процедуры: душ, обыск, взятие отпечатков пальцев, фотографирование... Тюремщики действовали молча, деловито, заученно. Каждый арестованный, неожиданно извлеченный из привычной жизни, переживал их по-своему: кто с болезненной нервностью, кто с заторможенной покорностью. У Андреева изъяли паспорт, пенсионное удостоверение, командировочное, путевку в город Харьков для чтения лекции, «Материал к лекции “Русские исследователи в Африке”», два письма, две записные книжки (одна с адресами и телефонами), тетрадь с черновыми записями, три книги – Пржевальского «Монголия и страна тунгусов», Герберта Уэллса «Первые люди на Луне», «Англо-русский словарь» и карту Африки. Он никогда не читал публичных лекций, потому готовился тщательно и с волнением. Для этого даже костюм – собственный никуда не годился – поза-

имствовал у тестя. Среди изъятых вещей в протокол между запонками и столовым ножом включены «иконки малые – 2 шт.».

Телеграмма из Харькова о благополучном прибытии, показавшаяся жене не совсем складной, пришла на следующее утро. Но она ничего не заподозрила. После обеда зашел Стефанович. Поздно вечером явились за ней. В документах дата ее ареста – 27 апреля, но предарестные дни после «отъезда» мужа слились для нее в один… «Вошли трое. Капитан, возглавлявший визит, вел себя вполне корректно. Обыск был для него привычной и обыденной работой. Он длился четырнадцать часов. Всю нашу большую библиотеку перебирали по книжке: искали роман и стихи, о которых уже знали. В конце концов капитан сказал:

– Ну, сколько мы еще будем искать? Дайте рукопись.

Я подняла руку, взяла с полки “Странников ночи” и положила. Они бы не ушли без романа, но обыск продолжался бы не четырнадцать часов, а двадцать восемь.

В квартире никто не спал, и все время звонил папа. Всю ночь. Он, конечно, понял. Обычно мы перезванивались – просто услышать голос, узнать, что все в порядке. И тут папа позвонил поздно вечером. Трубку взял кто-то из них и казенным голосом ответил: “Ее нету”. И так же он отвечал до утра. Все было ясно.

Меня из комнаты не выпускали. Один раз мне понадобилось в туалет, и меня провожал солдат. По дороге я сумела схватить свой тоненький дневничок. Даниил, как-то прочтя его, сказал, смеясь: “Ну, знаешь, твой дневник ничуть не лучше ‘Странников’”. Я это запомнила, ухитрилась его стащить и в туалете уничтожить.

Хотелось спать, просто ничего не чувствовать. Я не плакала, отвечала на какие-то вопросы. <…>

Когда мы вышли в переднюю, в квартире стояла тишина. Меня провожала одна соседка. Муж ее отсидел, вернулся, и она сама тоже, так что уж кому бояться, так это им, а именно она вынесла мне кусок черного хлеба и несколько кусочков сахара: “Вам это пригодится”. Я ее поблагодарила и сказала в ответ: “Вот, Анна Сергеевна, мои керосиновые талоны, возьмите их”. Ведь не пропадать же талонам.

За мной подъехала легковая машина – не “воронок”, а бежевого цвета. И меня повезли на Лубянку в новом, очень красивом пальто, которое я успела поносить дня два. Мне его сшила мама. Книги, письма они увезли отдельно.

На Лубянке меня сразу повели вниз, в подвал, и я решила, что ведут пытать и расстреливать. Вот тут кончилось мое ошеломленное спокойствие, конечно, совершенно ненормальное, и я разрыдалась. А конвоиры смеялись. Они, видимо, привыкли к таким

реакциям тех, кого тащат в подвал, тащили-то не пытать и расстреливать, как обычно ждали все арестованные, а просто брать отпечатки пальцев. Я была совершенно сломлена и заливалась слезами, плакала навзрыд. Я была убеждена, что Даниил уже расстрелян. И с того дня плакала несколько месяцев. Не сознательно, просто все время текли слезы. Говорили, что я и во сне плакала. Когда на первом допросе следователь о чем-то меня спросил, я перекрестилась, считая, что с Даней уже все кончено, и еще немного, и со мной тоже будет все. Только бы не очень долго пытали»[11].

Но полуторагодовое следствие только начиналось. На первый допрос Андреева привели в 11 часов 24 апреля. Он длился час, и вел его майор Иван Федорович Кулыгин, заместитель начальника второго отделения «Т» («террор»). Он, как обычно, начался с анкетных вопросов. Из них арестованного мог насторожить лишь последний – о родственниках, проживающих за границей.

Второй допрос после часового перерыва вместе с Кулыгиным вел еще один заместитель отдела «Т» – полковник Михаил Андрианович Жуков. Они начали с изъятого письма Татьяны Усовой и планомерно подошли к роману.

«ВОПРОС: О каком литературном завещании идет речь в этом письме?

ОТВЕТ: Находясь в армии, я послал в Москву Усовой письмо, в котором писал, что делаю ее своим душеприказчиком и поручаю ей после моей смерти издать оставленные у нее мои литературные произведения.

Этот документ Усова и имеет в виду, когда пишет о литературном завещании.

ВОПРОС: Какие литературные произведения вы оставили Усовой?

ОТВЕТ: Уезжая на фронт в 1942 году, я оставил Усовой сборник моих лирических стихов, поэмы “Монсальват” (она была не окончена), “Кримгильда” и “Лес вечного успокоения”. Название последней поэмы позднее, после возвращения из армии, я изменил на “Немереча”, что на брянском говоре означает – непроходимая чаща. Оставил Усовой я также начатый мною роман “Эфемера”.

ВОПРОС: Еще какие свои произведения вы оставляли Усовой?

ОТВЕТ: Больше Усовой я ничего не оставлял.

ВОПРОС: Это точно?

ОТВЕТ: Да. Совершенно точно.

ВОПРОС: Разве эти произведения по своему содержанию могли быть напечатаны в Советском Союзе?

ОТВЕТ: Ни в одном из перечисленных мною произведений ничего антисоветского нет.

В поэме «Монсальват» и «Немереча» имеются оттенки мистики. Такие же оттенки мистики имеются и в некоторых моих стихах. Эти произведения, конечно, сейчас напечатаны быть не могут.

Такие мои стихи, как в циклах “Бродяга”, “Лесная кровь”, “Янтари” – могли бы быть напечатаны.

ВОПРОС: Вы утверждаете, что не писали антисоветских произведений?

ОТВЕТ: Да. Я это утверждаю.

ВОПРОС: Цитирую вам одно место из письма, о котором шла речь в начале допроса: “...такой огонь не может задеть ничто извне (как у Ирины Федоровны)”. Кто такая Ирина Федоровна?

ОТВЕТ: Ирину Федоровну я не знаю. Полагаю, что речь идет о МАНСУРОВОЙ, которую, кажется, звали Марией Федоровной. (Тут надо пояснить, что речь идет о жене (с 1914) церковного историка и священника Сергея Павловича Мансурова, в советские годы арестовывавшегося, ссылавшегося и умершего в 1929 году от туберкулеза; овдовев, она благоговейно хранила память о муже, в 34-м была арестована и сослана. – *Б.Р.*) О Мансуровой я как-то рассказывал Усовой как о примере верности любимому человеку.

ВОПРОС: Вы лжете. Вам отлично известно, кого имела в виду Усова, упоминая имя Ирины Федоровны. Предлагаем говорить правду.

ОТВЕТ: Я повторяю, что Ирину Федоровну я не знаю.

ВОПРОС: А героям, описанным в ваших произведениях, вы не давали имя – Ирина Федоровна?

ОТВЕТ: Нет, не давал.

ВОПРОС: Прекратите запирательство. Следствию точно известно, что Ирина Федоровна – героиня одного вашего произведения. Говорите правду.

ОТВЕТ: Я прекращаю запирательство. Ирина Федоровна – это действительно имя героини одного моего романа.

ВОПРОС: Какого?

ОТВЕТ: Роман называется «Странники ночи».

ВОПРОС: Этот роман вы тоже оставляли Усовой?

ОТВЕТ: Да, оставлял.

ВОПРОС: Почему, перечисляя то, что вы оставляли Усовой, вы не назвали этот роман?

ОТВЕТ: *Потому что в этом романе имеется критика советской действительности, которая может быть определена следствием как антисоветские высказывания.*

ВОПРОС: Какие еще произведения вы написали, в которых имеются антисоветские взгляды?

ОТВЕТ: Это мои наброски к поэме “Германцы”, которые я написал в 1942 году, и еще несколько стихотворений.

ВОПРОС: Эти произведения тоже находились у Усовой?

ОТВЕТ: Нет. Эти произведения я оставлял в своей квартире.

ВОПРОС: Укажите, где находятся написанные вами антисоветские произведения?

ОТВЕТ: Этого я следствию не скажу.

ВОПРОС: Почему?

ОТВЕТ: Над романом “Странники ночи” я работал десять лет. Эта работа мне слишком дорога, и я не могу сознательно обрекать ее на уничтожение.

Другие мои антисоветские произведения спрятаны вместе с этим романом. Поэтому я не могу указать их местонахождение.

ВОПРОС: Значит, вы отказываетесь выдать свои антисоветские труды?

ОТВЕТ: Да, отказываюсь. Во всяком случае, сейчас я этого не скажу.

ВОПРОС: Следствие расценивает это как продолжение вашей борьбы против советской власти. Учтите это»[12].

О романе всё уже знали, но, согласно методам дознания, подследственный должен с ужасом обнаружить, что от «органов» ничего скрыть нельзя, нужно сдаваться и выкладывать затаенное. Кроме того, Жуков задавал вопросы о сочинениях Коваленского, и задавал так, что стало ясно, о них тоже знают в подробностях. Содержание поэм «Химеры» и «Корни века» не могли знать ни Стефанович, ни Хижнякова. Неужели Ш.?

Третий в этот день допрос начался в 22 часа 30 минут. Он продолжался почти всю ночь и закончился без четверти пять утра. Допрашивали два полковника – Иванов, сменивший утомленного Кулыгина, и Жуков. Опять шла речь о «произведениях антисоветского содержания». Вначале арестованного заставили их перечислить и указать место, где они хранятся, повторяя: «Учтите, что ваше запирательство бесполезно». Дать понять, что запирательство бесполезно, здесь умели.

И Андреев отвечал: «Я это понимаю. Я решил указать следствию место, где хранятся мои антисоветские произведения.

Они находятся в квартире, где я живу. При входе в квартиру имеется передняя, в которой находится лестница в семь ступеней. По бокам этой лестницы есть парапеты. С левой стороны парапет более широкий. На нем стоят вещи домашнего обихода. Если их убрать, то можно поднять доску, и тогда откроется углубление.

Именно в этом месте и хранятся все мои антисоветские произведения, за исключением тех, которые находятся в комнате»[13].

К тому времени допросили Татьяну Усову. Ее привезли на допрос в тот же день вместе с изъятыми у нее рукописями Даниила Андреева. Допрашивали пять часов, провели очную ставку. И пока отпустили. Она передала сестре запомнившуюся фразу Андреева, брошенную следователю: «У меня с вами нет ни одной точки соприкосновения». Он потом сетовал: «...замечательно показала себя Тат<ьяна> Влад<имировна>, но я опростоволосился так, как ни с кем, и теперь, вероятно, она не хочет обо мне знать»[14].

3. Группа Даниила Андреева

Делом Андреева, начиная с ареста, занимался отдел «Т». Следствием руководили начальник следственной части по особо важным делам генерал-майор Александр Георгиевич Леонов и полковник Владимир Иванович Комаров. Оба были проверенными людьми Абакумова. Леонов, проучившись два класса в высшем начальном училище в Симферополе, главную школу прошел в «органах», начиная с ВЧК, где начал карьеру чуть ли не с пятнадцати лет сотрудником для поручений. Его зам. Комаров, после семилетки окончивший школу ФЗУ, пришел в НКВД в 38-м.

Вопросы подследственным о «произведениях антисоветского содержания» подводили к убедительному подтверждению обвинения, в сущности, сформулированному сразу. Намеченный лубянскими драматургами сюжет предопределил многомесячную работу над монологами признаний и диалогами допросов.

На допросы – таковы правила – из камер вызывали шепотом: «на А» – значит, Андреева, «на В» – Василенко, никогда не называя фамилию полностью. По коридорам вели два надзирателя, и так, чтобы заключенные друг друга ни в коем случае не увидели. Если направлялись вниз по лестнице, а потом длинным, без дверей коридором к лифту – значит, в основное здание.

Допрашивали продуманно, по давно отработанным методикам, и почти всегда добивались, чего хотели. Видимо, к первым допросам относится эпизод, переданный со слов Андреева Борисом Чуковым. Допрашивавший Андреева Леонов «с людоедской улыбкой говорил ему, зловеще растягивая слова:

– Вы еще не знаете, Андреев, специальным ножом мы из вас кишки вытянем. Букваль-но!»[15].

Требовались выразительные доказательства, факты работы организованной группы вражеского подполья, того, что она не просто занималась антисоветской агитацией и пропагандой,

распространяя собственные литературные произведения, а готовила террористический акт против главы Советского правительства. Для обвинения в «агитации и пропаганде» материала хватало с избытком. Тогда же арестованный драматург Александр Гладков сел только за то, что рукопись, без всякого намека на антисоветское, но отвергнутую издательством, прочел в тесном кругу друзей.

«Террористы», задумавшие покушение на товарища Сталина, находились и при Ягоде, и при Ежове, и при Берии. Всезнающие «органы» умели обнаруживать и уничтожать «террористические группировки». Найдя кандидатов на роль «террористов», следствие начинало с того, что сочиняло сюжет сценария и дописывало его на ночных допросах, заставляя действующих лиц исполнять предназначенные роли, выбивая подробности, поощряя импровизации, требуя убедительных самооговоров. Типовые сценарии разнообразием не блистали. И хотя, как правило, писатели шли по статье «антисоветская агитация и пропаганда», обвинение в подготовке теракта на основании художественного произведения чекисты практиковали давно. К любым, самым нелепым фантазиям на тему покушений и нападений они относились с беспощадной серьезностью. То набросок сценария принимался за план нападения, то приключенческая повесть, но чаще – неосторожные речи.

А случай с романом «Странники ночи» оказался из ряда вон. В одной из глав его второй части «в деталях в стиле Достоевского описывалось покушение на Сталина, – замечал опытный политзэк Налимов. – Получив этот материал, органы ахнули – в их интерпретации это было не художественное произведение, а инструкция к действию»[16].

Изображенное в «Странниках ночи» «антисоветское подполье» – группа Глинского, собравшего «вокруг себя группу единомышленников, объединенных неприятием всего, что было навязано стране: коммунизма, социализма, атеизма, ведущих к духовной гибели народа»[17]. В романе даже определялась задача группы: «...ночь над Россией неминуемо кончится рассветом, а рассвет этот обнаружит крайнюю степень духовного голода народа, и те, кто это понимает, должны быть готовы этот голод начать удовлетворять»[18]. Речь здесь шла, квалифицировало следствие, о подготовке к «антисоветской пропаганде и агитации».

Об интеллигентских методах работы «подполья» говорил эпизод конспиративного сбора группы вечером в мансарде особнячка на Якиманке, когда подпольщики, чтобы избавиться от присутствия соседа, покупают ему билет в Большой театр.

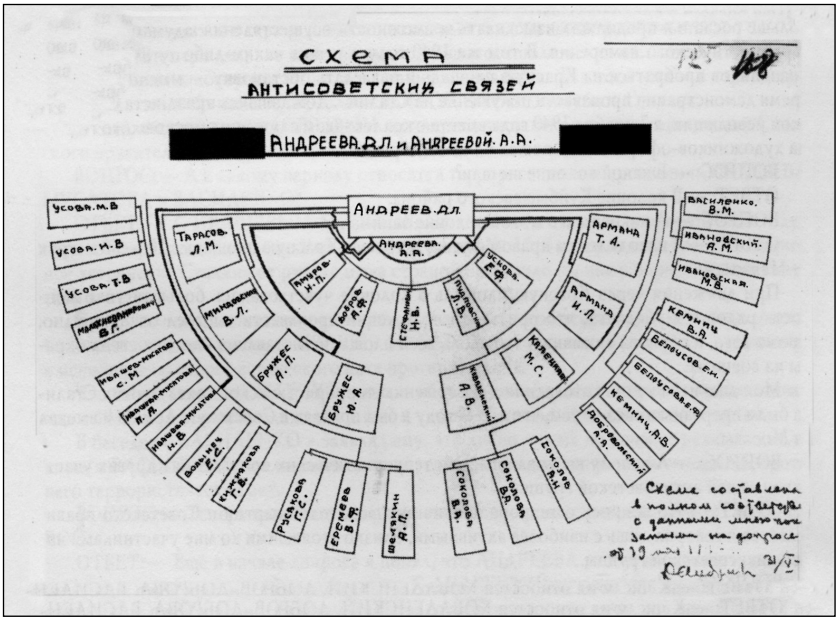


Схема антисоветских связей Андреева Д. Л. и Андреевой А. А.
Из следственного дела Д. Л. Андреева

Герой романа с террористическими замыслами, к тому же связанный с иностранной разведкой – Алексей Юрьевич Серпуховской. Ему ненавистны туманные мистические рассуждения в уютной мансарде о «синем подполье», он жаждет реальной борьбы. «Серпуховской не имел прототипа в окружении Андреева, – рассказывала его вдова. – Как-то вечером – по-моему, это был 1946 год – мы сидели вдвоем в нашей комнате и говорили о “Странниках”. Даниил высказал свою неудовлетворенность чем-то в группе Глинского из-за недопроявленности Серпуховского. Дальше разговор пошел о том, что невозможно, чтобы в наше время, кроме советского быдла, были одни мечтатели. Должны быть мужчины, должны быть люди действия, они найдут, как действовать. Вот так стал развиваться персонаж романа, который сыграл совсем особую роль во время следствия. Арестованных по нашему делу о Серпуховском допрашивали как о живом человеке: “Где и когда вы познакомились с Алексеем Юрьевичем Серпуховским...”»[19]

Рассуждения героев романа о возможных методах борьбы с бесчеловечной властью принимались за реальные руководящие инструкции. На допросе приводились строки из второй части «Странников ночи», с указанием страницы рукописи – 311, действительно крамольные: «Первое – самая тщательная маски-

ровка. Отказ от каких бы то ни было единичных антисоветских выступлений, чтобы не выдать себя. Второе – активная подпольная работа. Временный блок со всеми антиправительственными группировками, какие только удастся нащупать». Зачитав их, следователь спрашивал романиста: «Говорите, что практически вами сделано в этом направлении?»

Но Даниил Андреев с подпольщиками вроде Серпуховского знаком не был, в газетах, писавших о врагах народа, о них не сообщалось. Романист придумал решительного героя, предполагая, что такие люди в жизни должны быть, не могут не быть. Но существовали ли в действительности противники режима, готовившие покушение на вождя народов?

Алла Александровна рассказывала о встреченной в лагере женщине, знавшей о некой антисоветской группе, собиравшейся именно на Якиманке. Это ее поразило. А вот что говорил о своем участии в такой группе, правда, через десятилетия, Александр Зиновьев: «Я стал антисталинистом и в 1939 году был одним из организаторов группы, которая готовила убийство Сталина. Это были реальные планы, покушение мы планировали совершить во время майской демонстрации 1940 года. У нас лишь не было хорошего оружия – достать удалось только сломанный наган... Вскоре меня арестовали»[20].

4. Роковой август

Сколько человек проходило по делу Даниила Андреева, сами обвиняемые не знали, друг друга за все время следствия, за немногими исключениями, не видели, а некоторые даже не были между собой знакомы. «...На следствии, когда меня допрашивали, – рассказывал Василенко, – знаю ли я такого-то или такого-то, а я отвечал, что не знаю, следователь мне заявлял: “Ну да, у него каждый четвертый не знал пятого!”»[21]

Уже на первом ночном допросе на вопрос: «А кто читал этот ваш роман “Странники ночи”?» – Андреев перечислил, понимая, что большинство его читателей и слушателей здесь известны, но не предполагая, что им грозит:

«1. УСОВА Татьяна Владимировна.
2. Ее мать – УСОВА Мария Васильевна.
3. МУСАТОВ Сергей Николаевич.
4. Его жена – МУСАТОВА Наталия Васильевна.
5. ХИЖНЯКОВА Галина Васильевна.
6. АРМАНД Тамара Аркадиевна.
7. Ее дочь – АРМАНД Ирина Львовна.

8. Моя жена – АНДРЕЕВА Алла Александровна.
9. СТЕФАНОВИЧ Николай Владимирович.
10. ДОБРОВ Александр Филиппович.
11. МАЛАХИЕВА-МИРОВИЧ Варвара Григорьевна.
12. БРУЖЕС Александр Петрович.
13. Его сын – БРУЖЕС Юрий Александрович.
14. КАЛЕЦКАЯ Мария Самойловна.

Кроме них читали роман «Странники ночи» следующие лица, теперь уже умершие:

1. ДОБРОВ Филипп Александрович.
2. ДОБРОВА Елизавета Михайловна.
3. МИТРОФАНОВА Екатерина Михайловна.
4. ФИНКЕЛЬШТЕЙН Варвара Дмитриевна.

Отдельные главы из романа я читал ИВАНОВСКОМУ Александру Михайловичу и его жене Марии Владимировне. Это были главы из самого раннего варианта романа. Читал я Ивановскому примерно в 1937 году.

Отдельные отрывки читал я также Василенко Виктору Михайловичу.

О существовании романа «Странники ночи» знали ХАНДОЖЕВСКАЯ-ДОБРОВА Галина Юрьевна, КОВАЛЕНСКИЙ Александр Викторович, а также его жена ДОБРОВА Александра Филипповна, МАТВЕЕВ Сергей Николаевич»[22].

На последний вопрос, не забыл ли он, кто еще читал роман или знал о его существовании, Андреев ответил: «По-моему, я назвал всех. Если я вспомню еще, то назову дополнительно».

Арестовывать названных не спешили. Тем более что на Лубянке, усмехаясь, приговаривали: «Ваши эти переулочки арбатские, да их можно брать прямо подряд, целыми домами...» На подозреваемых собирали материал, не выпускали из виду. Каждому приходил свой черед. Кому-то везло. «Уцелели мои родители, которые не читали и не знали произведений Даниила, уцелела и Галя Русакова, очень близкий и любимый Даниилом человек, хотя она роман читала. При этом были арестованы люди, имевшие к нам совершенно косвенное отношение», – поражалась логике следователей Алла Александровна. Повезло Тарасовым, знавшим о «Странниках ночи», читавшим главы. Но из-за болезней и рождения дочери они больше года не бывали в Малом Левшинском. И Андреевы не приезжали к ним с лета 46-го.

В мае, прежде чем начались аресты «группы», следователи составили «Схему антисоветских связей Андреева Д. Л. и Андреевой А. А.». В схеме тридцать шесть фамилий. Значатся в ней и Русакова с мужем, и семидесятитрехлетняя мать Ивашева-Муса-

това, и пожилые матери Арманд и сестер Усовых, и старуха Малахиева-Мирович, и отец с сыном Бружес, и даже Стефанович. Есть в схеме еще несколько человек, которых не тронули: художница Елена Саввишна Волынец, семейство Соколовых, Тарасов с Миндовской... Не все годились в члены террористической группы. Что за террористическая группа, состоящая из близких родственников и старух? Андрееву и в голову не могло прийти, что называемые им люди – тихие и интеллигентные – окажутся обвиняемыми в государственных преступлениях.

Первым 16 июня в Курске арестовали Алексея Павловича Шелякина. Ушедший на войну 22 июня 41-го, он, после демобилизации в апреле 46-го, работал там главным архитектором. Почему попал в число обвиняемых? Крамола обнаружилась в его письмах старому школьному другу. Он любил литературу, сам пробовал писать. При аресте у него взяли дневники, большую пачку писем Даниила Андреева за многие годы. Что могли вменить в вину? Знал он из обвиняемых только Андреева и его жену. Но, как быстро выяснилось, Шелякин, оказывается, слышал чтение романа и крамольную главу о террористах, а значит, недавний фронтовик годился в соучастники. Кроме того, в его дневниках, писавшихся на кавказском фронте, нашлись строки, способствующие получению 25-летнего срока.

В августе арестовали Татьяну Владимировну Усову. В начале ночи в квартирку на улице Станиславского пришли двое в форме, один в штатском. Татьяна Владимировна жила на даче, в доме оказались сестра с мужем, Василием Васильевичем Налимовым. В июне они вернулись из колымской ссылки, и паспорт у Налимова был «дефектный» – ему не разрешалось жить в Москве. Но, проведя тщательный обыск в бумагах, забрав обнаружившиеся письма Андреева к Ирине Усовой на Колыму и фотографии, лубянский наряд отбыл. На паспорт Налимова пришедшие слава Богу пристального внимания не обратили.

После предательской, как она и ее мать считали, женитьбы Даниила Татьяна Владимировна три года его не видела и видеть не желала. Но это ее не спасло. Три года отчаянных гордых переживаний, тяжкая встреча в лубянском кабинете и внезапный арест. Арест грозил и сестре, ее пытались вызвать телефонным звонком на допрос, но она – помог опыт мужа – вовремя из Москвы уехала, и разыскивать ее не стали. В доме Усовых в одиночестве осталась Мария Васильевна, добитая несчастьем с любимой дочерью и до конца следствия не дожившая.

24 августа арестовали Ивашева-Мусатова и Василенко. Ивашева-Мусатова взяли дома, в комнатке на Никитском, Васи-

ленко – в поезде, когда тот возвращался из командировки в Баку. «Попутчиком моим был какой-то мрачный тип, не вымолвивший за всю дорогу ни единого слова, – рассказывал он о своем роковом дне. – И вот когда мы уже подъезжали к Подольску и я стоял, как и все, в коридоре у окна, глядя на только что взошедшее солнце, которое сияло над Окой, рядом со мной встал мой мрачный попутчик.

Поезд остановился в Подольске. И тут же попутчик исчез, когда ко мне подошли двое и потребовали паспорт. Я протянул паспорт, они взглянули на него и сказали: “Вы арестованы”. Моментально весь коридор опустел. Все купе захлопнулись. <...>

На Курском вокзале меня вывели через калитку, которую я вижу и сейчас, когда еду на юг, и с нее началась моя новая жизнь. Меня вывели, посадили в такой большой автомобиль. Я поставил на колени мой чемоданчик и две чарджуйские дыни, которые вез из Баку. Дыни были пахучие. И я помню, как принюхивались к их сладкому запаху мои конвоиры.

Тронулись. И я услышал: “При любой попытке к бегству будем стрелять...”

Меня обыскали, повели в баню, остригли. Когда мне вернули одежду, оказалось, что везде пуговицы срезаны, а вместо них прорезаны дыры и выданы маленькие куски веревки. Потом повели дальше, брали отпечатки пальцев. Я их сделал штук сорок, на это ушло около получаса, – ужасно противное занятие. И опять вели долгими коридорами, затем коридором пониже с рядом невысоких дверей. Одну из дверей открыли и вдруг, неожиданно и грубо пригнув, меня впихнули в нее. Это был бокс, ящик, где можно было только согнувшись сидеть или лежать. В этом боксе продержали двое суток, а когда вытащили, после полного мрака тусклый коридорный свет ослепил меня.

В лифте перевезли куда-то наверх, и я оказался в одиночке. <...>

И вот два вертухая ввели меня с руками назад в огромную комнату, где за длинным столом сидели человек двадцать пять в военной форме. Горели яркие канделябры. В торце стола сидел военный высокого роста, с характерным худым лицом. Позже я узнал, что это был Леонов, начальник отдела по особо важным политическим преступлениям. <...>

Вертухаи ушли, и кто-то мне сказал: “А-а, Виктор Михайлович, как мы рады вас видеть!” Я удивленно посмотрел. А другой добавил: “Мы вас давно ждали. Интересно на вас посмотреть. Да-да. Ну, подойдите поближе”.

Я сделал два неуверенных шага. И молчу.

“Ну что же вы молчите? – спрашивает еще кто-то. – Рассказывайте, рассказывайте!”

Я говорю: “О чем?”

“Как это о чем? О ваших преступлениях, которые вы совершали всю вашу жизнь”.

Я им говорю: “Я никаких преступлений не совершал”.

А они мне: “Что вы? Да вы один из самых страшных преступников, каких мы только знаем. На вас посмотреть интересно, столько мы за вами гонялись, следили”.

“Да помилуйте, – говорю. – Отпустите меня, мне через десять дней нужно начинать лекции в университете...”

“Что вы, какие там лекции. Как вы не понимаете, где находитесь. Вы здесь потому, что вы огромный преступник. Да еще настолько опытный, что все время запираетесь. Ведь обычные преступники, они сознаются сразу же...” – говорят мне.

И тут вдруг встает Леонов, подходит ко мне: “Ну, говори”.

“Я же ни в чем не виноват. Я ничего не делал”, – отвечаю я. И неожиданно страшный удар. Я падаю на пол. У меня кровь. Выбиты три зуба. Я с трудом поднимаюсь. Он приказывает: “Уберите эту сволочь”. Меня уводят. А сзади я слышу только какой-то гогот.

И опять одиночка, потом общая камера. На допросы нас брали ночью. А днем спать не разрешалось. Нужно было сидеть, поворотившись лицом к глазку, если кто-то поворачивался к окну, начинался бешеный стук в дверь. В камере было очень тесно, воздуха не хватало, мы задыхались.

Через несколько дней меня повели к следователю. Он был высокорослый, холеный, женственного вида с вытянутой лисьей физиономией. Блондин. Одет он был с иголочки, и пахло от него прекрасными духами. Фамилию его я не помню. Он начал меня допрашивать, добиваясь, чтоб я рассказал о моих преступлениях.

Я говорил, что ни в чем не виноват, ничего не делал. Ну, читал стихи Гумилева...

Следователь кривился: “Да нет”. Наконец, на третий, по-моему, день, он сказал: “Вы обвиняетесь в том, что вы и Андреев хотели убить великого вождя”.

Я обомлел: “Кого?” – “Ну как. Великого вождя”, – повторил он. Интересно, что за все время полуторагодового следствия ни один из них не решился сказать: “Убить Сталина!” Они боялись даже произнести это.

<...> И там все были повязаны страхом. В Лубянке часто бывало так. Следователь, который кричал, бил меня, вызывая чуть не каждую ночь, часто просто занимался какими-то своими делами, а я сидел до бесконечности, пока он не отправлял меня в

камеру. Иногда вдруг спросит: “Скажи, в каком году отменили крепостное право?” Наверное, к занятиям политграмотой готовился.

И вот мы сидим, он меня не трогает. Вдруг по коридору шаги. Тут он оживляется и начинает крыть меня матом. Входит какой-нибудь чин: “А, Павлуша. Ну этот гад, как он?” – “Не очень”, – отвечает мой следователь. “Ну продолжай”, – кивает тот и уходит. И следователь опять не обращает на меня никакого внимания.

Наши следователи все время говорили о “Странниках ночи”. Как я понял, они считали, что главный герой – Олег – это я, что я был секретарем Андреева, и он меня вывел в этом Олеге»[23].

Нет, не случайно, вспоминал Василенко в камере, каждый раз, когда он проходил мимо молчаливых стен Лубянки, сердце замирало от непонятного страха.

5. Последние дни дома Добровых

Очевидно, семья Добровых давно интересовала «компетентные органы», на допросах следователей уверенно аттестовали покойного доктора монархистом, и кто-то из них заявил: «Этого вашего старичка надо было первым прибрать...»

Заставляя Андреева на допросах рассказывать о проведенной «вражеской работе», о начале «антисоветской деятельности», следователи использовали все способы, чтобы каждого из включенных ими в «группу Даниила Андреева» уличили и обличили подельники. Так строились допросы, так писались протоколы.

Андреев отвечал на вопросы о своей «антисоветской деятельности», что началась она в 1928 году, и признавался в отрицательном отношении к советской власти, к ее гонениям на церковь и религию, к отсутствию свободы слова, к коллективизации... Понятно, что взгляды свои он высказывал в семье, разделявшей их. Покойных приемных родителей привлечь нельзя, но в соучастники попали все члены семейства.

В чем могли быть виноваты осторожнейший Александр Викторович и его преданная жена?

Уже через год с лишним после начала следствия в протоколе появилось такое признание Андреева: «В 1930-м или 1931 году я как-то разговорился с КОВАЛЕНСКИМ по поводу его поэмы “1905 год”, в которой он выводил образ КАЛЯЕВА, убившего в 1905 году московского генерал-губернатора». Допрашиваемый не скрывал, что они восхищались «самопожертвованием Каляева», говорили: среди нынешней интеллигенции таких сильных характеров нет. Но протокол фиксировал: они сожалели, что «не находится такого решительного человека, который мог бы убить Сталина».

«КОВАЛЕНСКИЙ, будучи особенно озлоблен против Сталина, – признавался, если верить протоколу, Андреев, – в 1934 году после убийства КИРОВА заявлял, что покушение на КИРОВА не дало ощутимых результатов и не смогло вызвать изменений в стране. Если уж жертвовать собой, говорил КОВАЛЕНСКИЙ, так надо было стрелять в Сталина. КОВАЛЕНСКИЙ и впоследствии неоднократно высказывал мне террористические настроения и заявлял о личной готовности убить главу Советского государства. Жена КОВАЛЕНСКОГО – ДОБРОВА разделяла террористические намерения своего мужа и не раз в беседах со мной и моей женой АНДРЕЕВОЙ высказывалась о необходимости насильственного устранения Сталина».

В злодейские замыслы вовлекли, конечно, и Александра Доброва, попадавшего на читки романа чаще всего случайно.

После ареста Андреевых Коваленские оказались обречены. Александр Викторович предусмотрительно отдал свои рукописи, те, что считал крамольными, навестившему их Желабовскому. Как и прежде, болезненная чета – он в гипсовом корсете, у Шурочки язва – не только из дому выходила редко, а даже из своей комнаты. Но о том, что их судьба повисла на нити, планомерно перетирающейся следствием, напоминала соседняя опечатанная дверь.

Вадим Сафонов, услышав (от сына Туган-Барановского), что старый друг арестован, заглянул с женой в Малый Левшинский узнать подробности. Он не догадывался, что и его имя мелькнет в лубянских протоколах. Открывший дверь Александр Викторович, хмуро стоя на лестнице, в дом не пригласил: «Если войдете, и вас могут арестовать». Звонили, приходили еще несколько друзей Андреевых. Всем он отвечал одинаково сухо, без объяснений. Проницательный скептик еще надеялся, что обойдется. Не обошлось. Пришли и за ними.

Соседка Добровых, Анна Сергеевна Ламакина, единственная в мертвенно молчавшей коммуналке не побоявшаяся выйти попрощаться с арестованной Андреевой, вспоминала: «Помню, как мне приснился сон: как будто стоит в дверях Елизавета Михайловна Доброва и, укутавшись в черный платок, плачет. Я спрашиваю ее – о чем она плачет? Она мне отвечает – я плачу о своих, что с ними будет?

Действительно, события потом были ужасны. Арестовали и разослали всех членов семьи Добровых. При аресте Александры Филипповны забивали дверь большой добровской комнаты гвоздями. Забивали топором, мучительно долго. Невольно представлялся гроб… Все мы, старые жильцы квартиры, вышли в коридор.

Александра Филипповна с горящими глазами, прощаясь с нами, издали крикнула: “Прощайте, не поминайте меня лихом”. Больше мы ее не видели, она умерла в лагере»[24].

Коваленских забрали 1 октября. Уже после их ареста постановлением Президиума ССП от 24 октября 1947 года Коваленского приняли в члены Союза писателей. Многолетние попытки обрести статус советского писателя увенчались успехом. Но об этом он узнал только через девять лет, выпущенный из лагеря.

Александра Доброва взяли через месяц после сестры с мужем, 2 ноября, арестовали и его жену.

Позже арестовали Желабовских. О них на допросах Андреева не спрашивали. Но у Желабовских обнаружились рукописи стихотворений Коваленского, этого оказалось достаточно. Аресты шли по кругу, выходя за первоначальные следственные схемы.

«Мне прочитали список людей, которые предположительно будут арестованы за связь с нами, – рассказывала Андреева о следствии. – В нем числилась, например, женщина, которая иногда приходила к нам помочь по хозяйству. Там был сапожник, которому я что-то отдавала чинить. Наконец, няня Даниила <...> В ту пору ей было лет шестьдесят. Список оказался огромным. В нем значился буквально каждый, кто в наш дом входил и кто нам звонил»[25].

На Лубянке оказался биолог Дмитрий Ромашов. Одноклассник Ивашева-Мусатова, его знакомый с дошкольных лет, он, видимо, знал и Андреева. Как пишет в воспоминаниях Наум Коржавин, поначалу сидевший в одной камере с Ромашовым, тот сел «за слушание в чьем-то доме “террористической” повести Даниила Андреева»[26]. Генетика Ромашова могли привлечь и по иной статье, но ясно, что сети следствие раскинуло широко.

Кого-то вызывали на допросы и отпускали. Ольгу Александровну Веселовскую допрашивали пять часов, интересуясь не только близким окружением Андреева, но и Фаворского. Через несколько дней у нее случился инфаркт.

Кому-то просто везло. Когда долго не получавший от Андреева ответа Хорьков, его фронтовой товарищ, зашел в Малый Левшинский и спросил Даниила Леонидовича, открывший дверь мужчина, испуганно оглядываясь, зашептал: «Уходите! Такого не знаю!» Потом так же шепотом сообщил, что его вместе с женой арестовали, и повторил: «Уходите!»

6. Допросы

В спецсообщении Сталину, отправленном 17 июля 1947 года, когда следствие по террористическому делу набирало ход,

Абакумов докладывал о практике следственной работы в МГБ, о том, как ведутся допросы:

«4. При допросе арестованного следователь стремится добиться получения от него правдивых и откровенных показаний, имея в виду не только установление вины самого арестованного, но и разоблачение всех его преступных связей, а также лиц, направлявших его преступную деятельность и их вражеские замыслы.

С этой целью следователь на первых допросах предлагает арестованному рассказать откровенно о всех совершенных преступлениях против советской власти и выдать все свои преступные связи, не предъявляя в течение некоторого времени, определяемого интересами следствия, имеющихся против него уликовых материалов.

При этом следователь изучает характер арестованного, стараясь:

в одном случае, расположить его к себе облегчением режима содержания в тюрьме, организацией продуктовых передач от родственников, разрешением чтения книг, удлинением прогулок и т. п.;

в другом случае – усилить нажим на арестованного, предупреждая его о строгой ответственности за совершенное им преступление в случае непризнания вины;

в третьем случае – применить метод убеждения, с использованием религиозных убеждений арестованного, семейных и личных привязанностей, самолюбия, тщеславия и т. д.

Когда арестованный не дает откровенных показаний и увертывается от прямых и правдивых ответов на поставленные вопросы, следователь, в целях нажима на арестованного, использует имеющиеся в распоряжении органов МГБ компрометирующие данные из прошлой жизни и деятельности арестованного, которые последний скрывает.

Иногда, для того, чтобы перехитрить арестованного и создать у него впечатление, что органам МГБ все известно о нем, следователь напоминает арестованному отдельные интимные подробности из его личной жизни, пороки, которые он скрывает от окружающих, и др.

5. Уликовые данные, которыми располагает следствие, как правило, вводятся в допрос постепенно, с тем, чтобы не дать возможности арестованному узнать степень осведомленности органов МГБ о его преступной деятельности.

При этом следователь учитывает психологическое состояние арестованного и в наиболее благоприятный, с этой точки зрения, момент предъявляет арестованному уликовые данные.

В качестве уликовых данных органы МГБ чаще всего пользуются:

а) показаниями других арестованных и свидетелей;

б) материалами, изъятыми при обыске у арестованного: перепиской, записями, книгами, фотографиями и другими вещественными доказательствами;

в) заключениями экспертов;

г) данными, полученными от агентуры, наружного наблюдения, оперативной техники и иным путем.

6. Для того, чтобы сбить арестованного с позиции голого отрицания своей вины, в процессе следствия практикуются очные ставки, причем в ряде случаев очные ставки проводятся лишь по одному какому-либо вопросу с тем, чтобы только уличить арестованного во лжи и использовать этот момент для разматывания дела.

7. В отношении арестованных, которые упорно сопротивляются требованиям следствия, ведут себя провокационно и всякими способами стараются затянуть следствие либо сбить его с правильного пути, применяются строгие меры режима содержания под стражей.

К этим мерам относятся:

а) перевод в тюрьму с более жестким режимом, где сокращены часы сна и ухудшено содержание арестованного в смысле питания и других бытовых нужд;

б) помещение в одиночную камеру;

в) лишение прогулок, продуктовых передач и права чтения книг;

г) водворение в карцер сроком до 20 суток.

Примечание: В карцере, кроме привинченного к полу табурета и койки без постельных принадлежностей, другого оборудования не имеется; койка для сна предоставляется на 6 часов в сутки; заключенным, содержащимся в карцере, выдается на сутки только 300 гр. хлеба и кипяток и один раз в 3 дня горячая пища; курение в карцере запрещено»[27].

Не только эти оговоренные методы применялись в деле Даниила Андреева. Существовали неписаные правила, отработанные изуверские приемы. В МГБ умели ломать даже приготовившихся к сопротивлению. Андрееву пришлось, может быть, тяжелее всех. Не только потому, что на него, как на опаснейшего террориста, главу страшного заговора, навалилась вся чекистская сила. Он глубоко переживал, что стал виновником «жизненной катастрофы», страданий и гибели окружавших его. «...Самый тяжелый период моей жизни – 48-й год, время первого след-

ствия, протекавшего в ужасающих условиях и доведшего меня до состояния глубокой депрессии. Не дай Бог даже врагу испытать что-либо подобное»[28], – признавался он. Видимо, в эти месяцы с ним в камере оказался студент-филолог Михаил Кудинов. Позже, в Джезказгане, он неодобрительно рассказывал солагернику, как, «придя с допроса, Даниил, прохаживаясь по камере, старался вспомнить, кто еще слушал его роман», а на предупреждения, что «эти воспоминания будут дорого стоить», отвечал, что «его долг говорить правду»[29]. Знал ли он, что каждому им названному грозит арест? Мог ли промолчать?

Всегда терявшийся перед необходимостью говорить неправду, не готовый к сопротивлению, Андреев был буквально истерзан следователями, умевшими потрошить и закаленных борцов подполья. Но что он мог рассказать, чего здесь не знали? Речь шла лишь о подтверждающих признаниях. В конце концов Даниила Андреева заставили признать, что он организатор террористической группы. Еще проще добились показаний от его жены, которую досужая молва и простодушность собственных рассказов сделали едва ли не главной виновницей всего дела. Она писала об этом: «Следователь звал меня по имени-отчеству, читал мне стихи. Он говорил:

– Алла Александровна, пожалуйста, расскажите, как такие люди, как Вы, как те, другие, кто сейчас арестован, вы, русские люди, смогли дойти до такой вражды к строю своей страны, к тому, как живет наша Родина. Мы же хотим понять, что думает интеллигенция, мы хотим быть вместе с вами, но от нас все шарахаются. Нам никто ничего не рассказывает.

Я, дура, рассказывала. Больше года. И еще вот что важно. Я не могла забыть, что передо мной сидит и ведет допрос такой же русский человек, как я. Это мое чувство использовали, как ловушку.

<…> Следователь был очень спокоен, он записывал все, что я говорила: свои вопросы, мои ответы. Потом давал мне прочесть эти листки. Я читала, удивлялась и спрашивала:

– Ведь я же не так сказала. Вы иначе написали, чем я говорила.

А он отвечал:

– Алла Александровна, понимаете, есть, так сказать, бытовые формулировки. Я же обязан нашему разговору придать юридическую форму»[30].

Этот следователь – Иван Федорович Кулыгин. Он добродушно рассказывал подследственной, как его, студента лесотехнического института, сибиряка, по комсомольскому призыву

направили на работу в органы. Отказываться нельзя. Выглядел Иван Федорович лощено, даже с неким оттенком интеллигентности. Мог ввернуть фразу о литературе. Беседовал спокойно, добродушно улыбался, рассказывал о маленькой дочке, в которой души не чаял. Уже потом Андреева с удивлением узнала, как тот же Кулыгин на допросах неистово материл Ивашева-Мусатова.

Позже она характеризовала свое, и не только свое, поведение на следствии как глупое и «детское, чтоб не сказать больше». Это понимали все, прошедшие «дело Даниила Андреева». В 56-м Шелякин писал ей из Сыктывкара: «Мне достаточно известен характер вымученных у Вас показаний, долженствующих, по замыслу следствия, доказать причастность мою к тем фантастическим преступлениям, на выдумывание которых было потрачено 17 месяцев и тонны бумаги»[31].

Но знавшие о поведении жены поэта на следствии понаслышке, или только с ее слов, судили беспощадно. Арестованная в 48-м во второй раз Нина Ивановна Гаген-Торн, встретившаяся с Андреевой в лагере, передавала ее простодушные рассказы не только без снисхождения, но и с возмущенным комментарием.

«Неужели искренне восхищалась следователем? Утверждала, что понимает необходимость социальной борьбы, сообщила:

– Мы с ним сумели договориться, он убедил меня во многом: мы были не правы в своем скептицизме к советской власти.

– Ну, в чем же он вас убедил?

– Что растет иная культура. Такая, которая создала новую интеллигенцию, других убеждений, но понимающую то, что дорого нам. Он говорил: “Мы с вами политические противники, но это не значит – враги. Вы жили в московской интеллигентской ячейке, не зная жизни и стройки страны. Вспомните, что мы, коммунисты, выиграли войну с великими жертвами, и поймите необходимость бдительности. Имейте мужество говорить прямо, если у вас есть разногласия с нами!” И я поняла, что он прав! – воскликнула Алла, гордо подняв голову. – Следователь мой, во всяком случае, культурный человек. Вставал, когда меня приводили на допрос, предлагал: “Садитесь, пожалуйста, Алла Александровна”. Я сказала, что верю в Бога, в роль христианства. Он цитировал Блока: «Инок шел и нес святые знаки...» Или что-то другое, он много цитировал Блока... Мы говорили о многом <...>

И Алла рассказала ему, как созревал замысел романа, кто слушал его чтение и какие высказывал мысли. По делу о написанном Даниилом Андреевым романе сели около 200 человек, полу-

чив сроки от 10 до 25 лет»[32]. Характерно, что, непомерно преувеличив значение признаний Андреевой на следствии, Гаген-Торн 20 человек арестованных невольно превратила в 200.

7. Признания

Позже, когда следствие уже определило состав группы Даниила Андреева, от него стали добиваться более конкретных показаний: когда и о чем он говорил со своими сообщниками. По протоколам, написанным следователями, можно лишь догадываться, в чем на самом деле признавался допрашиваемый:

«ВОПРОС: – А к какому периоду относятся террористические проявления ИВАШЕВА-МУСАТОВА и ВАСИЛЕНКО?

ОТВЕТ: – С ИВАШЕВЫМ-МУСАТОВЫМ я обсуждал вопрос террора в 1939 году у него на квартире в Москве, по Уланскому переулку, № 12. Я говорил ему, что насильственное устранение Сталина от руководства страной облегчило бы нашу борьбу против советской власти.

На прямо поставленный мною вопрос – разделяет ли он террор против руководителей Советского правительства – ИВАШЕВ-МУСАТОВ ответил, что он отнесется с уважением к исполнителю террористического акта против Сталина.

Что же касается ВАСИЛЕНКО, то его в обсуждение вопроса о терроре я стал втягивать еще с 1937 года, по мере сближения с ним и установления доверительных отношений.

В беседах с ВАСИЛЕНКО я заявлял ему, что лично у меня не дрогнет рука убить Сталина, и ВАСИЛЕНКО, соглашаясь со мной, сам высказывал готовность совершить против него террористический акт.

ВОПРОС: – Теперь покажите о террористических проявлениях вашей жены АНДРЕЕВОЙ.

ОТВЕТ: – Еще в начале допроса я понял, что АНДРЕЕВА рассказала следствию о нашей совместной вражеской деятельности. С АНДРЕЕВОЙ у меня были наиболее близкие отношения, с ней я делился своими самыми сокровенными мыслями, она знала о моей ненависти к руководителям Советского правительства, полностью разделяла мои террористические намерения и являлась моей ближайшей и активной помощницей в проведении вражеской работы против советской власти.

Постоянно влияя на АНДРЕЕВУ, мне удалось привить ей ненависть к Сталину и подготовить ее для самых решительных действий.

В беседах со мной и другими участниками нашей антисоветской группы АНДРЕЕВА не раз заявляла, что она готова сама

совершить террористический акт против главы Советского государства»[33].

Еще в 1941-м вышла книга Вышинского «Теория судебных доказательств в советском праве», перед арестом Андреевых удостоенная Сталинской премии. В ней говорилось, что если обвиняемый в государственном преступлении признался, то никаких других доказательств не требуется. Признания Андреева и его подельников следствие получило. Но для доложенного вождю террористического дела, кроме возмутительного романа и признаний, требовалась, по мнению руководящих режиссеров, безусловная достоверность деталей, «художественная» убедительность. И следователи работали не покладая рук. К каждому искали особый подход. Наум Коржавин, описывая обитателей следующей своей камеры, 60-й, и в ней встретил однодельца Даниила Андреева. Доцент Василенко был, вспоминал Коржавин, это бросалось в глаза – «мягкий, интеллигентный, тонкий, добрый, деликатный, беззащитный человек. Следователи быстро нащупали эту его слабость и на ней играли.

– Ты кто такой? – спрашивали они его. От одного этого “ты” он терялся.

– Я доцент... – начинал он лепетать очевидное, но его грубо обрывали:

– Ты говно, а не доцент! – и хохотали.

Он совсем терялся. И подписывал все, что ему совали. В конце концов он понаподписывал на себя черт-те что». Позже из лагеря Василенко писал в прокуратуру жалобы, описывал, как следователи Григорьев и Новиков заставляли его подписывать всякий бред, признаваться в том, что они готовились к покушению на вождя с атомными пистолетами и атомной бомбой. Волевой сокамерник стал спасать Василенко, внушая: «Умный, образованный человек, а что делаете? Немедленно пишите заявление следователю и откажитесь от всех этих показаний. Скажите, что были не в себе. Ну, посадят вас в карцер, <...> надо вынести. А то ведь всю жизнь погубите»[34]. Василенко после колебаний совет принял и попал в карцер, где только твердил молитву «Господи, Боже мой, спаси меня...» и защищался от ледяной капели с потолка тем, что клал на плечи два носовых платка, у него оказавшихся. Но попытка противления следствию никакого значения для конечного результата не имела. Намеченная Василенко роль тянула на высшую меру, и он ее получил – двадцать пять лет.

Для Андреева следствие стало страшным испытанием не только из-за ночных изматывающих допросов, избиений, но и

потому, что приходилось подписывать протоколы с чудовищными обвинениями близких людей.

Именно после следствия началась его болезненная страсть «босикомохождения». Рассказ со слов Андреева: «Его как-то следователь избил сильно на допросе. И Даниил Леонидович, оказавшись в камере, потребовал бумагу и написал протест прокурору по поводу незаконных методов ведения допроса, избиений, издевательств... Прошло какое-то время, и вот его снова вызывают на допрос. В кабинете кроме следователя сидит незнакомый генерал. “Я, – говорит, – прокурор, тут ко мне поступила ваша жалоба на якобы незаконные действия нашего следователя. Я должен выяснить, так ли это”. Тут встает следователь, подходит к Андрееву: “С чего ты взял, что у нас используются незаконные методы?” – и бьет Даниила Леонидовича сапогом по ноге. “У нас арестованных никто не бьет”, – и опять удар. “Значит, вместо того чтобы раскаяться, ты еще клевещешь на советские органы дознания?” – и снова бьет... В общем, он его избил страшно на глазах у того генерала. А генерал после всего и говорит: “Я, – говорит,– убедился, что следствие ведется законными методами, а вы, Андреев, клевещете на наши советские карательные органы”»[35].

Передышкам помогало только чтение. После тюрьмы Ивану Алексеевичу Новикову, автору книги «Пушкин в Михайловском», прочитанной тогда, в камере, он писал о ней: «Это было окно на свежий воздух из зловонного карцера, точно дуновение милого родного ветра, насыщенного запахами заливных лугов. Возвращаясь с ночных допросов измученным до предела и зная, что в камере не с кем будет перекинуться живым искренним словом, я утешался мыслью о книге, которая меня там ждет, как утешительница, друг и пробудительница самых светлых воспоминаний»[36].

8. Сюжеты

Кроме подробностей террористических замыслов, главных в деле, следствие старательно разрабатывало и другие сюжетные линии. Первая, подтверждавшая существование серьезного многолетнего вражеского подполья, – выявление прогерманских и пораженческих настроений перед войной. Здесь следствие припомнило встречи на квартире у четы Кемниц и у Евгения Белоусова. Кемница с женой арестовали в Пензе 10 февраля 1948-го, когда сценарий дела вчерне уже сложился. Следом, 12 февраля, в Каменск-Уральске арестовали Белоусова, где тот работал на эвакуированном в войну авиазаводе заместителем начальника конструкторского отдела. Тем более неожиданно, что накануне ареста

ему вручили орден Красной Звезды. Связанные с ними показания Андреева фиксировали в протоколе допроса версию, продиктованную следствием: «В происходивших <...> беседах мы касались положения в стране, клеветали на политику партии и Советского правительства, говорили о неизбежности войны против СССР и высказывали уверенность в падении советской власти.

СКОРОДУМОВА и ее муж КЕМНИЦ – немец по национальности – с восхищением отзывались о порядках в Германии, превозносили Гитлера и его фашистскую партию и утверждали, что именно фашистская Германия явится освободительницей России от большевиков. СКОРОДУМОВА-КЕМНИЦ заявляла, что когда Германия нападет на СССР, то с советской властью все будет покончено».

После этого признания сюжет стал прорисовываться чуть подробнее:

«ВОПРОС: – И поэтому, когда Германия напала на Советский Союз, вы стали спешно готовить своих сообщников для перехода на службу к немцам?

ОТВЕТ: – Да, вторжение фашистской армии в Советский Союз все участники нашей антисоветской группы встретили с большой радостью и надеждой на скорое падение советской власти.

Я, не сомневаясь в победе германской армии, радовался, что сбываются мои долгожданные мечты, когда смогу принять непосредственное участие в свержении советской власти и создании вместе с немецкими оккупантами новых порядков в стране.

Первые военные успехи гитлеровских войск буквально окрылили нас, и мы со дня на день ждали их в Москве. На наших сборищах мы уже открыто обсуждали вопрос – с чем пойдем к немцам, когда они займут Москву, и какова будет наша роль в построении нового государства в России после победы Гитлера. Мы все приходили к общему выводу, что можем рассчитывать на лояльность фашистских властей, так как за плечами у каждого из нас, кроме ненависти к советской власти, имеется и практическая вражеская работа.

С КОВАЛЕНСКИМ, ВАСИЛЕНКО, ИВАШЕВЫМ-МУСАТОВЫМ и УСОВОЙ мы договорились, что после занятия Москвы немцами сами пойдем к оккупационным властям и предложим им свои услуги.

ВОПРОС: – Какую предательскую деятельность вы собирались вести на стороне немцев?

ОТВЕТ: – Мы считали, что немцы используют нас в области пропаганды, где мы сумеем помочь вести борьбу с советской

идеологией и привить населению новые взгляды, угодные немецким оккупантам. Наши взгляды и взгляды немецких оккупантов, как мы считали, едины.

Лично я готов был занять по указке немцев любой пост и выполнять их поручения. Для того, чтобы угодить гитлеровцам и снискать их доверие, я подготовил свою антисоветскую поэму "Германцы", специально посвященную немцам, и усиленно работал над окончанием антисоветского романа "Странники ночи", с тем чтобы с приходом их в Москву издать эти произведения.

Однако наши надежды на приход немцев в Москву не оправдались, что вызвало у нас немалую растерянность.

Не успев еще сориентироваться в этой обстановке и наметить какие-либо другие мероприятия для борьбы с советской властью, я был в 1942 году призван в армию и отправлен на фронт.

ВОПРОС: – Где и продолжали вести вражескую деятельность?

ОТВЕТ: – Нет, за время службы в Советской Армии я сделать что-либо в этом направлении не смог. Хотя я и проходил службу в тыловых частях и не был на передовых позициях, но все же, находясь в условиях суровой военной обстановки, я понимал, что при малейшем моем враждебном выступлении против советской власти меня расстреляют. Приобрести же людей, которым я мог бы доверять, мне не удалось из-за частых переводов из одной команды в другую.

Оставаясь непримиримым врагом советской власти, я на время притаился, но связи со своими сообщниками в Москве не порывал, рассчитывая вернуться в Москву и возобновить вражескую деятельность.

ВОПРОС: – Такая возможность вам представилась?

ОТВЕТ: – Да. Уволившись летом 1945 года по болезни из армии и возвратившись в Москву, я вновь установил связь с участниками нашей антисоветской группы КОВАЛЕНСКИМ, ДОБРОВЫМ, ДОБРОВОЙ, ВАСИЛЕНКО, ИВАШЕВЫМ-МУСАТОВЫМ, МАТВЕЕВЫМ, ДОБРОВОЛЬСКИМ-ТРИШАТОВЫМ и ИВАНОВСКИМ».

Как немец, Кемниц во время войны был выслан из Москвы и жил с женой в Пензе. Белоусов с женой уехал с заводом на Урал. Но и они, оказывается, поддерживали с Андреевым агентурную связь и продолжали «оставаться активными врагами советской власти, с той разницей, что после поражения Германии они переориентировались на англо-американцев». Шел 1948 год, началась «холодная война» с недавними союзниками. И Андреев, согласно протоколу допроса, признался:

«На сборищах, которые возобновились у меня на квартире, КОВАЛЕНСКИЙ, ВАСИЛЕНКО и другие заявляли, что Англия и США заставят Советское правительство пойти на коренные преобразования вплоть до введения частной собственности, свободной торговли, роспуска колхозов и создания многопартийного демократического правительства.

Они утверждали, что Советский Союз вышел из войны с Германией настолько экономически ослабленным и обескровленным в военном отношении, что не сможет противостоять этим требованиям американцев.

Я держался другого мнения и доказывал им, что Советское правительство не пойдет ни на какие уступки и что его надо свергать насильственным путем, и поэтому Англия и США вынуждены будут начать войну против Советского Союза».

Отсюда следовал второй сюжет – связь подполья с заграницей. И тут следствие действовало уверенно. Вначале добились признания в том, что группа в ожидании новой войны против СССР, которую вот-вот начнут Англия и США, решила продолжать вражескую работу. В протоколах эта тема вначале звучала общо:

«В беседе со своей женой АНДРЕЕВОЙ в конце 1946 года я заявил ей, что если во время войны США против СССР в Москве начнутся волнения, то я первым ворвусь в Кремль и убью Сталина. АНДРЕЕВА поддержала меня и заявила, что готова действовать вместе со мной.

Однако, должен признать, что в последнее время я стал задумываться над тем, что за границей мне представились бы бо́льшие возможности для вражеской деятельности против Советского Союза. Я считал, что там я сумел бы издать свои антисоветские произведения, над которыми работал в течение многих лет, и мог бы активно выступать с пропагандой против Советского Союза».

Но этого допрашивавшим оказалось мало, и его заставляют говорить дальше, продиктовав ответ и требуя художественных подробностей: «Вы не только задумывались, но и предпринимали меры к побегу за границу. Договаривайте до конца».

«ОТВЕТ: – Это верно. В конце 1946 года я намеревался вместе со своей женой АНДРЕЕВОЙ пойти в американское посольство в Москве и, выдав себя за противника существующего в СССР государственного строя, попросить у американцев убежища в расчете при их содействии перебраться за границу.

Обсудив детально наш замысел, мы с АНДРЕЕВОЙ пришли к выводу, что осуществить его очень трудно, так как мы наверняка будем выслежены и арестованы.

Отказавшись от этой мысли, мы решили бежать через кавказскую границу в Турцию, а оттуда пробраться в Париж. К разработке нашего плана побега за границу мы с АНДРЕЕВОЙ привлекли участника нашей антисоветской группы МАТВЕЕВА, который, являясь географом, хорошо знал советско-турецкую границу»[37].

И хотя попытку убежать через американское посольство, по замечанию допрашиваемого, можно было обсуждать лишь «в юмористическом разрезе», а планы уехать в Батум и «с помощью контрабандистов» перейти турецкую границу могли показаться Матвееву только неумной шуткой, следствие упорно выясняло детали преступных замыслов. Тем более что в «Странниках ночи» о проектах бегства за границу говорилось в главах, посвященных архитектору Моргенштерну.

«ВОПРОС: – Почему именно в Париж вы намеревались бежать?

ОТВЕТ: – В Париже проживает мой брат писатель АНДРЕЕВ Вадим Леонидович, который в годы Гражданской войны вместе с белогвардейцами бежал за границу.

При помощи брата я намеревался завязать необходимые знакомства, издать свои антисоветские произведения и продолжать активную борьбу против Советского Союза.

Вот все, что я мог показать о своей вражеской работе.

ВОПРОС: – Нет, это не все. Вы еще не показали о своей связи с иностранными разведками и не назвали лиц, которые направляли вашу вражескую деятельность. Об этом вы еще будете допрашиваться»[38].

Вскоре ему предъявили неназванных лиц. Это были Александр Александрович Угримов с женой, Ириной Николаевной, старшей дочерью Муравьева. В конце 1947 года Угримова, участника Сопротивления, советско-патриотически настроенного, выслали из Франции на родину. После всех перипетий в марте 48-го он приехал в Москву и получил направление на работу в Саратов. Семья последовала за ним и 1 мая на теплоходе «Россия» вместе с другими репатриантами прибыла в Одессу. Через две недели, 15 июня, в Саратове Угримова арестовали. Тещу и жену, едва успевших распаковать чемоданы, взяли на даче на Николиной Горе, а в Москве ее сестру. Через недолгое время после ареста Угримов из Лубянки, как и все подельники Андреева, переведенный в Лефортово, стал понимать, чего от него требуют следователи. «В двух словах, – пишет он, – это сводилось к следующему: Даниил Андреев здесь – крупный террорист; Вадим Андреев там – крупный агент американской и английской разведок; а я, также агент, приехал, чтобы установить связь

между ними, и для этой цели меня и заслали в СССР под видом высылки»[39].

Занимавшийся делом Угримова следователь по фамилии Седов с недобрым белесым лицом добивался признаний в «шпионской и диверсантской деятельности». Допросы шли почти ежедневно. Однажды Седов, по определению подследственного, бессовестный и злобный, но выдрессированный пес, избил его резиновой палкой так, что, вернувшись под утро в камеру с черной, ставшей сплошным кровоподтеком спиной, он мог лечь только на живот. На одном из допросов, попав в кабинет Леонова, Угримов увидел справа диван, накрытый белой простыней. Поймав его взгляд, Леонов, усмехаясь, сказал: «Это после вчерашнего. Да, мы гуманны, очень гуманны, но всему есть предел, и мы принуждены будем применять к вам жесткие меры...»[40].

Другим зарубежным связным попытались сделать Фатюкова, привозившего в 45-м письмо от Вадима Андреева. Но главным обвинением оставался террор, чем-то серьезным подкрепить связи Даниила Андреева и его друзей с заграницей не удавалось.

9. Террористы

«Абакумов в пути наверх готов уничтожить любого», – доносил Сталину на своего недоброжелателя, назначенного в мае 1946-го министром госбезопасности замнаркома внутренних дел Серов. Серов не догадывался, что вождю это качество министра скорее на руку. Но Абакумову успокаиваться не приходилось. За последний год ни об одном серьезном умысле покушения на подозрительного хозяина министерство не сообщило. Разоблачение в 46-м на Ставрополье группы «Союз борьбы за свободу», состоявшей из нескольких двадцатилетних комсомольцев и ученика 9-го класса, или американских шпионов, вроде литературоведа Сучкова, вряд ли относилось к достижениям бдительности. Поэтому делу Даниила Андреева на Лубянке придавали особое значение, вели обстоятельно, не жалея сил. Одним из режиссеров дела был полковник Комаров. Алла Александровна запомнила его как человека «крупного, плотного, тяжелого, черного, с тяжелыми черными глазами»[41]. Она увидела его в Лефортове, куда подследственных после первого этапа следствия перевели по приказу Абакумова. Тогда же министр государственной безопасности отправил спецсообщение:

«21 июня 1948 г.
№ 4248/а
Совершенно секретно

Товарищу СТАЛИНУ И. В.

Об аресте в Москве террориста АНДРЕЕВА Д. Л. и ликвидации возглавляемой им антисоветской группы с террористическими намерениями. Всего по делу арестовано 16 человек»[42].

Читавший документ Сталин, издавна опасавшийся и ждавший покушений, сделал отчеркивания на полях только там, где речь шла о местах предполагаемых терактов.

О замысле покушения на сталинской даче:

«Об этом АНДРЕЕВ показал: “Я неоднократно обдумывал различные варианты осуществления своих террористических замыслов против главы Советского государства. В частности, у меня было намерение искать возможность совершения покушения на главу Советского государства в его подмосковной даче в Зубалово”»[43].

В Большом театре:

«Об этом АНДРЕЕВ показал: “...Я неоднократно задумывался над возможностью осуществления своих террористических замыслов против главы Советского государства во время торжественного заседания или спектакля в Большом театре, но опять пришел к выводу, что это неосуществимо, так как во время торжественного заседания или представления свет в зале гасится и делать прицельный выстрел крайне затруднительно, а в антракте трудно улучить момент, чтобы остаться вне публики, стрелять же прямо из публики я считал бессмысленным самопожертвованием, так как для того, чтобы прицелиться и произвести выстрел, необходимо какое-то время, в течение которого всегда кто-либо из окружения заметит и помешает осуществлению моих намерений...”»[44]

На Арбате:

«Помимо этого, АНДРЕЕВ в тот же период часто ходил по Арбату, выслеживая маршрут движения автомашины И. В. Сталина».

Остальные подробности вождя не заинтересовали, но эти следовало тщательно выяснить. И в Лефортове следствие началось как бы заново, большинство вопросов повторялось, драматургически выстраивая и прорисовывая картину разветвленного и тщательно подготовленного антисоветским подпольем террористического заговора, о котором доложили Сталину.

Допрос «главы террористического заговора» 28 июля вел вместе с заместителем подполковником Сорокиным генерал-майор Леонов. Невысокий, большеголовый, Леонов вна-

чале сидел, слушая вопросы Сорокина и ответы Андреева, потом начинал спрашивать сам, то громко, с театрально-патетической интонацией, то с презрительной усмешкой, иногда вставая и расхаживая по большому кабинету:

«– Являясь активным врагом, вы замышляли более гнусные планы борьбы против советского народа. Показывайте об этом.

ОТВЕТ: – Я не хотел бы говорить о своих более тяжких преступлениях, но вижу, что скрыть их мне не удастся»[45].

Сам слог протокола свидетельствует о том, что признания облекались в формулировки, необходимые обвинению, и отличить то, что действительно говорил допрашиваемый, а что ему приписано, затруднительно.

Андреев признавался, что критически относился к жестоким методам коллективизации и индустриализации, а в протоколе говорилось, что он не соглашался «с решениями партии и правительства» и «озлобился против советской власти». Цель выбитых признаний – подтверждение главного пункта обвинения. Протокол звенел чеканными формулировками самообличений:

«Вся моя ненависть обратилась против Сталина, в лице которого я видел олицетворение советской власти, последовательного и твердого руководителя Советского государства. Поэтому, начиная еще с тех пор, я поставил своей целью убить Сталина.

Я был уверен, что смерть Сталина вызовет растерянность в Советском правительстве, активизирует в стране враждебные силы и ускорит падение советской власти.

Подготовляя себя к террору, я перечитал много литературы о террористах и, восхищаясь их решимостью, начал сам изыскивать возможность осуществления террористического акта против главы Советского государства»[46].

Вариантов возможного покушения на Сталина рассматривалось по меньшей мере четыре. Мы можем предположить, что их обсуждали герои «террористической» главы «Странников ночи». То, что все они – художественный вымысел, следствие во внимание не принимало, слишком реалистически и убедительно была глава написана.

Первый – покушение на даче Сталина, в Зубалове. Главной уликой стали летние поездки Андреева на дачу Муравьевых на Николиной Горе, находившуюся в нескольких километрах от Зубалова. Его друзья – дочь покойного адвоката и ее муж, Гавриил Андреевич Волков, в начале войны арестованный и в 43-м умерший в тюрьме, попали в сообщники. То, что Сталин после гибели Аллилуевой в Зубалове бывать не любил, к делу не относилось – заговорщики этого могли не знать.

«ВОПРОС: – ВОЛКОВА знала, с какой целью вы поселились у нее на даче?

ОТВЕТ: – Прямо о своих замыслах ВОЛКОВОЙ я не говорил, но она знала о моем враждебном отношении к руководителям партии и Советского правительства.

ВОПРОС: – Какими сведениями для осуществления вашего вражеского замысла снабдила вас ВОЛКОВА?

ОТВЕТ: – Совершая с ВОЛКОВОЙ и ее мужем прогулки в район поселка Николина Гора, я после изучения местности пришел к выводу о том, что, пользуясь природными условиями, можно было бы под покровом лесов и зарослей проникнуть непосредственно к даче Сталина и во время его прогулки совершить террористический акт.

Но когда от ВОЛКОВЫХ я узнал, что подходы к даче усиленно охраняются, а сама дача обнесена высокой каменной стеной, и полагая, что там, возможно, имеется какая-либо сигнализация, я понял, что пробраться к даче мне не удастся.

ВОПРОС: – Однако известно, что дачу ВОЛКОВОЙ вы продолжали посещать и в более позднее время.

ОТВЕТ: – Не оставляя мысли о покушении на Сталина, я в 1938 году снова посетил ВОЛКОВУ на ее даче в Николиной Горе и, окончательно убедившись в непреодолимых препятствиях к осуществлению моего намерения, решил действовать в другом месте».

Последовал вопрос «Где?». И обвиняемый стал излагать *второй* вариант возможного покушения на Сталина «в то время, как он будет проезжать в автомашине по Арбату».

На Арбате в доме № 9 жила давнишняя знакомая и пациентка доктора Доброва зубной врач Амалия Яковлевна Рабинович, в свою очередь лечившая добровское семейство. То, что Андреев лечил у нее зубы летом 39-го, стало решающим эпизодом. Он признавался: «Ранее я также посещал РАБИНОВИЧ и знал, что окна ее квартиры выходят на Арбат. Я намеревался использовать это обстоятельство для того, чтобы произвести из окна ее квартиры выстрел во время прохождения по Арбату автомашины Сталина. <...> Я не посвящал РАБИНОВИЧ в свои замыслы. Приходил я к ней раза 3–4 под предлогом лечения зубов. Бывая в квартире РАБИНОВИЧ, я изучал, из какого окна лучше произвести выстрел и каким путем можно будет бежать после покушения. Наряду с этим, специально прогуливаясь по улице Арбат, я выслеживал автомашину Сталина, и мне несколько раз удавалось видеть, как его автомашина, не доезжая дома, в котором проживала РАБИНОВИЧ, сворачивала направо в Большой Афанасьевский переулок и через Малый Афанасьевский, минуя памятник

Гоголю, выходила на улицу Фрунзе, направляясь к Кремлю. Из этого наблюдения я понял, что квартира РАБИНОВИЧ не может быть использована мною для осуществления своего замысла».

И здесь требовалась решающая улика – оружие. Его всезнающее следствие усиленно искало и – неужели всерьез? – рассчитывало найти. «ВОПРОС: – Какое оружие вы имели при себе, выслеживая автомашину главы Советского государства?

ОТВЕТ: – Боясь возможного задержания охраной, я вел наблюдение за автомашиной Сталина, не имея при себе оружия. Я намеревался приобрести где-либо оружие после того, когда окончательно избрал бы место совершения террористического акта.

ВОПРОС: – Лжете. Следствию точно известно, что вы заранее искали оружие и готовились стать метким стрелком. Говорите правду.

ОТВЕТ: – Решив твердо, что террористический акт против Сталина совершу выстрелом из пистолета, я, чтобы не дать промаха и действовать наверняка, стал учиться метко стрелять.

Для этого я посещал созданный при горкоме художников-оформителей стрелковый кружок, занятия которого происходили в тире какого-то спортивного общества, расположенном в районе площади Ногина. На протяжении нескольких месяцев я усердно занимался, научился владеть оружием и метко стрелять.

Бывая в тире, я также присматривался, как можно было бы добыть оружие, но приобрести его мне так и не удалось»[47].

Третий вариант – покушение в Большом театре, задуманное в 1940 году. «Зная расположение Большого театра, я обдумывал, – судя по протоколу, в отредактированном виде цитировавшемуся в спецсообщении Сталину, признавался Андреев, – каким путем можно произвести выстрел, но опять-таки встретился с рядом препятствий».

«Вместе с этим моя ненависть к советской власти и лично против Сталина все больше и больше росла, и я продолжал изыскивать возможности осуществления задуманного мною террористического намерения, – допрашиваемый перешел к *четвертому* варианту. – В том же 1940 году я решил каким-либо путем в один из праздников пробраться на Красную площадь и разведать обстановку – можно ли там во время демонстрации произвести покушение на Сталина. Дождавшись празднеств Октябрьской революции, я 7 ноября 1940 года вместе с коллективом служащих московского горкома художников-оформителей пошел на демонстрацию.

ВОПРОС: – В какой колонне вы шли?

ОТВЕТ: – В колонне Куйбышевского района.

ВОПРОС: – А какое место в этой колонне занимали?

ОТВЕТ: – Я находился на правом фланге и прошел Красную площадь в 50–60 метрах от Мавзолея.

При движении через Красную площадь в колонне чувствовалась большая уплотненность рядов, и я убедился, что при таком положении произвести выстрел очень трудно. Кроме того, я обратил внимание, что вдоль всей площади выставлена плотная стена охраны из военных.

Мои дальнейшие приготовления к совершению террористического акта против Сталина были прерваны в связи с тем, что в 1942 году я был призван в Советскую Армию и выехал из Москвы»[48].

По свидетельству Василенко, следователи его спрашивали «бывал ли он на Красной пощади?», и к ответу – «бывал, на майских и ноябрьских демонстрациях как преподаватель, вместе с университетом» – в протоколе добавляли: «изучал место возможного покушения». Возникала даже такая нелепая версия – о ней рассказывала Андреева, – что террористы подумывали о возможности взорвать на Красной площади атомную бомбу...

Первый этап следствия длился, начиная с ареста Андреева, тринадцать месяцев. За это время определился состав группы, прояснился сценарий дела. Для завершения оставалось конкретизировать некоторые признания подследственных в террористических намерениях и – основное – найти оружие. Перед тем как перевести подельников в Лефортово, с каждым провели прокурорский допрос. Алле Александровне запомнилась фамилия надзирающего прокурора – Антонов.

10. Лефортово

Лефортовскую тюрьму открыли в год убийства террористами Александра II, по соседству с Алексеевским военным училищем. Тюрьма предназначалась для осужденных военным трибуналом. Она расширялась до революции, достраивалась после нее, став следственной тюрьмой «органов», менявших аббревиатуры, начиная с ОГПУ. Лефортово славилось пытками и карцерами. В советское время страшнее ее считалась только Сухановка, следователями усмешливо называемая «дачей», где пытали воистину всерьез.

Алла Александровна вспоминала Лефортовскую тюрьму с ужасом: «...страшное, чудовищное место. Камеры маленькие, больше трех человек втиснуть туда было немыслимо. Серый цементный пол, коричневые стены и черный потолок, двери железные. В камере унитаз, рядом раковина – все черное. Высокие

потолки, напротив двери – окошко. Моя койка была как раз под ним, но даже если я на нее вставала, то до окна не дотягивалась. Окна забраны “намордниками”. Света попадает совсем чуть-чуть, и в камере круглые сутки горит голая лампочка.

Приезжающих в тюрьму встречали старый сад и дивный фасад здания екатерининского времени с большими колоннами, но таков только фасад»[49].

Три соединенных тюремных корпуса располагались буквой К. На перекрестье коридоров с камерами стоял надзиратель – регулировщик с двумя флажками, который следил, чтобы заключенные не встретились, и когда из какой-то камеры выводили заключенного – «щелкал» флажками. Сразу закрывались «кормушки» (на Лубянке двери были глухие) – окошечки в дверях камер, куда слабо доносился звук шагов: цокали по железу подковки каблуков конвойных, скребли и шаркали подошвы узников. Три сквозных этажа, камеры выходят на галереи, между ними перекинуты мостки, между этажами железные лестницы, проемы затянуты сеткой – вниз не броситься.

«Было в Лефортове еще нечто, что так и осталось для меня тайной, – описывала Андреева. – По субботам и воскресеньям включалось что-то, наполнявшее грохотом всю тюрьму. Это напоминало тысячекратно усиленный звук вентилятора. Каждый человек, побывавший в те годы в Лефортове, помнит этот звук. Мы все холодели, потому что знали: раз включили, значит, пытают, и включили, чтобы не было слышно воплей. Люди здравомыслящие объясняли мне потом, что рядом находился институт ЦАГИ и это грохотала аэродинамическая труба. Но почему, если это труба, ее включали именно по субботам и воскресеньям, и то не каждую неделю?»[50] ЦАГИ во всю мощь начал действовать с конца тридцатых. Грозный воющий гул действовал на заключенных подавляюще. Казалось, рядом из-за стен пробиваются крики и стоны. Лисицына, у которой в ЦАГИ одно время работал муж, утверждала, что дело было не в ЦАГИ, что «когда включалась в тюрьме машина, все здание дрожало». «И вот однажды, – вспоминала она, – эта гуделка сломалась <...> Прошло примерно полчаса, и начались крики, то мужские, то женские. Голоса кричали: “Помогите, убивают! Товарищи, убивают!” Выстрелов не было, но крики продолжались»[51].

В Лефортове, рассказывал Василенко, допрашивали так: «Двое хватали под мышки и изо всех сил бросали от дверей вперед, на каменный пол следственной камеры. Когда со мной это проделали первый раз, я сильно разбился. Потом я уже готовился к этому броску. И следователь хохотал: “Научился?” И прибавлял непечатные слова. Этот лексикон там все время был в ходу.

Потом опять были допросы, меня били, бросали на пол. В ребре у меня появилась трещина, и уже в конце 1948 года в лагере я долго не мог спать на правом боку»[52].

Андрееву следователь, умевший изображать доброжелательность, не бил, поступая проще. «Те три недели, когда меня держали на допросах каждую ночь, – вспоминала она, – пришлись на июль. Он открывал окно во двор, и я слышала звуки ударов и вопли мужчин. Этого хватало. Все женщины в тюрьме это слышали, и, конечно, каждой мерещился голос мужа, сына»[53].

Вообще, в Лефортове следствие повели по-иному, с целеустремленной жесткостью. «Никто мне стихов не читал. Никто Аллой Александровной не называл. Мне не давали спать три недели. Наверное, это была разработанная врачами система: спать разрешали один час в сутки и одну ночь в неделю. И человек сходил с ума, но не до конца. Вероятно, так можно было и совсем потерять рассудок, но им надо было поддерживать подследственного в полубезумном состоянии. Меня вызывали на допрос каждую ночь. И вот, никогда не забуду одного необыкновенно важного для меня эпизода. Однажды, не знаю, по какой причине, меня отпустили несколько раньше, чем обычно.

Я иду в камеру счастливая. В голове у меня только одно: “Спать. Я сейчас целый час буду спать”. И вот, когда я шла по переходу из следовательского корпуса в тюремный, по этим железным балконам, залитым ярким утренним солнцем, то вдруг поняла: если бы сейчас передо мной лежали два трупа самых любимых на земле людей – Даниила и папы, я бы переступила через них и пошла в камеру – спать! Я никогда этого не забуду. Это Ангел прикоснулся ко мне, и его неслышный голос, тот, что звучит в душе, сказал: “Запомни! Запомни! Ниже этого человек пасть не может, запомни и, когда будешь кого-то обвинять, вспомни об этом”. И я запомнила, знаю, что это – одно из самых важных воспоминаний в моей жизни. Благодаря ему я редко осуждаю тех, кто не выдержал следствия.

К этому времени я уже сказала и даже высосала из пальца все, что можно. На ночных допросах я умоляла:

– Дайте белую бумагу, я подпишу. Напишите, что хотите, потому что я уже больше ничего не могу!

А когда возвращалась в камеру, то сон был не сном, а бредом. Я куда-то проваливалась, и следователь начинал пихать мне в рот куски человеческого мяса. А потом целый день без сна; все время смотрят в глазок, и нельзя даже прислониться. И снова ночь допроса.

Следователь постоянно допытывался, было ли у нас оружие, и наконец заявил:

– Вы же врете. У вас было оружие.

– Ну не было!

– Ваш муж дал показание: было оружие.

Думаю: “Боже, бедный Даня! Значит, у нас было оружие, а он от меня скрывал. Просто берег меня, не хотел, чтобы я знала”.

– Так было оружие?

Отвечаю:

– Раз муж сказал, что было, значит, было...

– Где оно?

– Да я не знаю, я ж его не видела!

Тогда в нашей комнате устроили второй обыск. Простукиванием обнаружили в одной из стен замурованное окно. Представляю, с каким восторгом следователи раскидывали книги, чтобы до него добраться. Комната была угловая с двумя окнами, третье заложили за ненадобностью еще до Добровых, и никто о нем уже не помнил. <...> Разумеется, в замурованном окне ничего не нашли.

Потом я предположила, что, возможно, оружие хранилось в дровяном сарае, потому что муж туда ходил за дровами. Устроили обыск и там. Я была в ужасе, потому что представляла себе, как сейчас тяжело Даниилу, что он скрыл от меня, где оружие. Как он сейчас думает, что меня мучают напрасно. Лучше бы уж я знала и сказала, так было бы проще...

Под утро я уже начинала кричать все, что думала о следователе, о Сталине, о Ленине, о советской власти... Если бы у меня уже не было статьи 58/10, то ее вполне можно было получить. Как-то следователь сказал:

– Ну надо же! Доводишь вас до того, что вы орете и не соображаете, что говорите, но ведь ни разу не крикнули, где оружие спрятано!

Вот для чего он меня доводил. Как я уже сказала, мне не давали спать три недели. Видимо, я была в таком физическом состоянии, что, когда опускала босые ноги на цементный пол, то он казался теплым, значит, ноги были ледяными. Не знаю, подмешивали что-нибудь к еде и питью, возможно. Я потом сообразила странную вещь: за девятнадцать месяцев следствия я только один раз попросилась в туалет. Это странно, ведь допросы шли целыми ночами. В туалет отвел меня конвоир. Он стоял у двери, и тогда я единственный раз за все девятнадцать месяцев увидела себя в зеркале. Хорошо помню это лицо, которое трудно назвать моим. Это была застывшая белая маска с огромными черными глазами. Глаза у меня совсем не огромные и голубые. А из зеркала на меня глядели в пол-лица черные, с разлившимися зрачками

глаза. Тогда, по-видимому, у меня и началось что-то со зрением, то, что сейчас дало тяжелую глаукому и слепоту.

А началось так. Меня в очередной раз привели на допрос. Он проходил в большой комнате. У одной стены за письменным столом сидел следователь, у другой стоял стул для меня. Комнату заливал свет ярчайшей лампы, чтобы я не могла ни глаза закрыть, ни прислониться. И вот я вхожу в комнату, а там полумрак, как будто светит только настольная лампа. Растерянно поднимаю глаза – та огромная лампа горит. Я поняла, что с глазами что-то происходит. Это продолжалось недолго. Говорить об этом было некому и незачем. Потом я знала, что, когда сильно волнуюсь, то на какое-то время у меня, как говорят, "темнеет в глазах". Тогда началась моя болезнь. В конце следствия мне еще спектакль устроили. Однажды я узнаю, что меня будет допрашивать министр.

– Ну, слава Богу, – говорю, – может, хоть он разберется, что к чему.

На меня посмотрели очень странно. И вот в Лефортово приехал министр Абакумов. Меня ведут к нему, а по дороге к кабинету через каждые полтора метра стоит солдат. Вводят в комнату, там сидят мой следователь и начальник отдела, а с ними очень крупный вальяжный и полный восточный человек в черном костюме. Начинает меня допрашивать.

– У вас было оружие. Почему вы не говорите, где оно?

– Потому что не знаю, – отвечаю.

– Но у вас было оружие?

– Так если вы, министр, говорите, что у нас было оружие, значит, оно было. Но я его никогда не видела.

Мне, столько лет прожившей при советской власти, не пришло в голову, что министр может врать. Он подошел ко мне близко, посмотрел:

– Какая молодая... Как же вы во все это влипли?»[54]

11. Очные ставки

В январе на следствие вызвали в качестве свидетеля Галину Русакову. «Это была потрясающая встреча, какие бывают раз в жизни... – признавался Андреев, добавляя: – Она своим благородством едва не погубила себя совершенно попусту, будучи вызванной в качестве свидетеля»[55]. Но таких встреч за все время следствия он запомнил немного. Свидетели ничего особенного не знали и не могли знать. Кроме разговоров о романе, доносившихся до многих знакомых автора, а он постоянно что-нибудь писал, или неосторожной критики советской власти, никаких

подробностей, кроме изложенного в «Странниках ночи», о настоящем подполье, о покушении на Сталина, ни тем более об оружии узнать не удавалось. Поэтому на лефортовском этапе следствия постепенно арестовали всех остававшихся на свободе, но намеченных в соратники террориста Андреева. Не получивших ролей не трогали. Даже выпустили перепуганную и ничего не понимавшую старуху Рабинович. Затем началось окончательное прописывание сценария и ролей каждого. Вновь арестованных сразу помещали в Лефортово.

5 июня взяли Арманд, Ивановского и Матвеева.

15 июня – Татьяну Николаевну Волкову. Она все шесть месяцев до приговора просидела в одиночке. В письме на имя Фадеева, вынесенном из Интинского лагеря под стелькой ботинка, Волкова с отчаяньем писала: «Меня допрашивали 49 раз. Ровно месяц мне не давали спать, потому что допрашивали по ночам, а днем не позволяли даже прислониться к стене. Через месяц бессонницы я уже совершенно не соображала что к чему. Следователь (майор Новиков) беспрерывно стращал меня, угрожал избить. Принимая во внимание те ужасы, что творились по ночам в соседних кабинетах Лефортовской тюрьмы, страхи мои были вполне реальны...»[56]

19 июня арестовали Добровольского и Александра Доброва. Уже после спецсообщения Сталину, 23 июня, арестована Лисицына, жена Белоусова. После ареста мужа она уехала в родной Лихвин. Там за ней и пришли в три часа ночи, чтобы отвезти в Москву, на Лубянку и оттуда в Лефортово. Лисицына вспоминала, что поначалу она ощущала себя «как в кошмарном сне» и ждала расстрела.

Если Волкову за полгода допросили 49 раз, то Андрееву 195, Коваленского 173, Василенко 126, Ивашева-Мусатова 123... Конвейер еженощных мучений и страшных испытаний. Самое тяжкое говорить о других, понимая, что становишься причиной их страданий. Как бы ни выгораживались они в ответах, в протоколе допроса любые слова превращались в формулировки, чреватые самыми грозными обвинениями. Андреев, судя по протоколу, «чистосердечно» рассказал, как после войны он усилил свою «подрывную работу»:

«Я продолжал расширять круг своих связей и вербовать новых единомышленников, рассчитывая создать организацию для активной борьбы против советской власти.

Действовал я осмотрительно, осторожно подходя к людям, которых намечал для вербовки.

В послевоенный период я обработал и привлек в нашу антисоветскую группу ШЕЛЯКИНА Алексея Павловича – архитек-

тора, бывшего моего соученика по гимназии, и АРМАНД Ирину Львовну – преподавательницу английского языка Московского государственного университета, с которой был знаком с 1938 года по совместной литературной деятельности.

КОВАЛЕНСКОМУ в этот же период удалось привлечь в нашу антисоветскую группу адвоката ШЕПЕЛЕВА Сергея Дмитриевича, а ИВАШЕВУ-МУСАТОВУ – художницу КУЗНЕЦОВУ Наталью Васильевну, на которой он впоследствии женился.

Перед участниками возглавляемой мною антисоветской группы я ставил задачу проведения вражеской работы среди своего окружения, а наиболее активных из них продолжал обрабатывать в направлении использования их для террора.

ВОПРОС: – Для чего специально написали в своей антисоветской книге целую главу, посвященную террору?

ОТВЕТ: – Да, к этому времени я закончил свой роман «Странники ночи», в котором уделил большое место террористической борьбе с руководителями Советского правительства.

По-прежнему считая террор наиболее действенным методом борьбы, я, читая главу о терроре своим единомышленникам, убеждал их, что убийство Сталина ускорит войну США и Англии против Советского Союза»[57].

Называя имена друзей, он, конечно, знал, что те уже в тюрьме, о них не однажды упоминали следователи.

Чуков, со слов Андреева, рассказывал, что после проведения очной ставки с «беспрерывно плачущей» женой Малютина «избиения приняли изуверский характер. Его непрерывно били ногами по коленной чашечке, и колени превратились в незаживающие язвы. Следователи совали списки знакомых и незнакомых людей и требовали называть все новых “сообщников”.

Как-то его посадили в карцер: каменный, ледяной мешок, сантиметров на 20–30 наполненный водой. Между карнизами, выступавшими у подножия двух противоположных стен, была переброшена неширокая доска. На этой прогибающейся доске, без сна, чтобы не свалиться в воду, и сидел донага раздетый поэт»[58].

Чтобы добиться признаний, мучили не только допросами, избиениями, карцерами. Некий Зубков, подсаженный к Андрееву, «ужасный человек», по его словам, стоил ему «не меньше крови, чем Леонов и Комаров»[59].

История с Малютиным – перед ним особенно виноватой чувствовала себя Алла Александровна – показательна. Она его совсем не знала, но в «силу глупости», как признавалась мужу, упомянула. «Именно мне, – писала она ему, – принадлежит гениальная фраза о том, что тебе он предлагал вступление

в какую-то организацию, и ты от этого отказался, сказав, что твое дело – писать, и больше ничего. Я же абсолютно ничего не знала о том, к чему он имеет отношение, и прекрасно знала, что тебе он тоже сказал каких-то туманных два слова, так что и ты не знал, в чем дело. Конечно, я это сказала в силу каких-то психологических причин – того, что у дураков называется честностью, но именно у дураков. Вообще об этом опять нужно говорить, а не писать, но мне кажется, что именно в какой-то связи с Малютиным, с которым в действительности у нас не было абсолютно никакой связи и о причастности которого к чему бы то ни было серьезному мы и сейчас не знаем, и зарыта основная часть собаки. Эту глупость, как и многое другое, я и считаю очень большой виной...»[60]

Лисицына вспоминала, что следователь, предъявив обвинение, показал ей протокол, подписанный мужем, в котором она прочла: «Еще одним членом нашей антисоветской группировки была моя жена...» На ночных допросах ее заставляли вспоминать, кто и что говорил во время читок глав из «Странников ночи» десять лет тому назад.

3 сентября взяли Хандожевскую. С ней у Аллы Александровны состоялась единственная за все следствие очная ставка. На ней она говорила Хандожевской: «Да я же хотела Сталина табуреткой стукнуть, Галина Юрьевна, не Вы, а я: Вы же даже внимания не обратили на эти мои слова!» Позже следователь прочел ей обвинение, среди которого была статья 58/8 – террор. «Это почему?» – недоумевала она.

«– А вот такая фраза – “я бы его табуреткой”?

– Да. Я сказала, что я бы его с удовольствием по башке табуреткой треснула за то, что он сделал с Россией!

– Так, Алла Александровна, ведь это же и есть подготовка террористического акта.

– Да будет Вам, Михаил Федорович, какой террор? Где табуретка, а где Сталин?

– Да разберемся мы с этим. Вы поймите, существует юридическая форма. Вы так сказали. Я – следователь. Я записал. Я же не новеллу пишу и не роман. Пишу протокол допроса.

И он меня убедил. Я потом подписывала все эти листы протоколов, даже не читая»[61].

И у Василенко очная ставка состоялась только одна – с Ивановским.

У Угримова ни одной – заграничный след не вытанцовывался, а потому и не особенно был нужен. В результате его с женой и тещей пустили по самостоятельному делу.

Почти через три года после того, как дело Даниила Андреева завершилось, в постановлении ЦК о практике тогдашних допросов говорилось: «В МГБ укоренилась неправильная практика составления так называемых обобщенных протоколов допроса арестованных на основании накопленных следователями заметок и черновых записей»[62].

Так, иезуитским канцелярским языком характеризовалось литературное творчество следователей, сочинявших лубянские дела, выбивавших из подследственных художественные подробности. Когда Абакумова арестовали, оправдываясь, он говорил, что исполнял указания товарища Сталина и ЦК выбивать признания из врагов народа. Но обвинялись недавний министр госбезопасности и его подручные, в свою очередь допрошенные и расстрелянные, не в жестоких наветах и пытках, а, напротив, в том, что в преступной халатности или с умыслом не вносили в протоколы признания «законспирированных врачей», предателей и террористов.

12. Суд ОСО

Добровольский писал о днях перед судом: «Следствие, собственно, уже кончалось. Я, совсем замученный, все подписывал, что мне давали, не глядя. Следователь подал мне еще одну бумагу со словами: “Вот и эту подпишите”. Я взял перо. Следователь сказал: “Да нет, вы же не прочли. Прочтите, а потом подпишите”. В бумаге говорилось о моем согласии на то, чтобы все взятые у меня бумаги, записные книжки, дневники, литературные наброски, черновики и все рукописи законченных рассказов были сожжены.

Я подписал, но, наверно, на моем лице было видно мое страдание.

– Чего вы? – сказал следователь. – Чего вы страдаете?

Я сказал:

– А вы хотите, чтобы мать не страдала, подписывая приговор о казни своих детей?

– Ну, ну... – сказал следователь. – Ведь и Гоголь сжигал свои рукописи. Все равно вам бы пришлось сжечь ваши. Они никому не нужны. Вот мы и снимаем с вас эту работу и берем на себя.

Со мной все было кончено, и все дело мое сгорело»[63].

О страшном осознании того, что дело, которому отдана жизнь, стало пеплом, Добровольский-Тришатов написал в стихах как о собственном преступлении, а ведь это было почти таким же страшным, как уничтожение людей, преступлением власти:

Грех последнего преступления
Я в себе побороть не смог.
Дар, как гром говорящего пения,
Я зажал, завернув в платок,
Чтоб не ринулось ко мне Слово –
Огнезрачное колесо.

Вот такого-то, вот такого
И судило меня ОСО.

Сожгли все рукописи Белоусова, Василенко, Добровольского, Желабовских, Коваленского, Лисицыной, Шелякина, всю захваченную переписку, даже письма Леонида Андреева. Сгорело «письмо Леонида Николаевича о смерти матери Даниила, залитое слезами, – свидетельствовала Алла Александровна. – Его последнее письмо, совершенно потрясающее, мы перечитывали несколько раз. Оно, видно, было кем-то привезено, потому что по почте такие письма уже не отправляли. Это письмо о революции, и я могу его сравнить только с последними дневниками Леонида Николаевича, написанными перед смертью, когда он понял все, что произошло с Россией»[64].

Многие из сидевших на Лубянке запомнили едкий запах горелой бумаги. Сожженные рукописи – жизни, погубленные дважды. Сожгли все конфискованные сочинения Даниила Андреева – поэмы и стихотворения, автобиографические записки, дневники. Сожгли, насмехаясь над протестами автора, главное вещественное доказательство террористических замыслов подсудимых – роман «Странники ночи». Сожгли в той самой лубянской печи, над которой виделись Солженицыну летящие «черными бабочками копоти» следы «еще одного погибшего на Руси романа»[65].

Андреев просил передать в Литературный музей письма отца и прадеда (родственника Тараса Шевченко). Не хотел он верить и в гибель «Странников ночи»: «Когда абакумовские подручные предложили мне подписать (скрепить своим согласием) распоряжение об уничтожении всего моего архива, я подписал его с категорической письменной оговоркой, протестуя против уничтожения, во-первых, собрания сочинений Леонида Андреева в 8 томах, изд. 1913 г. (если эти ослы даже не знали, что это издание можно достать в любой публичной библиотеке, купить у любого букиниста), а во-вторых, странников. И думаю, они находятся при моей папке»[66].

«Статья была – террор, – рассказывал Василенко. – И всех нас хотели расстрелять. Я ведь даже ждал расстрела, четырнадцать дней сидя в одиночке. Следователь сказал: “Вас расстреляют”.

кт-4

Выписка из протокола № 42

Особого Совещания при Министре Государственной Безопасности Союза ССР

от „30" октября 1948 г.

СЛУШАЛИ	ПОСТАНОВИЛИ
6-а. Дело № 252 Следчасти по Особо Важным Делам МГБ СССР по обвинению: 1/ АНДРЕЕВА Даниила Леонидовича, 1906 г.р., Ур. г. Москвы, русского гр. СССР, беспартийного, с незаконченным высшим образованием. Обв. по ст.ст. 19-58-8, 58-10 ч. 2 и 58-11 УК РСФСР.	АНДРЕЕВА Даниила Леонидовича, за участие в антисоветской группе, антисоветскую агитацию и террористические намерения заключить в тюрьму сроком на ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ лет, считая срок с 23 апреля 1947 года. ИМУЩЕСТВО КОНФИСКОВАТЬ.

Нач. Секретариата Особого Совещания

Выписка из протокола Особого Совещания от 30 октября 1948 г.

И когда ко мне входили в камеру ночью, было страшно. Очень страшно. Они входили втроем, вчетвером, приказывали: “Встать!” Я вскакивал.

“Повернуться спиной!” И молча за мной стояли. Я знал, что они стреляют в затылок.

Чувства страшные. Это знал Достоевский, он стоял на эшафоте. Правда, один раз... А я? Ну, я был обыкновенный человечек. Я стоял и шептал: “Господи, Боже, помилуй меня!”

Потом они так же молча уходили»[67].

Издевательство? Нет, продуманный способ окончательно сломить волю обвиняемых, измученных многомесячным следствием. Через месяц после ареста Андреева, 26 мая 1947-го, вышел Указ «Об отмене смертной казни», она заменялась «в мирное время» 25-летним сроком. Указ действовал до 12 января 1950-го, когда высшую меру восстановили. Им, тем кто выжил, повезло.

Лисицына позже утверждала, что видела резолюцию: «Судить особым совещанием. И. Сталин»[68].

30 октября 1948 года всем участникам «группы» Андреева зачитали постановление ОСО. Особым Совещанием при МГБ СССР «глава группы» был осужден по статьям УК 19–58–8, 58–10 ч. 2, 58–11 УК РСФСР. В постановлении говорилось: «Андреева Даниила Леонидовича, за участие в антисоветской группе, антисоветскую агитацию и террористические намерения заключить в тюрьму сроком на двадцать пять лет, считая срок с 23 апреля 1947 года. Имущество конфисковать».

Вместе с ним приговорили девятнадцать человек родственников и друзей. В тюрьму, как главного преступника, отправили одного Андреева. Остальных приговорили к заключению в ИТЛ. Двадцать пять лет с конфискацией получили Андреева, Василенко, Добров, Доброва, Ивашев-Мусатов, Коваленский, Скородумова-Кемниц, Шелякин. По десять лет – Арманд, Белоусов, Волкова, Добровольский, Ивановский, Кемниц, Лисицына, Матвеев, Усова, Хандожевская, Шепелев. Они, говорилось в обвинительном заключении, признаны виновными в том, что являлись участниками антисоветской террористической группы, созданной и возглавляемой Андреевым, участвовали в сборищах, им проводимых, «на которых высказывали свое враждебное отношение к Советской власти и руководителям Советского государства; распространяли злобную клевету о советской действительности, выступали против мероприятий ВКП(б) и Советского Правительства и среди своего окружения вели вражескую агитацию».

Осужденных приводили по одному в небольшой кабинет и там каждому в отдельности зачитывали приговор. Они не все были друг с другом знакомы, и никто не знал – сколько всего приговоренных по делу. Среди привлеченных оказались, насколько известно, еще сослуживцы Андреева по госпиталю Александр Петрович Цаплин и Николай Павлович Амуров, старый друг Добровых художник Федор Константинович Константинов, Игнат Александрович и Мария Александровна Желабовские... Желабовские получили по восемь лет. Мужа увезли в Соликамск, жену в Чувашию. Наталью Васильевну Кузнецову, жену Ивашева-Мусатова, из следственной тюрьмы отправили в Казанскую психушку. Но в постановлении ОСО 30 октября эти фамилии не значились. Их со «Странниками ночи» не связали.

Алла Александровна Андреева свидетельствовала: «...Прочли приговор. Было три реакции. Я слышала, как кричала двоюродная сестра Даниила, услышав приговор: 25 лет. Я же никак не могла понять. Читал приговор какой-то ужасно противный тип. Я как-то совсем сразу не могла понять, о чем речь: “Я что, правильно слышу?” Он этак резко: “Правильно слышите”, – и раздельно по слогам: “25 лет лагерей и 5 лет ссылки”. Я ему: “Перечитайте еще раз”. Вот так вот. А Даниил мне потом рассказывал, как он реагировал. И я знаю, что точно, это правда. Он рассмеялся. “Они воображают, – думал он, – что они продержатся 25 лет”. <...> И где-то он был прав, а если по большому счету, то и во всем был прав. Ведь у Бога времени нашего нету»[69].

Часть десятая

ВЛАДИМИРСКАЯ ТЮРЬМА
1949–1954

1. Централ

Каждый из осужденных последовал своим гулаговским путем. Андреева, Добров, Коваленские, Арманд, Добровольский, Ивановский, Лисицына[1] – в Дубровлаг в Мордовию. Василенко и Шелякин – в Инту, где однодельцы наконец познакомились. Туда же угодила Волкова. Калецкая – в лагерь под Воркутой. Усова – в тайшетские лагеря. Скородумова-Кемниц – в казахстанский Степлаг, в Кенгир. Ее муж, Белоусов и Ивашев-Мусатов попали в Марфинскую «шарашку». Андреев 27 ноября 1948 года прибыл во Владимирскую тюрьму № 2.

Владимирка в пешие времена – всеизвестная каторжная дорога из Москвы в Сибирь. Андреева провезли проложенным рядом с полузабытой Владимиркой железнодорожным путем, из вагонзака пересадили в воронок и высадили у дверей тюремного корпуса. Предыстория Владимирского централа, равнодушно принявшего с привычными тюремными процедурами очередного узника – рабочий дом при Екатерине II, арестантская рота при Николае I, исправительно-арестантское отделение при Александре II. В каторжный централ тюрьма, переполненная политическими, превратилась в 1906 году. К тому времени в ней построили два новых корпуса, один из них по американскому проекту. Весной 1918 года по случаю революции и бедности централ почти прикрыли, но уже в начале 1921-го он превратился в политизолятор. Сюда вслед за контрреволюционерами, белогвардейцами вновь последовали революционеры – эсеры, анархисты, меньшевики. Потом – священнослужители, троцкисты-бухаринцы, вредители, шпионы и прочие враги народа. В конце 20-х централ стал тюрьмой особого назначения ОГПУ. В 1938-м, при Ежове, достроили новый тюремный корпус, заключенных прибавилось. Большие, чересчур светлые окна в старом «царском» корпусе наполовину заложили кирпичом, в остальных прикрыли «намордниками», чтобы заключенные не видели неба. Второй раз тюрьму с неуклонно растущим населением расширили в 1948-м, перед поступлением туда Андреева.

Тюрьма обнесена трехметровой кирпичной стеной и рядами колючей проволоки. На вышках часовые, по ночам горят прожектора. С одной стороны тюрьме соседствовала старая больница, с другой – кладбище с уцелевшей, действующей церковкой. Не слишком далеко на городской площади застыл памятник Фрунзе, когда-то безуспешно пытавшемуся убежать из централа.

В нем четыре корпуса.

Первым считался новопостроенный.

Второй, из темно-красного кирпича, сооруженный по американскому проекту, называли «больничным». На первом этаже корпуса находились камеры, где сидели номерные заключенные, на втором – психически больные и туберкулезники, на третьем – временно больные, на четвертом – врачебные кабинеты, «медчасть». «Больничные» камеры небольшие, на двух человек, режим здесь считался помягче.

В третьем – четыре этажа, прямоугольные ряды окон, некоторые на треть заложены кирпичом. Здесь и сидел Даниил Андреев.

В четвертом, самом старом, «польском» – в нем содержали участников Польского восстания 1863–1864 годов, – клуб, устроенный в помещении бывшей тюремной церкви, и библиотека (тут на третьем этаже в хрущевские времена под фамилией Васильев отсиживал срок Василий Сталин). Старые царские корпуса, по свидетельствам зэков, были теплее и суше, чем новые – холодные и сырые.

После войны во Владимирской тюрьме во множестве появились пленные немцы и японцы – генералы и офицеры. Больше двухсот немецких офицеров, из генералитета – генерал-фельдмаршал Эвальд Клейст, последний комендант Берлина генерал Гельмут Вейдлинг, руководители разведки и контрразведки Ганс Пиккенброк и Франц Бентивеньи, начальник личной охраны Гитлера Иоганн Раттенхубер... Так что Андреев насмотрелся в тюрьме на немцев и признавался, что они его очень разочаровали.

Содержались в тюрьме и другие иностранцы, а еще – «номерные заключенные». Они не просто числились без имен и фамилий, не известных никому, кроме начальника тюрьмы, – сам факт их нахождения в тюрьме являлся государственной тайной. Среди них – бывшие министры Литвы и Латвии, родственники Надежды Аллилуевой, брат Орджоникидзе... Сидел под номером 29 бывший при немцах бургомистром Смоленска Меньшагин, засекреченный потому, что кое-что знал о катынском расстреле. В 1950-е, по смутным слухам, Рауль Валленберг. Сидели здесь русские эмигранты из Югославии, Чехии, Харбина. Сидели убий-

цы-рецидивисты и сектанты, известные артисты и крупные партийцы. Позже – высокопоставленные сотрудники Берии. Много знаменитостей – от Лидии Руслановой до Яноша Кадара.

Не все заключенные выдерживали тюрьму, умирали. В одиночках, случалось, сходили с ума.

У всех выходивших из тюрьмы на свободу брали подписку о неразглашении условий тюремного режима. Режим этот, по воспоминаниям узников, начал улучшаться после смерти Сталина и с 54-го до 58-го считался вполне сносным. В 1953 году Владимирскую тюрьму передали из МГБ в МВД. Лагерники, сюда попадавшие, в те годы называли ее «курортом». Но все равно режим в тюрьме, подчинявшейся Москве, отличался строгостью, даже жестокостью. Тюремщики говорили, что они действуют по инструкции. Но среди них были злые и добрые, садистски мелочные и снисходительные. Генерал Куприянов, сидевший по «ленинградскому делу», вспоминал о получившем у заключенных прозвище карцер-майора. «Надо только представить, – писал он в тюремном дневнике, – как эта плюгавая обезьяна в погонах майора МВД кричит, брызжет слюной, угрожает карцером, обзывает академика за то, что он, г. майор, обнаружил пыль на карнизе шкафа». Но до этого майора, оказывается, «был другой, еще злее, он вытаскивал з/к в коридор за шиворот и там избивал»[2].

Кормили заключенных плохо, все время хотелось есть. Получив в свои миски из кормушки обед, садились за голый деревянный стол и сосредоточенно молча ели. Обед – жидкий суп, бывало, что с рыбой или килькой, и каша, иногда вместо каши картошка. На третье – чайник кипятку. Полагалось 13 грамм жиров в сутки на заключенного. Поймать жиринку в супе – редкая удача. Пайка черного хлеба – 500–550 граммов на день. У кого водились деньги, могли пользоваться тюремным ларьком. Но и тут действовали ограничения. Два раза в год разрешалось получать посылки.

Обязательные прогулки – раз в день после завтрака, по часу. 20 минут заставляли маршировать. Одно время заключенные гуляли «на небесах» – на крыше, куда доносился уличный шум и откуда были видны большие часы. Но потом прогулки стали проходить между стенами, в глубоком, глухом каменном колодце. Зимой, в двадцати-, а то и тридцатиградусные морозы прогулки делались мучением – в ветхих, негреющих бушлатах, одетых на грубую хлопчатобумажную тюремную робу, вначале темно-синюю, потом каторжно-полосатую. Шарфов и рукавиц не положено. В камерах не отогреться: температура меньше 13 градусов. Свидетельство 48–50-х годов. Когда заключенные замерзали, «врач-женщина приходила в камеру в валенках, пальто и теплой косынке и

говорила: “Ничего, закаляйтесь, это вам полезно”. А люди, посинев от холода, просили разрешения надеть бушлаты»[3].

Городские шумы в корпуса не долетали. Но рядом, за высоким тюремным забором, прямо за третьим корпусом, находилось кладбище, и оттуда в камеры, выходившие в его сторону, доносились звуки похорон, колокольный звон – единственные звуки вольной жизни. Там же хоронили и заключенных.

Каждые десять дней водили в баню, меняли белье. Но часто и баня, особенно в холода, становилась испытанием.

Кровати – железные решетки из прутьев, во время сна нельзя выключать свет и прятать под одеяло руки. И стойкий запах параши.

Дважды в неделю камеры обходили врачи. На прием к врачу разрешалось записаться всем, а сам переход в больничный корпус сулил скромное, но развлечение. Здоровых заключенных быть не могло – туберкулез, болезни желудка от тюремного рациона: гастриты, катары, язвы, от малоподвижности – геморрои, и, конечно, нервы, и, конечно, сердце...

Газеты давали с двухмесячным опозданием – до сентября 53-го ежедневно владимирскую «Призыв», с 1 января 54-го «Правду» и разрешили подписываться на другие газеты. Славился Владимирский централ самой крупной в СССР тюремной библиотекой – более десяти тысяч томов (в свое время ее существенно пополнили собранием Суздальского политизолятора). В конце мая 1925 года под нее отвели закрытую тюремную церковь. Политзэки иногда специально старались попасть во Владимир, чтобы «позаниматься» в библиотеке. В ней имелось немало запрещенных изданий, в обычных библиотеках давно изъятых. Ведомства МГБ изъятия «устаревшей» литературы не касались.

Другое разрешенное развлечение – шахматы. Играли в них с азартом, устраивали турниры. У Шульгина осталось впечатление, что Андреев только и делал что играл в шахматы – «начинал... еще до побудки, а кончал с отбоем». Академик Парин, попавший сюда на несколько месяцев раньше Андреева, писал жене: «Если до сих пор я всегда жаловался на недостаток времени, то теперь я вынужден искать способ убить его...»[4]. Поэтому здесь не только до изнеможения играли в шахматы, но и много писали. Писали и сочиняя, и конспектируя прочитанное. «Конспектировалось все, даже труды по ирригационным сооружениям Древнего Египта, – сосредоточенность на письме отвлекала от мрачных мыслей»[5]. Немало конспектов и выписок сохранилось и в тюремных тетрадях Андреева. Но все они связаны с литературными замыслами, с работой над «Розой Мира».

Пишущие нашлись и кроме Шульгина в камере, куда Андреев попал вначале. Видимо, тогда же в ней сидел Иван Алексеевич Корнеев, сочинивший вместе с Шульгиным поэму «Земля». Камера была большая, с часто уставленными железными койками, в ней находилось больше десяти человек. Дневного света из-под намордника попадало сюда мало, у потолка на голом шнуре светилась лампочка. Но после лефортовских мучений здешние условия не могли не показаться сносными.

Но особенно много литераторов оказалось в камере, прозванной академической, где кроме Парина и Андреева сидели Сулейман Азимов, один из партийных лидеров Узбекистана, историк Лев Львович Раков, Василий Витальевич Шульгин и Павел Александрович Кутепов, главный художник Бюробина (бюро по обслуживанию иностранцев) Министерства иностранных дел[6] Владимир Александрович Александров, японский дипломат Куродо Сан, осужденный как японский шпион Зея Рахим, пленные немецкие офицеры Крумрайт, Кейтель, сын генерала, Гаральд Нитц, «простой паренек» Петя Курочкин... Но заключенные время от времени менялись, сокамерников не выбирали, попадали и отпетые уголовники.

Каждого в тюрьму привело собственное «дело». Сюжеты «политических» разнообразием статей обвинения не удивляли, но казались такими же трагически причудливыми, как и дело террориста Даниила Андреева.

Шульгина, знаменитого депутата Государственной думы, принимавшего отречение Николая II, идеолога Белого движения, автора книг «Дни» и «1920», изданных даже в Советской России, арестовали 24 декабря 1944-го. Незаметно жившего в тихих Сремских Карловцах Шульгина пригласили зайти «на минутку» в комендатуру и под конвоем отправили на родину. За стародавние политические грехи перед советской властью почти семидесятилетнему старику дали 25-летний срок. Во Владимирскую тюрьму из Лубянской он прибыл 25 июля 1947-го, вместе с Павлом Кутеповым, сыном генерала, в 30-м похищенного в Париже советской разведкой.

Злоключения Василия Васильевича Парина начались после возвращения из командировки в Америку. Поздно вечером 17 февраля 1947 года на заседании по делу «КР» (противораковой вакцины Клюева и Роскиной) в Кремле Сталин произнес фразу «Я Парину не доверяю», и под утро за Париным пришли. Из только что отремонтированной квартиры в Доме на набережной он оказался на Лубянке и после длившегося больше года следствия получил 25 лет. Академика-секретаря Академии медицинских наук СССР, посланного в США для взаимного обмена научной информацией и передавшего американским коллегам по

просьбе авторов «КР» и, естественно, с ведома «компетентных» советских органов, рукопись их книги, обвинили в шпионаже[7]. Вначале его отправили в Норильск, но из Красноярска повезли обратно и препроводили во Владимирскую тюрьму. Когда Парин вошел в камеру, рассказывал Шульгин, «меня прежде всего поразило молодое лицо и совершенно белоснежная голова».

2. Встреча с Блоком

Во Владимирской тюрьме брались за перо не одни только литераторы, но и те, кому на воле это не приходило и в голову. Писание занимало время, в камере текшее по-иному, но, главное, придавало смысл тюремному существованию, конца которому при двадцатипятилетних сроках не предвиделось. Писать не запрещалось. Писали романы, повести, поэмы, стихотворения. Андрееву приходилось не только посвящать любознательных сокамерников в основы стихосложения, но и писать рецензии и отзывы. В одной из них он разбирает сразу три сочинения, одно из них – пьеса. «Трудно сказать, удастся ли автору ценою упорного труда над словом, над стилем, над композицией, над психологическими характеристиками добиться в конце концов положительных результатов. С уверенностью можно сказать одно: это не удастся, если он будет свои ученические опыты расценивать как серьезные худож<ественные> произведения». (Пьесу «Месть», например, во Владимирской тюрьме написал бывший депутат и кандидат в члены ЦК генерал Куприянов, кроме того, упорно корпевший над воспоминаниями «Так было»).

Говоря о Шульгине, сам ничего не писавший, в одиночке спасавшийся чтением, Меньшагин вспоминал, что тот в тюрьме «писал ... – он сам говорил об этом. Еще бодрый старичок был. <...> Маленького роста, большая белая борода, лысый...»[8]. Шульгин считал себя прежде всего писателем, вел дневник, записывал сны, казавшиеся ему вещими, сочинял – тысячами строк – стихотворения, поэмы, писал мемуары, романы. В его личном деле сохранился рапорт тюремного начальства об уничтожении рукописи исторического романа. Роман этот был «Приключения князя Воронецкого», вернее, его продолжение, над которым тогда трудился Шульгин, подробно рассказывая о содержании первых двух томов внимательному сокамернику. Андреева заинтересовала концепция романа, очевидно, религиозная, не без мистики. Он даже написал о нем отзыв, о котором позднее припоминал автор. Написанное Шульгиным забирали, что-то просто уничтожали, как три тетради с записями о Государственной думе, как тетради

с текстом романа и материалами к нему. В тюрьме пропали и, видимо, навсегда тетради с началом трилогии «Сахар», «Мука», «Мёд» (или «Вода»?)[9], хотя что-то могло попасть в спецхран.

Потерю написанного не один раз пережил в тюрьме и Андреев. Парин свидетельствовал: «Невзирая ни на какие внешние помехи, он каждый день своим четким почерком покрывал волшебными словами добываемые с трудом листки бумаги. Сколько раз эти листки отбирали во время очередных “шмонов” <...> сколько раз Д<аниил> Л<еонидович> снова восстанавливал всё по памяти»[10].

Приходя в себя после Лефортова, Андреев возвращался к писанию, к стихам. «Вот в 47-м году я говорил тебе (а ты не верила): кончу “странников” – за стихи. Это шевелилось в подсознании (отчасти уже в сознании) именно то, чему пришлось являться на свет уже без тебя. Последующие года способствовали его появлению только тем досугом и той сосредоточенностью, которые они мне подарили»[11], – признавался он жене летом 56-го, не без удовлетворения перечисляя написанное. В заточении писалось много, как, может быть, никогда в жизни. Но стихотворений, датированных первым владимирским годом, в тетрадях Андреева не больше десятка. Виноваты «шмоны», изъятия написанного тюремщиками. Но не только. После пережитого начинается новое ожидание прорывов «космического сознания». Он чувствует близость таинственных откровений, обдумывает очередные «предварительные концепции», ищет новый язык. И главный, повторяющийся в стихах мотив – соседство иных миров, предощущение «Сверх-исторических вторжений, / Под-исторических пучин». Кажется, темные видения еще смутны, иные миры еще не открылись, но вот-вот откроются, и он живет напряженным ожиданием вести:

Тайник, где бодрствуют праобразы
В глубиннейших слоях монады,
Где блещущие водопады
Кипят, невнятные уму, –
Вдруг разорвет стальные обручи,
Расторгнет древние засовы,
И мир бездонный, странный, новый
Предстанет зренью твоему.

Он задумывает цикл «Святые камни» и пишет о «восхождении» Москвы, заглядывая в ее начало, о неземном Кремле. Средоточие борения миров – Москва. Но ему не все открыто. Он только подбирается к истокам метаисторического эпоса. Он еще не нашел соответствующего языка, язык обретается вместе с увиденным в

ночных путешествиях сознания. Отнюдь не все написанное в 49-м году уцелело, что-то дописано и переписано позже, включив в себя более поздние открытия, неожиданные слова, ставшие к середине пятидесятых стройной метаисторической терминологией. «Носители возмездия» – одно из уцелевших стихотворений – написано языком еще прежнего Даниила Андреева. В нем тоже Москва:

Город. Прожектор. Обугленный зной.
Душная полночь ато́много века...
Бредит
под вздрагивающей пеленой
Поздних времен самозваная Мекка.
Страшное «завтра» столице суля,
Бродят о н и по извивам предчувствий
Пурпуром
в пятизвездьи Кремля.
Ужасом
в потаенном искусстве.
И перебегая по мысли огнем,
Вкрадываются в шелестящие слухи –
Множатся к вечеру, прячутся днем.
Хищны, как совы,
и зорки, как духи.
– Слушай!
В испепеляющий год
С уст твоих сорваны будут печати:
В страшное время –
и в страшный народ
Выйдешь
на беспощадном закате.

Мысли о предстоящей войне «ато́много века» возвращали к «ленинградскому апокалипсису». И увиденный в январе 43-го сражающийся «третий» уицраор вновь явился в «больничном» втором корпусе, куда он был переведен из той камеры, где сидел вместе с Шульгиным, в сентябре 49-го, ночью, когда единственный сокамерник спал.

«Для “Розы Мира” недостаточно было опыта, приобретенного на таком пути познания. Но самоё движение по этому пути привело меня к тому, что порою я оказывался способным сознательно воспринять воздействие некоторых Провиденциальных сил, и часы этих духовных встреч сделались более совершенной формой метаисторического познания...» – так оценивались первые тюремные видения. Сентябрьское переживание стало одним из начал поэмы «Ленинградский Апокалипсис». Напряженная чеканность восьмистрочной строфы, названной русской окта-

вой, вместила эпическое дыхание повествования о демонической битве в ленинградском небе.

Очередное явление уицраора сопровождалось видением Александра Блока. Блок сделался его Вергилием, водителем по темным мирам. Он сопровождал его в Дуггуре – мире соблазнов и блужданий юности и не мог не появиться в тюремном бреду-озарении. В «Розе Мира» прямо сказано об этой встрече: «Я видел его летом и осенью 1949 года. Кое-что рассказать об этом – не только моё право, но и мой долг. <...> Я его встречал в трансфизических странствиях уже давно, много лет, но утрачивал воспоминание об этом. Лишь в 1949 году обстановка тюремного заключения оказалась способствующей тому, что впечатления от новых ночных странствий с ним вторглись уже и в дневную память.

Он мне показывал Агр. Ни солнца, ни звёзд там нет, небо чёрно, как плотный свод, но некоторые предметы и здания светятся сами собой – всё одним цветом, отдалённо напоминающим наш багровый...»

В январе следующего года начата поэма «Встреча с Блоком». В ней портрет Александра Блока, каким он представлялся ему в юности: «Иссушающий зной, точно пеплом покрыли черты, / Только в синих глазах – / просветлённое, синее море...» От поэмы сохранился отрывок, в нем брезжит мир инфернального Петербурга-Ленинграда с титаническим обликом царя Петра, навсегда овеянного стихами Блока. В «Ленинградском Апокалипсисе» и в «Изнанке мире» всадник-призрак «на клубящемся выгнутом змее» несет в руке блоковский «бурно-чадящий факел»...

Но, отправляясь с прежним вожатым в темные миры, он чувствует, что переполнен опытом *иного* и ему нужен новый язык для того, чтобы «концепцию», постепенно открывавшуюся в поэтических снобдениях, изложить во всей полноте. Земными словами рассказать о потусторонних странствиях. Но, как утверждал не забытый им Рамачарака, «высшие области астральных сфер очень плохо поддаются описанию, и у нас нет слов для этого и нет понятий». Ища соответственных слов, он обращался и к мифологическому языку, и к сакральному – церковнославянскому, поначалу только подступаясь к собственной и «услышанной», и придуманной терминологии, прояснявшейся и уточнявшейся постепенно, вместе с «концепцией». Он объяснит причудливую нерусскость вводимых им имен и понятий так: русская метакультура одна из самых молодых, а многое из творившегося в иных мирах названо в эпохи, когда существовали языки прадревние, неведомые нынешним филологам.

Вначале он злоупотреблял славянизмами и мифологизмами. От замечаний на стихотворение той поры «...И расторгнув наши руки...», высказанных женой, он не отмахивается, соглашаясь, что действительно «дефекты, свойственные той стадии (начало 50 г.), могут резать слух». – И вносит в текст коррективы: «Ты совершенно права насчет “Азраила”, “горе влеком я” (перечеркни и читай: “лишь тобою ввысь влеком я”), – и теперь такого уж не случается. Я не согласен относительно “успения” (для этого не нужно никакого словаря, смысл этого слова известен десяткам миллионов людей – всем, кому ясен смысл слова “рождество”), – и, разумеется, Приснодевы. Это не случайно оброненный мимоходом архаизм, выветрившийся наподобие всяких Фемид и Аврор, а выражение одного из центральнейших понятий концепции, раскрываемых последовательными этапами. Неуместно там другое, соседнее слово – престол»[12].

3. Трубчевские октавы и московская симфония

Год 1950-й стал самым плодоносным в его жизни – стихи писались каждодневно. Потому не 49-й, а 50-й он называл годом возвращения к поэтической работе. В этот год начаты не только «Русские боги», но и «Железная мистерия», и «Роза Мира». За год он написал столько стихотворений, сколько не писал никогда. Из них сохранилось около ста двадцати, часть пропала после очередного «шмона». Например, он сам упоминал, что погибло много стихотворений о детстве, написанных в 50-м[13]... Кроме того, тогда же восстановлены многие стихотворения из сожженных на Лубянке, созданы их новые редакции.

Предвосхищавшие «Русских богов» циклы, названные «Над историей», выстраиваются, варьируются, подчиняясь одному углу зрения. Скоро этот взгляд будет назван метаисторическим. Из зернышка мироощущения, в котором поэзия и религиозное чувство нераздельны, он всю жизнь выращивал себя и свои сочинения. Теперь то, что Андреев называл доктриной, концепцией, миропониманием, начало приобретать зримые очертания. Но рядом со стихотворениями «надисторическими» писались другие, из воспоминаний о лесных дорогах трубчевских странствий. В камере иные миры легко соединялись с земным, ставшим почти ирреальным, существуя только за каменными стенами. То, что его искания и путь поэта привели в тюрьму, – логика русской истории и личной судьбы.

Ты осужден. Конец. Национальный рок
Тебя недаром гнал в повапленный острог.

Сгниешь, как падаль, тут. Ни взор, ни крик, ни стон
Не проползут, змеясь, на волю сквозь бетон.
Но тем, кто говорит, что ты лишь раб, – не верь:
В самом себе найди спасительную дверь!

В тюрьме к нему должны прийти откровения иных миров, духовидческие прорывы. В это Андреев верил безусловно, и откровения стали приходить – поначалу зыбкими снами-грезами, потом все более наполненными снобдениями. Что в них от поэтических вдохновений, а что открытия духовного зрения – различить непросто, он это сознавал. И в поисках «спасительной двери» возвращался туда, на берега Неруссы, где его так потрясло соприкосновение с космическим сознанием. Ощущение перехода, как когда-то он прочел у Рамачараки, во время сна своего «Я» из физического в астральное тело он пережил позже.

Февралем–сентябрем 50-го датирована поэтическая книга «Русские октавы». От нее в черновых тетрадях уцелело содержание семи частей: «Богам и соснам», «Пойма», «Гулянка», «Босиком», «Лесная кровь», «Немереча» и «Устье жизни». Все они из трубчевских странствий. Кроме вновь написанного в книгу вошли стихотворения тридцатых, получившие новые редакции, дополненный цикл 36-го года «Лесная кровь», завершенная поэма 37-го «Немереча». «Русские октавы» должны были стать первой книгой предполагавшегося многокнижья, а затем трилогии, должной раскрыть «концепцию». Но сама «концепция» еще не сложилась, состав писавшихся книг менялся. Позже многое из «Русских октав» перешло в книгу «Бродяга», а вторая книга переросла в поэтический ансамбль «Русские боги». Она начиналась с московской темы. Поэт видит три Москвы. Москва земная, историческая, с дорогими ему святыми камнями, затем темный двойник ее «в бездне» и «праобраз – в небе», увенчанный Небесным Кремлем, мечтой народа.

В «Русских богах» появляется образ Цитадели – Москвы сталинской, инфернальной, ставшей оплотом и символом богоборческой власти. Вокруг нее «Мчится с посвистом вихрь», и этот вихрь явно демонический: «Но тиха цитадель, / Как / Гроб» и в тучах над ней «Знамя – / Солнце ночи».

В «Железной мистерии» Цитадель – символ тоталитарной советской державы. Символ из статьи Сталина к 800-летию Москвы. Шульгин, прочитавший сталинскую статью в камере Владимирской тюрьмы, сделал из нее политические выводы. Один из них такой: «Заявление, что Москва остается цитаделью всемирной революции, равносильно объявлению войны всем буржуазным государствам... Следовательно, в ближайшие годы нельзя

ожидать прочного мира»[14]. Он и позже считал, что страна живет «на грани войны». Этот вывод вполне разделял его сокамерник Андреев. Столкновение Советского Союза с Западом он считал неизбежным. Апокалипсис прошедшей войны должен логично продолжиться в мистерии мировой истории новым и страшным ратоборством гигантов в душной полночи «ато́много века». Главные темы его тюремных сочинений – тирания и война, они – главные опасности для человечества, говорит он в «Розе Мира».

Замыслы вытекают один из другого и складываются в поэтическую модель мироздания, скрепленную ее подразумеваемым творцом – им самим. Москва один из центров этого мироздания, поэтому ее описанием и открываются «Русские боги». Их первая глава, «Святые камни», почти вся написанная в 50-м, начинается с Кремля, названного «ковчегом отечества», с младенчества «приувязанного» «к церквам, трезвонящим навзрыд». Все другие стихотворения этой главы о святынях религии и искусства. Поэт последовательно сакрализует все вокруг, весь мир, становящийся духовной, религиозной действительностью. И без искусства для него сакрализация немыслима. Культ и культура – взаимосвязаны и нераздельны. Библиотека и Большой театр – те же святые камни, что и собор Василия Блаженного или храм Христа Спасителя. Для него и обсерватория – храм «у отверстых ворот Божества».

Стихотворение «Обсерватория. Туманность Андромеды» и «Великая туманность» – первая глава «Странников ночи» – связаны. Потому, видимо, в те же дни, когда написалось стихотворение, он принялся восстанавливать, воссоздавать начало романа. Но надежда, что рукопись романа хранится где-то в недрах Лубянки вместе с его «Делом», теплилась, и продолжать он не стал, подступали новые замыслы.

В стихах 50-го года он вновь прошел кругами своей жизни – московское детство, блуждания юности, трубчевские дороги, странствия ночами тридцатых, война... Прежние стихи, дописываясь, в новых циклах-кругах соединяли вчерашнее с сегодняшним, становились частью нового целого. «Концепция» «Розы Мира» вырастала из тех же кругов, из ожиданий прорывов «космического сознания»... Все, о чем он писал, не сочинено, а прожито и пережито – все «путешествия сознания» тюремными ночами, все видения. Личное становилось «космическим»... Мучительный круг темных искусов юности заново пройден в трех циклах «Материалов к поэме “Дуггур”» в те же пятидесятые.

Написанная в конце года «Симфония городского дня» стала самым выразительным, может быть, в русской поэзии изображе-

нием сталинской Москвы, ее советского карнавала. Эту поэму он чаще всего читал сокамерникам. Слушатели воспринимали ее, как и цикл «Святые камни», по-разному. Он оставил горестную заметку в одной из тюремных тетрадей:

«Улавливают традицию: “Все русские поэты писали о Москве”.

Не улавливают совершенно:

1) новизны технических средств (в особенности ритмики и строфики)

2) новизны самого жанра

3) того обстоятельства, что не только ни один русский, но и вообще никакой поэт не превращал образа какого-либо города в материал для всестороннего выражения своего мировоззрения, точнее – своей религиозно-историко-философской системы (поскольку вообще термин “философская система” применим к тому, что может быть выражено на поэтическом языке)».

Тогда же размышления, недавние беседы с Шульгиным, считавшим, что его жизнь прошла «под знаком войны», и ждавшим Третьей мировой, разговоры с однокамерниками утвердили в мысли – об этом он думал еще перед арестом – о скором столкновения сталинского режима и Запада. Оно вновь сулило России небывалые испытания:

Вижу близкие дни уныния.
Ветер с Арктики, склеп снегов.
Различаю мерцание инея
У потухнувших очагов.

Слышу своры зверей... и голого
Сына дней на голой земле.

Из апокалипсического видения завтрашнего дня вырос замысел «Железной мистерии».

Декабрь 1950-го стал самым вдохновенным и напряженным месяцем года. 8–22 декабря написана «Симфония городского дня». 23-го – задумана и начата «Железная мистерия» (названная первоначально «Русской мистерией»), 24-го – «Роза Мира»... О начале работы над ней он потом писал: «Я начинал эту книгу в самые глухие годы тирании, довлевшей над двумястами миллионами людей. Я начинал ее в тюрьме, носившей название политического изолятора. Я писал ее тайком. Рукопись я прятал, и добрые силы – люди и не люди – укрывали ее во время обысков. И каждый день я ожидал, что рукопись будет отобрана и уничтожена, как была уничтожена моя предыдущая работа, отнявшая десять лет жизни и приведшая меня в политический изолятор».

Напряжение вызвало нервное истощение и депрессию, правда, на этот раз в легкой форме. Как замечал умевший владеть собой, регулярно занимавшийся гимнастикой йогов Шульгин, «нервы в тюрьме легко расстраиваются». Тюремный монотонный распорядок, скудная казенная еда – суп-баланда да каша, ритуал ее получения из «кормушки», камерный полусумрак, особенно тягостный осенью и зимой, когда в окнах, полускрытых «намордниками», поздно светало и быстро темнело, – выматывали душу самым стойким узникам. Угнетало отсутствие известий – что с женой, что с друзьями, попавшими в его «дело»? В 1949 году он отправил жене два письма, но они вернулись назад за ненахождением адресата. Как впоследствии оказалось, в номерном адресе отсутствовала одна цифра.

Заключенные с адресом «г. Владимир (областной), п/я 21» имели право писать и получать два письма в год. Регламентировался и размер писем. У Андреева долгое время имелся только один адрес, куда он мог писать, – родителей жены. Ответила ему теща – Юлия Гавриловна. Она отказалась сообщить адрес дочери – перепуганная, преждевременно состарившаяся от переживаний и забот женщина не знала, имеет ли такое право. Еще она боялась, что дочь разрешенные два письма в год станет писать не родителям, а ему. Несчастье с дочерью перевернуло жизнь. Мужа, заведовавшего созданной им лабораторией, уволили: дочь – враг народа, мать – в эмиграции. Зятя Юлия Гавриловна просила писать до востребования, на ее имя. На несколько лет теща стала единственной связью с внешним миром, единственной родной душой, самоотверженно ему помогавшей. Она присылала деньги, посылки. Благодаря, он писал: «Решаюсь обратиться к Вам с просьбой, т. к. я не знаю Ваш<их> денежных обстоятельств: если бы Вы смогли высылать мне в наступающем году по 25–30 руб. в месяц, это дало бы мне возможность удовлетворять свои насущные потребности. Разумеется, если для Вас это обременительно, прошу Вас забыть о моей просьбе, как если бы ее не было.

Другая просьба – сообщить мне адрес моей жены. Когда я обращался к Вам с ней в феврале 1950 г., Вы мне в ответ указали, – что сомневаетесь, имеете ли право эту просьбу удовлетворить. Но дело в следующем. Еще летом <19>49 г. я получил из соответствующей инстанции, в ответ на мой запрос, адрес моей жены, но смог воспользоваться этим адресом только в январе 1950 г. Мое письмо жене пришло назад, т. к. она к этому времени переменила адрес. Этот новый ее адрес мне узнать абсолютно не от кого, как только от Вас. Представьте, каково мне почти 4 года

ничего не знать о своей жене и не иметь возможности воспользоваться предоставленным мне правом на переписку с нею»[15].

Но этим правом он смог воспользоваться из-за опасливости тещи нескоро.

Не надеясь прожить в тюрьме долго, тем более до освобождения, Андреев постоянно думал о смерти:

Если назначено встретить конец
Скоро, – теперь, – здесь –
Ради чего же этот прибой
Всё возрастающих сил?

И почему – в своевольных снах
Золото дум кипит...

«Русские октавы» заключал цикл «Устье жизни». Речь в нем шла о «конце личного будущего»: «Смертной тоски в этот миг не скрою / И не утешусь далью миров: / К сердцу, заплакав, прижму былое...» Он безусловно верил в то, что, как утверждал Рамачарака, «великое веянье жизни проходит по всей цепи планет», что жизнь непрерывна в звеньях перевоплощений.

Оглядываясь на это время, на раздумья об «устье жизни», он позже писал жене: «В 50-м году собственная судьба (в ее метаисторическом или метафизическом смысле) не была еще ясна. К тому же неверно, чтобы людям, столько проискавшим друг друга на этом свете, пришлось продолжать эти поиски еще и на том. Да и представление о том свете было тогда еще совершенно общее, нерасчлененное»[16]. Тогда цикл заканчивался обращением к «Последнему другу» с просьбой поставить над его могилой «в зелени благоуханной» «простой, деревянный, / Осьмиконечный крест».

4. Над историей

Замыслы запойно вдохновенной зимы, теснившиеся и продолжавшие друг друга, ждали воплощения, чтобы стать законченной частью словно бы давно, в предыдущей жизни, намеченного целого. В январе 51-го он принялся за «Утреннюю ораторию». Жанр, «за неимением более близкого», определил: «оратория для чтения». «От произведений драматических ее отличает, прежде всего, отсутствие определенной зрительной данности, – объяснял Даниил Андреев. – Зрительному воображению читателя или слушателя предоставляется свобода, ограниченная только краткими ремарками да звучанием переговаривающихся голосов и содержанием их реплик. Трудности, связанные с развитием

динамического действия внутри такой диалогической формы, перевешиваются, в случае удачи, тем, что автор, не связанный необходимостью давать внешне зрительное оформление своим персонажам, получает возможность “выводить на сцену” такие инстанции, которые, в силу их космической или вне-физической природы, нельзя мыслить ни в каком антропоморфном образе».

Все его стихотворения раньше или позже складываются в циклы, циклы становятся главами метаисторического эпоса. В тюремных черновых тетрадях видна непрекращающаяся работа над составом и композицией написанного и задуманного. Стихотворения перемещаются из цикла в цикл, меняется порядок глав, состав замысленных книг, пока не начинает вырисовываться целое. И циклы в нем становятся почти поэмами, поэмы – действом с оркестровым многозвучьем трагических сюжетов, перерастая в формы, которым он находит музыкально-театральные определения – симфония, оратория, мистерия.

Намеченный раздел «Над историей» предполагалось открыть ораторией «Феврония», состоящей из пяти частей: «I. Древнее, стихиали, князья; II. Суховей, Велга; III. Моск<овский> холм; IV. Зач<атие> Уицр<аора>; V. Рожд<ение> Уицр<аора>». Оратория «Феврония», видимо, написана не была, превратясь в замысел стихотворения «Феврония и Всеволод», но и оно до нас не дошло.

Сохранившаяся не полностью «Утренняя оратория» начинается с хора демиургов-народоводителей у предгорий Мировой Сальватэрры. В хоре – демиурги Древнего Двуречья, эллино-римского сверхнарода, Дальнего Востока, юный демиург стран Запада и демиург России Яросвет. Стройная система метакультур, сверхнародов и их демиургов, изложенная в «Розе Мира», только намечена. В «гениях» – угадываются даймоны и вестники, в Гое – соборная душа России Навна. В оратории обозначено состояние, в котором ему являлись образы и открывались миры – «снобденье». Под первой половиной сохранившегося текста дата – апрель 1951-го. Затем работа прервалась, закончил он ораторию только в сентябре.

Наверное, тогда же, перед Пасхой – перед 20 апреля, на Страстной неделе он вернулся к стихотворению «Двенадцать Евангелий», написанному двадцать лет назад. Теперь совсем по-другому переживалась служба Страстного четверга и евангельские слова:

– Прискорбна есть душа Моя до смерти;
Побудьте здесь
и бодрствуйте со Мной.

Страстные муки Христа озаряли высшим смыслом и светом все – и неправый суд ОСО:

Века идут, а дрёма та же, та же,
Как в той евангельской глуши...
Освободи хоть Ты от стражи!
Печать на духе разреши!

Но поздно: Он сам уже скован,
Поруган
и приведён.
Вторгается крик – Виновен! –
В преторию и синедрион.

И чье-то предательство, и собственную нестойкость на постыдно-мучительных допросах:

Пляшут, рдеют, вьются искры,
Ворожит бесовский круг...

Где–то рядом, за стеной, близко,
Петух прокричал вдруг.

И покрылся лоб
пóтом,
Замер на устах
стон...
Ты услышал? Ты вспомнил? понял?

И, заплакавши горько,
пошёл вон.

И в измене он сберёг совесть,
Срам предательства не тая.
Он дерзал ещё прекословить
Ложной гордости. – Так. А я?

И спуски в миры возмездия тюремными ночами:

Умеряя смертную кручину,
Не для кар, не к власти, не к суду,
Вот теперь нисходит Он в пучину –
К мириадам, стонущим в аду.

А в саду таинственном, у Гроба,
Стража спит, глуха и тяжела,
Только дрожь предутреннего зноба
Холодит огромные тела.

Нисхождения в бездны в поэтических снобдениях противоположны светлым видениям: «Капища» (позже цикл назван «Темное видение») – «Святым камням», «Вампиры» – «Заступникам».

Но темных видений больше, в них облечены решающие события русской метаистории.

В разных вариантах циклов намечены стихотворения об Иоанне IV, о Самозванце и о Великой Смуте. Выросшая из стихотворения поэма «Гибель Грозного» стала одним из первых действий мистерии русской истории. Эту мистерию, в сущности, и писал все годы владимирского заточения Даниил Андреев. Необоримый фатум тирании предопределяет «трансфизическую» судьбу Иоанна Грозного. Царь, призванный стать родомыслом, сделался тираном. «Некоторые свойства натуры сделали его легко доступным бессознательным духовным подменам, а неограниченная власть разнуздала его эмоции, развратила волю, расшатала ум, нанесла непоправимый ущерб его эфирному телу и превратила излучины его индивидуального пути, вернее, падения, в цепь несчастий для сверхнарода и в катастрофу для государства» – так объяснена мрачная судьба Грозного в «Розе Мира»[17]. Она – урок современности, явившей очередную попытку «превращения в зону абсолютной тирании всей страны, хотя бы ценой истребления целых классов и того стремительного и ужасающего снижения общего творческого и морального уровня, которое сопутствует всякому тираническому народоустройству». События земной истории – следствие борьбы демиурга сверхнарода с демоном великодержавия, взаимосвязаны с процессами, происходящими в мире демоническом.

Пока не все понятия складывавшегося мифа получили свои названия, не все пригрезившиеся, прочувствованные, явленные сущности получили имена. Поэт ищет их, пытается угадать, конструирует. Сконструированные имена не всегда удачны. «Демросвер – демиург российского сверхнарода», позже он получит имя Яросвет. «Велга – Великая Гасительница». «Ваяплона – Ваятельница плоти народа». Свою ономастику он объяснял: «Есть несколько (не более десятка) названий и терминов, которые я выдумал сам, в том числе Навна, Яросвет, метакультуры, Велга и др. И сотни две названий, которых я не выдумывал и не изобретал, но слышал в тех или иных состояниях, причем некоторые из них – многократно. Их транскрипция русскими буквами – только приближение. А некоторые из них я вообще никак не мог расслышать отчетливо. Среди них есть и очень неприятно звучащие, например, Ырл, Пропулк... Но и эти очень выразительны и уместны»[18].

В появляющихся записях о «демонической карикатуре на монастырь – в Александровой слободе», о том, что дальше творили темные силы «через агентов Уицраора царей московских, внедрившись в Московский Кремль, исказив и осквернив его

застенками, тюрьмами и плахами», закреплялось то, что войдет в текст «Розы Миры». Но в первых набросках – приблизительность, расплывчатость непоименованного.

Свой поэтический метод Даниил Андреев определил как «сквозящий реализм», или метареализм. В июле 51-го он набрасывает начало предисловия задуманной поэтической трилогии, предшествовавшей «Русским богам»:

«Разумеется, общая характеристика книги, в особенности второй и третьей частей ее – преждевременна; я и так сильно забежал вперед. Скажу только, что первая часть служит своего рода введением к таким формам и к такой тематике, которые без этой предварительной подготовки показались бы, может быть, слишком уж идущими вразрез с тем, что было принято в нашей поэзии до сих пор. Во всяком случае, во второй и третьей частях я стремлюсь к дальнейшему раскрытию возможностей, заложенных в стиле сквозящего реализма, – писал он в этом наброске поэтического манифеста. – Ясно, конечно, что представителю сквозящего реализма незачем отказываться от какого бы то ни было художественного приема, выработанного любой школой, если этот прием отвечает поставленной сверхзадаче. Но не менее ясно и то, что особенности метареалистического мирочувствия влекут за собою напряженные поиски и открытие новых приемов художественной выразительности.

Попыткой практически осуществить это двустороннее положение и является настоящая книга. Оправданы ли ее приемы, долговечны ли ее жанры, правильно ли угадано направление развит<ия> русской поэзии, в ней указываемое, – может решить лишь время. Но само время и породило эту книгу: время головокружительных исторических сдвигов, время событий всемирного масштаба, разворачивающихся в нарастающем темпе, – время, когда обвалы древних пластов в обществе, в культуре и в сознании обнажают перед созерцающим “я” пучины подчеловеческого и надчеловеческого, а разум убеждается в несоизмеримости привычных для него категорий со сверхразумным содержанием мирового процесса: он обращается к другим методам познания и творческого претворения мировой действительности – методам духовной интуиции и метареалистического искусства».

В октябре 51-го Андреев писал теще: «За текущий год мною получено от Вас, глубокоуважаемая Ю<лия> Г<авриловна>, 350 руб. Слова лишь в малой степени способны выразить мою благодарность и вряд ли могут они дать Вам понятие о том значении для моего здоровья и вообще жизни, какое имеют эти деньги»[19].

Денег на ларек разрешалось тратить не больше определенной суммы, и далеко не всё в нем имелось. Можно было купить кое-что из еды, зубной порошок. А главное, бумагу и курево. Курили в тюрьме много. Андрееву, заядлому курильщику, как и всем, выдаваемой махорки не хватало.

Юлия Гавриловна сообщила о новом адресе: Бружесам, в довершение всех несчастий, пришлось перебраться из большой квартиры в просторную, но коммунальную комнату в Подсосенском переулке. Теща о жене ничего не писала, на просьбу дать ее адрес не отзывалась. Для нее он – главный виновник несчастья с дочерью. В черновике письма Андреев пытался найти слова не для оправданий – они бессмысленны, а чтобы хоть что-то узнать о жене:

«Если Вы будете писать мне, не откажите в любезности сообщить...

Мне очень хотелось бы знать, у Вас ли находятся картины моей жены, в частности, проект декораций к «Гамлету», и появилась ли за последние годы хоть одна новая.

Мысли о ней, [любовь], над которой совершенно бессильна и разлука, и что бы то ни было, заставляет жить». Он писал о том, о чем не раз думал: «Но если когда-нибудь дело повернулось бы таким образом, что она смогла бы и захотела бы устроить свою личную жизнь без меня – я принял бы это как заслуженное наказание за то, что не сумел сберечь ее. Если же при этом жизнь послала бы ей хоть относительное счастье – отблеском этого счастья был бы счастлив и я». Но эту фразу он вычеркнул.

5. Бабочка и поэт

Трех незаурядных узников тюремная судьба свела вместе в 45-й камере третьего корпуса, получившей наименование «академической». Очень разных по взглядам, темпераменту, профессии, их объединила и сделала друзьями и соавторами талантливость. «Дольше всего Василий Васильевич, вероятно, пробыл вместе с Львом Львовичем Раковым и Даниилом Леонидовичем Андреевым»[20], – сообщает жена Парина.

Ракова привезли в тюрьму 9 ноября 1950-го. Сидел Раков не первый раз, в ноябре 38-го его арестовали по обвинению в «терроризме», и он год пробыл в Крестах, в одиночке, доведенный до попытки самоубийства. Но после смены Ежова Берией Ракова выпустили, и даже карьера его пошла в гору. Некогда он близко общался с Михаилом Кузминым, писал стихи, но главной его специальностью стала история. Раков работал в Эрмитаже,

преподавал в Ленинградском университете. Записавшись в 41-м добровольцем в народное ополчение, был определен лектором политотдела, но в 43-м участвовал и в боях по прорыву блокады. Тогда же, в 43-м, он создал выставку «Героическая оборона Ленинграда» и до 47-го занимался преобразованием выставки в музей. К концу войны получил звание майора и два ордена, после войны – подполковника. В 47-м – назначен директором Публичной библиотеки. В 50-м, за две недели до ареста, женился. Арестованный 20 апреля, 31 октября получил приговор Военной коллегии Верховного суда СССР – 25 лет тюрьмы и 5 лет поражения в правах.

Пристегнутый к Ленинградскому делу, Раков и не мог подумать, что Музей обороны Ленинграда, гордость и любимое детище, станет его главной виной. Судя по тогдашним отзывам, музей стал впечатляющим памятником сражавшемуся блокадному городу. Но бдительные «органы» не обнаружили в нем надлежащего отражения роли партии и лично великого Сталина.

В музейной витрине были выставлены блокадная 125-граммовая пайка малосъедобного хлеба с целлюлозой и опилками, список 22 блюд из свиной кожи... «Так вы считаете, – спрашивал следователь, – что в Ленинграде голодали?» – «Позвольте, разве нет?» – удивлялся подследственный. «Нет, – заявлял хмурый следователь, – существовали временные продовольственные трудности, а затем по указанию товарища Сталина мы их преодолели». Но этого мало, в музее, оказывается, было выставлено подозрительно много оружия, а значит, заявляло следствие, готовился на случай посещения товарища Сталина террористический акт. Экспонаты – орудия без замков, с просверленными стволами, снаряды, лишенные зарядов, разряженные мины и гранаты – превратились в тайный арсенал «антипартийной» группы...

Литературовед Владимир Марков, бывший перед войной аспирантом Ракова, вспоминал его так: «...высок, строен, сдержан, презрителен, что-то собачье в лице (породистая собака)...»[21] Любимец студентов и женщин, восхищавший элегантностью, блеском эрудиции, тонкий интеллигент и жизнелюб – Раков на следствии вел себя мужественно. Во Владимирскую тюрьму он попал, как и Андреев, из Лефортова, измордованный следствием, презрительности в нем не замечалось, хотя за нее можно было принять скептическую сдержанность и насмешливое остроумие. Выслушав приговор, Раков иронически усмехнулся: 25 лет тюрьмы – куда ни шло,

но потом пять лет не голосовать – это слишком! С Львом Львовичем Раковым, как и с Василием Васильевичем Париным, Андреев сдружился. В «академической» камере Раков появился 20 августа 51-го. Вскоре в ней случилось происшествие с влетевшей в форточку бабочкой.

Известно множество историй о привязанности заключенных к живым тварям – к птицам, подлетающим к зарешеченным окнам, к прикормленным мышам, даже к тараканам...

Шульгин вспоминал свои истории: «Дело шло о спасении пчелы. Она залетела к нам в камеру и, обессиленная, упала на столик. Я рассыпал вокруг нее сахарный песок, зная, что им подкармливают пчел. Но у нее не было сил есть сахар. Она умирала. А у Шалвы сохранилось немного меду. Он помазал им стол около пчелы. Она зашевелилась, подползла к меду и стала есть. И ожила, начала махать крыльями, пока наконец не улетела сквозь решетку <...>

А нам остались одни мыши. Мы и их подкармливали, сострадая любовью ко всякой твари. Они появлялись около отопления. Сверху него была сетка, сквозь которую мы засовывали хлеб, и мыши очень хорошо понимали, что это предназначалось для них.

А еще произошло следующее. Негодяй копчик с голоду бросился на воробья. Последний, видя неминуемую гибель, влетел в нашу камеру и сел на отопление, отчаянно чирикая. Копчик стремительно подлетел к окну и сел на подоконник. Но дальше влететь не посмел»[22].

А в «академическую» камеру однажды, уже в конце лета, влетела бабочка – махаон. Она то замирала, то опять, трепеща крылами во всей их траурной красе, тщилась одолеть преграду тусклого стекла. Андреев не мог равнодушно смотреть на отчаянье живой твари. Бабочка – символ души, рвущейся на свободу. И он полез на окно, чтобы вернуть ей свободу. К окну подходить разрешалось только для того, чтобы открыть или закрыть форточку. Высовываться в нее, взбираться на подоконник строго воспрещалось. Неусыпные надзиратели следили через «волчье око», что происходит в камере, по коридору ходили они бесшумно, надевая на казенные ботинки мягкие тапочки. Любое нарушение правил режима, любая придирка – не так лежит подушка – могли кончиться наказанием. Спасителя бабочки застукали. Результат – трое суток карцера.

Спуск в карцер – так называли это заключенные – жестокое испытание, тюрьма в тюрьме. Кормят через день, окна не видно, лампа под потолком еле мерцает, сесть негде, спать почти невозможно, холод, теплой одежды не положено. Главное – нельзя

курить. Это Андреева мучило больше всего. В его описаниях спуска в слои возмездия, сквозь мистические видения сквозят изнурительные карцерные дни и ночи с потерей чувства времени и реальности:

Казалось, тут я жил века –
Под этой неподвижной сферою...
Свет был щемящим, как тоска,
И серый свод...

Бывало, что в карцере связывали, избивали сапогами, приговаривая: «У нас не забалуешь». Врачиха Скоробогатова проверяла пульс и кивала: «Ничего, выдержит»[23].

И подъем из карцера – освобождение и возвращение в камеру – казался подъемом почти «к России Ангелов». Однокамерники сочувствовали и соболезновали, но происшествие с поэтом не могло не стать для них событием литературным. Пока поэт сидел в карцере, Парин и Раков сочинили посвященный событию цикл с пародийными эпиграфами, комментариями и насмешливыми отсылками к мировой классике. Солнечный день 5 сентября 1951 года способствовал шутливым вдохновениям. Сущность происшествия описал Парин в басне «Бабочка и поэт»[24]:

Все знают бабочек природу:
Они ярки, легки, резвы,
Беда лишь в том, что Бог их роду
Разумной не дал головы.
Однажды бабочка такая,
Как легкомыслия образчик,
Беспечно вдоль стены порхая,
Попала в наш почтовый ящик.
Ее мы хором заклинали
Оставить дом томленья тяжкий,
Лететь туда, где светлы дали,
Лететь немедля, без оттяжки.
Остались речи без успеха,
Напрасен убеждений труд:
Уселась дура – вот потеха! –
И зимовать решила тут.
Сидел в той камере поэт
С душою сумрачной, но милой,
Он бабочку на белый свет
Решил вернуть хотя бы силой.
Хоть он и против был насилья,
Но здесь оправдано оно:
Ведь бесполезны даже крылья,
Когда не видишь ты окно!

Но бдителен надзор и чуток –
Поэт застукан en delit,
И вот его на трое суток
Уж в темный карцер увели.
Читатель ждет морали внятной.
Ужель она вам непонятна? –
Не надо помогать тому,
Кто сдуру лезет сам в тюрьму!

Раков завершил цикл после выхода Андреева из карцера иронически назидательным резюме:

И за одно прикосновенье
Ты трое суток просидел...
О, человек! Ты поседел,
Но мудрость все не в поле зренья:
Внутри тюрьмы ты сесть сумел!

В этой атмосфере «академической» камеры и написана остроумнейшая книга «Новейший Плутарх» тремя соавторами. Инициатор создания «Иллюстрированного биографического словаря воображаемых знаменитых деятелей всех стран и времен от А до Я» Раков стал самым азартным автором, главным редактором, иллюстратором. На свободе занятый преподаванием, учеными и административными заботами на директорских должностях, он в заключении писал много. Начал сочинять цикл рассказов «В капле воды», писал литературоведческие эссе – «Судьба Онегина» и «Письма о Гоголе», стихи, чаще иронические. Любивший и превосходно знавший русскую поэзию, поэтом себя Раков не считал, утверждая, что лишен «поэтического мышления».

Сочинением «Новейшего Плутарха» Лев Раков увлек сокамерников не случайно. Когда-то Михаил Кузмин задумал и начал романом «Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа Калиостро» серию жизнеописаний – «Новый Плутарх». Кузмин был влюблен в студента Ракова, посвятил ему книгу стихов «Новый Гуль». И Раков, всю жизнь высоко чтивший поэта, прекрасно знал о кузминском замысле. Но сокамерников он подвиг на книгу шутливую, пародийную. Возможно, толчком к осуществлению проекта «Новейшего Плутарха» и послужил цикл о «жертве Махаона».

Даниил Андреев с детства любил сочинять в шутливом роде, умел смеяться. А биографический жанр испробовал еще во времена написания книжки об ученых-изобретателях. Сочинение новелл для «Новейшего Плутарха» стало и для него увлекательной забавой, хотя и здесь он верен заветным темам и мыслям.

Л. Л. Раков. Цхонг Иоанн Менелик Конфуций (Д. Л. Андреев)
Иллюстрация к книге «Новейший Плутарх»

«Основатель издания, главный редактор и иллюстратор» торопил и воодушевлял соавторов, используя тюремные лиловые чернила и «сок хлебной корки», рисовал иллюстрации и сам написал большинство биографий. В герое одной из них, предваряемой легко узнаваемым портретом, в Цхонге Иоанне Менелике Конфуции изображен Даниил Андреев. Цхонг – мыслитель, педагог и общественный деятель республики Карджакапты исповедует и воплощает в жизнь взгляды и идеалы автора «Розы Мира» – предмет многих споров и обсуждений ученых соавторов. Характеристики деятеля в новелле и шутливы, и серьезны. «Фундамент философских взглядов Ц., – характеризует мыслителя Цхонга биограф, – образовывало убеждение о всеобщем родстве возвышенных и бескорыстных устремлений человеческой души к совершенству. Далекий от узких рамок догмы, он в каждой религии чувствовал постижение единого Бога, в каждом искусстве видел поиски единого, по существу, идеала, в каждой философской системе – служение единой истине...» Ц., продолжает Раков, последовательно отрицал «концепции, связанные с “угашением духовного начала”, т. е. основанные на рационализме и материализме». И еще, Ц., как и Проповедник в «Железной мистерии», не только похож на «идеального руководителя государства, мечтавшегося некогда Платону», но и, следуя своим идеалам, запрещает «занятие охотой и потребление мясной пищи», а главное – утверждает целительную необходимость «босикомохождения». Довольно близко изложены в новелле и педагогические взгляды Андреева.

Ц. умирает, пав жертвой своей ненависти к обуви, наступив на осколок стекла левой пяткой... Но к насмешкам над «босикомохождением» Андреев привык, приучив к тому, что не терпит обуви, даже тюремщиков. А на дружеские насмешки ответил стихами, предлагая Ракову весеннюю прогулку: «Лёвушка! Спрячь боевые медали, / К черту дела многоважные брось: / Только сегодня апрельские дали / По лесу тонкому светят насквозь». Лесные прогулки могли быть лишь воображаемыми. Даже вносивший раз в десять дней в тюремное житье ожидаемое разнообразие путь в баню – мимо больничного корпуса, по закатанному асфальтом мертвому двору, где не пробивалось ни травинки, – не дарил взгляду ни краешка живой природы – вокруг каменные стены, мутные решетчатые окна, и лишь небо вверху в счастливый день сверкнет синевой и солнцем. И даже Раков, петербургское дитя, не питавший андреевской страстной любви к природе, писал из тюрьмы дочери: «Как я теперь вспоминаю немногие часы, проведенные среди природы! Припоминаю все подробности вида, запахов, звуков; все это для меня – вроде потерянного рая»[25].

Насмешливый Раков шутил и над собой, описав собственное увлечение историей русского военного костюма в биографии военного педагога Пучкова-Прошкина. То же увлечение он изобразил и в жизнеописании основоположника научной дисциплины «Сравнительная история одежды» Хиальмара аф Хозенканта. Сочинительство помогало не думать о двадцатипятилетнем сроке, коротать «горькие дни». «А все же, как ни странно, – удивлялся Раков, освободившись, – эти дни бывали и прекрасными, когда мы подчас ухитрялись жить в подлинном мире идей, владея всем, что нам было угодно вообразить»[26].

Попытка спасения бабочки закончилась карцером. А все написанное Андреевым за два почти года, все, что удалось восстановить из погибшего на Лубянке, изъяли при неожиданно проведенном «шмоне». Катастрофа, наказание страшнее карцера. В третий раз вспоминалось меньше и труднее. В отчаянье казалось, что и опять восстановленное погибнет. Жаль было многого, особенно цикла «Московское детство», от которого уцелело два стихотворения, написанных в 50-м – об игрушечном Мишке, пропавшем во время ареста, и «Старый дом». А «в четвертый, – обреченно сетовал он, – пожалуй, и совсем почти все забудется» [27].

«Новейший Плутарх», забава и отдохновение, сочинялся не сразу. Раков старался увлечь своим замыслом всех, по некоторым сведениям, в книге что-то написано даже японцем, а что-то

немцем. Возможно. Но в рукопись вдохновенный проект превратился позже, когда к писаньям зэков стали относиться снисходительней. Это, видимо, происходило после смерти Сталина и уже в другой камере, 35-й, куда Ракова перевели 3 апреля 1953 года.

6. Темное видение

В тюремной тетради Даниила Андреева есть выписка двух фраз из статьи Веры Смирновой, детской писательницы, некогда написавшей книжку об Орджоникидзе, в «Литературной газете» за 10 мая 1951 года:

«Никому в голову не придет теперь выделять мастеров литературы в какую-то особую “касту жрецов”, владеющую тайной воздействия на умы и сердца».

«И если читатель, даже родившийся в советское время, не верит ни в бога, ни в черта... и т. д.».

Над подобными утверждениями в те поры читатели газет не задумывались. Но Андреев тотальной советской десакрализации противостоял всегда. Газета попалась ему на глаза с запозданием, но именно в то время у него складывается теория вестничества. Он мечтает именно о «касте жрецов», об особенных творцах, названных им вестниками. Вестники в образах искусства свидетельствуют о иной реальности, они и после земной смерти продолжают в небесных мирах служение и подвиг. Читатель, не верящий «ни в бога, ни в черта», для него не читатель – он лишен духовного слуха и зрения. Вестям о мистических мирах «Как рожденный слепым калека, / Презирающий всех, кто зряч, / Усмехнется рассудок века – / Знанья собственного палач».

Даниил Андреев противостоит «рассудку века», его идеологам. Он вступает в спор с Маяковским потому, что ценит поэтическую силу Маяковского, ставшего одним из столпов и символов сталинского режима. Стихотворение «Гиперпеон» – поэтическая декларация и принципиальный спор с Маяковским, идеологом Доктрины. Помня «железки строк» поэмы «Во весь голос», Андреев противопоставляет им «нержавеющий» стих, «трансурановые размеры», чтобы говорить о той же эпохе, что и певец коммунистического далека. Он сообщает о страшной правде: «О триумфах, иллюминациях, гекатомбах, / Об овациях всенародному палачу, / О погибших / и погибающих... под расплющивающей / пятою...»

В пантеоне сталинско-советской мифологии Маяковский стоял в паре с Горьким. Назначенные основоположниками советской литературы, они несли груз и проклятие навязан-

ной им культовой роли. И в «Розе Мира» эти имена поставлены рядом. В главу «Русских богов» – «Темное видение», куда включен «Гиперпеон», вошло стихотворение «К открытию памятника». В тюрьме Андреев из газет узнал об открытии памятника крестному отцу 10 июня 1951 года. Памятник у Белорусского вокзала был воздвигнут Горькому «от правительства Советского Союза», то есть – от Сталина, главы правительства. Но, как и Маяковский, Горький для Андреева не только тот, кто бросал газетные лозунги об уничтожении врагов народа, которые не сдаются. Сутулящийся бронзовый силуэт – трагический герой, не вынесший груза высокого предназначения, потерпевший поражение: «...чуждый полдневному свету, / Он нем, как оборванный звук: / Последний, кто нес эстафету / И выронил факел из рук».

Судьбы Горького и Маяковского связаны с «кармою страны». Ею «скован по рукам дух». Но есть те, кто не прекращает борьбы с кармой, – в ней участвуют не только гении, но и полузабытые подвижники, и праведники прошлого. Они – «белый покров» над горестною страной.

В мире Даниила Андреева есть погибшие души, мертвых – нет. И хотя светлые иерархии ему понятнее, объяснимее, но, как вестник, он захвачен борьбой с демонической тьмой, спускается в нее, как в карцер, пытаясь разглядеть и описать населяющие ее силы. Пережив соблазны Дуггура, тьму рядом с собой он ощущал постоянно. Поначалу, опьяненный блоковскими кощунствами, он говорил о Дуггуре символистским языком, не находя соответствующих имен и понятий. Потом пытался придумать их, пока они не стали все отчетливей слышаться в тюремных ночах. Понятнее становился смысл когда-то соблазнявших голосов и образов. Юношеские стихотворения вспоминались и дописывались. Опять представлялся Юрий Попов, погибший друг, вместе с ним переживавший «молодость порочную хмельной души...», сопутник по блужданиям в московских ночах Дуггура. Опять слышался вкрадчивый голос, обещавший за самоубийство души: «Премудрость геенны вручу тебе я / В блаженном покое на дне мирозданья, / Глубоко под распрями волн бытия».

Он описывает действие силы, названной «Афродитой Всенародной» и даже «Афродитой Страны». Здесь использовано платоновское противопоставление двух образов богини любви – Урании небесной и Пандемос – народной. Чувствуя книжную тяжеловесность этого имени, он ищет другое, пусть более странное, но перекликающееся с именами прочих русских богов:

Многоногой,
тысячерукой,
тысячегрудой,
Но такою же обезумевшей, как и ты:

Всероссийские завихряющиеся пурги
Поднимающей, улюлюкая, в трепаке –
Не Венеры,
не Афродиты,
не Кали-Дурги, –
Той, которой
еще нет имени
в языке.

Даниил Андреев на выдумывание имен был неистощим. В детстве описывал придуманные планеты и страны, называл города, реки, долины, давал имена правителям и героям. Но имена русских богов и насельников демонических пучин он хотел услышать. А пока они духовным слухом не услышаны, звучат имена условные, сознательно сконструированные. Отнюдь не всегда убежденный, что и услышанное расслышано правильно, понимая, что человеческий язык лишь отдаленно может передать неземные созвучия, он не претендовал на истинность всех своих наименований.

Убежденный, что карма русской истории предопределяет страшный апокалипсический выход, он возвращается и возвращается к видениям почти неизбежной гибели всего, что ему дорого, «святых камней» Москвы. Без очищающей огнем гибели трудно представить освобождение русской души, условно названной Навной:

И разум мечется в бреду,
Предвидя свист и рокот пламенный
На страшных стогнах Белокаменной,
В осуществившемся аду.

Навна, казалось ему, выйдет из заточения на радиоактивное пепелище. Русская держава, превращенная в сталинскую демоническую цитадель, может освободиться только под беспощадными ударами внешнего противника. Так во владимирских острожных стенах тогда думал не один Даниил Андреев. Ошеломившее его в деревенской тишине Филипповской известие о Хиросиме осталось навсегда предварением апокалипсиса:

Видно в раскрытые окна веры,
Как над землею, мчась, как дым,
Всадники
апокалиптической эры
Следуют
один за другим.

Будут года: ни берлог, ни закута.
Стынь, всероссийская полночь, стынь:
Ветры, убийственные, как цикута,
Веют
из радиоактивных пустынь.

7. Трактат

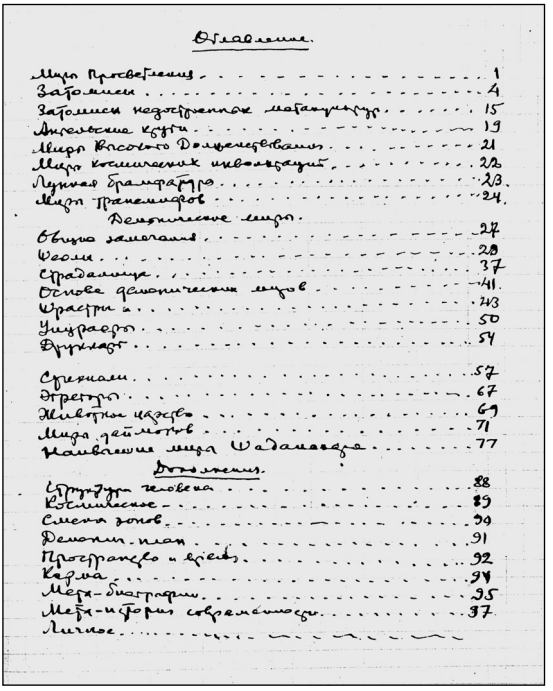
Заглавный мотив цикла «Над историей», определивший сюжет и «Русских богов», – «карма страны», проявляющаяся в истории. Как демоническое начало все больше начинает влиять на ход истории, как один Жругр – олицетворение государственности – сменяет другого, какие неземные силы в непрекращающейся борьбе проявляются в земных событиях и народных судьбах, рассказано в «Розе Мира». Но не только об этом. Каждому стихотворению надлежало определенным звеном войти в цикл, все вместе вырастало в единый поэтический ансамбль. Всеобъемлющую целостность бытия мог вместить только миф. Религиозное миросозерцание и есть миф. Поэтому Даниил Андреев утверждает: метаистория всегда мифологична.

Его миф – не рациональное выстраивание взглядов и представлений, а духовный опыт озарений и откровений. Их он ждал, на них надеялся, они входили в стихи. Он говорит об этом невысказанном опыте, о поисках равноценного откровению слова:

...давит душу тьма подпольная,
Гнетет невысказанный опыт,
В ушах гудит нездешний топот,
Не наш буран, не наша тишь...
Пусть не вмещают ритмы дольние
Тех сфер блистанье и величье:
Прости мое косноязычье
И отзвук правды в нем услышь.

Поэзия Андреева программна, его лирические высказывания всегда части осмысленного целого. Но теоретические построения как таковые его никогда не увлекали. Он чувствовал себя по преимуществу поэтом. Однако и без теорий, объяснений обойтись не мог, с его врожденным, почти маниакальным стремлением к систематизации и законченности. Миф всегда завершенное и непротиворечивое в самом себе целое.

В сущности, «Роза Мира» – книга, к которой он подступался не раз, обдумывал и писал всю жизнь. В 33-м году книга называлась «Контуры предварительной доктрины», в конце 50-го – «Трактат», позже – «Метафизический очерк». Да и таблица смены



Оглавление.

Мифы Просветления 1
Заторможенность 4
Заторможенность незавершенных метаисторий 15
Ангельские круги 19
Миры Высокого Домысливания 21
Миры космических инволюций 22
Лунная бронзатура 23
Миры Преемников 24
Демонические миры.
Вечно замкнутые 27
Уголы 28
Страдалищи 37
Основа демонических миров 41
Чрезвы 43
Инфраеры 50
Фурмлаг 54
Стремаи 57
Отрегры 67
Животные царства 69
Миры дейлотов 71
Наивысшие миры Шаданакара 77
Дополнения.
Структура человека 88
Космические 89
Смена эпох 90
Демонич. план 91
Пространство и время 92
Карма 94
Миры-биографии 95
Миры-история современности 97
Личное . . . . . .

Оглавление тетради с черновиками «Розы Мира»

красных и синих эпох из этого же ряда. «Трактат», писавшийся как вступление и первая часть метаисторической трилогии, втягивал в себя всё. Не только представления о многомерном мироустройстве и мистических движущих силах истории, но и всю жизнь автора.

Он всегда жил ожиданием духовных прорывов к инобытию, светлых видений Небесной России, прикосновений к тайнам темных миров. Но понимал, что это будут прорывы и в непознанную глубь собственного сознания:

Тайник, где бодрствуют праобразы
В глубиннейших слоях монады,
Где блещущие водопады
Кипят, невнятные уму, –
Вдруг разорвет стальные обручи,
Расторгнет древние засовы,
И мир бездонный, странный, новый
Предстанет зренью твоему.

Сомнения в достоверности духовидческого опыта, бóльшие или меньшие, у него бывали. Преодоление сомнений требовало некоей теории. В предлагавшихся еще не утраченной традицией

мистических учениях Андреев не видел безусловной истинности, находя множество противоречий. Решающим мог быть только собственный опыт, и он складывался не столько в учение, сколько в мифологический эпос. Эпос и мистический, и утопический, вмещавший все земное существование с прошлым и будущим.

Как утопия, эпос Даниила Андреева сосредоточен на будущем, ясно разделенном на три первоначальных этапа.

День завтрашний – кровавый, «день побоищ, день бурь и суда», живущий надеждой, потому что он – «ступень между будущим братством всеобщим / И гордыней держав, разрушающихся навсегда».

Послезавтрашний – напоминает «пустоши после потопа», но в нем воздвигнется «сень / небывалых содружеств Европы, / Всеобъемлющий строй единящихся материков».

В *день третий* наступит эпоха Розы Мира, сотворчества «всех на земле сверхнародов».

Но утопия «Розы Мира» религиозна, а потому эсхатологична, и за обозначенными этапами наступления эпохи Розы Мира бесстрашному поэту видится приход антихриста и окончание земной истории...

Прошлое так же значительно, как и будущее, не только потому, что в нем складывается карма истории, но и потому, что историческое прошлое в мистическом смысле во всей полноте входит в будущее.

Трактат поначалу писался медленно и предполагался введением в поэтические главы, которые к сентябрю 1952 года начали складываться в поэтический ансамбль «Русские боги». Главной демонической силой русской истории и персонажем книги представлялось чудовище, названное странным скрежещущим словом – Уицраор. Уицраор – мистически персонифицированная государственная власть, демоническая по своей природе. Постижению таинственной жизни уицраора, проявляющейся в истории, и посвящен «скрытый труд метаисторика».

Видимо, все же зимой 52-го, а не 51-го, как обозначено в одной из машинописей, написана поэма «Гибель Грозного»[28], где изображено одно из решающих метаисторических событий русской истории. В работе над поэмой все отчетливее и живописнее видится поэту демоническая династия русских уицраоров – Жругров. Следующая поэма – «Симфония о русской смуте» «Рух» – продолжение метаисторического эпоса. Ее он начал писать в сентябре, следом за «Гибелью Грозного». Тогда же наметил предварительный состав книги «Русские боги».

8. Сокамерники

На свободе на простодушное пожелание написать о годах тюрьмы Андреев ответил: «Об этом другие напишут». Но и другие узники пятидесятых о Владимирской тюрьме написали немного. И дело не столько в подписке «не разглашать условий тюремного режима» – мучительно вспоминать тюремные годы и почти невозможно объяснять не испытавшим на себе, чем тяжка острожная неволя. Передающие тюремный ужас воспоминания написаны уже послесталинскими узниками, диссидентами.

Девяностодвухлетний Шульгин, надиктовавший в 1970 году обрывочные воспоминания о владимирском заключении, названные «Пятна», о многом, видимо, помня подписку «не разглашать», поведать и не пытался. «Сокамерники там бывали разные, – рассказывал он, – одни были непроходимые мерзавцы. Так что если говорить совершенно чистую правду, то они были хуже, чем тюремщики. По крайней мере, мы от них больше страдали»[29].

Одного такого уголовника-убийцу по фамилии Базаров описал Раков, назвав, в отличие от тургеневского, «настоящим нигилистом». Этот Базаров, озлясь, становился зверем. А ненавидел он «всех, кого знал и кого не знал». Ненавидел истерично, и ему нравилось убивать. Зверство в нем пробудила война. Он с удовольствием рассказывал, как подростком добивал раненых немцев, на машинах застрявших в зимнем снегу рядом с их деревней: «Ну мы их всех и перебили. Прямо по голове автоматом – раз и нету! Как орехи щелкали... Смеху было... Бежать-то не могут...»[30]

Политические страдали от уголовников. Так было везде – на пересылках, в лагерях, в тюрьмах. Но и с ними надо было уживаться. О том, как политические жили с уголовниками в «академической» камере, явно идиллически рассказала жена поэта: «Можно себе представить, что это были за уголовники, получившие тюрьму, а не лагерь. Нам ведь в лагере всегда говорили, что любой убийца, бандит, грабитель, проститутка – люди, а мы, политические, нет. Так вот, тех уголовников, севших за что-то очень серьезное, и привели в камеру к Даниилу, Парину и Ракову. Те встретили вновь прибывших очень дружелюбно и просто. А вскоре стали проводить с ними занятия. Василий Васильевич читал им лекции по физиологии; Лев Львович – лекции по русской истории, особенно по истории обожаемого им русского военного костюма; Владимир Александрович – историю искусств; а Даниил сочинил специальное пособие по стихосложению и учил уголовников писать стихи. Помню, как Даниил, показывая мне эту тетрадочку уже на воле, смеясь, говорил:

– Знаешь, здесь абсолютно все, что должен знать поэт. То есть все, чему человека можно научить. Остальное от Бога: или есть, или нет, – научить этому невозможно.

Отношения с теми уголовниками сложились вполне доброжелательные»[31].

Андреев сближался с теми, в ком находил хотя бы нечто общее. Легко встретить не то чтобы разделяющих его миропонимание, а даже сочувствующих ему, он не надеялся. Шульгин, интересовавший его как исторический деятель и как литератор, оказался человеком религиозным, с мистическими настроениями, для которого «загробная жизнь – реальность». Василий Витальевич даже отчасти разделял его индуистские увлечения, не только веря в опыты йогов, но и в «карму», находя в самом звучании неслучайную близость с русским словом «кара». Но и с Шульгиным, вызывавшим симпатию честностью и ясностью ума, настоящей духовной близости не сложилось. А Парин и Раков, широко образованные, глубокие и тонкие люди, совсем не сочувствовали религиозности Андреева, казавшейся им маниакально-болезненной. Но не могли не оценить и не полюбить Андреева. «От этих лет у меня осталась непреходящая любовь к Даниилу Леонидовичу, преклонение перед его принципиальностью, перед его отношением к жизни как к повседневному творческому горению, – писал Парин, радуясь первой посмертной публикации стихотворений сокамерника. – Он всегда читал нам – нескольким интеллигентным людям из общего населения камеры (13 “з/к”) – то, что он писал. Во многих случаях с его философской (метаисторической) трактовкой нельзя было согласиться, мы спорили страстно, подолгу, но с сохранением полного взаимного уважения. И даже в таких случаях в конце концов у всех нас оставалось глубокое убеждение в том, что перед нами настоящий поэт, имеющий свое индивидуальное неповторимое видение мира, выношенное в сердце, выстраданное»[32].

Гаральд Нитц, вспоминая Андреева и Ракова тех времен, когда сочинялся «Новейший Плутарх», рассказывал: они написали «что-то очень занимательное и, видимо, смешное... Все смеялись. Мне повезло быть с ними... Интереснейшие люди! Оба так скрасили мое пребывание там...»[33] Нитц и сам сочинительствовал, писал стихи. Видимо, это он перевел тогда несколько стихотворений Даниила Андреева на немецкий. В июне 52-го, когда Раков получил фотографию дочери и радостно показывал ее сокамерникам, Нитц написал стихотворение «Маленькой дочери друга». В нем он писал о семерых узниках, чья жизнь течет заунывно, как песок в часах, давно забывших женскую

ласку и обрадованных вместе с другом этим девичьим письмом и фотографией...

Часто Андреев спорил с Раковым, особенно на исторические темы. Конек Ракова – история военной формы в России (перед арестом он успел издать «Очерк-путеводитель по выставке “Русская военная форма”»). Она стала темой его рассказов-лекций в «академической» камере. Но не только она. Блестящая эрудиция Ракова была широкой – от античности до трудов отцов церкви, от статей Константина Леонтьева до истории русского флота.

В тогда же написанном Раковым рассказе-эссе «Судьба Онегина» истина выясняется, как в платоновских диалогах, в спорах. Четверо больных (понятно, заключенных) в одной палате (камере) несколько вечеров обсуждают X главу «Евгения Онегина»: «У нас сложилась традиция открывать собеседования за ужином».

Трое спорящих узнаются безошибочно, это – Андреев, Парин и сам автор. Андреев в тексте назван Никитой Ивановичем. «Никита Иванович, – сообщает Павел Павлович, персонаж представляющий автора, – мой большой друг, редкий писательский и поэтический талант которого был известен и признан только обитателями нашей палаты, он ничего не успел напечатать». Парин назван Петром Николаевичем, о нем говорится – «ученый физиолог, казавшийся старше своих пятидесяти лет благодаря окладистой серебряной бороде, похожей на бороду адмирала Макарова...». В тюрьме Парин переболел гепатитом. Кто такой четвертый собеседник – Федор Алексеевич, названный специалистом по истории русской литературы, определенно сказать трудно. Но вероятнее всего, это Борис Леонтьевич Сучков, профессиональный литературовед, правда, больше, чем русской литературой, занимавшийся зарубежной – немецкой и французской. В тюрьму, перед арестом работавший на идеологическом посту директора Издательства иностранной литературы, он попал как американский шпион. Как шпионка сидела в лагере его жена, актриса. Но Сучков и в камере отстаивал идейные позиции советского литературоведения. Замечание Ракова, что «Федор Алексеевич Пруста не любил за “бергсонианство”, “архиснобизм”, “аполитичность”, “бесконечное копание в себе”», наверное, не случайно, позднее Сучков писал и о Прусте. Хотя Прустом увлекался и сам Раков. Тюремные беседы и споры о Пушкине, конечно, не придуманы. Их отзвуки попали на страницы «Розы Мира», посвященные Пушкину.

После тюрьмы называвший Льва Львовича Левушкой Андреев не случайно испытывал к нему дружеские чувства. Их многое сближало. Почти ровесники (Раков был на два года

постарше), оба они помнили счастливое предреволюционное детство, оба росли без отцов, среди любящих женщин, оба говорили на языке одного круга и одной культуры – Серебряного века... А различия – успешная советская деловитость Льва Львовича и практическая беспомощность Даниила Леонидовича – в сведшей их камере не имели значения... Ну а единомышленники-мистики вообще могли встретиться лишь в трансфизических странствиях. По крайней мере, именно Ракову Даниил Андреев с особенным чувством читал «Ленинградский Апокалипсис». Что происходило в осажденном Ленинграде? Раков знал не только как очевидец, участник прорыва блокады, но и как историк. Да и мало кто даже в их «академической» камере мог оценить эпическую мощь «русских октав» поэмы так, как давний приятель Михаила Кузмина.

Слушавшего их споры «простого паренька» Петра Курочкина «старшие товарищи интеллигенты учили началам наук». Курочкина привела в централ собственная страшная история. Он о ней рассказывал так:

«Арестован я был в 1950 году, 16-летним парнем. Я жил тогда в Ленинграде. Как-то зашел с дружками в кафе, мы крепко выпили, повздорили, у одного из нас оказался наган, и он два раза выстрелил в портрет Сталина. Нас судили и дали по 25 лет тюрьмы, пять лет ссылки и пять лет поражения в правах. Я попал в лагерь в Мордовии – сперва в лагерь для несовершеннолетних». В лагере Курочкин оказался замешан в драке, в которой был убит «бандеровец», и после суда получил «10 лет закрытой тюрьмы строгого режима»[34].

Запомнил он и свое появление в 49-й камере централа в январе 1952-го. «Когда открыли дверь камеры, все обитатели ее уже стояли. Так положено по уставу: если кто-либо входит в камеру, все должны встать, пока надзиратель гремит затворами. Я помню, что вошел и сказал:

– Здорово, братцы!

Поздоровался со всеми за руку и сразу заметил недоумение на лицах. Потом они объяснили, что мое появление ввергло их в огромное изумление. Все они солидные мужи, "матерые преступники", а тут к ним мальчика привели. Я был щуплым маленьким 18-летним пареньком. Узнав, какой мне назначен срок, они изумились еще больше.

Мое место оказалось рядом с местом Василия Васильевича. Он высокий, худой, с длинной седой бородой, добродушно посмеивался над моим появлением и почему-то сразу мне понравился. Кровати были вделаны в пол, не кровати, а топчаны, поверхность из продольных и поперечных металлических прутьев. Мне при-

несли тощий тюремный матрац, наматрасник (простыней не полагалось), одеяло, и я стал полноправным обитателем этой камеры 49 <...>

Камера была довольно большая, вдоль стен кровати-топчаны, всего шестнадцать штук, посередине стол и скамейки, на которых днем можно было сидеть за столом, можно было также ходить, но одновременно могли ходить не больше двух человек, лежать же днем категорически запрещалось»[35].

Андреев относился к Курочкину с товарищеским вниманием, и тот к нему привязался, всю жизнь вспоминая «интересного и необычного человека» и гордясь его вниманием: «Я, Парин, Александров, Раков и Андреев держались вместе: это была наша группа»[36].

Александрова Андреев называл типом из Достоевского «со всеми его плюсами и минусами». В свою очередь тот, вскоре после их знакомства в 50-м году, говорил о сумасшествии Андреева, причем «искренне и с соболезнованием», как с грустной иронией замечал объявленный сумасшедшим.

И с неизменной приязнью вообще любивший деятельных и сильных людей – себя он таковым не считал – Андреев относился к Гогиберидзе. С ним он сидел в одно время с Шульгиным, в камере 3-го корпуса.

Впрочем, тот вызывал симпатию у всех, восхищал грузинской жизнерадостностью, честностью. Арестованный в 1942 году Симон Леванович Гогиберидзе, прямой и открытый, в тюрьме не скрывал ни своего «дела», ни взглядов. «Высокий, широкоплечий, со жгучими карими глазами», красивый «даже с остриженной головой, в наряде арестанта»[37], – вспоминал оказавшийся в 47-м на соседней койке сокамерник. В юности став социал-демократом, в 21-м году Гогиберидзе воевал за Грузинскую республику, в 24-м участвовал в восстании за независимость и затем оказался в эмиграции, в Париже. В 40-м году по поручению Ноя Жордании, бывшего главы независимого грузинского правительства, из Турции Гогиберидзе нелегально перебрался на родину, чтобы узнать о подпольных организациях социал-демократов, но никаких организаций не нашел. Через два месяца после благополучного ухода за границу органы арестовали его мать: за недонесение... Рассказывают, позже министр госбезопасности Грузии Рухадзе, арестовывавший мать Гогиберидзе в 52-м оказался в той же Владимирской тюрьме, а в 55-м в Тбилиси был расстрелян... В 42-м Жордания послал Симона Гогиберидзе в Грузию для противодействия попыткам абвера вызвать там восстание, сказав, что сейчас не время бороться с большевиками... Его арестовали и не рас-

стреляли лишь потому, что следствие установило: Гогиберидзе вел подпольную агитацию за советскую власть.

Политическим – социал-демократическим – идеалам своей юности Гогиберидзе оставался неколебимо предан. «От общения с ним делалось светлее»[38], – вспоминал Револьт Пименов, сидевший с ним в шестидесятых.

Другой сокамерник Андреева – Исаак Маркович Вольфин. Арестованный в 46-м и обвиненный в связях с иностранцами вместе с другими преподавателями ВИИКА, где преподавал шведский язык, он свои 25 лет получил за шпионаж. Перед войной Вольфин работал в Швеции, под началом Коллонтай, на которую у него пытались выбить показания; потом, в 43-м, после заявлений с просьбой отправить на фронт, попал в морские части. Повидал он многое, одному из сокамерников рассказывал, как видел на Северной Двине трупы детей высланных кулаков...[39] Андреев так описывал Вольфина в письме жене: «Это – человек другого круга, с которым мы с тобой сталкивались очень мало. Он моряк, очень много колесил по морям и портам, большой любитель swing'а, обожает и просто живет музыкой, но внешне грубоват, любит рискованные остроты; а душа у него сильно изранена, и человеческое отношение он ценит до болезненности высоко. А наряду со всем этим – много еще неизжитого юношеского (хоть ему 44) легкомыслия и, по-моему, некоторого авантюризма (не в дурном смысле)»[40].

Зея Рахим (или Рахим Зея Абдул-Хаким-Кирим-Оглы) – самая таинственная личность из сокамерников Андреева. Арабист и японист, он попал в заключение как японский шпион в 46-м году. По происхождению, по его словам, египтянин, выросший в мусульманской семье. По документам – родившийся в Мукдене татарин. Знакомым после освобождения представлялся как Харун ибн Кахар, шейх Уль-Мюлюк, эмир Эль-Каири и рассказывал о себе, что родился в Александрии, учился японскому в Токио, бывал в Женеве и Лондоне, а арестован в Мукдене, где был владельцем двадцати четырех фабрик и банка[41]. Оказавшись с Андреевым в одной камере, Зея с ним сдружился, относясь с восточной предупредительностью и почтительностью, как младший к старшему, – ему было тогда около тридцати, оказывал всяческие услуги. Начитанный, эрудированный в самых разных областях – от истории Востока до современной физики, умевший уважительно и сочувственно слушать, он не мог не привязать к себе. Парин и Александров очарованности Зеей не разделяли, и не только они. Но Андреева убедить не могли. Он считал «абсурдной версией» предположение Александрова, что Зея – стукач.

В добрых отношениях с Рахимом поначалу был и Курочкин, которого Парин предостерегал от этой дружбы. «Потом я узнал нехорошее о нем, и наши отношения разладились, – вспоминал Курочкин. – Взяли его в Маньчжурии, он то ли скот продавал японцам, то ли шпионил на японскую разведку. Хорошо знал японский, русский, арабский языки, все быстро схватывал, у него было умное, интеллигентное лицо».

Упоминает Курочкин и немцев с японцами. По его словам, сидевший с ними сын генерала Кейтеля был неприятным, высокомерным, «с гонором относился к русским. Кейтель повздорил с Кутеповым, кажется, выясняли, кто из них родовитее, дошли до взаимных оскорблений, я вмешался, нагрубил немцу. Потом его убрали от нас, чтобы не было более подобных эксцессов.

Еще раньше, по рассказам Василия Васильевича, в камере был немец Крумрайт, его обвинили в уничтожении в Австрии 10 тысяч евреев. Он этим ужасно возмущался, писал жалобы, требовал пересмотра дела. Он говорил, что его обвинили несправедливо, ибо он уничтожил 6–8 тысяч евреев, но никак не десять».

«Еще с нами был японец, дипломат Куродо Сан, очень культурный человек, упорный. Французский язык одолел за 3–4 месяца самостоятельно, русский знал хорошо, хотя говорил с акцентом» [42].

Кроме «академиков» и уголовников сидели в камере и пламенные коммунисты, из тех, что попали в «ленинградское дело».

Но Андреев общался не только с сокамерниками. Тюремная связь со своими налаженными каналами и отработанными приемами действовала и при самом жестоком режиме. Заключенные перестукивались, обменивались посланиями, умудрялись знакомиться. Внизу в те годы существовало восемь прогулочных дворов, разделенных забором. Дворами назывались «маленькие клетки-отсеки»: «...два ряда узких отсеков. Поверху ходят два часовых, следят, чтобы никто не пытался общаться с гуляющими из других камер (каждый отсек на камеру). Дотронуться даже до стены нельзя – немедленно вся камера лишается прогулки. Идем друг за другом по кругу, – рассказывал о тогдашних прогулках Курочкин, – полчаса в одну сторону, полчаса в другую, чтобы голова не закружилась...»[43] Но в заборе отыскивались щели. Как вспоминал сидевший в одиночке Меньшагин, когда постовой оказывался от него в другой стороне, он мог с гуляющими соседями перекинуться несколькими фразами. «И они то же самое – видят, что человек смотрит, спрашивают: кто? Давно ли? Откуда? Какая статья? Сколько сидишь?»[44]

После тюрьмы Андреев рассказывал жене о некоем юристе, сидевшем, как и Меньшагин, в одиночке. Несмотря на это, они знали друг друга: «Когда его одного выводили на прогулку, он выходил с пайкой хлеба, чтобы кормить голубей. Все голуби слетались ему на плечи, а он давал им этот хлеб – единственное, что имел»[45].

9. Снобдения

В снобдениях, в тысячах ночей на казенном ложе, отправляясь в трансфизические путешествия, как Даниил Андреев называл свои состояния, ему открывалось и неизвестное, и знакомое, но с неожиданной, таинственной стороны. В записях о путешествиях в потустороннем есть раздел «Личное». Личное входило в стихи, попадало на страницы разраставшегося трактата. И то, что казалось совсем не личным, часто исходило именно из личного. Многие записи, как кажется, вырастали не из небывалых откровений, а из давних переживаний и ощущений.

Одна из записей – история предсуществований, предыдущих жизней, – в них он верил безусловно. Это комментарий к давнишним строкам – «...я умер. Я менял лики, / Дни бываньи, а не бытие...», ко всему циклу «Древняя память», написанному почти двадцать лет назад.

Он записывает об Атлантиде и о Гондване. Причем под Гондваной имеет в виду не легендарный материк, а некую метакультуру, включающую остров Яву, Суматру и Южную Индию. Он помечает, что жил в странах Наири. Припоминает о прежней жизни в Индии – то на севере ее, во времена империи династии Гуптов, при которых процветали литература и искусства и где он был заклинателем змей, то в XVII веке, в Траванкоре, где видит себя брамином-поэтом, живущим на побережье, у озер или у гор, у синей вершины Анаймуди. Именно там, на юге Индии, предопределился его путь поэта в последующей жизни: «Дар поэт<ической> ген<иальности> был решен, еще когда ты умирал в Траванкоре».

Он записывает о встрече с девушкой, изображенной им некогда в поэме, и тут же возникает давнишний соперник Ю. (Юрий Попов): «Ради ее любви ты отдал сомнит<ельные> блага. Исключен из касты и изгнан. Встречался и в других слоях, но в одном из них Ю. соверш<ил> тяжкую ошибку». «Вызволить Ю. стоило огромных усилий. Он же падал ниже Агра...» Агр, четвертый из слоев чистилищ, слой «черных паров», где грешники искупают свою карму, подробно описан в «Розе Мира» Одно из мучений Агра – «чувство бессильного стыда и созерцание соб-

ственного убожества. Другое мучение в том, что здесь начинает впервые испытываться терпкая жалость к другим подобным и приходит понимание своей доли ответственности за их трагическую судьбу». Собственно похожее мучение и переживал Андреев, все время возвращаясь к своей вине – действительной или мнимой – перед Поповым.

Так все его трансфизические путешествия оказывались связаны с собственной жизнью и были путешествием по мирам прошлого, обостренно вновь и вновь переживаемого глубинами подсознания. Он пишет о чаемой встрече с другом юности в иных мирах: «Сердце остановится. Он бросится к тебе сам. Будет безумно любить, и ты его так же. <...> Поэтому прост<ится> все, при условии, что это не повр<едит> миссии. Станет чудесн<ым> художн<иком>: роспись одного из замечат<ельных> храмов С<олнца> М<ира>».

В записях живые и ушедшие рядом. Под заголовком «Судьбы посмертные» он делает пометы, не все из которых понятны. Первыми обозначены судьбы самых близких – Добровых. Саше Доброву нечто «ускорит смерть», но он «спасет мать из Морода», то есть из третьего слоя чистилища, царства абсолютной тишины, где пребывающих мучает тоска великой покинутости. Рядом с именем Елизаветы Михайловны два слова: «Мород. Тайна». Какая семейная тайна здесь скрыта, мы не знаем. Дяде, Филиппу Александровичу, назначены «лучезарный покой» и «творчество во время смены эонов». Ниже перечислены те, о которых он ничего не записал, видимо, ожидая сведений о них в предстоящих трансфизических состояниях. В списке: Ирина Усова и ее муж – Налимов, Татьяна Усова, первая его жена Александра Львовна Гублёр, Мария Васильевна Усова, Сережа Ивашев-Мусатов, Аня – видимо, Егорова, Зоя Киселева...

О Коваленском Андреев никогда не забывал, постоянно ведя воображаемый диалог и спор с ним, дорожа «тонким хладом» дружбы, как он определил их отношения. В октябре 50-го, в стихах обращаясь к нему «незабвенный, родной» и не получая «ни вестей, ни ответа», писал:

И промчались безумные годы,
Обольстив, сокрушив, разметав,
Заключив под тюремные своды
И достойных, и тех, кто не прав.
Где же встреча? когда? меж развалин?

Андреев постоянно вспоминает стихи Коваленского, цитирует, размышляет о его судьбе. Она, как кажется, открывается ему в новом метаисторическом свете: «Ков<аленский>. Несу

ответств<енность>. Сейчас сдел<ать> нич<его> нельзя, а потом увижу <...> Надеюсь, нисх<одящего> посм<ертия> не буд<ет>. Осталась способн<ость> писать хор<ошие> стихи, но нич<его> первокласс<ного> не созд<аст>. Ему предназнач<ена> опр<еделенная> роль во II э<оне>, до этого обречен на малую активность.

Была миссия, кот<орая> снята в <19>45, независимо от его вины».

10. Смерть Сталина

Свежие газеты заключенным не полагались, а с начала марта их перестали давать вовсе и не давали месяца полтора. Но о смерти Сталина тюрьма узнала сразу. Вот рассказ о том, как о ней узнал Андреев: «В ночь с 5 на 6 марта 1953 года камера спала, а Василий Васильевич Парин не мог заснуть от какой-то очередной болезни – все они были больны, ведь тюремная камера – место, где и здоровый заболеет. И вот Василий Васильевич, мучившийся без сна, услышал в ночной тишине обрывки слов, звучавших по репродуктору на близлежащей улице: "...вождь мирового пролетариата... скорбь народов всего мира..." и т. д. Он догадался, в чем дело, и утром поспешил сообщить об этом Даниилу. Но как? Сказать в камере, где сидят несколько человек, в том числе и стукач, означало в лучшем случае карцер, а может, и второй срок. Василий Васильевич сообщил так: подошел к Даниилу, изобразил рукой усы и показал пальцем в пол. Даниил ахнул. Василий Васильевич повторил пантомиму. Потом, кажется, в 2 часа дня по всему Советскому Союзу завыло все, что могло выть»[46].

Среди осужденных за мнимые преступления на двадцать пять лет политизолятора нашлись и благоверные коммунисты, зарыдавшие о «вожде народов». Но и они понимали, что надо ждать больших перемен. Отношение к заключенным не сразу, но стало помягче.

То, что переживал тогда Даниил Андреев, в «Розе Мира» превратилось в метаисторическую картину, написанную с босховским размахом. Смерть Сталина стала в ряд судьбоносных событий русской истории и метаистории. В тюремных тетрадях есть запись: «Яр<освет> сражался с У<ицраором>: <18>55, <18>81, <1>904, <19>23, <19>33, <19>49, <19>53 (дважды)». Смерть деспота изображена в «Розе Мира» так, словно бы из тюремной камеры поэт воистину переносился туда, где шла битва нечеловеческих сил зла. Духовное видение, принимавшееся как высшая правда, подхватывало поэтическое воображение. Но за воображением – многолетние размышления о Сталине как о персонифицированном выражении темной тирании.

В черновых записях к «Розе Мира» он набрасывает метаисторический портрет Сталина и ситуацию среди его присных:

«Ст<алин>.

Лицо. Голос.

1) Мучительство. 2) Путь к абс<олютной> тир<ании>. 3) Кесарское помешат<ельство>: кровопускание, мания преследов<ания>, самопрославление...

Тень.

Выскочка: безвкусие».

«Ген<иальность> госуд<арственная> была вырвана, когда он был еще ребенком. <Гениальности> научной и слова удалось помешать еще до рождения. Отсюда – монот<онность> устной и письм<енной> речи. Это – искалеч<енный> темный универсальный гений. Но это могло удаться лишь однажды. Теперь Урп<арп> знает, как оградить свое чадо».

«С<талин> вовсе не обл<адал> мистич<еской> слепотой. Материализм был лишь маской. Был момент (<19>51), когда он даже молился в великом ужасе: ему приоткрылась грядущ<ая> перспектива – вплоть до судьбы Антих<риста>. Но упорство и безум<ная> беспред<ельная> жажда власти превозмогли.

Он надеялся, что наука успеет дать ему физич<еское> бессмертие. А мечта была с детства. – Пав уже до Шим-бига, он, уже в клочкообразн<ом> теле, вырвался при помощи анг<елов> мрака. Он же еще был очень силен и страшен (окт<ябрь> 53). В битве с ним трое из бр<атьев> Синклит<а> были пленены и до сих пор находятся в задней темн<ице> Друккарга (в том числе Якубович-Мельшин)».

«С<талин> умер в результате обрыва канала инвольт<ации> во время поражения Ж<ругра> в битве с дем<иургом>. Это выглядело как удар. За время от уд<ара> до смерти М<аленков>, Б<ерия>, М<икоя>н (знал, но непосредственного участия не принимал) и Х<рущев> постарались, чтобы не выздор<овел>. Б<ерия> не оставил другого выхода, кроме переворота, п<отому> ч<то> был разоблачен.

Мол<отов> был в смятении. Прест<упления> Б<ерии> – миллионы невин<но> погибших. Причины 3: 1) запугать С<талина>, 2) держать страну в ужасе и немоте, 3) неутолимая жажда крови.

У него была тем<ная> миссия, но сознание плоское, как стол. На следств<ии> он разоблачил всех, это была его месть, а мстить он умел. Они сидели друг перед другом как оплеванные. Среди них нет никого, кто не знал бы преступ<лений> других. Пауки в банке».

Детали картины сложились не сразу. Из официозных сообщений газет, наконец попавших в камеру, из ручейков слухов,

бежавших отовсюду. Смерть тирана, человекоорудия демона государственности, представлялась Даниилу Андрееву не обычной смертью старого и больного человека, а результатом действия метаисторических сил, видевшихся в олицетворяющих их образах.

«В первых числах марта 1953 года произошёл решительный поединок между Яросветом и Жругром. Канал инвольтации, соединявший существо уицраора с его человекоорудием, был перерезан во мгновение ока. Если бы это можно было сделать раньше, настолько же раньше оборвалась бы и жизнь человекоорудия, так как никаких человеческих сил было недостаточно, чтобы выдерживать лежавшую на этой психике и на этом физическом организме нагрузку. Это совершилось около двух часов ночи. Через полчаса его сознание угасло, но агония продолжалась, как известно, несколько дней. Урпарп подхватил оборванный конец канала инвольтации и пытался сам влить в погибавшего силу и сознание. Это не удалось – отчасти потому, что несколько человек, сновавших у смертного ложа, постарались, чтобы он не вернулся к жизни. Мотивы, руководившие этими людьми, были различны. Некоторые боялись, что, если он останется во главе государства, он развяжет войну, а война рисовалась им как великое бедствие для всех и смертельная опасность для Доктрины. Но был среди приближённых и тот, кто столько лет стоял у руля механизма безопасности; он знал, что вождь уже наметил его как очередную жертву, очередную подачку глухо ропщущему народу; на него должна была быть возложена в глазах масс вся ответственность за миллионы невинно погибших. Кончина Сталина приоткрывала для него шанс к тому, чтобы самому занять его место. Линия его деятельности при жизни вождя диктовалась тремя мотивами: запугивать Сталина, раздувая и выдумывая физические опасности, якобы грозившие ему со всех сторон, держать страну в узде страха и немоты и этим самым утолять собственную жажду крови. Человек этот был носителем тёмной миссии, заключавшейся в умножении всенародных страданий, но сознание его было плоским и амистичным, как стол, а объём его личности и дарований – ничтожным. Это был Малюта Скуратов XX века.

Наконец великая минута настала: Сталин испустил дух.

От этого удара дрогнула Гашшарва. Друккарг огласился воплями ужаса и гнева. Жругр взвыл от ярости и боли. Полчища демонов взмыли из глубин в верхние слои инфракосмоса, стараясь затормозить падение умершего в пучину магм.

Горестное беснование передалось в Энроф. Похороны вождя, вернее, перенос его тела в мавзолей, превратились в идиотическое столпотворение. Морок его имени и его дел был так велик, что

сотни тысяч людей восприняли его смерть как несчастие. Даже в тюремных камерах некоторые плакали о том, что же теперь будет. Толпы, никогда не удостаивавшиеся чести видеть вождя при его жизни, теперь жаждали улицезреть его хотя бы в гробу. Москва являла собой картину Бедлама, увеличенного до размеров мирового города. Толпы залили весь центр, пытаясь пробиться к Дому Союзов, где был выставлен для обозрения труп тирана и откуда должно было выступить траурное шествие. Прилегающие улицы превратились в Ходынку. Люди гибли, раздавливаемые о стены домов и столбы фонарей, растаптываемые под ногами, срывающиеся с крыш многоэтажных домов, по которым они пробовали миновать клокотавшее внизу человеческое месиво. Казалось, будто он, питавшийся всю жизнь испарениями страданий и крови, даже из-за гроба тянул к себе в инфракосмос горы жертв».

Сталин умер, и начинали веять иные времена.

26 июня арестовали Лаврентия Берию, 23 декабря казнили.

Уже с августа 1953-го заключенным разрешили писать по письму в месяц.

1 сентября отменили ОСО. Начались первые освобождения невинно осужденных.

События 1953 года в снобдениях Андреева превращались в картины схваток на изнанке мира, где решались судьбы земной истории. 22 октября он записал: «Раругги совсем сбесились. Буйствуют. Окружили капище, не дают игвам входа. Свергли статую. Игвы не хотят в<ойны>... Раругги способны на мас<совое> самоуб<ийство> в случае, если шансов на миров<ую> победу не останется.

Хр<ущев> много дней не вых<одил> из дому; страх. Но должен быть скоро на засед<ании> пр<езидиума> ЦК. Там будет буря, неизвестно чем кончится...» В «Розе Мира» Андреев объяснял эти события тем, что «демонический разум» отказался от идеи Третьей мировой войны, схватка кончилась победой умеренных. А «нежестокий от природы характер» Хрущева «оставлял в существе его как бы ряд щелей, сквозь которые могла проструиться <...> инвольтация светлых начал».

Перемены сразу отозвались в лагерях и тюрьмах. 29 октября 1953 года вернулся домой Василий Васильевич Парин, которому покойный правитель отказывал в доверии. Раков тоже стал пытаться получить свободу, 25 ноября написал заявление в Президиум ЦК КПСС. Он писал об абсурдности обвинений и просил о встрече с работником ЦК, как бывший член партии, чтобы рассказать о своем «деле». «Только очень прошу, – заканчивал Раков, – не вызывать меня на Лубянку или в Лефортово, не возвращать (уже третий раз в жизни) к пытке следствия». Но ответа не получил.

С ноября энергичные хлопоты за дочь начал Александр Петрович Бружес.

11. Право :на переписку

Юлия Гавриловна, всегда взвинченная, живущая в кольце страхов, пляшущих вокруг нее ночными тенями худших предположений и ожиданий, что было, по словам дочери, ее естественным состоянием, при всей неутомимости в служении семье втягивала близких в свое мучительное нервное поле. На просьбы зятя сообщить адрес жены она отвечала резко: «Повторяю, что я не знаю, имею ли право на это, и у меня нет решимости идти спрашивать об этом. Очень я потрясена страшным ударом до сих пор и, по-видимому, навсегда. Я не могу, нет у меня слов, чтоб передать наши переживания, те же острые, как первые дни»[47]. Андреев обращался к ней сдержанно, обдуманно, тем более что мог писать лишь два небольших письма в год. В апреле 1952-го Андреев благодарил тещу за ежемесячно присылаемые 50 рублей. Совсем небольшая сумма в тюрьме, где все – не только деньги – измерялось совсем иными масштабами, чем на свободе, существенно улучшала жизнь. «С сентября прошлого года до 1 апр<еля> мною было получено от вас 350 руб<лей>... – отчитывался он. – Здоровье мое по-прежнему. В последнее время очень мучаюсь с зубами. Следующее письмо Вам надеюсь послать в марте и<ли> апреле 1953 г.»[48].

Юлия Гавриловна отвечала немногословно и определенно: «Подумайте серьезно, очень серьезно о моем отказе дать вам адрес дочки»[49]. А дочери 5 марта 53-го писала: «Даня жив и здоров, я ему посылаю деньги, так же, как и тебе, и такую же сумму. Относительно его адреса, тебе не сообщаю не только потому, что ты нам перестанешь писать, а потому, что не знаю, могу я это сделать или нет...» И 7 мая: «Сегодня я написала Дане о том, что ты жива-здорова и больше ничего, так-то вот, моя ненаглядная...»

Та все понимала, ища слова утешения родителям, но тон утешений, как ей свойственно, энергично наступательный:

«Любимые мои, мои хорошие!

Какие же мне найти слова, чтобы успокоить вас хоть немножко? Правда же, я не обманываю вас: я здорова, спокойна, весела, я умею всегда найти смысл и радость в жизни, во всем, что мне приходится переживать, а это – самое главное. <...>

Моя судьба закрыла вам весь свет в окошке, но даже ее – эту судьбу, вы не имеете возможности правильно оценить. Берегите же себя, любимые, вы должны иметь для себя какую-то точку опоры, вы должны хранить и беречь себя, мы увидимся, мы

будем вместе, мы с Даником сумеем хоть немножечко заплатить вам за все страшное, что вы из-за нас перенесли и переносите, и за всю вашу заботу о нас, мои бедненькие, мои ненаглядные! Я очень плохо пишу, мне слов не хватает, поймите.

Если б вы знали, как я благодарна вам за помощь ему! Я не смела просить вас об этом, но меня день и ночь мучило, как он живет. Вы не имеете никакого представления о том, какое это имеет значение.

Как вы могли думать, что я, узнав его адрес, перестану вам писать? Я всегда была очень плохая по отношению к вам, но все же не настолько! Мой Даник лучше всех поймет, что, пока положение с письмами таково, как сейчас, я буду писать вам, но ведь все, что я пишу вам, интересно и важно и для него, потому что это моя жизнь, поэтому надо мое письмо, прочтя, послать ему. Его я тоже прошу писать только вам, наши адреса могут измениться, а ваши письма я всегда получаю очень аккуратно, только ради Бога не забывайте надписывать обратный адрес. Милые, я понимаю ваш страх и вашу осторожность, но не слишком ли это теперь, в этом вопросе? Вы никогда не имели никакого отношения к нашему, с позволения сказать, “делу”, а помочь двум любящим людям через столько лет немножко знать друг о друге – никаким законом, по-моему, не запрещается».

Письмо родителям переходило в письмо мужу: «Даник, мой любимый! Я столько лет ждала твоего письма, и дождалась, и увидела тебя именно таким, каким все время молилась, чтобы ты был. Будь спокоен, я прошла трудный и сложный путь, и сейчас я тоже такая, какой ты меня хочешь видеть, мечтая обо мне, я это знаю. Я не хочу сейчас вспоминать плохое, что я сделала на своем пути – я за него платила, плачу́, и буду платить, и тебя прошу: не мучай себя воспоминанием о твоем, никогда не существовавшем, невнимании ко мне – для меня наша с тобой прошедшая жизнь не имеет ни одного темного пятна. Как бы я хотела Дюканушке и маме передать нашу с тобой глубокую веру и душевные силы!»

И опять к родителям: «Солнышки мои, любимые, ненаглядные, я всегда с вами, и я гораздо лучше, чем была прежде! Жизнь моя, хоть мамочка и не верит, все-таки спокойна...» Она писала о том, как замечательно живется ей в лагере: «Работаю, читаю, вышиваю (декоративных птиц на сером холсте), немножко играю на рояле, аккомпанирую, оформляю. “Театральные” дела немножко застопорились, потому что больше нет режиссера, но художественное чтение не брошу, тем более что оно для меня труднее, чем любая роль, значит, надо это одолеть. У нас много очень красивых цветов, и я немножечко вожусь с ними – это тоже

радость. Ненаглядные, можно жить в Москве, нарядной и веселой, и меньше чувствовать глубину и смысл жизни, чем иногда здесь. Даня это знает, потому что идет той же дорогой, а вы уж поверьте на слово...»[50]

1953 год – год перемен, и после смерти Сталина самым важным событием для Андреева стала переписка с женой. Ее адрес в конце концов он узнал сам и первое письмо написал 21 июня 53-го, еще не получив от нее ни строчки.

«Бесценная моя, ненаглядная девочка!

С трудом могу представить, что в ответ на это письмо придут строки, написанные твоей рукой, и я буду читать их наяву, а не в бесконечных, бесчисленных снах о тебе. Боль за тебя – самая тяжкая из мук, мной испытанных в жизни, – вряд ли нужно говорить об этом, ты знаешь сама. В каких ты находишься условиях и в чем черпаешь силы – эта мысль без конца гложет и сознание, и душу, и в этом смысле каждый день имеет свою долю терзаний. Семь лет я думал, что моя любовь к тебе велика и светла. Но каким бледным призраком представляется она по сравнению с тем, что теперь! Если бы тогда она была такой как теперь – не знаю, смог ли бы я уберечь тебя от страшных ударов – в этом было слишком много независимого от моей воли – но, во всяком случае, наша совместная жизнь была бы другой. Как нестерпимы теперь воспоминания о раздражительности из-за пустяков, внутренней сухости, непонимания величайшего дара из всех, какие послала мне жизнь. Вообще, мне поделом. Себя я не прощу, даже если бы меня простили все. И если бы речь шла только обо мне, я бы охотно нашел смысл в пережитом и переживаемом. Но для того, чтобы даже мысль о тебе включалась в некое положительное осмысление – для этого, очевидно, надо подняться на такие высоты, от которых я еще весьма далек. Каждый вечер после 10 часов я мысленно беседую с тобой или вспоминаю наше общее, либо же мечтаю и стараюсь предварить; в последнем сказывается, очевидно, черта характера. Что касается здоровья, то для правильной оценки нужно было бы очутиться в прежних условиях и сравнить; а без этого могу сказать следующее. – Еще с Москвы хожу без палки. Могу пройти час, но после этого отдохнуть. Впрочем, в легкой обуви или босиком, как любил я гулять в деревне во дни оны – мог бы пройти и больше. Против головных болей превосходно действует короткий курс вливаний – примерно 1 раз в год. Возросли зябкость и худоба, но состояние сердца лучше, радикулит досаждает редко. Много намучился с зубными болями, мало-помалу потерял почти все зубы <...> страдаю, как всегда, бессонницами, но они внутренне плодотворны.

Ослабела память, но наряду с этим – извини, пожалуйста, за такую самонадеянность – я, несомненно, поумнел. Много занимаюсь. Очевидно, в любом положении человеку следует отдавать силы наилучшему, что в данных условиях для него доступно. Сферу моего наилучшего ты представляешь: по-видимому, “практическая этика” моя всегда будет плестись в хвосте, тащиться на помочах внутренних состояний. Если сравнить плоды занятий с прежними – те покажутся наивными, мелкими, даже совсем детскими. Если у тебя сохранилась возможность прежнего горячего отношения к этому – я тебя порадовал бы. Ты уже давно выражала пожелание, чтобы я уделял больше внимания смежной, полузаброшенной мною области; но, конечно, тебе ни при каких обстоятельствах не могло прийти на мысль, что на этом пути возможно то, что, как теперь оказывается, на нем действительно возможно при некоторых условиях. Прочитал много хорошего и интересного, кругозор несколько расширился. <...> Почти каждый день отдыхаю за шахматами или просто за болтовней; как это ни странно, понемногу научаюсь вновь шутить, говорить глупости и иногда даже смеяться. Вообще стараюсь не терять бодрости; чувствую еще огромный запас внутренних сил и энергии; острота, глубина и даже – как это ни парадоксально – свежесть восприятия возросли. И убеждаюсь, что выносливость, устойчивость натуры – при условии, если надежда не утрачена окончательно – гораздо больше, чем можно было бы ожидать.

<...> Господь с тобой, обнимаю и целую тебя несчетное число раз и молюсь за тебя постоянно. Главное, самое главное – старайся не падать духом. Чувствую, что не сумел выразить самого главного, но оно вообще невозможно в словах!

Твой Даниил»

Приписка: «То, что любовь вечна, – совсем не “слова”».

Следующее письмо жене по тюремным правилам он мог написать в феврале или марте следующего года. Но ответ получил еще позднее, через восемь месяцев, в апреле.

12. Великие братья

Лето 1953 года стало завершением некоего этапа. Закончены две поэмы – долго не отпускавший «Ленинградский Апокалипсис» и «Рух». В главном, хотя и предполагалась еще не одна глава, сложился поэтический ансамбль «Русские боги». Но метаисторический трактат о Розе Мира писался трудно, то продвигаясь вперед, то останавливаясь. Он все еще до конца не был уверен –

открылись ли «духовные органы», сопричастен ли он в необходимой мере «космическому сознанию»?

«Открытие дух<овных> орг<анов> состоит в обнаружении способности лицезреть и беседовать, не забывая. Потом – странствие, вместе с телом, кот<орое> в это время становится иным, – записывал он. – <...> Мой даймон здесь, они его видят, но я только потом. В сквере у хр<ама> Христа (<19>21) было его первое вторжение. Практич<еские> способн<ости> и знан<ия> придут. (Не уничтожили – не уничтож<ат>, потому что не видят.) Боль сердца оконч<ится> вместе с раскрыт<ием> дух<овных> орг<анов>...»

Состояния «снобдений» в тюремных стенах не что-то совсем необычное. В тюрьме их испытывал не один Даниил Андреев. Шульгин записями снов заполнил около сотни тетрадей. В ночь на 5 марта 1953-го ему, например, приснилось, что «пал великолепный конь, пал на задние ноги, опираясь передними о землю, которую он залил кровью»[51]. Шульгин и всегда-то был мистически настроен, но тюрьма болезненно обостряла психику, депрессивную мнительность, усиливала прислушивание к себе.

Осенью 53-го перед Андреевым открылось необычайное, то, чего он ждал всю жизнь, хотя подобные состояния, пусть в меньшей степени, испытывал с 50-го года. Позже, в дневниковых записях (7 февраля 1954) он попытался зафиксировать и оценить случившееся: «Октябрь и особенно ноябрь прошлого года был[и] необычайным, беспрецедентным временем в моей жизни. Но что происходило тогда: откровение? наваждение? безумие? Грандиозность открывшейся мировой панорамы, без сравнения, превосходила возможности не только моего сознания, но, думаю, и подсознания. Но панорама эта включала перспективу последних веков и в следующей эпохе отводила мне роль, несообразную абсолютно ни с моими данными, ни даже с какими-либо потенциями. Со стороны могло бы показаться, что здесь налицо mania grandiosa в сочетании с религиозн<ой> манией; но с этим не вязалось как будто бы два факта: то, что я не мог до конца поверить (а страдающие mania grandiosa непреложно верят) внушаемому мне представлению и колоссальности моего значения, и всё-таки то, что истинность этого значения подтвердилась бы только в том случае, если бы подтвердился целый ряд прогнозов и общего, и личного характера. Должно пройти много месяцев, пожалуй, даже год, чтобы стало возможным судить об этом. Некоторые мелочи отчасти, правда, уже выяснились, но подтвердились зато и некоторые мелкие предсказания. Всё это сопровождалось потрясающими переживаниями, ощущением реальной близости великих братьев из Синклита России, не смею назвать имена их, но близость каждого из них окрашивалась в

неповторимо индивидуальный ток чувств; один вызывал усиление сердцебиения, блаженное благоговение, горячую любовь, и слёзы лились градом. Другого всё моё существо приветствовало с неизъяснимой, нежной, теплой любовью, как драгоценного друга, видавшего насквозь мою душу, и любящего её, и несущего мне прощение и утешение. [Появление] третьего вызвало потребность преклонить перед ним колена, как великим, могучим, неизмеримо выше меня стоящим, и близость его сопровождалась строгим и торжественным чувством. Наконец, приближение четвертого сопровождалось ощущением захватывающей ликующей радости и слезами восторга. – Во многом могу усомниться, ко многому во внутренней жизни относиться со скепсисом, но не к этим встречам.

Этот период оборвался вместе с переводом в другую кам<еру>. Декабрь я был поглощён работой над трактатом, отчасти в него вошёл и материал, почёрпнутый в ноябре м<еся>це».

Он чуть ли не дословно повторил в «Розе Мира» эту дневниковую запись. Великие братья из Синклита России, с благоговением и опаской не названные по имени, те, кто сопровождал его всю жизнь, чье присутствие он ощущал всегда. «Видел ли я их самих во время этих встреч? Нет. Разговаривали ли они со мной? Да. Слышал ли я их слова? И да, и нет. Я слышал, но не физическим слухом. Как будто они говорили откуда-то из глубины моего сердца» – так он определил эти встречи-видения. Первый, им встреченный, конечно, Серафим Саровский, чья иконка всегда находилась при нем – на фронте в кармане гимнастерки и здесь, в тюрьме. Святой являлся ему однажды, в 33-м, в церкви Святого Власия, и это видение он никогда не забывал. Три других – можно предположить – Достоевский, Лермонтов и Владимир Соловьев.

Теперь, казалось ему, получили объяснение, сделались четче и понятней давние, редкие прорывы сознания, запомнившиеся обрывистыми и смутными.

В одном из писем жене Андреев писал: «Я лично встретил за эти годы и людей, с котор<ыми> роднила действительная внутр<енняя> близость, и таких, с которыми связывала просто горячая симпатия, уважение, общность некоторых интересов. Конечно, первых было мало (пожалуй, в сущности, один), а из остальных – каждый близок какой-нибудь стороной»[52]. Он в каждого встречного всматривался с доверчивым интересом, а если встречал хоть малейшую духовную близость, то на все остальное мог и закрыть глаза. Но чувство глубинного одиночества, как ком к горлу, подступавшее в периоды депрессии, его не оставляло никогда. А произошедшее осенью усилило нервное напряжение и чувство одиночества. Он ждал новых озарений – они не приходили.

«А с нов<ого> года наступила реакция, – записывал Андреев 7 февраля в дневнике, начатом для того, чтобы выкрикнуть на бумаге мучавшее на грани сумасшествия. – Увеличивающаяся тягостность состояния коренится в следующем. Внутренняя связь прервалась, и прервалась, очевидно, столь же неожиданно для той стороны, но и для меня: во всяком случае, я не был об этом предупреждён. Ночные “встречи” прекратились. Обещанное мне, томительно ожидавшееся со дня на день открытие внутр<еннего> зрения и слуха, когда я не буду уже смутно ощущать, но увижу, услышу великих братьев духовными органами, буду беседовать с ними и они меня поведут в странствие по иным слоям планетарного космоса – это открытие до сих пор не состоялось. Для оправдания или опровержения внешних предсказанных сроков прошло слишком ещё мало времени. Я вишу между небом и землей, не зная, что в происходящем со мной – истинно, что ложно, не понимая, как мне жить, что делать, к чему готовиться, *как* готовиться, да и готовиться ли вообще. Если весною не оправдается предсказанное, то в моих представлениях наступит настоящий хаос, т. к. я не буду знать твёрдо даже таких, основных для меня вещей, как создание Р<озы> М<ира>, её историч<еской> роли, моя миссия, моё будущее, смысл моей литерат<урной> и религиозной деятельности; начатая раскрытием великая концепция останется лишь приоткрытой, совершенно недостаточно для проповедания – ни письменного, ни устного. Да и вообще опрокинется всё... Между тем я чувствую, что отречься от своей миссии я не могу и не захочу. Лучше я сойду с ума; но предать невозможно до тех пор, пока остается хоть один шанс из 100, что это действительно моя миссия, а не иллюзия. А такой шанс останется, вероятно, всегда, даже в самом худшем случае. Давно, о, давно не было так тяжело. Страшна не внешняя тюрьма, а внутренняя, душевная: закрытость органов духовного восприятия, отсутствие связи с духов<ным> миром, жалкая ограниченность кругом сознания. <...> Пройден какой-то рубеж жизни, после которого мир и жизнь становятся имеющими цену только при условии духовного прозрения. Вероятно, в схожих состояниях люди в старину уходили в монастырь. Но даже если бы я был на воле и если бы существовали монастыри – это не для меня, моя миссия – не в уходе <...>, а в проповеди, организации <...>. Господи, как мечется душа. Физическая потребность ломать руки, становиться на коленопреклонную молитву, простираться ниц – но всё это невозможно в условиях камеры. А одиночество! Невозможность встретить хоть тень понимания! Безнадежная материалистическая тупость окружающих, их самонадеянное ничтожество! Необходимость абсолютно мол-

чать обо всём, со мной происходящем!.. Господи, сократи сроки этого нестерпимого ожидания. Великие братья Синклита, дайте знак! Не покидайте, я изнемог от сомнений, незнаний, блужданий и жажды. Поддержите на пути, на этом страшном отрезке пути – в двойном заключении. Отче Серафиме, открой мне духовные очи. Великие братья – Михаил, Николай и Фёдор, откройте мне духовный слух! Если правдой были слова, что “дверь не закрыта, а только прикрыта”: отчего же третий месяц очи не отверзаются? Великий брат Владимир, родной брат Александр, явитесь душе, дайте знак, дайте хоть какой-нибудь знак!»

«В первый раз за последние 20 лет появляется потребность вести записи, нечто вроде дневника, – писал он на следующий день, продолжая анализировать свое состояние. – Причины попытки: интенсивность внутр<енней> жизни в сочетании с абсолютным одиночеством. Кругом – 3 человека, но не с кем перекинуться простым словом. Празднословие окружающих <...> не удается прекратить хоть на мертвый час – о пытка! Одно из тягчайших мучений тюрьмы – отсутствие уединения. <...> Читать после 5 ч. дня почти невозможно из-за недостатка света; внутренно изолироваться для занятий или просто для размышлений, даже хотя бы для мило-беспредметных мечтаний, невозможно, когда над ухом 3 человека трещат в полный голос то о проблемах бумажной промышленности, то о тюремных девушках – раздатчицах пищи, которых мы видим иногда через кормушку, то, ещё хуже, о посылках или о болезнях – полунастоящих, полувыдуманных. Не остается другого в эти часы, как включиться в это переливание из пустого в порожнее, стараясь хоть переключить его по возможности на какую-ниб<удь> словесную игру, вроде пресловутых “интеллигентных людей”. Само собой результаты. Все эти трудност<и> ничтожны сами по себе, и я почти никогда не жалуюсь, научился, внешне и внутренне не скулю и не падаю духом, и то, что сейчас пишу – прорвавшийся раз в несколько лет невольный крик. Сейчас мои трудности усугубляются двумя обстоятельствами: во-первых, кончается творческий период, начавшийся с <19>49 г.; я выдохся и даже кончить “Рус<ские> боги” не могу. Возможно, идет конденсация с Буствича, а это вызывает страшнейшее напряжение и тревогу».

Буствич – четвертый слой нисходящих миров, там происходит гниение заживо узников, находящихся в духовной летаргии, их мучает неодолимое отвращение к самим себе. Свое состояние он считал чем-то похожим. Надвигался очередной приступ депрессии, настигавшей его почти ежегодно. Депрессии мучили и его отца, наверное, это было наследственным...

В тот же день пришло письмо от Юлии Гавриловны, сообщавшей о начавшихся хлопотах о дочери и требовавшей – она поверила в реальность надежды, – чтобы и он начал писать жалобы о пересмотре дела.

«Вчера положение осложнилось письмом, – записал Андреев в дневнике 9 февраля 1954 года, – составленным в весьма сильных выражениях. То, чего она хочет и требует, идет настолько вразрез с моими желаниями и намерениями, настолько противоречит личным моим “установкам”, насущно мне необходимым в интересах “Р<озы> М<ира>”, что я не стал бы и задумываться над этим письмом, если бы не призыв к моей совести: ведь страдал, мол, не один я, но жизнь ломается у ряда людей...

Она и он, несомненно, единственные люди, имеющие внутр<еннее> право, настолько сильное и бесспорное, что я не могу просто пройти мимо... В конце концов, многое, если не всё, зависит от дальнейшего хода вещей на протяжении ближайшего месяца. До 10 марта не буду предпринимать ничего. <...> Сегодня усилились надежды на разрешение проблемы самим ходом вещей. Если это случится не позже апреля, это будет означать оправдание <...> и подтверждение истинности основных утверждений, кот<орые> я получил. <...> Ах, если бы уцелеть всему или “С<транникам> Н<очи>”!»

Следующая запись – 18 апреля, в Вербное воскресенье: «Вчера пришлось оборвать работу над трактатом: выдохся. Сделано, правда, много, но 99 шансов за то, что всё это погибнет. Теперь буду учить наизусть “Ж<елезную> М<истерию>” и остальное. Депрессия разбушевалась. Этому способствует окружение. Это такие утилитары, такие материалистически-самодовольные тупицы, такие удушливо-приземистые житейские умы, что я задыхаюсь, как в могиле. За все 5 $^1/_2$ лет здесь ни разу ещё не оказывался на такой длительный срок в таком вопиющем одиночестве. Да и очень уж страдает самолюбие. Ежеминутно. – Иногда по ночам, при воспоминании о прошлом, видишь свою глупость в тысяче мелочей: именно глупость и самую обыкновенную глупость. Ну а что как в большом я её просто не вижу, а со стороны она так же ясна? В житейском отношении я глуп бесспорно. И это несмотря на всю грандиозность “Русских богов”, “Ст<ранников> ночи” и т. д. Кроме, факт и то, что я медленно соображаю. Нужно быть таким тонким интуитом, как X, или таким широким универсалом, как Z, чтобы разглядеть за этим что-то».

Эти самоуничижительные признания заставляют вспомнить Александра Блока, говорившего о себе: «Я человек среднего ума», а в январе 1918 года записавшего: «Сегодня я – гений».

Часть одиннадцатая

СКВОЗЬ ТЮРЕМНЫЕ СТЕНЫ
1954–1957

1. Ход вещей

Надежды на ход вещей отчасти оправдывались. Постепенно улучшался режим: прогулки стали проходить в одно время, а раньше, рассказывал номерной узник Меньшагин, могли вызвать гулять и ночью. В 54-м сняли намордники, непрозрачные стекла в окнах щедрее стали процеживать дневной свет, а иногда удавалось глянуть в открытую форточку. В том же году, в сентябре, полосатую тюремную одежду сменили на темно-синюю, выдали брюки и куртки.

2 мая Раков написал новое заявление, теперь на имя Ворошилова, Председателя Верховного Совета, а 15-го его неожиданно выпустили. Перед освобождением он увлеченно писал «Письма о Гоголе», так и оставшиеся недописанными... Получил свободу Павел Кутепов, сын генерала.

19 мая 1954-го был определен порядок пересмотра приговоров осужденным по политическим делам. В мае комиссии, созданные для пересмотра дел осужденных за контрреволюционную деятельность, начали действовать. Люди по очевидно сфабрикованным делам, осужденные тройками ОСО, освобождались из лагерей. Справедливость торжествовала, но выборочно, частично и неспешно. Система, приученная сажать и карать, отступила недалеко и, казалось, выжидала. Подельники Андреева тоже стали взывать к справедливости. Шелякин, отбывавший срок в Минеральном лагере, в мае 54-го в заявлении Генеральному прокурору писал: «В романе Андреева один из персонажей обрисован автором как террорист, а стало быть, и меня, выслушавшего эту главу романа из уст автора, следователь считал соучастником этого персонажа». Получивший 25 лет за то, что оказался «соучастником персонажа», Шелякин просил товарища генерального прокурора «проверить фактический материал, по которому вынесено столь суровое решение»[1]. Проверять прокуроры не спешили.

В начале лета во Владимирской тюрьме появились признанные организаторами участники мятежа в Горлаге – Норильском лагере. Один из пятерых – Петр Власович Николайчук[2], за участие в восстании получивший 10 лет, попал в 23-ю камеру, где сидел Андреев. Он всегда тянулся к людям действия и с прямым, сдержанным Николайчуком подружился.

В тюрьме самое пустяковое послабление может прибавить свободы, любая мелочь стать событием. Для Даниила Андреева главные события – путешествия сознания, выходы из-под тюремных сводов в «моря души». Но это жизнь ночная, потаенная, а режимные дни наполняло вполне земное. Начавшаяся переписка с женой гасила тоску одиночества, прибавляла света. Она писала: «Мои воспоминания о нашей прежней жизни – безоблачны, и я всегда чувствую тебя как свою защиту, покой и опору. Боюсь только, что мы были виноваты тем, что слишком сильно друг друга любили, слишком эгоистично. Мне кажется, что сейчас я люблю тебя умнее, лучше и еще сильнее»[3].

«Нечего говорить о той боли, с которой переживал всё, на тебя обрушившееся – ты сама это знаешь, а в словах всё равно не выразить. Но незыблемая вера в тебя была и моей точкой опоры. А вот что до сих пор не дает мне покоя, так это мысль о запасе твоих чисто физических сил, о твоем здоровье. Об этой стороне жизни ты почти совсем не пишешь, и, надо сказать, это мало способствует успокоению. Прошу тебя, мой зелененький ракитовый листик, не избегай в будущем этой темы...» – отвечал он жене, требуя подробностей, интересуясь всем в ее лагерной жизни и сообщая о своей: «А в моей жизни появилось нечто новое: 15 мая у меня был праздник, – я получил от мамы великолепный, на 33 тысячи слов, хинди-русский словарь. Я прыгал от восторга, как безумный, бросил все другие занятия и полтора месяца не поднимаю головы от этого кладезя премудрости. Ты понимаешь, что занятия никаким другим языком не могут доставить столько наслаждения, да и не могут идти такими темпами. За это время я, во-первых, освоился с транскрипцией, – а она, мягко выражаясь, достаточно причудлива. Буквы зачастую скачут друг через дружку, произносятся не в том месте, где написаны, вдруг теряют то ножку, то хвостик, а оставшуюся от них закорючку переплетают с другими буквами, тоже внезапно сократившимися. Такая комбинация из частей нескольких букв называется лигатурой, и лигатур этих в языке – больше сотни. Но во всем этом есть своя прелесть, шрифт удивительно орнаментален, и рисовать эти буквочки – одно удовольствие. Во-вторых, я выписал свыше 2 тыс<яч> слов, кот<орые> надо выучить в первую очередь, и

зубрю их. В-третьих, начал знакомиться с кратким грамматическим очерком, приложенным к словарю. Впрочем, в силу своей краткости он больше возбуждает вопросов, чем дает ответов. Пока что самое туманное – это фонетика, особенно система ударений. Боюсь, что, услышав мое произношение, любой индус дохохотался бы до колик. Но так или иначе, но за этот год, если не будет перемен, я овладею неск<олькими> тысячами слов и освоюсь с правописанием, а это уже фундамент или, лучше сказать, плацдарм для капитального нападения на хинди: ведь художеств<енная> литература, в особенности поэзия, на этом языке воистину необозрима, и я надеюсь, что на худой конец смогу приобретенные знания приложить со временем к работе над поэтическими переводами»[4].

Только в тюрьме можно с детской безоглядностью взяться изучать хинди по словарю. И только при андреевской любви к Индии. Уже осенью он шутливо обращался к жене: «Моя *прия* (что значит по-индусски любимая), *ри́и* (милая), *ляллии* (девочка, дочурка)!» И объяснял: «Мне кажется, что изучение хинди – лучшее, что сейчас я могу делать. Ты же видишь из газет, какими темпами и как широко протекает культурное сближение с Индией (я готов лезть на стену, что не вижу индийских фильмов!). С хинди переводятся сотни художеств<енных> произведений, в том числе и поэзия. И разве изучение этого языка не может, помимо всего прочего, принести конкретную практи<ческую> пользу? Но беда в том, что если даже я к моменту нашей встречи изучу язык настолько, чтобы потом осталось только углублять и шлифовать эти знания (что весьма сомнительно!) – то все же непонятно, как я смогу приложить эти знания в каком-нибудь райцентре, где нет даже издательств. Так или иначе, стараюсь эти занятия форсировать, как могу. Пока выучил около 2 тысяч слов (боюсь, что еще не очень прочно) и теперь занимаюсь чтением и, особенно, письмом. Так как у меня есть только словарь, то я делаю это так: закрыв индийские начертания слов и оставив открытыми их начертания русскими буквами, я соображаю, как данное слово должно писаться по-хинди – и пишу. Учти при этом, что почти никаких правил я почерпнуть не могу ниоткуда, кроме как из собственных наблюдений и обобщений, а орфография, откровенно говоря, чудовищно странная <...>. Впечатлительным натурам вникать в эту премудрость не рекомендуется. И – представь! Я уже из 10 слов ошибаюсь только в 1, а то и реже. (Две недели назад на каждый десяток слов я делал 3–4 ошибки!) Подобным же способом учусь и чтению. Если со временем пришлют хрестоматию и грамматику, пойдет еще лучше»[5].

2. Депрессия

В палящие дни он, солнцепоклонник, всегда чувствовал подъем, а этим июнем солнце прокалило прогулочный двор, заглядывало в камеру, согревая цементный пол. Летнее письмо заканчивалось преувеличенно бодро: «...питаюсь великолепно благодаря непрерывным заботам мамы, очень сильно загорел, любую жару и духоту переношу превосходно. Умств<енной> энергии – хоть отбавляй. Что же касается физ<ических> сил, то об этом трудно сказать что-нибудь»[6]. На самом деле солнце светило над тюрьмой не часто, и пятачок мертвого заасфальтированного тюремного двора даже пылкому мечтателю не мог примниться берегом Неруссы. Позже Андреев сетовал в письме жене: «Я даже верхушки деревьев вижу лишь по нескольку секунд издалека, несколько раз в году. Особенно мучительна эта тоска в летнее полугодие – доходит Бог знает до чего, до ночных плачей в подушку – признаюсь в этой слабости только тебе»[7].

Но дождливой осенью ему стало совсем худо. В следующем письме он дотошно и тревожно расспрашивает о здоровье жену – все же вырос в семье врача, заключая: «Хороши мы будем, если выйдем в жизнь неработоспособными инвалидами...» Беспокоясь о ней, он не скрывал свои хвори, обычные для большинства тюремных сидельцев, замечая, что они должны без прикрас знать состояние друг друга, чтобы правильнее представлять «реальное будущее». Свое состояние описал подробно: «Опускаю мелочи, как то: головные боли, приключения с зубами и протезами, временами излишнюю резвость сердца, какие-то фокусы со зрением и такую, новую для меня прелесть, как геморрой (не огорчайся и не смущайся, дорогая: от этого не уберегся даже Александр Македонский). – Более или менее серьезных недомоганий у меня 3: радикулит, гастрит и маниакально-депрессивный психоз. В прошлом году радикулит вздумал выкидывать новые номера, возникали беспричинные острые боли то в икре, то в паху, и т. д. Кварц, соллюкс и еще кое-что загнали этого распоясавшегося хулигана обратно в его нору – в поясницу. С июля я чувствую себя в этом отношении даже лучше, чем в 46-м году: могу пройти без всякой усталости 10–12 км (конечно, только босиком) <...> Благодаря замечательным посылкам я прибавил в весе и сейчас, несомненно, тяжелее, чем 8 лет назад. Между прочим, все это наталкивает меня на мысль, что в случае нашей жизни где-нибудь в районном центре хорошо было бы поступить на первых порах на должность почтальона.

Второе: гастрит. Этот сувенир судьба неожиданно преподнесла мне этим летом. Меня энергично лечат, но удастся ли

добиться полной ликвидации этого заболевания – сейчас гадать еще рано. <...> И, наконец, твой старый знакомый – ман<иакально>-депр<ессивный> психоз. У меня была депрессия в 50-м году, но в легкой форме; все обошлось без каких-либо специальных мер. В этом году вышло хуже. Сейчас я помещен в условия, которые, в смысле борьбы с депрессией и с учетом реальных возможностей, можно назвать идеальными. Кроме того, с нервно-психи<ческой> угнетенностью я борюсь испытанным способом, помогавшим мне во всех аналогичных случаях: физической системой, основанной на хождении босиком. Ты знаешь мое исконное, с раннего детства, инстинктивное отвращение к обуви и кое-какие навыки, которые я получил еще мальчишкой. И взрослым уже я ведь недаром столько тысяч, если не десятков тысяч, километров отстукал босыми пятками по Брянским лесам, Крыму, Украине и другим чудесным местам. Я ощущаю совершенно отчетливо, что поверхность земли отдает какое-то излучение, кот<орое> проникает через открытые подошвы в организм, оказывая на него, в особенности на нервную систему, благотворнейшее действие. Не знаю, какая работа ведется сейчас специалистами по изучению природы этого излучения и его использования в целях медицины. Но сам-то я опытным путем знаю его действенную силу как нельзя лучше. Между прочим, для меня несомненно, что, как ни странно, хождение босиком по холодной земле действует особенно интенсивно – конечно, если человек уже достаточно закален. Однако теперь я испытываю благотворное действие этого излучения гораздо сильнее, чем раньше. В помещении я уже давно обхожусь без обуви круглый год, радуясь бодрящей прохладе цементного пола (вместе с обувью расстался я и с гриппами, навещавшими меня раньше по 3–4 раза за зиму), а теперь хожу [на прогулки]* только босиком и чувствую каждый раз такой прилив бодрости, энергии, жизнерадостности, что прямо-таки становлюсь другим человеком. После [прогулок] могу заниматься хинди с удвоенным рвением по 4–5 часов кряду. И твердо решено, что на воле я буду подвергаться мучениям обутости лишь в меру крайней необходимости, сколько бы недоумения и насмешек ни вызвало это на первых порах»[8].

В тюрьме за возможность «босикомохождения» пришлось бороться. Попав с депрессией в больничной корпус и получив запрещение выходить на прогулки босым, он написал заявление начальнику тюрьмы. В нем заметно нервное состояние:

«Моя просьба к Вам… имеет необычный характер. Поэтому, чтобы быть правильно понятым, я вынужден подробно объяснить, в чем дело.

---

* Слова в квадратных скобках [...] вымараны цензурой. – *Б. Р.*

Моя жизнь сложилась таким образом, что и в детстве, и взрослым я привык очень много ходить босиком. Всегда страдал ощущением сухости кожи в подошвах, я всегда тяготился обувью и употреблял ее редко – либо в зимн<ие> морозы, либо в особых официальных случаях.

В тюрьме я круглый год хожу разутый в помещении, а летом и на прогулках.

В настоящее время я нахожусь в больничном корпусе в одиночке, куда помещен в связи... с рецидивом моего нервно-психического расстройства. Оно характеризуется угнетенным состоянием, отвращением к окруж<ающим>, боязнь шумов и т. п.

Еще задолго до тюрьмы я убедился, что хождение босым, в особенности в холодную погоду, действует на меня благоприятно – не только в смысле закалки организма, но и в смысле повышения общего жизненного тонуса. Теперь, после прогулки, я возвращаюсь в камеру буквально другим человеком, испытывая прилив бодрости и энергии и могу после этого несколько часов нормально заниматься.

Однако сейчас это начало вызывать возражение со стороны некоторых корпусных на том основании, что время уже не летнее и приходится выходить на прогулку обутым.

А я уже не ребенок! В моем возрасте человеку свойственно самому разбираться в том, что вредно и что полезно для его здоровья.

Этот мелкий на первый взгляд вопрос имеет для меня огромное значение – и физическое, и психологическое, и нервное.

Обращаюсь к Вам с убедительной просьбой освободить меня от обуви, разрешить мне употреблять ее только тогда, когда я в ней чувствую нужду...»[9]

Босикомохождение казалось ему панацеей и потому, понятно, вошло, получив теоретическое обоснование, в учение «Розы Мира». Он даже обдумывал, как будет ходить босым по московским улицам, не смущая прохожих: ведь Москва не Мадрас, где босиком ходят почти все. Но в казавшемся фантастическим будущем, во-первых, обстановка «будет не та и личный вес другой, а во-вторых, – делился он планами с женой, – я придумал фасон костюма, стилистически увязанный с этим новшеством. Прохожу в нем лет 10–15, пока не придется надеть что-нибудь вроде рясы»[10].

Надежды на пересмотр дела и свободу с каждым днем становились зримей, и в переписке с женой они все подробнее обсуждали неопределенное будущее. Оно не отрывалось от вчерашнего и сегодняшнего. Алла Александровна вынесла из мучительного

следствия ощущение роковой неизбежности совершившегося. «Я очень боюсь твоего чувства вины по отношению ко всем “нашим”, – признавалась она мужу. – Я уже писала тебе, родной мой, что детей и слабоумных среди нас не было. Все, что произошло, совершенно логично и иначе не могло быть. Какой смысл обижаться на историю и искать виноватого в катастрофе, которой не могло не быть. Твоего же чувства виноватости перед “друзьями” боюсь потому, что оно может помешать тебе здраво и спокойно обдумать будущую, может быть, даже наступающую, жизнь»[11].

Но Андреев не хотел отмахиваться ни от кого из прежних друзей, не хотел отрекаться от вины перед попавшими в его «дело»: «Мои отношения к прежним друзьям остались прежними, да и с чего бы они могли перемениться? – отвечал он. – Никто ни в чем передо мной не виноват. Другое дело, что я сам себе не прощу некоторых вещей никогда, как и всякий человек на моем месте хоть с миллиграммом совести. Все это думано и передумано 1000 раз. И хотя многие частности мне тут неясны и кое-что может проясниться лишь при личных встречах, но самый факт моей виновности перед некоторыми из них ясен как день. И если в будущем удастся встретиться с ними, и если они при этом, грубо говоря, не пошлют меня к черту – величайшее счастье заключалось бы в возможности им чем-ниб<удь> помочь...» Андреев ясно понимал, что виноват кругом, особенно перед родными, что бы его ни оправдывало. «Вот уж перед кем я виноват так, что и в 10 существованиях не искупишь», – восклицал он, говоря о двоюродном брате. И о Коваленских: «...перед Шурой и А<лександром> В<икторовичем> тоже хорош получился. Не представляю, каково теперь их отношение ко мне (если они живы) и захотят ли они от меня помощи хоть с горчичное зерно».

Он даже опасался забрезжившей свободы, не сулившей ни покоя, ни благополучия: «Что можно решить или даже хоть вообразить заранее? Слишком оторвались от действительности и слишком будут сужены наши собственные возможности, – трезво размышлял Андреев. – Боюсь, например, что в первый период не мы будем помогать старикам, а наоборот. И сколько я ни беснуюсь при такой мысли, простой здравый смысл подсказывает ее правоту. Когда оперимся – другое дело, но как и сколько времени будем оперяться? А ведь есть же у меня гордость, Алла, и, представляя себя в виде 50-летнего птенчика, которому сердобольные родичи суют в клюв поминутно по червяку, – откуда тут возьмешь энтузиазм, скажи, пожалуйста?»[12]

Он и сейчас зависел от родителей жены. «Огромное спасибо за чудные посылки и деньги, – благодарил Андреев тещу. – Но

недавно я узнал вещь, кото<рая>привела меня в ужас. По-видимому, для отправки продуктовых посылок Вам приходится ездить в Лосиноостровск. Если это так, я прошу Вас *немедленно прекратить отправку продуктовых посылок*!!! Ведь ясно же как день, что при Вашем здоровье подобные поездки – просто самоубийство! И, главное, без всякой необходимости! Сахар я всегда могу купить здесь, часто бывают также масло и сыр.

После того, как я это узнал, мне никакие присланные продукты уже не полезут в горло»[13].

Старики продолжали неутомимо хлопотать. Юлия Гавриловна писала дочери «сумбурные и отчаянные» письма, нервные послания зятю, настойчиво требуя подавать все новые заявления в инстанции. Он, уже отправивший первое заявление, по примеру Ракова, на имя Ворошилова, отвечал: «Второе заявление я напишу, как вы советуете, на имя Предс<едателя> Сов<ета> министров; сделаю это после праздников. Думаю, <...> что и без этого дело будет пересматриваться, – вопрос только во времени. Важно, мне кажется, другое, к чему этот пересмотр приведет: к немедленному освобождению (это, по-моему, сомнительно), к сокращению срока при условии пребывания в теперешних условиях или к сокращению сроков и <изменению> условий. Признаюсь, последняя возможность представляется мне мало привлекательной. До тех пор, пока я не смогу вернуться к норм<альной> жизни, мне решительно никуда отсюда не хотелось бы».

Он боялся не свободы, а лагеря, куда могли перевести, изменив статьи обвинения. Там о писании «Розы Мира» не могло быть и речи. Не лучше казалась и ссылка, где выжить, он понимал, больному нелегко. Все это невозможно объяснить теще, думавшей только об освобождении дочери. Но старался быть готовым ко всему, даже к лагерю. На этот случай просил прислать некоторые вещи. «Дело в том, – писал он в том же письме, – что кое-какие состав<ные> части моего нехитрого “имущества” не выдержали испытания временем. А именно – рубашки уже не подлежат никакой чинке. Кроме того, в случае переезда куда-либо, даже в случае перехода на несколько сот метров, я окажусь в безвыходном положении в смысле тары. Поэтому прошу Вас, если можете, выслать вот какие вещи:

1) пару каких-нибудь, самых простых сатиновых рубашек, например, – косовороток, все равно какого цвета, лишь бы дешевле.

2) Большой, крепкий мешок с пришитыми к нему лямками, наподобие рюкзака, но без металлич<еских> частей.

3) Пару маленьких мешочков – для сухарей, сахара и т. п.

4) Щетку – простую, возможно более крепкую и грубую.

Больше мне теперь ничего не надо. Излишек вещей только затруднил бы мое передвижение...»[14].

3. Письмо Маленкову

10 ноября 1954 года Андреев написал заявление на имя Председателя Совета Министров СССР товарища Маленкова. «Изложил все значительно подробнее и, т<ак> сказать, многословнее, чем в 1-й раз, больше всего заботясь при том о точности и об абсолютной правдивости. И остался доволен, – сообщил он жене. – Теперь буду ждать решения совершенно спокойно, зная, что инстанция, от которой все зависит, имеет о нашем деле и обо мне самом правильное представление»[15].

Но «абсолютная правдивость» вряд ли могла привести на волю. Чистосердечное заявление только осложнило освобождение и реабилитацию, за подобные заявления в стране, «где так вольно дышит человек», сажали всегда. Андреев писал: «Мое враждебное отношение к советской системе имело в основе своей отрицание не столько экономической стороны этой системы, сколько политической и культурной. В частности, я не видел в нашей стране подлинных демократических свобод, и, увы, моя собственная судьба подтвердила это. Теперь, как и раньше, мое отношение к советской власти зависит от той степени свободы слова, печати, собраний, религиозной деятельности, какую советская власть осуществляет фактически, не в декларациях, а на деле. Не убедившись еще в существовании в нашей стране подлинных, гарантированных демократических свобод, я и сейчас не могу встать на позицию полного и безоговорочного принятия советского строя. Указать на это обстоятельство мне представляется необходимым, для того, чтобы в инстанциях, которые будут пересматривать мое дело, не возникло ошибочного представления о моем политическом лице»[16].

В начале декабря, чувствуя, что депрессия проходит, Андреев успокаивал в письме жену: «О здоровье моем ты волнуешься совершенно напрасно. Некоторое неважное состояние, продолжавшееся с мая до октября, окончательно прекратилось, голова еще вялая и пустая, но я стал несравнимо спокойнее. Работоспособность еще не достигла нормы, но повысилась». И все же последний год он жил в нервном напряжении, писалось с трудом, бесплодие удручало. Заявление Маленкову далось нелегко.

В декабре стало совсем плохо, оказалось – инфаркт. Из 49-й камеры 30 декабря его опять перевели в больничный корпус, в 52-ю. Здесь он встретил новый, 1955 год, отсюда писал жене: «Род-

ненький мой цветик, весенняя проталинка, мой ласковый летний ветерок! Снежок, тихо опускающийся на белую рождественскую землю! Случайные обстоятельства, по существу не имеющие значения, задержали мое письмо: не только с Нов<ым> годом, но даже с Сочельником поздравить тебя могу только теперь». Свою болезнь, чтобы не пугать жену, он скрыл, назвав «гриппиком», хотя и сообщал, что пишет письмо лежа, с усилием. Он писал о самом важном, о том, что его тревожило – «внешнее из этого письма изгоняется»: «Мы не беседовали много лет. Письма – почти ничто, это клочки, лишенные связи <...> Естественно, что многое в моем состоянии и взглядах кажется тебе странным, и ты склонна заполнять пустые промежутки представлениями о том Даниеле, с которым была близка 8 лет тому назад. Отсюда и ряд ошибок. Например: резкое преувеличение той роли, которую играют на самом деле в моих чувствах, планах и мечтах друзья прежних лет; неверная мысль о моей “полной растерянности перед жизнью”; априорно-отрицательное отношение к “незримым препятствиям, гнездящимся в моем сознании”. В моих планах и чувствах определяющим фактором являются отнюдь не друзья, а нечто иное. То, что тебе кажется растерянностью перед жизнью, в действительности является законным беспокойством человека, не имеющего такой специальности, какая сейчас помогла бы ему жить. А незримое препятствие есть только одно, и называется оно моей личностью.

Бесценный друг мой, в словах я никогда не мог выразить то, что к тебе испытываю. И какое бы то ни было сомнение в том, что мы с тобой отыщем жизненные формы, соответствующие нам обоим, – мне просто смешно. Но ты знаешь, что я принадлежу к породе людей, в глубине характера которых с колыбели до могилы живет нечто – высший для них определитель ценности жизненных явлений, указатель категорически-императивной жизненной цели и <...> – “долженствование”. Поэтому многие наблюдаемые факты вызывают с моей стороны иную реакцию, чем с твоей, не в силу случайных заблуждений, иллюзий, блажи, – а потому, что я – я. Учти и то, что жизнь перевалила за половину... Ты, например, пишешь: если мы выйдем с твердой и суровой установкой жить – мы жить будем. Да, но для меня и в 20-летнем возрасте, и в 50-летнем, и, если суждено дожить, в 70-летнем вовсе не всякие формы жизни имеют безусловную ценность и смысл. А только те, кот<орые> дают возможность прямо или косвенно работать в пользу того, что я считаю своим долгом, делом, смыслом, оправданием. <...> Если же наступит длительный период, когда все будет заслонено и придавлено борьбой за

существование, я не смогу смотреть на это иначе, как на потерянные годы: потерянные, правда, ради того, чтобы довлачиться до других, но абсолютно никакой автономной ценности для меня не имеющие. А для меня теперь на счету каждый год и даже месяц: не забудь, что я почти на 10 лет старше. К тому же для меня совершенно неприемлемо представление о такой форме существования, где мне пришлось бы лгать перед самим собой или перед другими. Этого одного достаточно, чтобы я предпочел остаться там, где нахожусь (если бы это от меня зависело) еще ряд лет. Здесь я могу не лгать ни единым словом, ни единым движением. Здесь я могу не презирать себя. Я могу, хотя бы отчасти, делать то, для чего вообще живу. В борьбе же за прозябание я утрачу все это, хотя и приобрету такую великую радость, как жизнь с тобой. Пойми меня! Не осуждай меня! <...> Золото мое, сердце полно таких чувств, а разум – таких мыслей, какие я мог бы передать тебе только сверхчувственным путем. Намеки о кое-чем из этого в прежних письмах и создали, к сожалению, представление о моей будто бы растерянности перед жизнью. Не растерянность, а определенный (скорее уж слишком определенный) угол зрения. Не знаю, дал ли я тебе о нем какое-нибудь понятие. Во всяком случае, “идеальный настоящий человек”, каким рисует его Б. Полевой, остается для меня чуждым, как житель Марса. Но жизнь не стоит на месте; я верю, что доживу до дней, когда не нужно будет ни лжи, ни борьбы за прозябание. Я хотел бы, чтобы наши судьбы воссоединились именно в такие дни. Я хотел бы выйти под широкое небо и идти, куда ведет меня мое сердце, моя вера и мой талант».

В обсуждении практических сторон общего будущего он, верящий в правду всех сказок, оказался куда трезвее жены, считавшей себя очень рассудительной, и никаких иллюзий не питал. Она готова была ехать с ним куда угодно – в сибирскую тайгу или на целину, в казахстанские степи, а он возражал, объяснял, что там лишится «единственной возможности к подъему: возможности литерат<урной> работы, художественной или научно-популярной <...> Конечно, и в степи можно быть почтальоном и с этим придется, б. м., примириться. Но – по собственному желанию? Зачем?» Она писала о своей мечте детства – о сцене! Он резонно отвечал: «Ты говоришь про мечты о новом театральном коллективе. Но, радость моя! Приходит моя очередь воззвать к реальному взгляду на вещи. Помню, в 44-м году на фронте, в моем госпитале, несколько врачей мечтали после войны соединиться и работать в одном врачебном коллективе. А что получилось? Через два года они только с горькой улыбкой вспоминали

о подобных планах, накрепко бросив якорь в разных городах и республиках. Тех, кто сейчас мечтает вместе с тобой, жизнь скоро разбросает по всей стране; и даже если двое-трое из вас окажутся вместе где-нибудь в Барабинской степи, неужели этого достаточно для создания собственного театра?»[17]

К началу февраля, приходя в себя после инфаркта, он постепенно возвратился к занятиям. Поддерживала необходимость завершить то, к чему, не сомневался, предназначен: принести полученную весть о разнозначных мирах Шаданакара. Но и совершавшееся рядом задевало. В письмах он с жаром обсуждал намерение жены читать с лагерной эстрады Щипачева – «олицетворение самой серой духовно-сытой посредственности», индийские фильмы, которых, увы, не мог видеть, расспрашивал, какие известия до нее дошли о родных, о друзьях... «Зима у нас выдалась очень мягкая, – писал он с иронией. – Даже с оттепелями. Но оттепели посреди зимы, это, как говорится, “для бедных”. Теперь, кстати говоря, они уже в прошлом; мороз хватил с новой силой. Этого и следовало ожидать. Ты читала Эренбурга? Вещь посредственная, напрасно вокруг нее ломалось столько копьев. Но за одно ему честь и хвала: в его положении разглядеть в реальной жизни, а тем более – изобразить такие явления, как этот чудесный художник-пейзажист, верный самому себе и мужественно несущий крест своего творчества. О существовании таких феноменов огромное большинство и не подозревает.

А у меня полоса невезения. Не одно, так другое. Сейчас лежу с прострелом, пишу в самой нелепой позе, поэтому и каракули такие.

<...> За меня не беспокойся, все кончится хорошо, в этом я уверен. Но “хорошо кончится” – это не значит, что не будет больше никаких потрясений. Если бы планетарный космос не представлял собой систему разнозначных, разномерных миров, от Мировой Сальваттеры до люциферического антикосмоса, и если бы путь монады не пронизывал их все выше и выше, до ступени демиургов галактик и еще выше, до самого Солнца Мира – тогда бы могло быть место отчаянью. Мною пережито в этом направлении за последние годы нечто огромное. И что составляет мою особенную радость, так это то, что я нашел для некоторых тем этого порядка форму выражения. Странную, ни с чем не схожую, но, кажется, бьющую в цель без промаха. Когда кончится бесплодный год, начавшийся прошлой весной, займусь окончательной обработкой»[18].

Беспокойные размышления о будущем не сводились к надежде выйти из тюрьмы. Родители жены, слыша об амнистиях, о

выходивших на свободу, продолжали писать заявления куда только можно, обивали доступные пороги. На активные действия они подвигали и зятя, после письма Маленкову в феврале обратившегося к Хрущеву. Жена писала ему о «деле»: «Оно пересматривается, очевидно, целиком, т. е. тебя касается так же, как меня. Если твои возможности писать официальные бумаги не ограничены, то учти следующее: наше дело пересматривает Главная военная прокуратура, главный военный прокурор генерал-майор Тарасов, очень большой смысл имеет писать в ЦК, там “нами” ведают: секретарь ЦК КПСС Суслов и в административном отделе ЦК – Дедов. Я сегодня написала маленькие заявления двум первым, на днях напишу третьему. Мало понимаю, почему ты писал именно Хрущеву, но и это неплохо»[19]. Особенно бодро был настроен тесть. Но Андреев в настоящую «оттепель» не верил и в очередном письме спрашивал: «Основаны ли оптимистические выводы А<лександра> П<етровича> на наблюдениях и соображениях общего порядка или же на последних сведениях?» И сообщал: «Никакого ответа на мои заявления, посл<анные> в центр, я до сих пор не получил, даже не дано уведомления о судьбе самого заявления. А ведь прошло уже 4 месяца»[20].

4. Хорошая полоса

Из больничного корпуса в 49-ю камеру он вернулся только 12 марта. В ней оказался и Зея Рахим, с которым они больше года находились в разных камерах. Здесь Андреев почувствовал себя гораздо лучше. В начале апреля писал жене: «У меня началась, очевидно, хорошая полоса. Здоров отлично. Во-вторых, кончился наконец период “бесплодия”, длившийся свыше года. Это стимулируется еще и тем, что теперь у меня на руках черновики, которые я не видел несколько лет и на 3/4 забыл. А в-третьих, – я встречаю к себе человеческое отношение, и сказалось оно, между прочим, и в том, что близкий человек, о кот<ором> я упоминал и общение с которым для меня очень важно и ценно, теперь со мной. Это для меня большое счастье». Он даже сравнивает Рахима, открыто восторгавшегося его сочинениями и таинственно намекавшего, что он чуть ли не египетский принц, с сиятельным покровителем Вагнера: «В моей жизни он – отчасти – кто-то вроде Людвига Виттельсбаха. Впрочем, если в будущем даже и не случится ничего головокружительного, все равно он останется одной из самых серьезных встреч за всю мою жизнь».

Улучшение самочувствия Андреев приписывал терапии босикомохождения: «Исключая короткое время, когда я лежал

из-за сердца или с прострелом, я всю зиму проходил босиком, хожу, конечно, и теперь, и только в сильные морозы надевал, на половину прогулочного времени, тапочки на босу ногу. Воздействие этого, в особенности хождения по свежему снегу, на здоровье совершенно поразительно». Он даже надеялся, что от босых прогулок «преодоляются и сердечные недуги». Вернулась работоспособность, стало писаться. «...Мне не хватает времени, – воодушевленно отчитывался жене. – Литерат<урные> занятия, хинди плюс прогулка, краткий отдых за шахматами – и дня уже нет. Еще 2–3 часа лежишь без сна, но и это время весьма продуктивно».

Хинди-русский словарь воскресил индусскую часть его души. Воодушевляло, что об Индии чаще и чаще писали советские газеты. Он просит родителей жены разыскать грамматику хинди и недавно изданные – «Историю Индии» Синкха и Банерджи и «Древнеиндийскую философию» Чаттерджи и Датта.

Оправившись от болезни и вновь взявшись за словарь, он обнаружил, что две трети слов забылись. «Это открытие привело меня в крайнее уныние», – сокрушался Андреев, но упорно продолжал занятия. Получив от тестя только что вышедшую «захватывающе интересную книгу» – «Введение в индийскую философию» Чаттержди и Датта, он делился с женой впечатлениями: «Она написана ясным, четким языком, объективна и очень обстоятельна. Я одолел пока введение, пробежал забавную систему чарваков – в стиле наивного материализма (схожую отчасти с эпикуреизмом, но более грубую) и проштудировал изумительную (особенно в отношении этики) философию джайнизма. <...> Между прочим, у джайнистов есть такая мысль: “Благополучие – это внешний покров жизни, и нарушить благополучие другого значит причинить вред жизни. Без благополучия (в том или ином виде) человеческая жизнь невозможна, поэтому лишение человека благополучия фактически является лишением его тех существенных условий, от которых зависит его жизнь и духовное развитие”. Теперь я перешел к философии буддизма. Всем этим я занимался раньше, в <1>930–<19>35 гг., но тогда я пользовался преимущественно работами по истории религий, а в таком сугубо философском разрезе сталкиваюсь с этим впервые. А впереди еще 6 ортодоксальных философских систем индуизма: йога, веданта и др. Представляешь, какое наслаждение!» [21]

Присылаемые Бружесами книги, издававшиеся одна за другой в те годы сближения СССР и Индии, – «История Индии» Синкха и Банерджи, «Открытие Индии» Неру, рассказы Тагора, индийские народные сказки, «Дневники путешествия в Индию и Бирму» Минаева, репродукции с картин советских художников,

посетивших Индию, – по-детски его радовали. Запоем прочитав книгу Джавахарлала Неру, при всех несогласиях, оценил ее высоко: «Он <...> односторонен, рационалист, благоговеет перед научным методом, собственного мировоззрения у него так и не выработалось; но в каждой странице чувствуется огромная культура, широта и крупный масштаб личности. А главное – он прекрасный человек, гуманист в настоящем смысле слова, и заслуги его перед Индией колоссальны. Словом он владеет блестяще...»[22] «Представляешь “гамму моих ощущений”! – делился он с женой. – Нет, у меня этот комплекс не ослаб, а углубился, хотя в текущий период центр тяжести моих интересов – в другом, в формировании кое-каких обобщений. От слепого поклонения Индии я далек, отдаю себе отчет в ее слабых и темных сторонах, а также в духовно-историч<еских> опасностях, кот<орые> ее подстерегают внутри неё самой. Но она мне интимно близка так, как ни одна страна – кроме, разумеется, России»[23].

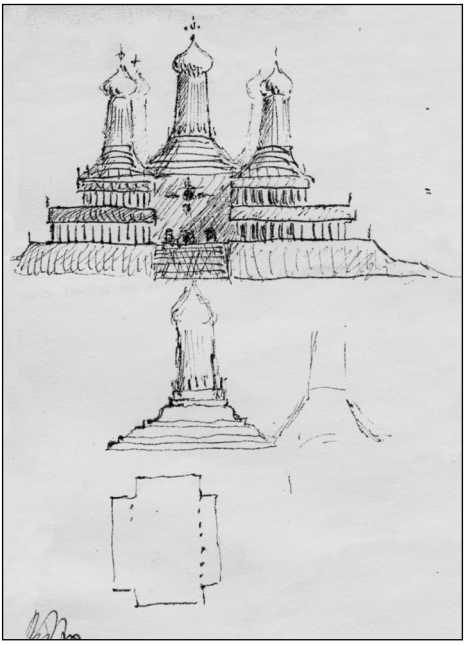
Неожиданное возвращение старых тетрадей, когда-то, казалось навсегда, изъятых при «шмоне», обнадеживало, стало поводом для оптимизма. И он уверял жену: «В будущем году нашей жизни наступит резкий перелом»[24]. Оживились надежды, что рукопись романа уцелела. Он даже принялся обдумывать его новую редакцию, собираясь «ввести еще два лица и несколько глав». Но главным делом оставался трактат о Розе Мира. Новые стихотворения вырастали из него:

Медленно зреют образы в сердце,
Их колыбель тиха,
Но неизбежен час самодержца –
Властвующего стиха.

В камеру, как полновластный хозяин,
Вступит он, а за ним
Ветер надзвездных пространств и тайн
Вторгнется, как херувим.

5. Две поэмы

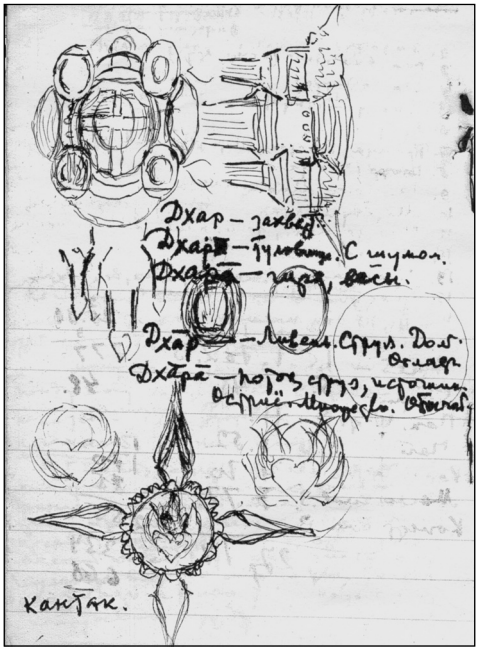
В октябрьском письме жене он отправил начало новой поэмы «Навна». Навна – имя Соборной Души российского сверхнарода. А в его концепции каждый сверхнарод имеет светлого Водителя-демиурга (у России это Яросвет) и светлую Соборную Душу. Она – одно из проявлений Вечно Женственного в историческом процессе. Имя Навна – условно. Но сама она, безусловно, реальна. Навна то, «что объединяет русских в единую нацию; то, что зовет и тянет отдельные русские души ввысь и ввысь; то, что овевает искусство России



Храм Солнца Міра. *Рисунок Д. Л. Андреева*

неповторимым благоуханием; то, что надстоит над чистейшими и высочайшими образами русских сказаний, литературы и музыки; то, что рождает в русских душах тоску о высоком, особенном, лишь России предназначенном долженствовании...» Навна – душа русского народа, томящаяся под властью деспотии, и будет освобождена, когда восторжествует Роза Мира. А пока она – пленница Жругров в Друккарге – обиталище российского античеловечества. Ее освобождение – цель русской метаистории. О ней грезит автор «Навны». Так Владимир Соловьев был озабочен, по словам Блока, делом «освобождения пленной Царевны, Мировой Души, страстно тоскующей в объятиях Хаоса...»[25].

Поэма вначале именовалась сюитой. Музыкальное начало – в прихотливой строфике, интонации, в разработке темы. Умозрительное, по сути, понятие Соборной Души в поэме превращается в мифологический образ. Даниил Андреев следует Владимиру Соловьеву, прозревшему «нетленную порфиру». Соловьевское видение изображено в «Трех свиданиях» «в пурпуре небесного блистанья». И Навна возникает в слиянии сини небесной и синего простора глаз. Но Даниил Андреев не говорит о видениях, его умозрения соборности в поэтической плоти ожили в образах и представлениях о процессах метаистории.



Эмблема пылающего солнца. *Рисунок Д. Л. Андреева*

Пришла пора дать имена всему увиденному в иных мирах, классифицировать их. В цикле «Миры просветлений» он рассказывает о светлых мирах. В стихотворных изображениях условность чюрлёнисовских композиций (в них Андреев, кстати, находил намеки на трансфизическое) – звездные моря и фонтаны поющих комет. Они исключают земные краски – небесное сияние слепит, затмевает оттенки. Другое дело светлые стихиали. Арашамф – обиталище деревьев, веселая рать Ирудруны – с грозами, ливнями и ураганами, Нивенна – область духов снегов... Но и это стихотворения программные, сочиненные с целью описать обозначенные в атласе Розы Мира области иных измерений.

Темные миры всегда и у всех поэтов живописнее светлых, человеческий язык пригодней для их описания. У Данте ад зримее рая. По демоническим слоям Даниил Андреев проходит не один раз. Задумана и начата поэма в прозе «По ту сторону» (потом она стала называться «Жизнь на изнанке мира» и, наконец, «Изнанка мира»), написана поэма «У демонов возмездия». Изображения слоев мучилищ не повторяют друг друга. Мрачные подробности и памятные детали каждого из слоев-ярусов ада сопровождают повествование о посмертных муках заслуженного чекиста, мечтавшего «блистать лампасом генерала», с дантевской фантазией.

Это не форма мести палачам: «Мой стих – о пряже тьмы и света / В узлах всемирного узла». Речь идет об узлах исторической народной кармы. Теперь одни бериевцы неожиданно оказались рядом со своими жертвами в централе, других, как раз руководителей андреевского террористического дела – Абакумова, Комарова, Леонова, арестованных еще при Сталине, расстреляли. Обвинялись они не в беззаконии и жестокости, а в том, что «смазывали» сигналы о террористической деятельности против руководителей партии и правительства. Известия об арестах и расстрелах чинов МГБ мгновенно долетали до зэков сквозь все затворы. Освобождение несправедливо осужденных бериевскими преступниками, верилось, не за горами.

Общий ход событий воодушевлял самых недоверчивых. Но Андреев, сосредоточенный на своих сочинениях, и о свободе думал исходя из миссии – дописать, донести весть. Получивший уцелевшие черновики 50-го года, он завершал начатое, продолжал трактат, превращавшийся в учение о Розе Мира. Чувствовавшая его настроения сквозь тюремные стены и лагерную проволоку жена волновалась об одном: «...боюсь, что ты пишешь в Прокуратуру и дальше не то, что надо, а лирико-психологические поэмы, т. е. продолжаешь наше с тобой детское, чтоб не сказать больше, поведение 47–48 года. Я тебе уже писала: если в силу каких-то глубоких внутренних причин иначе не можешь – ничего не пиши, я одна буду писать»[26].

Жена считала свое «мироотношение» реалистичнее. «Допускаю, – соглашался он. – Мое же – не реалистично, а реально. Это не игра словами. Верно, что я ошибался во времени, сроках и т. п. Вполне могу ошибаться теперь и вовсе не претендую на дар прорицаний. Я только уверен, что не ошибаюсь относительно духовной стороны некоторых явлений и процессов и в их направленности. Всякий специализируется на чем-нибудь, я – на метаистории. Все может сложиться даже совсем печально для нас, но это нисколько не поколеблет моего отношения к вещам, ибо оно основано не на том, хорошо нам с тобой или плохо, а на высшей объективной реальности. Поэтому я и говорю, что такое мироотношение реально»[27].

Теперь он имел право на одно письмо ежемесячно, и в 55-м писал жене неукоснительно в первых числах каждого месяца, вынужденно пропустив лишь май и июль: отвечал ее родителям. Письма писал с черновиками: «когда можешь писать так редко, а материала так много, черновики помогают сделать письмо более вместительным и толковым»[28], – объяснял он, обсуждая с женой многое. Счастье, что стало возможно пересылать стихи, и каждое

письмо завершалось стихами, переписанными ровным убористым почерком. Он писал о мечтах, о том, как они будут «со временем читать по вечерам вслух, сидя на уютном диване, “Святые камни”, “Симфонию городского дня”, “Ленинградский Апокалипсис”, “Александра Благословенного”, “Гибель Грозного”, “По ту сторону” и многое, многое другое. Уверен, что тогда у нас хватит времени прочитать вслух и такую махину, как “Железная мистерия”, и даже “Розу Мира”»[29].

Еще не все перечисленное завершено, но обдумано как безусловно необходимая часть целого. А когда жена удивляется количеству написанного, дополняет список: «Но ведь это куда меньше половины (если не считать огромной “Жел<езной> мистерии”). Можно было бы прибавить “Святые камни”, “Сквозь природу”, и “Афродиту Всенародную”, “Яросвета”, большую симфонию о великом Смутном времени (новая форма, действительно имеющая много общего с музыкальной симфонией), “Миры просветления”, “Навну”, “У демонов возмездия” и мн<огое> другое»[30]. Они пишут друг другу о Достоевском и о второй части «Фауста» (его Андреев перечитывал в тюрьме дважды, в тюремной тетради переписан фрагмент «Пролога в небесах» в оригинале, а рядом подстрочный перевод), об архитектуре и балете, о присылаемых стихах.

Получая стихи, вначале немногие, жена, при всей ее чуткости, не зная стоящей за ними метаисторической концепции, не представляя всей картины мистического космоса, восприняла их не сразу. Смущали непонятные имена, терминология, сама поэтика, нагруженная новыми смыслами. Он пытался объяснять. «Что сказать по поводу твоих мыслей о простоте? Вопрос сложный и в письме толком разобрать невозможно. Ограничусь следующим. Ты – на мой взгляд – и права, и не права. Дело в том, что никому не приходит в голову требовать от математика, чтобы он ухитрялся теорию относительности или векториальный анализ излагать языком понятий, доступных школьнику V класса. В искусстве тоже есть свои векториальные анализы, и непонятно, почему об этом забывают. Выражение “кабинетная поэзия” – нарочито снижающее, вроде слова “боженька” с маленькой буквы. Ведь надо бы и II ч<асть> “Фауста” считать тогда кабинетной поэзией, а между тем кабинетного в ней не больше, чем в IX симфонии Бетховена, тоже остававшейся долгое время малодоступной. <...> Главное же, в данном случае налицо – задача беспрецедентная, и ее нужно представлять хотя бы в общих чертах, чтобы судить о допустимой степени упрощения, о праве на такое упрощение. <...> Некоторые мои фразы могут неприятно резануть, ты усмо-

тришь в них признаки странной самоуверенности, неуместной гордости и т. п. К сожалению, это недоразумение неизбежно, и я не могу найти способов убедить тебя при помощи писем, что это совсем не самоуверенность, а нечто качественно и принципиально иное. Я никогда до 47 года не был столь скромного мнения о собственной персоне, как теперь»[31].

Получив начало «Навны», она спешит высказаться: «По звучанию и по своеобразию это – чудо. Просто великолепная и совершенно своя вещь. <...> А зачем и откуда взялись имена, которых ты знать не можешь, я не понимаю. И эти имена, а также строчки (плохо говорю, не строчки, а иначе надо сказать), как:

– То стихиали баюкали космос
Телесного слоя –

звучат для меня доктором Штейнером.

И вот вся вещь для меня – смесь настоящего, огромного, недосягаемого искусства с совершенно сомнительными вещами»[32].

«О “Навне” подожди судить, – просил он. – Ведь это, с одной стороны, – только начало, а с другой – само по себе, все в целом, является лишь серединой. Возможно, что относительно д-ра Штейнера ты останешься и в будущем при особом мнении, но дело в том, что к Штейнеру это не имеет никакого отношения, а имеет к некоторой концепции, лежащей под или за всеми текстами и постоянно проявляющейся в различных рядах слов и образов. Это не случайные ляпсусы, а штрихи системы. Именно в качестве штрихов, дополняя друг друга, они имеют свою raison d’être* и воспринимаются совсем иначе, чем взятые изолированно. Существует как данность некий новый жанр, называемый поэтическим ансамблем. Какая-либо тема, весьма обширная по объему и сложности, может найти адекватное выражение не в поэме, цикле или драме, а в жанре комплексном: все его части связаны между собой единством этой темы, различные аспекты и подтемы которой в них разрабатываются, и в то же время каждая из них является произведением до некоторой степени автономным. При этом сюда привлекаются поэмы, поэтические симфонии, циклы, даже поэмы в прозе и т. д. – Что же до названий, то почему ты так уверенно пишешь, что я не могу их знать? А если я все-таки знаю? Представь – именно знаю, да притом еще много десятков, и не только названия, но и “ландшафты”, и смысл их, и звучание (там, где оно есть), и категории их обитателей, и многое другое. Я все твержу, а ты все не хочешь услышать: недаром же я

* Здесь: разумную основу *(фр.)*.

пролежал, в общей сложности, 1500 ночей без сна. Мало ли какие бывали состояния»[33].

Он старается убедить, что за написанным стоит не самонадеянная выдумка, а сокровенное знание: «Что же касается “названий”, то, повторяю, если бы ты знала всю композицию, то убедилась бы, что без них – абсолютно невозможно. Кстати, почему ты не протестуешь против действительно выдуманного, совершенно условного имени – Навна?»[34]

Следующие главы «Русских богов» опять требовали пояснений: «Термины Шаданакар, Нэртис и мн<огие> другие – оттуда же, откуда так перепугавшие тебя Лиурна и Нивэнна. На протяжении ряда лет я воспринял их в определенных состояниях, кот<орые> со временем постараюсь пояснить тебе в разговоре, если Бог даст нам свидеться. А 242 – сумма всех слоев разных материальностей, с разным числом пространственных и временных координат; все вместе они составляют Шаданакар, т. е. систему различных материальностей планеты Земли. Такие системы наз<ываются> брамфатурами. Их – множества, т<ак> к<ак> брамфатуру имеют весьма многие звезды и планеты. Имеются мета-брамфатуры галактики, со многими сотнями и даже тысячами различных материальных планов. – Напр<имер>, одномерное дно Шаданакара представляет собой как бы линию, упирающуюся одним концом в звезду Антарес (& [альфа] Скорпиона), в кот<орой> скрещиваются одномерные миры всех брамфатур нашей галактики. Впрочем, такие жалкие обрывки огромной концепции вряд ли могут тебе что-нибудь дать. (Ах да, еще вот что. Ты говоришь, что названия звезд вызывают массу ассоциаций, а эти – нет. Да, не вызывают, потому что они новы. Никакие новые слова не могут вызывать ассоциаций. Но если бы это обстоятельство пугало людей, язык не только не развивался бы, но даже не возник бы совсем. Новые понятия требуют новых слов, это аксиома. А понятия за данными словами – действительно новые, независимо от чьего бы то ни было неверия или веры.)»[35].

Обо всем в письмах не напишешь. Лето 55-го оказалось плодоносным, многое он написал, многое обдумал. Ожидания, что именно это лето станет очередным рубежом внутренней жизни, не вполне оправдались. «Но обогащение произошло огромное. Теперь лишь бы подольше тянулся период досуга да не мешали бы болезни. И дело будет в шляпе»[36], – делился он с женой. Под внутренней жизнью подразумеваются новые озарения. Но после инфаркта состояния снобдений не возвращались.

6. Мучительные темы

В июне на свидание – они стали разрешены – впервые приехала теща. На поездку Юлия Гавриловна решилась ради ускорения хлопот по пересмотру «дела», беспокоясь, что зять пишет не те заявления и не туда. После тридцатиминутного свидания она сообщила дочери не только о том, что он «очень худ», но и потребовала: «Даня пусть никому не пишет». На тещу, а через нее на жену повлияли мнения вышедшего на свободу сокамерника – Александрова. Он, по словам Андреева, человек в некоторых отношениях редкий, но слишком самоуверенно толкует ему непонятное...

Жена прямо писала об «оторванности от жизни и о потере чувства реальности». Андреев отвечал: «Верно твое представление о моей оторванности только касательно некоторых практических деталей, но не общего и целого. Я читаю газеты, журналы, новые книги, иногда вижу новых людей, переписываюсь, и у меня на плечах все-таки есть голова. Не зная, на чем основаны, как на камне, мнения другого человека, не совпадающие с вашими мнениями, неправильно прибегать к самому примитивному объяснению: потерял-де чувство реальности. <...> В этой связи – и о том, как я писал заявления. Никаких поэм в прозе и никакой достоевщины. <...> Верно лишь то, что я вообще не умею хорошо писать официальных документов, но не за счет включения в них лирического элемента, а за счет отсутствия особого юридического, практически-делового мышления. Могу, впрочем, успокоить тебя тем, что вообще не собираюсь писать куда бы то ни было»[37].

Его письма пестрят взволнованными расспросами о родных, друзьях, знакомых. В конце лета он посылает деньги, из тех, что получал от ее родителей, двоюродной сестре – к его огорчению, удалось послать только 80 рублей. До него дошли известия о ее болезни, и он спрашивает, «как она выглядит, чем ее лечат? Лежит она или ходит?»[38]. Ответ жены, видевшей Александру Филипповну последний раз в 51-м году, не утешал: «Она выглядела очень плохо, и душевное состояние было плохое. Это не человек, а трагическая развалина – и физически, и душевно. <...> Недавно мне описывали ее внешность: угловатая, черная, очень странная фигура с потухшими глазами, похожая на Мефистофеля»[39].

Он упорно возражает жене, болезненно воспринимавшей любую укоризну подельников, трезво оценивая степень собственной вины перед ними. Замечает, что и она «вряд ли испытывала бы к виновнику жизненной катастрофы любимого <...> человека прилив добрых чувств <...> Да, в моей истории есть ряд смягчающих обстоятельств, но, во-первых, они ей неизвестны, а во-вторых, –

даже и они не меняют дела по существу, и я остаюсь объективно виноват в вещах, достаточно печальных и вовсе не мелких»[40]. От гнетущего чувства вины в одном из писем у него прорывается: «Все больше и больше жалею, что для меня непозволительно покончить счеты с жизнью раз и навсегда. Но не пугайся этой фразы: мне этот выход запрещен и исключен. И точка»[41].

Он просит узнать об Усовых, о матери Ивашева-Мусатова, о Волковой, об Угримовых... Спрашивает: «Скажи, между прочим, ты ничего не слыхала о Добровольском-Тришатове? Ему же 72 года; к тому же человек в полном смысле слова “ни сном, ни духом...”»[42]

Волнуют его известия о Коваленском. Когда он узнает, что тот опубликовал в лагерной многотиражке два стихотворения, настоятельно просит прислать. Получив первое, огорчается: «Ну кто бы мог поверить, что автор когда-то обладал крупным талантом? <...> Ни единого свежего образа, ну хоть интересного ритмического хода, выразительного звучания, яркой рифмы! Подобная халтура исчисляется сотнями тысяч... И это – автор таких шедевров!.. Очень жду второго, может быть, хоть в нем мелькнет хоть что-нибудь. Вот это так трагедия. А не кажется ли тебе, что спад начался уже очень давно, примерно в 43 году? Вспомни “Партизан”, “Дочь академика”... Даже последние главы “Корней” значительно уступали первым главам. Но, конечно, это могло быть временным явлением, если бы не последовавшая за этим катастрофа. Несчастье еще и в том, что он оказался в твоих условиях, а не в моих: мне представляется, что в твоих условиях гораздо труднее сохранить достоинство и просто самого себя»[43].

Он считал, и небезосновательно, что тюрьма с нерушимыми стенами куда меньше лагеря покушается на внутреннюю свободу. Не всуе Варлам Шаламов, прошедший всеми зэковскими кругами, заявил: «Тюрьма – это свобода». Поверивший в брезжущее освобождение, Андреев его боялся, трезво оценивая свое нездоровье, предвидя бездомье и безденежье. «Начинает казаться, что наша с тобой встреча ближе, чем я раньше предполагал, – воодушевляет он жену. – ...Но при этом обозначаются некоторые такие сложности и трудности, перед которыми я останавливаюсь в полном недоумении: как же я должен себя вести и что делать. Ты, безусловно, некоторых из этих сложностей даже и не подозреваешь. Надо полагать, пенсия инвалидов Отечественной войны будет восстановлена...» [44]

Больное сердце давало знать – стало трудно одолевать тюремные лестницы. По временам приходилось принимать нитроглицерин, несколько раз понадобились уколы камфары.

«Вообще, пока я остаюсь на одном месте и без особых волнений, все идет отлично, – успокаивал он жену в октябрьском письме. – Усиленно работаю; много сделал за последние полгода. Душевное состояние довольно устойчиво и было бы еще лучше, если бы я мог быть уверен, что останусь здесь до весны. Ко всем переездам я испытываю глубокое отвращение, и прежде всего потому, что плохо представляю, как я с ним справлюсь. Ведь сейчас я не могу даже поднимать или носить собственного багажа, хотя он вовсе уж не так громоздок. Но так как состояние сердца улучшается, хотя медленно, но верно, то я и надеюсь, что к весне смогу справиться со всяким переездом»[45].

Юлия Гавриловна навещала его еще дважды – в августе и в октябре. Он ничем не мог отплатить ей за упрямую самоотверженную заботу, не мог вернуть ей дочь. Семидесятилетняя старуха, бледная, вымотанная дорогой и поклажей, беспрестанными опасениями, жила, движима собственным пониманием должного. Он ее состояние понимал: «Держит себя в руках она очень хорошо, но, конечно, нельзя не видеть, что в сущности это – комок нервов, каждый из которых пронзительно кричит на свой лад»[46]. Она рассказала, что за могилами бабушки с матерью и Добровых, за которыми он просил присмотреть, ухаживает Митрофанов, передала от него посылку. Это растрогало, Владимира Павловича он привык считать холодным человеком. Узнал и другое, чрезвычайно огорчившее: слухи, что Зея Рахим к нему подсажен, что может погубить все попытки добиться пересмотра дела. Собственно, это оказалось не последней причиной приезда тещи. Предупреждения о Рахиме, досиживавшем уже десятый год, он слышал не раз, а теперь слух, пошедший гулять повсюду, стал для него «мучительной темой». Сплетня, считал он, основана «либо на недоразумении, либо на дурной воле и искаженности восприятия людей, сводящих личные счеты». Молва дошла до жены, и он уверял ее: «...ты сама, светик мой, знаешь, как легко возникает и как трудно затухает абсолютно ничем не заслуженная нехорошая молва о человеке». Писал, что «обязан своему другу такой огромной помощью», что если «благополучно переживет этот и еще 2–3 года», то в значительной мере благодаря Рахиму. А сплетня исходит от Александрова. «Сам по себе, он хороший, прекрасно ко мне относящийся, как и я к нему, человек, но сложный, болезненный, противоречивый и с огромным самолюбием. Плюс к тому – недоверчивость, подозрительность, своего рода esprit mal tourné*. Причины его антипатии мне известны,

* Здесь: свойство истолковывать все в дурном смысле *(фр.)*.

мне только жаль, что отзвуки этих конфликтов достигли тебя, да еще в таком искаженном виде. А к пересмотру это, конечно, не может иметь никакого, даже косвенного отношения (даже в том абсурдном случае, если бы “товарищ” был прав на 100%)»[47]. Но кроме Александрова похожее мнение о Рахиме высказывал Парин, а позже выяснилось, что не он один.

7. Железная мистерия

Поздравляя в начале декабря жену с близившимся Новым годом, поскольку следующее письмо предназначалось теще, он предсказывал: «...радость моя, я абсолютно уверен в том, что в наступающем году мы увидимся, – а ты знаешь, я ведь не такой уж безоглядный оптимист. Может случиться так, что ты навестишь меня здесь...»[48]

Алла Александровна, в праве переписки не ограниченная, на каждое письмо мужа отвечала несколькими. В ноябре прислала свои фотографии, ставшие для него событием. После восьмилетней разлуки, в тюремной камере они оживали под взглядом. В лагере разрешалось фотографироваться, правда, без лагерных примет, в вольной одежде. Что ж, и лагерницы хотели на снимках выглядеть нарядней. В тюрьме фотографироваться запрещалось, и он в ответ набросал словесный автопортрет, «дабы ты, – пояснял он жене, – через несколько месяцев при виде столь экстравагантной фигуры не издала легкого крика. Правда, ты увидишь ее в несколько смягченном, так сказать, виде; но все же... Итак, вообрази в стареньком лыжном, когда-то синем костюме длинную фигуру, худоба которой скрадывается множеством наверченных под костюмом шкур. Вечно зябнущая голова украшена либо темно-синим беретом, не без кокетства сдвинутым набекрень, либо полотенцем, повязанным à la bedouin*. Ввалившиеся щеки и опухшие веки доказывают, что их владельцу скоро стукнет полстолетия. Взгляд – мрачен, лоб – ясен. Однако воинственный нос свидетельствует, что немощна только плоть, дух же бодр. Ноги всегда босы, и местные жители созерцают уже без изумления, как внушительные ступни, как бы олицетворяя вызов законам природы, мерно вышагивают по снегу положенный им час»[49].

К концу зимы он выслал ей второй автопортрет: «Мою знаменитую шубу еще в прошлом году переделали: укоротили, сделали хлястик, и получилось нечто вроде полупальто. Очень легко и симпатично. А из отрезанной полы сделана шапка, вернее, шлем необычайного, мною самим изобретенного фасона, с мысиком на

* Здесь: под бедуина *(фр.)*.

переносицу и с плотно прихватывающими уши прямоугольными выступами. Ничего более теплого и удобного я на голову никогда не надевал. К сожалению, однако, я в ней почему-то делаюсь похож на “великого инквизитора”. А один человек прозвал меня “нибелунг-вегетарианец”»[50].

Зимой опять навалилась депрессия. «Состояние “бездарности”, кот<орое> я вообще переношу с трудом, если только не нахожусь среди природы, сейчас окрашивает для меня почти все, – сетовал он в очередном письме жене. – ...Бесенок депрессии зудит, что, дескать, упадок не закономерен, т. к. наступил слишком скоро, что это – конец искусству, да и жизни вообще – и т. п.: хорошо знакомая тебе песня. Но ни о каком конце вроде Климентовского (герой «Странников ночи», покончивший с собой. – *Б. Р.*) я не помышляю. Это – не помыслы, а только иногда поднимающееся непроизвольное чувство. Да и вообще, состояния, даже желания, стали двойственны и противоречивы. Восемь с 1/2 лет одних и тех же впечатлений вызывают все чаще мозговую тошноту. Но беда в том, что ее вызывает и многое другое, Даже, в каком-то смысле, моя излюбленная Индия. Фотография Тадж-Махала в газете привела меня в состояние, напоминающее чувства Адриана (другой герой «Странников ночи». – *Б. Р.*), когда он из трамвайного вагона поспешил, чуть не попав под грузовик, к разгуливавшему по тротуару парню. Фиолетовые круги, и все зазвенело каким-то тонким комариным гудом. К сожалению, чувства этого рода становятся повседневным явлением»[51].

Имена героев «Странников ночи» давно стали для них шифром, непонятным для цензорских глаз. Себя Андреев в письмах называл Олегом – так звали одного из братьев Горбовых, поэта, в роковом романе.

В конце года в Дубровлаг перевели однокамерника Андреева – Николая Садовника. «Нельзя не уважать глубоко человека героического склада, абсолютной честности и к тому же обладающего удивительно нежной душой, обнаружения которой тем более трогательны, что обычно на виду – мужественная, грубоватая сила, кажущаяся совсем примитивной, – восхищенно писал о нем Андреев. – А за плечами – настоящие подвиги, в высшем смысле этого слова. Если на склоне лет такой человек дойдет до границы праведности, в этом не будет ничего удивительного»[52]. С собой Садовник вез тетрадь стихов Даниила Андреева, тщательно, почти печатными, мелкими буковками переписанных. Тетрадь в клетку вместила семь глав «Русских богов» – «Сквозь природу», «Босиком», «Миры просветления», «Гибель Грозного», «Рух», «Святые камни» и «На синем клиросе» (окончательное

название – «Голубая свеча»). В начале января Садовник смог передать ее по назначению – жене поэта. Она отозвалась сразу: «Ни одного слова, кроме радости. Кажется, больше всего нравится “На перевозе”, потом “Шаданакар”, потом “Нэртис”, потом “Ливень”, но это – просто так, без причин»[53].

В наступившем году Даниил Андреев занимался трактатом и завершением «Железной мистерии». 2 мая сообщил об ее окончании жене: «Сегодня кончил курс занятий, начатый еще в 50 г. Не станцевали буги-вуги или джигу только из-за сердца». К письму приложил вступление:

...И, не зная ни успокоенья, ни постоянства,
Странной лексики обращающаяся праща
Разбросает
добросозвучья
и диссонансы,
Непреклонною
диалектикой
скрежеща.

Не отринь же меня за бред и косноязычье...

Оно написано «размером, никогда никем не употреблявшимся, читать надо медленно, плавно и широко, – пояснял он. – Размер этот – гипер-пеон»[54].

Начинавшаяся вместе с «Розой Мира» мистерия изображала решающие события русской метаистории XX века, объясненные в трактате. Возрождение мистерии – сугубо сакрального жанра – одна из задач его «поэтической реформы». Мистерия, считал он, непременно расцветет в будущем и станет частью культа «Розы Мира». Уроки вагнеровской мистериальной драматургии, символических драм Ибсена, театральных поэм Блока восприняты им как подступы к новому мистериальному жанру. Помнил он и мистерию Коваленского – «Неопалимая Купина». И, конечно, «Мистерию-буфф» Маяковского.

Метаисторическое действо, развернутое в двенадцати актах «Железной мистерии», стало не столько переосмыслением прошлого и настоящего, сколько пророчеством о событиях конца века. Исторические персонажи, чья энергия питается силами тьмы, в мистерии предстают гротескно-символическими образами, олицетворяя тайную правду событий. И жертвенные герои сил света – праведники, проповедники, а с ними символический автогерой – поэт-вестник, изображают ту же высшую правду.

Необычность «Железной мистерии», мифологически преображающей историю, ее многоголосье требовали непростой

работы воображения и душевного соучастия. Первыми читателями стали громко восторгавшийся Зея Рахим и жена. Она не скрывала и критики. Сомневающийся автор встречал замечания с вниманием, но стоял на своем: «...не понимаю, за что ты могла ворчать под конец на “Мистерию”. Именно в конце... непостижимо. Это же зенит. <...> Я не считаю, что “Мист<ерия>” кончена, вижу кучу недостатков, потребуется порядочное время на их устранение, но эти дефекты – не там»[55].

8. Узлы прошлого

Состояние, о котором Андреев писал жене в начале декабря, к новому году ухудшилось. «За весь месяц я смог выйти на прогулку 2 раза и оба раза жалел, что вышел. Бо́льшую часть времени лежу, и не ради профилактики, а по необходимости. Три-четыре часа в день сидения за столом – это потолок моих возможностей. Нитроглицерин приходится глотать почти ежедневно, сейчас прохожу опять курс вливания глюкозы, но результатов пока не заметно. Голова, конечно, ясная, читать и заниматься могу, но 1/4 часа походил по камере – и опять те боли, с которых год назад начался знаменитый приступ. Вот тут-то и спасают грелки на грудь и на спину и нитроглицерин. Теперь суди сама, смог ли бы я в таком виде ехать или, вернее, доехать до какой-то там Новосибирской области. Весьма сомнительно, что дотащился б хоть до Москвы. <...> Все-таки лучше переждать еще 2–3 месяца и потом докуда-нибудь доехать, чем сорваться с места сейчас и не доехать нидокуда. Поэтому в затяжке решения прокуратуры есть, как ни странно, и своя хорошая сторона. Кроме того, самый факт затяжки является скорее хорошим, чем дурным признаком, так как отрицательные решения обычно выносятся быстро. Вообще, на этот счет я настроен оптимистичнее тебя и опираюсь при этом на мнение людей, имеющих возможность разбираться в этих вещах гораздо лучше меня. Подсосенский не кажется мне пустой мечтой, а 101 км – тем более. Лично передо мной маячит еще и другой вариант: инвалидный дом где-нибудь поблизости, хотя бы на тот период, пока ты прочно обоснуешься на новом месте, и я смогу дотащить дотуда свою бренную оболочку»[56].

Новый, 1956 год он встречал в камере вместе с Зея Рахимом. «Я улегся, когда полагается, в расчете на то, что если я постоянно не сплю по полночи, то в новогоднюю ночь тем более не пропущу 12 ч. Боролся-боролся со сном и – задремал. А когда друг, услышав 12-часовые звуки, произнес поздравление, я, ничего не соображая, пробормотал почему-то “Спокойной ночи!”, только тогда

понял, в чем дело, развеселился и потом не мог уснуть и в самом деле, думая о тебе и о всяких наших с тобой делах»[57], – элегично описывал он жене новогоднюю ночь, думая и о надеждах, сулимых ходом вещей – логикой метаистории.

А в январе пришло решение по его заявлению. Выписка из протокола 81 гласила: «Центральной комиссией статья УК 19–58–8 переквалифицирована на 7–58–8, наказание по статьям 7–58–8, 58–10 ч. 2, 58–11 оставлено прежнее – на срок 25 лет тюремного заключения». «Это меня не очень взволновало, – утешал он жену, – хотя, конечно, можно было ожидать всего, чего угодно, кроме этого. Оно находится в плачевном противоречии с: 1) фактами, 2) здравым смыслом, 3) духом сегодняшнего дня – как я этот дух понимаю. Очевидно, под этими недолговечными “духами” лежат некие гораздо более устойчивые и живучие принципы. Очень тревожно за стариков, особенно за маму, как она это перенесет. Сама понимаешь, как напряженно жду известия от тебя – каково решение на твой счет, а также о других. Все же надеюсь, что к тебе проявят иное отношение. <...> У меня есть подозрение, что призрак Якиманки до сих пор оказывает свое влияние на наши судьбы»[58], – предположил он.

В особнячке на Якиманке жили герои «Странников ночи», измыслившие покушение на вождя. Но оказывается, – об этом Алла Александровна услышала в лагере, – что там, «точнее, кажется, на Ордынке», жил человек, похожий на организатора изображенной в романе группы. «А конец ясно какой – хуже нашего. И знаю я это от женщины, которая “по долгу службы” способствовала этому концу, а потом сама влипла». Следователи, писала она мужу, «не могли не считать нас разветвлением, остатками и пр. этой очень большой группы. В их “здравые” мозги не укладывалось, что ты мог писать так похоже на то, что было в действительности, “из головы”»[59].

Александр Петрович в начале февраля спешно поехал на свидание к дочери: помочь написать новые заявления. В очередном письме она сообщала мужу: «Сочинили огромное заявление Булганину. Я напишу тебе основные тезисы этого грандиозного эпоса, чтобы ты имел представление о том, чего именно я прошу.

Так вот – самое основное это – то, что я жаловалась на фальшивые, в условиях застенка полученные, протоколы, а за два года пересмотра нас не допросили ни разу (это могло быть сделано и на месте) и осудили вновь по тем же протоколам, сфабрикованным настоящими преступниками – Абакумовым, Комаровым, Леоновым. Теперь я настаиваю именно на составлении новых, справедливых протоколов и на нормальном суде (а не всяких

совещаниях). Что касается статей обвинения, то тут дело обстоит так: 8<-я> должна быть абсолютно снята. По ней мы совершенно не виноваты, это все – чистое творчество Артемова, Леонова и пр. Я вообще ничего делать не собиралась, а все, что можно по этому поводу найти в твоих записках, относится к образам романа – такие люди должны были быть. П<ункт> 11 4 тоже незаконен, поскольку мы не представляли собой ничего организованного. Ну, а что касается 10 5, то он разделяется: часть была справедливой критикой и сейчас высказана ведущими лицами по радио и в газетах, часть, в том числе и основная линия романа, была вызвана ежовщиной (не было бы этих, осужденных Правительством, явлений, не было бы ни романа, ни большой части нашего недовольства). Если б меня спросили, как я расцениваю еще остающуюся часть 10<-го> пункта, я бы ответила, что, пока существуют такие дела, как наше, и такие пересмотры – я имею право быть кое-чем недовольной, а кроме того (это я написала), за 9 лет я 18 раз искупила свою вину – такую, какая она в действительности была. Наше дело, особенно в части 8 – сделано Абакумовым и компанией для каких-то их целей. Несправедливость пересмотра заставляет меня подозревать наличие еще каких-то типов, которым нужно это отрицательное для нас, противоречащее фактам, здравому смыслу и духу времени решение. Поэтому я прошу, чтобы Булганин лично дал распоряжение о проверке и надзоре за вторым пересмотром со стороны Комиссии партийного контроля при ЦК КПСС. Я не понимаю, каким образом сейчас, когда отпускают на волю настоящих преступников (по амнистии), а СССР становится символом гуманности и внимания к человеку в глазах всего мира, могут происходить такие безобразные вещи, как вторичное осуждение людей по фальшивым протоколам, когда именно на получение этих протоколов методами, запрещенными советскими законами, люди жаловались. Привожу два примера: как мы говорили Тане В<олковой>, что не поедем к ней на дачу, потому что там “неуютно”, а из этого сделали, что мы выспрашивали у нее местоположение и условия. А пример – как я под диктовку вписывала в протокол название, которого не знала (и сейчас не помню). Вот, Зайчуша, это все длинно и подробно написано Булганину, и это (копию) я пошлю Хрущеву, и это (очень сокращенно) я написала Генеральному прокурору.

<...> Я не знаю всего, что ты писал в 54 году, а кое-что, что знаю, напрасно написано – донкихотство. Ну, в конце концов тебя тоже не переделаешь, может быть, сейчас немножко поймешь, что надо, а может быть, и нет, поскольку на своих, очень особых рельсах, стоишь твердо и непоколебимо. Одно скажу:

стариков-то нужно пожалеть не только сердцем, но и поступками. Как – твое дело, только прошу тебя: подумай серьезно над этой моей фразой»[60].

«Что ж, мой друг, – отвечал он, – содержание твоего заявления очень близко совпадает с содержанием моего в ноябре 54 г. <...> Теперь я напишу еще обстоятельнее и сделаю все, что могу, чтобы по отношению к старикам было выполнено все, что в моих силах. Не требуй от меня только того, что превосходит мои возможности. Некоторые внутренние препятствия теперь отпали, гл<авным> образом из-за хода моей болезни, теперь окончательно определившей инвалидный характер моих перспектив. <...> Так или иначе, мне в величайшей степени хотелось бы выйти и пожить с тобой хоть несколько месяцев. Заявление я напишу дней через 10–15: надо обдумать и выждать подходящего состояния. В Москву я ехать не могу, в особенности же не смогу вынести всех перипетий и режима переследствия и поэтому, ссылаясь на свое состояние, буду просить произвести мое дознание здесь. <...> Как ни странно, но в то, что переследствие – будет, я очень верю»[61].

18 февраля Андреев снова оказался в больничном корпусе, причем вместе с ухаживавшим за ним Рахимом. «Друг ухаживает за мной, как нянька. Он и сам, бедненький, совсем болен – сердце, ревматизм и общее истощение, но его отношение и забота тем трогательнее. <...> Двигаюсь очень мало, гуляю совсем редко (к великому сожалению). Принимаю всякие снадобья. Голова, однако, совершенно ясная, и занятий я не оставляю, хотя теперь их пришлось замедлить. Главное – не могу подолгу сидеть за столом. Вот и это письмо будет писаться из-за этого дня 3»[62].

В марте жена написала о смерти Добровой, умершей 9 февраля от рака в лагерной больнице. Рядом с ней последние две недели провел муж.

«Вышло так, что, узнав о самом факте смерти Шуры, я 4 дня томился, не зная ничего о сопутствовавших ей обстоятельствах. Это было нелегко. Но я как-то внутренне был подготовлен и почти ждал подобного известия. Слава Богу, что Биша был рядом и что он находится именно в таком состоянии. Писем от него <...> я не получал и сомневаюсь, что получу. Поэтому – особое спасибо тебе за посредничество. Сейчас мне не хотелось бы касаться всех мучительных узлов прошлого...»[63] – отвечал жене Андреев, хотевший удостовериться, что ни у Коваленского, ни у сестры по отношению к нему не осталось «никакого злого чувства».

Письма Коваленского, описывавшего болезнь и смерть любимой Каиньки, как он ее называл, с рвущими душу подробно-

стями, с знаменательным, выраженным теми же словами, определением выпавших испытаний – «развязывание узлов», Андреев получил позже. У постели умирающей жены, еще надеясь на чудо, Коваленский писал: «Не знаю, увидимся ли мы с Вами, вероятно – нет. Но я заверяю Вас самым определенным образом, что чувство, которое, естественно было у меня в начале к Вам, – давно отошло.

<...> Сам я много поработал за эти годы в бухгалтерии и техчасти, очень много читал – была под рукой основательная философская библиотека. Но сейчас уже полтора года лежу в стационаре – несколько расшалился споделит и постепенно развилась сильнейшая гипертония.

<...> Полтора года назад у нас было свидание: уже и тогда я понял, какой огромный путь пройден ей, особенно это усилилось за последний год – это был полный отказ от себя и полное всепрощение»[64].

Одна из солагерниц вспоминала, как познакомилась с Добровой, восхитившей ее аристократической походкой: «Я увидела женщину, идущую по нашему лагерному тротуару. Вернее, она не шла, а плыла, выставляя прямую ногу на носок, незаметно плавно перенося все тело...» Как-то Александра Филипповна прочла блоковское:

Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века –
Все будет так. Исхода нет...

На восхищение слушательницы: «Изумительно», – она произнесла: «Не изумительно, а ужасно...»[65] Четвертью века исчислялся ее лагерный срок, исхода она не видела. Блок сказал обо всем в ее жизни.

«...Я совершенно уверен, – писал Андрееву Коваленский, – что, кроме тепла, у нее не осталось к Вам другого чувства. Во всем случившемся она видела именно развязывание узлов, завязанных нами самими и ей в том числе – но как и почему, я говорить сейчас, конечно, не в состоянии...» Для Коваленского жена была буквально воплощенным идеалом. В одну из ночей у ее постели он услышал потрясший его молитвенный вздох: «Господи, хоть бы еще немножечко... немножечко, но не как я хочу, а как Ты...» «Ну что же Вам сказать еще? – писал он в исповедально-трагическом письме. Его Коваленский просил не показывать никогда и никому – “В нем вылилось слишком много личного”. – Да, я видел то, что дается немногим. И под этим Светом меркнет все

без исключения. Я не понимаю и, вероятно, никогда не пойму, почему именно мне, такому, как я был и есть, дан был такой неоценимый дар? И пока я пыжился что-то понять, читал, изучал, сочинял схемы, кропал стихи и прозу – она шла и шла по единственно прямой, кратчайшей дороге. И пришла туда, куда я не доползу без ее помощи и через 1000 лет. Но я знаю, я чувствую, что эта помощь есть...»[66]

Все, что писал Александр Викторович, – о нем и о сестре Андреев не переставал думать все эти почти девять лет, – отзывалось тяжестью вины перед ними. А он, что бы его ни оправдывало, всегда о ней помнил.

Сраженный смертью жены, Коваленский подал заявление в Зубово-Полянский дом инвалидов. Туда же определялся его свояк Добров. Дом, находившийся под присмотром МВД, сделался пристанищем больных и престарелых освобождающихся зэков Дубровлага, кому возвращаться оказалось некуда.

9. Лето 56-го

Новое заявление на имя Булганина Андреев отправил в начале апреля, требуя переследствия. В феврале прошел XX съезд КПСС, и следом пленум с закрытым докладом Хрущева о «культе личности». Новая волна ожидания прокатилась по лагерям и тюрьмам, а потом из «страдалищ», как они названы в «Розе Мира», стали выпускать тысячами. Пересмотр «дела» самого Даниила Андреева пока не двигался, но в судьбе однодельцев шли перемены. Прежде всего выпускали тяжело или безнадежно больных, их актировали. Так, в 1954-м актировали Добровольского. Перед самой смертью актировали жену Коваленского, его самого, как инвалида, «страдающего неизлечимым недугом», освободили 24 января 56-го, затем Александра Доброва и его жену. Следом выпустили Ирину Арманд, Кемница, Ивановского, в мае Татьяну Волкову. На свободу выходили измученные, больные, постаревшие.

2 апреля на свидание к зятю вновь приезжала Юлия Гавриловна. На этот раз она привезла передачи от его друзей, и было радостно думать, что их отношение осталось прежним. Это вселяло бодрость. А бодрости ему не хватало. Первые полгода после инфаркта казалось, что обошлось. Потом началось ухудшение, лишь иногда дававшее передышки. «Теперь в плохие дни (правильнее – недели) я принужден лежать, почти не вставая, – признавался он жене. – В хорошие – двигаться немного, причем подъем по лестницам и тогда остается для меня затруд-

нительным, всякое поднятие тяжестей или физическое усилие – невозможным, а малейшее волнение вызывает перебои, боли и заставляет ложиться в постель с грелками спереди и сзади (наглотавшись, кроме того, нитроглицерина и пр.)». Требовалось хотя бы спокойствие. Но его волновали и письма, и газеты – политические сдвиги, схватки в верхах прочитывались за казенными сообщениями, угадывались в меняющемся тоне. В мае в тюремном дворе установили громогласные репродукторы – тоже веяние «оттепельного» времени. Радио, лишавшее тишины и сосредоточенности, включавшееся в 6 утра и гремевшее до 12 ночи, стало пыткой. Он пробовал затыкать уши ватой и хлебными катышками. «Умирать я, дитя мое, не собираюсь, – утешал жену. – (Хотя и стараюсь быть к этому готовым). Возможно, что в условиях идеальной безмятежности (не в городе) удалось бы проскрипеть еще несколько лет. Мне чрезвычайно улыбался бы инв<алидный> дом...»

Спасает его, считал Андреев, босикомохождение: «...если я стану обуваться – я умру». «Босикомохождение – основной источник тех сил, благодаря которым я еще существую. Многим это покажется психозом – и пусть; я-то знаю то, что знаю»[67]. В Страстную неделю, начавшуюся 1 мая, он попытался бросить курить и какое-то время сдерживался, курил меньше – «5–6 сигарет в день (вместо 20–25)»[68].

В тюрьме, несмотря на строгости режима, праздновали Пасху. В камеры, когда открывалась форточка, доносился звон колоколов. В Пасху Андреев всегда вспоминал дом, добровский праздничный стол и последнюю страшную пасхальную неделю 47-го. К Светлому воскресенью Юлия Гавриловна старалась подгадать посылку, прислать творожную пасху и кулич. Пасху 6 мая 56-го запомнил сидевший в одиночке Меньшагин: «Я, как обычно, форточку не закрывал, слышу звон Успенского собора. И вдруг слышу – в камерах запели: “Христос воскресе!” Заключенные там были – женщины, какие-то старухи, вот они запели: “Христос воскресе!” Значит, ночью почти, первую половину ночи не спали. На другой день я посмотрел в окно, смотрю – эти украинки в хороших платьях (не так, как всегда) ходят. Я, значит, говорю: “Христос воскресе!” Значит, они мне запевали: “Воистину воскресе!” Руками стали махать. Потом посмотрел: Шульгин ходит и с ним грузин Бериашвили. Я, значит, опять сказал: “Христос воскресе!” А Шульгин снял шляпу: “Воистину воскресе!” – махает шляпой»[69]. Эта Пасха вселяла и некоторые земные надежды.

Жена и ее родители продолжали нескончаемые хлопоты, жили ими. Аллу Александровну одолевали предчувствия и сны. «Я, – писала она, поздравляя мужа с именинами, – ...опять

видела во сне церковь, а это, кажется, плохо. Я их видела бесконечное количество за эти годы, и самых разных. А накануне переезда в Лефортово – слышала во сне “Величит душа моя Господа” и видела зажженные свечи. На этот раз, вероятно, от страшной нервной усталости, <...> я видела нечто совершенно фантастическое. Посредине Москвы возвышался Лондонский Тауэр, причем назывался он Вестминстерским аббатством. <...> Я обошла огромное здание кругом в поисках часовни Генриха какого-то, нашла эту часовню, оказавшуюся милым маленьким домиком с ярко-зеленой высокой крышей. На балюстраде лестницы были нарисованы какие-то картинки, я рукой сдвинула снег с них и удивилась прочности красок. Видишь, какая чушь»[70].

Но времена, как сновидения, менялись. Отец писал ей, побывав в Военной прокуратуре, занимавшейся пересмотром андреевского дела: «Дочурочка, вот некоторые подробности вчерашнего приема у Терехова. Дело, верней, его пересмотр он назвал “безобразно затянувшимся” <...>. Длительность прохождения и все взлеты и провалы он объяснил крайней и (дал понять) нарочитой запутанностью дела, а также разношерстностью “однодельцев”: от полностью советских лиц до таких, антисоветские высказывания которых могли бы считаться основательно установленными. Но последнее усложнено тем, что ряд “высказываний” фиксированы лишь на косвенных уликах в виде “свидетельских показаний”, многие из которых получены в, так сказать, особых условиях. <...> Второе затруднение заключается в том, что основной материал, роман Даниила, “не обнаружен, несмотря на длительные и основательные розыски”, и “по-видимому, действительно уничтожен по распоряжению Абакумова”, причем в деле имеются лишь выписки из романа, явно подобранные в нужном для обвинения характере.

Итак, все сводится к обвинению в “антисоветских высказываниях”, т. е. к п. 10-му.

Здесь мне было сказано, что “время играет в пользу Вашей дочери”, т. к. ряд высказываний, которые еще несколько месяцев могли считаться антисоветскими, теперь таковыми не являются...»[71]

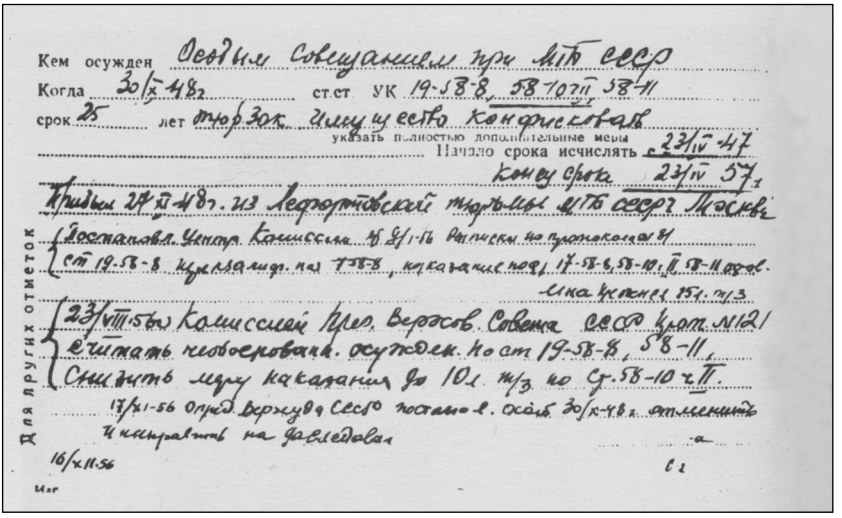
Она разгадывала путаные сны, а его живописные снобдения прекратились вовсе. Но работа над трактатом продолжалась. «Должен сказать, что сейчас я отчаянными усилиями заканчиваю курс своих занятий, потому что в новых условиях мне не удастся углубиться в них очень долго, м<ожет> б<ыть>, и никогда. К сожалению, дело осложняется опять-таки недостатком чисто физических сил (я не могу долго сидеть за столом) и, кроме того, ужасной

духовной тупостью, апатией, которыми ознаменованы 2 последних месяца. Дело в том, что из-за сердца мне пришлось изменить повседневный ритм и отказаться от тех ночных бдений, кот<орые> являлись чем-то вроде моего духовного питания. Каждый вечер мне дается снотворное, благодаря которому я сплю подряд 8–9 часов, это очень хорошо, даже просто необходимо в настоящее время, но зато в остальное время я туп, бессмыслен и вял, как взор идиота. А чуть малейшее впечатление – моментально перебои и сердечн<ая> слабость, либо теснение в груди, грелки, нитроглицерин и пр<очее>. Сам себе стал отвратителен, и мучит мысль, каково будет тебе жить бок о бок с таким "фонтаном" жизненных сил. Но выйти хочу в высочайшей степени, и по крайней мере в этом отношении ты можешь быть покойна. Безумно, невыносимо хочу пожить хоть недолго среди природы»[72].

Из опустошающего многолетнего однообразия острожных стен он вырывался в стихах и в снах. Ему снились трубчевские леса и курганы, Нерусса... Снились архитектурные сны, Москва – Кремль, храм Христа Спасителя, наяву давно не существовавший.... Почему-то особенно часто снилось то, чего он совсем не видел, – новопостроенные высотные здания.

Колеса запущенной юридической машины вращались неравномерно, с обычными бюрократическими заминками и неразберихами. Но лагерные ворота распахивались. В лагпункте, где сидела Андреева, в апреле работала комиссия – и «4/5 – уехали домой». Оставшихся в лагере – около семидесяти политзэчек – попросили из зоны, поселив рядом – в казарме, на их место привезли «бытовичек». Расконвоированные политзэчки после работы в переменившейся зоне – там закипела уголовная жизнь с драками и чифиром – гуляли по лесу, собирали ягоды, ходили на речку. Потом Андрееву с остальными неотпущенными отправили в другой лагпункт – на сельхозработы. Жизнь повисла между свободой и несвободой, в неопределенности завтра, во взвинченности ожидания.

В неуверенности жил и он. Освобождения не обходили и централ. Выпустили Вольфина. Расстались они в самых добрых отношениях. 4 мая из больничного Андреева перевели в 4-й корпус, потом вновь вернули в больничный. Но с Зеей Рахимом они разлучились. Предполагалось, что надолго, если не навсегда: Рахима освобождали. Казалось, он в долгу перед ним за самоотверженное отношение и заботы. «Поэтому мысль, что мы так и расстанемся, не повидавшись, – прямо-таки нестерпима»[73], – писал Андреев жене. Терзало то, о чем боялся и думать: ближайшая участь написанного и незаконченного. «Переживать историю


Кем осужден Особым Совещанием при МГБ СССР
Когда 30/X-48 г. ст.ст УК 19-58-8, 58-10 ч.II 58-11
срок 25 лет ИТЛ 3 г. Имущество конфисковать
указать полностью дополнительные меры
Начало срока исчислять с 23/IV-47
Конец срока 23/IV-57 г.
Прибыл 24/II-48 г. из Лефортовской тюрьмы МГБ СССР Москва
Для других отметок
Постановл. Центр. Комиссии № 2/1-56 Выписки из протокола № 81
ст 19-58-8 УК РСФСР, по ст 58-8, по ст 58-10 ч.II, 58-11 УК РСФСР
Ст. 7 п.3
23/VIII-56 г. Комиссией Пред. Верхов. Совета СССР Прот. № 121
считать необоснованным осуждение по ст 19-58-8, 58-11,
снизить меру наказания до 10 л. т/з. по ст. 58-10 ч.II.
17/XI-56 Опред. Верхов. Сего постановл. особ. 30/X-48 г. отменить
и направить на доследование
16/XII-56
Ист

Личная карточка Д. Л. Андреева из тюремной картотеки

с С. Н. [«Странниками ночи»] вторично – нет сил. Ну, даст Бог – как-нибудь. Во всяком случае, у меня есть нечто вроде чувства исполненного долга. Говорю “нечто вроде” потому, что для того, чтобы долг был выполнен полностью, нужно еще какое-то время, minimum год-полтора при благоприятных обстоятельствах»[74].

Июнь ничего не изменил. Появились надежды на июль, в июле во Владимирской тюрьме ожидалась комиссия по пересмотру дел. В размышлениях об инвалидном и бездомном будущем, он неожиданно подумал о возможности – понимая, что «шансы ничтожны», – уехать к брату. Он даже стал обсуждать это с женой. «Спрашиваю серьезно, очень подумай и ответь, согласилась ли бы ты уехать со мной к Диме, причем вдруг, внезапно»[75]. Но комиссия в июле не появилась, надежды перешли на август.

Издерганный неизвестностью, он пытался продолжать занятия, но больше читал. Чтобы отвлечься, читал Брэма, прочел только что вышедшую книгу Ермилова о Достоевском. Книга возмутила рьяной антирелигиозностью: «Боюсь, что Федору Михайловичу приходится вертеться в гробу безостановочно, как мельнице». «А в общем, жизнь моя внутренняя за последние месяцы, после окончания занятий, поражает своей пустотой, вялостью, тупостью»[76], – жаловался он. Без писания жизнь казалась бессмысленной. «Если дело опять затянется и я задержусь здесь на N-ное количество месяцев, попробую заняться “Розой Мира” (этот курс пока что пройден наполовину), но боюсь, что каким бы то ни было занятиям будет очень мешать радио. Во вся-

ком случае, о писании стихов под этот аккомпанемент не может быть и речи»[77]. С утра до ночи бубнящий и рычащий репродуктор торчал рядом с окнами. «По этому поводу я уже написал жалобу министру внутренних дел, потом Булганину, и вот жду ответа, – делился возмущением с женой. – А пока – ежедневные головные боли и изрядная трепка нервов»[78].

Состав «Русских богов» продолжал меняться, хотя предисловие к ним было написано в октябре прошлого года. Летом 56-го последовательность частей определялась так: «Святые камни», «Симфония городского дня», «Афродита Всенародная», «Темное видение», «На синем клиросе», «Из маленькой комнаты», «Ленинградский Апокалипсис», «Яросвет», «Навна», «Гибель Грозного», «Рух», «Метаисторический очерк», «У демонов возмездия», «Сквозь природу», «Босиком», «Миры просветления», «Жизнь на изнанке мира», «Предварения». Поэтический ансамбль складывался постепенно, одни части менялись, другие исключались, и эта работа, так и не завершенная, продолжалась до конца. «Метаисторический очерк» – поначалу мыслившийся поэмой в прозе и вводивший читателя в метаисторическое ви́дение светлых и темных миров, в результате стал частью «Розы Мира». Она и сделалась теперь главным трудом.

Наконец долгожданное известие – 10 августа жену освободили.

«Юлия Гавриловна, родная моя, сегодня получил одновременно телеграмму от Алиньки – об ее освобождении и Вашу открытку – о том же, – восторженно написал он теще. – Ну, поздравляю вас всех с великой радостью! Так или иначе, самая тяжелая полоса осталась позади»[79].

Фактическим днем освобождения Алла Александровна считала 13 августа, когда ее с выданным в Зубовой Поляне паспортом посадили на «кукушку» и отправили в Потьму, переполненную вчерашними зэками. Их отчаянные толпы осаждали набитые поезда.

15 августа она вернулась в Москву, в расконвоированную жизнь, в свободу. Через день написала мужу: «Родной мой! Ты, конечно, недоумеваешь, почему я до сих пор не приехала к тебе. Я тоже думала, что едва поставлю в Москве чемодан – прилечу во Владимир. Многолетняя привычка жить без документов! Конечно, пришлось сразу заняться делами»[80]. И она, чуть побыв с родителями, жившими на даче в Звенигороде, побежала по Москве – за пропиской, и тут же – хлопотать, сказав себе и мужу, что из Прокуратуры не вылезет, пока не добьется толка. В четверг, 23-го, попала на прием в Прокуратуре, а на другой день приехала во Владимир.

Через девять с лишним лет разлуки они встретились в тюремной комнате свиданий под присмотром вооруженной охранницы. «Меня ввели в крохотную комнатушку, – вспоминала Алла Александровна. – В ней стоял самый обыкновенный стол, два пустых стула, на третьем сидела женщина с автоматом. Туда и привели Даниила. Он выглядел таким же, как прежде, только очень похудевшим и седым. Мы так обрадовались, что не заметили измученности друг друга. Ни о какой болезни никто в эту минуту не думал – Даниил подхватил меня на руки».

Никакие тяжести поднимать ему было нельзя, но об этом не думалось. В радости они ничего не замечали. И казалось, что охранница с автоматом радуется вместе с ними. «А Даниил тут же под столом передал мне четвертушку тетради со своими стихами. Я взяла тетрадку и спрятала в платье. Так через десять дней после моего и за восемь месяцев до его освобождения, – не без гордости замечала Алла Александровна, – мы принялись за то же, за что и сели»[81].

10. Направлено на доследование

Сразу после недолгого свидания, дожидаясь автобуса, она пришла на взгорье у собора и стала писать ему письмо. «Перед глазами – извивающаяся река и огромная заречная равнина удивительной и очень русской красоты. Кругом меня бродят только белые куры, а люди где-то далеко…» Пыталась читать полученные от него стихи, чтобы успокоиться, прийти в себя, и продолжала письмо: «Хороший мой, хоть бы ты так же успокоился, как я сейчас! Как я, глупая, вчера отчаянно боялась и как нужно нам было увидаться!» Потом прошлась по городу и продолжала письмо: «Ну вот, Солнышко, побродила по городу. По правде говоря, я попробовала поискать Есенина (тут ведь тоже есть книжный магазин и киоски), но неудачно, нет ни Есенина, ни какого бы то ни было хорошего поэта»[82]. На свидании он попросил ее найти недавно изданный однотомник Есенина.

Он ей написал через несколько дней. «Родное мое солнышко, я думаю, что оба мы показались друг другу в лучшем состоянии, чем это есть в действительности: это – результат нервного подъема. Теперь я с ужасом думаю о том, в каком вихре ты сейчас находишься. Вместо абсолютно необходимого отдыха ты все эти 2 недели мечешься между Москвой, Звенигородом и Владимиром или же по Москве». Но существовать в деятельном вихре, втаскивая в него окружающих, было ее обычным состоянием. И восхитивший его счастливый, «почти цветущий» вид жены не иллюзия,

как он стал думать, тревожась о ее здоровье, – состояние души, безотчетно радовавшейся свиданию, свободе, открывшейся жизни. Болезни, бесконечные заботы навалятся следом, вдогонку.

Он писал о недосказанном: «Листик, может быть, в моем возрасте и положении неуместно признаваться в таких вещах, но молчать с тобой об этом я тоже не могу. Дело в том, что сверх всех оттенков чувства и отношения, какие у меня к тебе есть, я, после нашего свидания, опять влюблен в тебя, как мальчишка. Смешно, но факт. Хочу быть с тобой, и больше ничего.

А между тем надо, на всякий случай, запастись терпением. Это, конечно, было бы легче, если бы я мог, как раньше, углубиться в занятия. Но об этом нечего и думать до тех пор, пока громкоговорители не замолкают хотя бы на 2–3 часа в сутки. А пока невозможно даже читать сколько-нибудь осмысленно»[83].

Радио не давало ни на чем сосредоточиться. Вот в эти-то дни, что так запомнилось некурящему и хладнокровно собой владевшему Шульгину, Андреев и старался играть с утра до ночи в шахматы, стал, как и прежде, много курить. «“Не вынесла душа поэта”, – с грустной иронией жаловался он. – А это очень обидно, тем более что скоро придется, так или иначе, бросать сызнова»[84].

После свидания с женой, в тот же вечер, Андреев написал новое заявление на имя председателя Президиума Верховного Совета Ворошилова. А почти сразу после его отправки получил постановление, вынесенное Комиссией Президиума Верховного Совета СССР 23 августа: «Считать необоснованным осуждение по статьям УК 19–58-8, 58-11, снизить меру наказания до 10 лет тюремного наказания по статье 58-10, ч. 2». Статью «антисоветская агитация и пропаганда» не отменили. Досиживать оставалось восемь месяцев.

Всех однодельцев Андреева уже освободили, и те добивались реабилитации. «...Машинка начинает крутиться сначала, – писала жена. – Дело в том, что многие из наших знакомых, сплетенные с нами в один противоестественный узел, начали хлопоты о полной реабилитации. Они, конечно, совершенно правы, я хлопочу о том же». То, что ему оставили статью об агитации, ее возмущало: то «критическое», что они высказывали, «снято и перекрыто тем, что говорилось на XX съезде»[85].

Хлопоча, Алла Александровна случайно встречает в приемной прокуратуры Василенко и приехавшую из Сыктывкара жену Шелякина. Реабилитация требовалась всем, чтобы получить жилье, пенсию, вернуться к работе, Василенко – в университет, Шелякину – в архитектуру, ей самой – в МОСХ... Пересмотр дела шел трудно, поднимались старые дикие обвинения, вновь изуча-

лись и обсуждались. Приходилось объяснять их абсурдность. Она передавала мужу разговор в прокуратуре: «Больше трех часов, совершенно не имея возможности вспоминать что-то конкретное, я пыталась растолковать основное – принцип всей этой порочной истории. Я понимаю своего собеседника в его недоумении – как же я могла соглашаться со всей этой ерундой; труднее было, чтобы он меня понял: самый обыкновенный человек, кое в чем критически настроенный, не имеющий твердой и определенной точки зрения, попадает в очень умные и хитрые руки: существует ведь принуждение двух родов: методы Лефорт<ова>, которые больше не вызывают даже вопросов (я сказала, что о втором томе своего сочинения даже говорить не могу, и это было принято), и хитрая и тонкая провокация, на которую я попалась вначале. С глупой доверчивостью, именно потому, что я всегда была самым обыкновенным человеком, я принялась рассказывать все свои мысли, сомнения, ничего не стоящие разговоры, а из всего этого осторожно и тонко было состряпано всё: из растерянности 16 октября – преступное ожидание, которого не было, из фантазий над фотографиями городов – предполагаемая поездка в Батум (вряд ли ты и помнишь эту чепуху), а каждое стихотворение о природе, которое случайно видел какой-нибудь приятель, превратилось в “распространение” и т. д. Причем, конечно, очень важно то, что вещи, казавшиеся недопустимыми тогда – допустимы теперь. Я просто сказала, что почти все стихи можно печатать, да и роман был бы через несколько лет напечатан и прочтен с большим интересом. Не знаю, насколько мне удалось объяснить нелепость своего поведения 9 лет тому назад, я понимаю, что здравому, нормальному, серьезному человеку очень трудно понять поведение очень нервной женщины, совершенно не приспособленной для борьбы, вступать в которую она и не собиралась, и фантазера, который писал, что хотел, неизвестно, собственно говоря, для чего, просто потому, что такова потребность, отнюдь не преступная». Для таких бесед с прокурорами нужна была выдержка, ей не свойственная. «К сожалению, я вспылила посередине разговора, – признавалась она, – главным образом разойдясь во взгляде на произведения и соотношение идеализма и демократии, я была неправа, злиться и орать никогда не надо, опять подвели нервы, как всегда»[86].

О ходе прокурорского доследования и своих хлопотах она рассказала ему на следующем свидании – через месяц. В этот раз удалось передать ей тетрадь с «Железной мистерией». От нее не укрылось его тяжелое состояние: «Не могу успокоиться оттого, какие у тебя были плохие и грустные глазки», – писала она и передавала сплетни, услышанные от бодрой, несмотря на годы,

Пешковой. К ней она ездила посоветоваться: что еще можно предпринять. Сплетен набралось много, Екатерина Павловна сообщила две: «1) Даниил ходит босой по снегу с большим крестом на груди; 2) в меня влюбился следователь, хотел меня освободить, просил, чтобы я назвала всех, кто может в этом помочь, и, когда я их назвала, их всех взяли. На первое я сказала, что никакого креста ты не носишь, а хождение босиком не имеет той окраски, которую придали дураки, а связано, очевидно, с нарушением кровообращения, из-за которого тебе трудно обуваться.

Про сплетню обо мне я могла только сказать, что это – страшная чушь. Что же еще можно сказать?»[87]

Неправда растет из правды – он действительно носил в тюрьме пластмассовый крестик и ходил босым, а его жену следователи заставляли признаваться в помыслах убить вождя и называть имена друзей... Другой поползший слух тоже не утешал. Заговорили о его сумасшествии. В этом Андреев винил сокамерника Александрова: «Эта версия создается (искренне и с соболезнованием) В<ладимиром> А<лександровичем> еще с 50-го года», и удивлялся поверившей в это теще: «Уж, кажется, я ей не подавал поводов. И не понимаю: почему ты ожидала встретить тихопомешанного: разве 25 (или больше) моих длинных писем не доказывали, что я в здравом уме?»[88]

Алла Александровна бегала не только в прокуратуру, но и в другие высокие приемные, советовалась с юристами, собирала подписи под письмом к генеральному прокурору Руденко. Письмо помогла написать жена Шкловского. В нем просили ускорить пересмотр дела «сына знаменитого русского писателя Леонида Андреева» и ходатайствовали о его досрочном освобождении, чтобы тот не умер в тюрьме. Кроме самого Шкловского письмо подписали девяностолетняя Александра Яблочкина, Корней Чуковский, Константин Симонов, Константин Федин, Иван Новиков, Павел Антокольский, Тихон Хренников.

Видимо, в сентябре и после обсуждений с женой Андреев написал Главному военному прокурору. Он заявлял о несогласии с решением Комиссии, оставившей ему десятилетний срок, обосновывая несогласие тем, что «невиновен по п. 58-10, как был невиновен и по остальным пунктам обвинения», поскольку: «1) Незаконченный роман “Странники ночи”, являющийся основой моего обвинения, не был антисоветским. Он был направлен против отдельных уродливых явлений действительности, получивших ныне заслуженное осуждение под названием “культа личности” и превышения власти органами МВД. Я писал художественное произведение, отображающее сложную и полную

противоречий жизнь старой московской интеллигенции в период 1937 года. Различные персонажи романа являлись носителями различных сторон психологии интеллигентного человека того времени. Ни один персонаж не описан целиком “с натуры”, хотя иногда я пользовался отдельными чертами окружающих меня людей, иногда же “выдумывал” персонаж целиком. Таким, не имеющим никакого прототипа среди моих знакомых, действующим лицом был один из отрицательных персонажей романа – Серпуховской. Именно в уста этого отрицательного персонажа было вложено высказывание террористических точек зрения, не только не соответствующих моим подлинным взглядам, но и опровергаемых в этом же романе положительным героем – Глинским.

Роман не был закончен и никогда не рассматривался мною как агитационный материал, зовущий на какие-либо враждебные действия. Моей целью было: написать правду о жизни очень узкого круга людей, очень различных, ищущих индивидуальных путей в условиях трудной и далеко не стабилизировавшейся действительности.

Роман не был написан с целью распространения, и мною не делалось никогда никаких попыток его опубликования. Доказательством этого является то, что книга находилась у меня дома в двух единственных экземплярах и даже самым близким знакомым были известны из нее только отрывки.

2) Не признаю себя виновным в антисоветской агитации, потому что никогда и никого, в том числе ни одного человека из моих однодельцев, не призывал ни к террористическим, ни к каким-либо иным враждебным советскому строю действиям. Ни одно из моих высказываний даже и критического характера, если б была возможность восстановить подлинный текст сказанного, а не то, что получилось в протоколах следствия, ни в какой мере не может рассматриваться как антисоветская агитация.

3) Следствие, которое велось согласно инструкциям преступника Абакумова и под его непосредственным контролем, не было объективным и с самого начала имело своей целью фабрикацию “дела”. (Мне это было совершенно ясно, была ясна и полная безнадежность попыток снять с себя нелепые и несправедливые обвинения.) Кроме того, следственными органами мне был представлен список в 40 человек, где были даже люди, просто заходившие в квартиру, не считая всех знакомых и родственников моих и моей жены. Мне было сказано, что, если я не буду “сознаваться” в том, что нужно следствию для создания моего “дела”, то органы “будут принуждены” немедленно арестовать всех этих людей, т. е. применен метод самого безобразного шантажа.

Я не был человеком вполне здоровым со стороны нервной системы, поэтому ночные многочасовые допросы и вся атмосфера насилия и провокаций, царившая в МГБ 47–48 года, очень скоро привели меня в состояние неспособности точно контролировать то, что делалось там под названием “ведения следствия”.

По этим причинам я подписывал фальсифицированные протоколы, совершенно искажающие мои высказывания, и мои взгляды, и вообще всю мою личность.

Не говоря уже о полной юридической несостоятельности отождествления точек зрения литературных персонажей с точками зрения автора и незаконности использования художественного произведения в качестве обвинительного материала, указываю, как на пример пристрастного отношения следствия к моей рукописи, на то, что разговор террориста – Серпуховского с Глинским в так называемой “Сцене у библиотеки Ленина” оборван в протоколах именно так, что выброшена та часть, где видна оценка точек зрения двух персонажей.

Таким же пристрастным является уничтожение рукописи, с оставлением в деле только специально подобранных цитат. Роман уничтожен вопреки моему категорическому протесту, показывающему, что еще в 1947–48 году я считал, что рано или поздно эта рукопись не только перестанет быть обвинительным материалом, но, напротив, послужит со временем к снятию с меня всех обвинений.

Прошу о новом пересмотре дела и о полной реабилитации».

11. В круг последних мытарств

«Напрасно ты жалуешься, Проталинка, на малую активность светлых сил: противоположные тоже очень могучи, особенно в этом мировом периоде. Вообще, что делается, что делается!» – писал он жене в эти дни. Объяснить подробнее в письме было невозможно. В «Розе Мира», касаясь метаистории современности, он говорил о хрущевской политике: «Два шага вперед – полтора назад». А в стихах заглядывал в дни завтрашние:

В недрах русской тюрьмы
я тружусь над таинственным метром
До рассветной каймы
в тусклооком окошке моем.

Дни скорбей и труда –
эти грузные, косные годы
Рухнут вниз, как обвал, –
уже вольные дали видны, –

Никогда, никогда
не впивал я столь дивной свободы,
Никогда не вдыхал всею грудью такой глубины!

В круг последних мытарств
я с народом безбрежным вступаю –
Миллионная нить
в глубине мирового узла...
Сквозь крушение царств
проведи до заветного края
Ты, что можешь хранить
и листок придорожный от зла!

По указу 14 сентября 1956 года начались досрочные освобождения. 23 сентября на свободу вышли Шульгин, Симон Гогиберидзе, Шалва Беришвили и еще шесть заключенных. По тюрьме, где в камерах улавливались все коридорные шорохи и шепоты, это разнеслось мгновенно. При выходе Шульгину дали подписать обязательство не разглашать условий тюремного режима. Гогиберидзе, с поседевшими висками, но все такой же бодрый, считал, что Шульгин к тому времени, в сравнении с несгибаемостью в 49–51-м годах[89], сломался. Шульгин, конечно, устал – ему исполнилось 78 лет, и отсидел он двенадцать. Узнав, что его выпускают, он попросил валерьянки. Шульгин и Шалва дали, по словам Гогиберидзе, подписку «отрекающегося толка», а он отказался. Может быть, поэтому несгибаемого грузинского социал-демократа после венгерских событий вернули во Владимир досиживать, объявив, что освободили по ошибке. Срок у Гогиберидзе закончился в 67-м, за три года до смерти.

19 сентября Андреева вернули в 3-й корпус, в 46-ю камеру. Здесь он опять взялся за тетради, большей частью занимаясь «систематизацией материалов». «А как справлюсь я с радио, когда дело дойдет до более серьезной стадии – посмотрим»[90], – сообщал он жене. В октябре принялся за краткое руководство по стихосложению «для уголовников» – так он в шутку называл эту работу. Стиховедением Даниил Андреев занимался время от времени все тюремные годы. В «трактатике о сквозящем реализме» он начинал с определения «спондеики» как некоего нового принципа стихосложения, утверждая, что она «раздвигает шкалу русской поэтической метрики». Увлеченный спондеями и пеонами, строфическими и метрическими экспериментами, он собственные опыты привел в обдуманную систему, классифицировал свои «метро-строфы». С детства проявившаяся, почти врожденная тяга к классификации, очевидная в «Розе Мира», в стиховедении была не просто уместна – необходима.

Метаисторический миф включал в себя все, чем бы его творец ни занимался, чем бы ни увлекался – от босикомохождения до спондеев. Миф предполагал и новую поэтику сквозящего реализма, и новые подходы к стихосложению. Но в руководстве Даниил Андреев излагал вполне традиционные основы русского стихосложения, усвоенные с юности, и приводил образцы из любимых поэтов. Просвещая сокамерников – в тюрьме начинают чувствовать тягу к сочинительству многие, – он осваивал педагогический опыт. А о педагогике будущего, о воспитании человека «облагороженного облика» он не только размышлял, но и разрабатывал учебные планы, программы, даже режим дня составил для воспитанников колледжей эпохи «Розы Мира».

Он все больше сосредотачивается на трактате, на учении, выраставшем из его труда. Жене писал об этом: «Какой у тебя прием встретит “Роза” – не знаю; боюсь, ты скажешь, что это – не мое дело и т. п. Но ради Бога, подготовься к тому, что я считаю это самым своим заветным делом и, если хочешь, венцом всего. Все остальное – подготовка или популяризация (и будущие стран<ицы> в том числе)»[91]. В «Розе Мира» стал приобретать внятные очертания «ослепительный миф», и он, миф, – «весть», которую необходимо поведать людям.

В одном из начальных вариантов трактат состоял из четырех больших частей. В них обозначалась вся концепция «Розы Мира». Первая – от «миров просветления» до «миров трансмифов», вторая – «демонические миры», третья – от стихиалей до «мира даймонов» и «наивысших миров Шаданакара» и четвертая – «Дополнения» – состояла из глав «Структура человека», «Космическое», «Смена эонов», «Демонический план», «Пространство и время», «Карма», «Мета-биографии», «Метаистория современности» и «Личное». Последняя глава в задуманном виде, судя по черновым записям к ней, в «Розу Мира» не вошла.

В тетради с набросками к трактату есть аккуратно, без поправок записанный список – словно бы неким верховным систематиком миров продиктованный – всех 242 слоев Шаданакара, с четко обозначенной структурой. В списке нет наименований лишь десятка обозначенных номерами слоев.

Работать под радиогул он так и не научился, с шутливой горечью жалуясь жене: «Что же касается “Розы”, то даже цветы любят тишину, не переносят громкоговорителей, а если их облучать непрерывно потоком громких звуков – хиреют и теряют тот аромат, который мы вправе ждать от них. Это – факт, о котором можно прочитать в физиологии растений»[92].

Ощущение, что круг мытарств завершается, не подвело. 17 ноября определением Военной коллегии Верховного суда

СССР постановление ОСО было отменено, «Дело Д. Л. Андреева» направлено на доследование. Пришла пора перемены участи единственного остававшегося в заключении осужденного по делу. Но «определение» дошло до Владимирской тюрьмы не сразу, и, раздумывая о брезжившем конце срока, Андреев не строил далеко идущих планов, относясь к событиям с трезвым практицизмом. «Считаю, что все идет очень хорошо, – писал он жене, – а если затянут до февраля, то буду этому даже рад по причинам, о которых тебе уже говорил; главная из них – поменьше быть вынужденным сидеть на дюко-маминых плечах и перешептываться с тобой за шкафами. Такая перспектива, по правде говоря, меня не слишком обнадеживает. Кстати, чтобы не забыть: когда получишь мою телеграмму о выходе отсюда, приезжай сразу же, захватив какой-нибудь чемодан, т. к. мне не в чем везти книги, которых у меня накопилось порядочно, да и тетради»[93].

Не знала о решении Верховного суда и жена, но, как будут развиваться события, становилось ясно. Она писала мужу: «Моя справка о реабилитации уже у меня на руках, и я знаю постановление. Дело прекращено за отсутствием юридического обоснования обвинения. Фальшивые показания были получены потому, что следствие велось с нарушением основ социалистической законности – насильственно. Кроме того, нарушением социалистической законности является уже и то, что трое из обвиняемых – психически больные люди, которых не подвергли медицинскому обследованию до следствия. Это – ты, Сережа и, по-видимому, Саша. С тобой всё было бы так же, как со всеми, т. е. реабилитация, если б сколько-то времени тому назад ты не написал заявления, в котором подтверждаешь прежнее (частично, в отношении мнений) и пишешь, что в настоящий момент придерживаешься таких же взглядов. Из-за этого тебе оставлен п.10 и срок – 10 лет, т. е. ты должен попасть под амнистию. Но это не всё. Учитывая твою старую болезнь (ман<иакально>-депр<ессивный> [невроз]), представитель прокуратуры (давно возящийся с этим пустым и трехэтажным делом, которому оно совершенно осточертело) выдвинул еще одно соображение: он сомневается, был ли ты полностью “в себе”, когда писал это (давнишнее) заявление. (Я тоже сомневаюсь, прости меня, Заинька). Вот этот-то момент и должна Прокуратура “доследовать”»[94].

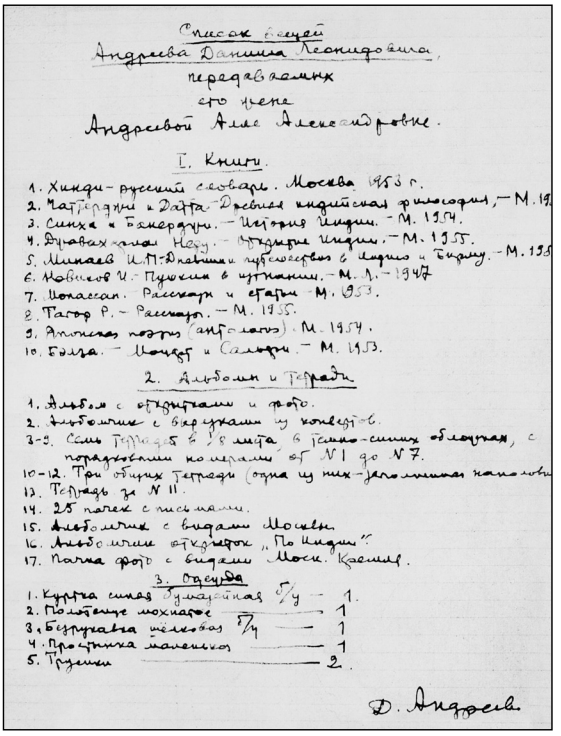
«Определение» Андрееву вручили 2 декабря, и он тут же сообщил жене: «Только что прочитал решение Верховного суда. Практически (вернее, психологически) готовлюсь к возможной поездке в Москву, хотя очень надеюсь, что обойдется без этого – приедут ко мне. Слишком уж не хочется очутиться в

стенах, напоминающих веселые переживания 9 лет назад, а еще менее хочется к Сербскому. Но что поделаешь, тут уж не поможет ничего, кроме фатализма... Буду смотреть на эту поездку как на последнее мытарство»[95]. Поездка, хотя и сулила свободу, не воодушевляла. «И не только потому, что не знаю, как осилю все это физически, но еще и потому, что все связанные с этим передряги могут крайне плачевно отразиться на здоровье Розочки, а ты ведь понимаешь, как она мне дорога, – объяснял он жене. – Случись это на 4–5 месяцев позже, ее здоровье успело бы окрепнуть, и она, так сказать, была бы вне опасности. А теперь, при ее хрупкости... не знаю, что будет»[96].

12 декабря Андреев написал новое заявление, теперь «Начальнику следственного отдела Комитета Государственной Безопасности при Совете Министров СССР». Главное в заявлении – протест против доследования, на которое его дело направили, припомнив «вызывающее» письмо 10 ноября 54-го Маленкову. «В моем заявлении, написанном свыше 2 лет назад, я указывал, что абсолютное, всестороннее принятие советского строя для меня невозможно до тех пор, пока у нас не осуществлена на деле свобода печати, слова, религиозной пропаганды. Но с тех пор произошли крупнейшие сдвиги в жизни страны: произошел XX съезд, и множество фактов показывает, что между режимом, который существовал (несмотря на свободы, декларированные в Конституции) для печати и для личной свободы слова в период культа личности, и тем режимом, который существует теперь, – нет никакого сравнения. В чем же дело? Какие неправильные или, тем более, противозаконные мысли высказал я в моем заявлении? Единственным пунктом, по которому у меня еще сохранилось критическое отношение к существующему порядку вещей, является вопрос о свободе религиозной пропаганды. Но разве иметь по этому вопросу собственное мнение есть преступление?! Не сомневаюсь, что и этот вопрос будет решен со временем в положительном смысле. И что уже окончательно превышает мое понимание, так это следующее: я не агитировал, не пропагандировал, я не высказывал эту мысль (к тому же совершенно не заключающую в себе ничего криминального) ни на площади, ни в общественном собрании; я честно и прямо высказал ее в закрытом письме на имя председателя Совета Министров.

Спрашивается: где же и в чем состав моего “преступления”?!

На каком основании меня держат в тюрьме 10-й год, раз установлена уже моя полная невиновность по всем прежним пунктам обвинения?!»



Список вещей
Андреева Даниила Леонидовича,
передаваемых
его жене
Андреевой Алле Александровне.

I. Книги.

1. Хинди-русский словарь. Москва 1955 г.
2. Чаттерджи и Датта – Краткая индийская философия, – М. 19
3. Синха и Бханерджи. – История Индии. – М. 1954.
4. Духовных слов Народ. – Культура Индии. – М. 1955.
5. Минаев И. П. – Дневники и путешествия в Индию и Бирму. – М. 1958
6. Новиков И. – Пушкин в изгнании. – М. 1. – 1947
7. Мопассан. Рассказы и статьи – М. 1953.
8. Тагор Р. – Рассказы. – М. 1955.
9. Японская поэзия (антология). – М. 1954.
10. Бальзак. – Мондэ и Сальери. – М. 1953.

2. Альбомы и тетради

1. Альбом с открытками и фото.
2. Альбомчик с вырезками из конвертов.
3–9. Семь тетрадей в 18 листов в темно-синих обложках, с порядковыми номерами от N 1 до N 7.
10–12. Три общих тетради (одна из них – заполненная наполовину)
13. Тетрадь за N 11.
14. 25 пачек с письмами.
15. Альбомчик с видами Москвы.
16. Альбомчик открыток „По Индии".
17. Пачка фото с видами Моск. Кремля.

3. Одежда

1. Куртка синяя бумажная б/у — 1.
2. Полотенце мохнатое — 1
3. Безрукавка шерстяная б/у — 1
4. Простынка маленькая — 1
5. Пружины — 2.

Д. Андреев.

«Список вещей Андреева Даниила Леонидовича, передаваемых его жене Андреевой Алле Александровне», в который вошли и тетради с черновиками

16 декабря Андреева отправили в Москву, во внутреннюю тюрьму КГБ, а оттуда в Центральный институт судебной психиатрии им. В. П. Сербского. Все вещи, все тетради остались во Владимире: за ними приехала жена, которую провели к заместителю начальника тюрьмы капитану Давиду Ивановичу Кроту. Разговор с ним запомнился ей навсегда:

«– Знаете, увезли Вашего мужа.

– Знаю, но ведь он ничего не может поднять, значит, должен был оставить вещи.

Крот вызвал каптерщицу (то есть кладовщицу):

– Что, Андреев оставил что-нибудь?

– Целый мешок.

– Принесите.

Она принесла мешок. И тут сработала моя лагерная привычка: должен быть шмон. Я стала выкладывать из мешка вещи. Крот сказал:

– Да не надо, оставьте.

А я:

– Да как же, гражданин начальник!

Он тогда отослал каптерщицу, посмотрел на меня очень внимательно и сказал:

– ЗАБИРАЙТЕ ВСЕ И У-ХО-ДИ-ТЕ.

Только тут я поняла. Я схватила мешок, пролепетала какие-то слова благодарности и убежала.

<...> Возвращаясь из Владимира, в автобусе я сунула руку в мешок, в который были свалены тетрадки, книжки, тапочки, белье, открытки... Я вытащила первое, что попалось, и стала читать. Это была одна из тетрадок с черновиками “Розы Мира”»[97].

12. Институт Сербского

1957 год для Даниила Андреева начался в палате института судебной психиатрии, в его четвертом отделении. Институт находился в Кропоткинском переулке – он попал в родные места, совсем рядом с Малым Левшинским. Больничный корпус, куда помещали политических, от тюремного отличался. В вестибюле – стол, стулья, регистрационное окошко, молчаливые няни в белых халатах. Небольшой коридор, несколько палат. Большие, светящиеся зимним солнцем окна из непробиваемого стекла, зарешечены только узкие форточки. Пациенты – в больничных фланелевых халатах. Срок психиатрической экспертизы по закону – один месяц, но обычно экспертиза затягивалась. Попал сюда Андреев стараниями жены. Спасая мужа, она писала в заявлениях, что ни при аресте, ни после него тот не проходил «психоневрологической» экспертизы.

Когда его привезли, в отделении находилось двадцать с небольшим человек. Все они обвинялись по политическим статьям, как правило, по 58-й – антисоветской.

Подружившийся здесь с Андреевым Родион Гудзенко так описывал его появление в палате: «...весь насквозь тонкий, звонкий и прозрачный. Интеллигентный, беззубый, высокий, седой, тощий. Босой. Босиком, хотя всем тапочки давали. В кальсончиках, в халатике. И – в слезах, заплаканный! Улыбается, стесняется, слезы. “Что такое? Почему вы плакали?” – “Ой, простите, – он сказал. – Вы знаете, я в первый раз за десять лет увидел дерево!” – “Как – дерева не видели?” – “Я в тюрьме был, во Владимирской, там прогулки в крытом дворике, цемент, я деревьев не видел вообще. И тут я вдруг увидел во дворе, когда меня провели, живое, настоящее дерево, и, знаете, просто потекли слезы”»[98].

Среди тех, с кем он оказался вместе и с кем общался в эти недели, были кроме молодого художника Родиона Гудзенко

вчерашний ярославский школьник Виталий Лазарянц, восемнадцатилетний москвич Борис Чуков, недавний техник-лейтенант Юрий Пантелеев, студент из Ульяновска Валерий Слушкин, учитель истории Рафальский.

Гудзенко удивлялся, что Андреев ухитрялся знать всех. По его мнению, простодушный поэт считал, что и остальные так же «интересуются судьбами друг друга», хотя это «не значит, что он со всеми сокамерниками поддерживал тесные контакты». Больше всего Андреева занимала молодежь, которую всколыхнуло послесталинское оттаивание. В тюрьме он такой не встречал.

Оказалось, осенние венгерские события не все встретили безмолвно-безучастно. Десятиклассник Виталий Лазарянц, примерный ученик и комсомолец, на демонстрации 7 ноября поднял плакат «Руки прочь от Венгрии» и, понятно, сочтен не вполне вменяемым. Андреев, узнав историю Лазарянца, называл его не вовремя прокукарекавшим петушком. Другим протестантом оказался готовившийся стать студентом и кипевший юным революционным задором Борис Чуков. Его обвиняли не только в попытке создать антисоветскую группу и намерении связаться с иностранной разведкой, но и в том, что на заводе, где он работал, предлагал желающим «вступить в католическую лигу сексуальных реформ»[99]!

Гудзенко, высоколобый, с умным сосредоточенным взглядом, был взят меньше чем полгода тому назад. В 47-м году исключенный из художественной школы, он заочно учился в Московском полиграфическом институте. Увлеченный французской живописью, в особенности Дега, подражая которому писал балерин (он и женился на балерине), Гудзенко стал учить язык, знакомился с посещавшими Эрмитаж французами и продавал им свои работы. Рассказывают даже о его попытке убежать во Францию в гардеробном ящике актрисы театра «Комеди Франсез», приехавшего в Ленинград на гастроли, и о том, что Гудзенко арестовали чуть ли не на корабле, отплывавшем с театральными декорациями в Гавр[100]. Обвинялся Родион Гудзенко в антисоветчине, поскольку в разговорах не стеснялся говорить то, что думал о свободе творить, и в том, что искал способы убежать за границу. Самонадеянного и нервного, его на всякий случай отправили на экспертизу. Здесь он узнал о рождении сына и, как потом Андреев писал жене Гудзенко, пытаясь приободрить ее, воспрял духом.

Самый пожилой среди них, художник Ефим Шатов, написал в ЦК КПСС письмо с просьбой дать народу «хотя бы» свободу творчества и призывами к человечности. Еще Шатова обвиняли в том, что он по почте разослал пять листовок. Листовки были со

стихами, призывавшими советский народ подниматься в бой за свободу, поскольку: «Властители сняли народ со счетов, их шкура всего им дороже, и правят страною вельможа Хрущев и всякая Фурцева тоже»[101]. Сумасшедший – определили компетентные органы.

Родиону Гудзенко было двадцать пять, на год меньше Юрию Пантелееву, автору другого письма в верха. Он, в отличие от ленинградца Гудзенко и москвича Чукова, вырос в деревне и не был таким шумным и самоуверенным. Отца его репрессировали, войну вдвоем с матерью он пережил под немцами, помогал партизанам. Окончив военное радиотехническое училище, служил в армии, а сразу после демобилизации, в ноябре 56-го, его неожиданно арестовали. Пантелеев написал письма в ЦК КПСС, Госплан и еще куда-то (как утверждало следствие, даже в американское посольство) со своими соображениями о социалистической экономике. Самодеятельный экономист указал на причины, по его мнению, мешающие эффективности социалистического хозяйствования и ведущие к неминуемому краху. Удивленное самоуверенным вольнодумством следствие направило непрошеного советчика в Институт Сербского.

«Даниил Леонидович очень необычно и точно выделял интересных и достойных людей», – вспоминал Гудзенко, называя Пантелеева удивительным человеком. «И гуманитарно был очень образован, – восхищался он. – Когда мы говорим о Блоке, о Цветаевой, тоже участвует в разговоре, да на таком уровне – все знает! “Странно, – говорю я Даниилу Леонидовичу, – когда? Это же военное училище – встать, лечь, подъем, побежали – больше ничего. Да и моложе меня на пару лет. Когда он это все успел?” – “И не только это, – говорит Даниил Леонидович. – Вы обратили внимание, какие у него лапки?” – “Как это – лапки?” Он говорит: “Посмотрите руки, это очень важно! – а у Юры короткие такие пальчики. – У него же добрые лапки!”»[102]

Сам Пантелеев вспоминал: «Только там я почувствовал себя в коллективе гармоничных людей, не единомышленников, ибо это скучно, но гармоничных, хотя и по-разному мыслящих. Гармоничность мировосприятия, мироощущения создавал среди нас Даниил Леонидович. <...> Все мы обвинялись в антисоветизме. Попали в психушку, пройдя до десятка пересылок, психушек, внутренних тюрем. Многие были больны и психически неадекватны. Создать из такой толпы гармоничный коллектив, дать ему занятие, оптимизм – задача почти не выполнимая. Ежедневно у нас что-нибудь происходило. Или лекция кого-либо из товарищей по несчастью, или же инсценировка самими же придуманного

спектакля, или беседы на разные темы. Боря Чуков, помню, очень яркие лекции читал о поэзии 20-х годов. Я и сейчас помню некоторые строчки приводимых им цитат: “Или, бунт на борту обнаружив, / Из-за пояса рвет пистолет, / Так что сыпется золото с кружев, / С розоватых брабантских манжет”. Другие читали лекции и проводили беседы по своим специальностям. Но больше всего нам дал Даниил Леонидович. Он обладал энциклопедическими знаниями и потрясающей памятью. Следует сказать, что мы были лишены радио, газет, книг, бумаги и карандашей или ручек. Писали лекции на листочках выдававшейся нам туалетной бумаги, кем-то тайком пронесенным огрызком карандаша. Но особенно мне запомнились чтения Даниилом Леонидовичем отрывков из своей <книги> “Русские боги”.

Читал он превосходно, завораживал самых скептически настроенных. Он мог быть и серьезным, и очень веселым. Много рассказывал о веселых проделках отца на даче. Создавалось впечатление, что все, или большинство, тайн вселенной ему известны. Пытаясь его поразить, я рассказал о странном случае со мною на озере Севан. Ночью, как мне показалось, я встал. Прошел через стену и бегал по гребешкам волн озера. Причем все время беспокоился об оставленном теле. Состояние мое нельзя сравнить ни с одним земным удовольствием или радостью. Когда я рассказал этот случай Даниилу Леонидовичу, то он воспринял это совершенно спокойно. Сказал, что это дело обыденное, достаточно частое у людей и называется выходом эфирного тела. Мне показалось, что он знает много больше, чем говорит. <...> Даниил Леонидович был не просто терпим к чужому мнению, но и чрезвычайно деликатен. Как-то я сделал замечание, что строчка его поэмы, “По засекреченным лабораториям бомбардируются ядра тория”, не соответствует реалиям. Я сказал, что в училище нам говорили, что в атомном проекте используются Уран 238, 235, 233 и плутоний, а торий не используется. Даниил Андреевич промолчал, чтобы не ставить меня перед другими в неудобное положение. Потом я узнал, что прав-то был он. <...> Оригинальны его мысли о порче русского языка терминами, не соответствующими сути выражаемого понятия. И не только термин типа “пролетариат”, но и такой, как “национальность”. Искусственное внедрение этого термина сделало “нациями” даже мелкие северные племена и мешает складыванию русской нации, состоящей из более чем сотни народов. Особенно меня поразили его мысли о сущности большевизма и капитализма–либерализма. Он говорил, что это ипостаси одного и того же бесовского подхода к человечеству. Ведь даже с точки

зрения рациональной науки – и большевизм, и либерализм основаны на неограниченном потреблении и росте численности населения, что не может не привести к катастрофе: исчерпаны будут не только ресурсы планеты, но и ее территории. Однако он верил, что высшие силы не позволят довести мир до крайности: до ядерной войны или исчерпания ресурсов»[103].

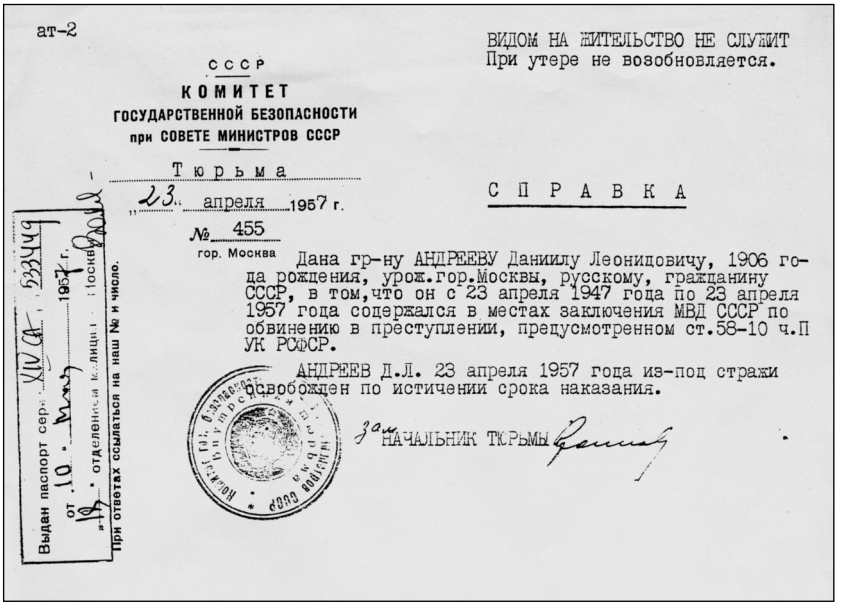
Книг на психиатрической экспертизе не полагалось. Но общения – споров, разговоров, даже оживленного веселья и, конечно, читок стихов – хватало. «Все что-то придумывали, – вспоминал Пантелеев, – Андреев предлагал, давайте называть друг друга “господа”. А мы смеялись – после этого нас точно упекут куда-то». Большинство, несмотря на прекраснодушную веру в то, что за вменяемые им проступки не сажают, в лагеря таки упекли. Самым опытным сидельцем «психушек» среди них оказался Виктор Парфентьевич Рафальский. Его, директора школы, учителя истории в селе Конюхов Львовской области Украины взяли в 54-м за участие в некой подпольной организации «Украинский революционный центр», обвинили в украинском национализме. При аресте у него кроме листовок и воззваний изъяли рукописи, среди которых был и роман «Вопли ярости».

Андреев и здесь, еще не зная, удастся или нет получить свои тетради из тюрьмы, по памяти восстанавливал тексты «Русских богов» и читал новым знакомым. Всем им глубоко запало в память и это чтение, и стихи. Больше всего поразила и запомнилась «Симфония городского дня».

«Мне кажется, – вспоминал Рафальский, – Андреев мало верил (либо совсем не верил) в эту хрущевскую “оттепель”. Во всяком случае, когда наиболее башковитые юнцы заучивали наизусть, он просил не распространять строфы поэмы...»[104].

Самым восторженным слушателем поэта стал двадцатилетний Валерий Слушкин, по словам Чукова, арестованный за то, что попытался проникнуть в посольство Индии.

«...Когда читал, скажем, из “Афродиты Пенородной”, – рассказывал Гудзенко об этих, чаще всего полуночных, чтениях, – таким бархатным голосом, очень красиво читал – это производило совершенно ошеломляющее впечатление. Я тогда даже не выдержал и сказал, когда он прочел: “Ну уж, знаете, вы ведь гений!” Но он запретил мне так говорить. Причем очень искренне, то не было кокетством. Он сказал: “Родион, ну перестань! Во-первых, до смерти такое вообще нельзя, это просто кощунство. Во-вторых, даже канонизируют через пятьдесят лет после смерти, не раньше. А вы... Что за чушь!” И еще сказал: “Я себя поэтом просто не считаю”. И это притом, что стихи знал и любил – Пушкина так



ат-2

ВИДОМ НА ЖИТЕЛЬСТВО НЕ СЛУЖИТ
При утере не возобновляется.

СССР
КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

Тюрьма

„23" апреля 1957 г.

№ 455
гор. Москва

СПРАВКА

Дана гр-ну АНДРЕЕВУ Даниилу Леонидовичу, 1906 года рождения, урож.гор.Москвы, русскому, гражданину СССР, в том,что он с 23 апреля 1947 года по 23 апреля 1957 года содержался в местах заключения МВД СССР по обвинению в преступлении, предусмотренном ст.58-10 ч.II УК РСФСР.

АНДРЕЕВ Д.Л. 23 апреля 1957 года из-под стражи освобожден по истичении срока наказания.

За НАЧАЛЬНИК ТЮРЬМЫ

Выдан паспорт серия XIV-А № 633449
от 10 мая 1957 г.
отделением милиции г. Москва
При ответах ссылаться на наш № и число.

Справка об освобождении

просто безумно, а вообще это знание и понимание доходило у него до такой степени, что, может быть, это даже и нельзя – так понимать»[105].

«Из всех наших совместных шумных и веселых собраний более всего запомнилась нарочито придурковатая инсценировка, пародия на проходившие тогда выборы в Верховный Совет, – вспоминал Чуков. – <…> Заранее мы не репетировали, но импровизация прошла исключительно слаженно. Из расчески с туалетной бумагой вырывалась ликующая музыка. Непрерывно и взахлеб вещающее “радио” извещало о сто двадцати процентной явке избирателей еще до восхода солнца. Мир тонул в народном энтузиазме. От переполнявшего счастья и любви к родной партии рыдал свинарь из Молдавии и хлопковод из “солнечного Туркменистана”. Как и полагалось на настоящих “выборах”, кандидат был один-единственный. В народные избранники баллотировался все воспринимавший всерьез душевнобольной, страдавший острой формой шизофрении и арестованный КГБ за стойкий реформаторский бред. Это был истинный кандидат блока коммунистов и беспартийных. То была редкая для него возможность оказаться выслушанным внимательно и до конца благодарной аудиторией. Он говорил даже не с воодушевлением, он невероятно перевозбудился, доказывая необходимость и своевременность реформирования экономики и управленческого советского аппарата.

Как это ни абсурдно звучит, основные экономические положения “предвыборной речи” душевнобольного “кандидата в депутаты” воплотились в последовавшей затем в скором времени хрущевской экономической реформе: чехарде министерств и совнархозов. Андреев балаганил вместе со всеми, взахлеб курил и заразительно смеялся.

После столь успешных “выборов” поступило предложение посвятить ближайшее собрание (также в юмористическом ключе) Сталину, годовщина смерти которого приближалась. Но Д<аниил> Л<еонидович> желчно и сухо в категоричной форме отверг это предложение, говоря, что зловещая фигура Сталина несовместима с весельем: Сталин вызывал у него непреодолимое отвращение и ненависть...»[106]

Одна из заветных тем, в которую Андреев пытался ввести молодых знакомых, рассказ о Феодоре Кузьмиче – Александре Благословенном. Кого в те годы эта таинственная тема занимала, кто мог воспринять ее серьезно? В тюрьме было с кем поговорить о легенде – во-первых, с Шульгиным. Тот мог рассказать ему о публикациях русского зарубежья, где продолжала обсуждаться эта тема, например, о книге Крупенского, вышедшей в 1927-м в Берлине. В эмиграции говорили о вскрытии пустой могилы Александра I в Петропавловском соборе. Знал об этом однокамерник Андреева Маслов, сидевший по «ленинградскому делу» и в 21-м году участвовавший во вскрытии царских гробниц. Но для Андреева превращение Александра I в старца стало одним из центральных событий русской истории, подвигом искупления исторической кармы. Видимо, как раз в последние тюремные месяцы он работал над страницами трактата, посвященными метаистории Петербургской империи. Чуков слушал историю о старце со скептическим недоверием, Гудзенко и Пантелеев – с интересом.

Всё, входившее в жизнь Андреева, становилось значимым и серьезным, к каждому знакомцу протягивались душевные нити. И встречи в палатах Института Сербского не стали мимолетными. После освобождения он пишет ободряющие письма молодым друзьям, оказавшимся в тюрьмах и лагерях, живя на скудную пенсию, нуждаясь, кому-то высылает деньги. Трогательно и их отношение к поэту. Узнавший о смерти Андреева Валерий Слушкин писал вдове: «...потеря человека, перед которым я искренно восхищался, единственной личности, которая понимала меня, – огромная потеря. ...Даниил Леонидович много сделал для меня, для моей души, особенно в дни совместного пребывания...

мне он дорог, как близкий человек, перед которым мне не стыдно было и исповедаться... его жизнь – подвиг».

Руководил четвертым отделением института небезызвестный психиатр Даниил Романович Лунц. Лунца в диссидентских мемуарах называют и «полицейским профессором», и «доктором тюремных наук», и полковником КГБ в белом халате. Не умевший лгать и увиливать Андреев и здесь не скрывал свои умонастроения. Многоопытный Даниил Романович, по свидетельству Чукова, предложил Андрееву изложить свои взгляды в письменном виде. Взявшись было просто и лаконично изложить свои представления о мироздании, поэт понял, что ничего хорошего ему подобный труд не сулит, и уничтожил написанное. А в беседах с психиатрами все же говорил то, что думал, и мистических воззрений не скрывал.

В середине марта после экспертизы, впрочем, на исход дела не повлиявшей, Андреева вернули на Лубянку.

Часть двенадцатая

РОЗА МИРА
1957–1959

1. Освобождение

Когда Алле Александровне в конце марта в Институте Сербского объявили, что муж переведен в тюрьму, она ринулась выяснять – куда. Позвонила следователю, ведшему пересмотр дела, тот заявил, что ничего не знает. Побежала в «Матросскую тишину», в Бутырку, в Лефортово... Нигде нет.

«А я-то, зная состояние Даниила, подумала, что он просто умер. В морге надо искать! – вспоминала она дни неизвестности. – В конце концов прибегаю в справочную ГБ на Кузнецкий, 24, кидаюсь к дежурному:

– Боже мой, ведь у него же был инфаркт, он ведь умирает! Мне не говорят, где он. Ну что, где он – в морге?!

Я совершенно обезумела, готова была стену лбом пробить. И дежурный, перед которым катились волны таких дел, при мне звонил следователю, но следователь и ему не сказал.

Тем временем уже кончался апрель. А я все ходила к тому дежурному, и вот, наверное, 19 или 20 апреля при мне он сам позвонил следователю. Я слышала в голосе дежурного бешенство, потому что он видел, как я езжу из тюрьмы в тюрьму, как прихожу и умоляю: “Он же болен, смертельно болен. Почему мне не говорят, где он, почему мне не говорят даже, жив ли он?”

<...> И вот я прихожу 22 апреля, прямо перед окончанием срока, и дежурный мне говорит:

– Успокойся, жив, завтра выйдет. Завтра придешь сюда, вот придешь, и он сюда придет. <...>

На следующий день, 23 апреля, я пришла, в руках у меня была книжка “Наполеон” Тарле, я листала ее, не в состоянии прочесть ни единого слова, и никогда больше не смогла взять эту книгу в руки. Даниил вошел в приемную, где я ждала. Я встала, мы взялись за руки и пошли к маме, потому что больше идти нам на свете было некуда. Стоял солнечный день, такой же, как тот, когда Даниила арестовали»[1].

Пересмотр «Дела Д. Л. Андреева» кончился ничем, и это, возможно, не было худшим исходом. Никто не решался ему

простить слов из письма Маленкову об отношении к советской власти в зависимости «от той степени свободы слова, печати, собраний, религиозной деятельности, какую советская власть осуществляет фактически, не в декларациях, а на деле». Жена умоляла вести себя осторожней, «но он твердо стоял на том, что всегда будет говорить правду, – рассказывала она. – И в какой-то момент я не то сказала, не то написала ему: “Не выступляй”. Он потом, смеясь, рассказывал мне, что это слово все вдруг поставило на свои места. И он старался “не выступлять” на допросах». Но на переследствии, как ни сдерживался, сорвался. Следователь спросил об отношении к Сталину. «...Тут он, по его словам, “совершенно съехал”. “Ты не представляешь себе, – рассказывал он мне потом, – я, не умеющий говорить, обрел такой дар красноречия, разлился так обстоятельно, так обоснованно разложил “отца народов” по косточкам, просто стер в порошок... И вдруг вижу странную вещь: следователь молчит, и по его знаку стенографистка не записывает”. Именно в это время у трясущегося от бешенства следователя посредством телефонного звонка от имени Шверника вырвали из рук дело, которое он благополучно “шил”»[2]. Неутомимые хождения жены по инстанциям наверняка спасли от нового срока. Но десять лет он отсидел полностью, день в день.

Из внутренней тюрьмы КГБ Андреева выпустили со справкой № 455, где говорилось: «23 апреля 1957 года из-под стражи освобожден по истечении срока наказания». 10 мая на основании справки ему выдали паспорт.

Как он и предполагал, поселиться пришлось в Подсосенском переулке, заняв угол у родителей жены. Те жили в сравнительно большой комнате в многолюдной коммунальной квартире во весь второй этаж. Дом – деревянный купеческий особняк. Комната Бружесов когда-то была игорной, и на потолке мореного дуба осталась роспись с цветистым изображением игральных карт с драконами. Немалыми усилиями Юлия Гавриловна устроила в комнате небольшую кухню-прихожую с чуланчиком.

В первые же дни он отправился к Коваленскому, жившему у Нелли Леоновой в Лефортове . Осенью 56-го вышло собрание сочинений Ибсена с переводом «Бранда», и гонорар чрезвычайно выручил Коваленского, оказавшегося в положении, как он сам говорил, «нахлебника». В ноябре его реабилитировали, в январе 57-го восстановили в Союзе писателей. Но хвори не отступали, тоска о Каиньке не утихала. Болезненно пополневший, одышливый, он жил прошлым, писал поэму о детстве, воспоминания, «касающиеся периода отсутствия», перемежавшиеся эпизодами

молодости. Встреча получилась напряженно трудной. Вольные и невольные вины, справедливые и несправедливые укоры, тяготы и утраты вставали между ними, за десятилетие наросли как лед. В этой жизни его не растопить. Неизвестно, рассказал ли Андреев усталому мистику об открывшемся в тюремных снобдениях...

Через несколько дней в Подсосенский прибежала Ирина Усова. «Несмотря на прежнюю живость движений, инфаркт Дани, случившийся около двух лет назад, все же сказывался; уже скоро ему пришлось лечь на диван, а я села возле него, – рассказывала о встрече Усова. – Разговор не клеился»[3]. Встречи со старыми друзьями стали и радостными, и тягостными. Пролегшее между ними тюремное десятилетие, как запотевшее стекло, мешало видеть и понимать друг друга.

Встретился с Александрой Львовной Горобовой. Время сгладило ее обиду и его вину, им не забытую. Она помогала хлопотать об его освобождении, писала ходатайства в Союз писателей, посылала в тюрьму посылки. Состарившаяся Александра Львовна участливо смотрела на него большими темными глазами.

Навестил Татьяну Морозову, ютившуюся со взрослыми дочерьми в коммунальной комнатушке в Марьиной роще.

Наконец они собрались в Малый Левшинский. Увидеть дом, повидаться с Ламакиными и Межибовскими. Их детей поразило, что высокий, сутулящийся гость ходит по квартире в носках. Дом стал малоузнаваем. В большой добровской комнате жила многодетная семья, занимавшаяся клееньем каких-то коробочек, возвышавшихся в прихожей, а в квартире стоял тошнотный запах клея. Глава семьи, инвалид, время от времени напивался и грозился Ламакиным, что снова их посадит... Другие пили не реже инвалида и тихо ненавидели «паршивую интеллигенцию».

Нереабилитированным жить в Москве не полагалось, их место – за 101-м километром. Стали искать, где прописаться. В самом конце апреля Андреевы вместе с племянницей Вольфина, Аллой Смирновой, поехали в родную деревню ее матери, Вишенки. Дорога через Серпухов: деревня за Окой, недалеко от Поленова.

«Мы приехали на станцию, пошли по направлению к деревне и сели на пригорке, – описывала подробности поездки Андреева. – Аллочка шутя надела на Даниила венок из каких-то больших листьев, и мы очень веселились, потому что в этом венке, похожем на лавровый, в профиль он и вправду походил на Данте. Потом мы вдвоем остались на пригорке, а Аллочка пошла к тете спросить, можно ли прийти бывшим заключенным, из которых один еще не реабилитирован. Тетя возмутилась:

– Да ты что! О чем ты спрашиваешь? Веди сейчас же.

Нас приняли, угостили, мы там даже переночевали. Потом попробовали Даниила прописать, но из этого ничего не получилось – слишком близко к Москве»[4].

Следующий маршрут – в Торжок. Там жили Кемницы, где Виктор Андреевич работал на авиационном заводе и куда из Караганды приехала к нему жена, а следом ее лагерная подруга Вера Литковская. В их двухкомнатной квартире удалось прописать и Андреева. В Торжке вообще оказалось немало вчерашних зэков.

У Кемницев он читал стихи. Глуховатый и негромкий голос звучал воодушевленно. Читал друзьям, стихи его любившим, многое понимавшим, прошедшим той же дорогой. «Даниил читал там “Рух”, – вспоминала жена поэта. – Слушали Верочка, Кемницы и кто-то из их торжковских друзей. Даниил вообще читал свои стихи хорошо, но в тот раз – поразительно хорошо.

Я его потом спросила:

– В чем было дело? Ты читал настолько хорошо, что надо запомнить почему, чтобы ты всегда так читал.

А он, смеясь, ответил:

– Понимаешь, я чувствовал, что один из слушателей сопротивляется изо всех сил, не хочет слушать, принимать, и у меня появилось чувство, что я должен его перебороть. Потому так и читал»[5].

Он не мог не читать стихи друзьям. Как и прежде, это не были большие сборища – три-четыре человека.

2. Встречи

После тюремной неподвижности жизнь стала скитальческой. Поездки в Торжок дались нелегко. Встречи с давними друзьями требовали сил. За три недели он многих повидал, успел натолкаться в электричках, натрястись в автобусах.

Но и о вчерашних друзьях он не забыл. 11 мая написал жене Гудзенко, стараясь узнать о его судьбе – предстоял суд, – и сообщил о своей: «За два коротких месяца жизни с Вашим мужем я его искренно полюбил, глубоко уверовал в его замечательное дарование и буду с тревогой, беспокойством и надеждой следить за дальнейшими этапами Вашей с ним общей борьбы за справедливое решение его дела»[6].

Написал Курочкину, оставшемуся досиживать, получив от него письмо и фотографию с надписью «На память дорогому Даниилу Леонидовичу» с незабвенным обозначением места: «Владимир – областной».

В мае стараниями Парина Андреева положили в больницу Института терапии. С собой он взял книги, подаренные Иваном Алексеевичем Новиковым. На книге стихов тот написал: «Когда-то надписывал книжку Вашему папе – Леониду Николаевичу Андрееву, а ныне Вам – его сынку...» В письме из больницы он благодарил старого писателя за участие: «Дорогой Иван Алексеевич, до сих пор не удалось навестить Вас после десятилетнего промежутка: лежу в больнице и подвергаюсь пока не столько лечению, сколько всевозможным исследованиям и обследованиям. Диагноз не очень благоприятен: стенокардия, атеросклероз аорты и мн<огое> другое.

Горячая благодарность Вам за все, и в частности – за стихи. Только что (здесь, в больнице) прочитал “Писатель и его творчество”. О наших “вечных спутниках” никогда не устаешь читать новое и новое, а тем более – не сухое исследование, а настоящую творческую работу, согретую таким сердечным теплом. <...>

Жена мечтает к 1 июля увезти меня отсюда на Оку, в деревню, в красивые есенинские места, славящиеся к тому же дешевизной жизни. А к осени решится окончательно и мое дело в пленуме Верховного суда. И думаю, к тому времени отпадут все внешние и внутренние препятствия, тормозящие мою поездку к Вам.

Еще раз сердечное спасибо за Вашу поддержку, которую я чувствовал несколько раз в жизни – даже в такие минуты, когда Вы сами не сознавали, что ее оказываете»[7].

В больнице его почти каждый вечер, один за другим, навещали друзья. На больничной территории, в глубине, он облюбовал скамейку. Туда все и приходили. Татьяна Морозова, как всегда, выполняла его поручения, тем более что на жену свалились все неисчислимые житейские заботы. Появились Ивашев-Мусатов, Зоя Киселева. И еще – Зея Рахим, приехавший из Грузии. В октябре он отправился вместе с Гогиберидзе в Махарадзе, оттуда перебрался в Рустави (по другим сведениям, в Зугдиди), но не прижился и там. В мае, женившись на девушке, работавшей на текстильной фабрике, Рахим поселился на подмосковной станции Правда по Ярославской дороге, объявился в Москве и, видимо, с помощью Парина нашел заработок – переводы и рефераты японских научных статей.

Повидался с Галиной Русаковой. «В воскресенье была Галя, – сообщал Андреев Морозовой. – Но народу, ради праздничного дня, привалило столько, что мы в саду сидели на лавочке так: слева от нас – 3 посторонних человека, справа – 2. О многом ли можно поговорить в такой обстановке?»[8] И писать здесь почти не удавалось: «Я редко скучаю. Скучаю только тогда, когда окру-

жающая обстановка или нудная работа не дает делать того, что я считаю в некотором роде моим долгом, моим делом, оправданием существования. А сейчас именно так. В палате шумно, бестолково и заниматься нельзя ничем. <...> Нетерпение, с которым я жду выписки отсюда и отъезда в Копаново, возрастает с каждым днем и часом. Я уверен, что в этой обстановке и поправка пойдет быстрее. Главное – природа, свобода и покой. И чтобы Алла была рядом»[9].

Из больницы его выписали 22 июня утром. Диагноз не утешал: последствия инфаркта миокарда, стенокардия, атеросклероз аорты. Впрочем, нового о своем состоянии он узнал немного. Осталась надежда на одно лекарство – природу, и Андреев рвался из Москвы. В тот же день, сев отвечать на письма, писал Ракову: «На днях мы с Аллой уезжаем наконец в деревню, на Оку (в Рязанскую обл<асть>, недалеко от есенинских мест), на 2 месяца. Буквально – уедем в считанные дни и часы: стосковался я о природе нестерпимо, да и вместе с женой мы еще как следует не пожили вместе из-за сутолоки первого месяца и из-за моей больницы. Она измучена до предела, т. к. последний период перед моим возвращением оказался для нее особенно тяжелым»[10].

В предотъездные дни он успел побывать в Кремле: «Впечатление огромное и глубокое, хотя ни в Грановитую, ни в Оружейную мы не попали. А интерьер Василия Блаженного! Чудо!»[11]

Пришло известие о суде над Родионом Гудзенко, получившем пять лет лагерей по 58-й статье. Такого исхода дела Андреев никак не предполагал и писал оставшейся с полугодовалым сыном жене Гудзенко: «Насколько я понимаю, оснований для подобного приговора нет, и, конечно, надо упорно бороться, чтобы допущенная несправедливость была исправлена. В современных условиях такое исправление вполне реально»[12]. Но «исправлений» не предвиделось – Гудзенко ждал Дубровлаг.

Хорошая весть пришла о Шатове – больного старика освободили, дело прекратили.

За день до выписки из Института терапии, 21 июня, состоялся пересмотр андреевского дела и отмена обвинения Пленумом Верховного суда СССР. Известие пришло позже, накануне отъезда. Теперь он мог прописаться в Москве. Но заняться этим решили осенью. Во-первых, нужно получить справку о реабилитации. Во-вторых, на Москву надвигался Всемирный фестиваль молодежи и студентов, за месяц до него начались проверки неблагонадежных, высылки за 101-й километр. И 1 июля в десять вечера на Южном речном вокзале у Данилова моста Андреевы сели на теплоход и поплыли в Копаново.

3. Копаново

В Копаново – село на правом окском берегу между Рязанью и Касимовом – они доплыли за двое суток и поселились в избушке вдовы по фамилии Ананькина, тети Лизы, как все ее звали. Первыми впечатлениями и планами Андреев делился с Раковым: «Сейчас я пишу Вам, сидя в деревенской комнатке в 2 минутах ходьбы от Оки, которая здесь великолепна (шириной – вроде Невы у Дворцового моста). Комфорта здесь абсолютно никакого, уровень быта – есенинских времен, даже электричества нет; но это в некоторой степени уравновешивается тишиной, покоем и красотой природы. Впрочем, мы здесь еще только 2 дня и, при моей ограниченности теперь в движениях, успели посмотреть только самые ближайшие окрестности. А я так истосковался по природе, что сейчас меня радует вид любого дерева, а тем более те массивы их, которые по-русски называются лесом.

Собираемся пробыть здесь июль и август, отдыхая и работая. А<лла> А<лександровна> сегодня уже ходила на этюды, невзирая на грипп и совершенно хулиганскую погоду. Я же собираюсь продолжать начатое ранее и, между прочим, думаю подготовить маленькую книжечку стихов о природе (в сущности, уже написанных, но требующих некоторой отделки и перестройки общей композиции), с которой осенью попробую сунуться в печать. Уверенности в удаче, конечно, не может быть, но попробовать не мешает. Название книжечки будет странное – “Босиком”. А вообще, у меня куча новинок, которыми хотелось бы поделиться»[13].

Андреевых «завлекли» в Копаново рассказы о здешних красотах природы и дешевизне. Дешевизна – не последний аргумент. У них не было ничего – ни жилья, ни вещей, ни работы, ни денег. «Нам помогали мои родители, а кроме того, собирали деньги друзья Даниила по гимназии, – рассказывала Алла Александровна о том, как им жилось в первый год после освобождения. – Кто-нибудь из них приходил и клал конверт на стол, мы даже не знали, от кого. Знаю, что в этом участвовала Галя Русакова, думаю, что Боковы, помогал и математик Андрей Колмогоров, тоже учившийся в Репмановской гимназии»[14].

В Копанове оказалось тихо и красиво. Заросшие травой улицы, плетни, огороды, Ока и старый лес. Но не повезло с погодой, похолодало. И деревенская жизнь с керосиновой лампой, с русской печью, со стиркой на речке для больных измученных людей оказывалась сомнительным отдыхом. «Почта и телеграф – в 4 км, причем дорога по голому полю. Аптеки никакой, вернее – ближайшая – в 12 км, и тоже извольте пешком. Вдобавок отвра-

тительная погода, – писал Андреев Морозовой после первой недели копановского отдыха. – Вчера был единственный хороший день, но сегодня опять хмуро и северный ветер. О купании не может быть и речи. Оба мы прихварываем, у Аллы разыгрался полиневрит, болит спина и ноги. В довершение всего, около дома ни единого деревца, негде полежать. Приходится тащиться в лес. Правда, дальше он очень красив и разнообразен, богат грибами и цветами, но это далеко, а поблизости он кишит муравьями, изрывшими буквально всю почву, так что сидеть на земле почти невозможно. Значительную часть времени приходится проводить дома. Алла чуть-чуть ходит на этюды, я тоже работаю, но очень мало, часа по 2 в день»[15].

Работалось мало, но сборник «Босиком» составлялся, «Роза Мира» подвигалась.

Здесь он расслышал имя выразительницы Вечной Женственности, до этого называемой «Она». Ее, неназванную, Пресветлую и Благую, узрел Владимир Соловьев в Египетской пустыне. Это деревенское утро запомнилось Алле Александровне: «Я встала, делала что-то по хозяйству. Даниил медленно просыпался: это был тот миг, когда нет ни сна, ни бодрствования. И вдруг я увидела его удивительно светлое счастливое лицо. Он проснулся и сказал:

– Ты знаешь – услышал! Ну как же я раньше не понял: Звента-Свентана»[16].

Через неделю погода установилась, заиграло июльское солнышко. Пришло известие: в Москву приезжает брат. Через сорок лет разлуки Вадим Леонидович Андреев, с 1949 года работавший в издательском отделе ООН в Нью-Йорке, с женой и детьми приехал на родину. Они приплыли из Лондона в Ленинград на теплоходе «Молотов» как раз в день разоблачения «антипартийной» группы (когда Андреевы возвращались на том же самом теплоходе, его успели переименовать в «Балтику»).

Братья не могли не увидеться. «Родные, драгоценные, – не знаю, какие еще подобрать слова – до последнего дня не верилось, что это возможно!!»[17] – обращается Даниил к брату и его жене и просит приехать в Копаново, подробно объясняя дорогу. Через день шлет брату еще одно письмо, повторяя просьбу. О том, чтобы возвращаться в Москву им, не могло быть и речи. «Состояние здоровья у обоих неважное, но бывает и хуже, – объясняет он. – Алла все время температурит по непонятным причинам (этого не должны пока знать ее родители, да и вообще никто в Москве: будет только лишний переполох, волнения, усилится нажим с целью вызвать нас в Москву и т. д.). Однако она ходит на этюды и, перемогаясь, хозяйничает. Прости, родной, за почерк:

до обеда я лежу в тени на огороде и пишу лежа. После обеда уходим в лес или на реку»[18].

Неожиданно вновь начались дожди, и Андреев простудился, как он считал, оттого, что помногу лежал на земле. Жена подозревала воспаление легких. Температура то поднималась до 40, то падала. До больницы и врачей не добраться.

Вадиму Андрееву, чтобы попасть в Копаново, потребовалась решительность. Без ведома властей он, зарубежный гость, отлучаться из Москвы не имел права. Поэтому ни пароходом, ни поездом не поехал, а, договорившись с шофером, отправился на такси до райцентра Шилово, откуда оставалось километров сорок проплыть до Копанова. Десятилетиями мечтавший о возвращении в Россию, Вадим Андреев оказался в ее глубине, недалеко от есенинских мест. Эта встреча с Россией и с братом стала для него волнующим переживанием.

«Я никогда в жизни не бывал в этих краях, но я узнавал их, – описывал он плаванье по Оке и встречу с братом, – каждый поворот реки открывал мне до боли знакомое и родное: серые ветлы раскинули над рекой свои коряво-грациозные ветви; серо-голубые поймы блестели среди заливных лугов; вдали чернели скелеты заброшенных церквей; над крытыми соломой крышами редких деревень кружилось воронье – все это было мое, родное, все это вошло в меня с русскими книгами, русскими стихами, все это стало моей кровью.

В Копаново я приехал уже поздно вечером, в серой, густой мгле, охваченный неизъяснимым волнением. Волнение нарастало с каждой минутой: широкая, еле видная улица, перерезанная глубокими колеями, черные плетни, провал глубокого оврага, а с поднадгорья – звуки шарманки (наверное, все же гармошки или патефона. – *Б.Р.*), смех, женский визг и проникающие в самое сердце таинственные шепоты»[19].

Поздним вечером на пристани Алла Александровна узнала его сразу – так он отличался от окружающих и так напоминал Даниила.

«Я вошел в избу. В комнате, уставленной фикусами, на кровати, подпертый подушками, под маленькой лампой-коптилкой – лежал я. Действительно большое сходство двух родных братьев в первые минуты показалось мне абсолютным. Те же седеющие волосы, тот же лоб, то же худое лицо, тот же андреевский нос и складки у углов рта...

Никто не помнит первых слов, произнесенных после долгой разлуки. Да их и немного, этих бессвязных слов: главное – ощущение живых губ, небритость щек, костлявое плечо, которое не

могут отпустить скрюченные пальцы, и сквозь слезы, в затуманенном зеркале – родное лицо.

В тот вечер у Дани упала температура, и мы долго говорили – и тут произошло последнее чудо этого неповторимого дня: очень скоро мы ощутили оба, что мы понимаем друг друга с полуслова, что начатая одним фраза заканчивается другим, как будто мы прожили всю жизнь вместе. Вдруг оказалось, что нет и не было сорокалетней разлуки, что две судьбы, столь непохожие, в сущности одна судьба одной русской семьи.

Потом Даня читал мне свои стихи, и я был поражен тем, каким цельным, уже сложившимся поэтом оказался мальчик, которого когда-то я силком тащил на пожарную лестницу. Поразило меня его мастерство, то, с какою уверенностью и свободой он обращается со словом, – трудолюбивый хозяин на своей родной земле. Но самым удивительным было то, как совпало Данино ощущение России с моим, как в его стихах я нашел выход тому огромному волнению, с которым я подплывал к Копанову»[20].

«Сходство братьев по первому впечатлению было поразительным. Однажды мы с Вадимом гуляли по лесу, собирали грибы. К нему подошел кто-то из деревенских, пожал руку и сказал, принимая его за Даниила: “Как я рад, что Вы выздоравливаете!”»[21], – вспоминала Алла Александровна о четырех днях, проведенных братьями вместе. Тогда же приехала в Копаново и ее лагерная подруга – Валия Круминьш, которую она ласково называла Джонни.

Отсюда, оправившись от простуды, он успел еще раз написать возвратившемуся в Москву брату: «Здесь мы гуляем почти каждый день по несколько километров. Третьего дня попали под здоровенный дождище и промокли до нитки, но – сошло! Вчера отдыхали, а сегодня собираемся съездить на катере в одно место, более интересное, чем Копаново. Там берега кудрявые, все в ветлах, тополях и лозняке, лужайки со стогами и леса с огромными деревьями»[22].

Возвратиться в Москву оказалось не просто. Трудности пришлось преодолевать Алле Александровне. «Я пошла за билетами, но их не было. А нас уже знала вся деревня, вся пристань. И мне сказали: “Приходите завтра, будет теплоход ‘Григорий Пирогов’, там, среди пассажиров, – Александр Пирогов, брат Григория, известный певец Большого театра. Мы вас пропустим без билетов. Подойдете к Пирогову и попросите его помочь”.

Вечер. Тьма и дождь. Кто-то помогает мне нести вещи. Я веду Даниила, которому плохо. К пристани надо спускаться вниз по косогору. И прямо посередине этого спуска в темноте под проливным дождем Даниил начинает падать мне на руки,

как это бывало, когда он терял сознание от сердечного приступа. Я кричу в темноту: “Помогите! Помогите!” И сразу из этой темноты буквально со всех концов бегут люди, подхватывают Даниила и каким-то образом переправляют нас на теплоход, который тут же отчалил. Я оставляю Даниила, едва пришедшего в себя, внизу, где-то на полу и иду разыскивать Пирогова. Подхожу к нему и рассказываю: “Я – жена Даниила Леонидовича Андреева, сына Леонида Андреева. Он только что из тюрьмы, я из лагеря. Он очень тяжело болен. Нам надо вернуться в Москву, но у нас нет билетов”. И сейчас же Пирогов дал распоряжение. Кажется, нас поселили в каюте медсестры, которую куда-то перевели»[23].

В Москву приплыли 12 августа, через день после окончания фестиваля. Встречало их все семейство брата. Сын Вадима Александр вспоминал, как впервые увидел дядю на пароходе, подходящем к речному вокзалу: «Поразило внешнее сходство с отцом и возникшее сразу же чувство родства...»

Недрёмные «органы» с опозданием, но узнали о поездке Вадима Андреева. «К нашей чудной хозяйке тете Лизе явились сотрудники ГБ, – рассказывала Алла Александровна, – и стали расспрашивать:

– У тебя жили москвичи?

– Жили.

– А к ним приезжал кто-нибудь?

– Да, приезжал кто-сь.

– А кто?

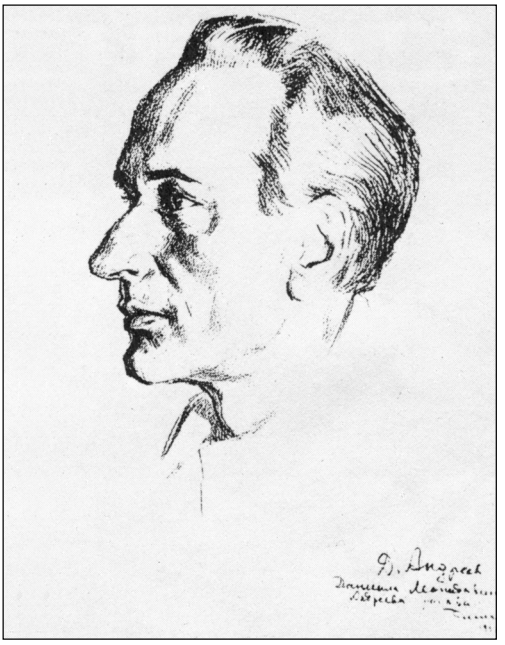
– А я не знаю.

– Ну как не знаешь? Ну как фамилия тех, кто у тебя жил? И кто к ним приезжал?

– Да ня знаю я никаких фамилий. Хороши люди жили, хорош человек приехал, нямножко побыл, уехал, они тоже уехали. А я ня знаю куда. И фамилий ня знаю»[24].

4. Бездомная осень

Пока они находились в Копанове, пришли бумаги о реабилитации. В справке из Военной коллегии Верховного суда, 11 июля подписанной полковником юстиции П. Лихачевым, говорилось: «Постановление особого Совещания при МГБ СССР от 30 октября 1948 года и определение Военной коллегии Верховного суда СССР от 17 ноября 1956 года в отношении АНДРЕЕВА Д. Л. отменены и дело прекращено». Начались хождения, писание заявлений, добывание справок, чтобы прописаться, добиться какого-нибудь жилья. Жить было негде и не на что: безденежье и бездомье.



Д. Л. Андреев. *Рисунок Г. Б. Смирнова. 1957*

Болезнь в Копанове даром не прошла. Он сетовал: «Что за мерзость – сердечные приступы с тяжелой рвотой, обмороки (неожиданно, например, в метро), а главное – безобразная ограниченность в движениях»[25].

Пользоваться гостеприимством родителей жены Андреев хотел как можно реже. Двоюродному брату он так рисовал ситуацию: «Ал<ексан>др Петрович работает большей частью дома, в той же комнате; а у Аллы громоздкая оформительская работа; а мне для работы нужен покой и тишина; а нервы у всех никуда не годятся; а у нас с Юлией Гавр<иловной> были уже инфаркты; а из длительного отпуска я привез (гл<авным> образом в голове) материалы, требующие немедленной обработки; а... еще 10 “а”»[26]. Теща, самоотверженно заботясь о дочери и зяте, все же поговаривала: «Избави нас, Боже, от гениев!»

Через неделю после возвращения из Копанова, проводив брата, они перебрались в Перловку, на дачу к Смирновым, старым друзьям. Здесь Андреев был своим, подолгу гащивал до войны, помнил странноприимный флигелек с верандой. По словам их сына, с Андреевым дружили не только его родители, но и «бабушка по отцу, урожденная Долматова, и все их друзья и знакомые»[27], и даже дед, некогда «сочувствовавший эсерам» и любивший книги Леонида Андреева.

У них продолжался «организационный», как он его называл, период, так при жизни и не закончившийся. После прописки нужно хлопотать о компенсациях, о восстановлении пенсии, об инвалидности, о комнате – всем этим занималась жена. Езда в Москву из Перловки ее выматывала. Постоянной работы у нее не было. Наконец удалось найти – в Медучебиздате, но с заработком более чем скромным – на чай, хлеб и сахар. Удалось получить компенсацию, но сумма оказалась смехотворной. Планы не обнадеживали. «Сейчас понемножку подготавливаю небольшую книжку стихов о природе, которую попробую выпустить в свет. На удачу почти не надеюсь, а все-таки – чем черт не шутит? Да и надо же когда-нибудь начинать»[28], – писал он Родиону Гудзенко из Перловки.

Сборник «Босиком» – единственная соломинка, за которую он мог ухватиться, чтобы «всплыть на поверхность литературы». Она казалось то сулящей кое-какие, пусть неблизкие, «заманчивые перспективы»[29], то «попыткой, заранее обреченной, почти наверняка, на неудачу»[30]. В сборник он включил 52 стихотворения из разных циклов о природе, главным образом «трубчевские». «Роза Мира», ставшая первоочередным незавершенным делом, продвигалась медленно. Но продвигалась почти ежедневно.

«Вечером, совершенно уже выдохнувшиеся, коротаем время у лампы, причем жена что-нибудь шьет или вяжет, а я читаю вслух Тагора или Диккенса»[31], – сообщал он о дачной жизни.

«Должен признаться, вообще, что настроение очень пониженное, депрессия, свойственная маниакально-депрессивн<ому> психозу, началась на этот раз в апреле и до сих пор не поддается преодолению, тем более что внешние обстоятельства мало ему способствуют. Работоспособность пониженная, т. е. все делаю плохо и медленно»[32], – писал он Юрию Пантелееву, после Института Сербского отправленному в Потьминский лагерь. Пантелееву, несмотря на безденежье, он послал деньги, извиняясь: «Простите меня, пожалуйста, за микроскопичность денежн<ого> перевода. Как только наладится работа и мы хоть немного вылезем из всех дыр, я с огромной, величайшей радостью постараюсь быть Вам полезен. Ведь Вы для меня – не просто знакомый, а один из немногих людей, с которыми, несмотря на различия во многом, завязались какие-то душевные нити, кажущиеся мне прочными и не случайными»[33].

Еще откровеннее письмо Морозовой: «Дорогая Татьяша, я не писал главным образом потому, что был загружен работой и каждый день после ее окончания был уже не способен ни на что. <...> Теперь на днях надо ехать к Чуковскому, но он живет в Переделкине, и я никак не могу собрать сил, необходимых на такую

поездку. В Москве я за это время был один раз и потом едва донес ноги до Перловки. Все дела – комнатные, пенсионные и пр<очие> стоят на месте, т. к., живя в Перловке, двигать их невозможно. Тут мы пробудем, очевидно, числа до 10 окт<ября>, а куда двинемся потом – одному Богу известно – быть здесь дольше невозможно по вышеупомянутой причине. Алла получила работу, приносящую мало денег, но неимоверное количество хлопот, разъездов и т. п. Она героически пытается совместить рисование плакатов, поездки в Москву, живопись (иначе ее выставят из МОСХа), уход за мной и хозяйство. В последнем огромную помощь оказывает Ир<ина> Усова, но через несколько дней она возвращается в Москву.

Настроение все время угнетенное...»[34]

Сыну Смирновых Андреев запомнился отчаянно курящим «дешевые крепкие пролетарские папиросы», с тронутыми табачной желтизной пальцами. «...Около его письменного стола, всегда стояло ведро, полное окурков». И поскольку очень любил кошек, вспоминал Алексей Смирнов, «наши кошки все стаей собирались к Андрееву во флигель и постоянно сидели у него на спине, когда он писал, и спали на нем...»[35]

Ирина Усова самоотверженно решила помочь любимому поэту, взяв на себя «возню с керосинками». Она, по ее словам, перенесла на это время отпуск, нашла в Перловке комнатушку поблизости от смирновской дачи. «К определенному часу они приходили ко мне обедать, после чего Алла уходила к себе, а мы с Даней отправлялись в ближайший лесок (Даня, конечно, босиком, несмотря на начавшиеся сентябрьские заморозки), расстилали одеяло, усаживались, и Даня читал мне свои “Миры возмездия”...»[36].

В солнечный день конца сентября, собравшись с силами, Андреевы поехали в Переделкино к Чуковскому. Беседовали на верхней открытой террасе дачи. Корней Иванович, как всегда с гостями, был красноречив, обаятелен, артистичен. На присутствовавшего при встрече поэта Льва Озерова Андреевы произвели впечатление людей изрядно намытарившихся, измученных. Портрет Даниила Андреева нарисован Озеровым через десятилетия, сквозь дымку времени и, очевидно, под воздействием стихов «смуглого поэта», прошедшего огонь, воду и медные трубы. Но все же портрет верен. «Передо мной сидел незнакомый мне человек, необычайно привлекательный даже при незнании того, кто он и какова его судьба. Было сразу же видно, что этот человек много страдал. Более того, все его непомерные страдания соединились, сплавились, ссохлись и перешли в новое качество. Это качество можно было определить как сосредоточенную духовность. Как выход от великомученичества и долготерпения к побе-

доносному владению собой, своей судьбой, к прозрению путей России и мира.

Не скажу, что взгляд Даниила Леонидовича был отрешен и не интересовался встречей у Корнея Ивановича. Нет, Даниил Леонидович был здесь, он не только присутствовал, но и молча был включен в происходившее действо. Более того, его молчание было говорящим, быть может, даже незримо влияющим на ход беседы. Есть редкие характеры среди людей, характеры, которые обладают не столько искусством, сколько силой влияния на присутствующих. Ученые пустили в ход словцо – биополе. Можно это назвать и по-другому. Взгляд Лермонтова, по свидетельству современников, был словом, был действием самым решительным. Даниил Леонидович молчал. Алла Александровна молчала. Я помалкивал»[37].

Корней Иванович рассказывал о знакомстве с Леонидом Андреевым живописно и с пафосом, показал его письма. Помочь обещал и, конечно, помог. Чуковский покорил Даниила Андреева: «человек очень добрый, отзывчивый и в высшей степени интеллигентный»[38]. Он передал ему повесть брата «Детство», с помощью Чуковского позже ставшею книгой. «Повесть об отце» до войны публиковалась в Париже, в «Русских записках», но Вадим Андреев очень хотел издать ее на родине. Она – лучшее его сочинение. «Для меня самого знакомство с этой книгой имело очень большое значение, – писал Даниил Андреев брату. – В первый раз я уяснил себе трагедию чернореченского дома во всей ее глубине, многозначительности и сложности. Написана вещь превосходно...»[39].

В начале октября жизнь в Перловке осложнилась. «С наступлением холодов это местообиталище оказалось чревато рядом неудобств, – писал он Ракову. – Главное – чередование (или даже совмещение) холода и духоты. <...> Я из-за сердца могу ездить в Москву очень редко и только на несколько дневных часов. Каждая такая поездка – для меня целое предприятие. Зато Алла Ал<ександровна> героически мечется между Перловкой и Москвой, пытаясь продвинуть наши дела, выполняя заказы для Медучпедгиза, ведя хозяйство – и, конечно, совершенно не успевая заниматься живописью. Ее мучает неврит и жестокое малокровие. Больно смотреть на ее самоотверженную борьбу с жизнью за наше местечко под солнцем: в настоящем состоянии я являюсь не столько помощником, сколько обузой, и, конечно, только настоящая любовь помогает ей тащить эту ношу»[40].

Благодаря влиятельной протекции Чуковского, появилась надежда на литературный заработок – обещано редактирование перевода для Издательства иностранной литературы. Но

Даниил Андреев поглощен «Розой Мира». «Пока эта (или подобная) работа еще не отняла у меня досуга, спешу использовать его на работу для души; но это – нечто до того нескончаемое, что, даже привставая на цыпочки, не вижу вдали ничего, кроме уступообразного нагромождения глав»[41], – сообщает он Льву Ракову. О том же пишет и двоюродному брату: «О Владимирском периоде я не жалею. Он дал мне столько, сколько я, суетясь в Москве, не получил бы и за 30 лет, но беда в том, что я принадлежу к тому сорту людей, которые, приобретя что-нибудь ценное, жаждут придать этому подходящую форму и поделиться с другими. Вот теперь и стоит передо мной задача – выполнить это при минимуме благоприятных внешних условий»[42].

«Сухое, выточенное лицо аскета, седеющие волосы, трагический взгляд. Читал стихи глухим, слегка надтреснутым голосом, но он был полон жизни, энергии. Речь Андреева была одним сплошным монологом пророка»[43] – таким поэт запомнился двадцатилетнему тогда сыну Смирновых, видевшему его не только читающим стихи, но и босым, убирающим листья в осеннем саду и уходившим в лес в обвисшем плаще-регланом и с зонтом-тростью.

6 октября Андреевы поехали в Москву на Новодевичье. Коваленский добился разрешения на перезахоронение жены, привез из Потьмы прах Шурочки, и урну опустили в могилу ее родителей. Горькая церемония, известие о безнадежном состоянии Александра Доброва в инвалидном доме, не только о поездке к которому не могло быть и речи, но и о сколько-нибудь существенной помощи, встреча с молчаливым и несчастным, болезненно огрузлым и задыхающимся Коваленским – все рвало душу.

В середине октября Андреевы перебрались в Москву. Сразу после этого Алла Александровна заболела и неделю пролежала с бронхитом. Сказались осенние холода.

5. Ащеулов переулок

С ноября они поселились в Ащеуловом переулке на Сретенке. Борис Чуков так описывал «местообиталище» Андреевых в доме № 14/1: «Темный, неосвещенный двор в лабиринте сретенских трущоб, заваленный снежными сугробами. По краям сараи и двухэтажные развалюхи. Узкая, обледенелая тропинка приводит к перекошенной, резко хлопающей на сильной пружине двери. Темная, очень крутая, с резкими поворотами лестница. За узенькой площадкой крошечная комнатка с низким потолком»[44].

Квартира, снятая в небольшом домишке, каких еще много оставалось в старых московских переулках, была тесной, но удобной – комнатка и кухня с втиснутой в нее ванной, газ, телефон. Стоила квартира дорого. «Долго вытянуть мы это не сможем, – писал Андреев Пантелееву. – Поэтому у нас созревает решимость – уехать на $1^1/_2$– 2 месяца в Кишинев: там дешевле, теплее (жена все время хворает, ей противопоказаны холод и сырость) и спокойнее»[45].

Здесь начавшейся зимой по вечерам он выходил, чтобы, не привлекая внимания, прогуляться босым. Эти прогулки вливали в него, как он уверял, новые силы. Но здоровье не улучшалось, и бо́льшую часть дня приходилось работать полулежа.

Весь ноябрь и начало декабря заняли разнообразные хлопоты. Чтобы восстановить пенсию инвалида Великой Отечественной войны, пришлось пройти ВТЭК, собрать справки. 22 ноября Андреева признали инвалидом второй группы по причине, «не связанной с пребыванием на фронте», и дали пенсию – 347 рублей. Но только комната стоила 900. И у них не было ничего: «ни стула, ни стола, ни кофейника или сковородки – все чужое, временное»[46]. Они написали заявление в КГБ в связи с ничтожной суммой компенсации за конфискованное имущество. «Наиболее ценной частью нашего имущества была библиотека, состоявшая примерно из 2000 томов», – писали Андреевы, обращая внимание на то, что в официальных описях имущества «отсутствует множество книг, представляющих наибольшую ценность», и приложили их список.

Неожиданно, благодаря Чуковскому, Андреев получил работу – перевод книги рассказов японской писательницы Фумико Хаяси. «Мне вручается приблизительный, не вполне подстрочный перевод рассказов одного японского писателя, а я должен придать этому переводу художественность. Задача не из легких, т. к. японский язык очень своеобразен: совершенно не схожий с нашим синтаксис, конструкция фраз, ассоциации, идиомы, – короче говоря, не вполне уверен, что смогу одолеть к 1 июля 20 печатных листов»[47], – делился он с Пантелеевым. Подстрочным переводом занялся Зея Рахим. Работа шла со скрипом. Зея переводил косноязычно и упрощенно, литературным русским языком владел плохо. Это усложнило дело. Но Рахима, обаятельно твердившего о собственных талантах, издательству рекомендовал он сам, и отступление исключалось. Работа, привычная для литераторов-поденщиков, профессионально и легко изготавливавших из грамотных подстрочников приемлемые тексты, для Даниила Андреева оказалась сложной и малознакомой.

Да и не мог он, отложив собственные рукописи, «Розу Мира», день и ночь сидеть над рассказами Фумико Хаяси.

С изданием стихотворений не сумел помочь и Чуковский. Как передает Алексей Смирнов, прекрасно знавший издательские условия Корней Иванович будто бы говорил, что для напечатания стихов нужно «два ваших подлинных стихотворения, а два – подленьких». На что Андреев отвечал: «А подленьких у меня нет»[48].

В комнатку в Ащеуловом чуть не ежедневно приходили друзья, с некоторыми он не виделся десятилетия. Навещали Ивашев-Мусатов, Морозова, Киселева, Бокова, дочь Веселовских – Анна… Заходили новые знакомые – восторженная, всегда приносившая гостинцы Алла Смирнова, позже, в начале марта, появился Борис Чуков…

В тюрьме Андреев соскучился по кино. «Не могу сказать, чтобы я к этому виду искусства питал особое пристрастие, но в специфических условиях того периода моей жизни почему-то возросла потребность именно в кино. Как я мечтал увидеть хоть несколько кадров какого-нибудь хорошего фильма! И вот, представьте, – писал он жене Гудзенко, – за полгода, когда появилась возможность удовлетворить эту потребность, мы удосужились побывать в кино всего два раза – на “Дон Кихоте” и на “Лебедином озере”. Просто не хватает времени и сил: днем – времени, вечером – сил. И один раз побывали в Большом театре на “Ромео и Джульетте” с Улановой. Восхищению нет границ. Это не балерина, а что-то большее. Великолепен был и Меркуцио (Корень). Постановка, декорации – выше всяких похвал»[49]. Еще видели мультфильм «Снежная королева» по Андерсену и цветной документальный фильм «100 дней в Бирме». «Совершенно изумительна бирманская архитектура, – красота прямо-таки невообразимая, но, к сожалению, в фильме она показывается только мимоходом»[50], – делился он впечатлениями. Рядом на Сретенке находился кинотеатр «Хроника», и там они смотрели фильмы о Камбодже, Египте, Цейлоне.

Побывали в кукольном театре Образцова, где «смеялись до колик». В консерватории слушали XI симфонию Шостаковича. Жена вспоминала: больному Андрееву разрешили подняться в зал не по лестнице, а на служебном лифте. «Господи, как Даниил рассердился! Он сказал мне:

– Ну как ты не понимаешь, что не нужно мне этого лифта! Как ты не понимаешь, что, только поднявшись по этой белой лестнице, я почувствую, что вернулся из тюрьмы, только тогда будет освобождение.

И мы пошли пешком. Он тяжело опирался на мое плечо, мы останавливались через каждые несколько ступенек, но поднялись – освободились, вернулись из заключения»[51].

Мнения их разделились: Алла Александровна была в восторге, а ему по-настоящему понравились «только отдельные места». Он назвал симфонию слишком шумной.

В начале декабря пришло горькое, впрочем ожидаемое, известие: 30 ноября умер Александр Филиппович Добров. «Последние месяцы его жизни были превращены в сплошную цепь мучений благодаря сочетанию туберкулеза легких с циррозом печени. Умер, однако, тихо – спокойнее, чем можно было ожидать. Его душевное состояние было в последнее время, я считаю, хорошим, т. е. все страдания он переносил мужественно»[52], – писал Даниил Леонидович брату в Нью-Йорк.

В декабре у Аллы Александровны стала расти опухоль, удаленная три года тому назад в лагере. В начале января ей сделали операцию, определив опухоль как фиброму. К тому же у нее обнаружились малокровие и базедова болезнь.

6. Письмо в ЦК

Обработкой японских рассказов Андреев надеялся заняться в Доме творчества писателей в Малеевке, куда они приехали 14 января. Путевку удалось получить, конечно, по протекции и как сыну Леонида Андреева – сам он писателем не числился. Алла Александровна в Малеевку отправилась сразу же после снятия швов, чуть ли не из больницы, и первые дни по приезде лежала в постели. Потом все чаще стала подниматься и даже ходить на этюды. «Конечно, нас разглядывали: сын Леонида Андреева!.. Вышел из тюрьмы... – вспоминала она малеевские недели. – И все с изумлением смотрели, как я бегала зимой на этюды. Почти десять лет я прожила без живописи и теперь не могла остановиться. С нами вместе жил в Малеевке кто-то из Кукрыниксов, и он мне сказал: “Видно, до чего же Вы по живописи изголодались!”

С Малеевкой связано несколько забавных эпизодов.

Даниил там читал свою поэму “Рух”. На чтение к нам в комнату пришло человека четыре, из которых я помню только чью-то жену, тоже писательницу. Кто-то из них очень смешно отреагировал:

– Позвольте, это что... монархическая вещь?

Даниил ответил:

– Нет, это русская вещь.

Неожиданный переполох в писательской среде вызвало Данино хождение босиком. Он очень любил ходить босиком по снегу. Даже в тюрьме ему это разрешали. В Малеевке в те дни, когда Даниил чувствовал себя лучше, мы уходили подальше в лес, чтобы никто не видел, как он разувается.

Однажды в конце прогулки, когда Даниил уже обулся недалеко от малеевского дома, выяснилось, что мы что-то потеряли. Я вернулась в лес, потом той же дорогой пошла обратно и вижу: стоит группа писателей, человек шесть, носами вниз: что-то разглядывают. Что же? Следы босых ног на снегу! Совершенно обмерев, прохожу мимо, а они серьезно рассуждают.

– В чем дело? Кто мог ходить по снегу босиком?

Наконец один из них догадывается:

– Знаете что? Кто-то пишет о войне, о гитлеровских пытках, о том, как водили на казнь босиком. Он хотел это прочувствовать сам, разулся и прошел!»[53]

От добропорядочных советских писателей Андреев отличался, как марсианин. Худое вытянутое индусское лицо, выражение нездешности, «босикомохождение», поэтическая симфония со святорусским синклитом, уицраором и демонами... А кроме того, он курил махорку, которую курить в Доме творчества было немыслимо, рассказывала Алла Александровна. «Что делать? В то время продавались пустые гильзы. Я их покупала, а Даниил набивал махоркой и складывал в коробку от дорогих сигарет. И вот мы сидим в холле вдвоем. Даниил курит махорочную “сигарету”. Мимо проходят какие-то писательские дамы, и я слышу, как одна говорит другой: “Какой прекрасный табак!”»[54]

Из Малеевки Андреев прежде всего написал Шульгину, адрес которого наконец-то удалось узнать. Письмо начиналось с вопроса: «В чем Вы нуждаетесь?»

Малеевка показалась ему райским уголком, где все создано для творчества. Он писал Татьяне Морозовой о «райской жизни»: «Встаем часов в 9; сперва – всякие туалеты, завтрак и пр., потом идем на процедуры и на прогулку, причем Алла – с этюдником, а я – с пустыми руками. Она находит где-нибудь живописное местечко и располагается там со своим художническим скарбом, а я разуваюсь и ухожу бродить по лесу. Места здесь дивные, но санаторий с трех сторон, как подковой, окружен маленькой речкой, протекающей по очень глубокому оврагу. Это очень красиво и мило, тем более что склоны оврага поросли лесом, но с моим сердцем я предпочел бы более плоскую местность. Гуляю я минут 40, после чего иду работать. В третьем часу – обед, потом опять работа – до ужина. Перед ужином опять прогулка. После ужина, по большей части, смотрим кино. Видели несколько хороших фильмов: “Искусство друзей” (о фестивале), “Фанфан-Тюльпан” и в особенности итальянский фильм “Вор и полицейский”: изумительная картина!

Читать – не хватает времени. За 11 дней я успел только перечитать “Князя Серебряного”, случайно попавшегося в здешней библиотеке.

Кормят очень хорошо. Мы стараемся съедать все, что дают, но это не всегда удается. <...>

Публика здесь (как и персонал) – вежливая, – вечные улыбки и раскланивания, – но малоинтересная. Из ”знаменитостей” – Кукрыниксы, ленинградская писательница Марич, обогатившая нашу литературу беспомощным романом “Северное сияние”, и один известный кинооператор. Еще несколько десятков человек, кот<орых> мы не знаем»[55].

Среди профессиональных советских литераторов читая поэму, он не мог не почувствовать настороженное к себе отношение и не задуматься о том, что мнение «Даниил Андреев пишет монархические вещи» может мгновенно дойти до вездесущих «органов». И хотя времена существенно изменились, стали издавать Достоевского и Леонида Андреева, можно, пусть вполголоса, говорить о Пильняке, Клюеве и Мандельштаме, новое «дело» Даниила Андреева вполне реально. Второго ареста они не переживут, все написанное последует за «Странниками ночи» в ненасытные казенные печи. А лубянские тени, кружившие в Малом Левшинском переулке, возможно, уже кружат и в Ащеуловом.

«Даниил требовал, чтобы я уничтожала все письма, которые мы получаем, – признавалась Алла Александровна. – Он говорил: “Если заберут еще раз, не хочу, чтобы хоть один человек попал с нами. Ты понимаешь, что одно письмо от твоей подруги может стоить ей второго срока?! Все жги! Все уничтожай! Нам никто не пишет. С нами никто не связан. Вот кто-то заходит из москвичей, приносит картошку, деньги – и все”.

Как потом оказалось, Даниил был прав. Недолгое время, пока мы жили в Ащеуловом переулке и он мог еще ходить, у нас бывала Аллочка, милая молодая девушка, <...> жившая неподалеку. Поздними вечерами она выводила Даниила на прогулки. В темноте он мог гулять босиком. Аллочку начали вызывать в ГБ с расспросами о нас. Она тогда ничего нам не сказала, просто потихоньку отошла, перестала у нас бывать и рассказала мне об этом много лет спустя.

Даниил требовал, чтобы я никому не говорила о том, что он пишет, особенно о “Розе Мира”»[56].

По свидетельству Чукова, рукописи самых крамольных стихотворений Андреев уничтожал. Но крамольным казалось чуть ли не все написанное.

Он решил хоть как-то обезопасить себя. По возвращении из Малеевки написал письмо в ЦК КПСС и отправил туда, кроме про-

читанного писателям «Руха», рукописи поэм «Гибель Грозного», «Немереча», «Навна», циклов «Святые камни», «Зеленая пойма», «Босиком», «Древняя память», «Лирика» и «Миры просветления». Выбор продуман – «Симфония городского дня» или «У демонов возмездия» стали бы самодоносом. Продумано и письмо, подробное и внятное.

«Я обращаюсь в ЦК КПСС со столь необычным делом, что должен сопроводить свои рукописи, об ознакомлении с которыми прошу ЦК, письмом, излагающим причины такого обращения.

Почти вся моя сознательная жизнь была связана с литературным творчеством. Я был художником-оформителем, позднее написал для Географического издательства две научно-популярные книги, а в настоящее время редактирую сборник рассказов, переведенных с японского. Но всегда, параллельно с этой работой, я занимался художественной литературой. При этом я писал так, как мог, и то, что мог, не сообразуясь с конъюнктурой, и о печатании своих вещей я долгое время не задумывался, так как не считал их доведенными до надлежащего художественного уровня.

В 1947 году я был арестован, а все рукописи мои сожжены. После 10 лет тюремного заключения я был освобожден и реабилитирован.

Среди моих погибших рукописей было несколько тетрадей с лирическими стихотворениями и поэмами и большой роман, над которым я работал много лет. Восстановить эту вещь, конечно, невозможно: память не может хранить столько времени такой объемистый материал. Некоторую часть погибших стихотворений я восстановил по памяти еще в тюрьме и доработал их. Их снова у меня отбирали и уничтожали – или просто теряли, – я их снова восстанавливал и, кроме того, писал новые вещи. В условиях тюремного режима, созданного Берия и его сообщниками, некоторые из этих вещей тоже погибли.

Кроме черновиков и набросков у меня сейчас имеется ряд рукописей, приведенных в доступный для прочтения вид. Копии наиболее законченных из этих вещей я представляю в Центральный Комитет вместе с этим письмом, надеясь, что с моими вещами ознакомится кто-либо из ответственных работников ЦК. При этом, однако, надо иметь в виду, что некоторые из моих вещей (поэмы “Гибель Грозного”, “Рух”, “Навна” и др.) со временем должны войти как составные части в большую книгу. По форме она будет представлять собой поэтический ансамбль, а тематика ее связана с проблемами становления русской культуры и общественности.

Поэтому перечисленные поэмы следует рассматривать не как замкнутые в себе, автономные произведения, а скорее как звенья в единой цепи, хотя эта цепь – будущий поэтический ансамбль – еще весьма далека от завершения.

Причина моей просьбы об ознакомлении Центрального Комитета с моими работами – то фальшивое и психологически невыносимое положение, в котором я нахожусь.

Я не могу забыть, что в 1947 году на основе моего уничтоженного, к сожалению, романа было выстроено абсурдное обвинение, стоившее многих исковерканных лет мне и целому ряду людей, виновных в том, что они знали кое-что из написанного мною. Двум из моих близких эта история стоила жизни. Этот факт никогда не сможет стереться из моей памяти. Я вышел из тюрьмы больным, с совершенно расшатанной нервной системой. И хотя я вполне отдаю себе отчет в благотворных переменах, происшедших за эти годы, и в строгом соблюдении законности, отличающем теперь деятельность органов Госбезопасности, но травмированность пережитым часто вызывает в душе беспокойство и тревогу: неужели когда-нибудь смогут возобновиться слежка и травля: “А что это пишет у себя ‘тайком’ Даниил Андреев”.

“Тайком” я не пишу ничего. Но я теряюсь: имею ли я право читать свои вещи, до публикации большинства которых дело дойдет нескоро, хотя бы самому ограниченному кругу слушателей – людям, причастным литературе и чей критический разбор был бы мне нужен и полезен. Больше того, – я даже не понимаю, что я должен отвечать на естественные вопросы окружающих: пишу ли я, и если – да, то что пишу.

Вряд ли нужно объяснять, что жить, не разговаривая с людьми и скрывая буквально от всех свое творчество, – не только тяжело, но и невыносимо. Это и вредно, – во всяком случае, для автора и для его творчества.

Этим и объясняется моя просьба к ЦК – ознакомиться хотя бы с основными моими поэтическими произведениями».

Письмо он отправил 12 февраля, а 26-го его вызвали в ЦК. На другой день он писал Ракову: «Разговор велся в самом благожелательном тоне. Мне было указано, что нет никаких оснований мне “таиться” с теми фрагментами большой книги, которую я давно начал, окончу, вероятно, года через два-три. Печатать отрывки вроде “Грозного” или “Руха” – не стоит, пока книга не закончена, но не нужно и вредно избегать ознакомления с этими вещами тех литературных кругов, где я могу встретить товарищеский разбор и серьезную квалифицированную критику. Должен признаться, что эта беседа сняла с моей души порядочный груз».

Другим грузом навалилась болезнь жены. После возвращения из Малеевки они узнали, что удаленная опухоль – раковое образование. Началось лечение рентгенотерапией, и она две недели ездила в другой конец Москвы на процедуры, а возвращаясь, ложилась без сил, приходя в себя.

Дела с получением комнаты не двигались никак. Множество реабилитированных, получивших бумагу, что их безвинно и бессудно держали в лагерях и тюрьмах, больные и бездомные, толкались по приемным, стояли в очередях, писали заявления и жалобы. Везло не всем, для мало-мальского восстановления справедливости требовались влиятельные ходатайства, связи, начальственные звонки. 31 марта они отправили заявление «В президиум сессии Верховного Совета СССР пятого созыва», в нем писали: «Состояние здоровья лишает нас возможности с необходимой энергией настаивать в Райжилотделе на немедленном предоставлении полагающейся нам по закону жилплощади».

Денег – не хватало. «Живем фактически в долг, причем без сколько-нибудь четких надежд, на что и как вылезем из этой трясины. Пока что погружаемся в нее глубже и глубже», – писал Андреев Родиону Гудзенко и жаловался на неудачу с японскими рассказами, продолжая над ними добросовестно корпеть: «Абсолютно не понимаю, кому и для чего нужен их перевод на русский. Работа скучная, поглощающая много времени, оплачиваемая весьма скупо, а временами противная.

Опора – только внутри себя. Внешние тяготы жизни остаются тяготами, но я далек от тенденции придавать этим трудностям космическое значение. Есть внутреннее пространство, есть страны души, куда не могут долететь никакие мутные брызги внешней жизни. К тому же страны эти обладают не субъективным (только для меня) бытием, а совершенно объективным. Вопрос только в том, кому, каким способом и когда именно они открываются.

Вот об этом хотелось бы говорить с Вами – и говорить столько, что и многих вечеров не хватило бы»[57].

Но каждый день он продолжал свою главную работу.

7. Больница

Весной началось обострение стенокардии и атеросклероза, и 16 марта Андреев слег. В одной комнатке оказалось двое больных. Ему запретили двигаться, а заниматься рекомендовали не больше одного часа в день. Жена не могла прийти в себя после рентгенотерапии, лечилась от ожога и первое время еле ходила. Выручали друзья и неутомимая Юлия Гавриловна. Японские рас-

сказы измотали обязательного переводчика, и он жил надеждой к 1 мая сдать в издательство законченные четыре рассказа – отработанный аванс, и если возможно, расторгнуть договор. Беда только в том, что у него имелся соавтор – Зея Рахим. Воодушевляло, что их денежные дела неожиданно поправились.

Стараниями доброхотов, в первую очередь Чуковского, через Союз писателей удалось выхлопотать Даниилу Андрееву, как сыну Леонида Андреева, персональную пенсию. А еще, несмотря на то что право наследования истекло, гонорар за отцовскую книжку избранных рассказов, правда, совсем небольшую. С 1956 года после многолетних перерывов Леонида Андреева стали издавать все чаще. «Очень многое делала для нас Шурочка, первая Данина жена. А по инстанциям ходила я, – свидетельствует Алла Александровна. – Мы получили деньги весной 58-го года, сорок тысяч. Их хватило на последний год жизни Даниила»[58]. Пенсию назначили – 900 рублей.

«Этим мы спасены от самой жалкой агонии, – делился Андреев радостью с Раковым 9 мая. – Теперь можно: 1) расплатиться с долгами, 2) залатать самые вопиющие дыры, 3) несколько месяцев не думать о хлебе насущном, 4) лето посвятить отдыху, лечению и, насколько позволят физические силы, творчеству. Ибо 4 японских рассказа в редакцию сданы, а относительно остальных еще неизвестно, буду ли я их редактировать, во всяком случае, не раньше осени».

Получив деньги, Андреев отправил 300 рублей матери Слушкина, чтобы она могла съездить к сыну, 200 – жене Гудзенко... Он не забывал ни о ком. Просил Чуковского помочь Шульгину вернуть конфискованные рукописи романа «Чудесные приключения князя Воронецкого» (они были сожжены по указанию начальника тюремного управления МВД еще в 48-м, о чем автору не сообщили), и тот написал Ворошилову[59]. Правда, письмо, пересланное в КГБ, осталось без ответа.

С середины апреля Андреев опять оказался в Институте терапии, где лежал в прошлом году. «Обстановка здесь сносная, но мне так опостылела всякая казенщина (вспомним Владимир), что я жду – не дождусь дня, когда меня отсюда выпишут, – писал он Ракову, его понимавшему, тот и сам, попав в больницу, соседей по палате называл сокамерниками, – Алла Ал<ександровна> навещает меня через день и через силу. В общем (почему это наречие пишется раздельно, понять не могу), итак, *вобщем*, ее состояние улучшилось, хотя ожог, причиненный рентгенотерапией, еще не совсем зажил. Меня же пичкают всякими медикаментами, колют в вены и мускулы (хотя, казалось

бы, таковых уже не осталось), и мало-помалу я начинаю вставать с одра»[60].

Несмотря на болезнь, Алла Александровна не только навещала мужа, но и неутомимо, стиснув зубы, выхлопатывала комнату. Добилась резолюции председателя Президиума Верховного Совета Шверника, организовала ходатайство Союза писателей, подписанное Сурковым и Леоновым, относила заявление за заявлением в нервно-психиатрический диспансер, в райсобес, начальнику РЖО, председателю райисполкома...

Уже лежа в больнице, Даниил Андреев получил ответ из журнала «Знамя», куда отнес в начале марта стихотворения из сборника «Босиком». Поэт Константин Левин, сам не избалованный советской печатью, в отзыве многое отметил точно: «Странное впечатление производят стихи Даниила Андреева. С одной стороны, нисколько не сомневаешься в том, что перед тобой по-настоящему талантливый поэт, и удивляешься тому, что никогда не встречал в печати это имя». С другой, рецензент, процитировав: «Моя веселая заповедь: / Обувь возненавидь!», высказывал удивление, что «больно уж настойчиво возвращается Андреев к “вопросу об обуви”». И, конечно, взглянувший лишь на фрагменты, обрывки поэтического мира Даниила Андреева, он не мог воспринять их как целое и увидел в призыве к «общению с природой» «оттенок преувеличенности». Сопровождавшее отзыв Левина письмо зав. отделом поэзии Дмитриевой отказывало вежливо, с недвусмысленными подчеркиваниями: «невозможны стихи без визы времени», «необходимо пополнить сборник новыми сегодняшними стихами». «Виза времени» означала, что в стихах не веял «советский» дух, не откликалась газетная злободневность. «Как и следовало ожидать, из моих попыток в этом направлении ничего не получается, – констатировал Андреев, понимавший, что время его стихам не пришло, что он вестник – иного дня. – А что я им еще покажу? “Грозного”? “Рух”? “Навну”?»[61]

На последующее письмо в редакцию Дмитриева ответила еще определенней: «Журналу нужна поэзия с четким пульсом времени, актуальная и поэтически, и политически».

В больнице было тихо, покойно. Он любил глядеть в большое окно, на ветки раскидистого клена, которые неприметно стали набухать почками, а перед его выпиской зазеленели. Здоровье за два с лишним месяца лежания и лечения улучшилось ненамного: «Если и встаю, то на самое малое время, и не для того, чтобы ходить, а чтобы сидеть, – жаловался он Тарасовым, мечтая еще раз побывать у них в Измайлове. – А всего хуже то, что столь же ограничен я сейчас в своих возможностях работать и – что еще

глупее – общаться с людьми. Врачи требуют, чтобы я возможно меньше разговаривал, т. к. мало-мальски возбужденная речь или ничтожнейшее волнение вызывают боли в аорте, которые очень легко переходят в приступ, требующий инъекций кардиомина, а потом лежания в течение неск<ольких> дней.

И все-таки месяц, проведенный в больнице, принес некоторое улучшение. Через недельку меня, кажется, выпишут...»[62]

8. Плаванье

Когда-то их венчание задержало отсутствие колец, а потом арест. Теперь наконец кольца, «самые дешевые, тоненькие», куплены, и на 4 июня назначено венчание. В шаферы пригласили Бориса Чукова, в дружки дочь Татьяны Морозовой Веру.

Чуков описывал день венчания так: «В означенный час я вручил А. А. в Ащеуловом переулке огромную охапку выращенных моей мамой тюльпанов. А. А. была в белом подвенечном платье. Д. Л. и А. А. отправились в церковь Ризоположения на Донской улице, согласно древнему обычаю, разными путями. Д. Л. и я прошли из Ащеулова до тогда еще не снесенной Тургеневской библиотеки пешком и сели в стоявший ЗИМ (такси на стоянке не было). В машине Д. Л. мне сказал, что накануне они исповедовались и причащались, и после каждого посещения церкви сердечные боли, которые не оставляли обычно его в покое, сразу же на некоторое время проходят»[63]. Чуков замечает, что, когда они ехали в храм, Даниил Леонидович попросил водителя выбрать такой маршрут, чтобы не проезжать мимо здания КГБ...

Храм конца XVII века был нарядным и тихим. Венчал протоиерей Николай Голубцов. «Низким контральто замещала хоровое пение дьяконица, Вера и я держали тяжелые венцы над головами брачующихся. Более никого на венчании не было, – описывает Чуков. – По завершении венчания я побежал за такси и наткнулся на стоявший рядом все тот же ЗИМ, на котором мы вчетвером отправились обратно в Ащеулов переулок». Мнительному шаферу даже показалось, что дождавшийся обвенчанных автомобиль подослан вездесущей Лубянкой.

Вернувшись, «сели за крохотный обеденный стол, – вспоминает Чуков подробности. – Скудная еда – что – не помню. Кубинского рома в пол-литровой бутылке едва хватило на четыре рюмки. Да и рюмок не было: разрозненные чашки и граненый стакан. Чтобы придать всем бодрости, Д. Л. обратил наше с Верой внимание на фигурку туземца в речной пироге с цветастой буты-

лочной этикетки. Затем подробно принялся рассказывать, сколь замечательными были хрустальные винные приборы и антикварная фарфоровая посуда в доме Ф. А. Доброва»[64].

Какие бы «еретические» картины ни изображал Даниил Андреев в «Розе Мира», к православной Церкви он относился с благоговением. И венчание для Андреевых стало таинством особенным, осенив и вместе пережитое, и грядущее, и вечное особенным церковным светом. Об этом написала Алла Александровна: «Когда венчаются молодые, только вступая в брак, они просят у Бога благословения и помощи на предстоящем общем пути. Когда же венчаются люди, уже прошедшие по этому пути вместе много лет, они просят у Бога утверждения того, что пройдено, и благословения на его достойное земное окончание. У нас с Даниилом было еще сложнее. Через какое-то время после свадьбы он сказал мне: если перед аналоем стоят двое, один из которых уже обречен, это имеет совсем особый смысл. Я понимаю это так. Оставшись на земле после его ухода, я беру на себя расплату за многое в его юности. Но главное – то, что осталось в моих руках: его творчество. Мой долг – хранить, беречь и, вот уж чего я не ждала, – принести его людям: издавать все Даниилом написанное и читать его стихи.

Мы предстали пред Господом для венчания, уже пережив все: и десять лет дружбы, и войну, и тюрьму, десятилетнюю разлуку, встречу после разлуки, осознанное единомыслие, потому что я всегда была рядом и понимала, с кем я рядом. Поэтому наше венчание было настоящей клятвой перед Богом»[65].

А через день они отправились в свадебное путешествие. Провожали их несколько друзей. Татьяна Морозова принесла букетик ландышей. Пароход «Помяловский» по маршруту «Москва–Уфа» отплывал из Южного порта, отсюда же они плыли в Копаново. Рейс – по Москве-реке, Оке, Волге, Каме, Белой и обратно.

Подплывая к Уфе, он писал Татьяне Морозовой:

«Плывем... плывем!.. плывем!!!

Бóльшую часть времени стоит чудесная, солнечная, даже жаркая погода, хотя были и ненастные дни. Берега сказочной красоты. Такой красоты, что мы не в состоянии ни читать, ни писать, ни работать, а только смотрим по сторонам, стараясь впитать это великолепие. Неинтересен был только первый отрезок пути – до Шилова. Волга грандиозна, Кама сурова и великолепна, а Белая так прелестна, что в любом месте хочется остановиться и пожить там. К сожалению, это невозможно прежде всего потому, что нечем питаться. В смысле продуктов пристани так пусты, будто здесь прошел Мамай.

Из городов нам понравились Касимов, Муром и в особенности Горький. Совершенно разочаровала Казань. А дальше идут не города, а жалкие дыры. Исключение составляет, кажется, только Уфа.

Питание на пароходе очень неважное и безумно дорогое. Живем не то что впроголодь, но, во всяком случае, недоедаем. Жалеем, что пренебрегли мудрыми советами и мало взяли из Москвы.

Другое несчастие – радио. Часть пассажиров против него, часть индифферентна, а команде скучно стоять на вахте в тишине. Поэтому значительную часть времени мы едем, оглашая речные просторы какофонией»[66].

Уфа исключением не стала: «Местоположение ее изумительное, но город сам по себе малоинтересен; великолепная Белая загажена нефтью и мазутом. Есть хороший музей с картинами Нестерова, Левитана, Поленова, Головина и с небольшой, но, по-моему, очень ценной коллекцией икон»[67], – писал он уже после Уфы Грузинской, тете Шуре, первой незабвенной учительнице. В Уфе пробыли две ночи и день, оказавшийся занятым добыванием обратных билетов и запасанием продуктов. Днем обжигал зной, по ночам в каюте мучила духота, в открытые окна налетало комарье.

В плаванье они познакомились и подружились с Ириной Владимировной Бошко, учительницей литературы из Киева. Андреев читал ей стихи. Довоенный ученик Бошко поэт Наум Коржавин в мемуарах называет ее высокоинтеллигентным, порядочнейшим и тонким человеком из «старинной интеллигентной семьи»[68].

Собираясь в дорогу, рассчитывали поработать: взяли и пишущую машинку, и этюдник. Но на машинке писались главным образом письма, а Алла Александровна сумела сделать лишь несколько небольших этюдов темперой. Чаще всего они с восторгом глядели по сторонам, переходили с борта на борт, стараясь увидеть как можно больше.

В письме брату он так описал плавание: «Красота по берегам неописуемая, Ока, Волга, Кама и Белая, каждая со своей неповторимой душой, раскрывались перед нами во всем своем великолепии и своеобразии. Стояла прекрасная погода (в Башкирии даже 30-градусная жара). Необозримые заливные луга сменялись песчаными обрывами, белыми утёсами, лесистыми горами и красными кручами. Возникали и исчезали старинные города с дивными церквами, большие речные порты с кипучей жизнью, деревушки на гребнях холмов или на зелёных полянах, и всюду хотелось остановиться, поваляться по этой мягкой траве, пожить среди этого народа. Горький, Уфа, Казань, Кострома, Ярославль,

Углич – сейчас все эти картины кажутся уже прекрасным сном. Особенно пленил нас Ярославль – тихий, с тенистыми бульварами, изумительной архитектурой, необыкновенно индивидуальными, полными очарования улицами – чистый, заботливо содержимый, насыщенный историческими воспоминаниями и в то же время живущий всей полнотой жизни. А какие храмы 15–17-го века! Когда подплываешь к нему с востока, он возникает во всей своей русской красоте, как чарующая сказка, как Китеж»[69].

Утро у Ярославля стало незабываемым. «Было раннее утро, – рассказывает Алла Александровна. – Даниил вышел на палубу, я что-то делала в каюте. Он сидел на палубе под нашим окошком и вдруг закричал: “Иди скорей сюда!” Я испугалась, потому что “иди скорей сюда” обычно означало одно – сердечный приступ. Состояние его было безнадежным, и становилось ясно, что жить ему осталось очень недолго. Я выскочила на палубу, подбежала к Даниилу, но, слава Богу, испугалась я напрасно. Дело было совсем в другом. Если рано утром снизу подплывать к Ярославлю, то первое, что видишь, – это дивные ярославские храмы. Так как они стоят на высоком берегу реки, а утром от воды поднимается туман, то кажется, что храмы эти появляются в небе, прекрасные, белые, совершенно неземные. Чтобы увидеть это, нужно подниматься к Ярославлю по Волге снизу и обязательно очень рано утром. Оба мы радостно замерли и долго молча сидели, пока не миновали это чудо»[70].

В то утро и явился замысел предпоследней, девятнадцатой главы «Русских богов» – «Плаванье к Небесному Кремлю». Плаванье – по русским рекам, так, как они по ним плыли, – мимо небольших пристаней, вроде Копанова, и молчаливых деревень, мимо заливных лугов и сосновых лесов на высоких берегах, мимо древних волжских городов – Углича, Ярославля, Костромы и тех, что на Оке, Каме и Белой, на Днепре... Мимо Трубчевска и Новгорода-Северского по Десне... Там должны были струиться и совсем малые речки, такие, как Нерусса и Навля... Их течение вместе с течением поэмы выводило речную Русь к Небесному Кремлю – средоточию Небесной России. Позже спутнице, Ирине Бошко, он писал в Киев о замысле поэмы: «Реализма в ней будет очень мало, а во второй половине он и вовсе заместится фантастикой – лучше сказать – метаисторией и трансфизикой. Только в начале предполагаются кое-какие приятные ландшафты, похожие на то, что все мы видели по берегам»[71].

А заключительная глава поэтического ансамбля – поэма «Солнечная Симфония» – должна была ввести Русь во Всечеловеческое Братство и Всемирную Церковь.

9. Последние кочевья

В Москву они вернулись 23 июня и отправились к Тарасовым в Измайлово. В это время дописывалась одиннадцатая книга «Розы Мира», «К метаистории последнего столетия», под ней дата – 5 июля 1958. «Помню, что Даня в основном лежал на раскладушке на открытой террасе в саду. Погода была солнечная, теплая... Он просматривал рукописи, отпечатанные на машинке...»[72] – так запомнился их приезд дочери Тарасовых. После Измайлова три дня они прожили у родителей, в Подсосенском.

Еще перед отплытием строились дальнейшие планы на лето. Квартирка в Ащеуловом покинута навсегда. Несколько дней в Москве на неотложные дела, и снова в путь. Планы, куда ехать, все время менялись: то на Сенеж или в Звенигород, то в деревню в Смоленскую область, а в начале сентября в теплые края – на Кубань или в Молдавию, где неплохо пробыть до ноября... Но так же неожиданно, как отплыли в Уфу, они отправились в Переславль-Залесский, увлеченные «поэтическими преувеличениями Пришвина и некоторых знакомых художников»[73].

Переславль-Залесский, куда они приехали 6 июля, разочаровал, окрестности показались голыми, лес далеко. Алла Александровна к выставке «Советская Россия» должна была написать несколько подмосковных пейзажей. Но писать, оказалось, здесь нечего, кроме превращенного в музей монастыря и старых храмов, а они для выставки – как стихи Даниила Андреева для советской печати – не годились. Андреевы едва не отправились обратно. Но деньги на дорогу были потрачены, представили нелегкий для больного сердца путь в душном автобусе – и остались, перебравшись через два дня в деревню Виськово на берегу Плещеева озера. Не радовала первые дни и погода, нахмуренная, прохладная, плохо на Андреева действовавшая.

Новое кочевье он описал в письме Ирине Бошко: «Весьма возможно, что при Невском этот городок и стоило прославлять (от тех времен сохранился, по крайней мере, белый одноглавый собор и еще нечто, о чем местные патриоты в один голос говорили нам так: “Вы непременно должны посмотреть вау”. – “Что значит ВАУ? – спрашивали мы. – Что это за сокращение?” – “Да нет, нет: вау, вау, городской вау”. Оказалось, что речь шла о земляном вале, похожем на железнодорожную насыпь, но датируемом XIII веком). Позднейшие эпохи, вплоть до XVIII столетия, оставили после себя несколько чудесных церквей, ныне требующих немедленного ремонта и наказания тех безобразников, которые превратили их в мастерские и хлебозавод, и целых

4 монастыря, – из них один теперь называется музеем, а остальные мало-помалу превращаются в руины. Но за что так превозносили этот городок и его окрестности Пришвин и Кардовский, а следом за ними и множество художников с менее громкими именами – остается тайной. Городок настолько пыльный, бедный зеленью и лишенный красивых окрестностей, что мы едва не повернули назад, а потом, два дня повертевшись там, махнули рукой и сняли комнату в деревеньке на берегу Плещеева озера, в 2 км от города. Природа здесь отнюдь не богатая, тем более для глаз людей, только что любовавшихся берегами Белой, Камы и Волги. Но имеются все-таки цветущие луга, которые теперь начинают скашивать, в полутора верстах – недурной лес, а между ним и озером – поля пшеницы, льна и неудавшейся кукурузы, пересекаемые очень миленькими овражками и перелесками. Овражки поросли дубняком, иван-чаем и медуницей. Озеро значительно оживляет ландшафт.

Комнатка у нас чистенькая, хозяева очень симпатичные. Окна выходят на поросшую травой улицу. Большой недостаток – отсутствие сада. Из-за этого приходится все то время, которое не удается посвящать прогулкам за 3–4 версты, проводить в комнате, за пиш<ущей> машинкой или с книгой. Что же касается Аллы, то она первую неделю носилась по всей округе с этюдником, по своему обыкновению не соразмеряя своих желаний со своими силами, а теперь под действием наступившей пасмурной погоды приуныла и мучается невритными болями. Хорошо, по крайней мере, что ее правая нога, долго болевшая после рентгеноожога, сейчас не дает о себе знать. Настроение у Аллы неровное – зависит от погоды и от того, насколько удачными представляются ей ее новые живописные начинания. А я засел на одном давно не удающемся мне опусе, и это несколько понижает мою жизнерадостность.

Сердце, как это было и на пароходе, прилично ведет себя в ясные дни и выкидывает фокусы в пасмурные. Сейчас злобой дня сделался еще и нарыв на глазу, грозящий разрастись, как это у меня обычно бывает, в нечто апокалиптическое»[74].

Как и в Копанове, электричества в Виськове не имелось, вечерами зажигали керосиновые лампы, готовили на керосинке. Здесь Алле Александровне самой пришлось делать мужу уколы. Она рассказывала: «В одно из пребываний Даниила в больнице медсестра сказала мне: “Если Вы при таких сердечных приступах, которыми он страдает, будете вызывать неотложку и рассчитывать на ее помощь, вы потеряете мужа через неделю. Давайте-ка я Вас научу делать уколы. Если сами будете колоть, как только ему становится плохо, сколько-то он еще проживет”.

Она учила меня делать уколы в подушку. И вот когда мы попали в Виськово, мне пришлось сделать мой самый первый укол. Даниил сказал:

– Листик, мне плохо, нужен укол.

Я вскипятила на керосинке шприц и иголку, набрала лекарство, как мне показывали, протерла руку спиртом и уколола первый раз в жизни живого человека, и еще какого – любимого. Уколола, громко заплакала и выдернула иголку. Было очень страшно. А Даниил меня успокаивал:

– Ну, чего ты испугалась? Делай укол спокойно, все правильно.

Так я, всхлипывая, сделала первый укол. Потом я колола еще много, иногда по два раза в день»[75].

Когда погода наладилась, облака унесло, воцарило июльское солнце. Окна их комнаты смотрели на широкую, поросшую клочковатой травой улицу, шедшую к озеру, на светящиеся закаты. Андреев усиленно работал, бóльшую часть дня сидел за пишущей машинкой, отдыхая, брал книгу. Ходить далеко ему стало трудно, а рядом с избой не росло ни деревца. Не манил и плоский берег пообмелевшего озера. И все же иногда он отправлялся с женой на этюды. «Гуляя как-то в ближнем лесу, – рассказывала она, – мы встретили дикую горлинку на дороге. Там, в оврагах, были удивительные иван-чай и летняя медуница. Цветы стояли выше нас ростом. Господи! Как Даниил радовался! Как он всем этим цветам радовался!»[76] В том же лесу он обнаружил «часовню, построенную ровно 400 лет назад Грозным на том самом месте, где родился Федор Иоаннович»[77].

Однажды они отправились в монастырь Даниила Переславского, в честь которого был крещен Даниил Андреев. Монастырь занимала воинская часть. «На нас очень строго и неприязненно смотрели вахтенные в воротах, – описывала Алла Александровна это паломничество. – Разумеется, о том, чтобы попасть внутрь, не могло быть и речи. В воротах мы увидели только остатки облупленных фресок и часть лика, смотревшего на нас удивительными глазами»[78].

В начале августа небо заволоклось, начались дожди, и ему стало хуже. Слегла на неделю с жестокой простудой жена. Но все полтора месяца в Виськове Андреев занимался «Розой Мира» и, как сам считал, наверстал упущенное, к зиме собираясь «отдаться поэзии». Радовался работам жены: «Алла везет в Москву 4 картины и десяток этюдов. К сожалению, 2 по-настоящему удачные картины никак не подходят для выставки по своей тематике; одна – старинный монастырь, другая – буйные заросли иван-чая и пресловутой медуницы в глубоком овраге»[79].

Занятый работой, в Виськове он прочел роман Веркора «Люди или животные?», «в утопической форме ставящий ребром вопрос о грани между животным и человеком и о том, есть ли какой-нибудь совершенно бесспорный признак – физиологический или психологический, – отличающий человека от остальных видов». В нем, писал он Пантелееву, «выдвигаются, анализируются и отбрасываются один за другим всевозможные признаки, пока автор не приходит наконец к заключению, что единственным признаком приходится признать религиозный дух в самом широком смысле этого слова, со включением науки в круг охватываемых им понятий»[80].

Мысль французского романиста о «религиозном духе» как о главенствующем человеческом свойстве казалась ему само́ собой разумеющейся. Роман-размышление его не увлек. Сам он в «Розе Мира», в главе «Отношение к животному царству», шел дальше. Необходимо совершенно новое этическое отношение к живому, говорил он и выдвигал программу духовного просветления животного мира, перед которым люди очень виноваты. Нужны новые направления науки – зоопсихология и зоопедагогика. «Лев, возлежащий рядом с овцой или ведомый ребёнком, – отнюдь не утопия. Это будет. Это – провидение великих пророков, знавших сердце человечества».

В Виськове он работал над двенадцатой книгой «Розы Мира», начинавшейся с главы «Воспитание человека облагороженного образа». Это главная задача человечества – гармонизироваться на пути к Розе Мира. Даниил Андреев следует Достоевскому, мечтавшему «о положительно прекрасном человеке». В мае он посмотрел фильм «Идиот» и восхитился главным героем: «Мышкин совершенно бесподобен, едва ли даже не лучше, чем у самого Достоевского. Это настоящий шедевр. Ничего подобного я в кино еще не видал»[81].

Последовательно нравственный человек грешным людям кажется сумасшедшим, и даже идеал подобного человека – наивным, утопическим. Осознавая утопическую сверхчеловечность своих поэтических проекций, Даниил Андреев стоит на своем, он видит внутренним зрением «такого человека»: «В лёгкой одежде по цветущей земле идёт он, её сын, её друг и её преобразователь, старший друг птиц и зверей и собеседник ангелов, строитель прекраснейших городов, совершенствователь гор, лесов и пустынь, хозяин планеты-сада».

Перед отъездом ему стало совсем плохо, обострилась стенокардия. В Москву вернулся в полулежачем состоянии и в Подсосенском слег. Уколы и лекарства должны были восстановить силы для дальней дороги. Они собирались на осень в Горячий Ключ,

куда Алла Александровна получила путевку от Союза художников, рассчитывая, что при ровной южной погоде мужу станет лучше.

Лежа на диване тестя, Андреев начал читать недавно вышедший в Ашхабаде перевод «Махабхараты» академика Смирнова и был буквально в восторге. «...Перед бездонной философской глубиной и колоссальностью всей концепции “Махабхараты” меркнет не только Гомер, но и решительно все, что я знаю, исключая, пожалуй, “Божественную комедию”, – делился он позже впечатлением со своей старой учительницей. – Но то – создание одного лица, великого гения, глубокого мыслителя и притом воспользовавшегося религиозно-философской концепцией, в основном сложившейся уже до него. Здесь же – фольклор, обширное создание множества безымянных творцов из народа, и это особенно поражает. Что это за беспримерный, ни с кем не сравнимый народ, способный на создание таких сложнейших философских, психологических, религиозных, этических, космогонических философем и на облечение их в ажурную вязь великолепного, утонченного стиха! Перестаешь удивляться тому, что именно Индия выдвинула в наш век такого гиганта этики, как Ганди, единственного в новейшие времена государственного деятеля-праведника, развенчавшего предрассудок о том, что будто бы политика и мораль несовместимы»[82].

Незадолго до отъезда его навестил Борис Чуков. «Низковатый, глухой, с хрипотцой голос говорил мне, – вспоминал он, – насколько мучительны терзающие его сердце думы об опасности мировой войны, гибельной для нашей цивилизации»[83]. Поэт передал Чукову цикл «Предварения», тот взялся переснять машинопись и размножить, потом, «превозмогая острую сердечную боль, задыхаясь», прочитал ему «Ленинградский Апокалипсис».

10. Горячий Ключ

Горячий Ключ – поселок в предгорьях Кавказа к югу от Краснодара. Место курортное и живописное – горы, поросшие дубовыми лесами, речка Псекупс, приток Кубани, сбегающая с гор и успокоенно петляющая у их подножий по долине. Название поселку дал термальный источник.

Дом творчества художников размещался внизу и рядом с источником, от испарений которого Андрееву стало плохо. А кроме того, писал он Родиону Гудзенко, «жить в этом доме оказалось невозможно; неумолчное радио, по вечерам – баян, – словом, условия, не совместимые с лит<ературной> работой. В конце концов поселились на горе над городком Горячий Ключ,

напоминающим отчасти станицу, отчасти курорт. Здесь воздух чище и суше, меньше вредных для сердечника испарений сероводорода, стелющихся по долинам»[84].

Переехали они в дом семьи Гречкиных, в комнату с кухней и отдельным входом. После деревенской жизни в Виськове условия казались идеальными. Отсюда открывался сине-зеленый с начинающими появляться вблизи желтинками горный простор, с долиной внизу. Вдоль нее, у подножий, вытягивались тонкие волокна тумана.

Если бы не болезнь! Он уже почти не мог ходить. «К сожалению, к букету моих недугов присоединилось еще одно прелестное заболевание: астматический бронхит, не дающий нормально дышать и спать, – описывал он свое состояние Гудзенко. – Скучно было бы перечислять все средства, применявшиеся в борьбе с этим злом, и все перипетии этой борьбы. Измаялся я здорово, да и А. А., на которую ложится вся тяжесть ухода, не меньше. И все же организм каким-то образом приспосабливается: живет на половинном дыхании. Конечно, при этом нельзя ни ходить, ни по-настоящему работать. Но настоящая беда в том, [что] существовать, махнув рукой на свою работу, я не имею никакого права. Мне нельзя умирать, не закончив хотя двух частей моей работы. Ведь я располагаю таким худож<е-ственным> материалом, которого нет больше ни у кого, и это накладывает определенные обязательства. Если ничего катастрофического не случится, I часть я закончу совсем скоро, но для второй требуется еще год жизни в состоянии не худшем, чем теперь. Третья часть потребовала бы тоже года или полутора. Поэтому приходится гнать, если к тому есть хоть малейшая физическая возможность.

В дни улучшения и хорошей погоды (а эти 2 явления находятся в тесной взаимосвязи) я лежу на топчане под яблоней (вот и сейчас так), любуюсь на дальние горы, одетые пожелтевшим лесом, и, сколько могу, стрекочу на машинке. Алла Ал. в таких случаях пользуется моментом, чтобы убежать на этюды: ей нужно их сделать много для того, чтобы в Москве на их основе написать две-три картины к выставке “Советская Россия”. Физическое состояние ее сейчас получше, но в психологическом отношении, как вы сами понимаете, все, происходящее со мной, ей дается нелегко. Сердце разрывается, на нее глядя. А что касается ухода, то никакая медсестра не могла бы сравниться с ней по этой части»[85].

Первые дни в Горячем Ключе он «увлекся стихами», признаваясь, что на них уходит весь запас энергии. Выстраиваемый ансамбль «Русских богов» все еще менял состав глав, одно

исключалось, другое дописывалось. Он считал, что для завершения книги нужно четыре или даже пять лет, и понимал, что этого времени у него уже нет. Здесь он закончил задуманную три года назад, в тюрьме, и отчасти написанную поэму в прозе «Изнанка мира». В письме Льву Ракову назвал ее «совершенно фантастической». Поэма начинается с изображения демонической изнанки России, Друккарга. В средоточии его – инфернальный двойник Медного Всадника, он, как и Белый Всадник, существует в «системе разнозначных зеркал», в смежных нашему мирах. Всадник из блоковских стихов и «на клубящемся выгнутом змее несет в простертой руке бурно-чадящий факел». Изображая демонический мир, поэт говорит, что знание о нем томит и гнетет, что ему «душно от этого давящего знания». Две расы античеловечества – игвы и рарруги, Жругр – уицраор России, плененная Навна – обитатели темного мира и действующие лица метаистории. В поэме часть картины русского мироздания. А о Свете, о Небесной России и «белом колоссе» задуманы поэмы «Александр» и «Плаванье к Небесному Кремлю». За них он собирался приняться зимой.

Цикл «Миры просветления» он перестроил, выделил из него главу «Святорусские боги», написал два новых стихотворения – «Затомисы» и «Уснорм». Завершение ансамбля требовало описания светлых миров, но изобразить их без поэтических условностей и умозрительности не удалось. Свет слепит, лишь тьма живописна. Посылая цикл Шульгину, он заметил: «Пока перепечатывал, постепенно разочаровывался в написанном и под конец пожалел, что обрушил на Вас этот каскад. Я совершенно лишен возможности судить, как воспринимаются со стороны эти странные опусы. Конечно, для подавляющего большинства это – бред, но, мне кажется, отдельным единицам сквозь этот необычный подбор слов брезжит нечто подлинное. Так ли это?»[86] Шульгин в это время жил во Владимирском доме инвалидов и писал книгу «Опыт Ленина». Писал тайком, даже жена знала лишь заглавие. Миры Даниила Андреева были от него так далеки, что о цикле Шульгин мог сказать только то, что «их понимать весьма трудно».

Вновь взявшись за главу «Предварения», переданную Чукову, Андреев написал ему: «Если вы еще не начали фотографирования, о котором говорили, – повремените. Дело в том, что необходимы некоторые добавления (они уже сделаны)»[87].

Но главное – «Роза Мира». Он спешил писать, когда становилось лучше, не теряя ни минуты. Жалея времени, почти не читал. Правда, по ночам, во время бессонницы, когда не помогало снотворное, открывал «Махабхарату». Писал он сразу на

машинке, полулежа или сидя на кровати. Иногда выбирался в сад, устраиваясь на топчане под яблоней. Бóльшую часть октября погода стояла прекрасная – сияло солнце, лесистые отроги быстро становились золотыми, палевыми и рдяными, оттеняя дымчатую синеву кавказских вершин.

Он завершал «Розу Мира», и начало, написанное заново, звучало как завещание: «Я заканчиваю рукопись “Розы Мира” на свободе, в золотом осеннем саду. Тот, под чьим игом изнемогала страна, давно уже пожинает в иных мирах плоды того, что посеял в этом. И все-таки последние страницы рукописи я прячу так же, как прятал первые, и не смею посвятить в ее содержание ни единую живую душу, и по-прежнему нет у меня уверенности, что книга не будет уничтожена, что духовный опыт, которым она насыщена, окажется переданным хоть кому-нибудь...

Я тяжело болен, годы жизни моей сочтены. Если рукопись будет уничтожена или утрачена, я восстановить ее не успею. Но если она дойдет когда-нибудь хотя бы до нескольких человек, чья духовная жажда заставит их прочитать ее до конца, преодолевая все ее трудности, – идеи, заложенные в ней, не смогут не стать семенами, рождающими ростки в чужих сердцах».

Он переработал и дописал первую книгу трактата – «Роза Мира и ее место в истории». Две начальные главы «Преобразование сущности государства» и «Роза Мира» заменил одной – «Роза Мира и ее ближайшие задачи». Закончил последнюю книгу, большей частью написанную в Виськове. В ней первоначально было шесть глав, стало пять. Составил краткий словарь имен, терминов и названий.

«Как-то я пришла с этюдов, – вспоминала эти золотистые октябрьские дни жена поэта, – прибежала в сад, где Даниил работал. Он был там удобно устроен. Перед ним стояла машинка, лежали тюремные черновики “Розы Мира”, рядом всегда стояли фрукты. Я подошла. Даниил сидел со странным выражением лица. Я очень испугалась, спросила:

– Что? Что с тобой? – Он ответил:

– Я закончил “Розу Мира”. Помнишь, у Пушкина:

Миг вожделенный настал:
Окончен мой труд многолетний,
Что ж непонятная грусть
Тайно тревожит меня?

Вот и я сейчас это чувствую: окончил работу и как-то опустошен. И не рад.

Я стала утешать его:

– Ну, я понимаю: ты кончил “Розу”, но еще столько работы!

И вроде бы все еще оставалось по-прежнему: были лекарства, уколы, врач приходил, кругом стояла все та же золотая осень. А болезнь Даниила с той минуты начала развиваться стремительно. Мне потом врачи говорили, что это я держала Даниила на этом свете. Может, и так... Только не я, Ангел его держал на земле до тех пор, пока он не завершил то, что должен был сделать»[88].

Несмотря на усиливавшуюся болезнь, на ясное понимание, что жить остается недолго, в уныние он не впадал, не терял некоторых надежд. Труд не закончен, чтобы закончить, нужно еще два года. Он должен дописать три главы «Русских богов». Друзей просил подыскать комнату, которую они могли бы снять, вернувшись. Писал Родиону Гудзенко в лагерь: «Не хочу распроститься с надеждой дожить до личных встреч с Вами. Ведь мы только начали сближаться и чувствовать друг друга. Впереди еще столько нерассказанного друг другу, столько такого, чем абсолютно необходимо поделиться»[89].

В конце октября он писал Борису Чукову: «...наша жизнь здесь не лишена уюта и поэтичности. Особенно по вечерам, когда топится печка, а мы читаем, работаем или просто разговариваем. Не последнюю роль играет и то, что кругом, даже прямо с крыльца нашей кухоньки, открываются чудесные ландшафты на горы и долину Горячего Ключа. Мы застали горы зелеными, потом они стали ржаво-золотистыми, потом бронзово-красными, а теперь кажутся сиренево-голубыми. А сегодня А<лла> А<лександровна> видела издали даже снежные вершины Кавказа»[90].

Алле Александровне пришлось нелегко. Она то искала врача, то бежала в аптеку, то ставила банки или горчичники, то делала уколы – муж держался на каждодневных уколах эуфиллина, а в экстренных случаях приходилось колоть пантопон с кофеином. И на этюды каждый раз убегала с тревогой. Как он признавался, «исключительно жене обязан я тем, что вернулся к жизни и даже, как ни странно, к литерат<урной> работе» [91]. Беленые стены комнаты украсили ее писавшиеся урывками этюды, пахнущие свежей масляной краской, шла работа – в ненастную погоду – над тремя холстами.

Заканчивался октябрь, погода портилась – похолодало, задули ветры, пошли дожди. С ухудшением погоды и ему становилось хуже.

«Мы еще некоторое время прожили в Горячем Ключе, – писала о памятных днях Алла Александровна. – Даниил напечатал “Розу Мира” в двух экземплярах, и второй экземпляр я зарыла на вершине хребта, который перегораживал ущелье с запада на восток. За спиной у меня был Горячий Ключ, впереди – река, а за дальними

горами – море. Я увидела триангуляционную вышку и, решив, что от нее хоть насыпь останется, отмерила тринадцать шагов до раздвоенного дерева, на котором перочинным ножичком вырезала крест. Под ним я и зарыла рукопись в бидоне, и думаю, что больше ее никто никогда уже не найдет. Лес там давно разросся»[92].

Через неделю после завершения «Розы Мира», бессонной ночью 19 октября, он написал последнее стихотворение. Оно стало и послесловием, и завещанием, и молитвой:

Когда-то раньше, в расцвете сил,
Десятилетий я в дар просил,
Чтоб изваять мне из косных руд
Во имя Божье мой лучший труд.

С недугом бился я на краю
И вот умерил мольбу свою:
Продлить мне силы хоть на года
Во имя избранного труда!

Но рос недуг мой, я гас и чах,
И стал молиться о мелочах:
Закончить эту иль ту главу,
Пока не брошен я в пасть ко льву.

Но оказалось: до стран теней
Мне остаётся десяток дней:
Лишь на три четверти кончен труд,
И мирно главы в столе уснут.

Хранить их будет, всегда верна,
Моя подруга, моя жена.
Но как бессилен в наш грозный век
Один заброшенный человек!

Ты просьб не выполнил. Не ропщу:
Умеет Тёмный вращать пращу
И – камень в сердце. Но хоть потом
Направь хранителей в горький дом:

К листам неконченых, бедных книг
Там враг исконный уже приник:
Спаси их, Господи! Спрячь, храни,
Дай им увидеть другие дни.

Мольба вторая – на случай тот,
Коль предназначен мне свет высот:
Позволь подать мне хоть знак во мгле
Моей возлюбленной на земле.

Молитва третья: коль суждено
Мне воплощенье ещё одно,

Дай мне родиться в такой стране,
В такое время, когда волне
Богосотворчеств и прав души
Не смеет Тёмный сказать: Глуши!

Дай нам обоим, жене и мне,
Земли коснуться в такой стране,
Где строят храмы и весь народ
К Тебе восходит из рода в род.

Теперь он вновь добросовестно принялся за давно опостылевший перевод. Подстрочник рассказа «Бриллианты Борнео» оказался невнятным, с фразами, смысл которых едва брезжил. О темнотах косноязычного текста он написал Рахиму. Дружба кончилась разрывом. Зея Рахим оказался отнюдь не благородным восточным принцем. По крайней мере, Борис Чуков рассказывает о нем такую историю. Приглашенный в дом Бружесов, за чаем «Зея околдовал широкой эрудицией и личным обаянием Александра Петровича, который убедился в правоте зятя: в тюрьму попадают и высокоинтеллигентные, порядочные люди». А наутро после визита Рахима профессор, собираясь на работу, не обнаружил своей богатой шубы. В милицию Бружесы обращаться не стали. А не пойманный за руку, «Зея повел себя вызывающе и стал терроризировать Аллу Александровну...»[93]. Но не только Бружесов мог «околдовать» Зея Рахим, попавший и к Чуковскому, позднее уверенно вращавшийся в переводческих кругах, переводивший с японского вместе с Аркадием Стругацким, бывавший у Даниэля с Синявским...

Письмо Рахиму Андреев завершил горько и резко: «Т. к. мы больше не встретимся, по крайней мере, на этом свете, хочу сказать тебе следующее. За все доброе, что ты сделал по отношению ко мне, – спасибо.

Какие мотивы руководили тобою при этом – это, в конце концов, твое дело, и отчитываться тебе придется не передо мной! Дурное, что ты сделал по отношению ко мне, я простил. Что касается Аллы, то ты не можешь не знать, как чудесно она к тебе относилась, пока ты сам своими действиями не погубил эти отношения. И предупреждаю тебя – хоть я не знаю, каковы теперь твои философские (в широком смысле) воззрения: если ты поступишь по отношению к ней или к моей памяти (ты понимаешь, что я имею в виду) недолжным образом – я тебя прокляну в другом мире, и не будет тебе ни счастия, ни покоя – ни здесь, ни там»[94].

В эти дни он прочел «Приключения авантюриста Феликса Круля» Томаса Манна. «Написано просто великолепно. И хотя образ героя довольно-таки антипатичен, но кончаешь книгу с сожалением, тем более что смерть не дала автору довести свой

замысел до конца и роман обрывается почти на полуслове», – делился он с Грузинской, не скрывая своего состояния: «Хотя мне еще только 52, но к своему концу я приближаюсь, кажется, довольно энергичными темпами. Во всяком случае, здесь, в Горячем Ключе, было уже 3 случая, когда окружающие и я сам думали, что мои дни и часы сочтены»[95].

Здесь он встретил 52-й день рождения. Алла Александровна в этот день написала этюд – вид на долину Горячего Ключа с того места, где она зарыла машинопись «Розы Мира»: «Это был мой последний подарок ему. Я сказала:

– Вот тут зарыта “Роза Мира”»[96].

Андреевы намечали отъезд на начало декабря, но надвинувшееся ненастье не отступало, утренники задевали траву инеем. А главное, ему становилось хуже, нужно было собираться с силами, чтобы доехать до Москвы, дотянуть до больничной палаты.

Дорога оказалась очень тяжелой. «В купе мы оказались втроем – четвертое место пустовало, – описывает их последнее путешествие Алла Александровна. – Наш попутчик был в темно-синей форме. Я решила, что это железнодорожник, а он оказался сотрудником краснодарской прокуратуры. С ним мы ехали до Москвы.

Поразительная помощь со стороны разных людей продолжалась. Я знаю, что, случись беда, можно бежать, в России, во всяком случае, в любой дом. Как я бегала: “Ради Бога, воды! Мужу плохо”, “Ради Бога, помогите!”. И помогали. На каждой станции, даже если остановка была десять-двенадцать минут, я хватала кислородную подушку и бежала в станционную санчасть. Врывалась, протягивала подушку, кричала: “Скорей! Скорей! Мужу плохо”.

А прокурор из Краснодара, который, может, и распорядился, чтобы к нам не сажали четвертого пассажира, оставался в купе и ухаживал за Даниилом. Мы очень о многом с ним говорили. Мы не скрывали, откуда мы: из тюрьмы, из лагеря. Говорили о пересмотрах дел, в которых он участвовал, о следствиях, о реабилитации, обо всем, происходившем за эти годы...»[97]

11. Устье жизни

14 ноября прямо с вокзала Андреева отвезли в хорошо знакомую ему больницу Института терапии, в 28-ю палату. В ней он пролежал три месяца.

Ежедневные уколы поддерживали, он даже пробовал вставать. Но лекарства одурманивали и вызывали слабость. Жену к нему пускали через день. Встречи в больничной палате, про-

пахшей лекарствами, среди невольных соглядатаев были недолгими. К тому же говорить и даже дышать ему стало трудно. После первого же свидания он написал ей:

«Дитятко мое,

Ты уехала, а у меня разрывается сердце оттого, что я недостаточно нежно простился с тобой, дал уехать тебе грустной, и теперь ты, моя бедняжка, весь вечер будешь скитаться по городу, а под конец ляжешь в темноте на наш диванчик и будешь тосковать обо мне в своем одиночестве. Ангельчик мой, в официальных условиях у меня часто прилипает “язык к гортани”, и когда я нахожусь с тобой на людях (и особенно – при людях антипатичных), я не могу найти ни нужных слов, ни интонации, ни движений. Мне все хочется закрыть ото всех мое отношение к тебе, как святыню; я все боюсь метать этот бисер перед свиньями и от этого впадаю в противоположную крайность: в сухость, внешнюю холодность. Не верь этому никогда, светик мой. Сейчас мне так тяжело на душе именно от страха перед тем, что ты приняла мое поведение “за чистую монету”. Золотко, солнышко мое! Храни тебя Бог день за днем и ночь за ночью!»[98]

И в следующем письме та же горестная нежность: «Светик, просто покою нет от мыслей о тебе, вернее, от воображения, рисующего тебя то в Подсосенском у круглого стола, то на нашем диване, то на улицах, в метро, в учреждениях и т. д. – и нигде, ни в одном из этих мест тебе не может быть хорошо. Бедняжечка моя, пока мы были вместе, мне думалось, что я для тебя – поневоле ужасный груз, с моей болезнью. Но теперь мне кажется, что как ни тяжело было тебе со мной в последнее время, но без меня теперь еще труднее. Кто тебя приласкает, мою радость, кто согреет хоть немножко?»[99]

Он понимал, как ей трудно. Дела с получением комнаты не продвигались. К январю надо представлять картины выставкому. И бегать по магазинам, аптекам, торопиться к больному мужу и не признаваться себе, что положение его почти безнадежно. Они надеялись, что обойдется, хотя придется пролежать еще месяц или даже два. Предполагали, что после выписки отправятся в дом творчества писателей в Голицыно, им обещали путевку.

Через полторы недели Андрееву стало чуть лучше, и он рассчитывал, что ему разрешат понемногу подниматься, а потом и заниматься хотя бы час или два в день. Пока же спасался чтением, перечитывал «Бесов». Но вставать и выходить в коридор на четверть часа врачи разрешили только через две недели.

Читал он и газеты. Из литературных событий задело выступление против Пастернака на учредительном съезде писателей

России, оно показалось неслучайным: «Гнусный Соболев гнусно лягнул гнусным копытом Пастернака. Вообще есть от чего расстроиться»[100], – написал он жене. Но кое-что радовало. В Литературном музее с весны готовился вечер памяти Леонида Андреева, посвященный 60-летию начала литературной деятельности. Планировалось, что они вместе с Аллой Александровной прочтут отрывки из книги брата об отце. Беспокоясь, он из больницы обращается с письмом к организаторше вечера, напоминает жене, кому передать пригласительные билеты. Советует: воспоминания читать нужно «не в плане “художественности”, а просто – четко, ясно и “с выражением”, как радиодиктор читает репортаж»[101].

Он с нетерпением ждал от жены и друзей описаний вечера, отзывов. Вечер стал событием. Кроме литературоведов, Чувакова и Афанасьева, с воспоминаниями выступили Пешкова, Чуковский, Куприна-Иорданская, Гроссман. Участвовали артисты – Журавлев, Плятт, Полевицкая…

Немного придя в себя, он пытался в больничной палате продолжить работу над постылыми переводами. Но из попыток заниматься мало что выходило. «Даже письма невозможно тут писать: над ухом непрерывные разговоры, не дающие сосредоточиться ни на чем, – жаловался он жене. – Очевидно, над Японскими рассказами можно будет работать только 1 час в сутки – с 3-х до 4-х; потому что с 4 до 5 – темно, а в остальное – шумно»[102].

Но недолгие улучшения сменялись приступами, тяжело было не только заниматься, но и говорить. Жену он старался успокоить, а Родиону Гудзенко писал откровенно: «Видеть других мне пока еще запрещено, гл<авным> образом вследствие того, что я могу очень мало разговаривать: начинается одышка, на сцену выносятся шприцы, кислородная подушка и т. п. достижения науки и техники.

Писать тоже могу очень мало. Под писанием разумею только писание писем: о другом пока нет и речи. А между тем злосчастные японские рассказы висят над душой. В папке под подушкой лежат подстрочники двух таких новелл, – их надо приводить в «христианский» вид: все сроки давным-давно просрочены, и я заливаюсь краской стыда при одном воспоминании о своей моральной задолжности Из<дательст>ву иностр<анной> литер<ату>ры.

Вообще, последние 2 месяца – глубокая прострация, и физическая, и душевная. День тащится за днем, и похожи они друг на друга, как 2 капли касторки. Теперь чуть-чуть разрешили подниматься с постели, точнее – собственными силами дотаскиваться

до умывальника: в этом и заключается прогресс за целый месяц лечения в одном из лучших наших медицинских заведений...»[103] В письме он привел написанное в 50-м стихотворение:

Кто и зачем громоздит во мне,
Глыбами, как циклоп,
Замыслы, для которых тесна
Узкая жизнь певца?

Или тому, кто не довершит
Дело призванья здесь,
Смерть – раскрывающиеся врата
К осуществленью
т а м?

Он пояснял: «Ведь я, дорогой друг, закоснелый и непереубедимый дуалист! (не в философском, а в религ<иозном> смысле), и в моих глазах вся жизнь, все мироздание – мистерия борьбы провиденциальных и демонических сил. Конечно, я верую в конечную – космическую победу Благого начала. Но на отдельных участках и в отдельные периоды времени (иногда, с точки зрения человеч<еских> мерил, весьма длительные) победы могут оставаться и за темными силами. Не представляю, как иначе можно объяснить историю. Впрочем, у меня это – не результат логических рассуждений, а выводы из метаисторического созерцания»[104].

Думая об итогах, о написанном и недописанном, о задуманном, он иногда приходил в отчаяние. «Плохо и то, что обнаружилось теперь с моей способностью писать стихи, – сетует в письме Ирине Усовой. – Я ведь не писал их $2^1/_2$ года, будучи занят другим. А кончив это другое, осенью попробовал вернуться к стихам, чтобы закончить многое начатое. Должен Вам сказать, что в предыдущий период стихописания (1949–56) я писал почти без брака. И вдруг... что же оказалось теперь? Из написанного этой осенью 3/4 никуда не годится. Ну, кое-что можно отнести за счет обострения болезни, кое-что за счет заржавленности всего стихописательского механизма. Но одним этим такого позорного провала не объяснишь»[105]. У него вырывается: «Все стихи кажутся никуда не годными, кроме (как это ни дико) “Лесной крови”»[106].

Жена писала ему: «...ничто в мире не ценно для меня и наполовину так, как ты. Ничего мне не надо, от всего я могу отказаться, лишь бы ты был жив и со мной. И картинки мои мне дороги больше всего потому, что ты любишь Козленка-живописца. И самая жизнь мне нужна лишь настолько, чтобы ты не остался один, а мне хочется уйти следом за тобой как можно

скорее»[107]. Никого, кроме жены, к нему не пускали, он ждал ее с нетерпением: «Я слышу – угадываю – твои шаги еще издалека по коридору: вот мой ангелочек спешит»[108]. Но в январе, в связи с эпидемией гриппа, в институте объявили карантин, и общение с миром свелось к письмам, не всегда легко дававшимся. Он продолжал переписку с друзьями, писал жене. Та прибегала в больницу каждый день, передавала письма, еду, расспрашивала нянь, перехваченных на лестнице.

Новый год встретил с робкой надеждой: «Слава Богу, переехали в Новый год, нечетный. Я их больше люблю»[109]. 23 января они получили ордер на комнату. Это казалось чудом. Комнату давать не хотели. Заявляли: «Метража хватает. Потеснится ваш отец-профессор. Ничего, поместитесь, люди хуже живут». По словам Аллы Александровны, помог краснодарский попутчик-прокурор, позвонивший кому-то влиятельному. Им дали пятнадцатиметровую комнату в двухкомнатной коммунальной квартире в самом конце строившегося Ленинского проспекта. Дом стоял на углу улицы, которой еще не было. Дальше белело снежное поле.

Теперь есть куда выписываться из больницы, ему даже приснился сон о новоселье. «Я жду не дождусь, когда за мной приедут, чтобы ехать домой, – написал жене, узнав долгожданную новость, – ...живу воображением скорого переезда нашего в новый дом. Думаю о ряде вопросов, на которые ты могла бы ответить мне уже теперь. Например: 1) на юг или сев<ер> выходит окно; 2) что из него видно, кроме соседнего корпуса; 3) легко ли вбить в стену гвоздь; 4) подъезд наш выходит во двор или на улицу?

По ходу всех моих дел можно заключить, что меня отпустят на новоселье вроде середины февраля»[110].

Во всех последующих письмах из больницы он обязательно писал о комнате: просил нарисовать план, спрашивал о соседях, прикидывал расстановку мебели.

Одно из последних писем заканчивалось словами:

«Благодарю всех за все.

Больше не могу. Спасибо за все»[111].

12. Роза Мира

Из больницы его выписали 17 февраля. Подняться на второй этаж самостоятельно Андреев не мог, в комнату его внесли на руках, усадив на стул.

Из больницы, по просьбе жены, он прислал планчик, обозначив на нем – где должен встать диван, где письменный стол, где овальный, где гардероб. Комната ее стараниями выглядела

уютно: «Мне хотелось, чтобы он попал в свой дом. И я кое-что купила, что-то привезли и сделали друзья. Главное, я купила письменный стол, чтобы Даниил увидал, что, как только встанет, ему есть, где писать. Он уже не смог сидеть за этим столом, но видел его. Видел шкаф, в который были поставлены первые купленные мною для него книги. На стенах комнаты висели мои работы»[112].

Соседская комната была побольше. В ней, рассказывала Алла Александровна, «жила рабочая семья: муж, жена и двое детей. Аня, соседка, на целый день уезжала куда-то с детьми, оставляя меня одну в квартире, чтобы дети не шумели»[113].

Больной полулежал на диване рядом с письменным столиком, стоявшим в левом углу у окна. Обои на стенах были желтые, с серебряными полосками и маленькими розами. Первое время, несмотря на запрещение врачей, он иногда вставал и, впервые подойдя к окну и взглянув на проспект, по-зимнему унылый, с серыми однообразными коробками домов и торчащими прутьями редких саженцев, назвал заоконный пейзаж «сном идиота». Жене сказал: «Ты потом переезжай отсюда...»

Каждый день приезжали друзья, чаще всего располагавшиеся на кухне. Особенно радовался он друзьям из детства – сестрам Муравьевым, Ирине Угримовой и Татьяне Волковой, Ирине Кляйне, Татьяне Морозовой. Приходили Митрофанов, Ивашев-Мусатов, Ирина Усова, -появлялся Чуков. Больной говорить долго не мог, минут пятнадцать, потом уставал.

«Даниил поражал всех тем, что никогда не говорил ни о себе, ни о своей болезни, а всегда беседовал с людьми, приходившими его навестить, об их делах, здоровье, детях, родственниках, – рассказывала о его последних днях Андреева. – Он никогда никому ни разу не пожаловался. Удивительно было, что у него с ослаблением физического состояния все яснее, глубже и четче проявлялось то, что можно назвать настоящим сознанием человека, – сознание поэта и сознание отмеченного Богом вестника, через которого льется свет Иного мира.

Помню, как приехал Сережа Мусатов со своей последней женой Ниной. До ареста Сережи она училась у него в студии и потом ждала его весь срок. Они пробыли недолго. Нужно было уходить, Сережа и Нина встали, и Нина несколько растерянно сказала:

– Ну, как мы попрощаемся?

Даниил спросил:

– Вы верите в загробную жизнь?

Она ответила:

– Да.

Тогда он протянул ей руку и, улыбнувшись, сказал:

– Так до свидания.

Нина пожала ему руку, они вышли, и она разрыдалась уже в коридоре у входной двери.

Когда мы оставались вдвоем, Даниил иногда просил, чтобы я читала его стихи, и слушал их уже как бы совершенно не отсюда. Хорошо помню, как он попросил, чтобы я ему прочла цикл “Зеленою поймой”. Я читала, естественно, не поднимая глаз, с машинописи. А потом, когда посмотрела на Даниила, то увидала у него слезы на глазах. Он сказал:

– Хорошие стихи. Я их слушал уже не как свои.

А еще он перечитывал “Розу Мира”. Сначала попросил, чтобы я перечитала книгу и пометила все места, где я с чем-нибудь не согласна, что-то меня останавливает и вообще, где мне что-нибудь неясно. Мои галочки и сейчас сохранились на этой машинописной рукописи. И почти против каждой галочки есть его поправка, какое-нибудь уточнение, что-то дополнено.

Однажды Даниил перечитывал “Розу Мира”, а я что-то делала по хозяйству, выходила на кухню, потом вошла. Даниил закрыл папку, отложил ее и сказал:

– Нет. Не сумасшедший.

Я спросила:

– Что? Что?

– Не сумасшедший написал.

Я обомлела, говорю:

– Ну что ты!

А он отвечает:

– Знаешь, я сейчас читал вот с такой точки зрения: как можно к этому отнестись, кто написал книгу: сумасшедший или нет. Нет, не сумасшедший»[114].

С каждым днем ему становилось хуже, учащались тяжелые приступы. Иногда – рассказывал жене – перед глазами являлись чудовища оливкового цвета, с хоботками, питающиеся его мучениями. Он был убежден: «страдание посылается отнюдь не Провидением, Которое излучает свет, любовь и благодать, а его антиподом (или антиподами). Страдание живых существ дает излучение, которым демонические начала восполняют убыль своих сил. Отсюда же – войны, всевозможные кровопролития, массовые репрессии и т. п.»[115].

Но мучения не искажали его лицо, а просветляли. Это заметно на последних фотографиях, сделанных Борисом Чуковым 24 февраля. С утра ему стало получше, он мог сидеть. «Яркий свет перекальной лампы обострил его страдания, – описывал

этот день фотограф. – Только первый снимок был сделан, когда Д. Л. еще не успел почувствовать боли в сердце, поэтому его лицо получилось таким благостно добрым. На втором портрете он выглядит суровым и отчужденным. С. Н. Ивашев-Мусатов заметил впоследствии, что у автора “Гибели Грозного” и должно быть только такое возвышенно суровое лицо»[116].

Все сорок дней предсмертной болезни в комнате на Ленинском проспекте для Аллы Александровны были мучительным испытанием. Приступы становились чаще, тяжелее. Начались осложнения – болела печень, появилась сильная отечность. Из-за нее не разрешали пить, он говорил: «Даже когда я заблудился в Брянских лесах, я не страдал так сильно от жажды, как сейчас!»[117]

Но, выбиваясь из сил, она жила в неотступной нервной готовности действовать: «Держать, держать, выхватывать из гроба, еще, еще тянуть». И она действовала – делала уколы, давала кислородные подушки, без которых последние дни он не мог дышать. «Когда я не могла справиться одна, приходилось бежать на улицу к автомату и вызывать неотложку. Никогда не забуду, как бежала ночью по Ленинскому проспекту от автомата к автомату: все трубки были сорваны. Бог знает, откуда я тогда позвонила»[118].

Вот что о последнем разговоре с умирающим поэтом вспоминала Ирина Усова: «В последних числах марта, когда я собиралась уходить, Даня взглянул на меня каким-то живым взглядом и сказал: “Ириночка, ну вот, я сегодня чистый, меня помыли, и я могу попрощаться с вами”. Я присела на краешек кровати и взяла его за руку. Он склонился и несколько раз поцеловал мою. Когда он поднял голову, в его глазах стояли слезы! Я поняла, что прощается он не до следующего моего прихода, а вообще... Он прошептал: “Жалко расставаться...”

Это его человеческое сердце прощалось со мною.

Потом он откинулся на подушки, глаза его высохли и осветились. Он посмотрел на меня долгим-долгим, но не пристальным, а каким-то светло всеохватывающим взором...»[119].

«28 марта я был у живого Андреева в последний раз, – свидетельствовал Чуков. – Он попросил почитать ему свежие газеты, но уже почти не слушал. Меня неприятно поразило потемнение его лица. Пришли проститься его давние друзья: Лев Раков, бывший директор библиотеки им. Салтыкова-Щедрина, и сам Александр Викторович Коваленский. Оба грузные, тяжело опиравшиеся на трости, преждевременно состарившиеся люди, пережившие многолетние тюремные сроки. Я поспешно вышел из комнаты, чтобы не мешать их разговору. Минут через десять

ко мне на кухоньку пришел Раков. Коваленский ушел из квартиры сразу же, категорически не желая даже мельком видеться с Аллой Александровной. У Д. Л. начался очередной сердечный приступ»[120].

Алле Александровне запомнилось, как за несколько дней до смерти «Даниил проснулся очень взволнованный и сказал:

– Знаешь, я видел во сне Цесаревича Алексея.

Надо сказать, что мысли Даниила не были заняты императорской семьей. Он даже разделял, в какой-то мере, интеллигентское отношение к тому, что “да, безвольный император, императрица, как жаль детей”... Поэтому то, что он увидел во сне Цесаревича, было поразительно. Даниил пытался мне объяснить:

– Он такой подвиг совершил для России. Я не знаю, какие найти слова. Это как если бы обнаженный и босой человек зимой прошел всю Сибирь. Вот так можно сказать о значении его подвига. Это был подвиг, совершенный уже не здесь, на земле, ведь земля неразрывно связана с тем, что делается над ней, под ней, рядом с ней».

«Очень незадолго до смерти Даниила исповедовал отец Николай Голубцов. По условиям нашей жизни деваться во время исповеди мне было некуда. Я осталась в той же комнате, стояла на коленях и молилась. Поэтому знаю совершенно точно, что в создании “Розы Мира” Даниил не каялся, как и во всех остальных своих произведениях.

Даниил скончался в день Алексия, человека Божия, 30 марта 1959 года в четыре часа дня. Умирал он очень тяжело. Вероятно, оттого, что я мешала. Я отчаянно не хотела его отпускать.

Мне врачи говорили:

– Он жить не может. Вы его держите.

Часа за два до смерти Даниила что-то случилось: то ли это было ощущение чьего-то присутствия, то ли откуда-то взявшееся понимание. Я встала на колени у его постели и сказала:

– Я не знаю, что мы искупаем или обретаем этим мучением, только чувствую, что это страдание осмысленно.

Он приподнялся и молча обнял меня уже очень слабыми руками, присоединяясь к этим словам. Говорить он уже не мог.

Еще успела зайти врач, к счастью, самая симпатичная из всех. Сделать было уже ничего нельзя. Он не терял сознания до последних мгновений, даже прошептал какие-то слова симпатии и благодарности врачу.

Умер он буквально на моих руках: я, обняв, держала голову и плакала. Ничего я не читала, не говорила, ни вслух, ни про себя, ничего не думала. Когда, после коротких хрипов, все было кон-

чено, поцеловала в губы, чтобы уловить (принять) последнее дыхание».

О похоронах, оставшихся в ее памяти неким сном, Алла Александровна и рассказала, как о сне: «Я надела белое платье, то, в котором венчалась с Даниилом, завила волосы и не стала покрывать голову платком. Ко мне подходили:

– Ну, пожалуйста, Вас просят старушки верующие, платочек надо надеть... И почему белое платье?

Я отвечала:

– Потому, что я буду на Даниных похоронах в подвенечном платье. И ни с чем ко мне не приставайте, скажите спасибо, что фату не надела. Эта смерть связана с нашим венчанием.

Я уверена, что была права. Эти два события были связаны и для него. Он мне сказал как-то:

– Ты знаешь, наше венчание все же необыкновенное, потому что венчаются двое, из которых один уже умирает. Мы же не можем быть мужем и женой, можем только сколько-то времени побыть на земле обвенчанными, а потом это венчание уже там...

И гроб стоял в том же храме и на том же самом месте, где мы венчались, и отпевал Даниила тот же протоиерей Николай Голубцов»[121]. После отпевания над гробом он говорил о том, что «новопреставленный Даниил был наделен свыше даром Божиим – даром Слова. И обратил внимание даже и на то, что цветы у гроба только живые – ни одного искусственного»[122].

Похоронили его на Новодевичьем, где когда-то для жены и себя купил участок отец, где упокоились бабушка и мать, где неподалеку лежали Добровы. Перед смертью он продиктовал жене список тех, кого хотел видеть на своих похоронах. Пришло не меньше шестидесяти человек.

Апрельское небо нависало тяжелое, сырое, искоса моросил дождь со снегом. Тело в гробу накрыли половиной узорчатого индийского сари, пахло весной, мимозами и разрытой оттаивающей землей.

Для Даниила Андреева наступило время Розы Мира.

ЭПИЛОГ

Я вестник другого дня...
Даниил Андреев

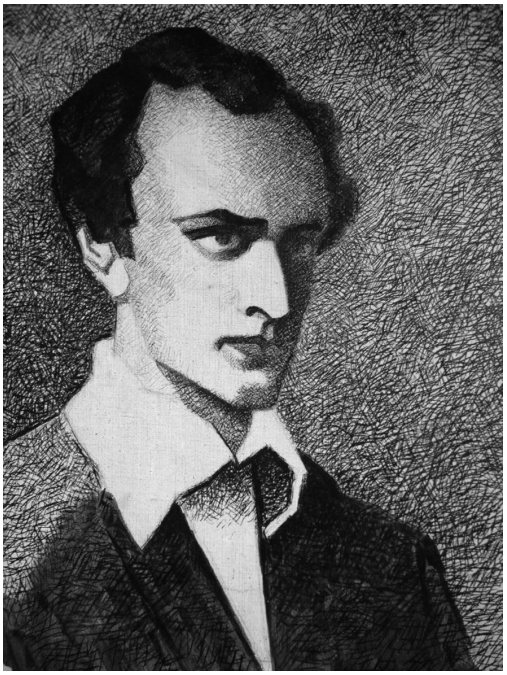
Посмертие поэта – новая жизнь, воистину «иноматериальная», говоря словами Даниила Андреева. Не только жизнь книг, но и автора. Образ его на наших глазах укрупняется, делается частью истории, участвует в сегодняшних событиях. Долгое время жизнь поэта-вестника, – сам себя Даниил Андреев вестником прямо не называл, остерегаясь самозванства, – оставалась потаенной. Поэт умер, не опубликовав ни строки заветных сочинений. Но от узкого круга друзей, от верной хранительницы, вдовы поэта, стали приходить сокровенные строки с редкими, обрывочными, искромсанными цензурой публикациями, а больше через «самиздат», к читателю – и стихотворения, и «Роза Мира». А образ автора, узника Владимирской тюрьмы, витал над машинописными страницами легендарной тенью, с профилем, напоминающим дантовский, с перекличкой имен: Даниил Андреев – Данте Алигьери.

В последнем написанном стихотворении поэт молил о судьбе своих книг, «неконченых и бедных»: «Спаси их, Господи! Спрячь, храни, / Дай им увидеть другие дни». Крамольные рукописи были спасены помощью «хранителей», направленных «в горький дом», и, главное, пламенными стараниями вдовы – Аллы Александровны Андреевой (1915–2005), посвятившей этому жизнь. Даниил Андреев перед смертью обращался к ней:

Ты еще драгоценней
Стала в эти кромешные дни.
О моем Авиценне
Оборвавшийся труд сохрани.

Нудный примус грохочет,
Обессмыслив из кухни весь дом:
Злая нежить хохочет
Над заветным и странным трудом.

Если нужно – под поезд
Ты рванешься, как ангел, за ним;



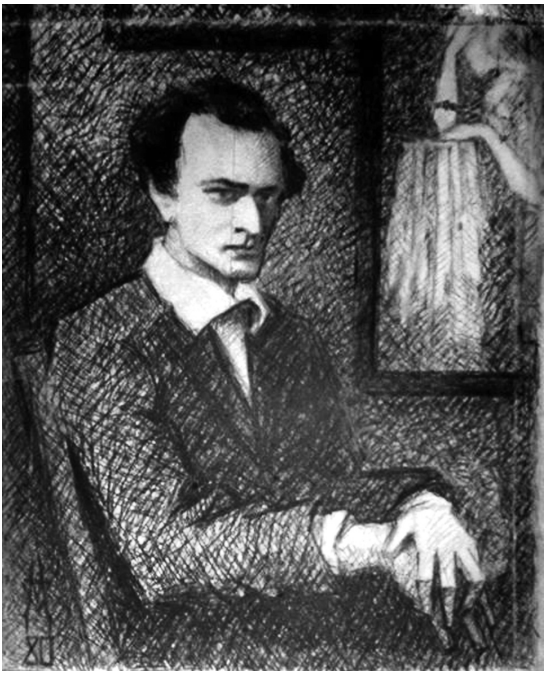
С. Н. Ивашев-Мусатов. Даниил Андреев. *1970-е*

Ты умрешь, успокоясь,
Когда буду читаем и чтим.

Все сбылось. Но после смерти поэта прошло двадцать лет, прежде чем его создания увидели свет, а он стал «читаем и чтим». Не обошлось и без многоликой «злой нежити». Теперь книги Даниила Андреева читаются, принимаются и отвергаются, толкуются и перетолковываются, ищут нашего душевного соучастия и понимания.

Даниил Андреев прежде всего поэт. Его ставшая знаменитой «Роза Мира» – книга поэта. В ней и атлас открытой им поэтической вселенной, и размышления о роке русской истории, и пророческие грёзы о грядущем. В ней, как и в стихотворениях и поэмах, – его человеческие увлечения, заблуждения, страсти – его жизнь и его эпоха. Поэтому рассказ о судьбе поэта – земных дорогах, друзьях, спутниках необходим для понимания сочинений, несущих весть о светлых и темных мирах иных измерений, неотрывных от мира нашего, от истории России.

Уже после выхода первого издания этой книги появилась публикация отрывков из дневника Варвары Григорьевны Малахиевой-Мирович, близко знавшей поэта с детства. 22 июня 1932



С. Н. Ивашев-Мусатов. Эскиз портрета Даниила Андреева. *1980*

года она записала: «Не помню, вошел ли в предыдущие тетради образ Даниила. Я верю, что в свое время будет о нем биографический очерк. Может быть, даже целая книга. Верю, что кто-нибудь, ему созвучный, напишет его портрет и по тем данным, какие найдет в его поэмах»[1].

В биографии Даниила Андреева остаются пропущенные страницы, туманные места, прочерки – современники оставили немного воспоминаний, доарестные рукописи, дневники и письма уничтожены, свидетелей почти не осталось. Поэтому разыскания будут продолжаться, иные главы будут дописываться или переписываться. Пытаясь рассказать о жизни Даниила Андреева в меру сил достоверно, автор опирался на документы, на живые свидетельства и там, где только возможно, предоставлял слово самому поэту, его друзьям и сопутникам, с тем чтобы в их разноголосице услышалась правда времени. Минувшего, страшного, родного.

ПРИМЕЧАНИЯ

Условные сокращения

Андреев XX – Даниил Андреев в культуре XX века. М.: Мир Урании, 2000.

Бессарабовы – Марина Цветаева – Борис Бессарабов: Хроника 1921 года в документах. Дневники Ольги Бессарабовой; 1916–1925 / Вступ. ст., подгот. текста, сост. Н. А. Громовой. М.: Эллис Лак, 2010.

Детство – *Андреев В.* Детство. М.: Сов. писатель, 1966.

ПНР – *Андреева А. А.* Плавание к Небесной России. М.: Аграф, 2004.

РАЛ – Русский архив в Лидсе (Leeds Russian Arch) (Великобритания).

Реквием – Реквием. Сборник памяти Леонида Андреева. / Под ред. Д. Л. Андреева и В. Е. Беклемишевой. М.: Федерация, 1930.

СС-1 – *Андреев Д.* Собр. соч.: В 3 т. 4 кн. М.: Московский рабочий, Фирма Алеся, Присцельс, Урания, 1993–1997.

СС-2 – *Андреев Д.* Собр. соч.: В 4 т. М.: Русский путь, 2006. Все цитаты из сочинений и переписки Д. Л. Андреева приводятся, как правило, по этому изданию, и специально не оговариваются.

Неизданное – *Андреев Д.* Неизданное. М.: Мир Урании, 2006.

Часть первая. ВОСХОД

[1] *Андреев Л.* Собр. соч. В 6 т. М.: Художественная литература, 1990. Т. 1. С. 575.

[2] Реквием. С. 76–77.

[3] *Андреев Л.* S.O.S. М.; СПб.: Atheneum–Феникс, 1994. С. 393.

[4] См.: *Иванова Л.* Семейные корни Даниила Андреева // Андреев XX. С. 22–25.

[5] В разные времена и у разных ветвей рода фамилия писалась по-разному, но ветвь черниговских Корде-Велигорских со времен Екатерины II носила фамилию с современным написанием, так она значится и в метрическом свидетельстве А. М. Велигорской (РАЛ. MS. 606/G. 8.i), в

«Дневнике» 1897–1901 гг. Л. Н. Андреев употреблял: Велиегорские (см.: *Андреев Л. Н.* Дневник: 1897–1901 гг. М.: ИМЛИ РАН, 2009).

[6] См.: *Павлова Г. Н.* Леонид Андреев и семья Велигорских // Русская литература. 2000. № 3.

[7] *Алексеевский А. П.* «Герцог Лоренцо» (из воспоминаний журналиста). // Цит. по: *Кен Л., Рогов Л.* Жизнь Леонида Андреева, рассказанная им самим и его современниками. СПб., 2010. С. 386.

[8] Детство. С. 98.

[9] Там же.

[10] *Фатов Н. Н.* Молодые годы Леонида Андреева. М.: Земля и фабрика, 1924. С. 115.

[11] Письмо В. С. Миролюбову // Литературный архив. М., 1960. Т. 5. С. 80.

[12] *Андреев Л. Н.* Дневник: 1897–1901 гг. М.: ИМЛИ РАН, 2009. С. 82.

[13] *Фатов Н. Н.* Указ. соч. С. 164.

[14] *Баранов В.* Время – мысль – образ: Статьи о советской литературе. Горький, 1973. С. 140.

[15] Горький и Леонид Андреев. Неизданная переписка // Литературное наследство. М.: Наука, 1965. Т. 72. С. 139.

[16] Там же. С. 140–141.

[17] *Белый А.* Начало века. М.: Художественная литература, 1990. С. 120.

[18] *Телешов Н.* Все проходит: Из литературных воспоминаний. М.: Никитинские субботники, 1927. С. 67.

[19] Реквием. С. 153.

[20] Горький и Леонид Андреев. С. 273.

[21] Письмо Н. Д. Телешову // Телешов Н. Все проходит. С. 69–70.

[22] Письмо М. Горькому <13... 14/26...–27 октября 1906> // Горький и Леонид Андреев. Указ. соч. С. 274.

[23] Детство. С. 13.

[24] Письмо С. С. Голоушеву // Цит. по: *Кен Л., Рогов Л.* Указ. соч. С. 404.

[25] Горький и Леонид Андреев. С. 283.

[26] *Горький М.* Полн. собр. соч. Художественные произведения: В 25 т. М.: Наука, 1973. Т. 16. С. 346–347.

[27] Литературное наследство. Т. 72. С. 565.

[28] Архив А. М. Горького.

[29] Письмо В. Ф. Боцяновскому // Забытым быть не может. М.: Известия, 1963. С. 199.

[30] Книга о Леониде Андрееве. Пб.; Берлин,1922. С. 73.

[31] ИРЛИ. Ф. 9. Оп. 2. Ед. хр. 6.

[32] *Муромцева-Бунина В. Н.* Жизнь Бунина. 1870–1906. Беседы с памятью. М.: Сов. писатель, 1989. С. 412.

[33] *Андреев Л. Н.* Дневник: 1897–1901 гг. С. 215.

[34] *Марков А.* «Храните у себя эту книжку...» М.: Книга, 1989. С. 149–150.

[35] ПНР. С. 28.
[36] Бессарабовы. С. 17–18.
[37] Там же. С. 117.
[38] Цит. по: *Ройцына О.* Письма из детства. // Архив А. А. Андреевой.
[39] Бессарабовы. С. 147–148.
[40] Детство. С. 98.
[41] Там же. С. 94–95.
[42] *Фатов Н. Н.* Указ. соч. С. 215.
[43] Письмо Ю. Г. Бружес [1955].
[44] Детство. С. 99.
[45] *Андреев В. Л.* Из воспоминаний // СС-1, 3,2. С. 369.
[46] *Морозова (Оловянишникова) Т. И.* Из детских воспоминаний // СС-1, 3,2. С. 379.
[47] *Митрофанов В. П.* Леонид Андреев и семья Добровых // СС-1, 3,2. С. 372.
[48] *Андреев Л.* S.O.S. С. 22.
[49] Там же. С. 25.
[50] Детство. С. 130–131.
[51] Бессарабовы. С. 123–124.
[52] Там же. С. 124.
[53] *Горький М.* Полн. собр. соч. Письма: В 24 т. М.: Наука, 2006. Т. 12. С. 241.
[54] *Морозова (Оловянишникова) Т. И.* Указ. соч. С. 380.
[55] Бессарабовы. С. 194.
[56] Там же. С. 18
[57] *Ивашев-Мусатов С. Н.* [Дом Добровых: Из воспоминаний] // Архив А. А. Андреевой.
[58] ПНР. С. 28.
[59] *Чуковский К.* Дневник. 1901–1929. М.: Сов. писатель, 1991. С. 238.
[60] Бессарабовы. С. 223.
[61] Там же. С. 154.
[62] Там же. С. 181.
[63] Там же. С. 202.
[64] *Павлова Г.* О Пушкине, о Репманах и Данииле Андрееве // Брянские известия. 12 апреля 2002. № 15.
[65] *Угримов А. А.* Из Москвы в Москву через Париж и Воркуту. М., 2004. С. 449.
[66] Колмогоров в воспоминаниях. М.: Наука, 1993. С. 15.
[67] *Семпер-Соколова Н. Е.* Портреты и пейзажи: Частные воспоминания о XX веке. М.: Московские учебники и картолитография, 2007. С. 129.
[68] Там же. С. 130.
[69] Там же.
[70] ПНР. С. 69–70.
[71] Цит. по: *Тихомиров В. М., Абрамов А. М.* Как сделаться великим человеком // Первое сентября. 2003. № 30.
[72] Цит. по: Явление чрезвычайное: Книга о Колмогорове. М.: Фазис; Мирос, 1999. С. 185.
[73] ПНР. С. 44.

[74] Там же.

[75] *Канн С. И., Богоров Г. В., Богоров Л. В.* Вениамин Григорьевич Богоров. М.: Наука, 1989. С. 9–10.

[76] Бессарабовы. С. 124.

[77] ПНР. С. 25.

[78] Там же. С. 28.

[79] Отрывок из этого несохранившегося письма приводит по памяти А. А. Андреева; см.: ПНР. С. 29.

[80] Письмо В. В. Шульгину 21–24 октября 1958 // Неизданное. С. 119.

[81] *Йог Рамачарака.* Основы мировоззрения индийских йогов. СПб., 1913. С. 37.

[82] Там же. С. 34.

[83] Там же. С. I.

[84] Бессарабовы. С. 306.

[85] *Андреева Н.* Письма к Римме Николаевне Андреевой // Ренессанс. (Киев). 2008. № 3 (61). С. 88.

[86] Бессарабовы. С. 337.

[87] *Зайцев Б.* Москва. Мюнхен, 1973. С. 85.

[88] Бессарабовы. С. 337.

[89] Там же. С. 348.

[90] Там же. С. 384.

[91] Там же. С. 441.

[92] Бессарабовы. С. 21.

[93] Сообщено О. В. Виноградовой (Ламакиной).

[94] *Андреева Н.* Письма к Римме Николаевне Андреевой. С. 83.

[95] *Морозова (Оловянишникова) Т. И.* Указ. соч. С. 380.

[96] *Усова И. В.* Даниил Леонидович Андреев в моей жизни // Неизданное. С. 186.

Часть вторая. ДУГГУР

[1] Бессарабовы. С. 265.

[2] *Морозова (Оловянишникова) Т. И.* Указ. соч. С. 381.

[3] *Блок А.* Собр. соч.: В 8 т. М.; Л.: ГИХЛ, 1962. Т. 5. С. 424.

[4] Бессарабовы. С. 609.

[5] См.: *Носова О. П.* В объятиях удава: Воспоминания узницы ГУЛАГа. СПб.: Изд-во СПбГТУ, 2001. С. 129.

[6] *Блок А. А.* Письма к жене // Литературное наследство. М.: Наука, 1978. Т. 89. С. 107.

[7] *Блок А.* Собр. соч.: В 8 т. Т. 5. С. 431.

[8] К Ю. М. Попову обращены два стихотворения Д. Андреева из циклов «Материалы к поэме “Дуггур”»: «Другу юности, которого нет в живых» – «первое» и «второе» (1950).

[9] Письмо Д. Л. Андрееву 24 июня 1956.

[10] Письмо А. А. Андреевой 2 июля 1956.

[11] ПНР. С. 81.

[12] Там же. С. 80–81.

[13] *Усова И. В.* Указ. соч. С. 173.

[14] Бессарабовы. С. 647.

[15] *Лучишкин С. А.* Я очень люблю жизнь: Страницы воспоминаний. М.: Сов. художник, 1988. С. 76.

[16] Бессарабовы. С. 554.

[17] *Бородин С.* Собр. соч. Ташкент, 1958. Т. 1. С. 429.

[18] *Шенгели Г.* Иноходец. М.: Совпадение, 1997. С. 24.

[19] См.: ЦАЛИМ. Ф. 67.

[20] *Баранская Н.* Странствия бездомных. М., 1999. С. 336. О Высших литературных курсах см. также: *Голицын С.* Записки уцелевшего. М.: Орбита, 1990. С. 290–320; *Нейман Ю.* Особая примета // «Я жил и пел когда-то...»: Воспоминания о поэте Арсении Тарковском. Томск: Водолей, 1999. С. 9; *Сафонов В.* «Дом Герцена» в двадцатые // СС-1, 3,2. С. 383–384.

[21] Фонарь: Сборник стихотворений. М., 1929. С. 28.

[22] *Петровых М.* Избранное. М.: Художественная литература, 1991. С. 347.

[23] *Фатов Н. Н.* Указ. соч. С. 186

[24] *Нейман Ю.* Причуды памяти. М.: Сов. писатель, 1988. С. 173, 179, 181.

[25] *Баранская Н.* Указ. соч. С. 355.

[26] Г. А. Шенгели был избран Председателем Всероссийского Союза поэтов в 1925 г. и переизбирался в 1926 и 1927 гг., а также преподавал на ВГЛК с осени 1925-го по осень 1927 г.

[27] *Андреев В.* История одного путешествия. М.: Сов. писатель, 1974. С. 327.

[28] *Петровых М.* Указ. соч. С. 347.

[29] Бессарабовы. С. 644.

[30] *Соловьев С.* Воспоминания. М.: Новое литературное обозрение, 2003. С. 53. О семействе Коваленских см. также: *Бекетова М. А.* Шахматово. Семейная хроника // Литературное наследство. М.: Наука, 1982. Т. 92, кн. 3. С. 716–723.

[31] Бессарабовы. С. 431.

[32] Там же. С. 429.

[33] Там же. С. 432.

[34] *Усова И. В.* Указ. соч. С. 163.

[35] Бессарабовы. С. 472.

[36] Письмо А. А. Андреевой 28 января – 22 февраля 1956.

[37] *Ивашев-Мусатов С. Н.* Указ. соч.

[38] Бессарабовы. С. 496.

[39] Там же. С. 614.

[40] См.: *Романов Б. Н.* Хор химер // Путешествие с Даниилом Андреевым. М.: Прогресс-Плеяда, 2006. С. 378–380.

[41] Письмо В. Л. Андрееву 21 мая 1936.

[42] Письмо Е. М. Добровой В. Л. Андрееву 5 марта 1927 // Звезда. 2000. № 3. С. 127; см. также ПНР. С. 81.

[43] Об этом вспоминала В. Г. Сафонова, подруга А. Л. Гублёр тех лет.

[44] Разрыв поэта с А. Л. Гублёр можно датировать концом октября – началом декабря 1926 г.

[45] Письмо Е. М. Добровой В. Л. Андрееву 5 марта 1927. С. 127.

[46] К мистическому искусству, причем с сознательной попыткой дать «опорный пункт для “универсального эффекта”», эта опера отнесена в исследовании: *Лапшин И. И.* Мистическое познание и «Вселенское чувство». СПб.: Типография императорской Академии наук, 1905. С. 32. Знакомство Д. Л. Андреева с этой книгой весьма вероятно.

[47] Из черновых вариантов «Розы Мира» // РАЛ.

[48] *Иванов В.* Собр. соч. Брюссель, 1987. Т. 4. С. 740.

[49] ПНР. С. 82.

[50] Письмо В. Л. Андрееву 9 мая 1927.

[51] ПНР. С. 163.

Часть третья. СОЛНЦЕВОРОТ

[1] Письмо В. Л. Андрееву 9 мая 1927.

[2] Письмо А. И. Андреевой 1 октября 1927.

[3] *Голицын С.* Записки уцелевшего. С. 135.

[4] См.: *Вострышев М.* Патриарх Тихон. М.: Молодая гвардия, 2004. С. 337, 360, 375.

[5] Там же. С. 355–356.

[6] Там же. С. 375

[7] Письмо Е. М. Добровой В. Л. Андрееву 5 марта 1927. С. 128.

[8] *Пришвин М. М.* Дневники. 1928–1929. М.: Русская книга, 2004. Кн. 6. С. 59–60.

[9] См.:*Чуков Б. В.* О последних перекатах жизни Даниила Андреева // Неизданное. С. 299–300.

[10] *Оттен Н.* Дань. М.: Сов. писатель, 1980. С. 106.

[11] Письмо В. П. Митрофанову [8 августа 1928].

[12] Письмо В. Л. Андрееву 25 сентября 1928.

[13] Письмо В. Л. Андрееву 14 февраля, 5 марта 1928.

[14] *Касаткин Ив.* Тарусяне // Журнал для всех. 1929. № 8. Стб. 78–82.

[15] Письмо В. Л. Андрееву 25 сентября 1928.

[16] См.: Минувшее: Исторический альманах. 4. М.: Прогресс; Феникс, 1991. С. 44.

[17] Протокол допроса арестованного Андреева Даниила Леонидовича // Андреев XX. С. 307.

[18] Письмо В. Л. Андрееву 25 сентября 1928.

[19] *Смирнов А.* Вокруг «Розы Мира» // Зеркало. 2007. № 29. С. 100–101. Реальная основа за этими воспоминаниями, очевидно, есть, но нам неизвестно ни об архимандрите Арсении «катакомбной церкви» со сколько-нибудь схожей биографией, ни о том, как, далее утверждал Смирнов, что Андреев «ездил по адресам их единоверцев в глухие места Брянской, Петербургской и Новгородской губерний».

[20] Письмо О. Викторовне Андреевой [весна 1929].

[21] *Оттен Н.* Указ. соч. С. 43.

[22] ПНР. С. 82.

[23] *Горький М.* Собр. соч.: В 30 т. М.: ГИХЛ, 1953. Т. 25. С. 36.

[24] *Шенталинский В.* Рабы свободы: В литературных архивах КГБ. М.: Парус, 1995. С. 42.

[25] Письмо В. Л. Андрееву 14 февраля, 5 марта 1929.

[26] Письмо В. Л. Андрееву 4 июля 1930.

[27] Протокол допроса арестованного Андреева Даниила Леонидовича. От 28 июля 1948 года // Урания. 1999. № 2(39). С. 105.

[28] ПНР. С. 315.

[29] Известия. 1930. 2 марта.

[30] Беседа с А. А. Андреевой. Запись неустановленного лица. 1990 г. Машинопись.

[31] *Ламакина А. С.* Вспоминая старый дом. // Архив О. В. Виноградовой.

[32] Письмо В. Л. Андрееву 4 июля 1930.

[33] *Малахиева-Мирович В.* О преходящем и вечном. Дневниковые записи (1930–1934). / Подгот. текста, вступ. и примеч. Н. Громовой // Новый мир. 2011. № 6. С. 140. Трогательное отношение Малахиевой-Мирович к Даниилу Андрееву отражено не только в ее дневнике, но и в стихах. См.: *Малахиева-Мирович В.* Хризалида: Стихотворения // Сост., подгот. текста, ст. и коммент. Т. Нешумовой. М.: Водолей, 2013. Далее в тексте цитаты из стихотворений Малахиевой-Мирович приводятся по этому изданию.

[34] Письмо В. Л. Андрееву 25 августа – 6 сентября 1930.

[35] См.:«Некоторые зам<етки> по стиховедению».

[36] В «Красной нови» (1931. № 10/11) поэма озаглавлена «Пятый год», но и сам автор, и Д. Л. Андреев называют поэму «1905 год».

[37] *Пастернак Б.* Собр. соч.: В 5 т. М.: Художественная литература, 1992 . Т. 5. С. 254.

[38] Красная новь. 1930. № 10/11. С. 156.

[39] Письмо В. Л. Андрееву 25 августа – 6 сентября 1930

Часть четвертая. ТРУБЧЕВСКАЯ ИНДИЯ

[1] Письмо Ю. С. Беклемишева А. М. Исаеву 20 августа 1930 // Юрий Крымов в воспоминаниях, письмах, документах. М.: Сов. писатель, 1988. С. 171, 172.

[2] *Павлова Г. Н.* Леонид Андреев и семья Велигорских // Русская литература, 2000. № 3. С. 172–173.

[3] Письмо В. Л. Андрееву 25 августа 1930.

[4] Переписка М. Горького. В 2 т. М.: Художественная литература, 1986. Т. 2. С. 308.

[5] *Петр Петрович Лидов*, член московской городской коллегии защитников, расстрелянный 9 мая 1938 г. по обвинению в участии в контрреволюционной террористической организации, был не московским градоначальником, а бывшим присяжным поверенным и членом Московской городской думы. До революции защищал и деятелей революционного движения, в частности В. В. Маяковского.

[6] Протокол допроса Андреева Даниила Леонидовича. От 28 июля 1948 года // Урания. 1999. № 2(39). С. 103.

[7] Выписка из показаний арестованного Малянтович Владимира Павловича от 13 января 1938 года // Андреев XX. С. 264–265.

[8] *Малахиева-Мирович В.* О преходящем и вечном. С. 140.

[9] Письмо Е. Н. Рейнфельд 14 декабря 1933.

[10] *Джемс В.* Разнообразие религиозного опыта / Пер. с англ. В. Г. Малахиевой-Мирович и М. В. Шик под ред. С. В. Лурье. М., 1910. С. 388.

[11] См.: *Лапшин И. И.* Указ. соч.

[12] *Кузькин С., Пасин В.* «...По зеленым певучим дорогам»: Трубчевский край в жизни и творчестве Даниила Андреева. Брянск: Грани, 1996. С. 24.

[13] Евгения, Всеволод, Анатолий, Лидия, Олег, Зинаида, Ольга, Игорь (1920–1950).

[14] *Левенок В. П.* См. о нем: *Чубур А. А., Поляков Г. П., Наумова Н. И.* Трубчевский самородок: К столетию со дня рождения Всеволода Протасьевича Левенка. Брянск, 2006.

[15] Письмо В. Л. Андрееву 8 апреля 1932.

[16] Там же.

[17] Выписка из протокола допроса Черкасовой Зои Валентиновны от 30 августа 1940 года // Андреев XX. С. 268.

[18] *Галядкин А. Д.* Памяти Даниила Андреева и сродников его // Брянская учительская газета. № 12. 30 марта 2007.

[19] *Василенко В. М.* Далекие ночи // СС-1, 3, 2, 386–388, 391.

[20] Там же. С. 388.

[21] Письмо Е. Н. Рейнфельд 22 июня [апреля?] 1933.

[22] *Роллан Р.* Махатма Ганди / Пер. Е. С. Коц и А. Н. Карасика. Л.: Книгоиздательство «Сеятель» Е. В. Высоцкого, 1924. С. 31, 73, 83. В том же году книга вышла еще в одном переводе – Н. Берберовой; с каким именно изданием был знаком Д. Л. Андреев, неизвестно.

[23] *Малахиева-Мирович В.* О преходящем и вечном. С. 139.

[24] *Джемс В.* Указ. соч. С. 383.

[25] Письмо В. Л. Андрееву <осень 1932>.

[26] *Павлова Г.* «Там, где реки, мирные и вещие...».

[27] *Малахиева-Мирович В.* О преходящем и вечном. С. 143.

[28] Письмо В. Л. Андрееву <осень 1932>.

[29] *Межибовская В.* Из воспоминаний // Брянская учительская газета. № 35. 8 сентября 2006.

[30] Письмо В. Л. Андрееву <осень 1932>.

[31] *Ламакина А. С.* Указ. соч.

[32] Письмо Е. Н. Рейнфельд 22 июня [апреля?] 1933.

[33] *Семпер-Соколова Н. Е.* Указ. соч. С. 129.

[34] Письмо Е. Н. Рейнфельд 22 июня [апреля?] 1933.

[35] Там же.

[36] Письмо Е. Н. Рейнфельд 14 декабря 1933.

[37] Там же.

[38] См.: *Гумилевский Л.* Судьба и жизнь. М.: Грифон М, 2005. С. 145–146.

[39] Письмо М. С. Волошиной от 23 декабря 1934 // Вопросы литературы. 2012. № 6. С. 382.

[40] *Усова И. В.* Указ. соч. С. 146–147.

[41] СС-2, 4. С. 77.

[42] Свидетельство А. А. Андреевой.

[43] Письмо О. Викторовне Андреевой 23 июля <19>36.

[44] *Смирнов А.* Вокруг «Розы Мира» // Зеркало. 2007. № 29. С. 101.

[45] «Стой в завете своем...»: Николай Константинович Муравьев: Адвокат и общественный деятель: Воспоминания, документы, материалы. М.: ООО «АМА-Пресс», 2004. С. 168.

[46] *Усова И. В.* Указ. соч. С. 157–158.

[47] Там же. С. 157.

[48] Письмо М. С. Волошиной от 23 декабря 1934 // Вопросы литературы. 2012. № 6. С. 382.

[49] Протокол допроса арестованного Андреева Даниила Леонидовича. От 28 июля 1948 года // Урания. 1999. № 2 (39). С. 109.

Часть пятая. МОНСАЛЬВАТ

[1] Сообщено О. В. Виноградовой.

[2] *Ламакина А. С.* Указ. соч.

[3] *Василенко В. М.* Указ. соч. С. 390–391.

[4] *Ламакина А. С.* Указ. соч.

[5] Письмо М. С. Волошиной от 22 февраля 1935 // Вопросы литературы. 2012. № 6. С. 385.

[6] *Копелев Л.* Утоли мои печали. М.: Ex libris: Слово, 1991. С. 236.

[7] Там же. С. 235.

[8] Протокол допроса Андреева Даниила Леонидовича. От 28 июля 1948 года // Урания. 1999. № 2 (39). С. 111.

[9] *Межибовская В. Г.* Указ. соч.

[10] *Блок А.* Собр. соч.: В 8 т. Т. 5. С. 458.

[11] *Шопенгауэр А.* Полн. собр. соч. М.: Изд. Д. П. Ефимова, 1903. Т. 2. С. 525.

[12] *Барт А.* Религии Индии / Пер. под ред. и с предисл. С. Трубецкого. М., 1897. С. VI–VII.

[13] *Минаев И.* Материалы и заметки по буддизму. III. СПб., 1897. С. 95.

[14] *Василенко В. М.* Указ. соч. С. 388.

[15] Великий йог Тибета Миларепа / Пер. с англ. О. Т. Тумановой. М.: Фаир-Пресс, 2001. С. 26.

[16] *Цыбиков Г. Ц.* Буддист паломник у святынь Тибета. Пг., 1918. С. 113.

[17] Там же. С. 219.

[18] *Соловьев В. С.* Сочинения: В 2 т. М.: Мысль, 1988. Т. 2. С. 129–130.

[19] Письмо В. М. Василенко Б. Н. Романову 23 августа 1988.

[20] ПНР. С. 70–71.

[21] *Гёте И. В.* Тайны: Фрагмент / Предисл. Г. А. Рачинского. Пер. А. А. Сидорова. М., 1914. С. XIX.

[22] См.: *Веселовский А. Н.* Где сложилась легенда о святом Граале. СПб., 1900; *Дашкевич Н. П.* Сказание о святом Граале. Киев, 1877; *Михайлов А. Д.* Артуровские легенды и их эволюция // *Томас Мэлори.* Смерть Артура. М.: Наука, 1974. С. 813–825.

[23] *Василенко В. М.* Указ. соч. С. 389–390.

[24] Письмо В. Л. Андрееву 21 мая 1936.

[25] Письмо Е. Н. Рейнфельд 15 мая 1936.

[26] Письмо В. Л. Андрееву 21 мая 1936.

[27] Письмо В. Л. Андрееву 21 июня 1936.

[28] Письмо В. Л. Андрееву 21 мая 1936.

[29] Письмо В. Л. Андрееву 21 июня 1936.

[30] Там же.

[31] Письмо В. Л. Андрееву 21 мая 1936.

[32] Письмо В. Л. Андрееву 21 июня 1936.

[33] Письмо О. Викторовне Андреевой 23 июля <19>36.

[34] Письмо В. Л. Андрееву 23 июля 1936.

[35] СС-2, 2. С. 684.

[36] ПНР. С. 294.

[37] *Бонзельс В.* В Индии. М.; Пг.: Государственное изд-во, 1923. С. 67.

[38] Письмо В. Л. Андрееву 2 октября 1936.

Часть шестая. СТРАННИКИ НОЧИ

[1] ПНР. С. 124.
[2] *Фейхтвангер Л.* Москва 1937. М.: ГИХЛ, 1937. С. 10.
[3] *Семпер-Соколова Н. Е.* Указ. соч. С. 128.
[4] *Усова И. В.* Указ соч. С. 208.
[5] ПНР. С. 99.
[6] Синезубов Н. В. выехал в командировку в Германию в 1928 г., с 1931 г. жил во Франции.
[7] ПНР. С. 102–103.
[8] Письмо В. Л. Андрееву 17 июня <19>37.
[9] ПНР. С. 160.
[10] Письмо В. Л. Андрееву 17 июня <19>37.
[11] Письмо Е. Н. Рейнфельд 25 июня <19>37.
[12] *Хлебников В.* Собр. соч.: В 6 т. М.: ИМЛИ РАН, 2004. Т. 5. С. 219.
[13] *Громова Н.* Узел: Поэты: дружбы и разрывы. Из литературного быта конца 20–30-х годов. М.: Эллис Лак, 2006. С. 52.
[14] Письмо Л. Ф. Смирновой 20 августа 1937.
[15] *Ламакина А. С.* Указ. соч.
[16] Беседа с А. А. Андреевой.
[17] *Оттен Н.* Указ. соч. С. 129.
[18] Беседа с А. А. Андреевой.
[19] *Усова И. В.* Указ. соч. С. 213.
[20] Там же. С. 214–215.
[21] Там же. С. 213.
[22] Там же. С. 215.
[23] Там же. С. 216.
[24] ПНР. С.104–105.
[25] Письмо В. Л. Андрееву <1938?>.
[26] См.: Протокол допроса арестованного Андреева Даниила Леонидовича. От 28 июля 1948 года // Урания, 1999. № 2(39). С. 291.
[27] *Усова И. В.* Указ. соч. С. 141–143.
[28] Там же. С. 184.
[29] Там же. С. 143.
[30] Там же. С. 145.
[31] Там же. С. 154.
[32] Там же. С. 179.
[33] Там же. С. 150.
[34] *Налимов В. В.* Канатоходец. М.: Издательская группа «Прогресс», 1994. С. 435, 447.
[35] *Роллан Р.* Собр. соч.: В 20 т. Л.: ГИХЛ, 1936. Т. 19. С. 8; на самом деле этот том вышел не в 1936 году, как указано на титуле, а в конце 1937-го.
[36] *Ламакина А. С.* Указ. соч.
[37] *Василенко В. М.* Указ. соч. С. 385.
[38] Андреев XX. С. 268.
[39] Там же. С. 268–269.
[40] Там же. С. 272.
[41] Там же. С. 273.
[42] Письмо Г. Б. Смирнову 15 января 1941.
[43] *Ламакина А. С.* Указ. соч.
[44] ПНР. С. 127.

[45] *Усова И. В.* Указ. соч. С. 161–162.

[46] Спецсообщение В. С. Абакумова И. В. Сталину об аресте «террориста» Д. Л. Андреева // Лубянка: Сталин и МГБ СССР: Март 1946 – март 1953. М.: МФД: Материк, 2007. С. 199.

[47] Письмо Т. И. Морозовой к неизвестному лицу 16 июня 1941 // Архив В. В. Палицыной.

[48] *Ген. Сикорский.* Будущая война. Пер. с польск. Я. А. Кротовской, предисл. М. Бобровского. М.: Государственное военное изд-во, 1936.

[49] Там же. С. 167.

[50] Там же. С. 309–311.

[51] *Усова И. В.* Указ. соч. С. 217–218.

[52] *Ген. Сикорский.* Указ. соч. С. 37.

[53] *Веселовский С. Б.* Дневники 1915–1923, 1944 годов // Вопросы истории. 2001. № 2. С. 78.

Часть седьмая. ВОЙНА

[1] *Усова И. В.* Указ. соч. С. 188–189.

[2] См.: *Безыменский Л.* Битва за Москву: Провал операции «Тайфун». М.: Яуза; Эксмо, 2006. С. 148.

[3] *Вержбицкий Н.* Дневник // Там же. С. 180.

[4] *Семпер-Соколова Н. Е.* Указ. соч. С. 147.

[5] Записи Г. В. Решетина // Безыменский Л. Указ. соч. С.184–185.

[6] ПНР. С. 132–133.

[7] *Усова И. В.* Указ. соч. С. 190–191, 193–194.

[8] Письмо Т. И. Морозовой 11 марта 1942.

[9] Письмо Т. И. Морозовой неизвестному лицу 14 января 1942 // Архив В. В. Палицыной.

[10] Письмо Т. И. Морозовой 10 марта 1942.

[11] *Усова И. В.* Указ. соч. С. 197–198.

[12] *Смирнов А.* Вокруг «Розы Мира». С. 108.

[13] *Усова И. В.* Указ. соч. С. 194–197.

[14] *Смирнов А.* Вокруг «Розы Мира». С. 109.

[15] ПНР. С. 141–142.

[16] *Усова И. В.* Указ. соч. С. 201–202.

[17] Протокол допроса арестованного Андреева Даниила Леонидовича // Андреев XX. С. 291.

[18] Письмо Т. И. Морозовой неизвестному лицу 3 марта 1943 // Архив В. В. Палицыной.

[19] *Хорьков Ф. М.* Даниил Андреев в 1943 году // СС-1, 3,2. С. 452.

[20] *Коврукoв Н. С.* Воспоминание ветерана. Интервью Ю. Трифонова //www.miscatalog.ru/uvao/ru/regions/n_16160_97676.

[21] Там же.

[22] Здесь и далее ряд сведений опирается на описание боевого пути дивизии в кн.: От батальона до армии боевой путь. Т. 1. *Куропатков Е. П., Сухенко И. П., Иванов В. П.* Боевой путь 196-й Гатчинской Краснознаменной стрелковой дивизии. М.: Академия исторических наук, 2007.

[23] *Хорьков Ф. М.* Даниил Андреев в 1943 году. С. 452.

[24] ПНР. С. 144.

[25] *Хорьков Ф. М.* Даниил Андреев в 1943 году. С. 452–453.

[26] *Хорьков Ф. М.* Воспоминания о Данииле Андрееве (1999) // Рукопись.

[27] *Хорьков Ф. М.* Письмо в редакцию журнала «Урания» 21 марта 1999.

[28] *Хорьков Ф. М.* Даниил Андреев в 1943 году. С. 453.
[29] *Хорьков Ф. М.* Воспоминание // Неизданное. С. 127–128.
[30] *Хорьков Ф. М.* Даниил Андреев в 1943 году. С. 453.
[31] Там же.
[32] Письмо В. Л. Миндовской 8 января <19>44.
[33] Письмо В. Л. Миндовской 5 марта <19>44.
[34] Письмо В. Л. Миндовской 8 июня <19>44.
[35] ПНР. С. 144–146.
[36] Беседа с А. А. Андреевой.
[37] См.: письмо А. А. Андреевой Д. Л. Андрееву 14 января 1955.
[38] *Усова И. В.* Указ. соч. С. 206.
[39] Там же. С. 206–207.
[40] ПНР. С. 146–148.
[41] *Чуков Б. В.* Указ. соч. С. 277–278.
[42] Там же. С. 148–149.
[43] Там же. С. 149–150.
[44] Там же. С. 150–152.
[45] Там же. С. 149.
[46] Письмо Т. И. Морозовой неизвестному лицу 21 декабря 1944 // Архив В. В. Палицыной.

Часть восьмая. СОЧЕЛЬНИК

[1] ПНР. С. 163–164.
[2] Письмо А. А. Андреевой 14 января 1955.
[3] *Ивашев-Мусатов С. Н.* Указ. соч.
[4] ПНР. С. 153–154.
[5] Там же. С. 152–153.
[6] Там же. С. 158.
[7] Сообщено Валентиной Николаевной Кудиновой.
[8] Письмо В. П. Митрофанову 12 мая 1945.
[9] Беседа с А. А. Андреевой.
[20] ПНР. С. 162.
[11] *Андреева А. А.* Роман «Странники ночи» // СС-2, 4. С. 82.
[12] Константиновского района Московской области.
[13] ПНР. С. 157–158.
[14] Письмо В. Л. Миндовской 27 июля <19>45.
[15] Письмо Т. И. Морозовой неизвестному лицу 18 августа 1945 // Архив В. В. Палицыной.
[16] ПНР. С. 161.
[17] Там же. С. 154.
[18] *Андреева А.* Даниил Андреев и его книга // Андреев Д. Роза Мира. М.: Прометей, 1991. С. 6.
[19] Письмо В. Л. Миндовской 8 января <19>44.
[20] Письмо В. Л. Миндовской 5 января <19>46.
[21] ПНР. С. 161.
[22] Письмо В. Л. Миндовской 6 марта <19>46.
[23] ПНР. С. 280.
[24] Там же. С. 294.
[25] Там же. С. 167.
[26] Там же.
[27] Там же. С. 168.
[28] Письмо В. Л. Миндовской 11 августа <19>46.

[29] *Мандельштам Н. Я.* Воспоминания. М.: Книга, 1989. С. 190.
[30] ПНР. С. 170–172.
[31] *Андреев В.* История одного путешествия. С. 366; *Андреев В., Прокша Л., Соснинский В.* Герои Олерона. Минск: Изд-во «Беларусь», 1965. С. 85.
[32] Р. Н. Андреева.
[33] Письмо В. Л. Андрееву [Отправлено 12 сентября 1946].
[34] «Больная Россией» Ольга Андреева, внучка Леонида, дочь Вадима // Культура. 17 апреля 1997. С. 14.
[35] *Андреева А. А.* Жизнь Даниила Андреева, рассказанная его женой // СС-2, 1. С. 14.
[36] *Чуков Б. В.* Указ. соч. С. 273–274.
[37] *Гроссман. Л.* Собр. соч.: В 5 т. Творчество Достоевского: Поэтика Достоевского. Проблемы творчества. М.: Кн-во «Современные проблемы», 1928. Т. 2. Вып. 2.
[38] У Д. Л. Андреева, видимо, описка, речь идет о статье «Бакунин и Достоевский».
[39] Письмо Л. П. Гроссману <начало 1947?>.
[40] *Гроссман Л.* Указ. соч. С. 213.
[41] Там же. С. 8.
[42] Там же. С. 322.
[43] ПНР. С. 172.
[44] Лубянка, Сталин и МГБ СССР. С. 52, 53.
[45] Сообщено О. В. Виноградовой.
[46] Беседа с А. А. Андреевой.
[47] Письмо А. А. Андреевой В. Л. и Л. М. Тарасовым 2 марта <19>47 // Архив Ю. Л. Мининой.

Часть девятая. «ДЕЛО» ДАНИИЛА АНДРЕЕВА

[1] ПНР. С. 173.
[2] См. изданный к его столетию однотомник: *Стефанович Н.* Стихотворения и поэмы. М.: Летний сад, 2012.
[3] См.: *Шенталинский В.* Донос на Сократа. М.: Формика-С, 2001. С. 236–240, 245, 248.
[4] См., например: *Берковская Е. Н.* Судьбы скрещенья: Воспоминания. М.: Возвращение, 2008. С. 377–378.
[5] ПНР. С. 175.
[6] Лубянка, Сталин и МГБ СССР. С. 198.
[7] Письмо А. А. Андреевой 3 августа 1955.
[8] Лубянка, Сталин и МГБ СССР. С. 52.
[9] ПНР. С. 174–175.
[10] Письмо А. А. Андреевой 3 октября 1955.
[11] ПНР. С. 175–177.
[12] Протокол допроса арестованного Андреева Даниила Леонидовича // Андреев XX. С. 291–293.
[13] Протокол допроса арестованного Андреева Даниила Леонидовича от 24 апреля 1947 года // Андреев XX. С. 295.
[14] Письмо А. А. Андреевой 3 августа 1955.
[15] *Чуков Б. В.* Из воспоминаний о Д. Л. Андрееве // СС-1, 3, 2. С. 467.
[16] *Налимов В. В.* Канатоходец. С. 226.
[17] *Андреева А. А.* Роман «Странники ночи» // СС-2, 4. С. 75.

[18] Там же. С. 76.

[19] Там же. С. 78.

[20] «У нас уже был настоящий коммунизм»: Ученый и писатель Александр Зиновьев беседует с публицистом Игорем Михайловым // Литературная газета. 1997. 3 декабря. № 49. С. 3.

[21] *Василенко В. М.* Указ. соч. С. 386.

[22] Протокол допроса арестованного Андреева Даниила Леонидовича от 24 апреля 1947 года // Андреев XX. С. 296–297.

[23] *Василенко В. М.* Указ. соч. С. 392–395.

[24] *Ламакина А. С.* Указ. соч.

[25] ПНР. С. 179.

[26] *Коржавин Н.* В соблазнах кровавой эпохи: Воспоминания: В 2 кн. М.: Захаров, 2005. Кн. 1. С. 773; Ромашов Дмитрий Дмитриевич, которого Коржавин именует Ромашовым Арсением Викентьевичем, был в заключении с 1948 по 1955 г.

[27] Лубянка, Сталин и МГБ СССР. С. 53–54.

[28] Письмо И. А. Новикову 31 мая 1957.

[29] *Трубецкой А. В.* Пути неисповедимы: (Воспоминания 1939–1955 гг.). М.: Контур, 1997. С. 306.

[30] ПНР. С. 180–182.

[31] Письмо А. П. Шелякина А. А. Андреевой // СС-2, 4. С. 416.

[32] *Гаген-Торн Н.* Memoria: Воспоминания, рассказы. М.: Возвращение, 2009. С. 299–301.

[33] Протокол допроса арестованного Андреева Даниила Леонидовича. От 28 июля 1948 года // Урания. 1999. № 2 (39). С. 109–111.

[34] *Коржавин Н.* Указ. соч. С. 728.

[35] *Гудзенко Р. С.* Слово о Даниилe Андрееве // СС-1, 3,2. С. 462–463.

[36] Письмо И. А. Новикову 31 мая 1957.

[37] Протокол допроса арестованного Андреева Даниила Леонидовича. От 28 июля 1948 года // Урания. 1999. № 2 (39). С. 111–115.

[38] Там же.

[39] *Угримов А. А.* Указ. соч. С. 123.

[40] Там же. 134.

[41] Письмо А. А. Андреевой Д. Л. Андрееву 10 апреля 1956.

[42] Подлинник хранится в Архиве Президента РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 208. Л. 22–31 // Лубянка, Сталин и МГБ СССР: Март 1946 – март 1953. М.: МФД: Материк, 2007. С. 198–202.

[43] Там же. С. 200–201.

[44] Там же. С. 201.

[45] Протокол допроса арестованного Андреева Даниила Леонидовича. От 28 июля 1948 года // Урания. 1999. № 2 (39). С. 105.

[46] Там же. С. 106.

[47] Там же. С. 106–108

[48] Там же. С. 108.

[49] ПНР. С. 187.

[50] Там же. С. 188.

[51] *Лисицына Е.* Путешествие по антимиру (воспоминания о лагерях) // Машинопись. С. 4.

[52] *Василенко В. М.* Указ. соч. С. 394–395.

[53] ПНР. С. 187.

[54] Там же. С. 183–186.

[55] Письма А. А. Андреевой 3 августа 1955; 2 сентября 1955.

[56] Поэзия узников ГУЛАГА: Антология. М.: МФД: Материк, 2005. С. 746–747.

[57] Протокол допроса арестованного Андреева Даниила Леонидовича. От 28 июля 1948 года // Урания. 1999. № 2 (39). С. 114.

[58] *Чуков Б. В.* Указ. соч. С. 290.

[59] Письмо А. А. Андреевой 9 октября 1956.

[60] Письмо Д. Л. Андрееву 20–21 марта 1956.

[61] ПНР. С. 182.

[62] Лубянка, Сталин и МГБ СССР. С. 345.

[63] *Добровольский А. А.* Воспоминания // Московский приходской сборник. Вып. 1. Храм Николая Чудотворца в Кленниках. М.: Издание «Московского журнала», 1991. С. 202–203.

[64] ПНР. С. 195.

[65] *Солженицын А.* Архипелаг ГУЛАГ. М.: Центр «Новый мир», 1990. Т. 1. С. 103.

[66] Письмо А. А. Андреевой 3 октября 1955.

[67] *Василенко В. М.* Указ. соч. С. 395.

[68] *Лисицына. Е.* Указ. соч.

[69] Беседа с А. А. Андреевой.

Часть десятая. ВЛАДИМИРСКАЯ ТЮРЬМА

[1] Е. Ф. Лисицына была первоначально отправлена в лагерь № 13 в Потьме, затем в Магадан, а перед освобождением переведена в Тайшет; освободившись, уехала к мужу в Воркуту.

[2] *Куприянов Г.* Из тюремного дневника // Воля. 1997. № 6/7. С. 309.

[3] Там же.

[4] *Парина Н. Д.* Вместо послесловия // *Андреев Д. Л., Парин В. В., Раков Л. Л.* Новейший Плутарх: Иллюстрированный биографический словарь воображаемых знаменитых деятелей всех стран и времен от А до Я / Основатель издания, главный редактор и иллюстратор Л. Л. Раков. М.: Московский рабочий, 1991. С. 297.

[5] Там же. С. 299–300.

[6] Свидетельство П. П. Курочкина; см.: *Резник С.* Академик Парин и «дело КР» // Семь искусств. 2011. № 7 (20). www. 7iskusstv.com.

[7] См.: Дело «КР» // Наука и жизнь. 1988. № 1. С. 101–112.

[8] *Меньшагин Борис Георгиевич.* Воспоминания: Смоленск… Катынь… Владимирская тюрьма… Paris: YMCA-Press, 1988. С. 106.

[9] См.: Тюремная одиссея Василия Шульгина: Материалы следственного дела и дела заключенного. М.: Книжница; Русский путь, 2010. С. 301–303.

[10] *Парин В. В.* Из письма в редакцию журнала «Звезда» // СС-1, 3,2. С. 455.

[11] Письмо А. А. Андреевой 30 июля – 2 августа 1956.

[12] Письмо А. А. Андреевой 2 марта 1956.

[13] Там же.

[14] *Шульгин В. В.* Указ. соч. С. 389.

[15] Черновик письма Ю. Г. Бружес <декабрь 1950 – январь 1951>.

[16] Письмо А. А. Андреевой 2 июня 1955.

[17] Д. Л. Андреев был знаком с крупнейшим специалистом по русскому Средневековью, эпохе Ивана Грозного и Смутного времени – С. Б. Веселовским, за которого вышла в 1927 г. замуж О. А. Бессарабова. Веселовский резко выступал против всяческого оправдания опричнины и тирании Грозного, восхвалявшегося в угоду Сталину, но посвященные этому основные работы историка были изданы лишь посмертно; см.: *Веселовский С. Б.* Исследования по истории опричнины. М.: Изд-во АН СССР, 1963.

[18] Письмо А. А. Андреевой 29 апреля – 3 мая 1956.

[19] Черновик письма Ю. Г. Бружес // РАЛ.

[20] *Парина В. Д.* Указ. соч. С. 299–300.

[21] *Богомолов Н. А., Малмстад Джон Э.* Михаил Кузмин: искусство, жизнь, эпоха. М.: Новое литературное обозрение, 1996. С. 248.

[22] *Шульгин В. В.* Указ. соч. С. 385.

[23] См.: *Куприянов Г.* Указ. соч. С. 317–319, 321.

[24] Полностью цикл см.: СС-2, 4, С. 505–507.

[25] Лев Львович Раков. Творческое наследие. Жизненный путь / Авт.-сост. А. Л. Ракова. СПб.: Изд-во Государственного Эрмитажа, 2007. С. 365.

[26] *Парина В. Д.* Указ. соч. С. 302.

[27] Письмо А. А. Андреевой 8 декабря 1956.

[28] Под поэмой в авторской машинописи стоит дата «Февраль 1951», но в тетради со списком поэмы, переданной сокамерником Андреева Н. Садовником в январе 1956 г. в лагерь А. А. Андреевой, дата иная: «I–II 1952», представляющаяся более достоверной.

[29] Цит. по: *Галаншина Т., Закурдаев И., Логинов С.* Владимирский централ. М.: Эксмо, 2007. С. 84.

[30] Лев Львович Раков. Указ. соч. С. 158.

[31] ПНР. С. 266–267.

[32] *Парин В. В.* Указ. соч. С. 455.

[33] Лев Львович Раков. Указ. соч. С. 105.

[34] *Резник С.* Академик Парин и «дело КР».

[35] Там же.

[36] Там же.

[37] *Газарян С.* Это не должно повториться // Литературная Армения. 1988. № 8. С. 45.

[38] *Волин О. [Пименов Р. И.]* С бериевцами во Владимирской тюрьме // Минувшее: Исторический альманах. М.: Феникс, 1992. С. 363.

[39] *Куприянов Г.* Указ. соч. С. 313.

[40] Письмо А. А. Андреевой 2 декабря 1956.

[41] См.: *Воронель Н.* Без прикрас. М.: Захаров, 2003. С. 131–134.

[42] *Резник С.* Академик Парин и «дело КР».

[43] Там же.

[44] *Меньшагин Б. Г.* Указ. соч. С. 107.

[45] ПНР. С. 272.

[46] Там же. С. 267–268.

[47] Из черновой тетради Д. Л. Андреева, в которую он переписал письмо Ю. Г. Бружес // РАЛ.

[48] Письмо Ю. Г. Бружес <апрель 1952 ?>.

[49] Из черновой тетради Д. Л. Андреева, в которую он переписал часть письма Ю. Г. Бружес // РАЛ.

[50] Письмо А. А. Андреевой А. П. и Ю. Г. Бружес и Д. Л. Андрееву 12 июля 1953 // Архив А. А. Андреевой; часть письма, обращенная к Д. Л. Андрееву // СС-2, 4, 288.

[51] *Шульгин В. В.* Указ. соч. С. 360.

[52] Письмо А. А. Андреевой 14 января 1955.

Часть одиннадцатая. СКВОЗЬ ТЮРЕМНЫЕ СТЕНЫ

[1] Архив В. И. Шелякиной.

[2] См.: *Валюм А. А.* «...у нас было только два выхода: свобода или смерть» // О времени, о Норильске, о себе... М.: Поли Медиа, 2005. Кн. 6. С. 122–150.

[3] Письмо Д. Л. Андрееву 19 апреля 1954.

[4] Письмо А. А. Андреевой <конец июня – начало июля 1954>.

[5] Письмо А. А. Андреевой 1 октября 1954.

[6] Письмо А. А. Андреевой <конец июня – начало июля 1954>.

[7] Письмо А. А. Андреевой 14 января 1955.

[8] Письмо А. А. Андреевой 1 октября 1954.

[9] Тюремные тетради // РАЛ.

[10] Письмо А. А. Андреевой 2 июня 1955.

[11] Письмо Д. Л. Андрееву 22 августа 1954.

[12] Письмо А. А. Андреевой 1 октября 1954.

[13] Черновик несохранившегося письма Ю. Г. Бружес <3 ноября 1954> // РАЛ.

[14] Там же.

[15] Письмо А. А. Андреевой [начало декабря 1954].

[16] Цитируется по выписке, сделанной прокурором Барановым в 1957 г. при реабилитации Д. Л. Андреева // Главная Военная Прокуратура. Надзорное производство № 35701-47 Андреева Д. Л. и др. Т. 3. Л. 163.

[17] Письмо А. А. Андреевой 14 января 1955.

[18] Письмо А. А. Андреевой 2 марта 1955.

[19] Письмо Д. Л. Андрееву 16 марта 1955.

[20] Письмо Ю. Г. Бружес <июль ? 1955>.

[21] Письмо А. А. Андреевой 5 апреля 1955.

[22] Письмо А. А. Андреевой 3 октября 1955.

[23] Письмо А. А. Андреевой 3 августа 1955.

[24] Письмо А. А. Андреевой 5 апреля 1955.

[25] *Блок А.* Собр. соч.: В 8 т. Т. 5. С. 451.

[26] Письмо Д. Л. Андрееву 26 июня 1955.
[27] Письмо А. А. Андреевой 3 августа 1955.
[28] Письмо А. А. Андреевой 2 марта 1956.
[29] Письмо А. А. Андреевой 2 июня 1955.
[30] Письмо А. А. Андреевой 3 августа 1955.
[31] Там же.
[32] Письмо Д. Л. Андрееву 21 октября 1955.
[33] Письмо А. А. Андреевой 2 ноября 1955.
[34] Письмо А. А. Андреевой 28 января – 22 февраля 1956.
[35] Письмо А. А. Андреевой 2 марта 1956.
[36] Письмо А. А. Андреевой 2 сентября 1955.
[37] Письмо А. А. Андреевой 3 августа 1955.
[38] Письмо А. А. Андреевой 2 сентября 1955.
[39] Письмо Д. Л. Андрееву 11 сентября 1955.
[40] Письмо А. А. Андреевой 2 сентября 1955.
[41] Письмо А. А. Андреевой 2 ноября 1955.
[42] Письмо А. А. Андреевой 28 января – 22 февраля 1956.
[43] Письмо А. А. Андреевой 3 октября 1955.
[44] Там же.
[45] Там же.
[46] Письмо А. А. Андреевой 2 сентября 1955.
[47] Письмо А. А. Андреевой 2 ноября 1955.
[48] Письмо А. А. Андреевой 2 декабря 1955.
[49] Там же.
[50] Письмо А. А. Андреевой 28 января – 22 февраля 1956.
[51] Письмо А. А. Андреевой 2 декабря 1955.
[52] Письмо А. А. Андреевой 2 марта 1956.
[53] Письмо Д. Л. Андрееву 14 февраля 1956.
[54] Письмо А. А. Андреевой 29 апреля – 3 мая 1956.
[55] Письмо А. А. Андреевой 2 декабря 1956.
[56] Письмо А. А. Андреевой 3 января 1956.
[57] Там же.
[58] Письмо А. А. Андреевой 28 января – 22 февраля 1956.
[59] Письмо Д. Л. Андрееву 14 декабря 1955.
[60] Письмо Д. Л. Андрееву 10 февраля 1956.
[61] Письмо А. А. Андреевой 2 марта 1956.
[62] Там же.
[63] Письмо А. А. Андреевой 29 марта – 3 апреля 1956.
[64] Письмо Д. Л. Андрееву 2, 3 февраля 1956. // Архив А. А. Андреевой.
[65] См.: *Носова О. П.* В объятиях удава: Воспоминания узницы ГУЛАГа. СПб.: Изд-во СПбГТУ, 2001. С. 128–129.
[66] Письмо Д. Л. Андрееву 18 февраля 1956 // Архив А. А. Андреевой.
[67] Письмо А. А. Андреевой 29 апреля – 3 мая 1956.
[68] Письмо А. А. Андреевой 30 июля – 2 августа 1956.
[69] *Меньшагин Б. Г.* Указ. соч. С. 107–108.

[70] Письмо Д. Л. Андрееву 17 апреля 1956.
[71] Письмо А. П. Бружеса А. А. Андреевой // Архив А. А. Андреевой.
[72] Письмо А. А. Андреевой 29 апреля – 3 мая 1956.
[73] Письмо А. А. Андреевой 2 июня 1956.
[74] Там же.
[75] Письмо А. А. Андреевой 2 июля 1956.
[76] Там же.
[77] Там же.
[78] Там же.
[79] Письмо Ю. Г. Бружес 13 августа <19>56.
[80] Письмо Д. Л. Андрееву 17 августа 1956.
[81] ПНР. С. 265.
[82] Письмо Д. Л. Андрееву 24 августа 1956.
[83] Письмо А. А. Андреевой 31 августа 1956.
[84] Там же.
[85] Письмо Д. Л. Андрееву 1 сентября 1956.
[86] Письмо Д. Л. Андрееву 5 сентября 1956.
[87] Письмо Д. Л. Андрееву 26 сентября 1956.
[88] Письмо А. А. Андреевой 31 августа 1956.
[89] См.: *Волин О. <Пименов Р.И.>* С бериевцами во Владимирской тюрьме. С. 363.
[90] Письмо А. А. Андреевой 9 октября 1956.
[91] Письмо А. А. Андреевой 20 ноября 1956.
[92] Письмо А. А. Андреевой 2 декабря 1956.
[93] Письмо А. А. Андреевой 20 ноября 1956.
[94] Письмо Д. Л. Андрееву 24 ноября 1956.
[95] Письмо А. А. Андреевой 2 декабря 1956.
[96] Письмо А. А. Андреевой 8 декабря 1956.
[97] ПНР. С. 280–281.
[98] *Гудзенко Р. С.* Слово о Даниеле Андрееве // СС-1, 3, 2. С. 459.
[99] 58[10]: Надзорные производства Прокуратуры СССР по делам об антисоветской агитации и пропаганде. Март 1953–1951. М.: Международный фонд Демократия, 1999. С. 283.
[100] См.: *Кривошеина Ксения*. Работа «за шкаф». // Звезда. 2008. № 6. С. 120–121.
[101] Там же. С. 326–327.
[102] *Гудзенко Р. С.* Указ. соч. С. 463.
[103] *Пантелеев Ю.* Русский пророк // Брянская учительская газета. № 3. 27 января 2006.
[104] *Рафальский В. П.* Репортаж ниоткуда (Фрагмент) // Брянская учительская газета. № 3. 27 января 2006.
[105] *Гудзенко Р. С.* Указ. соч. С. 461–462.
[106] *Чуков Б. В.* Указ. соч. С. 270–271.

Часть двенадцатая. РОЗА МИРА

[1] ПНР. С. 284.
[2] Там же. С. 283.
[3] *Усова И. В.* Указ. соч. С. 222.
[4] ПНР. С. 287–288.

[5] ПНР. С. 288.
[6] Письмо Г. Л. Гудзенко 11мая 1957.
[7] Письмо И. А. Новикову 31мая <19>57.
[8] Письмо Т. И. Морозовой 11 июня 1957.
[9] Там же.
[10] Письмо Л. Л. Ракову 22 июня 1957.
[11] Письмо Л. Л. Ракову 6 июля 1957.
[12] Письмо Г. Л. Гудзенко 22 июня 1957.
[13] Письмо Л. Л. Ракову 6 июля 1957.
[14] ПНР. С. 285.
[15] Письмо Т. И. Морозовой 11 июля 1957.
[16] ПНР. С. 290.
[17] Письмо В. Л. и О. В. Андреевым 24 июля 1957.
[18] Письмо В. Л. Андрееву 26 июля 1957.
[19] *Андреев В. Л.* Из воспоминаний // СС-1, 3,2. С. 369.
[20] Там же. С. 370.
[21] ПНР. С. 291.
[22] Письмо В. Л. и О. В. Андреевым 6 августа 1957.
[23] ПНР. С. 291.
[24] Там же. С. 292.
[25] Письмо Р. С. Гудзенко <?> сентября 1957.
[26] Письмо Л. А. Андрееву (Алексеевскому) <12 октября 1957>
[27] *Смирнов А.* Вокруг «Розы Мира». С. 97.
[28] Письмо Р. С. Гудзенко <?> сентября 1957.
[29] Письмо Г. Л. Гудзенко 22 сентября 1957.
[30] Письмо Т. И. Морозовой 20 сентября 1957.
[31] Письмо Г. Л. Гудзенко 22 сентября 1957.
[32] Письмо Р. С. Гудзенко <?> сентября 1957.
[33] Письмо Ю. И. Пантелееву 25 сентября 1957.
[34] Письмо Т. И. Морозовой 20 сентября 1957.
[35] *Смирнов А.* Вокруг «Розы Мира». С. 100.
[36] *Усова И. В.* Указ. соч. С. 227.
[37] *Озеров Л. А.* Безмерность мира (Даниил Андреев) // СС-1, 3,2. С. 474–475.
[38] Письмо В. В. Шульгину 30 марта 1958. // Звезда. 2009. № 3. С. 155.
[39] Письмо В. Л. и О. В. Андреевым 20 октября 1957.
[40] Письмо Л. Л. Ракову 4 октября 1957.
[41] Там же.
[42] Письмо Л. А. Андрееву (Алексеевскому) <12 октября 1957>.
[43] *Смирнов А. Г.* Даниил Андреев и его окружение // СС-1, 3,2. С. 471
[44] *Чуков Б. В.* Указ. соч. С. 294.
[45] Письмо Ю. И. Пантелееву 30 ноября 1957.
[46] Письмо В. В. Шульгину [28 мая] 1958. // Звезда. 2009. № 3 . С. 157.
[47] Там же.
[48] *Смирнов А. Г.* Даниил Андреев и его окружение. С. 471.
[49] Письмо Г. Л. Гудзенко 9 ноября 1957.
[50] Письмо Ю. И. Пантелееву 30 ноября 1957.

[51] ПНР. С. 118.
[52] Письмо В. Л. и О. В. Андреевым [декабрь] 1957.
[53] ПНР. С. 293–294.
[54] Там же. С. 294.
[55] Письмо Т. И. Морозовой 25 января 1958.
[56] ПНР. С. 286–287.
[57] Письмо Р. С. Гудзенко 9 марта 1958.
[58] ПНР. С. 295.
[59] См. текст письма К. И. Чуковского: Тюремная одиссея Василия Шульгина: Материалы следственного дела и дела заключенного. М.: Книжница; Русский путь, 2010. С. 300.
[60] Письмо Л. Л. Ракову 9 мая 1958.
[61] Там же.
[62] Письмо Л. М. Тарасову 31 мая 1958.
[63] *Чуков Б. В.* Указ. соч. С. 298.
[64] Там же. С. 298–299.
[65] ПНР. С. 295.
[66] Письмо Т. И. Морозовой 14 июня 1958.
[67] Письмо А. М. Грузинской 18 июня 1958.
[68] *Коржавин Н.* Указ. соч. С. 183.
[69] Письмо В. Л. и О. В. Андреевым 26 июня <19> 58.
[70] ПНР. С. 17–18.
[71] Письмо И. В. Бошко 18 авг<уста> <19>58.
[72] Из воспоминаний Ю. Л. Мининой (урожд. Тарасовой) // Архив Ю. Л. Мининой.
[73] Письмо И. В. Усовой 9 июля 1958.
[74] Письмо И. В. Бошко 17 июля <19>58.
[75] ПНР. С. 296.
[76] ПНР. С. 297.
[77] Письмо В.В. Шульгину 14 июля 1958. // Звезда. 2009. № 3. С. 159.
[78] ПНР. С. 296.
[79] Письмо И. В. Бошко 18 авг<уста> <19>58.
[80] Письмо Ю. И. Пантелееву 19 авг<уста> 1958.
[81] Письмо В. Л. Андрееву 11 сентября <19>58.
[82] Письмо А. М. Грузинской 13 окт<ября> <19>58,
[83] *Чуков Б. В.* Указ. соч. С. 309.
[84] Письмо Р. С. Гудзенко 1 октября 1958.
[85] Там же.
[86] Письмо В. В. Шульгину 21–24 октября <19>58.
[87] Письмо Б. В. Чукову 2 окт<ября> <19>58.
[88] ПНР. С. 297–298.
[89] Письмо Р. С. Гудзенко 1 октября 1958.
[90] Письмо Б. В. Чукову 31 окт<ября> <19>58.
[91] Там же.
[92] ПНР. С. 298–299.
[93] *Чуков Б. В.* Указ. соч. С. 294.

[94] Письмо З. Рахиму 21 окт<ября> <19>58.
[95] Письмо А. М. Грузинской 31 окт<ября> <19>58.
[96] ПНР. С. 299.
[97] Там же. С. 299–300.
[98] Письмо А. А. Андреевой [ноябрь 1958].
[99] Письмо А. А. Андреевой 24 ноября 1958.
[100] Письмо А. А. Андреевой 8 декабря 1958.
[101] Письмо А. А. Андреевой 12 декабря 1958.
[102] Там же.
[103] Письмо Р. С. Гудзенко 12 декабря 1958.
[104] Там же.
[105] Письмо И. В. Усовой 16 декабря 1958.
[106] Письмо А. А. Андреевой 7 декабря 1958.
[107] Письмо Д. Л. Андрееву 17 декабря 1958.
[108] Письмо А. А. Андреевой 12 декабря 1958.
[109] Письмо А. А. Андреевой 1 февраля 1959.
[110] Письмо А. А. Андреевой 26 января 1958.
[111] Письмо А. А. Андреевой 10 февраля 1958.
[112] ПНР. С. 301.
[113] Там же.
[114] ПНР. С. 302–303.
[115] Письмо В. В. Шульгину 21–24 октября <19>58.
[116] *Чуков Б. В.* Указ. соч. С. 310.
[117] *Усова И. В.* Указ. соч. С. 245.
[118] ПНР. С. 301.
[119] *Усова И. В.* Указ. соч. С. 246.
[120] *Чуков Б. В.* Указ. соч. С. 310.
[121] ПНР. С. 305–306.
[122] *Усова И. В.* Указ. соч. С. 247.

ЭПИЛОГ

[1] *Малахиева-Мирович В.* О преходящем и вечном. С. 143.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*

Абакумов Виктор Семенович (1908–1954), министр государственной безопасности СССР (1946–1951); расстрелян – 334, 335, 342, 353, 364, 373, 377, 452, 463, 464, 469, 477, 556

Абрамов А. М. – 548

Авиценна (Али Абу Ибн Сина; 980–1037), персидский ученый, философ, врач – 543

Аврущенко Владимир Израилевич (1908–1941), поэт, переводчик; в 1928 г. осужден на три года по ст. 153 ч. 2 УК РСФСР по так называемому «делу трех поэтов»; в начале Великой Отечественной войны ушел на фронт добровольцем, попал в плен и был казнен фашистами – 99

Авсюк Григорий Александрович (1906–1988), физико-географ, один из основоположников российской гляциологии – 318

Авсюк Маргарита Ивановна, географ; жена Г. А. Авсюка – 318, 330

Авсюки, семья – 318, 330

Азимов Сулейман, второй секретарь ЦК КП(б) Узбекистана; заключенный Владимирской тюрьмы (1938–1954) – 385

Аксаков Сергей Тимофеевич (1791–1859), писатель – 18

Аксаковы, семья – 41, 108

Александр I Благословенный (1777–1825), российский император (с 1801) – 171, 177, 490, 528

Александр II Освободитель (1818–1881), российский император (с 1855) – 29, 369, 381

Александр III (1845–1894), российский император (с 1881) – 58

Александр Македонский (356–323 до н. э.), царь Македонии, великий полководец – 438

Александр Невский (ок. 1220 – 1263), полководец, князь новгородский (1236–1251), великий князь владимирский (с 1252) – 522

Александров Владимир Александрович, художник, искусствовед; до ареста – художник Бюро по обслуживанию иностранцев при Министерстве иностранных дел; сокамерник Д. Л. Андреева – 385, 413, 417, 418, 458, 459, 476

Алексей Михайлович (1629–1676), русский царь (с 1745) – 6, 312

Алексей, цесаревич (1904–1918), наследник цесаревич и великий князь, единственный сын Николая I; убит вместе царской семьей – 41, 541

Алексеевский Аркадий Павлович (1871–1943), журналист; гражданский муж Р. Н. Андреевой – 547

---

* Имена, встречающиеся только в примечаниях, как правило, не аннотируются.

Алексеевский Лев Аркадьевич (1902–1951), флотский инженер-механик; умер в заключении; двоюродный брат Д. Л. Андреева – 114
Алексеевский (Андреев) *Леонид (Люсик) Аркадьевич* (1903–1974), инженер-проектировщик гидроэлектростанций; двоюродный брат Д. Л. Андреева – 114, 503, 507, 565
Св. Алексий, человек Божий (конец IV – нач. V в.), христианский святой, почитаемый православной (17/30 марта) и католической церквями – 541
Аллилуева (в замуж. Джугашвили) Надежда Сергеевна (1901–1932), вторая жена Сталина; покончила с собой – 366, 382
Альбов Николай Михайлович (1866–1897), ботанико-географ и путешественник – 326
Альбрехт фон Шарфенберг, автор поэмы «Младший Титурэль» (1260–1275) – 178
Альтшуллер М., студент ВГЛК – 99
Ампер, Андре-Мари (1775–1836), французский математик и физик – 60
Амуров Николай Павлович, главный врач госпиталя – 291, 315, 316, 380
Ананькина Елизавета, хозяйка дома в Копанове – 498, 502
Андерсен, Ханс Кристиан (1805–1875), датский писатель – 126
Анджелико, Фра (Фра Джованни да Фьезолле; ок. 1400–1455), итальянский художник – 209
Андреев Александр Вадимович; Сашук (р. 1937), переводчик; сын В. Л. Андреева – 323, 502
Андреев Вадим Леонидович; Дидишка (1902–1976), поэт, прозаик; старший брат Д. Л. Андреева – 6, 10, 11, 15, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 30, 31, 34, 59, 87–89, 98, 105–107, 110, 112–114, 116, 117, 120–123, 130–135, 139, 165, 167, 169, 170, 179, 206, 208, 210–213, 226, 231, 232, 246, 288, 321–323, 363, 364, 471, 499, 500, 502, 506, 510, 520, 535, 546, 548, 550–555, 558, 565, 566
Андреев Валентин Леонидович (1912–1988), артист балета, художник; брат по отцу Д. Л. Андреева – 30
Андреев Леонид Николаевич (1871–1919), прозаик, драматург; отец Д. Л. Андреева – 5–15, 17, 20, 21, 23–25, 27, 29–32, 34, 54, 55, 73, 74, 85, 87, 106, 107, 110, 112, 114, 117, 119–123, 127, 158, 169, 208, 251, 286–289, 303, 313, 321, 326–329, 378, 476, 496, 503, 506, 510, 512, 516, 535, 542, 546, 547, 552, 558
Андреев Николай Иванович (1847–1889), дед Д. Л. Андреева – 6
Андреев Павел Николаевич (1878–1923), художник, учитель рисования; брат Л. Н. Андреева – 9, 14, 107, 115
Андреев Савва Леонидович (1909–1970), артист балета, художник; брат по отцу Д. Л. Андреева – 30
Андреева (урожд. Пацковская) *Анастасия Николаевна* (1851–1920), бабушка Д. Л. Андреева – 6, 9, 25, 26
Андреева (урожд. Велигорская) *Александра Михайловна* (1881–1906), мать Д. Л. Андреева – 6–14, 17, 23, 24, 30, 31, 314, 378, 458, 542, 546
Андреева (урожд. Бружес, в первом замуж. Ивашева-Мусатова) *Алла Александровна* (1915–2005), художник, мемуарист; жена Д. Л. Андреева – 38, 48, 52, 78, 79, 90, 97, 104, 105, 128, 129, 156, 171, 176, 183, 189, 198, 201, 216, 225, 228–231, 236–239, 242, 244, 245, 251–253, 257, 266,

269, 278, 280, 281, 286, 291, 293–305, 307–310, 312–321, 323, 324, 326, 328–336, 338, 339, 344–346, 351, 355–357, 362–364, 369–376, 380, 381, 394, 395, 413, 426–429, 436–438, 440, 441, 443–449, 452, 453, 455, 458–460, 462–464, 467–470, 472–484, 490, 492–507, 509–512, 516–524, 526, 527, 529–543, 546, 548–562, 564, 565

Андреева (урожд. Климентова) *Анна Ивановна* (1878–1953) – первая жена П. Н. Андреева – 115

Андреева (урожд. Денисевич; в первом замуж. Карницкая) *Анна (Матильда) Ильинична* (1885–1948), вторая жена Л. Н. Андреева – 20, 32, 87, 107, 551

Андреева (в замуж. Рыжкова) *Вера Леонидовна* (1910–1986), прозаик, мемуарист; сестра Д. Л. Андреева по отцу – 22, 30

Андреева (в замуж. Тройнова) *Зинаида Николаевна* (1884–1905), сестра Л. Н. Андреева – 12

Андреева (в замуж. Морозова) *Лариса Павловна* (1904–1951), двоюродная сестра Д. Л. Андреева – 115

Андреева (урожд. Стольникова) *Наталья Матвеевна* (1883–1962) – жена В. Н. Андреева, брата Л. Н. Андреева – 54, 59, 549

Андреева (в замуж. Карлайл) *Ольга Вадимовна* (р. 1930), журналист; дочь В. Л. Андреева – 124, 179, 323, 558

Андреева (урожд. Федорова, по матери Колбасина, по отчиму Чернова) *Ольга* (Митрофановна) *Викторовна* (1903–1978), мемуарист; жена В. Л. Андреева – 88, 113, 117, 124, 179, 208, 214, 323, 499, 551, 553, 554, 565, 566

Андреева (в 1-м браке Алексеевская, во 2-м Оль, в 3-м Верещагина; 1881–1941) *Римма Николаевна* (1881–1941), сестра Л. Н. Андреева – 54, 107, 115, 322, 549, 558

Андреева-Бальмонт Екатерина Алексеевна (1867–1950), переводчик, мемуаристка; вторая жена К. Д. Бальмонта – 312

Андреевы, братья – 23, 24, 31, 501

Андреевы, семья – 17, 59, 311, 329, 335, 351, 358, 494, 497, 498, 507, 508, 533

Аниканов Степан Федорович (1864–1931), поэт-крестьянин, с 1924 учился на ВГЛК – 83

Анна, соседка Андреевых– 538

Анна Иоанновна (1693–1740), российская императрица (с 1730) – 311

Анненкова Ольга Николаевна (1884–1949), переводчица; участница антропософского движения – 312

Анненский Иннокентий Федорович (1855–1909), поэт, переводчик, критик – 136

Анохин В., студент ВГЛК – 99

Антокольский Павел Григорьевич (1896–1978), поэт – 476

Антонов, прокурор – 369

Ануфриева Наталья Даниловна (1905–1990), поэт – 332

Арманд (урожд. Стеффен) *Инесса* (1874–1920), деятель большевистской партии – 212

Арманд Ирина Львовна (1916–1988), филолог; осуждена по делу Д. Л. Андреева – 212, 315, 324, 330, 333, 345, 374, 375, 380, 381, 467

Арманд Лев Эмильевич (1880–1942), отец И. Л. Арманд – 212

Арманд (урожд. Сапарова) *Тамара Аркадьевна,* мать И. Л. Арманд; двоюродная сестра П. А. Флоренского – 212, 330, 345, 347
Арндт, Эрнст Мориц (1769–1860), немецкий писатель – 262
Арнольд, Эдвин (1832–1904), английский поэт, журналист и издатель; ряд лет жил в Индии, которой посвящены его наиболее значительные произведения (поэма «Свет Азии»; 1879), изучал индийскую мифологию и философию, писал о взаимосвязи христианства и буддизма – 193
Арсений, архимандрит – 117, 551
Артамонов Николай Дмитриевич (1840–1918), геодезист; почетный член Русского географического общества (с 1917) – 324
Артемов, следователь следственной части по особо важным делам МГБ – 464
Архимед (287–212 до н. э.), древнегреческий ученый, математик и механик – 172, 173, 175
Асвагоша (Ашвагхоша), индийский поэт и драматург, живший предположительно во II в. н. э. – 193
Асеев Николай Николаевич (1889–1963), поэт – 135, 330
Аткинсон, Уильям Уолкер (1862–1932), американский адвокат, коммерсант, издатель и писатель; под псевд. Йог Рамачарака писал об индуизме и оккультизме – 48, 52, 53, 57, 146, 192, 389, 391, 549
Афанасьев Владислав Николаевич (1911–1970), литературовед – 535
Ахматова (наст. фам. Горенко) *Анна Андреевна* (1889–1966), поэт – 324

Б*абель Исаак Эммануилович* (1894–1940), писатель; расстрелян – 122, 123, 211, 212
Бабков И. И., автор популярных географических книг – 325
Базаров, заключенный Владимирской тюрьмы – 413
Байрон, Джордж Ноэль Гордон (1788 –1824), английский поэт – 202
Бакунин Михаил Александрович (1814–1876), революционер, основоположник и теоретик анархизма – 72, 327, 558
Бакушинский Анатолий Васильевич (1883–1939), искусствовед – 160
Бальмонт Константин Дмитриевич (1867–1942), поэт – 19, 82, 193, 312
Банерджи, Анил Чандра, индийский историк – 448
Баранов В. И. – 547
Баранов, прокурор – 562
Баранская (урожд. Розанова, по матери Радченко) *Наталья Владимировна* (1908–2004), прозаик, литературовед, искусствовед – 83, 86, 550
Барбюс, Анри (1873–1935), французский писатель, журналист, член французской компартии – 288, 289
Барт, Август (1884–1916), историк религий Индии – 193, 554
Бах, Иоганн Себастьян (1685–1750), немецкий композитор – 33, 209, 303
Беатриче, Портинари (1266/1267–1290), «муза» и возлюбленная Данте Алигьери – 97, 303, 304
Бедный Демьян (наст. имя и фам. Ефим Алексеевич Придворов; 1883–1945), поэт – 85, 163
Безант, Анна (1847–1933), английская писательница, общественный деятель и глава Теософского общества Индии – 312
Безыменский Л. А. – 556

Бекетова М. А. – 550
Бекетовы, семья – 90
Бёкк, Ричард Морис (1837–1902), канадский психолог; автор труда «Космическое сознание» (1901) – 53, 146
Беклемишев Ю. С. – см. Крымов Ю. С.
Беклемишева Вера Евгеньевна (1881–1944), драматург, мемуарист; мать Ю. С. Крымова – 112, 120, 137, 266, 546
Белов Петр Матвеевич (1894–1937), зам директора Кунцевской комвольной фабрики; расстрелян – 236
Белоусов Евгений Иванович (1907–1977), инженер; сын И. А. Белоусова; осужден по делу Д. Л. Андреева, третий муж А. А. Андреевой – 128, 189, 190, 359, 361, 374, 378, 380, 381
Белоусов Иван Алексеевич (1863–1930), поэт, прозаик, переводчик – 5, 128
Белоусов Иван Иванович, сын И. А. Белоусова – 190
Белоусова Ирина Павловна, жена И. А. Белоусова – 128
Белоусовы, семья – 189
Белый Андрей (наст. имя и фам. Борис Николаевич Бугаев; 1880 –1934), поэт, прозаик, драматург, критик, литературовед – 9, 10, 82, 85, 92, 190, 312, 547
Бентивеньи, Франц Арнольд Эккард фон (1896–1958), один из руководителей военной разведки Третьего рейха; в 1945 взят в плен, в 1952 осужден на 25 лет, как военный преступник, в 1955 передан ФРГ – 382
Берберова Н. Н. – 553
Бергсон, Анри (1859–1941), французский философ – 415
Берковская Е. Н. – 558
Берлиоз, Гектор (1803–1869), французский композитор и дирижер – 33
Бернулли, Даниил (1700–1782), швейцарский физик и математик, физиолог – 173
Беришвили (Бериашвили) Шалва Несторович, литератор, грузинский эмигрант, жил в Париже; арестован после Второй мировой войны, заключение отбывал во Владимирской тюрьме; в 1953 допрашивался по делу Л. П. Берия – 402, 468, 479
Берия Лаврентий Павлович (1899–1953), советский партийный и государственный деятель; нарком, министр внутренних дел (1938–1945; март– июнь 1953); расстрелян – 343, 383, 400, 423, 425, 513
Берос; Бероз (ок. 350 – 280 до н. э.), вавилонский историк – 118
Бессарабова О. А. – см. Веселовская О. А.
Бессарабов Борис Александрович (1897–1970), художник – 36, 57, 546
Бессарабовы – 546–550
Бетховен, Людвиг ван (1770–1827), немецкий композитор – 33, 189, 230, 303, 313, 453
Бисмарк, Отто Эдуард Леопольд фон Шёнхаузен (1815–1898), германский государственный деятель – 11
Блаватская Елена Петровна (1831–1891), писательница, основательница Теософского общества – 192
Блок Александр Александрович (1880–1921), поэт – 21, 57, 62, 64, 70–75, 79, 80, 85, 91, 103, 104, 107, 136, 160, 166, 191, 199, 229, 238, 333, 356, 386, 389, 408, 433, 434, 450, 461, 466, 486, 528, 549, 554, 563

Блохина Ольга, одноклассница Д. Л. Андреева – 63
Бобров, младший лейтенант МГБ – 337
Бобровский М. – 556
Богомолов Н. А. – 561
Богоров Вениамин Григорьевич (1904–1971), океанолог и гидробиолог; член-корреспондент АН СССР (1958) – 47, 549
Богоров Г. В. – 549
Богоров Л. В. – 549
Богородский Федор Семенович (1895–1959), художник – 19, 230
Бодлер, Шарль (1821–1867), французский поэт – 18, 67, 248
Бокова Екатерина Николаевна (1904–1991), одноклассница Д. Л. Андреева – 258, 509
Боковы, сестры – 498
Бонзельс, Вольдемар (1880–1952), немецкий писатель – 221, 554
Боратынский Евгений Абрамович (1800–1844), поэт – 193
Борзов Михаил Епифанович (1889–1937), директор московской конторы Хлебпроект; расстрелян – 236
Борисов Николай, капитан, помощник военного прокурора 196 КСД – 286, 287
Бородин Александр Порфирьевич (1833–1877), композитор и ученый-химик – 303
Бородин С. П. – 550
Боттичелли (Алессандро ди Мариано Филипепи; 1445–1510), итальянский художник – 209
Бошко Ирина Владимировна, преподаватель литературы – 520–522, 566
Боцяновский В. Ф. – 547
Боян, песнотворец XI – нач. XII в., упомянутый в «Слове о полку Игореве» – 138
Бренев Евгений Константинович (1883–1938), преподаватель математики МВТУ им. Баумана; расстрелян – 93
Брик (урожд. Каган) *Лили Юрьевна* (1891–1978), жена О. М. Брика – 57
Брэм; Брем, Альфред Эдмунд (1829–1884), немецкий зоолог – 471
Бружес Александр Петрович (1887–1970), ученый-физиолог; отец А. А. Андреевой – 128, 228, 319, 320, 346, 347, 371, 390, 394, 426, 427, 447, 454, 463, 469, 503, 532, 562, 564
Бружес Маргарита, жена Ю. А. Бружеса – 319
Бружес Юрий Александрович (1922–1996), теоретик музыки, дирижер-хоровик, композитор; брат А. А. Андреевой – 315, 319, 346, 347
Бружес (урожд. Никитина) *Юлия Гавриловна* (1885–1962), мать А. А. Андреевой – 228, 300, 394, 399, 400, 426, 427, 434, 436, 438, 441, 442, 456, 458, 467, 468, 472, 493, 503, 515, 548, 561, 562, 564
Бружесы, семья – 300, 318, 319, 400, 441, 446–448, 456, 465, 468, 472, 493, 532
Брюсов Валерий Яковлевич (1873–1924), поэт – 19, 82, 83, 160, 248
Буткевич Глеб, одноклассник Д. Л. Андреева – 116
Булатович Александр Ксаверьевич (1870–1918 или 1919), богослов; исследователь Эфиопии – 324, 326

Булгаков Михаил Афанасьевич (1891–1940), прозаик и драматург – 97, 98, 100
Булганин Николай Александрович (1895–1975), председатель Совета министров СССР (1955–1958) – 463, 464, 467, 472
Бунина (урожд. Муромцева) *Вера Николаевна* (1881–1961), переводчица, мемуаристка; жена И. А. Бунина – 15, 17, 547
Бутова Надежда Сергеевна (1878–1921), актриса – 54–56
Бухарин Николай Иванович (1888–1938), советский политический и государственный деятель; расстрелян – 171, 180
Бушов Степан, крепостной Карповых – 6
Бушова Дарья Степановна, крепостная Карповых – 6,
Бэер Андрей, студент ВГЛК – 84

Вагнер, *Вильгельм Рихард* (1813–1883), немецкий композитор – 33, 179, 199–202, 209, 260, 261, 303, 313, 447, 461
Валленберг, Рауль (1912–1947), шведский дипломат; умер в тюрьме на Лубянке – 382
Валюм А. А. – 562
Василенко Виктор Михайлович (1905–1991), поэт, искусствовед; осужден по делу Д. Л. Андреева – 56, 160–162, 187, 194–196, 203, 204, 252, 254, 262, 315, 342, 345–350, 357, 358, 360–362, 369, 370, 374, 376, 378, 380, 381, 474, 553–555, 559, 560
Васильев Василий Павлович (1818–1900), китаевед – 193
Васнецов Виктор Михайлович (1848–1926), художник – 102, 151, 247
Вейдлинг, Гельмут (1891–1955), генерал артиллерии германской армии, командующий обороной и последний комендант Берлина; умер во Владимирской тюрьме – 382
Велигорская (урожд. Гнусина) *Вера Дмитриевна*, жена Петра М. Велигорского – 26, 27
Велигорская (урожд. Шевченко) *Евфросинья Варфоломеевна; Бусенька* (1846–1913), бабушка Д. Л. Андреева – 7, 9, 12, 14, 19–24, 312–313, 458, 542
Велигорский Григорий Никитич – 6
Велигорский Игорь Петрович (1899–1951), двоюродный брат Д. Л. Андреева – 26, 27
Велигорский (Корде-Велигорский) *Михаил Михайлович* (1840–1906), дедушка Д. Л. Андреева – 6, 7, 10, 112, 139
Велигорский Павел Михайлович (1875–1936 или 1937), дядя Д. Л. Андреева – 7, 8, 13, 138
Велигорский Петр Михайлович (1874–1912), дядя Д. Л. Андреева – 7, 8, 138
Велигорские (Веельгорские; Виельгорские; Вильегорские, Корде-Велигорские), семья – 6, 7, 8, 138, 546, 547, 552
Вельтман Александр Фомич (1800–1870), писатель – 108
Венус Георгий Давыдович (1898–1939), поэт, прозаик; участник Первой мировой и Гражданской войн, с 1920 в эмиграции, в 1926 вернулся в СССР, в 1935 арестован и сослан, в 1938 арестован вторично и умер в тюрьме – 106, 107

Вера (в миру Победимская Вера Павловна; ?–1949), игуменья Новодевичьего монастыря (с 1919); 13 декабря 1922 вместе с протоиереями Сергием Успенским и Александром Хотовицким приговорена к 10 годам лишения свободы – 39
Вересаев (Смидович) Викентий Викентьевич (1867–1945), писатель – 10, 13, 17, 120
Верещагин Василий Васильевич (1842–1904), художник-баталист – 315
Вергилий, Публий Марон (70 – 19 до н. э.), римский поэт – 73, 389
Вержбицкий Н. – 556
Верлен, Поль (1844–1896), французский поэт – 209, 248
Веркор (наст. имя Жан Брюллер; 1902–1991), французский писатель и художник – 525
Веселовская Анна Степановна (р. 1930), искусствовед-реставратор; дочь С. Б. Веселовского и О. А. Веселовской – 509
Веселовская (урожд. Бессарабова) *Ольга Александровна* (1896–1967), жена С. Б. Веселовского – 18, 19, 31, 32, 48, 54–56, 67, 72, 82, 89, 92, 93, 95, 96, 352, 546, 561
Веселовский А. Н. – 554
Веселовский Степан Борисович (1876–1852), историк, академик АН СССР – 240, 263, 556, 561
Веселовские, семья – 509
Вивекананда, Свами (наст. имя Нарендранатх Датт; 1863–1902), индийский философ, общественный деятель – 164, 252
Вильгельм I (1797–1888), германский император (с 1871) – 11
Вильпишевский Валентин Иосифович (1898–1938), зав. производством Мосгортранссоюза – 236
Виноградов Виктор Владимирович (1894–1969), литературовед и лингвист, академик АН СССР (с 1946) – 231
Виноградова (урожд. Ламакина) *Ольга Васильевна,* географ – 329, 549, 552, 554, 558
Витвер Иван Александрович (1891–1966), экономико-географ, страновед; профессор МГУ (с 1935) и МГИМО; школьный преподаватель истории Д. Л. Андреева – 45
Виттельсбах, Людвиг (1845–1886), король баварский (с 1861), поклонник и покровитель Р. Вагнера – 447
Воинов Василий Михайлович (1862–1943), астроном; организатор первого в России астрономического общества – 243
Волков Гавриил Андреевич (1902–1943), литературовед, сотрудник Музея Л. Н. Толстого; арестован в сентябре 1941, умер в заключении 10 июля 1943, реабилитирован в 1956 – 181, 366
*Волкова (*урожд. Муравьева*) Татьяна Николаевна* (1905–1997), литературовед; сотрудница Музея Л. Н. Толстого; осуждена по делу Д. Л. Андреева; арестована в июле 1948, освобождена в мае 1955, заключение отбывала в Инте – 25, 28, 146, 181, 363, 367, 374, 380, 381, 457, 464, 467, 538
Волковы, семья – 181, 367
Волохова (урожд. Анциферова) *Наталья Николаевна* (1878–1961), актриса – 74

Волошин Максимилиан Александрович (1877–1832), поэт, переводчик, художник – 135, 160, 175, 181, 183, 184, 248
Волошина (урожд. Заболоцкая) *Мария Степановна* (1887–1976), вторая жена М. А. Волошина – 175, 184, 189, 553, 554
Волькенштейн Владимир Михайлович (1883–1974), поэт, драматург, театральный критик и сценарист – 84
Вольтер (наст. имя и фам. Мари Франсуа Аруэ; 1694–1778), французский писатель – 91
Вольфин Исаак Маркович (1912?–1986 или 1987), дипломат, работал с А. М. Коллонтай в Швеции, затем преподавал иностранные языки в ВИИКА, в 1946 по обвинению в связях с иностранцами вместе с другими преподавателями института арестован; освобожден по реабилитации весной 1956; сокамерник Д. Л. Андреева – 418, 470, 494
Волынец Елена Саввишна (1898–1980), художник театра и кино – 347
Воронель Н. А. – 562
Ворошилов Климент Ефремович (1881–1969), председатель Президиума Верховного Совета СССР (1953–1960) – 435, 442, 474, 516
Вострышев М. И. – 551
Врубель Михаил Александрович (1856–1910), художник – 67, 70–72, 209, 241
Всеволод Большое Гнездо (1154–1212), великий князь владимирский – 396
Всеволод Святославич (ум. 1196), князь трубчевский и курский, брат Игоря Святославича Новгород-Северского – 138
Всехсвятская (в замуж. Галкина) *Ирина Константиновна* (?–1991), студентка ВГЛК – 86
Высоцкий Е. В. – 553
Выспянский, Станислав (1869–1907), польский поэт, драматург и художник – 293
Вышинский Андрей Януарьевич (1883–1954), государственный и партийный деятель; в 1935–1939 прокурор СССР – 358
Вяземский Петр Андреевич (1792–1878), поэт, критик – 86

***Г**агарины, княжны,* студентки ВГЛК – 83
Гаген-Торн Нина Ивановна (1900–1986), этнограф, историк, писатель; впервые арестована в 1936 и 5 лет провела в Колымском лагере, затем находилась в ссылке; вторично арестована в 1947 и пятилетний срок отбывала в Темниковских лагерях (Мордовия) – 356, 357, 559
Газарян С. – 561
Галаншина Т. Г. – 561
Галядкин Андрей Дмитриевич (1906–1975), художник, мемуарист; окончил искусствоведческое отделение МГУ; в 1940 арестован и по 1945 отбывал заключение в лагере Сухобезводное Лапшанга, в 1947 вновь арестован и освобожден в 1953, реабилитирован в 1957; после освобождения жил в Калинине; автор воспоминаний «Памяти Даниила Андреева» (1967) – 158–160, 254–256, 334, 553
Ганди, Мохандас Карамчанд (1869–1948), лидер и идеолог индийского национально-освободительного движения – 163, 164, 179, 181, 252, 526, 553

Гауптман, Герхард (1862–1946), немецкий прозаик, драматург – 202–203
Гегель, Георг Вильгельм Фридрих (1770–1831), немецкий философ – 203
Гельдерлин, Иоганн Христиан Фридрих (1770–1843), немецкий поэт – 248
Герман Ю. П. (?–1921), артиллерийский офицер; участник заговора Таганцева – 57
Герцен Александр Иванович (1812–1870), писатель – 84
Гёте, Иоганн Вольфганг (1749–1832), немецкий писатель – 67, 85, 96, 103, 200, 201, 260, 261, 554
Гиляровский Владимир Алексеевич (1853–1935), поэт, прозаик, журналист – 16
Гиппиус Зинаида Николаевна (1869–1945), поэт, прозаик, критик – 18
Гитлер, Адольф (наст. фам. Шикльгрубер; 1889–1945), рейхсканцлер и президент Германии – 258–263, 286, 302, 360
Гладков Александр Константинович (1912–1976), драматург и киносценарист; с 1948 по 1956 находился в заключении – 343
Глафира Иосифовна, крепостная Карпова – 5
Глюк, Кристоф Виллибальд (1714–1787), австрийский композитор – 33
Гогиберидзе Симон Леванович (1905?–1970), грузинский меньшевик, в 1942 арестован и приговорен к 25 годам заключения; в 1956 освобожден, затем арестован вновь и освобожден в 1967; сокамерник Д. Л. Андреева – 417, 418, 479, 496
Гоголев Павел Николаевич (1892–?), директор трубчевского Музея местного края (1930–1932) – 140, 167
Гоголь Николай Васильевич (1809–1952), писатель – 67, 108, 368, 377, 404, 433, 435
Голицын С. М. – 550, 551
Головин Александр Яковлевич (1863–1930), живописец, театральный художник – 520
Голоушев (псевд. Сергей Глаголь) *Сергей Сергеевич* (1855–1920), художественный, театральный и литературный критик – 17, 547
Голубцов Николай Александрович (1900–1965), протоиерей – 518, 541, 542
Гомер, легендарный древнегреческий поэт, автор «Илиады» и «Одиссеи» – 526
Гонта Мария Павловна (1904?–1995), актриса, журналистка и сценаристка – 233–236, 273
*Горобова (*наст. фам. Гублёр*) Александра Львовна* (1907–1985) – писательница, журналистка; первая жена Д. Л. Андреева – 100–102, 421, 494, 516, 550
Горский Александр Константинович (1886–1943), философ, поэт, публицист; в 1929 арестован и осужден на 8 лет, в 1937 выслан в Калугу, в 1943 вновь арестован – 333
Горький Максим (Пешков Алексей Максимович; 1868–1936), писатель – 9–14, 31, 106, 111, 112, 121, 123, 141, 142, 180, 188, 211, 212, 227, 407, 408, 547, 548, 551, 552
Готье, Теофиль (1811–1872), французский писатель – 209
Гречкины, хозяева дома в Горячем Ключе – 527

Гретри, Андре Эрнест Модест (1741–1813), французский композитор – 244
Грибоедов Александр Сергеевич (1795–1829), драматург, дипломат – 135, 223
Григ, Эдвард (1843–1907), норвежский композитор – 33, 306
Григорьев, следователь МГБ – 358
Грифцов Борис Александрович (1885–1950), искусствовед, литературовед, переводчик, критик; преподаватель Института слова и ВГЛК – 85
Гришунов Михаил Иванович (1909–1996), старший оперуполномоченный НКВД в 1940–1941 – 254
Громова Н. А. – 546, 552, 555
Гроссман Леонид Петрович (1888–1965), литературовед, прозаик – 72, 83, 326, 327, 535, 558
Грузинская Александра Митрофановна (1878?–?), жена А. Е. Грузинского; первая учительница Д. Л. Андреева – 24, 25, 520, 533, 566, 567
Грузинская Ирина Алексеевна (1905–1946), методист английского языка; дочь Грузинских – 24
Грузинский Алексей Алексеевич, сын Грузинских – 24
Грузинский Алексей Евгеньевич (1858–1930), литературовед, этнограф, педагог – 127
Грузинские, семья – 173, 174
Грушка Аполлон Аполлонович (1869–1929), филолог и археолог – 85
Гудериан, Гейнц Вильгельм (1888–1954), генерал-полковник германской армии – 267
Гудзенко Александр Родионович, сын Р. С. Гудзенко – 535
Гудзенко Галина Леонидовна, жена Р. С. Гудзенко – 485, 495, 509, 515, 565
Гудзенко Родион Степанович (1931–1999), художник; арестован в 1956, отбывал заключение до 1960 – 484–486, 488, 490, 495, 497, 504, 526, 527, 530, 559, 564–567
Гумилев Николай Степанович (1886–1921), поэт; расстрелян – 57, 127, 160, 162, 163, 166, 168, 188, 324, 325, 349
Гумилевский Лев Иванович (1890–1976), писатель – 174, 553
Гупты, династия – 420
Гутман Павел Львович (1886–1938), заведующий отделом распространения Гидрометиздата; расстрелян – 236
Гюго, Виктор Мари (1802–1885), французский писатель – 209, 303

Даниил Переяславский, преподобный – 524
Даниэль Юлий Маркович (1925–1988), поэт, прозаик, переводчик – 532
Данте, Алигьери (1265–1321), итальянский поэт – 73, 97, 220, 303, 304, 451, 494, 543
Дарвин, Чарльз Роберт (1809–1882), английский естествоиспытатель – 129
Датта, Дхирендрамохан, индийский историк философии – 448
Дашкевич Н. П. – 554
Дворецкий, работник политотдела 196 КСД – 288

Дворжецкий, фронтовой сослуживец Д. Л. Андреева – 315
Дега, Эдгар (1834–1917), французский художник – 485
Дедов Александр Михайлович, работник ЦК КПСС – 447
Дельвиг Антон Антонович (1798–1831), поэт – 84, 160
Дельвиг Игорь, студент ВГЛК – 84
Деникин Антон Иванович (1872–1947), военачальник, один из руководителей Белого движения, политический и общественный деятель, писатель – 32
Джемс, Уильям (1842–1910), американский философ и психолог – 125, 146, 147, 165, 193, 552, 553
Дживилегов Алексей Карпович (1875–1952), историк, искусствовед – 85
Джинс, Джемс Хопвуд (1877–1946), английский физик и астроном – 172, 176, 243
Джойс, Джеймс (1882–1941), ирландский писатель – 237
Джотто, ди Бондоне (1266 или 1267 – 1337), итальянский художник – 209
Джунковский Владимир Федорович (1862–1938), московский губернатор (1905–1913), товарищ министра внутренних дел (1913–1915), в советское время неоднократно арестовывался; расстрелян – 180
Джунковские, семья – 180
Дзержинский Феликс Эдмундович (1877–1926), председатель ВЧК и ГПУ СССР – 124
Дизель, Рудольф (1858–1913), немецкий инженер, создатель двигателя внутреннего сгорания – 175
Диккенс, Чарльз (1812–1870), английский писатель – 324, 504
Дмитриева В., сотрудница журнала «Знамя» – 517
Добров Александр Дмитриевич (1831–?), врач – 16
Добров Александр Филиппович (1900–1957), художник-оформитель; двоюродный брат Д. Л. Андреева – 19, 24, 26, 27, 38, 40, 42, 54, 56, 59, 82, 89, 96, 111, 129, 130, 155, 169, 293, 321, 322, 346, 351, 352, 361, 374, 380, 381, 421, 456, 467, 481, 507, 510
Добров Михаил Александрович, брат Ф. А. Доброва – 9
Добров Филипп Александрович (1869–1941), врач; дядя Д. Л. Андреева – 8, 9, 13, 15–17, 23, 24, 26, 27, 32–35, 37, 39, 54–56, 89, 104, 130, 142, 158–160, 210, 220, 226, 232, 253, 254, 256–258, 313, 322, 346, 350, 421, 519
Доброва (в замуж. Коваленская) *Александра Филипповна; Шура; Каинька* (1896–1956), двоюродная сестра Д. Л. Андреева – 18, 19, 21, 24, 25, 33, 40, 55–57, 67, 73, 90–92, 95, 96, 102, 111, 116, 130, 158, 159, 169, 174, 191, 230, 242, 275, 322, 346, 350, 351, 361, 380, 441, 456, 465–467, 493, 507
Доброва (урожд. Велигорская) *Елизавета Михайловна; Лиля* (1868–1943), тетя Д. Л. Андреева – 7, 8, 12, 13, 17, 21, 24, 39, 40, 41, 54–56, 62, 82, 97, 100, 102, 108, 110, 116, 130, 158, 159, 174, 187, 205, 206, 212, 220, 232, 237, 256, 257, 266, 272, 275, 277, 313, 322, 346, 351, 352, 421, 550, 551
Доброва Маргарита, вторая жена А. Ф. Доброва – 130, 169

Добровольский (псевд. Тришатов) *Александр Александрович* (1886–1965), поэт, прозаик; осужден по делу Д. Л. Андреева; отбывал заключение с 1948 по 1954 в Потьминских лагерях – 189, 190, 251, 361, 374, 377, 378, 380, 381, 457, 560

Добровы, семья – 8, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 30–34, 37–41, 52, 53, 55, 57, 73, 86, 88–90, 96, 97, 103, 104, 108, 110, 121, 129, 131, 138, 143, 158, 159, 186, 187, 225, 229, 230, 253, 254, 256, 266, 271, 303, 305, 313, 318, 322, 328, 329, 350, 351, 372, 380, 421, 458, 542, 548

Домбровский Юрий Осипович (1909–1978), поэт, прозаик, критик; в 1933 арестован и выслан из Москвы, вторично арестован в 1936, после ареста в 1943 отбывал срок на Колыме; после четвертого ареста в 1949 освобожден в 1955 – 88

Достоевский Федор Михайлович (1821–1881), писатель – 55, 67, 68, 70, 72, 73, 82, 85, 121, 126, 160, 190, 209, 242, 277, 293, 303, 317, 318, 326, 327, 333, 343, 431, 433, 453, 471, 512, 525, 558

Дуня, няня Д. Л. Андреева – 20, 21, 29, 313, 352

Дюрер, Альбрехт (1471–1528), немецкий художник – 203

Е*горов Борис Дмитриевич* (1906–1992), инженер-оптик; брат А. Д. Егоровой (Колмогоровой), одноклассник Д. Л. Андреева – 60, 62, 258

Егорова А. Д. – см. Колмогорова А. Д.

Ежов Николай Иванович (1895–1940), нарком внутренних дел СССР (с 1937); расстрелян – 223, 343, 381, 400, 464

Екатерина II (1729–1796), российская императрица (с 1762) – 370, 381, 546

Елагина (урожд. Юшкова; в первом замуж. Киреевская) *Авдотья Петровна* (1789–1877), переводчица, хозяйка литературного салона – 84

Елисеев Александр Васильевич (1859–1895), путешественник, исследователь Малой Азии и Африки – 324, 325

Еремеев Владимир Федорович, муж Г. С. Русаковой – 97

Ермилов Владимир Владимирович (1904–1965), критик и литературовед – 72, 99, 471,

Есенин Сергей Александрович (1895–1925), поэт – 83, 98, 135, 190, 280, 473, 497

Ефимов Д. П. – 554

Ефимов Орест Яковлевич (1898–1937), директор статистического сектора в планово-экономическом управлении Госбанка СССР; расстрелян – 236

Ж*данов Андрей Александрович* (1896–1948), партийный и государственный деятель – 324

Желабовская (урожд. Летник, в первом замуж. Гольдман) *Мария Александровна* (1907–1991), одноклассница и однокурсница по Высшим литературным курсам Д. Л. Андреева; жена И. А. Желабовского; вместе с мужем получила 8 лет лагеря в связи с делом Д. Л. Андреева – 86, 100, 380

Желабовский Игнат Александрович, летчик – 351, 380

Желабовские, семья, близкие друзья Д. Л. Андреева и Коваленских – 352, 378, 380

Жемчугова (наст. фам. Ковалева) *Прасковья Ивановна* (1768–1803), актриса, певица – 244
Житков (Жидков) Герман Васильевич (1878–1951) – искусствовед; заместитель директора ГТГ по науке – 315
Жордания Ной Николаевич (1868–1953) – политический деятель; 1918–1921 глава правительства Грузии; в 1921 эмигрировал во Францию – 417
Жуков Георгий Константинович (1896–1974), полководец, маршал Советского Союза (1943) – 153, 270
Жуков Михаил Андрианович, следователь отдела «Т» МГБ; старший следователь по делу Д. Л. Андреева – 339, 341
Жуковский Даниил Дмитриевич (1909–1938), поэт, переводчик, математик; в 1936 арестован и осужден на 5 лет за хранение стихов Волошина; в 1938 приговорен к расстрелу – 332
Жуковский Николай Егорович (1847–1921), ученый-механик, основоположник гидроаэродинамики – 92, 169, 170, 173
Журавлев Дмитрий Николаевич (1900–1991), актер, режиссер – 535

***З**аболоцкий Николай Алексеевич* (1903–1958), поэт, переводчик – 176
Загоскин Михаил Николаевич (1789–1852), прозаик, драматург – 108
Зайцев Борис Константинович (1881–1972), писатель – 10, 12, 17, 55, 549
Закурдаев И. В. – 559
Замарайкин, владелец чайной в Тарусе – 114
Захаров-Мэнский (наст. фам. Захаров) *Николай Николаевич* (1895 – после 1942), поэт; преподаватель ВГЛК; в 1938 арестован, погиб в заключении – 83, 85
Зегебардт (урожд. Доброва) *Софья Александровна,* органистка, сестра А. Ф. Доброва – 38, 277
Зиновьев Александр Александрович (1922–2006), философ – 345, 559
Зиновьев (Радомысльский) *Григорий Евсеевич* (1883–1936), советский государственный и партийный деятель; расстрелян – 186
Зощенко Михаил Михайлович (1894–1958), писатель – 324
Зубков, сокамерник Д. Л. Андреева во время следствия – 375

***И**бсен, Генрик* (1828–1906), норвежский драматург – 191, 303, 306, 461, 493
Иван (Иоанн) IV Грозный (1530–1584), великий князь московский и всея Руси (с 1853), первый царь всея Руси (с 1547) – 68, 73, 240, 398, 412, 513, 517, 540, 561
Иванов, следователь отдела «Т» МГБ – 341
Иванов Вячеслав Иванович (1866–1949), поэт – 82, 103, 136, 551
Иванов В. П. – 556
Иванова Л. В. – 546
Ивановская Мария Владимировна, жена А. М. Ивановского – 346
Ивановский Александр Михайлович (1905–?), художник; осужден по делу Д. Л. Андреева – 158, 255, 315, 346, 361, 374, 376, 380, 381, 467
Ивашев Василий Петрович (1797–1840), декабрист – 228
Ивашев-Мусатов Сергей Николаевич (Михайлович) (1900–1992), художник; первый муж А. А. Андреевой; осужден по делу Д. Л. Андреева – 33, 35, 47, 93, 204, 205, 227–229, 244, 245, 257, 269, 278, 294, 295, 298,

303, 304, 313, 315, 345, 347, 352, 357, 360, 361, 374, 375, 380, 381, 421, 481, 496, 509, 540, 548, 550, 557
Ивашева-Мусатова (урожд. Герасимова) *Нина Васильевна* (1922–?), последняя жена С. Н. Ивашева-Мусатова – 538, 539
Ивашева-Мусатова (урожд. Ивашева) *Полина Александровна* (1874?–1959), преподаватель немецкого языка; мать С. Н. Ивашева-Мусатова – 228, 346, 457
Игорь Святославович (1150–1202), новгород-северский князь (с 1178), черниговский (с 1199) – 136, 138
Игумнов Константин Николаевич (1873–1948), пианист, педагог – 16
Ильф (наст. фам. Файнзильберг) *Илья Арнольдович* (1897–1937), писатель – 98
Иоанн, апостол – 36, 109, 202
Св. Иосиф Аримафейский, по преданию, хранитель Святого Грааля – 199, 202
Исаев А. М. – 552

К*абир* (ок. 1440 – ок. 1518), индийский поэт – 164
Каганович Лазарь Моисеевич (1893–1991), государственный и партийный деятель – 141, 171, 180
Кадар, Янош (1912–1989), генеральный секретарь венгерской социалистической партии (1956–1988), председатель ВСРП (1988–1989); в 1951 арестован, в 1956 освобожден – 383
Калецкая Мария Самойловна (1906–1998), географ; жена С. Н. Матвеева; одноклассница Д. Л. Андреева, арестована весной 1949 и осуждена на 5 лет – 316, 317, 346, 381
Калиостро, Александр (наст. имя Джузеппе Бальзамо; 1743–1795), итальянский алхимик и авантюрист – 404
Каляев Иван Платонович (1875–1905), социал-революционер, террорист; в 1905 убил генерал-губернатора Москвы великого князя Сергея Николаевича – 350
Каменев (наст. фам. Розенфельд) *Лев Борисович* (1883–1936), партийный и государственный деятель; расстрелян – 142, 186
Канн С. И. – 548
Кант, Иммануил (1724–1804), немецкий философ – 69, 262
Карасик А. Н. – 553
Кардовский Дмитрий Николаевич (1866–1943), художник – 523
Карпов Андрей, орловский помещик, по преданию, прадедушка Д. Л. Андреева – 5, 6
Карпов Георгий Григорьевич (1898–1965), генерал-майор госбезопасности; председатель совета по делам Русской православной церкви при Совете министров СССР (1943–1960) – 325
Карповы, семья – 6
Касаткин Иван Михайлович (1880–1938), писатель; в 1938 арестован и расстрелян – 114, 551
Кейтель, немецкий офицер – 385, 419
Кемниц (урожд. Скородумова) *Анна Владимировна* (1903–?), балерина, хореограф; осуждена по делу Д. Л. Андреева, отбывала срок в Караганде – 189, 190, 231, 232, 360, 361, 380, 381, 495

Кемниц Виктор Андреевич (1906–?), инженер; в 1944 выслан из Москвы, работал старшим конструктором Пензенского машиностроительного завода; осужден по делу Д. Л. Андреева, отбывал заключение вместе с Е. И. Белоусовым и С. Н. Ивашевым-Мусатовым – 189, 190, 361, 380, 381, 467, 495
Кемницы, семья – 189, 190, 359, 360, 495
Кен Л. Н. – 547
Керенский Александр Федорович (1881–1970), председатель Временного правительства – 41
Кернер, Карл Теодор (1791–1813), немецкий поэт – 262
Кипен Александр Абрамович (1870–1938), писатель; автор воспоминаний о Л. Н. Андрееве – 120
Киров (наст фам. Костриков) *Сергей Миронович* (1886–1934), государственный и партийный деятель; убит – 106, 184–186, 223, 351
Киселева Зоя Васильевна (1908–1994), одноклассница Д. Л. Андреева – 90, 171, 227, 421, 496, 509
Киселева Екатерина Васильевна, сестра З. В. Киселевой – 171, 228
Киселева Милетина Григорьевна, мать З. В. Киселевой – 171
Киселевы, семья – 171, 228
Клейст фон, Пауль Людвиг Эвальд (1881–1954), генерал-фельдмаршал (с 1943); умер во Владимирской тюрьме – 382
Клодт (Клодт фон Юргенсбург) Николай Александрович (1865–1918), живописец, театральный художник – 102
Клычков Сергей Антонович (1889–1937), поэт, прозаик, переводчик; расстрелян – 237
Клюев Николай Алексеевич (1884 –1937), поэт; расстрелян – 512
Клюева Нина Георгиевна (1898–1971), микробиолог и иммунолог, член-корреспондент Академии медицинских наук СССР – 385
Кляйне Ирина – см. Энгельгардт И. И.
Книпович Евгения Федоровна (1898–1988), литературовед – 330
Князьков, следователь МГБ – 256
Кобулов Богдан Захарович (1904–1953), генерал-полковник: зам. наркома внутренних дел (1953); расстрелян – 269
Кобцев И. М., майор МГБ – 337
Ковалевский Егор Петрович (1809–1868), русский писатель и путешественник – 325, 326
Коваленская (урожд. Коньшина) *Вера Владимировна,* мать А. В. Коваленского – 92
Коваленские, семья – 89, 92, 112, 130, 137, 167, 191, 212, 229, 230, 266, 269, 275, 277, 278, 294, 295, 300, 303, 311, 318, 330, 351, 352, 381, 549
Коваленский Александр Викторович; Биша (1897–1965), поэт, прозаик, переводчик; осужден по делу Д. Л. Андреева – 67, 73, 88–96, 103, 107, 116, 118, 129, 130, 133–135, 158, 168–170, 173, 174, 185, 187, 191, 192, 196, 199, 200, 205, 214, 226, 230, 237, 241, 258, 268, 273, 274, 293, 306, 313, 321, 322, 329, 330, 333, 341, 346, 350–352, 360–362, 374, 375, 378, 380, 421, 441, 457, 461, 465–467, 493, 494, 507, 540, 541
Коваленский Виктор Михайлович (?–1924), математик; приват-доцент Московского университета – 92
Коваленский Михаил Иванович (1745–1807), писатель и государственный деятель – 91

Коваленский Николай Михайлович, председатель Виленской судебной палаты – 92
Ковруков Николай Степанович (1922–?) – ветеран 196 КСД – 282–284, 556
Коллонтай (урожд. Домонтович) *Александра Михайловна* (1872–1952), революционерка, государственный деятель и дипломат – 418
Колмогоров Андрей Николаевич (1903–1987), математик, академик АН СССР (с 1939) – 44, 46, 228, 498, 548
Колмогорова (урожд. Егорова, в 1-м браке Ивашева-Мусатова) *Анна Дмитриевна* (1903–1988), химик; с 1942 жена А. Н. Колмогорова – 228, 421,
Комаров Владимир Иванович (1916–1954), полковник, заместитель начальника следственной части по особо важным делам МГБ СССР (1946–1951); расстрелян – 342, 364, 375, 452, 463
Комиссаржевский Федор Федорович (1882–1954), режиссер, театральный педагог – 31
Конопницкая (урожд. Василевская), *Мария* (1842–1915), польская писательница; поэт, новеллист, критик и публицист – 274
Константинов Федор Константинович (1882–1964), художник, друг семьи Добровых; осужден по делу Д. Л. Андреева – 19, 89, 230
Коньшин Владимир Демьянович, дед А. В. Коваленского – 92
Коперник, Николай (1473–1543), польский астроном, создатель гелиоцентрической системы мира – 69
Копелев Лев Зиновьевич (1912–1997), литературовед-германист; арестован в 1945, освобожден в 1954 – 189, 554
Корень Сергей Гаврилович (1907–1969), артист балета и балетмейстер – 509
Коржавин (наст. фам. Мандель) *Наум Моисеевич* (р. 1925), поэт; в 1947 арестован и до 1954 отбывал ссылку – 352, 358, 520, 559, 566
Корин Павел Дмитриевич (1892–1967), живописец – 40
Корнеев Иван Алексеевич (1902–?), библиограф; арестован в 1946 и осужден на 7 лет, с 1953 по 1956 – в ссылке – 385
Коробкин Федор Семенович, учитель математики – 45
Коровин Константин Алексеевич (1861–1939), художник – 102
Коц Е. С. – 553
Кочетков Александр Сергеевич (1900–1953), поэт, переводчик – 227
Кретьен де Труа (ок. 1135 – ок. 1185), французский поэт и романист – 201
Кривошеина К. И. – 564
Крот Давид Иванович, капитан, начальник режима Владимирской тюрьмы, зам. начальника по оперативной части – 483
Кротовская Я. А. – 556
Круминьш, Валиа (Джони) (р. 1930?), лагерная подруга А. А. Андреевой – 501
Крумрайт, немецкий офицер – 385, 419
Крупенский Н. П., автор книги «Тайна императора. Александр I и Феодор Кузьмич» (Берлин: Медный Всадник, 1927) – 490
Крылов Иван Андреевич (1769–1844), баснописец – 25
Крымов (наст. фам. Беклемишев) *Юрий Соломонович* (1908–1941), писатель – 112, 120, 137, 138, 140, 170, 237, 238, 266, 552

Кудинов Михаил Павлович (1922–1994), поэт, переводчик; в 1948 осужден на 10 лет, освобожден в 1954 – 355
Кудинова В. Н. – 557
Кузмин Михаил Алексеевич (1872–1936), поэт, прозаик, критик; композитор – 400, 404, 416, 561
Кузнецова (Ивашева-Мусатова) Наталья Васильевна (1914–?), жена (с 1944 до ареста) С. Н. Ивашева-Мусатова – 295, 315, 345, 375, 380
Кузькин С. П. – 553
Кукрыниксы; псевд. художников: Куприянова Михаила Васильевича (1903–1991), Крылова Порфирия Никитича (1902–1990), Соколова Николая Александровича (1903–1991) – 510, 512
Кулиш – 5
Кулыгин Иван Федорович, майор, следователь отдела «Т» МГБ – 259, 260, 336, 339, 341, 355, 356
Куприна-Иорданская (урожд. Давыдова) *Мария Карловна* (1879–1966), первая жена А. И. Куприна – 535
Куприянов Геннадий Николаевич (1905–1979), партийный работник; во время войны генерал-майор, член военного совета Карельского фронта; арестован в 1950 по Ленинградскому делу, в 1957 реабилитирован – 383, 386, 560, 561
Куродо Сан, японский дипломат – 385, 419
Куропатков Е. П. – 556
Курочкин Петр Прокофьевич (р. 1934), сокамерник Д. Л. Андреева – 385, 416, 417, 419, 495, 560
Курская Мария Дмитриевна, дочь Д. И. Курского, наркома юстиции РСФСР (1918–1928) – 55
Кутепов Павел Александрович (1925–1983), сын генерала А. П. Кутепова, в 1945 арестован, в 1954 освобожден; сотрудник Отдела внешних церковных сношений Московского патриархата – 385, 419, 435
Кюхельбекер Вильгельм Карлович (1797–1846), поэт, прозаик, критик; декабрист – 135

Лазарянц Виталий Эммануилович (р. 1939), знакомый Д. Л. Андреева по Институту судебной психиатрии – 485
Ламакин Алексей Васильевич, сын Ламакиных – 253, 254
Ламакин Василий Васильевич (1903–1971), геоморфолог и геолог, исследователь Байкала; в 1934 арестован и до 1940 работал на Беломоро-Балтийском канале НКВД – 89, 170, 186, 187, 254, 338
Ламакин Николай Васильевич (1900–1937), геолог; в 1934 арестован и отправлен на Соловки; расстрелян – 89, 186, 187
Ламакина Анна Сергеевна (1908–1992), картограф – 170, 186, 237, 253, 254, 329, 338, 351, 552–555, 559
Ламакины, семья – 329, 494
Ламарк, Жан Батист Пьер (1744–1829), французский естествоиспытатель, создатель учения об эволюции живой природы – 129
Ланг, Фриц (1890–1976), немецкий и американский кинорежиссер – 199
Лапшин Иван Иванович (1870–1952), философ – 147, 551, 552
Левенок Анатолий *Протасович* (1909–1997) – 152, 153, 553

Левенок Всеволод *Протасович* (1906–1985) – 152, 166, 214, 215, 553
Левенок Евгения Протасовна (1899–1975), учитель астрономии трубчевской школы – 153, 154, 216, 553
Левенок З. П. – 553
Левенок И. П. – 553
Левенок Лидия Протасовна (1911–?) – 152, 252, 553
Левенок Олег Протасович (р. 1916) – 152, 153, 166, 553
Левенок Ольга П. – 553
Левенок Протасий Пантелеевич (Пантелеймонович; 1874–1958), художник, педагог – 150–153, 171
Левенки, семья – 148–150, 171, 214
Левик Вильгельм Вениаминович (1907–1982), поэт-переводчик, литературовед, художник – 333
Левин Константин Ильич (1924–1984), поэт; сотрудник Литературной консультации при Союзе писателей – 517
Левин Лев Григорьевич (1870–1938), врач-терапевт, заведовал терапевтическим отделением Кремлевской больницы; в 1937 арестован как участник правотроцкистского заговора; расстрелян – 211
Левитан Исаак Ильич (1860–1900), художник – 520
Ленин (Ульянов) *Владимир Ильич* (1870–1924), политический деятель, основатель Советского государства – 41, 42, 69, 86, 111, 134, 171, 262, 269, 372, 478, 528
Леночка –18
Леонардо да Винчи (1452–1519), итальянский живописец, скульптор, архитектор, ученый и инженер – 173, 175
Леонов Александр Георгиевич (1905–1954), генерал-майор, начальник следственной части по особо важным делам МГБ (1946–1951); расстрелян – 342, 348, 349, 364, 365, 375, 452, 463, 464
Леонов Леонид Максимович (1899–1994), писатель – 517
Леонова (в замуж. Апарова) *Елена (Нелли, Нэлли) Павловна* (1907–1984), одноклассница Д. Л. Андреева – 60, 62, 173, 493
Леоновы, семья – 212
Леонтьев Константин Николаевич (1831–1891), философ, писатель – 415
Лермонтов Михаил Юрьевич (1814–1841), поэт – 67, 70, 72, 73, 86, 151, 209, 303, 431, 433, 506
Лидов Петр Петрович (1881–1938), адвокат; расстрелян – 143, 552
Лидов Сергей, одноклассник Д. Л Андреева – 64
Лисицына Елена Федоровна (1915–1990), прозаик, автор неопубликованных мемуаров; первая жена Е. И. Белоусова; осуждена по делу Д. Л. Андреева – 189, 190, 216, 370, 374, 376, 378–381, 559, 560
Лист, Ференц (1811–1886), венгерский композитор, пианист и дирижер – 33, 303
Лихачев П., полковник юстиции – 502
Литковская Вера – 495
Логинов С. Н. – 561
Лосев Алексей Федорович (1893–1988), философ и филолог – 141
Локс Константин Григорьевич (1889–1956), литературовед, критик, переводчик – 85

Луговской Владимир Александрович (1901– 1957), поэт – 233
Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1904), политический деятель, писатель – 107
Лунц Даниил Романович (1912–1977), психиатр; зав. отделом экспертизы Института судебной медицины им. В. П. Сербского – 491
Лурье С. В. – 552
Лурье (в замуж. Алексеенко) *Нина Юрьевна* (1911–?) , студентка ВГЛК – 86
Лучишкин Сергей Алексеевич (1902–1989), художник, театральный деятель – 82, 550
Людендорф, Матильда (урожд. Матильда Фредерика Каролина Шпис, в первом замуж. фон Кемнитц; 1877–1966), немецкий психиатр, автор философских сочинений и мемуаров, вместе с мужем, генералом Эрихом Людендорфом, основала эзотерическое «Общество познания бога», в ее воззрениях сочетались мистика, призывы к возрождению языческих культов германцев и антисемитизм – 263
Львов Лоллий Иванович (1888–1967), поэт, прозаик, критик, журналист; с 1919 в эмиграции – 41

М*агидсон Адриана Соломоновна* (1906–1980), театральный художник и живописец; окончила ВХУТЕМАС, работала в театре В. Э. Мейерхольда; одноклассница Д. Л. Андреева – 60, 62–64
Макаров Степан Осипович (1848–1904), вице-адмирал (1896) – 415
Малахиева-Мирович Варвара Григорьевна (1878–1952), поэт, прозаик, переводчик, журналистка – 18, 40, 54–56, 95, 97, 125, 126, 129, 131, 145, 146, 164, 167, 169, 297, 346, 347, 544, 552, 553, 567
Маленков Георгий Максимилианович (1902–1988), государственный и партийный деятель – 423, 443, 447, 482, 493
Малмстад, Джон Э. – 561
Малютин Ростислав Митрофанович, сотрудник Литературного музея, знакомый Д. Л. Андреева – 251, 259, 260, 273, 324, 375, 376
Малютина Вера Федоровна, жена Р. М. Малютина – 251, 273, 324, 375
Малянтович Вадим Владимирович (1902–1937?), консультант Мосторга; расстрелян – 25
Малянтович Владимир Николаевич (1871–1937?); юрист; товарищ прокурора Московского окружного суда, с 1917 товарищ министра почт и телеграфа Временного правительства; расстрелян – 143
Малянтович Владимир Павлович (1895–1938), член московской коллегии защитников; арестован в 1937, 14 июня 1938 расстрелян – 143, 552
Малянтович Георгий Павлович (1898–1938), член московской коллегии защитников; арестован в 1937, 14 июня 1938 расстрелян – 143
Малянтович Павел Николаевич (1869–1940), адвокат; известный защитник на политических процессах, в 1917 министр юстиции Временного правительства; после революции – член московской коллегии защитников; в 1937 арестован, 22 января 1940 расстрелян – 25, 142, 143
Малянтовичи, семья – 143
Мамаев И. С., лейтенант МГБ – 337
Мандельштам Н. Я. – 558
Мандельштам Осип Эмильевич (1891–1938), поэт; погиб в лагере – 136, 233, 319, 512

Манн, Томас (1875–1955), немецкий писатель – 135, 532
Мансуров Сергей Павлович (1890–1929), священник, церковный историк – 340
Мансурова Мария Федоровна (урожд. Самарина; 1893–1876), жена С. П. Мансурова – 340
Марич (наст. фам. Чернышева) *Мария Давидовна* (1893–1961), автор романа «Северное сияние» (1926–1931), посвященного декабристам – 512
Марков А. Ф. – 547
Марков Владимир Федорович (1920–2013), литературовед, поэт; в 1941 попал в плен, затем жил в США, до 1990 – профессор калифорнийского университета – 401
Маркс Адольф Федорович (1838–1904), книгоиздатель – 170
Маслов А. – 490
Матвеев Сергей Николаевич (1893–1955), географ; осужден по делу Д. Л. Андреева – 316–318, 346, 361, 363, 374, 380
Машков Илья Иванович (1881–1944), художник – 228
Маяковский Владимир Владимирович (1893–1930), поэт – 57, 80, 83, 135, 235–236, 407, 408, 461, 552
Межибовская (в замуж. Горихина) *Виктория Григорьевна* (р. 1926), скульптор – 130, 191, 553, 554
Межибовская Ева Петровна – 89
Межибовская Евгения Петровна – 57, 89
Межибовские, соседи Андреевых–Добровых–Коваленских – 89, 494
Межлаук Чарна Марковна (Майерс–Михайлова; 1902–1941), жена (с 1932) В. И. Межлаука, расстрелянного в 1938; расстреляна 16 октября 1941 – 269
Менелику II (1844–1913), император Эфиопии (с 1889) – 324, 326
Меньшагин Борис Георгиевич (1902–1984), юрист; во время войны бургомистр Смоленска; 25-летний срок отбыл во Владимирской тюрьме – 382, 386, 419, 420, 435, 468, 560, 562, 564
Мережковский Дмитрий Сергеевич (1866–1941), писатель – 68, 193, 313
Меркулов И. Н., следователь по особо важным делам МГБ – 256
о. Мечёв Алексей Алексеевич (1859–1923), с 1893 священник храма Св. Николая в Кленниках на Маросейке; в 2000 причислен к лику святых Русской православной церкви – 55, 56
о. Мечёв Сергий Алексеевич (1892–1941), священник; в 1917 окончил словесное отделение историко-филологического факультета Московского университета; рукоположен в 1919, служил в храме Св. Николая в Кленниках на Маросейке; после многочисленных арестов расстрелян; в 2000 причислен к лику святых Новомучеников и Исповедников Русской православной церкви – 55
Микоян Анастас Иванович (1895–1978), государственный и партийный деятель – 423
Миклуха-Маклай Николай Николаевич (1846–1888), этнограф, антрополог, биолог и путешественник – 326

Миларайба; *Миларэпа* (1040–1123 или 1038–1112) – тибетский поэт и монах, принадлежал к буддийской школе Каджуд-па (Каргьютпа) – 192, 194–196, 202, 554
Мильтон, Джон (1608–1674), английский поэт – 67
Минаев Иван Павлович (1840–1890), востоковед, буддолог, основатель русской индологической школы – 193, 326, 448, 554
Миндовская (в замуж. Тарасова) *Валентина Леонидовна* (1912–1995), художница; друг Д. Л. Андреева с отроческих лет – 232, 290–292, 310, 311, 314, 347, 557, 558
Минина (урожд. Тарасова) *Юлия Львовна* – 324, 346, 522, 558, 566
Миролюбов В. С. – 547
Митрофанов Арсений (Арсентий) *Николаевич* (1897–1932), двоюродный брат Д. Л. Андреева, сын Митрофановой (урожд. Велигорской) Е. М. – 26, 27, 39, 40, 57, 89, 158
Митрофанов Владимир Павлович (1896–1979), юрист; автор воспоминаний «Леонид Андреев и семья Добровых» – 89, 113, 292, 306, 458, 538, 548, 551, 557
Митрофанов Николай Степанович (1868–1919), врач – 39, 40
Митрофанова (урожд. Велигорская) *Екатерина Михайловна* (1869–1943), тетя Д. Л. Андреева – 7, 39, 89, 108, 110, 111, 113, 158, 187, 212, 226, 266, 287, 322, 346
Мицкевич, Адам (1798–1855), польский поэт – 293
Михаил Федорович, следователь – 376
Михайлов А. Д. – 554
Михайлов И. – 559
Михно, соседи Добровых – 39
Моисеев Александр, студент ВГЛК – 84
Молотов (наст. фам. Скрябин) *Вячеслав Михайлович* (1890–1986), государственный и партийный деятель – 171, 180, 499,
Мольер, Жан Батист (1622–1673), французский драматург – 140
Мопассан, Ги де Анри Рене Альбер (1850–1893), французский писатель – 209
Морозов Василий Никитич (?–1942), муж Т. И. Морозовой – 173, 274
Морозова Александра Васильевна (р. 1930), дочь Т. И. Морозовой – 173
Морозова (в замуж. Палицына) *Вера Васильевна* (р. 1929), дочь Т. И. Морозовой – 173, 275, 518, 556, 557
Морозова Т. И. – см. Оловянишникова Т. И.
Морозова Феодосия Прокопьевна (1632–1675), боярыня, сторонница протопопа Аввакума – 55
Моцарт, Вольфганг Амадей (1756–1791), австрийский композитор – 33, 189, 303
Мравинский Евгений Александрович (1903–1988), дирижер – 313
Муравьев Николай Константинович (1870–1936), юрист, общественный деятель – 25, 38, 124, 142, 143, 181, 183, 225, 363, 553
Муравьева (урожд. Гусева) *Екатерина Ивановна* (1882–1969), жена Н. К. Муравьева; мать Т. Н. Волковой и И. Н. Угримовой; с 1922 по 1948 жила во Франции, куда выехала на лечение, и в 1948, с семьей Угримовых вернувшись в СССР, получила 5 лет ссылки – 363

Муравьева И. Н. – см. Угримова И. Н.
Муравьева Т. Н. – см. Волкова Т. Н.
Муравьевы, семья – 26, 28, 38, 97, 143, 180, 366, 538
Муромцева-Бунина В. Н. – см. Бунина В. Н.
Мусатов Николай Александрович, отец С. Н. Ивашева-Мусатова – 228
Мусоргский Модест Петрович (1839–1881), композитор – 209, 303
Мушкетов Иван Васильевич (1850–1902), геолог, географ и путешественник – 317
Мэлори, Томас – 178, 554

Н*абопаласар*, царь Вавилонии с 626 по 605 до н. э., основатель Нововавилонского царства – 118
Навуходоносор, сын Набопаласара, царь Нововавилонского царства с 605 по 562 до н. э. – 118
Надсон Семен Яковлевич (1862–1887), поэт – 159, 193
Налимов Василий Васильевич (1910–1997), ученый, математик и философ; муж И. В. Усовой; впервые арестован в 1936, освобожден в 1942, вторично в 1949 и сослан в Казахстан, реабилитирован в 1960 – 308, 343, 347, 421, 555, 558
Нансен, Фритьоф (1861–1930), норвежский полярный исследователь – 57
Настасья – 18
Наумова Н. И. – 551
Невский Владимир Иванович (1876–1937), публицист, историк; расстрелян – 121
Нейман Ю. М. – 550
Некрасов Кирилл, одноклассник Д. Л. Андреева – 62
Немчинов Андрей, друг детства А. Ф. Доброва – 26, 27
Неру, Джавахарлал (1889–1964), премьер-министр Индии (с 1947) – 448, 449
Нестеров Михаил Васильевич (1862–1942), художник – 520
Нешумова Т. – 552
Никитин Афанасий (ум. 1472), путешественник, писатель – 228
Николай I (1796–1855), российский император (с 1825) – 41, 381
Николай II (1865–1918), российский император в 1894–1917; расстрелян вместе с семьей – 41, 385, 541
Николайчук (Миколайчук) *Петр Власович* (?–1988), сокамерник Д. Л. Андреева – 436
св. Нил Столбенский (конец XV в.–1555), святой Русской православной церкви, основатель Нило-Столбенской пустыни – 139
Нилусы, семья – 6
Нитц, Гаральд А., немецкий офицер – 385, 414
Ницше, Фридрих Вильгельм (1844–1900), немецкий философ – 14, 69
Новалис (наст. имя и фам. Фридрих фон Хароденберг; 1772–1801), немецкий поэт и прозаик – 103
Новиков, майор, следователь по особо важным делам МГБ – 358, 374
Новиков Иван Алексеевич (1877–1959), писатель – 85, 359, 476, 496, 559, 565

Норов Авраам Сергеевич (1795–1969), ученый, поэт, путешественник; министр просвещения (1853–1858) – 326
Носова О. П. – 549, 563

***О**бразцов Сергей Владимирович* (1901–1992), актер, создатель и руководитель театра кукол – 509
Огольцов Сергей Иванович (1900–1976), генерал-лейтенант (с 1945) МГБ, заместитель министра МГБ (1946–1951), в 1953 арестован по обвинению в гибели С. М. Михоэлса, но вскоре освобожден; в 1959 лишен генеральского звания – 336
Озеров Лев Адольфович (1914–1996), поэт, переводчик, историк литературы – 505, 565
Оловянишникова (в замуж. Морозова) *Татьяна Ивановна* (1906–1974), друг Д. Л. Андреева с детских лет – 24, 25, 32, 48, 59, 69, 173, 258, 274, 275, 281, 300, 309–311, 494, 496, 499, 504, 509, 511, 519, 538, 548, 549, 556, 557, 565, 566
Оль (в 1-м браке Жуковская, во 2-м Корхова) *Галина Андреевна* (1910–1993), двоюродная сестра Д. Л. Андреева – 115,
Ольденберг, Герман (1854–1920), немецкий буддолог, санскритолог, историк религии – 193
Орджоникидзе Георгий Константинович (1886–1937), грузинский большевик, советский государственный и партийный деятель; покончил с собой – 407
Ордынский Юрий, одноклассник Д. Л. Андреева – 55
Орлов Александр Сергеевич (1871–1947), историк литературы, академик АН СССР (1931) – 83
Островский Николай Алексеевич (1904–1936), писатель – 233
Ослябя Родион (в монашестве Андрей), монах-воин, инок Троице-Сергиева монастыря – 156
Оттен Н. Д. – 551, 555

***П**авлова Г. Н.* – 547, 548, 552, 553
Павлова Каролина Карловна (1807–1893), поэт, переводчик – 85
Падма-Самбави; Падма Самбхава, основатель тибетского буддизма (VII в.) – 195
Палицына В. В. – см. Морозова В. В.
Пантелеев Юрий Иванович (1932–2003), знакомый Д. Л. Андреева по Институту судебной психиатрии – 485, 486, 488, 490, 504, 508, 525, 564–566
Парин Василий Васильевич (1903–1971), физиолог, академик АМН СССР (с 1944) и АН СССР (с 1966); арестован в 1947, освобожден в 1953 – 384–387, 400, 402, 403, 413–419, 422, 425, 459, 496, 560, 561, 565, 566
Парина (урожд. Марко) *Нина Дмитриевна* (1910–1995), врач; жена В. В. Парина – 384, 560, 561
Пасин В. С. – 553
Паскаль, Блез (1623–1662), французский философ, писатель, математик и физик – 173
Пастернак Борис Леонидович (1890–1960), поэт, прозаик, переводчик – 134, 135, 190, 200, 233, 236, 332, 534, 535, 552
Паустовский Константин Георгиевич (1891–1968), писатель – 289

Пацковская Зинаида Николаевна, двоюродная сестра Л. Н. Андреева – 21
Пацковские, семья – 6
Пересвет Александр (?–1380), монах-воин, инок Троице-Сергиева монастыря – 156
Перцов, домовладелец – 55
Петерс Яков Христофорович (1886–1938), революционер, один из создателей и руководителей ВЧК; арестован в 1937, расстрелян – 41
Петр I Великий (1672–1725), Царь Всея Руси (с 1682), первый Император Всероссийский (с 1721) – 74, 282, 389
Петров (наст. фам. Катаев) *Евгений Петрович* (1902–1942), писатель; соавтор И. Ильфа – 98
Петровский Дмитрий Васильевич (1892–1955), поэт – 233
Петровские, семья – 233
Петровых Мария Сергеевна (1908–1979), поэт, переводчица; училась на ВГЛК – 84, 88, 550
Пешкова (урожд. Волжина) *Екатерина Павловна* (1878–1965), жена А. М. Горького с 1896 по 1904; руководитель Московского Комитета помощи политзаключенным (1918–1937) – 13, 211, 212, 227, 476, 535
Пиккенброк, Ганс (1893–1959), один из руководителей Абвера, генерал-лейтенант; взятый в плен, содержался в тюрьмах Москвы и Владимира; в 1955 передан ФРГ – 382
Пильняк (наст. фам. Вогау) *Борис Андреевич* (1894–1938), писатель; расстрелян – 512
Пименов Револьт Иванович (псевд. О. Волин; 1931–1990), математик, историк; участник правозащитного движения; в 1957 арестован, с 1960 по 1963 заключенный Владимирской тюрьмы; в 1970 осужден вторично на 5 лет ссылки – 418, 561, 564
Пимоненко Николай Корнильевич (1862–1912), украинский живописец; академик Императорской Академии художеств (1904) – 150
Пинес Эсфирь Григорьевна, подруга А. Ф. Добровой – 40, 56, 57, 82
Пирогов Александр Степанович (1899–1964), оперный певец – 501, 502
Пирогов Григорий Степанович (1885–1931), оперный певец – 501
Платон (428/427 – 348/347 до н. э.), греческий философ – 69, 228,
Платонов Сергей Федорович (1860–1933), историк; академик Российской АН (1920); в 1930 арестован и выслан – 49
Плетнев Дмитрий Дмитриевич (1871–1941), врач, научный деятель и публицист; в 1937 арестован и осужден на 25 лет, после начала войны расстрелян – 211
Плотин (204/205 – 270), греческий философ –295
Плутарх (ок. 45 – ок.127), греческий писатель, историк – 404, 406
Плятт Ростислав Янович (1908–1989), актер – 535
По, Эдгар Алан (1809–1849) американский поэт и прозаик – 126
Побединский Иоанн, псаломщик – 13
Погодин Михаил Петрович (1800–1875), историк, писатель, публицист – 108
Покровский Михаил Николаевич (1868–1932), историк, советский политический деятель – 141
Полевицкая Елена Александровна (1881–1973), актриса – 535

Полевой (наст. фам. Кампов) *Борис Николаевич* (1908–1981), писатель – 445
Поленов Владимир Дмитриевич (1844–1927), художник – 13, 40, 113, 520
Поливанов Лев Иванович (1838–1899), литературовед; директор гимназии – 24
Полонский (наст. фам. Гусин) *Вячеслав Павлович* (1886–1932), критик, историк – 98
Поляков Г. П. – 553
Поплавский Борис Юлианович (1903–1935), поэт, прозаик; с 1921 в эмиграции – 124
Попов Иоанн, диакон – 13
Попов Юрий Михайлович (1906–1941), художник – 48, 60, 62, 63, 75–79, 116, 266, 420, 421, 549
Потемкин (Таврический) Григорий Александрович (1739–1791), князь, государственный деятель, полководец – 91
Пржевальский Николай Михайлович (1839–1888), географ и путешественник – 337
Прибылов Алексей –186
Прибылов Владимир – 186
Пришвин Михаил Михайлович (1873–1954), писатель – 112, 523, 551
Прокша Л. – 558
Проферансова (урожд. Васильева) *Ефросинья Михайловна* (ум. после 1956), мать Г. Н. Проферансова; постановлением ОСО НКВД 28 июля 1937 выслана в Малоярославец на 3 года – 250
Проферансов Георгий (Юрий) Николаевич (1911–1938), геолог; в 1936 арестован по делу анархистов-мистиков; постановлением ОСО НКВД 9 июля 1937 приговорен к 5 годам лагерей – 250
Проферансов Николай Иванович (1885 –1934), научный работник; в 1930 арестован и приговорен к 5 годам ссылки по делу мистической организации «Орден Света» – 250
Пруст, Марсель (1871–1922), французский писатель – 415
Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837), поэт – 84, 85, 134, 192, 226, 227, 231, 359, 415, 488, 529, 548
Пятаков Георгий Леонидович (1890–1937), партийный и государственный деятель, в 1923–1927, 1930–1936 член ЦК ВКП (б); в 1936 арестован по делу «Параллельного антисоветского троцкистского центра» и расстрелян – 225

***Р**абинович Мария (Амалия) Яковлевна* (1879–?), зубной врач – 367, 368, 374
Рагозина Зинаида Алексеевна (1835–1910), русская писательница; востоковед; автор четырехтомной «Древнейшей истории Востока», изданной на русском и английском языках – 118
Радченко Н. В. – см. Баранская Н. В.
Радек (наст. фам. Собельсон) *Карл Бернгардович* (1885–1939), советский политический деятель, журналист; погиб в заключении – 98, 225
Разин Степан Тимофеевич (ок. 1630 – 1671), донской казак, предводитель восстания (1670–1671) – 134

Раков Лев Львович (1904–1970), историк, искусствовед – 385, 400–407, 413–417, 425, 435, 442, 497, 498, 506, 507, 514, 516, 528, 540, 541, 560, 561, 565, 566
Ракова Анастасия Львовна, искусствовед; дочь Л. Л. Ракова – 406, 414, 561
Рама; Рамачандра; легендарный древнеиндийский царь, почитаемый как аватара Вишну – 198
Рамакришна, Парамахамса (наст. имя Гадахар Чаттерджи; 1836–1886), реформатор индуизма – 164, 252
Рамануджа, индийский религиозный реформатор XII в. – 196, 202
Рамачарака, йог – см. Аткинсон
Рапшголь, чиновник – 13
*Распутин (*Новых*) Григорий Ефимович* (1964/1865–1916)*,* крестьянин Тобольской губернии; друг семьи Николая II – 180
Раттенхубер, (Ганс) *Иоганн* (1897–1857), группенфюрер СС, начальник личной охраны Гитлера и шеф Имперской службы безопасности; в 1945 взят в плен, в 1955 передан властям ГДР – 382
Ратов Петр Филиппович, генерал-майор, с декабря 1942 по август 1944 командир 196 КСД – 281, 287
Рафалович Артемий Алексеевич (наст. имя Артур Абрамович; 1816–1851), врач и путешественник – 326
Рафальский Виктор Парфентьевич (1918–?), знакомый Д. Л. Андреева по Институту судебной психиатрии – 485, 488, 564
Рахим, Зея (Гарун аль-Каири; 1922–?), переводчик; сокамерник Д. Л. Андреева – 385, 418, 419, 447, 458, 459, 462, 465, 470, 496, 508, 516, 532, 567
Рачинский Григорий Алексеевич (1859–1939), литератор, переводчик, философ – 85, 200, 201, 554
Резник С. – 561, 562
Резников Даниил Григорьевич (1904–1970), поэт, критик, журналист; с 1919 в эмиграции – 87
Рейнфельд (Рейнефельд) *Евгения Николаевна* (урожд. Федулова; 1908–?), востоковед – 145, 164, 171–174, 206, 232, 552–555
Ремизовы, семья – 87
Ренье, Анри де (1864–1932), французский писатель – 209
Репин Илья Ефимович (1844–1930), художник – 60
Репман Евгения Альбертовна (1870–1937), основательница (с В. Ф. Федоровой) 1-й московской кооперативной прогимназии – 40, 43, 44, 46, 47, 61, 90, 228, 234
Репман Юрий Владимирович, математик, племянник Е. А. Репман – 234
Репман Христиан Карлович (1763–1837), нидерландский подданный, приглашенный в Россию для организации суконного производства; дед Е. А. Репман – 43
Репманы, семья – 212, 548
Рерих Николай Константинович (1874–1947), художник – 5, 195
Реформатская (урожд. Головачева) *Екатерина Андриановна* (1871–1942), окончила историко-литературное отделение Высших женских курсов (1917); учитель литературы – 45

Решетин Г. В. – 556
Рис-Дэвидс, Томас Уильям (1843–1922), английский ученый ориенталист, буддолог – 193
Рильке, Эрих Райнер Мария (1875–1926), австрийский поэт – 248
Римский-Корсаков Николай Андреевич (1844–1908), композитор – 102, 228, 303
Рихтер, Пауль Эдуард Мартин (1895–1961), немецкий актер – 199
Рогов Л. – 547
Рогович Алексей Петрович (1858–1935), с 1912 член Государственного совета, сенатор; после 1917 в эмиграции – 18
Ройцына О. В. – 548
Розанов Иван Никанорович (1874–1959), историк русской поэзии, библиограф и книговед – 85
Роллан, Ромен (1866–1944), французский писатель – 163, 252, 553, 555
Романович Игорь Константинович (1904?–1943), переводчик, стиховед; в 1937 арестован, умер в лагере – 116, 237
Ромашов Борис Сергеевич (1895–1958), драматург – 140
Ромашов Дмитрий Дмитриевич (1899–1963), генетик – 352, 559
Ропс, Фелисьен (1833–1898), бельгийский художник-символист – 67
Роскин Григорий Иосифович (1892–1964), цитолог и гистолог – 385
Россети, Данте Габриэль (1828–1882), английский поэт, художник – 304
Ростопчин Федор Борисович (1904–1937), востоковед; в 1935 арестован и выслан, в 1937 арестован вновь и расстрелян – 146, 173
Руденко Роман Андреевич (1907–1981), генеральный прокурор СССР (1953–1981) – 476
Рукавишников Иван Сергеевич (1877–1930), поэт, прозаик, драматург; преподаватель ВГЛК – 85
Русакова (в замуж. Еремеева) *Галина Сергеевна,* одноклассница Д. Л. Андреева – 48, 60, 62, 74–76, 97, 183, 216, 224, 258, 266, 303, 309–311, 346, 373, 496, 498
Русланова Лидия Андреевна (наст. имя и фам. Агафья Андреевна Лейкина; 1900–1973), певица; в 1948 арестована и приговорена к 10 годам, с 1950 отбывала срок во Владимирской тюрьме, в 1953 освобождена – 383
Рухадзе Николай Максимович (1905–1955), с 1927 в органах ОГПУ–НКВД–СМЕРШ–МГБ, министр ГБ Грузинской ССР (1948–1952); расстрелян – 417
Рыков Алексей Иванович (1881–1938), председатель Совнаркома СССР; расстрелян – 142
Рылеев Кондратий Федорович (1795–1826), поэт-декабрист – 115
Рюриковичи – 6
Рюисдаль; Рёйсдал, Якоб Исаакс ван (1628/1629 – 1682), нидерландский художник-пейзажист – 203

Садовник Николай, сокамерник Д. Л. Андреева – 460, 461, 561
Саладин (наст. имя: Садах–ад–дин Юсуф ибн Айюб; 1138–1193), султан Египта и Сирии, полководец – 179
Салтыков-Щедрин Михаил Ефграфович (1826–1889), писатель – 540

Сапожникова Нина Васильевна; окончила Алферовскую гимназию и Высшие женские курсы; учитель химии и географии – 45, 60, 316
Сафонов Вадим Андреевич (1904–2000), писатель; однокурсник Д. Л. Андреева по ВГЛК – 86, 116, 129, 351, 550
Сафонова Валентина Гурьевна, жена В. А. Сафонова – 129, 550
Свищов Паоло; Свищов-Паола Николай Иванович (1874–1964), фотограф-художник – 304
Северцов Николай Алексеевич (1827–1885), основатель русской орнитологии и зоогеографии – 317
Седов, следователь МГБ – 364
Сельвинский Илья (Карл) Львович (1899–1968), поэт и драматург – 132, 135
Семенов-Тян-Шанский Петр Петрович (1827–1914), географ, ботаник, статистик, государственный и общественный деятель – 317
Семпер-Соколова Н. Е. – 548, 553, 555, 556
Сенкевич, Генрик (1846–1916), польский писатель – 153
Сен-Симон, Клод Анри де Ревруа (1760–1825), социалист-утопист – 203
Св. Серафим Саровский (в миру Прохор Исидорович Мошнин; 1754 или 1759 – 1833), иеромонах Саровского монастыря, основатель и покровитель Дивеевской женской обители – 175, 431, 433
Сербский Владимир Петрович (1858–1917), психиатр, основоположник судебной психиатрии в России – 304, 482–484, 486, 490, 492, 504
Сервантес Саавера, Мигель де (1547–1616), испанский писатель – 226, 227
Серов Иван Александрович (1905–1990), первый заместитель министра внутренних дел (1947–1953), председатель КГБ СССР (1954–1958) – 364
Сидоров Алексей Алексеевич (1891–1978), искусствовед; член-корреспондент АН СССР – 85, 200, 554
Сикорский, Владислав (1881–1943), польский военачальник и политик; генерал-полковник – 259, 262, 556
Симонов Константин Михайлович (1915–1979), писатель – 476
Синезубов Николай Васильевич (1891–1956), художник; выехал в Германию в 1928, с 1931 жил во Франции – 116, 230, 555
Синезубова (урожд. Герасимова) *Нина Павловна,* жена Н. В. Синезубова – 230
Синкх, Нарендра Кришна, индийский историк – 448
Синявский Андрей Донатович (1925–1997), литературовед, прозаик, критик – 532
Сковорода Григорий Саввич (1722–1794), украинский философ, поэт – 91
Скоробогатова, врач Владимирской тюрьмы – 403
Скрябин Александр Николаевич (1871/1872 – 1915), композитор – 38, 189
Скрябина Ариадна Александровна (1905–1944), дочь А. С. Скрябина – 56, 57, 82
Скрябина (Шлётцер) *Татьяна Федоровна* (1883–1922), пианистка; вторая жена А. С. Скрябина – 57
Скуратов Малюта (наст. имя Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский; ?– 1573), один из руководителей опричнины, сподвижник Ивана Грозного – 424
Словацкий, Юлиуш (1809–1849), польский поэт и драматург – 293

Слушкин Валерий Ильич (р. 1936), знакомый Д. Л. Андреева по Институту судебной психиатрии – 485, 488, 490
Смирнов Алексей Глебович (1937–2009), художник, публицист; сын Г. Б. и Л. Ф. Смирновых – 116, 117, 180, 211, 260, 276, 278, 505, 507, 509, 551, 553, 556, 565
Смирнов Борис Васильевич (1881–1954), художник; отец Г. Б. Смирнова – 503
Смирнов Борис Леонидович (1891–1967), переводчик; врач-невропатолог и нейрохирург, академик АН Туркменской ССР – 526
Смирнов Глеб Борисович (1908–1981), художник – 90, 211, 235, 256, 260, 503, 555
Смирнова (Варакина) *Алла Давыдовна*, племянница И. М. Вольфина – 494, 509, 512
Смирнова Вера Васильевна (1898–1977), писательница, критик – 407
Смирнова (урожд. Абрамова) *Любовь Федоровна* (1910–1979), художник; жена Г. Б. Смирнова – 235, 555
Смирнова (урожд. Долманова), мать Г. Б. Смирнова – 503
Смирновы, семья – 116, 180, 503, 505, 507
Соболев Леонид Сергеевич (1898–1971), писатель – 535
Соболевский Сергей Иванович (1864–1963), филолог-классик, переводчик, педагог; член-корреспондент АН СССР (с 1928) – 85
Соколов Михаил Ксенофонтович (1885–1947), художник; арестован в 1938, в 1943 освобожден по болезни – 228, 229
Соколов Борис Матвеевич (1889–1930), литературовед, фольклорист – 83
Соколов Юрий Матвеевич (1889–1941), литературовед, фольклорист – 83
Соколовы, знакомые Д. Л. Андреева – 347
Сократ (470/469 – 399 до н. э.), древнегреческий философ – 228, 557
Солженицын Александр Исаевич (1918–2008), писатель – 204, 205, 560
*Соловьев Владимир Сергеевич (*1853–1900), философ, поэт – 69, 103, 109, 195, 200, 303, 333, 431, 433, 450, 499, 554
*Соловьев Сергей Михайлович (*1885–1942), поэт, переводчик – 85, 91, 550
Соловьевы, семья – 91
Сологуб (наст. фам. Тетерников) *Федор Кузьмич* (1863–1927), поэт, прозаик, переводчик – 193
Сольц Арон Александрович (1872–1945), партийный деятель, член Верховного суда СССР – 142
Сон Елизавета Константиновна (1903–1984), преподаватель художественного чтения; одноклассница Д. Л. Андреева – 62, 64, 82, 306, 315
Сорокин Г. А., подполковник, следователь по особо важным делам МГБ – 365, 366
Сосинский Владимир (Бронислав) Брониславович (Семихат Бронислав-Рейнольд-Владимир; 1900–1987), писатель; друг В. Л. Андреева с юношеских лет; в 1960 вернулся в СССР – 87, 322, 558
Спасская Зинаида Иосафовна, трубчевская учительница начальных классов – 167
Сталин Василий Иосифович (1921–1962), генерал-лейтенант авиации; сын И. В. Сталина; с 1953 по 1960 отбывал заключение во Владимирской тюрьме, числясь как Василий П. Васильев – 382

Сталин (наст. фам. Джугашвили) *Иосиф Виссарионович* (1879–1953), государственный и политический деятель – 106, 111, 127, 128, 140–143, 180, 181, 185, 186, 190, 206, 211, 212, 226, 227, 244, 252, 262–264, 268, 270, 286, 288, 289, 302, 307, 308, 311, 324, 335, 343, 345, 349–352, 357, 362, 364–368, 372, 374, 375, 377, 379, 383, 385, 391, 393, 401, 407, 408, 416, 422–425, 428, 452, 490, 493, 556, 558–561
Станиславский (наст. фам. Алексеев) *Константин Сергеевич* (1863–1938), актер, режиссер, теоретик театра – 15, 141, 249
Стефанович Николай Владимирович (1912–1979), поэт, переводчик – 331–335, 338, 341, 346, 347, 558
Стефанович Людмила Владимировна, сестра Н. В. Стефановича – 332
Стендаль (наст. имя и фам. Мари-Анри Бейль; 1783–1842), французский писатель –209
Строганова Надежда Александровна, преподаватель французского языка – 44, 45, 90, 228
Строганов, профессор – 90
Строгановы, семья – 44
Стругацкий Аркадий Натанович (1925–1991), писатель, переводчик – 532
Субботин Лев, одноклассник Д. Л. Андреева – 47
Сук Вячеслав (Вацлав) *Иванович* (1861–1933), дирижер и композитор – 102
Сурков Алексей Александрович (1899–1983), поэт – 517
Суслов Михаил Андреевич (1902–1982), с 1947 секретарь ЦК КПСС, с 1966 – член Политбюро ЦК КПСС – 447
Сухенко И. П. – 556
Сучков Борис Леонидович (1917–1974), литературовед, член-корреспондент АН СССР (с 1968); в 1947 арестован по обвинению в шпионаже, освобожден в 1955 – 364, 415
Сытина Елена Васильевна, студентка ВГЛК – 84

Т*агор, Рабиндранат* (1861–1941), индийский писатель – 448, 504
Таганцев Владимир Николаевич (1886–1921) биолог; расстрелян, как глава заговора – 57
Тамара, одноклассница Д. Л. Андреева – 62, 258
Тамерлан (Тимур; 1336–1405), среднеазиатский завоеватель – 315
Тарасов, генерал-майор, главный военный прокурор – 447
Тарасов Лев Михайлович (1912–1974), искусствовед, поэт – 292, 311, 314, 558, 566
Тарасова Алла Константиновна (1898–1973), актриса – 18, 55, 125, 254
Тарасова Ю. Л. – см. Миндовская Ю. Л.
Тарасовы, семья – 315, 324, 329, 346, 517, 521
Тарковский Арсений Александрович (1907–1989), поэт, переводчик – 88, 550
Тарле Евгений Викторович (1874–1955), историк – 492
Терехов, работник прокуратуры – 469
Телешов Николай Дмитриевич (1867–1957), писатель – 17, 30, 547
Тимирязев Климент Аркадьевич (1843–1920), естествоиспытатель – 266
Тимофеев А. – 98

Тимофеев Леонид Иванович (1903–1984), литературовед, член-корреспондент АН СССР (с 1958) – 274
Тихомиров В. М. – 548
Тихон (в миру Василий Иванович Белавин; 1865–1925), епископ Русской православной церкви, с 1917 патриарх Московский и всея России – 57, 108, 109
Св. Тихон Задонский (в миру Тимофей Савельевич Соколов; при рождении Кириллов; 1724–1783), епископ Русской православной церкви, богослов – 318, 320
Тихонов Николай Семенович (1896–1979), поэт и прозаик; общественный деятель – 233
Толстая-Есенина Софья Андреевна (1900–1957), внучка Л. Н. Толстого, жена С. А. Есенина – 83
Толстой Алексей Николаевич (1883–1945), писатель – 106, 330
Толстой Лев Николаевич (1828–1910), писатель – 83, 108, 181, 303
Толстой Сергей Сергеевич (1897–1974), филолог; внук Л. Н. Толстого – 107
Трапезников Вадим Александрович (1905–1994), ученый в области электротехники и автоматики; академик АН СССР (1960) – 46
Трифонов Ю. – 556
Трофимук Николай Александрович (1892–1937), начальник отдела Института авиационной медицины РККА; расстрелян – 236
Троцкий (наст. фам. Бронштейн) *Лев Давидович* (1879–1940), политический деятель; убит – 41, 55, 69, 171
Трубецкие, князья – 114, 139
Трубецкой А. В. – 559
Трубецкой Сергей Николаевич, князь (1862–1905), философ – 193, 295, 554
Туган-Барановский Михаил Михайлович (псевд. Свитязский; 1902–1986), писатель, сын экономиста и историка М. И. Туган-Барановского – 351
Туманова О. Т. – 554
Тураев Борис Александрович (1868–1920), востоковед; основоположник отечественной школы истории и филологии Древнего Востока – 118
Тургеневы, семья – 6
Тухачевская Нина Евгеньевна (1900–1941), переводчица; жена маршала М. Тухачевского; арестована в 1937; расстреляна – 269
Тютчев Федор Иванович (1803–1873), поэт – 80, 122, 166, 209, 303
Тынянов Юрий Николаевич (1894–1943), писатель, литературовед – 135

У*гримов Александр Александрович* (1906–1981), инженер; мемуарист – 363, 364, 376, 548, 559
Угримова (урожд. Муравьева) *Ирина Николаевна* (1903–1994), театральный художник; друг детства Д. Л. Андреева – 19, 25, 28, 38, 363, 538
Угримовы, семья – 457
Уиттимор (Уитмор), *Томас* (1871–1950), американский ученый-византинист и археолог, оказывавший благотворительную помощь учащимся и студентам русской эмиграции – 87
Уланова Галина Сергеевна (1910–1998), артистка балета – 509
Ульященко Евлампий Николаевич (1874–1946), трубчевский врач – 138, 167

Ульященко (урожд. Лопухина) *Ольга Викторовна,* жена Е. Н. Ульященко – 167
Ульященко (в замуж. Мельникова) *Любовь Евлампиевна* (1915–1996), дочь Е. Н. Ульященко – 167
Ульященко Владимир Владимирович (1932–1993), внук Е. Н. Ульященко; крестник Д. Л. Андреева – 167
Урусов Александр Иванович, князь (1843–1900), юрист, публицист – 312
Усова (в замуж. Налимова) *Ирина Владимировна* (1905–1985), близкая знакомая Д. Л. Андреева, автор воспоминаний о нем – 176, 228, 240–243, 247–250, 257, 261, 265, 271, 272, 275, 276, 279, 280, 347, 421, 494, 505, 536, 538, 540, 549, 550, 553–557, 564–567
Усова Мария Васильевна (1885 или 1886 – 1948), переводчица; мать Т. В. и И. В. Усовых – 248–250, 255, 297, 345, 347, 421
Усова Татьяна Владимировна (1904–1992), осуждена по делу Д. Л. Андреева – 247–250, 257, 272, 276, 277, 279–281, 294–297, 300, 339–342, 345, 347, 380, 381, 421
Усовы, семья – 247–250, 265, 276, 277, 279, 308, 347, 457
Успенский Сергий; Сергей Васильевич (1852–1930), протоиерей храма Спаса Преображения на Песках (1882–1922), благочинный округа и старший благочинный Москвы; в 1919 арестован, обвинен в сопротивлении новой власти и приговорен к 15 годам, затем амнистирован, в 1922 арестован и приговорен к 10 годам, в 1923 освобожден по старости – 13, 39, 40
Уэллс, Герберт Джордж (1866–1946), английский писатель – 337

Ф*аворский Владимир Андреевич* (1886–1964), художник – 352
Фадеев Александр Александрович (1901–1956), писатель; покончил с собой – 330, 374
Фатов Николай Николаевич (1887–1961), литературовед – 85, 547, 548, 550
Фатюков Иван Максимович, участник Сопротивления на острове Олерон – 321, 322
Св. Феврония (в миру Евфросинья), супруга муромского князя Давида, в иночестве Петра– 102, 396
Федин Константин Александрович (1892–1977), писатель – 330, 476
Федоров Митрофан Семенович (1870–1942), художник – 87
Федорова Вера Федоровна, основательница прогимназии (с Е. А. Репман) – 43, 47
Федор Иоаннович (1557–1598), царь всея Руси и великий князь московский (с 1584) – 524
Федченко Алексей Павлович (1844–1973), биолог, географ и путешественник; исследователь Средней Азии – 317
Фейхтвангер, Лион (1884–1958), немецкий писатель – 225, 236, 555
Феклуша, монахиня – 39, 108, 111, 130, 258
Феодор Кузьмич (1776–1864), сибирский старец– 490
Фет (Шеншин) *Афанасий Афанасьевич* (1820–1892), поэт, переводчик – 74, 160
Филатова (в замуж. Доброва) *Ирина,* первая жена А. Ф. Доброва – 111, 129, 321

Фима, Фимочка, дочь священника – 40, 89, 111
Финкельштейн Варвара Дмитриевна (урожд. Синайская; 1872 – ок. 1940), педагог; автор книги о дочери «Нерасцветшая» (1924), вышедшей с предисловием М. А. Волошина – 346
Фихте, Иоганн Готлеб (1762–1814), немецкий философ – 203
Флобер, Гюстав (1821–1880), французский писатель – 209
Флоренский Павел Александрович (1882–1937), философ, богослов, ученый; расстрелян – 44, 110, 137, 212
Фомин Александр Александрович (1868–1929), историк литературы и театра, музейный и библиотечный деятель – 90
Фра-Анжелико – см. Анджелико, Фра
Франк, Бруно (1887–1945), немецкий прозаик, поэт, драматург – 226, 227
Франс, Анатоль (Анатоль Франсуа Тибо; 1844–1924), французский писатель – 209
Фрунзе Михаил Васильевич (1885–1925), военачальник, герой Гражданской войны – 368, 382
Фрэнсис, Джэймс (1815–1892), американский гидротехник – 173
Фурье, Франсуа Мари Шарль (1772–1837), французский социалист-утопист – 203
Фурцева Екатерина Алексеевна (1910–1974), партийный и государственный деятель, член Президиума ЦК КПСС (с 1956), министр культуры СССР (1960–1974) – 486

***Х**аббл, Эдвин Пауэлл* (1889–1953), американский астроном – 243
Хандожевская Галина Юрьевна (1896–?), художник; третья жена А. Ф. Доброва – 346, 376, 380
Хаяси, Фумико (1903–1951), японская писательница – 508, 509
Хеопс, Хуфу, второй фараон IV династии Древнего царства Египта (2551–2558 или 2589–2566 до н. э.) – 15
Хижнякова Галина Васильевна, школьная подруга А. А. Андреевой – 334, 335, 341, 345
Хлебников (Велимир) Виктор Владимирович (1885–1922), поэт – 135, 136, 233, 255, 555
Хмельницкий Богдан Михайлович (ок. 1595 – 1657), гетман Украины (1648) – 6
Холмогоров Михаил Кузьмич (1870–1951) протодиакон; в 1891 окончил Московскую духовную семинарию, в 1910 рукоположен в диаконы, – 13
Хорьков Федор Михайлович (1922–2011), юрист; в 1943 работник прокуратуры 196 КСД, автор воспоминаний о Д. Л. Андрееве – 281, 282, 284, 291, 352, 556, 557
Хренников Тихон Николаевич (1913–2007), композитор – 476
Хрущев Никита Сергеевич (1894–1971), государственный и политический деятель (с 1951 – 1-й секретарь ЦК КПСС, с 1958 и председатель Совета министров) – 423, 425, 447, 464, 467, 486

***Ц**аплин Александр Петрович,* полковник; начальник госпиталя – 291, 315, 380

Цветаева Марина Ивановна (1892–1941), поэт – 57, 87, 269, 486, 546
Цезарь, Гай Юлий (102 или 100 – 44 до н. э.), римский полководец – 112
Цыбиков Гомбожаб Цэбекович (1873–1930), этнограф, востоковед, буддолог, переводчик, путешественник – 193, 195, 554
Цявловский Мстислав Александрович (1883–1947), литературовед – 83, 86

Ч*айковский Петр Ильич* (1840–1893), композитор – 189
Чапыгин Алексей Павлович (1870–1937), писатель – 135
Чаттерджи, Сатисчандра, индийский историк философии – 448
Черкасова З. В. – 553
Чернов Виктор Михайлович (1876–1952), политический деятель, один из организаторов партии социалистов-революционеров; с 1920 в эмиграции – 87
Чернова (в замуж. Сосинская) *Ариадна Викторовна* (1908–1974), переводчик, критик, мемуарист; в 1960 вернулась из эмиграции в СССР – 87
Чернова (в замуж. Резникова; урожд. Федорова) *Наталья* (Митрофановна) *Викторовна* (1903–1992), прозаик, переводчик, мемуарист; с 1921 в эмиграции – 87
Черновы, семья – 87
Чичерин Алексей Владимирович (1900–1989), литературовед; в 1930 арестован по «Делу членов кружка христианской молодежи», освобожден в 1933 – 333
Чубур А. А. – 553
Чуваков Вадим Никитич (1931–2004), литературовед, исследователь творчества Л. Н. Андреева – 535
Чуков Борис Владимирович (р. 1938), востоковед; автор фотографий Д. Л. Андреева и воспоминаний о нем – 298, 324, 342, 375, 485–487, 489, 490, 507, 509, 512, 516, 518, 526, 528, 530, 532, 538–540, 551, 557, 560, 564–567
Чуковский Корней Иванович (наст. фам. и имя Корнейчуков Николай Васильевич; 1882–1969), поэт, прозаик, критик, переводчик, литературовед – 39, 476, 504–506, 508, 516, 532, 548, 566
Чулков, домовладелец – 13, 16
Чулков Георгий Иванович (1879–1939), поэт, прозаик, критик, историк литературы – 14
Чуркин П. П., крестьянин деревни Денисово Тверского уезда; осужден в 1929 за антисоветскую деятельность – 124
Чюрленис Микалоюс Константинас (1875–1911), литовский художник и композитор – 451

Ш. – 341
Шаламов Варлам Тихонович (1907–1982), поэт, прозаик; в 1929 осужден на три года лагерей, в 1937 на 5 лет, в 1943 повторно на 10 лет, освобожден в 1951, реабилитирован в 1956 – 99, 457
Шавшина Марфа Федоровна, хозяйка дома в Трубчевске – 144, 148, 149
Шаляпин Федор Иванович (1873–1938), певец, актер – 38
Шантепи де ла Соссей, Пьер Даниэль (1848–1920), нидерландский протестантский теолог и историк религий – 118

Шатов Ефим Яковлевич (1897– ?), художник – 485, 497
Шахманов Яков Николаевич – 170, 171
Шахманова Вера Александровна – 170
Шахмановы, соседи Добровых – 170, 187
Шведов Вячеслав Григорьевич, участник заговора Таганцева – 57
Шверник Николай Михайлович (1888–1970), партийный и государственный деятель; Председатель комитета партийного контроля при ЦК КПСС (1956–1966) – 493, 517
Шевченко Варфоломей Григорьевич (1821–1892), троюродный брат и свояк Т. Г. Шевченко, автор воспоминаний о нем; прадед Д. Л. Андреева по материнской линии – 7, 378
Шевченко Тарас Григорьевич (1814–1861), украинский поэт – 7
Шён (Шиппанг), *Маргарет* (1895–1985), немецкая актриса – 199
Шелли, Перси Биши (1792–1822), английский поэт – 92
Шелякин Алексей Павлович (1906–1991), архитектор; одноклассник Д. Л. Андреева, осужден по его делу – 48, 59, 63, 69, 315, 347, 356, 374, 378, 380, 381, 435, 559
Шелякина Вера Ивановна, жена А. П. Шелякина – 474, 562
Шенгели Георгий Аркадьевич (1894–1956), поэт, переводчик – 83, 86, 550
Шенталинский В. А. – 551, 558
Шеншины, семья – 6
Шепелев Сергей Дмитриевич, адвокат; осужден по делу Д. Л. Андреева – 375, 380
Шервинский Сергей Васильевич (1892–1991), поэт, переводчик – 200, 330, 333
Шереметевы, графы – 244
Шестов (наст. фам. Шварцман) *Лев Исаакович* (1866–1938), философ – 125
Шик Михаил Владимирович (1887–1937), философ; священник – 125, 552
Шики, семья –250
Шиллер, Фридрих (1759–1805), немецкий поэт, драматург – 69
Шкловская (урожд. Суок) *Серафима Густавовна* (1902–1982), вторая жена В. Б. Шкловского – 476
Шкловский Виктор Борисович (1893–1984), прозаик, литературовед – 333, 476
Шолохов Михаил Александрович (1905–1984), писатель – 136, 291
Шопен, Фредерик (1810–1849), польский композитор – 33, 189, 303
Шопенгауэр, Артур (1788–1860), немецкий философ – 69, 191, 278, 554
Шостакович Дмитрий Дмитриевич (1906–1975), композитор – 509
Шпет Густав Густавович (1879–1937), философ, литературовед, переводчик; расстрелян – 85
Штейнер, Рудольф (1861–1925), немецкий философ, основатель антропософии – 312, 454
Шуберт, Франц Петер (1797–1828), австрийский композитор – 303

Шульгин Василий Витальевич (1878–1976), писатель, публицист, политический деятель, член II–IV Государственных дум; арестован в 1944, освобожден в 1956 – 53, 384–386, 388, 391, 393, 394, 402, 413, 414, 417, 430, 468, 474, 479, 490, 511, 516, 528, 549, 560, 561, 566, 567
Шуман, Роберт Александер (1810–1856), немецкий композитор и дирижер – 303

Щ*ербачев Кирилл,* одноклассник Д. Л. Андреева – 60, 62, 63
Щипачев Степан Петрович (1899–1978), поэт – 446
Щорс Николай Александрович (1895–1919), начдив Красной армии – 233
Щукина Антонина Васильевна, преподаватель естествознания – 45

Э*йзенштейн Сергей Михайлович* (1898–1948), кинорежиссер – 189
Эйлер, Леонард (1707–1783), математик, механик и физик – 173
Экк (наст. фам. Ивакин) *Николай Владимирович* (1902–1976), кинорежиссер, сценарист, актер – 233
Эллис (наст. имя и фам. Лев Львович Кобылинский; 1879–1947), поэт, переводчик, теоретик символизма – 92
Энгельгардт Ольга Яковлевна, воспитательница Д. Л. Андреева – 26, 28, 29, 38, 313
Энгельгардт Ирина Ивановна (Яновна; в замуж. Запрудная), дочь О. Я. Энгельгардт – 26, 28, 39, 314, 538
Эренбург Илья Григорьевич (1891–1967), поэт, прозаик, переводчик – 446
Эсфирь – см. Пинес Э. Г.
Эфрон Сергей Яковлевич (1893–1941), публицист, литератор; муж М. И. Цветаевой; расстрелян – 269
Эшенбах, Вольфрам фон (ок. 1170–ок. 1220), немецкий поэт – 178, 200, 202

Ю*зефа* –18
Юнкер Василий Васильевич (1840–1892), путешественник, исследователь Африки – 325, 326
Юон Константин Федорович (1875–1958), живописец – 315

Я*блочкина Александра Александровна* (1866–1964), актриса – 476
Ягода Генрих Григорьевич (1891–1938), нарком внутренних дел СССР (1934–1936), расстрелян – 211, 223, 343
Якубович-Мельшин (наст. фам. Якубович) *Петр Филиппович* (1860–1911), поэт – 423
Ященко Александр Леонидович (1868–1938), естествоиспытатель, путешественник, педагог; в 1937 арестован, расстрелян – 49

СОДЕРЖАНИЕ

Часть первая. ВОСХОД
1906–1923

1. Родословная – **5**. 2. Родители – **7**. 3. Рождение Даниила – **10**. 4. Добровы – **15**. 5. Младенчество – **19**. 6. Динозавры и первое стихотворение – **23**. 7. Отец и сын – **29**. 8. Дом в Малом Левшинском и его обитатели – **32**. 9. Гимназия Репман – **40**. 10. Планета Юнона и йог Рамачарака – **48**. 11. Два Кремля – **53**. 12. КИС – **59**.

Часть вторая. ДУГГУР
1923–1927

1. Дуггур – **65**. 2. Врубель, Лермонтов, Достоевский – **70**. 3. Блок – **73**. 4. Галина Русакова – **75**. 5. Юрий Попов – **76**. 6. Поступки – **79**. 7. Высшие Литературные курсы – **82**. 8. Семья – **87**. 9. Коваленский – **91**. 10. Московские химеры – **96**. 11. Женитьба на нелюбимой – **100**. 12. Двенадцать Евангелий – **102**.

Часть третья. СОЛНЦЕВОРОТ
1927–1930

1. Большая отрада, что я не писатель – **106**. 2. Второе озарение – **108**. 3. Обыденность – **110**. 4. Тарусские поля – **112**. 5. Ленинград – **114**. 6. Восток – **116**. 7. «Реквием» – **119**. 8. Хлопоты о старшем брате – **122**. 9. Стихиали – **124**. 10. Дружба – **128**. 11. Некоторые перемены – **129**. 12. Солнцеворот – **132**.

Часть четвертая. ТРУБЧЕВСКАЯ ИНДИЯ
1930–1934

1. Первое лето в Трубчевске – **137**. 2. Предзимье – **140**. 3. Космическое сознание – **143**. 4. Левенки – **148**. 5. Уицраор – **154**. 6. Вечера – **158**. 7. Индия Духа – **162**. 8. Трубчевская Индия – **164**. 9. Дневник поэта – **167**. 10. Письма 1933 года – **171**. 11. Контуры – **175**. 12. Предгория – **180**.

Часть пятая. МОНСАЛЬВАТ
1935–1936

1. С черным дулом бесчестного века... – **186**. 2. Пер-Гюнт – **191**. 3. Миларайба – **192**. 4. Оранжевые зори – **196**. 5. Нибелунги – **198**. 6. Монсальват – **199**. 7. Грааль – **201**. 8. Автопортрет – **206**.

9. Смерть Горького – 211. 10. Дивичоры – 212. 11. Сквозь лес Вечного Упокоения – 218. 12. Бдящие – 223.

Часть шестая. СТРАННИКИ НОЧИ
1937–1941

1. Письмо Сталину – 225. 2. Встреча – 227. 3. Тоска и расколо-тость – 230. 4. Янтари – 232. 5. В коротком круге – 236. 6. Начало романа – 239. 7. Ответа не надо – 244. 8. Усовы – 247. 9. Пропавшие следы – 251. 10. Предбурье – 253. 11. Смерть доктора Доброва – 256. 12. «Германцы» – 258.

Часть седьмая. ВОЙНА
1941–1944

1. Военное лето – 265. 2. 16 октября – 267. 3. Фронтовая Москва – 271. 4. Татьяна Усова – 276. 5. Мобилизация – 277. 6. Ладога – 281. 7. Битва уицраоров – 284. 8. Ленинградский хлеб – 286. 9. Команда погребения – 287. 10. Госпиталь – 290. 11. Командировка – 293. 12. Возвращение в Москву – 297.

Часть восьмая. СОЧЕЛЬНИК
1945–1947

1. Сочельник – 301. 2. В «маленькой комнате» – 303. 3. Судьба Глинского – 305. 4. В Филипповской – 309. 5. Новая жизнь – 311. 6. Встречи в Измайлове – 314. 7. География – 316. 8. Задонск – 318. 9. Путешествия по карте – 321. 10. Африка – 324. 11. Романический канон – 326. 12. Обречены – 328.

Часть девятая. «ДЕЛО» ДАНИИЛА АНДРЕЕВА
1947–1948

1. С. и Х. – 331. 2. Арест – 335. 3. Группа Даниила Андреева – 342. 4. Роковой август – 345. 5. Последние дни дома Добровых – 350. 6. Допросы – 352. 7. Признания – 357. 8. Сюжеты – 359. 9. Террористы – 364. 10. Лефортово – 369. 11. Очные ставки – 373. 12. Суд ОСО – 377.

Часть десятая. ВЛАДИМИРСКАЯ ТЮРЬМА
1949–1954

1. Централ – 381. 2. Встреча с Блоком – 386. 3. Трубчевские октавы и московская симфония – 390. 4. Над историей – 395. 5. Бабочка и поэт – 400. 6. Темное видение – 407. 7. Трактат – 410. 8. Сокамерники – 413. 9. Снобдения – 420. 10. Смерть Сталина – 422. 11. Право на переписку – 426. 12. Великие братья – 429.

Часть одиннадцатая. СКВОЗЬ ТЮРЕМНЫЕ СТЕНЫ
1954–1957

1. Ход вещей – 435. 2. Депрессия – 438. 3. Письмо Маленкову – 443. 4. Хорошая полоса – 447. 5. Две поэмы – 449. 6. Мучительные

темы – **456**. 7. Железная мистерия – **459**. 8. Узлы прошлого – **462**. 9. Лето 56-го – **467**. 10. Направлено на доследование – **473**. 11. В круг последних мытарств – **478**. 12. Институт Сербского – **484**.

Часть двенадцатая. РОЗА МИРА
1957–1959

1. Освобождение – **492**. 2. Встречи – **495**. 3. Копаново – **498**. 4. Бездомная осень – **502**. 5. Ащеулов переулок – **507**. 6. Письмо в ЦК – **510**. 7. Больница – **515**. 8. Плаванье – **518**. 9. Последние кочевья – **522**. 10. Горячий Ключ – **526**. 11. Устье жизни – **533**. 12. Роза Мира – **537**.

Эпилог – **543**

ПРИМЕЧАНИЯ – **546**

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ – **568**

Борис Николаевич Романов

ДАНИИЛ АНДРЕЕВ

Повествование
в двенадцати частях

Редактор – *С. С. Лесневский*

Художественный редактор – *В. Н. Сергутин*

Верстка вклейки, оформления – *А. Б. Метелкин*

Верстка – *Л. А. Шелкова*

Корректор – *Л. Н. Морозова*

Операторы – *Татьяна Барышникова, Ирина Чижикова*

Информационная поддержка –
журнал «Новое время» («The New Times»)

Издательство «Прогресс-Плеяда»
Главный редактор С.С. Лесневский
125009, Москва, Тверской бульвар, 14. стр. 1, офис 705
Тел./факс: (495) 648-07-86, 648-07-87
E-mail: progresspl@yandex.ru

Подписано в печать 28.05.2013. Бумага офсетная. Тираж 1000 экз.
Гарнитура «Adonis». Печ. л. 38,0. Формат 60x100 1/16

ISBN 978-5-904995-27-0

9 785904 995270

Отпечатано в ППП «Типография “Наука”»
121099, Москва, Шубинский пер., 6. Заказ №